

НАЦУМЭ СОСЭКИ

НАЦУМЭ
СОСЭКИ

РОМАНЫ

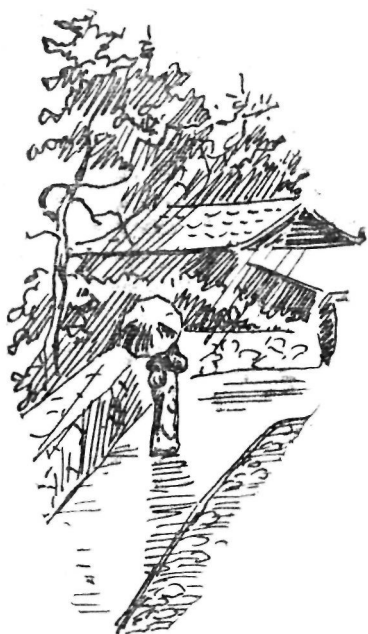
САНСИРО

ЗАТЕМ

БРАТА



НАЦУМЭ СОСЭКИ



САНСИРО

ЗАТЕМ

ВРАТА

РОМАНЫ

Перевод с японского
А. РЯБКИНА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

И (Яп)
НЗ5

Предисловие

В. ГРИВНИНА

Примечания

А. РЯБКИНА

Оформление художника

Ю. ИГНАТЬЕВА

0734-198
Н 028(01)-73 198-73

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.

НАЦУМЭ СОСЭКИ

(1867—1916)

1905 год ознаменовался важным событием в литературной жизни Японии. Журнал «Хототогису» («Кукушка»), один из весьма популярных журналов конца прошлого — начала нынешнего века, начал печатать роман «Ваш покорный слуга — кот». В японскую литературу вошел выдающийся писатель-гуманист Нацумэ Сосэки (Сосэки — литературный псевдоним. Настоящее имя писателя — Кинноскэ). Крупный литературовед, специалист в области английской литературы, Нацумэ Сосэки лишь в тридцать восемь лет написал свой первый роман. Через одиннадцать лет писатель умер. Но за это время он создал шестнадцать романов и повестей, множество рассказов, эссе, путевых заметок, рецензий...

Одиннадцатилетний период творчества писателя называют «годами Нацумэ» — так велико было его влияние на читающую Японию. С каждым новым произведением росла слава писателя. Это объясняется не только крупным его талантом, высокой художественностью его произведений, их совершенством, но и тонким, обостренным пониманием всего, что волновало умы японской интеллигенции того времени. Новая Япония — что это такое с точки зрения духовной, моральной? Вот вопрос, разрешению которого посвятил себя Нацумэ. И ни один из современных ему читателей не мог оставаться равнодушным к творчеству писателя, честно и бескомпромиссно поставившего этот вопрос. И сейчас, через много лет после смерти Нацумэ, в Японии зачитываются его произведениями. Слава писателя не только не померкла, но, наоборот, упрочилась. Произведения Нацумэ близки и понятны сегодняшнему читателю потому, что всё или, по крайней мере, многое, против чего выступал писатель: лицемерие и ложь, отсутствие душевной чистоты, эгоизм, — все эти качества, часто в еще более обнаженном, уродливом виде присущи японскому обществу наших дней, как были присущи ему и в начале века.

Нацумэ Сосэки — явление огромное в японской литературе. Так, как писали до Нацумэ, уже невозможно было писать после

него. Японская литература благодаря его творчеству сделала качественный скачок. И если говорить о первом писателе, который не эпигонски, не кокетничая европеизмом, но, оставаясь на прочной национальной почве, начал великое дело слияния двух потоков — литературы японской и европейской, — то есть если взять шире, сделал первый шаг не к механическому, а к органическому слиянию западной и восточной культур, то в первую очередь следует назвать Нацумэ. И не случайно все японские писатели, не страдающие «почвенничеством», от Акутагава до Абэ, считают себя его учениками.

Мы далеки от мысли в краткой вступительной статье исчерпывающе рассказать о жизни и творчестве Нацумэ Сосэки. Задача представляется нам гораздо скромнее — наметить основные вехи его творчества, обратив более пристальное внимание на три романа, составившие предлагаемую читателю книгу.

Нацумэ родился 5 января 1867 года в семье наследственного городского старшины (нануси) в Эдо (теперешнем Токио). Ко времени его рождения некогда зажиточная семья обеднела и пришла в упадок, а тут еще бурные события — революция Мэйдзи. Отец его со страхом ждал перемен в своей судьбе, боялся, что революция вообще лишит семью средств к существованию, поэтому рождение ребенка было встречено без всякой радости, и Кинноскэ отдали в чужую семью приемным сыном. Так Нацумэ оказался жертвой феодальных семейных отношений. В романе «Придорожная трава», в значительной мере автобиографическом, есть слова, которые с полным основанием можно отнести к автору: «И с точки зрения родного отца, и с точки зрения приемного отца он не был человеком. Он был скорее предметом. Но в то время, как родной отец считал его никчемным предметом, приемный рассчитывал приспособить его к какому-нибудь ремеслу». Однако через несколько лет приемные родители разорились, и Кинноскэ снова оказался в родной семье.

Безрадостное детство на всю жизнь запечатлелось в памяти Нацумэ. Он часто вспоминал о нем как о непреходящем кошмаре, и это ощущение своей ненужности владело им многие годы и, несомненно, наложило отпечаток на все его творчество. Нацумэ до боли остро ощущал значимость, ценность человека как личности, и всякое поприще человеческой личности, стремление задавить человека, вогнать каждого в прокрустово ложе общепринятых норм и догм встречало решительное неприятие писателя.

Нацумэ родился в тот год, когда произошла буржуазная революция Мэйдзи. Иногда ее называют незавершенной, поскольку феодализм не развалился сразу же, как карточный домик. Но

важно другое — на политическую арену в качестве господствующей силы вышла буржуазия, и то, что править страной продолжали феодалы, было второстепенным, так как и они отражали интересы буржуазии.

Революция Мэйдзи всколыхнула страну, способствовала ее бурному экономическому развитию, вывела Японию из состояния искусственной изоляции от мировой науки и культуры. Появляется новая интеллигенция, жадно впитывающая передовые идеи Запада, живо интересующаяся наукой, литературой, искусством стран Европы и Америки. Правящие классы понимают, что сохранить и укрепить национальную независимость своей страны невозможно без усвоения и осмысления всего богатства западной культуры. В Европу направляется на учебу наиболее способная молодежь. Интересно, что система посылки молодых людей на учебу за границу (рюгакусэй) существовала в Японии еще в V—VI веках, когда первые такие «рюгакусэи» были направлены в Китай для изучения догматов буддийской религии. Им-то и объява Япония распространению в стране буддизма, что по тем временам было огромным политическим и культурным событием, способствовавшим превращению Японии в централизованное государство, развитию науки, искусства и литературы.

Итак, буржуазная революция Мэйдзи привела к тому, что Япония в первом десятилетии XX века и особенно после первой мировой войны превратилась в одну из ведущих империалистических держав. И в то же время революция не оправдала надежд, возлагавшихся на нее передовыми людьми Японии. Она не уничтожила феодализма в социальном укладе, в социальных институтах. Духовно страна жила еще в значительной мере феодальными представлениями. Столкновение старого с новым было крайне болезненным. Зачастую буржуазные преобразования опирались на вполне феодальную почву. К слову сказать, и сегодня еще сохранился целый ряд институтов, характерных для феодальных отношений, и не только в деревне, и не только в семье, но даже и на самом сверхсовременном производстве. Что ж удивляться их живучести в начале века?

Причудливое, часто нерасторжимое переплетение нового со старым создало специфический фон, на котором развивалось творчество писателей поколения Нацумэ. Их творчество вобрало в себя все эти противоречия и художественно отразило их. Нужно иметь это в виду, когда речь идет о творчестве писателей — современников революции Мэйдзи, современников буржуазной перестройки Японии. Иначе понять пафос их творчества невозможно. Конфликт между романтическими картинками, которые рисовало воображение людей, ждавших, что революция откроет

новую страницу в сфере духовной жизни, и действительностью — вот о чем рассказывают эти писатели, и Нацумэ в том числе.

В 1890 году, окончив среднюю школу, Нацумэ поступает на английское отделение филологического факультета Токийского университета. Еще учась в школе и в университете, Нацумэ пишет стихи, печатает переводы с китайского языка, а также ряд самостоятельных литературоведческих исследований. Уже в них содержится мысль, что назначение литературы — «способствовать тому, чтобы в обществе царила свобода, равноправие и дружба между людьми», О том, что значила для него литература, он прекрасно сказал устами одного из своих героев в романе «Сансиро»: литературу «нельзя превращать в ремесло. Литература — движущая сила общества».

После окончания университета в 1893 году Нацумэ в течение полутора лет преподает английский язык в Токийском педагогическом институте, а затем уезжает в глухую провинцию, в маленький городок Мацуяма на Сикоку, где преподает японский язык в средней школе. Нацумэ считает, что здесь он может принести больше пользы, чем в Токио, где и без него много преподавателей, место человека, решившего посвятить себя просветительской деятельности.

Чтобы представить себе обстановку, в которой все эти годы живет писатель, достаточно прочесть повесть «Мальчуган» (1906)¹. В ней Нацумэ рассказывает о судьбе юноши, попавшего в провинциальную учительскую среду с ее фальшью и подхалимством, со всем, что так чуждо прямому, бесхитроственному «мальчугану». Подхалимы и бездушные люди не могут понять только что окончившего университет молодого учителя, который идет к ним с открытой душой. Не может, в свою очередь, понять этих черствых, лишенных человеческого тепла людей и «мальчуган». Он пытается бороться за справедливость, но терпит неудачу. Выход для героя автор видит в разрыве с этой средой или, проще говоря, бегстве из школы Мацуяма, из узкого мирка людей, лишенных общественных интересов, замкнутых в смрадной атмосфере склоки, угодничества перед начальством, бездушного отношения к своим товарищам.

Именно в такую среду и попадает Нацумэ, и нужно было обладать незаурядной волей, внутренней чистотой и целеустремленностью, чтобы не дать болоту засосать себя, не превратиться в обывателя. Несчастливой была и его семейная жизнь, хотя

¹ Нацумэ Сосэки. Мальчуган. Повесть. М., Гослитиздат, 1956.

внешне она казалась вполне благополучной. В 1894 году он женился на старшей дочери начальника секретариата верхней палаты парламента. Тяжелые приступы истерии, которым была подвержена жена, превратили его жизнь в сплошную цепь скандалов. Совместная жизнь супругов временами была просто невыносимой.

Еще учась в университете, Нацумэ, как один из самых способных студентов, получал стипендию министерства просвещения. В 1900 году министерство вновь вспомнило о своем стипендиате и направило его на учебу в Англию. Так Нацумэ стал «рюогакусэем». В сентябре он отплывает из Иокогамы и в октябре прибывает в Лондон. Начался двухлетний период его жизни в Англии. Это были годы упорного, даже, пожалуй, самозабвенного труда. Нацумэ совершенствует свои знания в английском языке, глубоко изучает английскую литературу. В течение года он работает о известным шекспироведом профессором Крейгом. Одновременно Нацумэ занимается и общим литературоведением. Результатом его литературоведческих исследований были два цикла лекций, вышедших впоследствии отдельными изданиями: «О литературе» и «Критический обзор литературы». Эпиграфом к этим работам могут служить его слова! «Я хотел с психологической и социальной точек зрения исследовать, благодаря каким причинам литература существует, развивается и деградирует». Подчеркнем: «...с психологической и социальной точек зрения...» Это чрезвычайно важно. Пройдет несколько лет, и японские критики будут утверждать, что Нацумэ избрал позицию стороннего наблюдателя, будут отождествлять Нацумэ с некоторыми героями его романов, тем же Хирота из «Сансиро», словно забыв эти слова, не в пылу полемики, а обдуманно произнесенные писателем, словно не обратив внимания на то, что Хирота — личность трагическая и его трагедия — Нацумэ ясно это показывает — как раз и состоит в том, что он оторгнут от живой жизни, социальных бурь и потрясений, не способен войти в гущу событий,

По возвращении в Японию, в январе 1903 года, Нацумэ назначают доцентом Токийского университета, и он начинает читать курс лекций по литературе. Два года упорного труда принесли плоды. Он подготовил себя не только к преподавательской деятельности, но и внутренне созрел как писатель. И когда редактор журнала «Хототогису» Кёси Такахама предложил ему написать художественный очерк, на свет появился «Ваш покорный слуга — кот»¹. Роман был восторженно встречен читателями. Успех его

¹ Нацумэ Сосэки. Ваш покорный слуга — кот. Повесть. М., Гослитиздат, 1960.

был поразителен. В течение четырех недель разошелся весь тираж — случай небывалый для Японии тех лет.

«Ваш покорный слуга — кот» занимает особое место не только в творчестве Нацумэ, но и в японской литературе в целом — это одно из первых сатирических произведений новой японской литературы. В своем романе Нацумэ продолжает традиции английского сатирического романа XVIII века, и, в частности, сатиры Свифта. В нем описывается жизнь школьного учителя и его окружения, хорошо знакомая писателю. Нацумэ высмеивает людей, кичащихся тем, что они коренные токийцы — «эдокко», узость их интересов, поклонение сильному и третирование слабого, высмеивает все, что было присуще начавшей оперяться японской бюрократии. «Ваш покорный слуга — кот» — свидетельство высокого гражданского мужества писателя. Достаточно вспомнить, как кот, «горя патриотизмом», собирается сформировать кошачью бригаду и послать ее на фронт — ведь идет русско-японская война. В этом романе впервые зазвучала антивоенная тема, занявшая значительное место в творчестве писателя.

«Ваш покорный слуга — кот» проникнут злой иронией, сарказмом: «И в себе, и в моих соседях, и в учителях, и в политических деятелях — во всех я узнаю животных, — говорит кот. — Все кругом — это только воплощения различных видов животных, приспособившихся к условиям общества XX века, ничего больше. Смеюсь над ними, я тем самым смеюсь над собой, и в моем смехе есть привкус горечи. Это только жестокая насмешка над свойственным нам лицемерным желанием приукрасить себя». Роман с полным правом можно отнести к произведениям критического реализма. Однако с этим утверждением согласятся далеко не все японские критики, да и сам Нацумэ вряд ли признал бы это. В предисловии к «Пока не кончится Хиган» он писал: «По правде говоря, я не принадлежу ни к натуралистам, ни к символистам. Я также не примыкаю и к неореалистам, о которых в последнее время так много говорят. Я совсем не уверен, что мои произведения оказались бы более совершенными, если бы я всякий раз во всеуслышание объявлял себя приверженцем того или иного «изма» и тем самым привлекал к себе внимание окружающих».

Действительно ли он был так безразличен к творческому методу? Вряд ли. Японская критика совсем не случайно называла литературный отдел «Асахи», где через несколько лет после прихода в литературу стал сотрудничать Нацумэ, цитаделью антинатурализма. В этом, видимо, весь секрет выступлений Нацумэ против «измов». В те годы именно натурализм стремился заключить японскую литературу в узкие рамки канонизированных схем, что претило такому крупному, самобытному художнику, как Нацумэ.

Так что его слова нужно скорее понимать как реакцию на натурализм, как реакцию на бескрылую, заземленную прозу «личного опыта» и, в конечном счете, на «повесть о себе». Но возникает вопрос, был ли действительно натурализм в Японии явлением, захватившим столь широкую литературную сферу, что, не преодолев его, невозможно было направить литературный процесс в русло реализма. Не боролся ли Нацумэ, выступая против натурализма, вместе с тем и против реализма также? Вопрос тем более не праздный, что часто японский натурализм («сидзэнсюги») отождествляется без всяких оговорок о реализмом на том основании, что «сидзэнсюги» далеко не то же, что европейский натурализм. В какой-то мере это верно. И в этом нет ничего удивительного. Ни одно явление, перенесенное из одной страны в другую, а в данном случае в другую часть земного шара, не может сохраниться в первоначальном, неизменном виде. Поэтому японский натурализм в чем-то, несомненно, не похож на европейский. Но исходные положения «сидзэнсюги» адекватны европейскому натурализму. Это несомненно. Вспомним, из чего исходили японские натуралисты. Родоначальник японского «сидзэнсюги» Осуги Тэнгай выдвинул принцип: «Изображать так, как есть». Таяма Катай, один из наиболее последовательных представителей «сидзэнсюги», определил свой метод как «плоскостное изображение», а позже — «неприкрашенное изображение». Можно привести и слова известного в то время писателя Симамура Хогэцу: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное, изгоняем все, что относится к мастерству, изгоняем все, что относится к идеалам».

Когда мы сегодня судим о японской литературе начала века, мы можем легко отделить декларации от их воплощений в художественных произведениях. Нам совершенно ясно, что многие из деклараций писателей находились в категорическом противоречии с их творческой практикой, что их произведения часто ломали ими же установленные узкие натуралистические рамки. Как было, например, с тем же «Нарушенным заветом» Симадзаки Тосона, романом, который вполне основательно причисляется к реалистической литературе, хотя в немалой степени несет в себе и черты натурализма. Это видно и из основной посылки писателя о биологическом объяснении поступков человека. Так что правильнее, видимо, сказать, что в «Нарушенном завете» Симадзаки шел к реализму, преодолевая натурализм, вопреки ему. Правда, Симадзаки не был оригинален. Глава французского натурализма Золя в лучших своих произведениях поднимался до истинного реализма. Но ведь кроме Симадзаки Тосона был еще и Таяма Катай, который, выдвигая положение о «плоскостном изображении» и «неприкрашенном изображении», утверждал, что внутренний мир че-

ловека, внутренняя суть явлений человеку недоступны, что писатель видит только то, что лежит на поверхности, и именно это должен изображать. Любые литературные приемы, искусство, мастерство решительно отвергались им. Причем, в отличие от Симадзаки, Таяма не только декларировал натурализм, но и воплотил свои принципы в художественных произведениях. Он довел их до *plus ultra*, пытаясь доказать, что, поскольку писатель с полной достоверностью может знать лишь самого себя, то он и должен ограничить объект изображения самим собой. Отсюда и «повесть о себе», ставшая основным жанром творчества Таяма.

Так трансформировалась в Японии идея Золя о литературе личного опыта. Причем следует отметить, что, восприняв теоретические основы французского экспериментального романа, японские натуралисты зачастую выхолащивали антибуржуазный пафос французских натуралистов и в первую очередь Золя.

Повесть Таяма Катай «Постель», в которой рассказывается о любви героя-автора к своей ученице, не содержит и тени критики существующего общества. Это, по словам Симамура Хогэцу, «смелая, искренняя исповедь — исповедь человека из плоти и крови», и не более. И хотя автор обнажил свою душу и, казалось бы, бросил смелый вызов буржуазной морали, но, ограничившись показом интимных переживаний героя, не дав широких социальных обобщений, он фактически превратил ее в камерное, лишенное общественного звучания произведение.

При этом не нужно забывать, что «Постель» Таяма считалась эталоном натуралистической литературы в Японии, «повесть о себе» была декларирована основным жанром, если писатель хочет рассказать всю правду, свободную от недоговоренности и вымысла.

Вспомним снова гётевского Вертера! «Всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее». И если уж говорить о тех, кто «убивал ощущение правды» В японской литературе, то в первую очередь следует назвать натуралистов. Все это и заставляло Нацумэ выступать против их метода, который часто просто утрировал слабые стороны французских натуралистов.

Таким образом, Нацумэ был антинатуралистом, но отнюдь не антиреалистом.

В 1906 году выходит роман «В дороге», в котором Нацумэ проводит мысль, что невозможно изображать события, будучи непосредственным их участником. Чтобы правдиво вскрыть окружающую действительность, нужно быть беспристрастным наблюдателем, чтобы творить свободно, нужно «отрешиться от человеческих чувств». Так и поступает его герой-художник. Этот роман можно, пожалуй, воспринять как резкую реакцию на натурализм, как

доведенное уже до крайности отрицание литературы личного опыта, а совсем не как кредо, не как последовательную позицию писателя. Мы увидим это ниже.

Резко противопоставлены этому роману два следующих, появившихся один за другим: «Двести десятый день» (1906) и «Пронизывающий осенний ветер» (1907), содержащие резкую критику буржуазного общества, критику социальной системы, которая ведет к неравенству, лишает прав народ, вынуждает его жить в беспросветной нищете. Бороться за права народа, за то, чтобы дать ему хоть бы тот минимум, который бы позволил ему жить в человеческих условиях, — вот какова цель жизни. К такому выводу приходят два молодых человека — герои романа «Двести десятый день». Критика ими буржуазной действительности носит конкретный характер: герои стремятся к борьбе не против нищеты и глупости вообще, как, например, «Мальчуган», а против «власти золота». Герой же «Пронизывающего осеннего ветра» идет еще дальше — он уже борется против «аристократов и богачей». Такая позиция Нацумэ вряд ли может быть воспринята как неожиданная — еще в письмах из Лондона он писал, что появление в современном мире теории Карла Маркса вполне закономерно.

Через два года после опубликования первого романа Нацумэ имя его стало уже настолько известно, а произведения так популярны, что одна из крупнейших газет Японии — «Асахи» — делает ему предложение стать ее постоянным сотрудником, Нацумэ долго колеблется. Он не знает, стоит ли отказываться от педагогической деятельности, то есть от прочного, обеспеченного положения, — он еще не уверен в своих силах, он опасается, что следующие его произведения будут холодно встречены читателем. Но в конце концов Нацумэ-писатель побеждает Нацумэ-педагога, и он принимает предложение газеты. Его обязанность состоит в том, чтобы ежедневно давать в газету очередную главу своего нового произведения.

Работа в «Асахи» сыграла огромную роль в жизни писателя. Прежде всего благодаря газете, выходявшей колоссальным тиражом, имя Нацумэ стало широко известно в Японии. Кроме того, газета выработала у него дисциплину творческого труда — он знал, что ежедневно должен написать очередную главу романа.

Первым романом Нацумэ, появившимся в «Асахи», был «Полевой мак» (1907). В нем писатель выразил свои морально-этические взгляды. Он выступает за чистоту моральных принципов. Моральная гибель человека страшнее гибели физической — к такому выводу приводит читателя Нацумэ. Роман сделан блестяще по форме. В этом смысле «Полевой мак» можно рассматривать

как вершину творчества писателя. Но не свободен он и от недостатков, и главный из них состоял в том, что ради занимательности сюжета и напряженности действия — дань газете — автор иногда поступался глубиной раскрытия характеров. Известный писатель Масамунэ Хакутё, анализируя роман, писал, имея в виду схематичность некоторых образов: «Одежда сделана блестяще, но плоти нет». И все же роман имел огромный читательский успех, поскольку ставил проблему морали: «как жить»? Роман вышел в годы, когда социалистическое движение в Японии делало свои первые шаги, когда страна была потрясена сфабрикованным властями «делом о великом предательстве», в результате которого один из организаторов социал-демократической партии Японии Котоку и его товарищи — всего двадцать четыре человека — были приговорены к смертной казни.

Действительно, это было чрезвычайно сложное время. Японская интеллигенция освобождалась от идиллической веры в то, что стремительное развитие капитализма принесет с собой и благотворные социальные изменения. Угар от побед в двух войнах, угар надежд постепенно рассеялся, и интеллигенция увидела, что либеральный путь, по которому, как ей казалось, она так успешно и беспрепятственно движется, оборвался тупиком. К крупной социальной ломке она не была готова и остановилась перед этим тупиком в растерянности. Интеллигенция заблудилась в бесчисленных теориях и течениях, которые бурно разлились в Японии того времени и, как мощный поток, подхватили и понесли эту не приспособленную к бурям интеллигенцию в неведомое ей будущее.

Отражением такой растерянности интеллигенции, да и самого Нацумэ, были три романа: «Сансиро» (1908), «Затем» (1909) и «Врата» (1910), занявшие центральное место в его творчестве, — в них содержится вся философия жизни писателя, попытка, сразу же скажем, безуспешная, найти выход из тупика, утвердиться в жизни в качестве позитивного начала. Ниже, подробно разбирая три эти романа, мы постараемся показать, что удалось и что не удалось Нацумэ. В одном он был, несомненно, прав — высшим благом для человека является духовная свобода, и человек должен делать все, чтобы сбечь ее.

Так поступает и сам Нацумэ. В 1911 году правительство, учитывая огромное влияние Нацумэ, особенно на молодежь, попыталось «приручить» его, присвоив ему ученую степень доктора филологии. Нацумэ в резкой форме отказался от степени доктора. Не поколебало его решения и личное письмо министра просвещения. Те же мотивы заставили его отклонить приглашение князя Сайондзи — одного из могущественных людей того времени — по-

жаловать в числе других крупных литераторов в его резиденцию для беседы. Нацумэ ответил, что для беседы о литературе не он должен идти к князю Сайондзи, а князь Сайондзи — к нему.

После трилогии «Сансиро», «Затем», «Врата» Нацумэ создал еще пять романов, и раньше, чем перейти к подробному анализу трилогии, хотелось бы хотя бы в двух словах охарактеризовать их, чтобы читатель более полно представил себе творческий путь Нацумэ.

Роман «Пока не кончился Хиган» (1912) необычен по форме. Это объединенные одним главным героем шесть новелл, причем сам герой не играет активной роли. Он наблюдатель. И перед ним разворачиваются шесть картин жизненных катастроф его друзей. Вначале полный оптимизма, радужных надежд, герой предстает перед нами в последней новелле глубоко разочарованным, морально убитым человеком.

Такой же по форме и роман «Путешественник» (1912), в котором Нацумэ ставит проблему семьи, где все еще живы пережитки феодализма, от которых страдает в первую очередь женщина. Бесправное положение женщины — традиционная проблема японской литературы, прежде всего потому, что остался неизменным взгляд на женщину как на существо низшее. Это было в XVII веке, во времена Ихара Сайкаку, сохранилось и в начале XX века, когда о женщине рассказали Такэо Арисима и Нацумэ Сосэки.

Собственник начинает господствовать в жизни буржуазного общества Японии. Эта тема была развита и углублена Нацумэ в «Сердце» (1914)¹. Инстинкт собственника, эгоизм — вот стимулы поступков человека, отравленного богатством. «При виде денег любой благороднейший человек превращается в злодея», — говорит герой. Одного из них, предавшего своего друга и приведшего его к самоубийству, мы встречаем в романе. И здесь снова Нацумэ ставит вопрос: что страшнее — смерть духовная или физическая? И отвечает однозначно — конечно, духовная. Потому-то выход для героя, уже погибшего морально, умершего как личность, он видит в одном — в гибели физической.

Такой же безысходностью проникнут и другой, во многом автобиографический роман «Придорожная трава» (1915). Лейт-мотивом его могут служить слова героя: «Почти ничего в этом мире не может быть разрешено».

В последнем, оставшемся незавершенным романе «Свет и тьма» (1916) Нацумэ все же пытается наметить выход для своих героев в поисках какого-то высшего нравственного закона, хотя несостоятельность таких поисков очевидна.

¹ Нацумэ Сосэки. Сердце. М., Гослитиздат, 1935.

Известный японский литературовед Дзюндзо Караки писал, что, «критикуя буржуазное общество, Нацумэ не увидел класса, способного уничтожить это общество».

Но важно то, что он никогда не был безучастным хроникером событий, что, вскрывая пороки капиталистического общества, тем самым вольно или невольно выступал активным его критиком и обличителем.

Итак, в 1908—1910 годах вышли «Сансиро», «Затем» и «Врата», которые называют обычно трилогией, хотя они не объединены общим героем, Н. И. Конрад писал, что эти романы «считаются как бы трилогией, поскольку они раскрывают единый замысел автора: дать картину последовательного увядания сил в человеке. Это делается им на примере чувства любви, В «Сансиро» изображается чистое, светлое юношеское чувство; в «Затем» — пылкая страсть зрелого мужчины; во «Вратах» — угасающее чувство пожилого человека. Но автор о этом не мирится, он ощущает это увядание как трагедию и хочет найти выход, чувствует, что нужно войти в какие-то «врата», но не решается, да и сам не знает, что за ними».

Такое понимание романов совершенно верно, если объекты любви трех этих героев рассматривать не просто как женщин, к которым они стремятся, но как цель жизни, И тогда перед нами возникает образ: юношеское стремление и вера в будущее («Сансиро») затухает («Затем») и, наконец, рассыпается в прах («Врата»).

Начиная со средневекового японского романа «Повести о Гэндзи» (XI век) и кончая романами Кобо Абэ, женщина олицетворяет нечто вечное и незыблемое, опору в жизни, которую ищет и не находит герой. И так же как неверно было бы видеть в «Повести о Гэндзи» бесхитростную историю любовных походов принца — история его поисков идеала, олицетворенного в женщине, и крушения этих поисков должна была продемонстрировать невозможность достижения идеального и неотвратимость «кармы» — расплаты за содеянное, так и трилогия Нацумэ совсем не преследовала цель рассказать историю любовных крушений. Крушений — да, но не любовных. Читатель легко убедится, что женщины в романе — чуть намеченные пунктиром образы — призваны играть роль символов, обозначающих идеал, к которому стремятся герои и который оказывается для них недостижимым. Нет, трилогия Нацумэ — это не романы о неразделенной, неудачной любви. Это романы о неудачной жизни, когда сама эпоха — стремительное движение страны в неизвестность — надломила людей, подорвала их корни, старые феодальные, полусгнившие, но все же корни. И не дала новые. Отсюда эти мятущиеся, не находя-

щие покоя и умиротворения натуры или холодные наблюдатели, беспрерывно рассуждающие, но не от величия и силы, а от бессилия, от неспособности понять события, объяснить их и найти свое место в жизни. И им, этим в общем-то идеалистам, противопоставлены дельцы. Они тоже не знают, во имя чего суетятся, ради чего богатеют. Богатство и счастье — они это уже начинают смутно понимать — не синонимы.

«Сансиро» — это роман о молодежи, о жизни студентов Токийского университета 90-х годов прошлого века. Юноша, совсем еще мальчик, только что окончивший школу в далекой провинции, приезжает в шумный, блестящий, многообещающий Токио. Сансиро полон радужных надежд. Но постепенно его мечты, столкнувшись с реальностью, увядают. Жизнь оказывается слишком жестокой для не подготовленного к ней, когда-то восторженного, полного надежд молодого человека.

В «Сансиро» борются, точнее, противопоставлены, два начала — пассивное (Сансиро и Хирота) и активное (Ёдзиро и Нономия). Причем герои, олицетворяющие активное начало, тоже оказываются неспособными к позитивным действиям. Вся активность Ёдзиро — только видимость деятельности, Он намечает для себя лишь самую ближайшую, а иногда просто случайную, второстепенную цель. Его деятельность продиктована одним! «Все стремительно движется вперед, к новому. Отстанешь — пропадешь». Вот он и старается не отстать, угнаться, но от чего не отстать, за чем угнаться — этого он не знает. Перспектива часто скрыта от него туманом. И поэтому нередко активность его оказывается даже вредной. Например, суета с приглашением в университет Хироты не только оканчивается провалом, но и наносит, несомненно, ущерб, во всяком случае моральный, самому Хироте. Так что активность Ёдзиро можно принять с еще большим знаком минус, чем пассивность Сансиро.

Что представляет собой деятельность Нономии? Нацумэ совершенно сознательно заставляет его заниматься далекой от практических нужд научной темой. Он изучает давление света. Кто мог в начале века без иронии относиться к подобной научной работе? Таким образом, Нацумэ хочет показать, что и деятельность Нономии тоже мнимая. Во всяком случае, работа его бесполезна. «Отрадно, что эта гипотеза никому не приносит вреда, — замечает Хирота, а художник Харагути добавляет: — И если она не подтвердится, никто не пострадает». Даже Сансиро понимает, что деятельность Нономии какая-то ненастоящая. Ведь «движение шкалы в подозрительной трубе не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни, — думает он и вдруг задает себе вопрос: — Но, может быть, эта реальная жизнь несколько не интересуется Нономией?»

И так же как Хирота продолжает со стороны наблюдать за происходящим, причем совсем не потому, что сам, по своей воле, избрал такую позицию как наиболее плодотворную, а потому, что просто не знает, как и во имя чего вмешиваться в жизнь, так и Нономия пытается, но не знает, с какой стороны подступить к науке, чтобы принести пользу людям, не представляет себе, в чем должна состоять его практическая деятельность. Он знает одно — нужно что-то делать. Но что, как — это ему неизвестно. Может быть, когда-то, за страницами романа, он и прозреет, но пока его активность бесплодна, так же как бесплодна отстраненность резонерствующего Хироты.

«Жил такой человек по имени Леонардо да Винчи, так он в качестве опыта в ствол персикового дерева ввел мышьяк. Хотел, видите ли, узнать действие яда на плоды. Но кто-то поел персиков о его дерева и умер. Опасная штука! Очень опасная. Лучше не рисковать». В этих словах вся философия Хироты. Деятельность опасна, так как невозможно предвидеть последствия, к которым она может привести. Да и кроме того, во имя чего деятельность? Мир с его грязью для Хироты неприемлем — он недостаточно стерилен, недостаточно совершенен, наконец просто безобразен. Именно такой видится ему и Япония. Все в ней плохо. И женщины некрасивы, и мужчины низкорослы. Есть, правда, гора Фудзисан, да и та рождена природой, а не является творением рук человека. Так что и ею японцам нечего гордиться. Хироте хотелось бы в один прекрасный день проснуться и увидеть обновленную Японию, в которой царит полная гармония, где уже нет грязи, где люди — олицетворение духовного и физического совершенства. А пока этого нет, пока это утопия, стоит ли активно вмешиваться в жизнь, стоит ли стараться перестроить ее? Не стоит — отвечает на этот вопрос Хирота. Очень метко назвал Хироту Ёдзиро — «невзошедшее светило». От него никому не тепло. Ему безразличен человек — вот в чем все зло и вот где источник его поведения. И этим безразличием болен не один Хирота. Это болезнь японской интеллигенции, утверждает Нацумэ. Рассуждая о благе человечества, она просмотрела человека, крохотную и потому незаметную с высоты гуманистических теорий частицу, формирующую человечество. Нищему не подают, так как он якобы слишком назойлив. Все спокойно проходят мимо потерявшегося ребенка, так как полицейский, несомненно, примет необходимые меры. Так убаюкивают свою совесть те, кто обязан посвятить себя служению народу. И Хирота из явления частично-нетипического перерастает в «болезнь века».

«Заблудшие овцы» — так называли себя Сансиро и Минэко. Сансиро мечтатель, идеалист, которому жизнь наносит один удар

за другим. Кто виноват в том, что, столкнувшись с грубой или, правильнее, реальной действительностью, юноши, подобные Сансиро, оказываются неспособными встретить ее во всеоружии? Причин много. Но главная из них — противоречие между идеальной картиной мира, нарисованной их воображением, и реальностью. Они внутренне не готовы увидеть мир таким, каков он есть, и попытаться перестроить его. Уроки, преподнесенные жизнью, оказываются для них слишком жестокими. И происходит это в первую очередь потому, что школа не воспитывает людей, способных правильно оценить мир, в котором они оказываются. Школа — самое консервативное, оторванное от жизни учреждение, где царит косность, куда не проникают свежие веяния. Образование формализовано до предела — количество вместо качества или даже вопреки качеству. «Кому интересно знать, что словарь Шекспира состоит из нескольких тысяч слов или что у Ибсена несколько тысяч седых волос? А ведь все это преподносят нам на дурацких лекциях!» — восклицает Ёдзиро. Вспоминаются слова выдающегося писателя Акутагава Рюноскэ, который в бытность студентом писал одному из своих товарищей: «Кроме того, нужно запомнить... когда his употребляется в значении ты и сколько раз в каких актах каких пьес пользовался этим правилом Шекспир... Это ужасно». Это действительно ужасно, тем более что такая формальная, никому не нужная информация заменила раскрытие социального звучания художественных произведений, знакомство с важнейшими процессами, происходящими в мире.

Но это лишь одна сторона проблемы. Другая: школа — цитадель охранительства. Она призвана была не столько подготовить молодых людей к восприятию нового, сколько воспитать в них верных защитников старого. И конечно же, сделать из них националистов, убежденных, что всем своим успехам Япония обязана могучему «национальному духу» — «ямато-дамаси». То есть сегодняшние успехи Японии проецировались в ее божественное прошлое. Вот, оказывается, откуда черпает Япония «величие духа», вот где источник ее успехов. Из года в год методически, неуклонно эти идеи вдалбливались в головы молодежи. Нужно ли удивляться тому, что, когда жизнь убеждала их в абсурдности всех этих идей, они ощущали растерянность, не представляя себе, что они должны разрушить — идеальную картину или не согласующуюся с ней, противоречащую ей действительность. В этом была их беда, тем более что действительность оказалась далека от идеальной. Вспомним слова старика, услышанные Сансиро в поезде:

«Вообще неизвестно, кому нужны войны. Добро бы потом лучше жилось. А то убивают твою плоть — детей. Цены растут.

Ничего глупее и не придумаешь. В добрые старые времена и не слышно было, чтобы кто-нибудь уезжал на заработки. Все война натворила».

Внешние успехи Японии и в самом деле не отражали того, что происходило внутри страны. Трудно не согласиться со словами Хироты, что ни победа в русско-японской войне, ни выход Японии в число перворазрядных государств не сделали ее счастливей. И в самом деле, что это дало Японии? Если говорить о сфере духовной, то Япония даже деградировала. Это как раз и имел в виду Хирота. Мысль его удивительно созвучна тому, что мы видим в сегодняшней Японии — «экономическое чудо», с одной стороны, превратило Японию в «общество потребления», а с другой — привело к катастрофическому духовному обнищанию. И так же как Хирота не в состоянии указать выход из тупика, так же и сегодняшние японские идеологи правого толка не могут указать путь решения конфликта между человеком и буржуазным обществом, поскольку социальная перестройка общества их не устраивает. Пророчески звучат слова Хироты, который на замечание Сансиро, что, мол, «Япония все же постепенно разовьется», бросает коротко: «Погибнет».

Как складывается жизнь человека типа Сансиро? — этому посвящен следующий роман трилогии «Затем». Предваряя его появление в газете, Нацумэ писал: «Во всех смыслах это затем. В «Сансиро» описана жизнь студента, а здесь рассказывается о том, что произошло затем, то есть — затем. Герой «Сансиро» был прост, герой же этого романа — человек, появившийся затем, так что и в этом смысле затем. Герой романа человек необычной судьбы, и я не писал о том, что произойдет с ним затем. Следовательно, и в этом смысле — затем».

И вот Сансиро в облике Дайскэ вступает в жизнь. Его бездеятельность в какой-то мере может восприниматься как вызов обществу, но в то же время и как растерянность, узость интересов, неспособность увидеть цель и найти в себе силы стремиться к ней. Даже если свою бездеятельность он и прикрывал неприятным действительности. Что представляет собой так называемый «просвещенный век»? Чего он требует от человека? Дайскэ не находит ответа на эти вопросы. С его точки зрения отец не прав, твердя ему, что храбрость, самоотверженность нужны во все времена. Нет, «храбрость сейчас вытеснили другие, более ценные человеческие качества», — уверен Дайскэ. Но какие качества? На этот вопрос он не в состоянии ответить. Он решил перечеркнуть все — и добро и зло. «Трудиться ради хлеба насущного», употребляя его собственное выражение, Дайскэ считает для себя унижительным, и он убежден, что заниматься «каким-нибудь полезным де-

лом», к чему призывает его отец, немисливо и даже вредно в тех условиях, в которых живет Япония.

«Жизнь теряет смысл, если не приносишь людям хоть какой-нибудь пользы», — говорит отец Дайскэ. Он и брат Дайскэ — холодные, даже, может быть, жестокие, расчетливые дельцы, прикрывающие жажду наживы рассуждениями о том, что их процветание сопрягается с процветанием Японии и, следовательно, с процветанием всего народа. Вряд ли нужно доказывать ложность подобной посылки. Но такой же ложной представляется и посылка Дайскэ, убежденного, что его бездеятельность может пойти на пользу японскому обществу.

Созерцатель Дайскэ и делец-брат оба принадлежат к потерявшему поколению, обманутому в своих надеждах на новую жизнь в постемэйдзийской Японии. Это поколение обманутое, изверившихся по-разному сталкивается с действительностью. Одни, как, например, брат Дайскэ, поняв, что их обманули, пытаются приспособиться к реальной действительности, другие, подобные Дайскэ, противопоставляют себя действительности, но не деятельностью, а бездействием. Жизнь буквально просачивается у него между пальцами. Но Нацумэ не напрасно говорит, что в романе он не рассказывает о том, что произошло с героем затем. А это весьма знаменательно. На последних страницах романа Дайскэ предстает уже совершенно иным человеком. Он нашел свою любовь, свой идеал и благодаря этому, мы убеждены, найдет и свое место в жизни. Во всяком случае, такой путь для него не отрезан.

Совершенно иного, до конца опустошенного, разуверившегося в себе и в жизни, героя встречаем мы во «Вратах». Его обирает семейство дяди, брат лишен возможности продолжать учебу в университете — это, так сказать, неприятности семейные, но он встречает их в какой-то полудреме, безразлично, без возмущения. Так же мало волнуют его и события, происходящие в стране. В Маньчжурии убили князя Ито — его и это совершенно не взволновало. Возникает вопрос: откуда у Соскэ такое безразличие, такая апатия? Ведь прежде, в молодости, он был совсем другим — решительным, энергичным. Его все интересовало, он с удовольствием путешествовал по стране, осматривал древние храмы, развлекался с друзьями. В общем, вел совсем не отшельническую жизнь, не отгораживался от мира, от людей. И вдруг все рухнуло. Его беззаботной жизни пришел конец — он полюбил девушку, сестру своего университетского товарища, и они стали жить вместе, не получив благословения родителей. Они решили устроить свою судьбу сами, нарушив вековую традицию сговора между родителями, И в их жизни все перевернулось. От них отвернулись знакомые, друзья, родные, Соскэ вынужден покинуть

университет. Возмущение окружающих так велико, что и брат девушки должен уйти из университета.

Так юноша и девушка, не успев вступить в жизнь, оказываются жертвами феодальных отношений, все еще живых, еще цепко держащих в своих лапах сознание людей. Происходит катастрофическое столкновение нового со старым. Блестящий молодой человек, внутренне убежденный, что новая, послереволюционная Япония должна по-новому смотреть на отжившие традиции, решается нарушить каноны старой морали. Ему бы очень хотелось верить, что Япония начала XX века бесконечно далеко ушла от средневековья, что наступили другие времена, что цивилизованная страна должна цивилизовать и нравы. Но он одновременно понимает, что внешнее, показное катастрофически противоречит внутреннему, органическому. И хотя он сознает, что духовно Япония живет еще в глубоком средневековье, все же решается на бунт, окончившийся катастрофой: Соскэ — жертва неудавшегося бунта.

Но это лишь одна сторона проблемы. Есть и другая. Почему Соскэ оказался жертвой, почему он отказался от борьбы? В первую очередь потому, что и сам он внутренне не готов к новому, психологически живет еще в «старой, доброй Японии». Он тоже — одна из «заблудших овец». Смутно он понимает, что новая жизнь пусть не настезь, чуть-чуть, но все же приоткрыла ему врата. Но он также понимает и то, что дорога, ведущая во врата, не гладкая, не простая, что право идти по ней нужно завоевать, а проще, нужно самому искать эту единственно верную, единственно настоящую дорогу, а может быть, даже самому вымостить ее. Войдя во врата, он найдет там что-то светлое, прекрасное. Но найдет ли? Не окажется ли там пустота и все поиски, все усилия его пойдут прахом? Кто ответит на этот вопрос? Рискнуть? Но он не способен на такой риск. И вот он стоит, полный сомнений, у врат, не зная, на что решиться. Он понимает, что любой ценой, даже ценой собственной гибели, должен вырваться отсюда, но не в силах преодолеть страх перед неизвестностью, раскинувшейся за вратами. Для последнего, решительного шага он не готов.

Поставив в своей трилогии чрезвычайно важную проблему человеческой личности в столкновении с набирающим силы буржуазным обществом Японии, Нацумэ так и не смог найти решения этого конфликта. Позиция стороннего наблюдателя, избранная Хиротой, есть лишь — Нацумэ это прекрасно понимает — неприятие действительности, но никак не путь решения конфликта, не средство отрицания буржуазного общества. Сродни этой позиции и бездействие Дайскэ, и попытка Соскэ найти выход, став монахом. В монастыре царит все та же идея Хироты —

уйти от действительности. Главное — не размышлять о том, что тебя окружает, говорит наставник Соскэ монах Гидо. Покой можно обрести, лишь углубившись в себя. Другими словами, его призывают разрешить жизненные конфликты, не вмешиваясь в жизнь. Соскэ достаточно реалистически мыслящий человек, чтобы понять всю химеричность подобной идеи. Действительно, «потому ли они предаются самосозерцанию, что на душе у них легко и спокойно, — думает Соскэ о монахах, — или, напротив, в самосозерцании обретают желанный покой»? И, уйдя из монастыря, как бы отвечает на это: самосозерцание не путь решения конфликта человек — общество. Все же в последнем романе трилогии, во «Вратах», Нацумэ подводит своего героя вплотную к тому рубежу, за которым может лежать решение проблемы. Но беда в том, что и сам Нацумэ не знает, что находится за вратами. Вернее, удовлетворит ли его героя мир, который он обнаружит там. Ведь то, что одному кажется благом, другой решительно не приемлет. Пока ни сам Нацумэ, ни та интеллигенция, с которой мы познакомились в его трилогии, не знают, к чему стремиться, не знают, что может ждать их за вратами. Они достаточно ясно понимают, что не устраивает их в окружающей действительности, но еще не созрели, чтобы осознать, во имя чего и, главное, как перестроить эту действительность. Вот почему и замер Соскэ перед вратами, так же замер перед ними и сам Нацумэ.

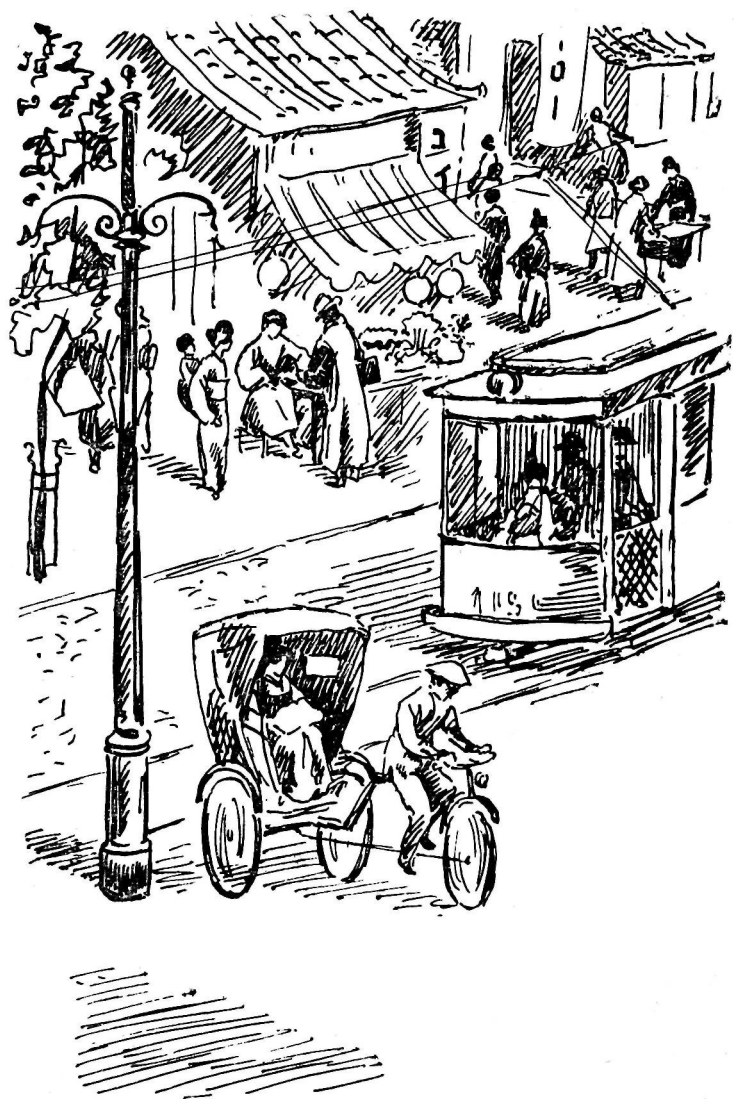
Русскому читателю, незнакомому с японской традицией, входящей к искусству дзэн-буддизма, повествование Нацумэ может показаться разорванным, фрагментарным, образы — недостаточно четко обрисованными. И это действительно так, но происходит не от небрежности или неумения писателя, а есть выражение его эстетических принципов. Автор лишь намекает, лишь дает толчок читательской мысли, делает читателя творцом, а не простым зрителем. Вспомните трехстишия Басё, вспомните изломанную веточку на белом фоне — здесь лаконичность не оттого, что писателю или художнику нечего сказать. Наоборот, глубокая, бездонная мысль, выраженная несколькими словами, двумя-тремя штрихами, будит ответную мысль читателя, зрителя, заставляет его рисовать в своем воображении такую богатую, такую необъятную картину, какой не создать ни в словах, ни в красках ни одному художнику. Такова эстетика искусства дзэн-буддизма. Поняв ее, читатель сможет глубже проникнуть в трилогию Нацумэ.

В. ГРИВНИН

САНСИРО



РОМАН



Еще полусонный, он открыл глаза и увидел, что женщина успела разговориться со стариком, занявшим место рядом с нею. Вероятно, это был тот самый деревенского вида старик, который сел двумя станциями раньше. Поезд уже тронулся, когда он, громко причитая, вбежал в вагон и вдруг сбросил с плеч кимоно, обнажив спину, всю покрытую следами от прижиганий моксой. Именно поэтому он и запомнился Сансиро. Сансиро наблюдал за стариком, пока тот, вытирая пот и натягивая на себя кимоно, не уселся рядом с женщиной.

Женщина села в поезд в Киото и сразу привлекла внимание Сансиро своей смуглой кожей. По мере того как поезд приближался к Осака, кожа у женщин становилась светлее, и в душу Сансиро закрадывалась тоска по родным местам. Вот почему в этой смуглой женщине Сансиро почувствовал что-то родное. Кожа у нее была, если можно так сказать, настоящего кюсюского цвета, точь-в-точь как у О-Мицу-сан из Мивата. Эта О-Мицу-сан изрядно ему надоела, и он радовался, что расстается с нею. Но сейчас он даже О-Мицу-сан вспоминал с умилением.

Правда, у этой женщины черты лица были более совершенны. Резко очерченные губы, живые ясные глаза и лоб по такой широкий, как у О-Мицу-сан. Словом, она производила приятное впечатление, и Сансиро то и дело посматривал на нее. Изредка их взгляды встречались. Особенно внимательно, почти не отрывая глаз, Сансиро разглядывал женщину в тот момент, когда возле нее усаживался старик. Улыбнувшись, женщина подвинулась и сказала: «Ну, садись!» Немного спустя Сансиро стало клонить ко сну, и он задремал.

Видимо, пока он спал, женщина и старик разговорились. Проснувшись, Сансиро стал молча слушать их беседу.

Женщина говорила, что в Киото игрушки дешевле и лучше, чем в Хиросиме. В Киото у нее были кое-какие дела, она задержалась и заодно купила игрушек в лавочке возле Такоякуси¹. Ей очень радостно, что после долгой разлуки она едет

¹ Такоякуси — название буддийского храма в Киото.

на родину и увидит детей. И в то же время тревожно — она едет в деревню к родителям потому, что муж вдруг перестал присылать деньги. Он долгое время был рабочим на военноморской базе Курэ, а во время войны его отправили под Порт-Артур. После войны он вернулся домой, но вскоре заявил, что, мол, в тех краях легче подзаработать денег, и уехал в Дайрен, Первое время он письма писал и деньги присылал аккуратно, в общем, все шло хорошо, но вот уже почти полгода от него ничего нет. Он, конечно, не изменил ей, не такой у него характер, и на этот счет она спокойна. Но не сидеть же так до бесконечности, вот она и решила пожить пока у родителей. Это единственное, что ей остается.

Старик, видно, понятия не имел, что такое Такоякуси, да и игрушками не интересовался, потому вначале только поддакивал, однако, услышав о Порт-Артуре, сразу проникся сочувствием к женщине и сказал, что очень ее понимает. Его сына тоже взяли на войну, и он погиб. Вообще неизвестно, кому нужны войны. Добро бы потом лучше жилось. А то убивают твою плоть — детей. Цены растут. Ничего глупее и не придумаешь. В добрые старые времена и не слышно было, чтобы кто-нибудь уезжал на заработки. Все война натворила. Во всяком случае, надо уповать на бога. Муж, наверно, жив и работает. Надо подождать немного, он непременно вернется... Старик горячо и искренне утешал женщину. Вскоре поезд остановился, и старик, сказав женщине: «Счастливого п у т и », — вышел из вагона.

Вслед за стариком сошли еще несколько пассажиров, а сел всего один. В полупустом вагоне и без того было уныло, а тут еще зашло солнце. Громко топая, прошли по крышам станционные рабочие, вставлявшие зажженные керосиновые лампы в отверстия в потолке вагонов. Сансиро вспомнил о бэнто¹, купленном на предыдущей станции, и принялся за еду.

Как только поезд тронулся, женщина встала и вышла из купе. Только сейчас он обратил внимание на цвет ее оби. Отправив в рот кусок сваренной на пару форели и усиленно двигая челюстями, он подумал: «Наверное, вышла по нужде».

Женщина вскоре вернулась и встала так, что Сансиро мог видеть ее лицо. Энергично работая палочками для еды, Сансиро склонился над коробкой и доел последние кусочки рыбы. Женщина как будто не собиралась садиться и стояла, не меняя позы. Но как только Сансиро взглянул на нее, она двинулась было с места, потом остановилась и высунула голову в окно. Он видел, как развевались на ветру ее волосы. В этот момент он как раз с силой швырнул в окно пустую коробку из-под еды, но тут же испугался собственной оплошности: ему показалось, что подхваченная встречной струей воздуха крыш-

¹ Бэнто — завтрак в коробке, который берут из дому или покупают.

ка коробки, кружась, летит обратно, а женщина стояла у соседнего окна. Он быстро посмотрел в ее сторону. Однако женщина как ни в чем не бывало подалась назад и принялась тщательно вытирать лоб ситцевым платком. Сансиро решил, что на всякий случай лучше извиниться, и сказал:

— Прошу прощения!

— Ничего, — ответила женщина, все еще вытирая лицо. Сансиро виновато замолчал. Женщина тоже больше ничего не сказала и снова высунулась в окно. Остальные пассажиры дремали при тусклом свете фонаря. Тишину нарушал только оглушительный грохот колес поезда.

Сансиро закрыл глаза, но вскоре открыл их, услышав голос женщины; «Скоро Нагоя, да?» Спрашивая, женщина слегка наклонилась к Сансиро. Несколько удивленный, он ответил: «Да», — хотя не имел об этом ни малейшего представления, так как ехал в Токио в первый раз.

— Поезд, пожалуй, опоздает, чересчур медленно идет!

— Пожалуй, опоздает.

— Вы тоже сходите в Нагое?

— Да.

Нагоя была конечной станцией. Обменявшись этими ничего не значащими словами, оба умолкли. Женщина села чуть наискосок от Сансиро. Снова наступила тишина, нарушаемая лишь стуком колес.

На следующей станции, извинившись за беспокойство, женщина попросила Сансиро, когда они приедут в Нагую, проводить ее в гостиницу. Страшновато одной, пояснила она. Все это так, но Сансиро не знал, как поступить. Он ведь ее совсем не знает. Ответить отказом не хватило духу, он промямлил что-то невнятное и всю дорогу до Нагои мучился сомнениями.

Весь багаж Сансиро был отправлен малой скоростью до Симбаси — это избавляло его от лишних хлопот. Так что из вагона он вышел с парусиновым чемоданчиком и зонтом. На голове у него была гимназическая фуражка, правда, без значка — после окончания колледжа он его не носил. Следом за ним шла женщина, и Сансиро, в своей гимназической фуражке, чувствовал себя очень неловко. Она наверняка думает, размышлял он, какая на нем дешевая и грязная фуражка. Но что он мог сделать?

Вместо половины десятого поезд прибыл в начале одиннадцатого — опоздал почти на сорок минут. Но, несмотря на позднее время, на улицах в эту жаркую пору было оживленно, как ранним вечером. Рядом с вокзалом было несколько гостиниц, однако все они показались Сансиро чересчур роскошными. Поэтому он с независимым видом миновал эти ярко освещенные трехэтажные здания и не спеша зашагал дальше. Разумеется, он шел наугад по этому незнакомому городу, стараясь попасть в более скромный район. Женщина молча сле-

довала за ним. Наконец они очутились в довольно тихом переулке и здесь на втором от угла доме увидели вывеску «Гостиница». Эта неказистая вывеска вполне устраивала и Сансиро и женщину. Обернувшись, Сансиро спросил: «Подходит?» «Конечно», — ответила женщина, и они решительно вошли внутрь. Они не успели даже предупредить, что нужны две отдельные комнаты, потому что они не муж и жена, как на них обрушился поток слов: «Добро пожаловать... Входите, пожалуйста... Сию минуту проводим... Четвертая комната «Павильона сливы»...»¹ И им ничего не оставалось, как позволить отвести себя в четвертую комнату «Павильона сливы».

В ожидании, пока служанка принесет чай, они рассеянно смотрели друг на друга. Когда же пришла служанка и сказала, что ванна готова, Сансиро просто не решился сообщить, что женщина не имеет к нему никакого отношения. Взяв полотенце, он отправился в ванную, извинившись, что идет мыться первым. В ванной, которая находилась в самом конце коридора, рядом с уборной, было полутемно и довольно грязно. Сансиро разделся и залез в ванну. «Веселенькая история», — думал он, плескаясь в воде. В это время в коридоре слышались шаги. Кто-то, похоже, зашел в уборную, потом вышел и стал мыть руки. Затем скрипнула и приоткрылась дверь, и женщина спросила: «Помыть вас?» Сансиро поспешно крикнул: «Нет, нет, я уже вымылся!» Однако женщина решительно переступила порог и начала развязывать оби — видимо, собиралась мыться вместе с Сансиро. И при этом нисколько не стеснялась. Зато Сансиро выскочил в смятении из воды, наспех оберся, вернулся в номер и уселся на дзабутон². Как раз в это время служанка принесла регистрационную книгу.

Сансиро взял книгу и написал о себе все, как есть: «Сансиро Огава, 23 года, студент, префектура Фукуока, уезд Мияко, деревня Мисаки». Как записать женщину, он совершенно себе не представлял, но служанка ждала, и он написал первое, что взбрело в голову: «Фамилия та же, имя Хана, 23 года, та же префектура, тот же уезд, та же деревня». Он отдал книгу служанке и принялся с усердием обмахиваться веером.

Вскоре женщина вернулась.

— Вы уж, пожалуйста, извините меня, — сказала она.

— Да нет, ничего, — ответил Сансиро.

Сансиро достал из чемоданчика дневник, но записывать было нечего. Если б не эта женщина, он столько бы мог написать! Но тут женщина сказала: «Я сейчас», — и вышла. После этого Сансиро стал думать, куда она пошла, и ни на чем больше не мог сосредоточиться.

¹ В японских национальных гостиницах помещения обозначаются названиями цветов, растений, птиц.

² Дз а б у т о н — подушка для сиденья.

Снова вошла служанка. Стелить постель. Она принесла всего один широкий тюфяк. Сансиро заикнулся было о второй постели, но горничная заявила, что комната слишком мала, да и сетка от москитов невелика и ничего нельзя было сделать. Да и к чему, в самом деле, ей были лишние хлопоты? В конце концов она пообещала, когда вернется управляющий, попросить у него еще один тюфяк, а постель все же постелила под одной москитной сеткой и ушла.

Вскоре женщина вернулась, сказала, что время позднее, и стала возиться около москитной сетки, чем-то позвякивая. Вероятно, игрушками, которые она везла в подарок детям. Но потом, видимо, снова завязала свой узел, и из-за полога слышался ее голос: «Извините, я лягу первая». — «Да, да», — откликнулся Сансиро и, отвернувшись, сел на порог. Может быть, так и провести ночь? Но здесь столько комаров! Изведут! Сансиро вскочил, вынул из чемодана миткалевую рубашку и кальсоны, надел их и подпоясался темно-синим шнуром. Затем, прихватив два полотенца, забрался под сетку.

— Вы извините, но я терпеть не могу спать на чужом тюфяке... И сейчас приму кое-какие меры против блох... Вы уж не взывайте...

С этими словами Сансиро скатал свободный край простыни, соорудив таким образом посреди постели перегородку. А когда женщина повернулась к стене, он расстелил в длину оба полотенца и вытянулся на них. В эту ночь ни рука, ни нога Сансиро ни на дюйм не сдвинулись за пределы его довольно узких полотенец. С женщиной он не обмолвился ни словом. Она тоже не шевелилась и лежала, отвернувшись к стене.

Наконец рассвело. Когда они умылись и уселись за стол, женщина с улыбкой спросила: «Ну что, не тревожили вас блохи?» — «Нет, спасибо, вы очень добры», — с серьезным видом ответил Сансиро, глядя в пол и отправляя в рот одну за другой бобовые пастилки.

Когда, расплатившись и покинув гостиницу, они пришли на вокзал, женщина сообщила Сансиро, что едет в сторону Йоккайти по Кансайской линии. У нее оставалось еще немного времени, и она проводила Сансиро до самого выхода на перрон, сказав на прощанье:

— Я доставила вам много хлопот... Счастливого пути!

Она вежливо поклонилась. А Сансиро, держа в одной руке чемоданчик и зонт, свободной рукой снял свою старую фуражку:

— До свиданья!

Женщина пристально на него посмотрела и вдруг очень спокойно проговорила:

— А вы робкий! — И насмешливо улыбнулась при этом. Сансиро будто щелкнули по носу. И у него еще долго горело лицо.

Некоторое время он сидел, съежившись, и не двигался. Вскоре раздался свисток кондуктора, слышный из конца в конец длинного состава, и поезд тронулся. Сансиро встал и украдкой выглянул в окно. Но женщины уже не увидел. Лишь большие вокзальные часы бросились ему в глаза. Сансиро снова сел. Никто не обратил на него внимания, хотя в вагоне былолюдно. Только мужчина, сидевший наискосок от Сансиро, скользнул по нему взглядом.

От этого взгляда Сансиро стало почему-то не по себе. Чтобы рассеять тревогу, он решил почитать и открыл чемодан. Там наверху лежали полотенца, на которых он спал. Сдвинув их, Сансиро вытащил первую попавшуюся под руку книгу. Это оказались «Статьи» Бэкона в жалкой тонкой бумажной обложке. Он их так и не понял, сколько ни читал. Несколько книг не уместилось в большой корзине, и он бросил их, в том числе и Бэкона, в чемоданчик. Но ни одна из них не годилась для чтения в дороге. Сансиро раскрыл Бэкона на двадцать третьей странице. Он вообще сейчас был не в силах читать, тем более Бэкона. Однако книгу он раскрыл с должным уважением и стал пробегать глазами строку за строкой, в то же время перебирая в памяти события вчерашнего вечера.

Что, собственно, представляет собой эта женщина? Просто не верится, что есть такие на свете и что создание, именуемое женщиной, может быть столь спокойным и невозмутимым. Смелая она или невежественная? Может быть, просто наивная? Но что он мог сказать о ней, раз не вышел за пределы дозволенного? Он просто струсил. Услышав на прощанье: «А вы робкий!» — он был ошарашен, словно его уличили в том, что ему всего двадцать три года. Даже родители не могли бы сказать более метко.

От этих мыслей Сансиро окончательно приуныл. После такой пощечины, казалось ему, полученной бог знает от кого, стыдно смотреть людям в глаза, да и перед двадцать третьей страницей Бэкона он тоже кругом виноват.

Нельзя все же так теряться. И дело тут совсем не в образовании, а в характере. Можно было вести себя несколько иначе. Но если и впредь он окажется в подобном положении, он все равно не сможет поступить по-другому.

И тем не менее, думал Сансиро, он малодушен. И чересчур стеснителен, словно физически неполноценен. И все же...

Тут Сансиро отогнал прочь все эти мысли и заставил себя думать о другом. Он едет в Токио. Там он поступит в университет. Будет общаться с известными учеными. Со студентами, людьми культурными, обладающими хорошим вкусом. Будет посещать библиотеку. Займется литературной работой. Завоюет популярность. И всем этим доставит матери радость. Наивные мечты о будущем помогли Сансиро обрести душевное равновесие, и теперь уже незачем было зарываться лицом в двадцать третью страницу Бэкона. Сансиро поднял голову и снова

встретился взглядом с сидевшим напротив мужчиной, но на этот раз не отвел глаз.

Худошавый, с густыми усами и длинным лицом, этот мужчина чем-то напоминал синтоистского священника, только нос у него был прямой, как у европейца. Судя по белому касури¹, видневшейся из-под него безупречно белой рубашке и темно-синим таби², он был учителем средней школы, что Сансиро, человеку с большим будущим, не внушало почтения. Ему, пожалуй, уже все сорок, и теперь он вряд ли чего-нибудь добьется в жизни.

Мужчина непрерывно курил. Он казался на редкость флегматичным, пока сидел, скрестив руки на груди и выпуская из носа длинные струи дыма. Правда, он часто выходил, то ли по нужде, то ли еще зачем-то, и, вставая, энергично потягивался. Он, видимо, томился скукой, но не проявлял ни малейшего интереса к газете, которую уже успел прочесть и положить рядом с собой его сосед. Дивясь этому, Сансиро закрыл Бэкона и решил было почитать какой-нибудь роман, но достать его из чемодана поленился. Он охотно почитал бы газету, но владелец ее, как нарочно, крепко спал. Сансиро все же потянулся к газете, спросив на всякий случай человека с усами: «Никто не читает?» Тот спокойно ответил: «Как будто нет, возьмите». Сансиро нерешительно взял газету. Развернул — ничего интересного! Буквально за две минуты он просмотрел ее всю от начала до конца, аккуратно сложил и, кладя на место, слегка поклонился. Пассажир с усами кивнул и спросил:

— Вы учились в колледже?

— Да, — ответил Сансиро, радуясь тому, что след от значка на его старой фуражке привлек внимание этого человека.

— В Токио?

— Нет, в Кумамото... Но теперь... — начал было Сансиро и замолчал, так и не сообщив, что собирается поступать в университет. А пассажир с усами ограничился неопределенным: «А, так, так», — и продолжал дымить сигаретой. Даже не любопытствовал, почему Сансиро едет из Кумамото в Токио. Видно, учащиеся из Кумамото его совершенно не интересовали. В это время крепко спавший пассажир произнес, по-видимому, во сне: «Гм, в самом деле». Пассажир с усами взглянул на Сансиро и усмехнулся. Воспользовавшись этим, Сансиро спросил:

— А вы куда едете?

— В Токио, — нехотя ответил тот. Он почему-то больше не казался Сансиро учителем средней школы. Одно было

¹ Касури — японская летняя одежда из белой материи с синим или черным узором.

² Таби — японские носки из плотной материи с отделенным большим пальцем.

ясно, что персона он не очень-то важная, раз едет в третьем классе. Сансиро не стал продолжать разговор. Усатый же, сидя по-прежнему со скрещенными на груди руками, изредка постукивал по полу ногой. Он, видно, и в самом деле очень скучал, но явно не был расположен к разговору.

В Тоёхаси крепко спавший пассажир вскочил и, протирая глаза, вышел из вагона. Вот как важно уметь проснуться вовремя, подумал Сансиро. Он понаблюдал за пассажиром из окна: не перепутал ли тот со сна станцию? Ничуть не бывало. Человек спокойно миновал контролера и бодро зашагал по направлению к городу.

Сансиро успокоился и пересел на противоположную скамью, рядом с усатым. А тот высунулся в окно, чтобы купить персики.

— Не хотите ли? — Он положил персики между собой и Сансиро.

Сансиро поблагодарил и взял персик. Усатый, видимо, очень любил персики и поглощал их один за другим.

— Берите еще, — сказал он Сансиро. Сансиро съел еще персик. Постепенно они разговорились.

Усатый заявил, что персики, не в пример другим фруктам, фрукт святой, как отшельник¹. И вкус у него какой-то странный, а главное, косточка нескладная, шероховатая — вот забавно! «Что за чушь он несет», — подумал Сансиро, никогда не слышавший ничего подобного.

А усатый продолжал рассказывать. Он сообщил Сансиро, что Сики² очень любил фрукты и мог съесть их сколько угодно. Однажды он проглотил один за другим шестнадцать крупных плодов хурмы. И хоть бы что. Мне, заявил усатый, никак не угнаться за Сики... Сансиро рассмеялся. О Сики, по крайней мере, интересно было слушать. «Может быть, он еще что-нибудь расскажет о знаменитом поэте?» Однако собеседник заговорил совсем о другом.

— Рука как-то сама тянется к тому, что любишь. И ничего тут не сделаешь. У свиньи, скажем, нет рук, так она тянется рылом. Говорят, что если свинью крепко связать и поставить перед ней еду, рыло у нее будет постепенно вытягиваться до тех пор, пока не достанет до еды. Вот уж поистине, охота пуще неволи.

Он добродушно улыбнулся. Трудно было понять, говорит он серьезно или шутит.

¹ Сравнение основано на игре слов: персик может обозначаться иероглифами, обозначающими «священный плод»; согласно древней китайской легенде, персик является атрибутом небесной феи Сиванму.

² Поэт Масаока Сики (1867—1902), основатель журнала «Хотоогису» («Кукушка»), органа поэтов, писавших в жанре «хайку». С Нацумэ, который сотрудничал в этом журнале, его связывала тесная дружба.

— Так вот, повезло нам с вами, что мы не свиньи. Но то туго бы нам пришлось. Наши носы, следуя нашим желаниям, вытянулись бы до таких размеров, что в поезд нам было бы не сесть.

Сансиро прыснул. Однако усатый, как ни в чем не бывало, продолжал:

— Нет, в самом деле это опасно. Жил такой человек по имени Леонардо да Винчи, так он в качестве опыта в ствол персикового дерева ввел мышьяк. Хотел, видите ли, узнать действие яда на плоды. Но кто-то поел персиков с его дерева и умер. Опасная штука! Очень опасная. Лучше не рисковать.

С этими словами он завернул косточки и кожуру от персиков в газету и выбросил за окно.

У Сансиро вдруг пропала всякая охота смеяться. Имя Леонардо да Винчи привело его почему-то в трепет, он вдруг вспомнил о вчерашнем вечере и притих. Но усатый, видимо, этого не заметил.

— Где же вы собираетесь остановиться в Токио?

— Пока не знаю. Дело в том, что я еду туда впервые... Вначале, может быть, устроюсь в студенческом общежитии нашей префектуры...

— Значит, Кумамото уже...

— Да вот только окончил.

— А, так, т а к, — сказал усатый, опустив «поздравляю» или «прекрасно», и спросил: — Хотите, значит, поступать в университет? — Спросил, как о чем-то самом обыденном. Сансиро даже обиделся. И ответил лишь коротко:

— Да.

— А на какой факультет? — последовал вопрос.

— На первый.

— На юридическое отделение?

— Нет, на филологическое.

Усатый снова произнес свое «так, так», которое всякий раз вызывало у Сансиро какое-то странное ощущение. Этот человек либо важная птица, либо вообще смотрит на других свысока, а может быть, у него просто весьма смутное представление об университете. Какое из трех предположений верно — неизвестно, и Сансиро поэтому не знал, как следует вести себя с усатым.

В Хамамацу оба, точно сговорившись, стали завтракать. Поезд все еще стоял. По перрону прогуливались иностранцы. Среди них, видимо, была супружеская пара. Несмотря на жару, они ходили под руку. Одетая во все белое, женщина была необыкновенно хороша. За всю свою жизнь Сансиро довелось знать всего нескольких европейцев: двух преподавателей колледжа в Кумамото — один из них, правда, был горбун, и миссионерку, которую он однажды видел, с острыми чертами лица, очень напоминавшую шуку. Не удивительно поэтому, что элегантно одетая красавица иностранка была ему не про-

сто в диковинку, а казалась существом высшего порядка. Сансиро как заворуженный смотрел на нее не отрывая глаз. При такой внешности, решил он, можно простить и надменность, и тут же подумал, насколько жалким выглядел бы он в Европе среди таких вот людей. Как ни прислушивался Сансиро к разговору супругов, когда они проходили мимо его окна, он ничего не мог понять, настолько отличалось их произношение от того, которому учили в колледже.

Усатый тоже выглянул в окно из-за спины Сансиро.

— Все еще никаких признаков отравления? — спросил он, посмотрел на европейцев-супругов и, подавляя зевок, вполголоса заметил: — Красавица, правда?

Тут Сансиро спохватился, что ведет себя как деревенщина, резко отвернулся от окна и сел на свое место. Последовав его примеру, сосед сказал:

— Да, ничего не скажешь, европейские женщины действительно хороши.

Сансиро не нашелся, что ответить, лишь улыбнулся. Усатый продолжал:

— Бедняги мы с вами. Ни лицом не вышли, ни ростом не удались, и ничто нам уже не поможет: ни победа в войне с Россией, ни даже превращение Японии в перворазрядную державу. Впрочем, под стать нам и дома и сады. Вы вот не бывали еще в Токио и не видели Фудзисан. Она скоро покажется. Это единственная достопримечательность Японии. Больше похвалиться нечем! Но ведь Фудзисан существует сама по себе. Не мы ее создали.

Усатый опять усмехнулся. Встреча с таким человеком была для Сансиро полной неожиданностью, особенно после русско-японской войны. Просто не верилось, что он японец.

— Но теперь наша страна день ото дня будет развиваться я, — вступился за Японию Сансиро.

— Погибнет! — спокойно изрек усатый.

«В Кумамото избивали бы за такие речи. А то и к ответу притянули бы как государственного преступника», — подумал Сансиро, у которого не могло даже возникнуть подобных мыслей. Поэтому он решил, что усатый над ним потешается, пользуясь его молодостью. Тот и в самом деле улыбался своей добродушной улыбкой. Однако тон у него был совершенно серьезный, и Сансиро, озадаченный, замолчал. Тогда усатый сказал:

— Токио больше Кумамото. Япония больше Токио. А человеческая мысль... — Он сделал паузу, взглянул на Сансиро и, убедившись, что тот слушает, сказал: — Человеческая мысль необъятна. Нельзя заниматься самообманом, иначе вместо пользы принесешь Японии вред.

При этих словах Сансиро впервые по-настоящему ощутил, что покинул Кумамото. В то же время он не мог не подумать, насколько был труслив, когда жил там.

В Токио поезд прибыл вечером, и Сансиро расстался с усатым, который так и не назвал своего имени. Впрочем, Сансиро это не очень интересовало, он полагал, что подобных людей будет встречать в Токио на каждом шагу.

2

Многое в Токио удивляло Сансиро: и как звенят трамваи, и какое множество людей успевает входить и выходить из вагонов, и здания делового квартала Маруноути. Но больше всего его поражало то, что идешь-идешь по Токио, а конца все нет. Везде, где бы он ни бродил, он видел штабеля строительного леса, груды камня, в глубине кварталов возводились новые дома, а перед ними продолжали еще стоять старые, полуразрушенные. Казалось, что все рушится. И в то же время строится. Все было в движении, менялось буквально на глазах.

Сансиро был подавлен тем, что чувствовал себя словно деревенский житель, впервые попавший в большой город. Все знания, полученные им в колледже, оказались вдруг несостоятельными, как патентованное средство против болезни. Он растерял чуть ли не наполовину уверенность в себе, и это очень его угнетало.

Если такая кипучая деятельность и есть реальный мир, значит, до сих пор он жил вне его, словно среди бела дня спал на перевале Хорагатоэ¹. Так может ли он сейчас проснуться и начать действовать? Трудный вопрос. Он попал в самый центр деятельности пока лишь в качестве наблюдателя, поскольку, как и прежде, был всего-навсего студентом. Все в мире непрерывно движется, он это видит, но вынужден оставаться безучастным. Его мир и мир реальный лежат в одной плоскости, но ни в одной точке не соприкасаются. Сансиро не угнаться за непрерывно движущимся миром. И это сильно его тревожит.

Такие чувства обуревали Сансиро, когда он, стоя в самом центре Токио, смотрел на пронесившиеся мимо трамваи, поезда, на людей в белых кимоно, на людей в черных кимоно.

¹ Хорагатоэ — горный перевал на границе префектур Киото и Осака. Здесь в 1582 г. расположил свой лагерь Цуцунэ Дзюмпэй, военачальник, находившийся на службе объединителя Японии сёгуна Ода Нобунага. Он бездействовал, выжидая исхода сражения между Тоётоми Хидэёси (сподвижником Ода Нобунага) и Акэти Мицухидэ (приближенным Ода Нобунага, изменившим ему, предательски убившим его в храме Хоигандзи и затем повернувшим свои войска против Тоётоми Хидэёси), чтобы решить, к кому из них примкнуть. Это событие стало синонимом либо выжидательной позиции, либо двуличной и предательской политики.

Сансиро и не подозревал о существовании другого мира, мира духовного, составляющего внутреннюю жизнь студентов. Идеи Мэйдзи преобразили Японию за сорок лет. На подобные коренные перемены Западу понадобилось целых три века.

Однажды, когда Сансиро, сидя дома, скучал в одиночестве в самом центре беспрерывно меняющего свой облик Токио, пришло письмо от матери. Первое письмо, полученное им в Токио. Мать писала обо всем понемножку. Прежде всего она сообщала, что нынче, хвала господу, богатый урожай, затем просила его беречь здоровье, а также остерегаться хитрых и злых людей, которых так много в Токио («так что будь осторожен»). Из письма он узнал, что деньги на ученье будет получать в конце каждого месяца («так что не беспокойся»). Заканчивалось письмо сообщением о двоюродном брате Масэсан из семьи Кацууда, который, как она слышала, окончил естественный факультет и теперь, кажется, работает в университете. Пусть Сансиро его навестит и попросит помочь. Имя этого человека, что было, собственно, самым главным, она, видимо, поначалу забыла написать, так как на полях была приписка: «Г-н Сохати Нономия», и несколько новостей. Ао, черный конь Саку, вдруг заболел и издох, Саку очень переживает. О-Мицу-сан принесла в подарок форель, и они всю ее съели — в Токио, увы, не пошлешь, протухнет в дороге. И еще кое-что в том же духе.

От письма на Сансиро пахнуло стариной. Ему просто некогда читать подобные письма. Только вот матушку не хочется обижать. Тем не менее он перечел письмо дважды. Ведь, по существу, реальный мир, с которым он сейчас соприкасается, — это мать. Она живет по старинке в деревне. Есть еще женщина, с которой он ехал вместе в вагоне. Но она мелькнула, как молния, и Сансиро едва ли может считать ее чем-то реальным. Поразмыслив, Сансиро решил навестить Сохати Нономию, как наказала мать.

Следующий день выдался особенно жарким. «Вряд ли в каникулы я найду Нономию в университете», — думал Сансиро. Однако адреса его мать не сообщила, и Сансиро решил все же сходить на факультет навести справки. Около четырех часов дня, миновав здание колледжа, Сансиро вошел в ворота университета со стороны улицы Яёи. На двухдюймовом слое пыли, покрывавшем улицу, виднелись отпечатки гэта, ботинок, варадзи¹, не говоря уже о следах колясок рикш и велосипедов — они попадались на каждом шагу. Идти было душно и противно. Правда, в университетском дворе Сансиро почувствовал облегчение: там росло много деревьев. Первая дверь,

¹ Гэта — национальная обувь, деревянная подошва с двумя поперечными подставками, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец. Варадзи — соломенная обувь.

которую он толкнул, оказалась запертой. Обогнул здание — тоже напрасно. Наконец он заметил боковую дверь. На всякий случай толкнул — она подалась. В коридоре дремал служитель. Сансиро объяснил ему цель своего прихода. Некоторое время служитель разглядывал рошу Уэно за окном, видимо, никак не мог проснуться, потом вдруг сказал: «Он, кажется, здесь», — и ушел куда-то. Ничто не нарушало тишины. Вскоре служитель вернулся и сказал:

— Пройдите.

Сказал просто, словно старому приятелю. Сансиро торопливо последовал за служителем, свернул за угол и по коридору с цементным полом спустился вниз. Сразу стало темно, будто после яркого, слепящего солнца. Но через некоторое время глаза привыкли к темноте и стали различать окружающие предметы. Слева показалась настежь открытая дверь. Из нее высунулась голова: широкий лоб, большие глаза. Черты лица, как у буддийского бонзы. Очень высокий и очень худой, что, видимо, помогало легко переносить жару. Поверх летней рубашки накинута пиджак, кое-где в пятнах. Человек поклонился.

— Пожалуйте сюда, — сказал он, и голова его скрылась в комнате. Сансиро подошел и заглянул внутрь. Нономия уже сидел на стуле. — Пожалуйте сюда, — повторил он, жестом указывая на скамейку — доску, положенную на четыре столбика. Сансиро представился и сел. Потом сказал:

— Рад познакомиться.

Нономия закивал, повторяя:

— Да, да.

И Сансиро сразу вспомнил попутчика — любителя персиков. Сансиро объяснил, что его привело сюда, и замолчал. Молчал и Нономия.

Сансиро стал оглядывать комнату. Посредине стоял длинный дубовый стол. На столе — какой-то большой стеклянный сосуд с водой. Тут же валялись напильник, нож и одна запонка. В противоположном углу на гранитной подставке, примерно в метр длиной, Сансиро увидел сложный прибор величиной с большую банку из-под маринованных овощей и обратил внимание на два отверстия в его стенке. Они сверкали, как глаза удава.

— Блестят, а? — смеясь, произнес Нономия. Затем стал объяснять: — Днем подготовлю все, а поздно вечером, когда стихает шум транспорта и все остальные шумы, спускаюсь сюда, в подвал, и через подзорную трубу смотрю в эти похожие на глаза отверстия. Это опыт с давлением светового луча. Я начал его еще в январе нынешнего года, но столько возни с аппаратурой, что ожидаемых результатов пока еще не удалось получить. Летом здесь сравнительно легко работать, зато в холода совершенно невозможно. Даже в пальто и в шарфе коченеешь...

Сансиро слушал и удивлялся. И в то же время не мог понять, что это за давление светового луча и для чего оно служит.

— Взгляните-ка! — сказал Нономия.

Сансиро забавы ради подошел к подозрной трубе, находившейся метрах в пяти от прибора, и прикинул к ней глазом, но ничего не увидел.

— Ну, что? — спросил Нономия.

— Ничего не видно, — ответил Сансиро.

— Гм, наверно, крышка не снята, — пробормотал Нономия, встал со стула и убрал что-то, надетое на передний край трубы.

Сансиро опять посмотрел в подозрную трубу и на этот раз увидел тускло-белый фон и на нем черные деления, как на линейке. Потом появилась цифра 2.

— Ну, что? — спросил Нономия.

— Вижу цифру два, — ответил Сансиро.

— Сейчас начнет двигаться, — сказал Нономия, повернулся спиной к Сансиро и стал что-то делать.

Вскоре шкала действительно стала двигаться. Двойка исчезла, появилась тройка, затем четверка, пятерка и, наконец, десятка. После этого шкала стала двигаться в обратном направлении: десять, девять, восемь, и так до единицы. Потом остановилась. «Ну, что?» — спросил Нономия. Сансиро, удивленный, оторвал глаз от подозрной трубы, но спросить о назначении шкалы не решился.

Вежливо поблагодарив, Сансиро вышел из подвала и поднялся наверх, туда, где были люди. Жара еще не спала, но Сансиро вздохнул с облегчением. Солнце, все еще ярко светившее, клонилось к западу, бросая косые лучи на широкий склон, по обеим сторонам которого стояли здания технологического факультета, и окна их пылали огнем. Глубокое чистое небо с западного края алело пламенем, и даже голова Сансиро, казалось, была окружена ореолом. По левую сторону от зданий факультета была рощица, пронизанная сейчас лучами вечернего солнца, окрасившего багрянцем просветы между темной листвой. На толстых вязах трещали цикады. Сансиро подошел к пруду и опустил на корточках.

Сюда не доносился шум трамваев, и было очень тихо. Университетское начальство заявило протест, когда хотели пустить трамвай мимо главного входа в университет, и теперь трамвай ходил по Коисикава. Об этом Сансиро как-то прочел в газете, еще когда жил дома, и сейчас это вдруг пришло ему на память вместе с другой мыслью: университет далек от жизни общества, там боятся даже трамвайного шума.

В университете можно встретить такого человека, как Нономия-кун¹, который чуть ли не весь год сидит в подвале

¹ Кун — суффикс, присоединяемый к именам и фамилиям при фамильярном обращении или обращении к сверстнику.

и проводит научные опыты. Одет он так скромно, что его можно принять за рабочего электрокомпауии. Тем большего он заслуживает уважения за то, что в холодном подвале с радостью отдается своей работе. Однако движение шкалы в подозрной трубе не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни. Но, может быть, эта реальная жизнь нисколько не интересует Нономино-кун и этому способствует спокойный воздух, которым он дышит? А что, если и он, Сансиро, попробует вести жизнь затворника-ученого?

Сансиро задумчиво глядел на гладкую поверхность пруда, в котором отражались деревья и голубое небо. На какой-то миг Сансиро забыл обо всем: о трамваях, о Токио, о Японии. Но вскоре его радужное настроение заволокло облачко грусти. Он почувствовал себя одиноким, как если бы его одного оставили в подвале Нономии. Еще учась в колледже в Кумамото, он не раз поднимался на Тацутаяму, где было еще тише, чем здесь, лежал на спортплощадке, сплошь поросшей желтой примулой, и тоже забывал обо всем на свете, но такое одиночество ощутил впервые.

Быть может, на него подействовала кипучая жизнь Токио? Или же... Сансиро покраснел. Вспомнилась женщина, ехавшая с ним в поезде. Оказывается, реальный мир ему очень и очень нужен. Только он кажется опасным и неприступным. Тут Сансиро заторопился домой, писать матери письмо.

Вдруг он заметил на противоположном берегу двух девушек, стоявших на краю обрыва, поросшего деревьями. За деревьями, озаренный последними лучами солнца, виднелся красный кирпичный дом в готическом стиле. Сансиро сидел в тени, и потому и девушки и холм казались ему ярко освещенными. Одна из девушек заслонилась веером, и Сансиро не видел ее лица, зато отчетливо разглядел цвет кимоно и оби. Что поразило его, так это белизна ее таби. Он заметил также, что обута девушка в дзори¹, не рассмотрел только, какого цвета на них ремешки. Вторая девушка была вся в белом, без веера. Щурясь от солнца, она смотрела на многолетние деревья, раскинувшие свои ветви над прудом. Девушка с веером стояла впереди, чуть-чуть загораживая девушку в белом.

Всю эту картину Сансиро воспринял лишь как удивительно красивое сочетание красок. Однако, выросший в провинции, он не смог бы выразить словами ее очарование. Он решил только, что девушка в белом — сестра милосердия.

Сансиро не сводил с девушек восхищенного взгляда. Вот девушка в белом медленно, легко пошла вперед. За ней по-

¹ Дзори — обувь на плоской (без подставок) деревянной подошве, обычно покрытой сверху плетеной соломой, узорчатой материей и т. п.; держится на двух ремешках.

следовала девушка с веером. Вместе они стали неторопливо спускаться вниз по склону.

У самого склона был мостик. Он вел прямо к зданию естественного факультета. Девушки перешли его неподалеку от того места, где сидел Сансиро.

Девушка с веером нюхала маленький белый цветок, который держала в левой руке, и то и дело внимательно его разглядывала. Метрах в трех от Сансиро она вдруг остановилась.

— Что это за дерево? — спросила девушка, глядя вверх. Она стояла под огромным тенистым буком, его ветви почти касались воды.

— Это бук, — наставительно, как ребенку, ответила девушка в белом.

— В самом деле? А орехов еще нет? — Девушка оторвала глаза от бука и тут заметила Сансиро. Сансиро буквально физически ощутил на себе взгляд ее черных глаз. В этот миг поблекли удивительные краски кимоно. Сансиро не смог бы выразить охватившее его чувство. Оно было сродни тому, что он испытал тогда, на станции, когда услышал: «А вы робкий!» Это привело Сансиро в смятение.

Когда девушки проходили мимо Сансиро, та, что держала веер, уронила на землю, прямо к ногам Сансиро, маленький белый цветок. Она казалась моложе девушки в белом. Сансиро смотрел им вслед. Девушка с веером шла позади, и Сансиро видел ее оби с вытканым на ярком фоне камышом. Прическу ее украшала белоснежная роза. Она сверкала в черных волосах девушки.

Сансиро в полной растерянности едва слышно пробормотал: «Все в мире противоречиво!» Что он имел в виду? Атмосферу университета, так не вязавшуюся с обликом этих девушек? Удивительную гармонию красок и взгляд черных глаз? Девушку с веером и почему-то вспомнившуюся ему женщину из поезда? Его планы на будущее или наконец собственный страх перед тем, что приносит огромную радость? Этот юноша, выросший в провинции, не смог бы ответить на такие вопросы. Просто всем существом своим он ощущал, что все в мире противоречиво.

Сансиро поднял цветок, оброненный девушкой. Поднес к лицу, но аромата не почувствовал. Он бросил цветок в пруд, и цветок поплыл. Вдруг кто-то окликнул Сансиро.

Он оторвал взгляд от цветка. На противоположной стороне каменного мостика стоял Нономия.

— Вы еще здесь? — спросил он. Сансиро ничего не ответил, встал и, с трудом передвигая ноги, побрел к своему новому знакомому. Лишь поднявшись на мостик, он крикнул:

— Да.

Вел он себя несколько странно. Однако Нономия оставался невозмутимым.

— Вроде бы прохладно?

— Да, — ответил Сансиро.

Нономия с минуту созерцал пруд, потом стал шарить в кармане. Из кармана торчал конверт с надписью, сделанной женским почерком. Так, видимо, и не отыскав нужной ему вещи, Нономия сказал:

— Сегодня аппарат что-то капризничает, и вечером я, пожалуй, не буду работать. Сейчас хочу прогуляться по Хонго до дому. Не составите мне компанию?

Сансиро охотно согласился. Они поднялись на вершину холма. Нономия остановился там, где недавно стояли девушки, обвел взглядом красный дом, видневшийся из-за рощи, пруд, казавшийся мелким для такого высокого обрывистого берега, и произнес:

— А вид неплохой, верно? Слегка заметны очертания дома в просветах между деревьями. Красиво, не правда ли? Тот дом очень искусно построен. Технологический факультет тоже хорош, но это здание — просто чудо!

Сансиро удивился умению Нономии так тонко все подмечать. Сам он ни за что не определил бы, которое из зданий лучше, и ему ничего не оставалось, как согласиться.

— Вы посмотрите, как великолепно сочетаются эти деревья с водой, в общем-то не бог весть что, но ведь это в самом центре Токио — а как тихо, правда? Только в таком месте и можно заниматься наукой. В последнее время Токио стал слишком шумным. А вот это дворец¹. — Нономия показал на здание слева. — Здесь проходят заседания факультетского совета. Нет, мне там делать нечего. Я вполне доволен жизнью в подвале. Наука сейчас развивается так бурно, что стоит лишь замешкаться, и сразу отстанешь. Может показаться, что человек в подвале в бирюльки играет, а на самом деле мозг его интенсивно работает, даже интенсивнее, может быть, чем трамвай. Поэтому я и летом никуда не езжу — жаль тратить время. — Нономия запрокинул голову и посмотрел на необъятное небо, где угасали последние лучи солнца.

По безмятежно спокойной синеве плыли легкие белые облака, словно кто-то прошелся по небу кистью.

— Знаете, что это? — спросил Нономия.

Сансиро посмотрел на прозрачные облака.

— Это снежная пыль. Отсюда, снизу, кажется, будто она стоит на месте. На самом же деле она движется с большей скоростью, чем ураганы на земле... Вы читали Раскина?²

Сансиро, замявшись, ответил, что читал.

¹ Имеется в виду оставшаяся от феодальных времен резиденция князей Маэда.

² Джон Раскин (1819—1900) — английский теоретик искусства, художественный критик и публицист.

— Неужели? — удивился Нономия и, помолчав, сказал: — Интересно было бы срисовать небо с натуры... Попробую сказать об этом Харагути.

Сансиро, разумеется, не слышал о таком живописце.

От бронзового памятника Бельцу¹ они свернули к храму Каратати и вышли к трамвайной линии. Когда они проходили мимо памятника, Нономия спросил:

— Как, нравится вам этот бронзовый монумент?

И опять Сансиро пришел в замешательство.

На улице было оживленно, один за другим проносились трамваи.

— Вас не раздражают трамваи?

Нет, трамваи не раздражали Сансиро, просто они казались ему чересчур шумными. Однако он ответил:

— Да.

— Меня тоже, — сказал Нономия, впрочем, без тени раздражения. — Сделать нужную мне пересадку я могу лишь после объяснений кондуктора. Иначе запутаюсь. За эти два-три года трамвайных маршрутов стало так много... И это удобство создало массу неудобств. Точь-в-точь как моя наука, — со смехом заметил Нономия.

Близилось начало учебного года, и на улицах встречалось много юношей в новеньких студенческих фуражках. Нономия весело на них поглядывал.

— Вон сколько их понаехало! Энергичные молодые люди. Отлично! Кстати, сколько вам лет?

Сансиро ответил.

— Значит, вы почти на семь лет моложе меня. За семь лет кое-что можно сделать. Но время так быстро летит, правда? Не успеешь оглянуться, как эти семь лет пройдут.

Сансиро так и не решил, какая из этих двух мыслей вернее.

Они подошли к перекрестку. Здесь в многочисленных книжных лавках и у газетных киосков толпились люди. Взяв журнал, они просматривали его и возвращали продавцу.

— Ну и хитрецы! — засмеялся Нономия, полистал номер «Тайе», но тоже не купил. На углу слева находился галантерейный магазин с европейскими товарами, напротив него — с японскими товарами. Мимо них, оглушительно звеня на повороте, мчались трамваи. Из-за страшной толчеи просто невозможно было перейти улицу.

— Мне нужно кое-что купить, — сказал Нономия, указав рукой на японский магазин, и ринулся вперед сквозь ляг и грохот. Сансиро не отставал от него ни на шаг и остановился лишь у магазина, когда Нономия вошел внутрь. Ожидая его,

¹ Эрвин фон Бельц (1849—1913) — профессор медицины, жил в Японии с 1876 по 1906 г., вел в Токийском университете курс физиологии, патологии.

Сансиро вдруг обратил внимание на разрисованные цветами гребни и заколки, выставленные в витрине. «Странно, — подумал Сансиро. — Что может там покупать Нономия-кун?» Он вошел в магазин и увидел, что Нономия держит в поднятой руке ленту, прозрачную, как крылышки стрекозы.

— Ну, как? — спросил его Нономия.

Сансиро подумал, что неплохо бы купить что-нибудь для О-Мицу-сан в благодарность за форель. Но потом решил, что О-Мицу-сан как-нибудь не так истолкует это, и передумал.

На улице Масаго-гё Нономия повел его в европейский ресторан, заявив, что здесь самая лучшая европейская кухня во всем районе Хонго. Однако Сансиро ничего не мог сказать по этому поводу, поскольку ел европейские блюда впервые в жизни. Тем не менее он ел все, что подавали.

Выйдя из ресторана, Сансиро попрощался с Нономией. Он дошел до перекрестка и свернул налево, но, прежде чем ехать в Оивакэ, решил зайти в лавку купить гэта. Там под ярко горевшим газовым фонарем сидела сильно набеленная, словно вылепленная из гипса, девушка, похожая на привидение. Ему почему-то стало неприятно, и он раздумал покупать гэта. По дороге домой он все время вспоминал лицо девушки, которую встретил возле пруда. Оно было розовато-коричневое, как подрумяненный рисовый колобок. С очень гладкой, нежной кожей. В этом Сансиро был твердо убежден.

3

Занятия начались одиннадцатого сентября. Ровно в половине одиннадцатого Сансиро был уже в университете. На доске объявлений у входа висело расписание лекций. Сансиро пришел первым и сразу же переписал в записную книжку дни и часы лекций, которые предстояло слушать, потом зашел в канцелярию. Он спросил находившегося там служащего, когда начнутся лекции. Тот ответил, что должны начаться сегодня.

— Но в аудиториях никого н е т , — возразил Сансиро.

— Видимо, преподаватели еще не явились , — ответил служащий.

«Пожалуй, т а к » , — подумал Сансиро, выходя из канцелярии. Он обогнул здание факультета, остановился под вязом, посмотрел на небо: никогда еще, казалось ему, оно не было таким нежно-голубым. Сансиро прошел заросли низкорослого полосатого бамбука и спустился к пруду. Он то и дело поглядывал на вершину холма в надежде снова увидеть тех девушек, но никто не показывался. Так, собственно, и должно быть, размышлял Сансиро, но не уходил. Выстрел пушки, возвестивший полдень, напомнил Сансиро, что пора возвращаться домой.

На следующий день он пришел в университет ровно в во-

семь. Еще из главных ворот он увидел очень широкую аллею. Эта аллея постепенно переходила в пологий склон, и из главных ворот видна была лишь часть двухэтажного здания естественного факультета, находившегося в самом ее конце. Еще дальше блестела на утреннем солнце роща Уэно. Сансиро невольно залюбовался этим уходящим вдаль пейзажем.

В самом начале аллеи, справа, стояло здание юридического и филологического отделений. Слева, несколько в стороне — естественно-исторический музей. По своей архитектуре оба здания были совсем одинаковы: продолговатые окна, выкрашенные в черный цвет островерхие крыши с узким бордюром из нежно-голубого с зеленоватым оттенком камня, который придавал своеобразное очарование ярко-красным кирпичным стенам. Сансиро еще от Нономии слышал об этих зданиях, но сегодня ему казалось, что это не Нономия, а он сам оценил их по достоинству. Особенно поражала асимметрия расположения этих зданий: музей несколько отступал в глубину; и Сансиро решил при встрече с Нономией непременно сообщить ему о своем открытии.

Его привела в восторг также библиотека, примыкавшая к правому крылу здания юридического и филологического отделений и ничем не отличавшаяся по своей архитектуре — так, по крайней мере, казалось Сансиро. Вдоль ее стен, тоже ярко-красных, росло несколько пальм, великолепно дополнявших общую картину.

Здание технологического факультета очень напоминало средневековый рыцарский замок. Оно было квадратным. Окна тоже были квадратными. Только углы здания и вход были закругленными, как у крепостной башни. В прочности оно тоже не уступало замку. Не то что здание юридического и филологического отделений, которое, казалось, вот-вот рухнет. Оно даже чем-то походило на приземистого борца сумо¹. Сансиро любовался открывшейся ему картиной и, понимая, что видит лишь часть зданий, постепенно проникся ощущением величия университета. Таким и должен быть храм науки. Только в нем и можно вести научные исследования. Университет — это замечательно! Сансиро вдруг почувствовал себя великим ученым.

Он вошел в аудиторию сразу после звонка, но преподавателя еще не было. Не было и студентов. Со следующей лекцией произошло то же самое. Сансиро, раздраженный, вышел из учебного корпуса. Он дважды обошел пруд и поехал домой.

Лекции начались лишь дней через десять. Впервые сидя в аудитории вместе со студентами в ожидании преподавателя, Сансиро испытывал поистине благоговейный трепет. «Такое

¹ Сумо — японская борьба (один из национальных видов спорта).

чувство, — думал Сансиро, — пожалуй, испытывает священник, когда, готовясь к праздничной службе, облачается в свои одежды». Он был буквально подавлен величием науки. И это ощущение усиливалось ожиданием преподавателя, которого все не было, хотя после звонка уже прошло целых четверть часа. Наконец дверь открылась, вошел благообразного вида старик европеец и на английском языке начал лекцию. Сансиро все тщательно записал в тетрадь: и что слово «answer»¹ произошло от англосаксонского «and-swaru», и название деревни, где Вальтер Скотт ходил в начальную школу. Затем была лекция по теории литературы. Войдя в аудиторию, лектор некоторое время разглядывал доску, на которой были написаны слова «Geschehen»² и «Nachbild»³, произнес: «А, немецкий!» — и, рассмеявшись, быстро стер их. После этого Сансиро почувствовал к немецкому некоторое пренебрежение. Десятка два определений литературы, данных ей различными литературоведами с давних времен, Сансиро тоже старательно занес в тетрадь. После обеда он слушал лекцию в большой аудитории, вмещавшей примерно восемьдесят человек, поэтому естественно, что лектор не говорил, а ораторствовал. «Пушечный выстрел нарушил вековой сон Урага»⁴, — так начал он свою лекцию. Сансиро слушал с большим интересом, но под конец лектор начал буквально сыпать именами немецких философов, и Сансиро устал. Он начал рассматривать стол и увидел вырезанное на нем слово «провалился». Чтобы так искусно и красиво вырезать буквы на толстой дубовой доске, понадобилось, видимо, немало времени. И делал это, пожалуй, не дилетант, а настоящий специалист. Сосед Сансиро увлеченно и очень усердно орудовал карандашом. Но когда Сансиро заглянул в его тетрадь, оказалось, что тот и не думает записывать. Он просто рисовал карикатуру на преподавателя. Сосед охотно показал ему свой рисунок. Рисунок получился удачный, только надпись к нему была Сансиро непонятна: «Не в гнезде ли кукушки среди облаков вечно сущего неба Сики высиживал свой журнал?»⁵

После лекции Сансиро подошел к окну на втором этаже и, подперев голову руками, стал разглядывать университетский двор. Все там радовало глаз своей строгой простотой и гармонией: и широкая аллея, посыпанная гравием, и росшие по обеим ее сторонам высокие сосны, и деревья сакуры⁶. Нономия рассказывал, что еще недавно здесь не было всей этой

¹ Ответ (англ.).

² Свершилось (нем.).

³ Копия (нем.).

⁴ Урага — название части портового города Иокосука. В 1853—1854 гг. сюда пришли корабли американского коммодора Перри.

⁵ См. прим. к стр. 32.

⁶ Сакура — японская декоративная вишня.

красоты. Один из его преподавателей, в бытность свою студентом, учился на этом дворе ездить верхом. Лошадь не слушалась и понесла его прямо под деревья. Он зацепился шляпой за ветку сосны, в то время как ноги были зажаты в стременах. Словом, вид у него был весьма плачевный. Как нарочно, в этот момент у ворот собрались парикмахеры из «Китадоко»¹ и потешались над ним. После этого случая несколько энтузиастов на собственные средства построили на территории университета конюшню, купили трех лошадей и наняли учителя верховой езды. Однако этот учитель оказался горьким пьяницей и пропил белую лошадь, самую породистую, хоть и очень старую, по слухам, родившуюся еще во времена Наполеона Третьего. Сансиро не очень-то верил этому, просто он думал, что было время, когда люди жили беззаботно. Его размышления прервал тот самый студент, который рисовал карикатуру.

— Ну и скучища на лекциях! — сказал он.

Сансиро ответил что-то неопределенное, поскольку, говоря по правде, совершенно неспособен был оценить лекции по достоинству. Зато с этих пор он частенько беседовал со своим новым знакомым.

В этот день Сансиро ничто не радовало — так было пасмурно у него на душе, — и он отправился домой, даже не прогулявшись вокруг пруда. После ужина он просмотрел свои записи, но остался к ним совершенно равнодушен и сел писать письмо матери.

«Начались занятия. Буду каждый день ходить на лекции. Университет занимает очень большую и очень красивую территорию, сами здания тоже очень красивые. Мне очень нравится гулять там возле пруда. К трамваям уже привык. Хотелось бы что-нибудь купить вам, но не знаю что. Если нужно что-нибудь, напишите. Рис, говорят, не сегодня-завтра подорожает, повремените с продажей. А О-Мицу-сан, по-моему, обхаживать незачем. В Токио очень много людей. И мужчин и женщин». Написав это довольно нескладное послание, Сансиро взялся за английскую книгу, прочел несколько страниц, и ему стало скучно. Он решил, что от такого чтения толку мало. Лег спать, но долго не мог уснуть. «Уж не бессонница ли это? — подумал Сансиро. — Надо будет показаться врачу». И тут же уснул.

На следующий день он вовремя явился на лекции. В перерывах внимательно прислушивался к разговорам о том, куда и на какое жалованье устроились выпускники прошлого года. Услыхав, что такой-то и такой-то пока еще здесь и что оба претендуют на место преподавателя в одном из государственных учебных заведений, Сансиро на миг ощутил смутную тре-

¹ «Китадоко» — название парикмахерской, в свое время находившейся против главного входа в Токийский университет.

вогу. На него словно надвинулось его далекое будущее, но он тут же забыл об этом. Гораздо интереснее показались ему разговоры о некоем Сёноскэ. Он даже остановил в коридоре своего однокурсника, тоже из Кумамото, и спросил его, кто такой этот Сёноскэ. Тот объяснил, что это девушка-гидаю¹ из эстрадного театра, рассказал, как выглядит афиша этого театра, в каком именно месте района Хонго он находится, и предложил ему пойти туда вместе в следующую субботу. «Вот молодец, все уже знает», — подумал Сансиро. Но студент сообщил, что вчера впервые побывал там. Сансиро почему-то тоже очень захотелось посмотреть Сёноскэ.

Обежать Сансиро намеревался дома, но студент, накануне рисовавший карикатуру, затащил его во фруктовую лавку Ёдомикэн в Хонго и угостил райскэрри — вареным рисом с кусочками мяса и очень острой приправой. Лавка эта открылась недавно. Студент объяснил, что она выстроена в стиле «модерн». О таком стиле в архитектуре Сансиро никогда не слышал. На обратном пути карикатурист показал ему Аокидо², заметив при этом: «Сюда часто ходят студенты». Вернувшись к университету, они решили прогуляться возле пруда. Карикатурист вспомнил, что покойный профессор Якумо Коидзуми³ терпеть не мог преподавательскую и после лекции обычно гулял возле пруда. Рассказывал он об этом так, словно сам учился у этого профессора.

— А почему профессор Коидзуми не любил преподавательскую? — поинтересовался Сансиро.

— Ну, в этом нет ничего удивительного. Стоит только послушать их лекции, чтобы понять, что это за преподаватели.

Сансиро был поражен: как можно говорить совершенно спокойно такие ужасные вещи. Карикатуриста звали Ёдзиро Сасаки. Он рассказал Сансиро, что окончил колледж, приобрел специальность, а теперь решил получить еще и университетское образование.

— Живу я на Хигасикитамати, — сообщил он, — в доме Хироты. Заходи как-нибудь.

— Там что, пансион? — спросил Сансиро.

¹ Гидаю — певец — рассказчик сказов «гидаю» (особый, драматический сказ японской эстрады и театра). Женщины, выступавшие в этой роли, обычно принимали мужские имена, как, например, в данном случае.

² Аокидо — название европейского продовольственного магазина, находившегося неподалеку от Ёдомикэн; на втором этаже там было небольшое кафе.

³ Якумо Коидзуми (1850—1904) — японское имя натурализовавшегося в Японии англичанина Лафкадио Херна. Преподавал английский язык и литературу во многих японских учебных заведениях, в том числе в Токийском университете. Написал ряд книг о Японии и японцах.

— Нет, это дом преподавателя колледжа, — ответил Са-саки.

Сансиро аккуратно посещал университет и добросовестно слушал лекции, иногда даже необязательные. Но и этого ему казалось мало, и он начинал ходить на лекции, не имевшие никакого отношения к избранной им специальности, но через два-три раза бросал. И все равно получалось около сорока часов в неделю. Даже для очень прилежного Сансиро это было чересчур много. Он постоянно чувствовал себя усталым и неудовлетворенным и в конце концов совсем пал духом.

Как-то, встретившись с Ёдзиро Сасаки, Сансиро пожаловался на свое настроение. Услыжав, что Сансиро слушает сорок часов в неделю, Ёдзиро выпучил глаза:

— Ну, и дурак! Сам посуди, как тут не скиснуть, если десять раз на день есть преснятину, которой кормят в пансионе?

— Что же делать? — сконфузившись, спросил Сансиро.

— Кататься на трамвае! — порекомендовал Ёдзиро. Сансиро поразмышлял над его словами, тщетно ища в них скрытый смысл. И опять спросил:

— На обыкновенном трамвае?

Ёдзиро расхохотался.

— Объездишь Токио раз пятнадцать — шестнадцать, всю твою меланхолию как рукой снимет!

— Неужели?

— Не веришь? Ну, сам подумай. Ты — живой человек, и вдруг втиснул голову в железные рамки мертвых лекций. Так и пропасть недолго! Голову надо проветривать на свежем воздухе. Это, конечно, не единственный способ сохранить бодрость духа. Но из всех способов трамвай, я бы сказал, самый элементарный и к тому же самый удобный.

Вечером Ёдзиро вытащил Сансиро из дому, они сели в трамвай на Ёнтёмэ, доехали до Симбаси, оттуда вернулись к Нихонбаси и сошли.

— Понравилось? — осведомился Ёдзиро. С проспекта они свернули в боковую улицу, зашли в ресторан «Хираноя», поужинали и выпили сакэ. Кельнерши здесь все говорили на киотоском диалекте, чем до глубины души растрогали Сансиро.

— Доволен? — опять поинтересовался раскрасневшийся Ёдзиро, когда они очутились на улице. Затем он пообещал показать Сансиро настоящую эстраду, и они пошли узким переулком, который вывел их к эстраднему театру Кихарадана. В этот вечер здесь выступал чтец — исполнитель комического рассказа по имени Косан¹. Из театра они вышли в одиннадцатом часу.

¹ Косан Янагия (1857—1930). Настоящее имя — Гинноскэ Тоёсима. Известный мастер «ракуго» — эстрадного комического рассказа.

— Ну как? — спросил Ёдзиро. Сансиро ничего не ответил, он и сам не знал, доволен он или нет. Тут Ёдзиро пустился в рассуждения о Косане: — Косан — гений. Но он не должен часто появляться на эстраде. Иначе публика привыкнет и перестанет его ценить. А это будет в высшей степени несправедливо. По правде говоря, нам очень повезло, что мы живем с ним в одно время. Родись мы чуть раньше или чуть позднее, и нам не довелось бы его слышать... Энью¹ по-своему тоже хорош. Но они с Косаном совсем разные. Энью, играя, например, шута, полностью перевоплощается. В любой роли Косан остается Косаном. Если из созданного Энью образа убрать самого Энью, образ перестанет существовать. Зато Косан живет совершенно самостоятельно в любом образе, и образы его вечны. Вот чем он силен.

Произнеся эту тираду, Ёдзиро уже в который раз спросил: «Ну, как?» Сансиро не очень хорошо понимал, в чем величие Косана. Кроме того, ему никогда не приходилось слышать об Энью. Поэтому он не мог судить, прав ли Ёдзиро. Однако его привело в восторг само сравнение, почти литературное.

Дойдя до колледжа, они распрощались.

— Спасибо, я очень доволен, — поблагодарил Сансиро.

— Нет, чтобы получить полное удовольствие, надо еще сходить в библиотеку, — сказал Ёдзиро и исчез в переулке. И тут Сансиро впервые вспомнил о том, что еще ни разу не был в библиотеке.

Сансиро решил сократить, по крайней мере, вдвое количество лекций и на следующий день отправился в библиотеку. Это было просторное длинное здание с высокими потолками и множеством окон. Из читального зала виден был вход в книгохранилище. Казалось, там собрано великое множество книг. Из книгохранилища выходили люди с толстыми фолиантами в руках. Одни, свернув налево, шли в специальный читальный зал. Другие тут же просматривали взятую книгу. Сансиро вдруг почувствовал зависть. Ему захотелось войти в книгохранилище, подняться на второй, затем на третий этаж и там, вдали от людей, высоко над Хонго, читать, вдыхая запах бумаги. Но какую взять книгу, он представлял себе весьма смутно. Впрочем, можно взять наугад, любую, там их много.

Как первокурсник, Сансиро пока еще не имел права войти в книгохранилище. Поэтому волей-неволей ему пришлось склониться над каталогом и перебирать карточку за карточкой. Он перебрал уйму неизвестных названий книг и наконец почувствовал, что заныли плечи. Он распрямился, чтобы передохнуть, и оглядел зал. Несмотря на множество людей, здесь стояла обычная для библиотеки тишина. Лица сидящих

¹ Энью — мастер «ракуго», выступавший под именем Энью Саньюэтэн. Настоящее имя — Кэнтаро Такэути. Умер в 1907 г.

в дальнем конце зала были едва различимы. За высокими окнами виднелись деревья и клочок неба. Шум города доходил сюда словно откуда-то издалека. Стоя у каталога, Сансиро размышлял о том, насколько спокойна и полна смысла жизнь ученого. С этой мыслью он и покинул библиотеку.

На следующий день он не стал предаваться мечтам, а сразу взял книгу. Но вскоре вернул ее — она показалась ему неинтересной. Следующая книга была чересчур сложной. Так в день Сансиро менял чуть ли не до десятка томов. И лишь некоторые частично прочитывал. Читая, Сансиро вдруг сделал открытие: какую бы он ни взял книгу, оказывалось, что до него ее уже кто-то просматривал — об этом свидетельствовали карандашные пометки на страницах. Из любопытства Сансиро взял роман писательницы Афры Бен¹ и здесь тоже увидел карандашные пометки. Досадуя, Сансиро вдруг услышал звуки оркестра под окном и решил немного прогуляться. Он походил по улице и забрел в конце концов в Аокидо.

Там он увидел две компании — все это были студенты. Лишь в дальнем углу сидел особняком мужчина и пил чай. В профиль он был очень похож на попутчика Сансиро, того самого почитателя персиков. Он не обращал на Сансиро никакого внимания, пил не спеша свой чай и курил. Сегодня он был в пиджаке, а не в легком белом кимоно, как тогда в поезде. Выглядел он далеко не элегантно, пожалуй, как Нономия во время опытов, если не считать белой рубашки. Сансиро внимательно его рассматривал и все больше убеждался в том, что это тот самый любитель персиков. Сейчас, когда он уже проучился некоторое время в университете, все сказанное этим человеком в поезде вдруг обрело смысл. «Может, подойти, поздороваться?» Но любитель персиков так сосредоточенно отхлебывал чай, затягивался сигаретой, снова пил чай и снова курил, что Сансиро не знал, как к нему подступить.

Еще несколько минут Сансиро разглядывал его профиль, но потом торопливо допил оставшееся в стакане вино и выскочил на улицу. Он вернулся в библиотеку.

В этот день, взбодренный вином и какими-то новыми душевными ощущениями, он впервые с увлечением почитал и пришел в радостное настроение. Он провел в библиотеке почти целых два часа и наконец стал не спеша собираться домой. Перед уходом он случайно открыл книгу, которую еще не успел просмотреть, и обнаружил, что внутренняя сторона обложки исписана чьей-то дерзкой рукой.

«Гегель преподавал философию в Берлинском университете не ради заработка. Он не просто читал лекции об истине, он носил истину в самом себе. Он говорил не языком, а сердцем. Когда человек слит с истиной в одно чистое гармоничное

¹ Афра Бен — английская писательница (1640—1689).

целое, тогда каждое его слово служит этой истине. Только такие лекции и достойны внимания. Попусту болтать об истине все равно, что мертвой тушью на мертвой бумаге делать пустые заметки. Какой в этом смысл?.. Подавляя досаду, чуть не плача, я читаю сейчас эту книгу ради экзамена, вернее, ради куска хлеба. Запомни же на всю жизнь, как, сжимая раскалывающуюся от боли голову, ты на веки вечные проклял систему экзаменов». Подписи, конечно, не было. Сансиро невольно улыбнулся. И почувствовал, что вдруг прозрел. Все это относится, пожалуй, не только к философии, но и к литературе, подумал он и перевернул страницу. Там было продолжение: «В Берлин слушать лекции Гегеля...» Писавший, видимо, был поклонником Гегеля.

«В Берлин слушать лекции Гегеля собираются студенты отовсюду. Но не ради будущих заработков слушают они эти лекции. Узнав, что есть философ, который приобщает людей к высшей и универсальной истине, они, жаждущие найти путь к совершенствованию и разумному устройству мира, с чистыми помыслами сидят перед кафедрой, стремятся разрешить все свои сомнения. Гегель помогает им определить свое будущее, перестроить собственную судьбу. Какая нужна самоуверенность, чтобы думать, будто они ничем не отличаются от нас, японских студентов, которые сами не знают, зачем учатся в университете. Мы всего лишь пишущие машинки. Да притом еще алчные. Наши дела, мысли, слова не имеют ничего общего с насущными потребностями людей. Такими, ко всему безучастными, мы и останемся до самой смерти». Эта фраза была написана дважды. Сансиро задумался. Вдруг кто-то сзади легонько хлопнул его по плечу. Это оказался Ёдзиро. Ёдзиро не часто можно было увидеть в библиотеке, вопреки его утверждению, что библиотеку надо посещать непременно, не то что лекции.

— Послушай-ка, тебя искал Сохати Нономия, — сказал Ёдзиро.

Никак не предполагая, что они знают друг друга, Сансиро на всякий случай уточнил: «Тот, что на естественном?» — «Угу», Отложив книги, Сансиро поспешил в зал, где читали газеты, однако Нономии там не оказалось. Не было его и в вестибюле. Сансиро спустился вниз, все внимательно осмотрел и вернулся. Когда он подошел к своему месту, Ёдзиро показал на карандашные пометки и шепнул с усмешкой:

— Превосходные мысли. Наверняка писал выпускник прежних лет. Тогда здесь были отчаянные парни, зато стоящие! Да, это наверняка один из них. — Ёдзиро, видимо, был очень доволен.

— А Нономию-сан я не нашёл, — сказал Сансиро.

— Да? Только что видел его у входа.

— Думаешь, я нужен ему по делу?

— Пожалуй, да.

Они вышли из библиотеки вместе. По дороге Ёдзиро рассказал о Нономии.

— Нономия-кун — бывший ученик Хироты, у которого я сейчас живу. Он часто бывает у сэнсэя. Настоящий энтузиаст науки, у него много исследований. Его имя известно даже в Европе.

Слова «ученик Хироты-сэнсэя» напомнили Сансиро рассказанный ему Нономией случай с преподавателем, обучавшимся верховой езде во дворе университета. «Уж не Хирота ли это был?» — подумал Сансиро и поделился своим предположением с Ёдзиро. Тот, смеясь, ответил, что от сэнсэя можно ждать чего угодно.

Следующий день был воскресным, и встретиться с Нономией в университете Сансиро не мог. Обеспокоенный тем, что накануне Нономия его искал, он решил поехать к нему домой, выяснить, в чем дело, и заодно посмотреть его новую квартиру.

Однако до обеда Сансиро, не торопясь, просматривал газеты, а когда, пообедав, собрался идти, явился приятель из Куамото, с которым они давно не виделись. Проводил он его лишь в пятом часу и, хотя было довольно поздно, все же отправился к Нономии.

Жил Нономия далеко, в Окубо, куда переехал несколько дней назад. Правда, на трамвае туда можно было добраться сравнительно быстро, тем более что дом Нономии, судя по его словам, находился вблизи остановки. Дело в том, что однажды, вскоре после того как они с Ёдзиро побывали в Хираноя, с Сансиро произошел такой случай. Он сел на трамвай, шедший от четвертого квартала Хонго, чтобы попасть в Высшее коммерческое училище, не заметил, как проехал свою остановку и очутился в совсем другом районе. С тех пор его не оставляло чувство, что трамвай — вещь коварная. Но на этот раз он спокойно вошел в вагон, поскольку узнал заранее, что до Окубо можно ехать без пересадки.

Если, сойдя в Окубо, не идти по улице Накахякунин по направлению к военной школе Тояма, а от переезда сразу свернуть и подниматься вверх по отлогому склону, узкая, с метр шириной, дорожка приведет к редкой бамбуковой рощице. Перед рощицей и позади нее стояло два домика. В одном из них и жил Нономия. Сансиро вошел в небольшие ворота, стоявшие несколько в стороне от дорожки, совсем не на месте. Вход в дом нашел не сразу: он оказался не напротив ворот, а почему-то сбоку. Складывалось впечатление, будто ворота были поставлены несколько позднее, чем сам дом, и для них не нашлось другого места.

Сад перед домом не был ничем огорожен. Лишь несколько высоких, в рост человека, кустов хаги почти скрывали галерею, куда выходила гостиная. Зато позади дома, со стороны

кухни зеленела великолепная живая изгородь. На галерее сидел Нономия и читал европейский журнал. Увидев Сансиро, он сказал, точь-в-точь как тогда, в подвале естественного факультета:

— Пожалуйста сюда.

Сансиро не знал, войти ли ему прямо из садика или через главный вход, обогнув дом. Но тут Нономия уже более настойчиво повторил:

— Пожалуйста сюда. — И Сансиро поднялся на галерею. Выходившая на галерею комната — кабинет Нономии — была метров около двенадцати. В ней внимание Сансиро привлекли европейские книги, их было довольно много. Нономия предложил свой стул Сансиро, а сам сел на дзабутон. Начав с ничего не значащих фраз о том, что место здесь тихое и спокойное, что не так уж оно далеко от Отяномидзу, поинтересовавшись затем опытом с подзорной трубой, Сансиро наконец спросил о главном:

— Говорят, вы вчера искали меня. Я вам зачем-нибудь понадобился?

— Да нет, просто так, ничего особенного, — чуть виновато ответил Нономия.

— А - а, — протянул Сансиро.

— А вы ради этого пришли?

— Да нет, не только.

— Дело, собственно, в том, что ваша матушка прислала мне прекрасную вещь в благодарности, как она пишет, за то, что я забочусь о ее сыне... Так вот я тоже хотел поблагодарить вас...

— Ах, вот оно что! Что же она вам прислала?

— Красную рыбу в маринаде.

— Наверно, барбульку?

Сансиро про себя подумал, какой, в сущности, это пустяковый подарок. Однако Нономия подробно расспросил его об этой барбулке. Прежде всего Сансиро объяснил, как ее есть. Жарят барбульку в чешуе и снимают ее лишь перед тем, как класть на блюдо, иначе рыба потеряет свой вкус.

Пока они беседовали о барбулке, солнце зашло. Сансиро решил, что пора домой, и стал прощаться. Но тут как раз принесли телеграмму. Прочитав ее, Нономия пробормотал: «Да... Вот незадача». Сансиро забеспокоился, но, боясь проявить излишнее любопытство, спросил лишь:

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего особенного, — отозвался Нономия и показал Сансиро телеграмму: «Приезжай немедленно».

— Вам надо ехать?

— Да вот младшая сестра просит немедленно приехать. Она захворала и лежит в университетской клинике.

Нономия говорил совершенно спокойно. Зато Сансиро встревожился. Сестра Нономии, ее болезнь, университетская

клиника — все это почему-то напомнило ему девушек, которых он встретил у пруда, и привело в волнение.

— Она опасно больна?

— Ну что вы, разумеется, нет. По правде говоря, там в клинике с ней мать... Случись что-нибудь серьезное, проще было бы приехать сюда... Скорее всего это проделки сестры. Она, глупая, частенько так забавляется. Я ни разу не навещал ее, с тех пор как переехал сюда. Сегодня воскресенье, она, наверно, ждала меня, и в о т . . . — Нономия задумался, чуть склонив голову набок.

— Лучше все же вам съездить. А вдруг в самом деле ей хуже, тогда...

— Да. Хотя за те несколько дней, что я не был, вряд ли произошли серьезные перемены. Однако съездить, пожалуй, надо. Верно?

— Конечно, надо. Непременно.

Перед уходом Нономия обратился к Сансиро с просьбой. Если больной действительно хуже, он не вернется сегодня, в доме остается только служанка — ужасная трусиха, а район у них беспокойный. Так что Сансиро приехал весьма кстати. Может быть, он заночует здесь, если это не в ущерб занятиям? Возможно, телеграмма прислана просто так, тогда он сразу вернется. Знай он раньше, попросил бы того же Сасаки. Но сейчас ему никак не успеть. Речь идет лишь об одной ночи, к тому же неизвестно еще, останется ли он в клинике. Разумеется, слишком эгоистично с его стороны доставлять беспокойство постороннему человеку, и он, конечно, не настаивает... Нономия был не очень красноречив и не умел уговаривать, да это, собственно, и не требовалось — Сансиро сразу же согласился. На вопрос служанки, будут ли они ужинать, Нономия ответил:

— Я не буду, — и, извинившись перед Сансиро, сказал: — Вы уж тут без меня поешьте. — Он вышел из дома и уже из темноты сада крикнул Сансиро: — Возьмите в кабинете какую-нибудь книгу. Особо интересных, правда, нет, в общем, сами увидите! Там вы найдете и кое-какие романы.

Сансиро поблагодарил и остался один.

Вскоре Сансиро уже сидел в кабинете и ужинал. На столе он увидел ту самую барбульку, о которой говорил хозяин, и очень обрадовался — на него повеяло ароматом родных мест, в которых он так давно не был. Однако рыба не показалась ему очень уж вкусной. Нономия не напрасно назвал свою служанку трусихой — ее лицо и в самом деле выражало испуг. Сансиро заметил это, когда она принесла ему ужин. После ужина служанка ушла на кухню. Вдруг Сансиро почувствовал тревогу. А вдруг сестре Нономии действительно стало хуже? Слишком долго он собирался в клинику. Мысль о том, что та самая девушка и есть сестра Нономии, не давала покоя. Сансиро восстановил в памяти черты ее лица, выражение глаз,

одежду, силой воображения перенес все это на больничную койку, рядом поставил Нономию и представил себе, как они с сестрой обменялись несколькими фразами. Больная осталась недовольна братом. Размечтавшись, Сансиро вместо Нономии представил у больничной койки себя самого, заботливо ухаживающего за девушкой. В этот момент где-то внизу прогрехотал поезд, и Сансиро померещилось, будто дрожит пол, сама комната и даже сад — таким громким и отчетливым был звук.

Сансиро осмотрелся. Дом был ветхий, опорные столбы потемнели от времени, раздвижные перегородки покосились, и закрыть их плотно не было никакой возможности. Потолок совсем почернел. Только лампа была новой. Может быть, Нономия из прихоти снял такой дом вблизи бамбуковой рощи, оставшейся от феодальных времен? В таком случае это его дело. Если же за город его погнала нужда, остается только его пожалеть. Сансиро слышал, что Нономия, видный ученый, получает в университете всего пятьдесят пять иен в месяц. Поэтому он, наверно, и вынужден преподавать в частной школе. А сейчас еще сестра в больнице. Вот он и переехал в Окубо, чтобы хоть как-то сводить концы с концами...

Вечер только начался, но вокруг стояла тишина. Слышно было лишь, как стрекочут и жужжат в саду насекомые. Сидя здесь в одиночестве, Сансиро особенно остро ощущал легкую грусть ранней осени, Вдруг он услышал крик:

— А-а-а-а! Уже недолго!

Кричали вроде бы где-то за домом, но очень далеко. К тому же крик сразу смолк, и Сансиро не успел определить направление. Он только понял, что это крик человека, всеми брошенного и отчаявшегося. Сансиро стало не по себе. Теперь вдалеке послышался шум приближающегося поезда, он все нарастал, и, наконец, грохоча с удвоенной силой, поезд пронесся под бамбуковой рощей. Комната перестала дрожать, и Сансиро, который до этого сидел бездумно, вдруг вскочил, пораженный мыслью, которая блеснула у него в мозгу, словно высеченная из кремня искра: уж не связаны ли между собой этот жалобный вопль и поезд, только что прогрехотавший? Сансиро стало страшно. От спины к ступням ног побежали мурашки, и он почувствовал, что не может больше спокойно сидеть на месте. Он пошел в уборную и стал глядеть в окошко. В эту ясную звездную ночь хорошо видны были железнодорожные пути и насыпь.

Сансиро вглядывался в темноту, буквально прилипнув носом к бамбуковой решетке окошка.

От станции по путям шли люди с фонарями. Судя по голосам, их было трое или четверо. Когда они дошли до переезда, свет фонарей исчез под насыпью. Каждое слово было отчетливо слышно, будто разговаривали совсем рядом:

— Чуть подальше!

Шаги стали удаляться. Сансиро вышел в сад, как был в ээта, осторожно спустился по насыпи и пошел следом за фонарями. Он не прошел и десяти — пятнадцати шагов, как с насыпи спустился какой-то человек.

— Поезд кого-то задавил, что ли?

Сансиро хотел ответить, но голос ему не повиновался. Человек между тем прошел мимо. «Наверное, хозяин того дома, который стоит позади рощи, за домом Нономии-кун», — подумал Сансиро и прошел еще несколько десятков метров. Огни впереди вдруг перестали двигаться — люди остановились с поднятыми фонарями в руках и молчали. Сансиро посмотрел вниз, на освещенное пространство. Там лежал человек, перерезанный наискось от правого плеча до пояса. Поезд оставил его позади себя и помчался дальше. Только лицо не пострадало. Погибшей оказалась молодая женщина.

Сансиро помнит охватившее его тогда чувство. Он хотел сразу же бежать обратно, однако ноги будто свело судорогой. Вскрабавшись наконец по насыпи, он вернулся в дом с сильно бьющимся сердцем, позвал служанку и велел принести воды. Служанка вроде бы ничего, к счастью, не знала. Спустя некоторое время из дома позади рощи донесся шум. «Хозяин вернулся», — решил Сансиро. Снова слышались голоса, теперь уже приглушенные. Потом наступила тишина. Гнетущая, почти невыносимая.

Перед глазами Сансиро все еще стояло лицо той женщины. Чье-то лицо, чей-то жалобный вопль, чья-то несчастная судьба... Это лишь кажется, размышлял Сансиро, что жизнь прочно вросла в этот мир. На самом же деле она вдруг может оказаться вырванной с корнем и навсегда исчезнуть во мраке. Эта мысль внушила Сансиро почти суеверный страх. Прогрохотал поезд — и не стало человека, который за минуту до этого был жив!

Сансиро вдруг вспомнилось, как любитель персиков тогда в поезде говорил: «Опасная штука! Очень опасная. Лучше не рисковать», оставаясь при этом совершенно невозмутимым. Значит, если я смогу себя настолько обезопасить, чтобы говорить «опасно, опасно», сохраняя спокойствие, то стану таким же, как он? Это, быть может, то главное в людях, что позволяет им, живя в обществе, оставаться сторонними наблюдателями. Разумеется, в людях определенного сорта, тех, что умеют есть персики, как их ел тогда в поезде его попутчик, тех, что умеют, глядя прямо перед собой, пить чай и курить, курить и снова пить чай, как это было тогда в Аокидо. Критики! Сансиро употребил это слово не очень к месту. Но остался доволен. «Здорово!» А почему бы, подумал он, и ему в будущем не уподобиться критикам? На эту же мысль его навело увиденное им на путях мертвое лицо.

Сансиро обвел взглядом комнату, стол в углу, стул перед ним, рядом — книжный шкаф с аккуратно расставленными

иностранными книгами и подумал, что хозяин этого спокойного кабинета так же благополучен и счастлив, как те критики... Вряд ли он заставил бы женщину броситься под поезд, если бы даже того потребовали его опыты со световым лучом... Его младшая сестра больна. Но ведь не из-за него она заболела... Пока все эти мысли сменяли одна другую в голове Сансиро, пробило одиннадцать. Электричек на Накано больше не будет. Нономия сегодня не вернется. Видимо, сестре его стало хуже. Сансиро встревожился, но тут от Нономии пришла телеграмма: «С сестрой все благополучно. Приеду завтра утром».

Сансиро успокоился, забрался в постель, но всю ночь его мучили кошмары. Ему снилось, что бросившаяся под поезд женщина каким-то образом связана с Нономией, а он, вместо того чтобы возвратиться домой, прислал успокоительную телеграмму. Слова «С сестрой все благополучно» — ложь. Она умерла в тот момент, когда поезд задавил женщину... Потом вдруг оказалось, что сестра Нономии и есть та самая девушка, которую он повстречал у пруда.

На следующий день Сансиро встал необычно рано. Он выкурил сигарету, глядя на то место, где провел беспокойную ночь. Постель уже убрали. Все происшедшее вчера казалось сном. Он вышел на галерею и посмотрел на ясное голубое небо. Все вокруг сразу повеселело. Когда, позавтракав и напившись чаю, Сансиро вынес на галерею стул и взялся за газету, вернулся, как и обещал, Нономия.

— Вчера, говорят, тут человек попал под поезд, — сказал он. Видимо, Нономия услышал об этом на станции. Сансиро подробно рассказал о своих переживаниях.

— Невероятное происшествие. Такое случается редко. Жаль, что меня дома не было. Труп, наверно, уже убрали, и идти туда сейчас бесполезно.

— Пожалуй, бесполезно, — коротко ответил Сансиро. Его поразило, с какой легкостью Нономия воспринял это трагическое происшествие. Видимо, потому, что сейчас день, а не ночь, решил Сансиро. Он был слишком молод и еще не знал, что человек с характером и наклонностями исследователя даже в подобных случаях ведет себя так же, как во время эксперимента со световым лучом.

Чтобы не продолжать этот разговор, Сансиро спросил, как чувствует себя больная. Из слов Нономии выяснилось, что в ее состоянии, как он и предполагал, никаких изменений не произошло. Соскучившись за те пять-шесть дней, что они не виделись, сестра решила вызвать его телеграммой. Она обвиняла его в жестокости и упрекала за то, что он не приехал даже в воскресенье. «Вот глупышка», — сказал Нономия. И, кажется, сказал это вполне искренне. Просто неразумно требовать, чтобы занятой человек попусту тратил драгоценное время. Однако у Сансиро это не вызвало сочувствия. Раз

сестра прислала телеграмму, значит, ей очень хотелось повидаться с братом, и на это не жаль потратить один или даже два воскресных вечера. Только такие вечера и есть настоящая жизнь. И не значит ли попусту тратить время, если год за годом проводить в подвале опыты со световым лучом, такие далекие от настоящей жизни. На месте Нономии-кун он бы только радовался тому, что сестра помешала его занятиям. Под наплывом таких чувств Сансиро постепенно забыл о попавшей под поезд женщине.

Нономия пожаловался, что ночью плохо спал и в голове у него сейчас туман и абсолютная пустота. Хорошо еще, что в школе Васэда у него уроки только после обеда, а в университет вообще не нужно идти — он хоть успеет немного поспать. «Опять поздно легли?» — спросил Сансиро. Сестру как раз пришел проведать Хирота, объяснил Нономия, тот самый профессор, у которого он учился в колледже, а пока они втроем беседовали, ушла последняя электричка, и ему пришлось заночевать там. Он мог бы пойти к Хироте, но сестра опять загадочничала и, не желая ничего слушать, потребовала, чтобы он остался в больнице. Он кое-как улегся, но уснуть не мог. Вот до чего она глупое создание, снова обрушился он на сестру. Сансиро стало смешно. Он хотел было взять девушку под свою защиту, но почему-то передумал и стал расспрашивать о Хироте. О нем Сансиро не раз приходилось слышать. Его именем он мысленно наградил и любителя персиков, своего попутчика, и человека, которого видел в Аокидо, и незадачливого всадника, измученного норовистой лошастью, над которым потешались парикмахеры из «Китадоко». И вот сейчас, неожиданно узнав от Нономии, что тем незадачливым всадником действительно был Хирота, Сансиро почему-то решил, что и любитель персиков тоже непременно должен оказаться профессором Хиротой. Хотя, если вдуматься, мысль сама по себе была, в общем-то, нелепой.

Когда Сансиро собрался уходить, Нономия попросил его зайти по дороге в клинику занести халат. Сансиро с радостью согласился. Он немного гордился тем, что пойдет в клинику в своей новой студенческой фуражке, и ушел сияющий.

В Отяномидзу он сразу же взял рикшу, что делал в редких случаях. Как раз когда рикша примчал его в университет, зазвонил звонок на юридическом. В это время Сансиро обычно входил в аудиторию номер восемь с тетрадами и чернильницей. Ничего страшного не случится, если одну-две лекции пропустить, решил он, и подъехал прямо к вестибюлю терапевтического отделения профессора Аояма.

Из вестибюля он пошел, как ему и объяснил Нономия, прямо по коридору до второго поворота направо, дошел до конца коридора, свернул налево и на восточной стороне увидел палату с черной лакированной табличкой на двери. Сансиро

взглянул на табличку, где было написано: «Ёсико Нономия», и остановился в нерешительности перед дверью. Провинциал, он не догадался, что надо постучаться, как того требовали приличия, и думал лишь о том, что сейчас увидит Ёсико, сестру Нономии. Только боязнь разочароваться удерживала его от того, чтобы открыть дверь. Образ девушки, созданный его воображением, не имел ни малейшего сходства с Сохати Нономией. Шлепая сандалиями, к нему подошла сиделка. Тут Сансиро решил наконец приоткрыть дверь и сразу встретился взглядом с находившейся в комнате девушкой.

Большие глаза, прямой нос, тонкие губы, высокий лоб, на который полукругом ниспадали волосы, мягкий овал лица. В общем, ничего особенного. Но что поразило Сансиро, так это выражение ее лица, такое, казалось ему, он видел впервые в жизни. Густые волосы, красиво обрамляя лоб, свободно падали на плечи. Пронизанные лучами утреннего солнца, светившего в восточное окно, они образовали вокруг головы сияющий фиолетовый нимб. С бледного лица на Сансиро смотрели мечтательно устремленные вдаль и в то же время очень живые глаза. Так кажутся неподвижными высокие облака, которые едва уловимо меняют свои очертания.

В ее лице, подумал Сансиро, меланхолия сочетается с необыкновенной живостью. Ощущение этого единства Сансиро воспринял, как дар судьбы, как великое открытие. Он буквально растворился в этом своем чувстве, продолжая крепко сжимать ручку двери.

— Заходите же , — сказала девушка. Сказала так, словно ждала Сансиро. Только невинная девочка или же искушенная женщина могла бы так спокойно, без тени смущения, обратиться к незнакомому мужчине. С фамильярностью это не имело ничего общего. Девушка держалась с Сансиро просто, с неподдельной искренностью, как со старым знакомым. Ее худенькое бледное личико озарила приветливая улыбка. Ноги сами внесли Сансиро в комнату. И тут он вдруг вспомнил о матери, оставшейся на далекой родине.

Сансиро закрыл за собой дверь, осмотрелся и увидел женщину лет пятидесяти с небольшим, которая с ним поздоровалась. Она, очевидно, подошла к двери, когда Сансиро приоткрыл ее, и дожидалась, пока он войдет.

— Вы Огава-сан? — спросила женщина. Она походила лицом на Нономию. И на девушку тоже. Однако сходство было лишь внешнее. Сансиро отдал женщине свертки с халатом. Она поблагодарила и, сказав: «Пожалуйста, садитесь!» — предложила Сансиро стул. Девушка приподнялась, откинула край белоснежного покрывала и спустила ноги с постели. Она держала спицы, с которых свешивалась красная нитка, под кроватью валялся клубок шерсти. Сансиро хотел было поднять клубок, но передумал — видимо, девушку этот клубок несколько не интересовал.

Между тем мать девушки без конца благодарила Сансиро за любезность, повторяя: «Вы ведь так заняты». Сансиро возражал: «Да нет, что вы, я все равно там был, зашел в гости». Ёсико не вмешивалась в их разговор и, лишь когда наступила пауза, неожиданно спросила:

— Вы видели вчера вечером, как человек попал под поезд?

Сансиро заметил на стоявшем в углу столике газету.

— Да, — ответил он.

— Это, наверно, очень страшно? — Она взглянула на Сансиро, чуть склонив голову набок. Но он молчал. Он просто не знал, что ответить, — таким наивным ему показался вопрос. Кроме того, все его внимание было сейчас поглощено изящным изгибом ее шеи, длинной, как у брата. Это, по-видимому, не ускользнуло от Ёсико. Слегка покраснев, она быстро выпрямилась. А Сансиро подумал, что ему пора уходить.

Он попрощался и вышел. Он уже приближался к выходу, когда вдруг заметил в светлом прямоугольнике, в том месте, где коридор переходит в вестибюль, ту самую девушку, которую встретил тогда у пруда. Сансиро замер, ноги перестали ему повиноваться. В это время темный силуэт девушки отделился от воздушного холста — она сделала шаг вперед. Сансиро, словно замороженный, тоже двинулся с места. Сейчас они встретятся, и каждый пойдет своей дорогой. Девушка вдруг оглянулась. Но снаружи, в прозрачном осеннем воздухе, лишь слегка дрожала на ветру листва деревьев. В светлом прямоугольнике никого не было, никто не ответил девушке на ее взгляд, никто его не ждал. Сансиро шел, напряженно вглядываясь, стараясь запомнить каждую деталь ее фигуры и одежды.

Он не мог определить, какого цвета ее кимоно. Оно лишь напоминало ему расплывчатое отражение вечнозеленого дерева в университетском пруду. Волнистые линии вертикальных ярких полос то сходились, то расходились, то набегали друг на друга, то раздваивались, однако эта асимметричность не резала глаз. Чуть ниже груди кимоно перехватывал широкий пояс-оби теплых тонов. Такое впечатление, видимо, создалось благодаря преобладающему в нем желтому цвету. В левой руке девушка держала платок, свободные концы его развевались. «Наверно, шелковый», — решил Сансиро.

Между тем девушка снова повернулась лицом к Сансиро. Опустив глаза, она шагнула к нему, потом слегка откинула назад голову и посмотрела прямо ему в лицо. Красивые миндалевидные, очень живые глаза. Иссиня-черные брови и ослепительно белые зубы. Этот контраст произвел на Сансиро неизгладимое впечатление.

Сегодня лицо ее было набелено, но лишь слегка, с большим вкусом, так что белила не скрывали естественного цвета кожи. На щеках играл нежный румянец, словно их никогда не касалось палящее солнце. Лицо было чуть припуд-

рено. Ее щеки и подбородок, без единой морщинки, были очень упругими и в то же время отличались удивительной мягкостью линий.

Девушка поклонилась. Сансиро был удивлен, что ему поклонился незнакомый человек. Но еще больше его поразило изящество, с которым это было сделано, та естественная грациозность, которой нельзя научиться. Девушка чуть подалась вперед — легко и плавно, как устремляется вперед влекомый ветром листок бумаги.

— Простите, позвольте спросить... — обратилась она к Сансиро, и он услышал ясный, звонкий голос, исполненный в то же время достоинства. Таким голосом, разумеется, не задают праздных вопросов, скажем, о том, созревают ли желуди в разгар лета. Но Сансиро не успел об этом подумать. Он сказал:

— Да, пожалуйста, — и остановился.

— Как пройти в пятнадцатую палату?

Это была та самая палата, которую Сансиро только что покинул.

— Вы ищете палату Нономии-сан?

— Да, — ответила девушка.

— По этому коридору дойдите до конца, поверните налево, и справа будет вторая дверь.

— В этот коридор... — Девушка указала тоненьким пальцем.

— Да, в этот, в первый.

— Большое спасибо.

Девушка пошла дальше. А Сансиро продолжал стоять, глядя ей вслед. Прежде чем свернуть в коридор, девушка оглянулась. Сансиро покраснел. А она, улыбнувшись, сделала легкое движение головой, как бы спрашивая: я правильно иду? Сансиро машинально кивнул в ответ. Девушка свернула направо и исчезла из виду.

Сансиро медленно вышел из клиники. Размышляя на ходу о том, что она, пожалуй, приняла его за студента-медика, Сансиро вдруг спохватился, что вел себя неподобающим образом. Надо было проводить ее до палаты. Вот досада!

Догнать девушку сейчас у Сансиро не хватило смелости. Он так же медленно прошел еще немного и резко остановился, пораженный вдруг пришедшей в голову мыслью: лента в волосах девушки была точь-в-точь такой, как та, которую Нономия купил в лавке. Едва волоча сразу отяжелевшие ноги, Сансиро, терзаясь догадками, миновал библиотеку, добрал до главных ворот, и тут его окликнул неизвестно откуда взявшийся Ёдзиро:

— Эй, ты, почему не был на лекции? Нам сегодня рассказывали о том, как итальянцы едят макароны.

Подойдя ближе, Ёдзиро хлопнул Сансиро по плечу. Они прогулялись немного, и, когда вернулись к воротам, Сансиро спросил:

— Скажи, разве в это время года девушки повязывают тонкие ленты? Ведь их носят только в жару?!

Ёдзиро расхохотался.

— Об этом спроси лучше профессора Н. Он знает все на свете.

Разговор на эту тему не состоялся. Сославшись на недомогание, Сансиро сказал, что на занятия сегодня не пойдет. А Ёдзиро повернул к учебному корпусу, всем своим видом показывая, что зря потратил с Сансиро время.

4

Теперь Сансиро постоянно испытывал душевный разлад. Лекции слушал рассеянно, часто не записывая в тетрадь даже важные вещи. Порой он просто не узнавал себя.

Сансиро не понимал, что с ним происходит, и очень страдал. Наконец однажды он не выдержал и пожаловался Ёдзиро, что последнее время скучает на лекциях. Ёдзиро ответил в своей обычной манере:

— Что может быть интересного в лекциях! Только такой провинциал, как ты, мог до сих пор их слушать, терпеливо ожидая какого-то откровения. Ведь это же верх глупости! Их лекции от века таковы. Не удивительно, что ты наконец разочаровался в них.

— Да нет, не то чтобы разочаровался... — оправдывался Сансиро. Его тяжеловесная медлительная речь до смешного не вязалась с небрежно-иронической манерой выражаться, свойственной Ёдзиро.

Такие диалоги не раз повторялись на протяжении примерно двух недель. Однажды Ёдзиро сам критически заметил:

— Каким-то ты странным стал. Можно подумать, что ты устал от жизни. Прямо-таки олицетворение «конца века»!

— Да нет, не то чтобы... — по-прежнему мямлил Сансиро. Он еще не настолько окунулся в окружающую его искусственную атмосферу, чтобы восторгаться такими словами, как «конец века», или жонглировать ими, как это сделал бы человек, искушенный в различных новшествах. Некоторое впечатление, правда, произвела на него фраза «устал от жизни». Усталость он и в самом деле ощущал. Однако не относил ее целиком на счет частых расстройств желудка и в то же время не возводил ее в жизненный принцип, в угоду моде. По этим причинам разговор с Ёдзиро не получился.

Между тем наступила середина осени. Аппетит у Сансиро

¹ Новое и модное для Японии того времени слово, пришедшее из западноевропейской литературы (Бодлер и др.), отражавшей настроения скептицизма, разочарования и отчаяния, существовавшие в Европе второй половины XIX в.

с каждым днем улучшался. Апатия прошла. В это время года двадцатитрехлетний юноша не мог, разумеется, чувствовать себя «уставшим от жизни». Сансиро много гулял. Не раз бродил он вокруг университетского пруда, но ничего сколько-нибудь примечательного не случилось. Не раз прогуливался возле клиники, однако встречались ему лишь незнакомые люди. Как-то он зашел к Нономии, в подвал на естественном факультете, осведомиться о здоровье сестры. Оказалось, что она уже вышла из больницы. Спросить о девушке, встретившейся ему в клинике, Сансиро постеснялся, поскольку Нономия был очень занят. В другой раз спрошу, решил Сансиро, поезду в Окубо, побеседую с ним не спеша и выясню, кто она и как ее зовут. Поборов в себе любопытство, Сансиро попрощался и отправился бродить по городу. Он прошел Табата, Докантъяма, потом кладбище в Сомэи, миновал тюрьму Сугамо, храм Гококудзи... Добрался даже до храма Якуси в Араи. На обратном пути он решил заглянуть к Нономии в Окубо, но от крематория пошел не той дорогой и оказался в Таката, откуда ему пришлось вернуться поездом. В вагоне он съел почти все каштаны, которые купил для Нономии. Остаток уничтожил на следующий день Ёдзиро.

Чем бездумнее жил Сансиро, тем веселее становилось у него на душе. Первое время он был так внимателен на лекциях, что от напряжения часто терял способность воспринимать, но сейчас этого с ним не случалось. Он размышлял во время лекций о посторонних вещах, а кое-что сознательно вообще пропускал мимо ушей. Приглядевшись к остальным студентам, Сансиро обнаружил, что все, начиная с Ёдзиро, ведут себя точно так же. И он стал думать, что так, пожалуй, и нужно поступать.

Порой в голову ему приходила мысль о виденной им в тот памятный день ленте. И тогда он испытывал смутную тревогу, даже печаль. Появлялось желание тут же отправиться в Окубо. Но от этой мысли отвлекали различные картины, которые рисовало ему воображение, все новые внешние впечатления, и он опять чувствовал себя легко и беззаботно, предавался мечтам и никак не мог собраться в Окубо.

Как-то во время послеобеденной прогулки Сансиро добрался до Дангодзака и, спускаясь по его склону, свернул влево, к широкой улице Сэндагибаяси. Стояли погожие осенние дни, и небо над Токио казалось таким же прозрачным, как в деревне. При одной лишь мысли, что живешь под таким небом, голова становится ясной. А уж как хорошо здесь, в пригороде! Дышится легко, свободно. Душа становится бескрайней, как небо, а тело — упругим, не то что весной, когда чувствуешь себя каким-то расслабленным. Разглядывая живые изгороди по обеим сторонам улицы, Сансиро впервые наслаждался ароматами токийской осени.

Обогнув подножье холма, Сансиро неожиданно увидел

узкие и длинные полотнища. Они оповещали, что здесь несколько дней назад начался традиционный осенний показ цветочных кукол¹, изображающих героев старинных сказаний и легенд. Издали доносились голоса, звуки барабана, трещоток. Эти звуки, устремляясь вверх, медленно растворялись в чистом осеннем воздухе и постепенно замирали. Едва касаясь слуха Сансиро, они его не раздражали, а, напротив, радовали.

Вдруг из переулка появились двое. Один из них окликнул Сансиро. Это оказался Ёдзиро. В его спутнике Сансиро узнал того самого человека, который тогда в Аокидо пил чай, и сразу понял, что это Хирота-сан, что, впрочем, он давно уже предполагал. Каким-то странным образом судьба связала его с этим человеком еще в поезде, когда они вместе ели персики. Еще глубже ему врезалась в память встреча в Аокидо, когда Хирота пил чай и курил, а Сансиро, побыв там очень недолго, убежал в библиотеку. И тогда и сейчас Сансиро почему-то казалось, что у Хироты лицо синтоистского священника, а нос европейца. Хирота был в своем обычном летнем платье, однако по виду его нельзя было сказать, что ему холодно.

Сансиро хотел обратиться к нему с приветствием, но не знал, что именно сказать, — слишком много прошло с тех пор времени. Поэтому он только приподнял фуражку и поклонился. Это было, правда, слишком вежливо по отношению к Ёдзиро и несколько фамильярно по отношению к Хироте. Ёдзиро тут же запросто познакомил их.

— Мой однокурсник. Окончил колледж в Кумамото и в первый раз приехал в Токио. — Он поспешил сообщить, что Сансиро провинциал, хотя никто его об этом не спрашивал, и повернулся к Сансиро: — А это Хирога-сэнсэй. Преподаватель колледжа...

Тут Хирота-сэнсэй произнес:

— Знаю, знаю.

Лицо Ёдзиро выразило удивление. Однако он не стал докучать сэнсэю расспросами о том, откуда тот знает его друга, и без всяких предисловий обратился к Сансиро:

— Ты не слышал, тут поблизости нигде не сдается² дом? Разумеется, просторный, чистый, с комнатой для сёсэя...

— Дом? Сдается.

— Где же? А он не грязный?

— Да нет, чистый. С большими каменными воротами.

— Замечательно! Говори скорее, где он находится. Каменные ворота, сэнсэй, ведь это просто отлично. Мы непременно его снимем, да? — загорелся Ёдзиро. Однако сэнсэй ответил:

¹ По-японски буквально «хризантемные куклы» — большие, в рост человека, куклы, одежды которых сплетены из цветов и листьев хризантем различной окраски.

² Сёсэй — подросток или юноша, живущий в доме учителя, врача и т. п. на положении полуслуги-нолуученика.

— Каменные ворота не подойдут.

— Не подойдут? Жаль. А почему, интересно?

— Не все ли равно почему. Не подойдут.

— Но ведь каменные ворота — это чудесно. Жили бы так, словно вам пожаловали титул барона, а, сэнсэй? Разве плохо?

Ёдзиро говорил с самым серьезным видом. Хирота насмешливо улыбался. В конце кондов верх одержала серьезность и решено было, во всяком случае, посмотреть дом. Сансиро взял на себя роль провожатого.

Выйдя переулком на соседнюю улицу, они прошли по ней с полквартала к северу и очутились на узенькой улочке, скорее похожей на тупик. Она упиралась в сад, принадлежавший торговцу цветами. Немного не доходя до него, Сансиро и его спутники остановились. Справа они увидели два гранитных столба и железные створки ворот.

— Здесь, — сказал Сансиро. На воротах действительно висела табличка «Сдается».

— Вот это да! — Ёдзиро с силой толкнул ворота, но они оказались запертыми.

— Подождите, сейчас пойду спрошу, — быстро проговорил Ёдзиро и скрылся в глубине сада. Хирота и Сансиро оказались предоставленными самим себе.

— Ну что, нравится вам Токио?

— Как сказать...

— Город, конечно, большой, но грязный, верно?

— Да-а... Пожалуй...

— Нет, с Фудзисан ничто не сравнится, не правда ли?

О Фудзисан Сансиро совсем забыл. Ему показал эту гору Хирота, когда они ехали в поезде. Сейчас, вспомнив об этом, Сансиро ощутил ее величие. И ничтожными показались мучившие его тревоги и сомнения. Сансиро устыдился того, что не заметил, как растерял тогдашние впечатления. Но тут Хирота озадачил его новым вопросом:

— Вы никогда не пробовали перевести Фудзисан?

— Перевести?

— Да, перевести. Любопытная вещь. Когда переводят природу, о ней говорят, как о человеке, наделяя теми же эпитетами: «величественная», «великая» или «могущественная», и все в таком духе.

Сансиро наконец понял, в каком смысле Хирота употребил слово «переводить».

— Всякое явление можно персонифицировать. На это неспособны только такие люди, на которых природа не оказывает никакого нравственного влияния.

Сансиро молчал, ожидая продолжения разговора, но Хирота вдруг бросил взгляд в сторону сада, в котором скрылся Ёдзиро, и, словно обращаясь к самому себе, проговорил:

— Долго как! Интересно, что он там делает?

— Пойду посмотрю? — предложил Сансиро.

— Нет, что вы! Это бесполезно, так просто его сейчас оттуда не вытащишь. Лучше подождем, хлопот меньше.

С этими словами Хирота уселся на корточки под живой изгородью из трехлистного лимонника, подобрал камешек и принялся рисовать на земле. Полная беспечность — как у Ёдзиро. Только совершенно иного характера.

Из-за густо растущих сосен раздался наконец громкий голос Ёдзиро:

— Сэнсэй! Сэнсэй!

Но сэнсэй продолжал рисовать. Что-то очень похожее на светильник перед буддийским храмом. Не получив ответа, Ёдзиро вынужден был подойти к ним.

— Пойдите посмотрите, сэнсэй... Дом вполне подходящий. Принадлежит садоводу. Можно попросить, и нам откроют ворота, но проще зайти со стороны сада.

Они прошли через сад торговца цветами к сдающемуся дому. Открывая снаружи ставни и заглядывая внутрь, обошли дом кругом и осмотрели все комнаты. В таком доме не зазорно было поселиться человеку среднего достатка. Плата, как сообщил Ёдзиро, сорок иен в месяц с уплатой вперед за три месяца.

— Зачем понадобилось смотреть такой роскошный дом? — спросил Хирота, когда они вышли на улицу.

— Зачем понадобилось? А что в этом плохого? — возразил Ёдзиро.

— Ведь все равно не снимем...

— Да нет, я бы снял за двадцать пять иен. Только хозяин никак не соглашается.

— Еще бы! — проворчал Хирота.

Ёдзиро принялся рассказывать историю ворот с гранитными столбами. До последнего времени они стояли перед одним особняком, где часто бывал Ёдзиро. Потом их купил садовод, когда занялся перестройкой своего дома, и поставил их вон в том месте. Это было в духе Ёдзиро — узнавать всякие любопытные подробности.

Они стали молча спускаться к Табатанотани. О доме больше не вспоминали. Только Ёдзиро нет-нет да и заговаривал о воротах. За их доставку садовод уплатил чуть ли не пять иен. Так что деньжата у него, надо думать, водятся. Он и дом-то этот построил, чтобы сдать за сорок иен в месяц, как-то совсем не к месту заявил Ёдзиро, а кто, собственно, его снимет? Охотников наверняка не найдется. Придется хозяину снизить плату. И уж тогда они непременно снимут этот дом.

— Ты чересчур много болтаешь, — сказал Хирота. — Сколько времени из-за тебя потеряли! Мог быстрее покончить с этим делом.

— Это вы всерьез насчет времени? Так ведь вы сами что-то там рисовали. Сэнсэй тоже довольно беспечный человек.

— Ну, кто из нас беспечнее — еще вопрос.

— А что это вы рисовали, позвольте спросить?

Сэнсэй не ответил. Тогда к нему обратился Сансиро с очень серьезным видом:

— Это, кажется, был маяк?

Хирота и Ёдзиро рассмеялись.

— Маяк — это ты здорово придумал. Но, по-моему, сэнсэй рисовал Сохати Нономию!

— Что? Почему ты так решил?

— Талант Нономии-сан сверкает даже за границей, а в Японии он пребывает во мраке неизвестности. Никто его не знает. За мизерное жалованье он безвыходно сидит в своем подвале — поистине неблагодарный труд. Смотреть на него жалко!

— Зато такие, как ты, светят не дальше чем на какой-нибудь шаг вокруг себя, точь-в-точь как круглый бумажный фонарь.

Ёдзиро, которого сравнили с круглым бумажным фонарем, вдруг повернулся к Сансиро.

— Ты в каком году родился, Огава-кун?

— Мне двадцать т р и , — ответил Сансиро.

— Да тебе, пожалуй, но дашь ни больше, ни меньше... Говоря откровенно, сэнсэй, я терпеть не могу таких вещей, как, скажем, круглый бумажный фонарь или японская трубка с круглой чашечкой. Может, это оттого, что я родился после пятнадцатого года Мэйдзи. Они кажутся мне чересчур старомодными и вызывают какое-то неприятное чувство... А ты, Огава-кун, что об этом думаешь?

— Никакой особой неприязни к этим вещам я не п и т а ю , — ответил Сансиро.

— Впрочем, ты ведь только что приехал из своей кюсюской глуши и все еще держишься взглядов начала Мэйдзи.

Ни Сансиро, ни Хирота никак не прореагировали на это заявление. Они прошли еще немного. На тщательно расчищенном участке, где прежде была криптомериевая роща, рядом со старым храмом стояло совсем новое, европейского стиля, здание, выкрашенное в голубой цвет. Видимо, сравнивая, Хирота посмотрел на храм, потом на голубое здание.

— Смешение эпох. Типичная черта и материального и духовного мира Японии. Вы, вероятно, видели маяк в Кудане? — Снова зашел разговор о м а я к е . — Это старинный памятник, он даже упоминается в «Альбоме достопримечательностей Эдо»¹.

— Нехорошо так шутить, сэнсэй. Каким бы старинным ни был маяк в Кудане, он все равно не мог быть упомянут в «Альбоме достопримечательностей Эдо».

¹ Эдо — столица феодальной Японии при сёгунах Токугава; был переименован в Токио в 1868 г. Маяк в Кудане, над Токийским заливом, был сооружен в 1871 г.

Хирота рассмеялся. По правде говоря, он уже понял, что спутал с этим альбомом цветные гравюры «Достопримечательности Токио». Однако продолжил свою мысль, сказав, что рядом с маяком, этим старинным сооружением, выстроено современное кирпичное здание Офицерского собрания Кайкося. Сочетание поистине нелепое. Но никто этого не замечает, все равнодушно проходят мимо. Это весьма характерно для нынешнего японского общества.

Ёдзиро и Сансиро поддакнули: «Действительно». Они миновали храм и вскоре оказались перед большими черными воротами. Ёдзиро стал уверять, что дорога за этими воротами ведет к Доканъяма. «А проход разрешен?» — на всякий случай спросил Хирота. Ёдзиро с убежденностью ответил, что, разумеется, разрешен, что это загородная вилла Сатакэ и ходить здесь может кто угодно. Не сомневаясь больше, Сансиро и Хирота последовали за Ёдзиро. Но когда из рощи вышли к старому пруду, появился сторож и стал ругать их. Ёдзиро только успевал оправдываться.

Затем они вышли к Янака, прогулялись по Нэдзу, и домой Сансиро вернулся только к вечеру. Впервые за последнее время, казалось ему, он провел день так весело и приятно.

На следующее утро Ёдзиро на занятиях не было. Не явился он и после обеда, как надеялся Сансиро. В библиотеке его тоже не оказалось. С пяти до шести Сансиро слушал общую лекцию для студентов филологического факультета. Записывать было невозможно — чересчур темно. А свет обычно зажигали позднее. Это было то время дня, когда небо между ветвями огромных вязов за продолговатыми окнами быстро темнеет, а лица лектора и слушателей становятся едва различимыми. Возникает ощущение таинственности: словно в полной темноте лакомишься пирожками с бобовым джемом. Сансиро с удивлением обнаружил, что не улавливает смысла лекции. Он сидел, подперев щеки руками, равнодушный ко всему, мысли его витали где-то далеко. Пожалуй, главное достоинство лекций, что на них можно вот так сидеть, подумал Сансиро. Вдруг вспыхнул свет. Он рассеял таинственность. Сансиро вдруг почувствовал голод, и ему захотелось домой. Видимо, догадавшись о настроении студентов, преподаватель быстро закончил лекцию. Сансиро поспешил к себе в Оивакэ.

Когда, переодевшись, он сел обедать, то увидел возле чашки с горячим супом письмо. По штемпелю он сразу догадался, что письмо от матери. К стыду своему, за целых полмесяца с лишним он ни разу не вспомнил о ней. Чем только не была забита теперь голова Сансиро: смешение эпох, персонификация Фудзисан, таинственная лекция, даже для той девушки в ней не осталось места. Но Сансиро это ни капельки не огорчало. Письмо он решил прочесть потом, а сам, не меш-

кая, поел. После обеда закурил и, созерцая дым, стал вспоминать последнюю лекцию.

Неожиданно явился Ёдзиро. На вопрос, почему он не был в университете, Ёдзиро ответил, что ему не до занятий: весь день искал дом.

— Отчего такая спешка? — удивился Сансиро.

— Спешка? Еще в прошлом месяце мне следовало переехать. Уговорил хозяина подождать до праздника, а праздник на носу, послезавтра. Так что завтра, не позднее, я должен во что бы то ни стало найти жилье. Нет ли у тебя чего-нибудь на примете?

Говорит, дело срочное, а сам накануне столько времени потратил зря: то ли дом искал, то ли прогуливался. Сансиро недоумевал. Это потому, что с ним был Хирота-сэнсэй, объяснил Ёдзиро. Никак не скажешь, что это сэнсёю нужен дом. Сам он, во всяком случае, ни разу и не искал. А вчера вообще был не в себе. Из-за него нарвались на неприятность в усадьбе Сатакэ, а ему, Ёдзиро, отдуваться пришлось... — Ну так как, можешь что-нибудь посоветовать? — настойчиво переспросил Ёдзиро. Он только за этим, видно, и пришел. Сансиро стал подробно его обо всем расспрашивать. Оказалось, что хозяин — ростовщик и дерет за квартиру втридорога. А Ёдзиро это злит. Вот он и заявил хозяину, что они с Хиротой съезжают, а теперь несет за это ответственность. — Сегодня побывал в Окубо, но и там ничего не нашел. По пути зашел к Сохати-сан, видел Ёсико-сан. Все еще болезненный вид у бедняжки... Лилейная красавица... Ее мать велела тебе кланяться. Кстати, сейчас там как будто спокойно. После того случая, говорят, никто больше не бросался под поезд.

Возбужденный беготней в поисках квартиры, Ёдзиро перескакивал с предмета на предмет. Впрочем, речь его вообще не отличалась связностью. Поговорив на очередную тему, он, как интермедию, вставлял вопрос: «А ты не посоветуешь, что-нибудь?» В конце концов Сансиро не выдержал и рассмеялся.

Между тем возбуждение Ёдзиро постепенно улеглось, и он весело болтал, с удовольствием щеголяя каким-нибудь китайским выражением вроде «крепко подружиться с вечерним светом»¹. Незаметно разговор перешел на Хироту.

— А как зовут твоего сэнсёя?

— Его зовут Тё. — Ёдзиро пальцем начертил иероглиф. — Элемент «трава» наверху, по-моему, здесь лишний. Впрочем, не знаю, в словаре, может быть, и есть такой иероглиф. Странное имя у него.

— Он преподает в колледже?

— Да. И очень давно. Великий человек! Знаешь, есть вы-

¹ Выражение, обозначающее: «усидчиво заниматься».

ражение: «Десять лет как один день», а он, пожалуй, уже лет двенадцать, а то и тринадцать там работает.

— А дети у него есть?

— Какие там дети. Он холостяк.

Сансиро был несколько удивлен и даже не поверил: в таком возрасте — и все еще холостяк.

— Почему же он не женится?

— В этом весь сэнсэй. У него на этот счет свои взгляды, чисто, я бы сказал, теоретические. Стоит ли, говорит он, приводить жену в дом, если заранее известно, какой она будет. Глупо, конечно. У сэнсэя одно противоречит другому. Он говорит, что нет места грязнее Токио. А при виде красивых каменных ворот пугается. Это ему «не подходит», то «слишком роскошно».

— Словом, ему следует жениться.

— Попробуй предложи ему! В ответ услышишь: «Очень, очень хорошо», или что-нибудь в этом роде.

— Вот сэнсэй говорит, что в Токио грязно, что у японцев неприглядный вид. Он разве бывал за границей?

— Ну, что ты! Где ему! У него ведь все от головы идет, а факты для него мало значат. Европу изучает по открыткам. Их у него очень много: Триумфальная арка в Париже, здание парламента в Лондоне... После этого Япония, разумеется, кажется ему грязной. Отсюда его нетерпимость. Зато, как ни странно, он может жить в каком угодно грязном доме. Ему все равно.

— В Токио он ехал в вагоне третьего класса.

— Не ворчал, что грязно?

— Как будто не ворчал.

— Имей в виду, что сэнсэй философ.

— Он преподает философию?

— Нет, английский язык. Но он от природы философ, вот что интересно.

— И труды имеет?

— Нет. Изредка пишет статьи, но ничьего внимания они не привлекают. Это нехорошо. А что поделаешь — люди о нем ничего не знают. Вот обозвал меня бумажным фонарем, а сам он светило, которое не светит.

— Ему, наверно, надо бы повращаться в обществе.

— Надо бы повращаться в обществе, говоришь? Что ты! Ведь сэнсэй о себе ни капли не заботится. Если б не я, он и о еде забыл бы. Вот он какой!

Сансиро рассмеялся с таким видом, словно хотел сказать: «Так уж прямо и забыл бы!»

— Точно тебе говорю. Даже жаль его, такой он беспомощный. Уж я велел служанке всячески угождать сэнсэю... Впрочем, все это мелочи. А вот сделать его профессором университета я попробую. Ради этого готов разбиться в лепешку!

Сансиро был несколько озадачен таким заявлением. Одна-

ко Ёдзиро, нимало не смущаясь, продолжал в том же духе с самым серьезным видом и под конец попросил:

— Когда будем переезжать, непременно приходи помочь.

Ушёл Ёдзиро около десяти. Сансиро вдруг почувствовал, что озяб. Только сейчас он заметил, что еще не закрыты ставни окна, у которого стоял стол. Сансиро раздвинул сёдзи. Луна озаряла своим бледным светом ветви кипариса, неизменно вызывавшего у Сансиро неприятное чувство. От этого темный силуэт дерева казался подернутым легкой серебристой дымкой. «Удивительно, что даже кипарис выглядит по-осеннему», — подумал Сансиро. Он закрыл ставни и сразу же лег спать.

Сансиро был натурой увлекающейся, скорее склонной к созерцанию, нежели к усидчивому и повседневному труду. Читал он сравнительно мало. Зато увидев нечто, поразившее его воображение, мог предаваться все новым и новым мечтам и в этом находил удовольствие. Вот в чем, думал он, и состоит истинный смысл жизни. Сегодня он тоже охотно пустился бы в воспоминания, скажем, о том, как на лекции, которую он слушал в аудитории, погруженной в таинственный полумрак, вдруг зажегся свет. Однако его ждало письмо матери.

Мать писала, что Синдзо принес в подарок меду и теперь каждый вечер она смешивает его с картофельной водкой и выпивает чашечку. Синдзо — их арендатор, каждую зиму он приносит двадцать мешков риса в качестве арендной платы. Человек исключительно честный, но до того вспыльчивый, что порой даже бьет жену палкой... Сансиро вспомнил, как Синдзо стал разводить пчел. Это было давно, лет пять назад. Однажды, заметив на дубе, росшем на заднем дворе, две-три сотни пчел, он, не мешкая, взял большую воронку, налил в нее сакэ и обрызгал их, после чего собрал и положил в ящик. В ящике проделал отверстия и поставил его на камень на солнечной стороне. Пчел становилось все больше, и пришлось поставить второй улей. Потом третий. Так в конце концов у него оказалось шесть или семь ульев. Один из ульев Синдзо раз в год снимает с камня, чтобы вынуть мед для пчел. Каждое лето, когда Сансиро приезжал на каникулы, Синдзо обещал принести меду, но обещания своего ни разу не выполнил. Что же в этом году с ним случилось? Память, что ли, стала у него лучше?..

Синдзо сообщил, писала мать дальше, что Хэйтаро поставил надгробие на могиле отца, и просил ее прийти посмотреть. Она пошла и в самом центре сада, на расчищенной от деревьев и травы площадке, увидела гранитное надгробие. Хэйтаро им очень гордится. Целых несколько дней понадобилось, чтобы вырубить этот кусок гранита из скалы, да еще потом каменотесу пришлось заплатить за работу. Десять иен взял. Простые крестьяне не разбираются в таких вещах, а вот ваш сын — молодой барин, он, мол, в университете учится и наверняка понимает, какой хороший камень, а какой плохой. Так

что спросите его об этом, когда будете писать, и еще пусть напишет, сколько может стоить такой памятник... Сансиро засмеялся. Это почтице каменных ворот в Сэндаги.

Пришли фотографию в университетской форме, писала мать. «Надо будет как-нибудь сняться», — подумал Сансиро. Дальше, как он и предполагал, шли строки об О-Мицу-сан... Недавно приходила матушка О-Мицу-сан. Скоро Сансиро-сан окончит университет, сказала она и спросила, не возьмешь ли ты в жены ее дочь. О-Мицу-сан и собой хороша, и добра, и с достатком. Дом есть, участок большой, так что это обоим семьям пойдет на пользу, тем более что они издавна в добрых отношениях... Затем следовала приписка. «О-Мицу-сан будет рада... К токийским девушкам у меня что-то душа не лежит. Кто знает, какой у них нрав».

Сансиро сунул письмо в конверт, положил у изголовья и закрыл глаза. На потолочных балках заскреблись мыши, но вскоре опять все стихло.

В представлении Сансиро как бы жило три мира. Один, теперь уже далекий, хранил аромат времени до пятнадцатого года Мэйдзи, того самого, о котором говорил Ёдзиро. Все там дышало покоем, как в сонном царстве. Стоит Сансиро захотеть, и он сможет туда вернуться — настолько это просто. Но он не хочет, тем более что в том нет надобности. Покинутое место. В нем Сансиро накрепко запер свое прошлое, с которым навсегда расстался. Лишь при воспоминании о милой матушке Сансиро испытывал раскаяние, поскольку даже ее предал забвению. Получив письмо из дому, Сансиро подолгу мысленно бродил в этом брошенном им мире, с теплым чувством заново переживая прежние радости.

Второй мир — это замшелое кирпичное здание. Просторный читальный зал, такой большой, что лица людей в противоположном его конце едва можно различить. Книги чуть не до самого потолка, так что без лестницы их не достанешь. Они потемнели от прикосновения множества рук, множества пальцев, но сверкают золотым тиснением. Некоторым из них по двести лет. Овечья кожа, воловья кожа, толстый слой пыли, драгоценной пыли, скопившейся за два-три десятка лет. В ней спокойствие всех времен.

В этом мире почти все носят неопрятные усы. Ходят либо задумчиво глядя вверх, либо сосредоточенно под ноги. Одеваются тоже неряшливо. Живут бедно. И в то же время бесечно. Окруженные шумом и суетой, они дышат воздухом мира и покоя, ничуть не заботясь о том, что думают о них другие. Они несчастны, поскольку не знают реальной жизни, и в то же время счастливы, потому что не ведают земных мук. В их число входит Хирота-сэнсэй. И Нономия-кун тоже. Сансиро уже близок к пониманию этого мира. Он волен его покинуть. Но жаль. Стольких трудов стоило постичь его сущность и очарование!

Третий мир искрится и сверкает, он полон живой прелести, как раскованная весна. Яркий электрический свет. Серебряные ложки. Радостные возгласы. Шутки. Пенящееся шампанское. И, наконец, женщины. Прекрасные женщины. Он дважды видел одну из них. С другой ему даже случилось разговаривать. Он манит к себе, этот мир. Он — как молния: кажется, будто совсем близко, а на самом деле очень далеко. Сансиро с любопытством присматривался. Он должен, казалось ему, занять там свое место и даже стать главным героем в каком-нибудь его уголке. Для этого у него есть все данные. И все же этот мир, в который Сансиро надеялся войти с такой легкостью, пока закрыт для него. Удивительное и поистине любопытное обстоятельство!

Лежа в постели, Сансиро поставил все три мира в ряд для сравнения, затем мысленно слил их воедино и пришел к выводу, что самое лучшее для него — привезти в Токио мать, жениться на красивой девушке и посвятить себя наукам.

Вывод был самым банальным, но Сансиро пришел к нему путем долгих размышлений и именно с этой точки зрения его оценил.

Правда, представителем третьего, такого необъятного мира Сансиро избрал для себя всего лишь жену. А сколько на свете красивых женщин! Если, пользуясь языком Хироты, подумал Сансиро, «перевести», точнее, персонифицировать, женскую красоту, она окажется чрезвычайно разнообразной. А коль скоро возможно ее персонифицировать, необходимо почаще общаться с красивыми женщинами, чтобы расширить границы нравственного влияния персонификации и довести до совершенства собственную индивидуальность. Вот и выходит, что удовлетвориться женой значит, пожалуй, остановиться в своем развитии.

Тут логические построения Сансиро были несколько нарушены пришедшей ему в голову мыслью: «Я, кажется, заразился от Хироты-сан». Ведь Сансиро еще не постигло столь острое разочарование.

Лекции на следующий день были, как всегда, скучны, однако сама атмосфера, царившая в аудитории, тоже, как всегда, уводила далеко от мирской суеты, и времени с утра до трех часов дня оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть Сансиро в лоно второго мира. Мимо полицейского участка Оивакэ он шел с видом великого ученого. И вдруг встретил Ёдзиро.

— Ха-ха-ха, — расхохотался тот. От величия Сансиро не осталось и следа. Даже полицейский в будке едва заметно улыбнулся.

— Ты что? — спросил Сансиро.

— Да так, ничего. Только, знаешь, ходил бы ты по-человечески. А то напустил на себя эдакую «романтическую иронию».

Сансиро не очень понимал смысл этого европейского выражения. И, не зная, что сказать, спросил совсем о другом:

— Нашел квартиру?

— С этим сообщением я как раз и заходил к тебе только что. Завтра наконец-то переселяемся. Приходи помочь.

— Куда?

— Нисикатамати, десять — три. Пойдешь туда к девяти часам, наведешь порядок и дождешься меня. Я приду позже. Ладно? Так к девяти, не забудь. Ну, пока!

Ёдзиро поспешил дальше. А Сансиро заторопился домой. Вечером он пошел в университетскую библиотеку — справиться относительно «романтической иронии». В словаре было сказано, что этот термин ввел в обиход немец Шлегель¹. А смысл его был таков: истинному гению положено весь день бродить без дела и без цели. Сансиро успокоился, вернулся домой и лег спать.

Следующий день был праздничным по случаю дня рождения императора, и занятия в университете отменялись. Однако Сансиро, помня уговор с товарищем, встал, как обычно, и отправился на Нисикатамати, 10. Это оказался старый дом в самом центре очень узкой улочки.

Прихожая была устроена по-европейски. Слева от нее, по коридору, находилась гостиная. За нею шла столовая, напротив столовой — кухня. Рядом с кухней была комната для прислуги. На втором этаже тоже были комнаты, но определить их расположение и размер было трудно.

В наведении порядка, как просил его Ёдзиро, Сансиро не видел особой необходимости. Нельзя сказать, что все здесь сверкало чистотой, но ничего лишнего не было — разве что татами да прогнившие деревянные перегородки, которые нужно было выбросить. Размышляя, Сансиро открыл ставни, сел на веранде и стал разглядывать сад.

Там рос мирт. Он уходил своими корнями в соседний сад и склонился ветвями над самой изгородью, словно стремясь вторгнуться на чужую территорию. Была еще сакура по эту сторону изгороди, но ее ветви раскинулись так широко, что едва не задевали телефонные провода на улице. Единственный розовый куст стоял совсем без цветов — видимо, это были зимние розы и еще не наступила пора цветения. Словом, сад имел какой-то жалкий вид, хотя на самое землю, ухоженную, без бугров, приятно было смотреть. Сад, наверно, специально был так устроен, чтобы любоваться землей.

В колледже неподалеку прозвенел звонок: там началась церемония в честь дня рождения императора. Наверно, уже девять, подумал Сансиро и решил, что нехорошо сидеть без дела. Может быть, подмести опавшие листья сакуры? Тут он

¹ Фридрих фон Шлегель (1772—1829) — литературный критик, принадлежал к немецкой романтической школе.

вспомнил, что нет метлы, и снова сел. Буквально через две минуты открылась калитка, и в саду появилась та самая девушка, которую он видел однажды у пруда.

Площадь сада, имеющего форму правильного четырехугольника, не достигала и десяти цубо¹. С двух сторон тянулась живая изгородь. Едва завидев девушку в этом тесном пространстве, Сансиро подумал, что цветами надо любоваться в вазе.

Сансиро спустился с веранды, а девушка отошла от калитки.

— Извините, я . . . — проговорила девушка. Она поклонилась, но головы не опустила, продолжая смотреть на Сансиро, отчего шея ее показалась Сансиро чересчур длинной, и он физически ощутил отражение ее глаз в своих.

Как-то на днях преподаватель эстетики показал Сансиро картину Греза, заметив при этом, что лица всех женщин, написанных этим художником, исполнены чувственности. Никаким другим словом нельзя было бы определить взгляд девушки в этот момент. Он манил к себе, этот взгляд. Говорил о чем-то пленительном. Оп, несомненно, пробуждал плоть, но сквозь плоть проникал в самую душу. Он вызывал скорее мучительное, чем сладостное чувство. В нем не было и намека на кокетство. Напротив, какая-то серьезность, почти суровость. И не ответить на такой взгляд было невозможно. При этом чисто внешнего сходства у девушки с картиной Греза не было. У той, на картине, глаза были чуть ли не вполновину больше.

— Я хотела спросить... сюда ли переезжает Хирота-сан?

— Да, сюда.

По сравнению с голосом и тоном девушки ответ Сансиро мог показаться грубым. Он сам это чувствовал. Но так уж у него получилось.

— Скажите, пожалуйста, он уже здесь? — спросила девушка удивительно ясным голосом.

— Нет еще. Но должен вот-вот приехать.

Девушка стояла в нерешительности, держа в руках большую корзину. Сансиро и на этот раз не смог бы сказать, в каком она была кимоно. Он заметил лишь, что сегодня оно не сверкало. Рисунок на сжатой ткани казался очень неопределенным и нечетким.

С сакуры время от времени падали лепестки. Один из них опустился на крышку корзинки и тут же улетел, подхваченный ветром. Ветер набросил на девушку покрывало осени и унесся к соседям. Тогда девушка спросила:

— А вы?..

— Меня попросили привести здесь все в порядок, — сказал Сансиро, и ему самому стало смешно: ведь его застали, когда он бездельничал. Девушка тоже рассмеялась.

¹ Цубо — 3,3 квадратных метра.

— Может быть, мне подождать?

Она как бы спрашивала согласия Сансиро и тем доставила ему большое удовольствие.

— А г а , — ответил он.

Девушка продолжала стоять. А Сансиро не придумал ничего лучшего, как задать ей тот же вопрос, что и она ему:

— А вы?..

Девушка поставила корзину на веранду, достала из-за obi визитную карточку и подала ее Сансиро.

На карточке значилось: «Минэко Сатоми, р-н Хонго, Масаготё». Оказывается, она живет совсем близко, за оврагом. Пока Сансиро разглядывал визитную карточку, девушка села.

— А я вас видел, — сказал Сансиро, спрятал карточку в карман и взглянул на девушку.

— Да, тогда в клинике...

— Не только в клинике.

— И еще у п р у д а , — быстро сказала девушка. Она хорошо это помнила. Сансиро молчал, не зная, что сказать. — Я вас ничем не обидела? — спросила девушка и тоже замолчала.

— Н е т , — коротко отозвался Сансиро. Теперь все свое внимание они сосредоточили на сакуре. На ее верхушке еще оставались листья, вроде бы изъеденные жучками. Вещи Хироты все не везли. — У вас какое-нибудь дело к сэнсёю? — вдруг спросил Сансиро. Девушка оторвала взгляд от сухих веток сакуры и резко повернулась к Сансиро. «Какой вы странный» — было написано на ее лице. Но ответила она просто:

— Меня тоже попросили помочь.

Сансиро только сейчас заметил, что на веранде полно песку.

— Смотрите, сколько песку. Вы испачкаете кимоно.

— Возможно. — Девушка огляделась вокруг, но не встала. Некоторое время она осматривала веранду, потом перевела взгляд на Сансиро и спросила с улыбкой: — Вы здесь уже убивали?

Сансиро уловил в ее улыбке дружескую непринужденность и ответил:

— Нет еще.

— Может, сделаем это вместе? Я помогу вам.

Сансиро тотчас поднялся. Девушка спросила, где взять веник и щетку, но продолжала сидеть. Сансиро ничего с собой не принес и сказал, что сбегает в лавку, однако девушка отсоветовала ему попусту тратиться и предложила попросить щетку и веник у соседей. Сансиро тут же пошел к соседям и вскоре вернулся с веником, щеткой, ведром и тряпкой. Девушка продолжала разглядывать ветки сакуры.

— Взяли?.. — спросила она, увидев Сансиро, который держал в руке ведро, а на плече веник.

— В з я л , — коротко ответил Сансиро. Не обращая внимания на песок, девушка, как была в белых таби, поднялась на ве-

ранду, оставляя на песке маленькие изящные следы. Она вытащила из рукава кимоно белый передник, отороченный по краям тесьмой, словно кружевом, слишком нарядный для уборки, подоткнула его под оби и взяла веник.

— Ну что ж, начнем, — сказала она, закинув широкий рукав кимоно за плечо. Сансиро увидел удивительно красивую, обнаженную почти до плеча, руку, край рукава прелестного нижнего кимоно и на какой-то миг застыл на месте, раскрыв рот, но тут же спохватился и, гремя ведром, пошел на кухню.

Минэко подметала, а Сансиро шел за нею следом, протирая пол мокрой тряпкой. Пока Сансиро выбивал татами, Минэко счищала грязь с сёдзи. К тому времени, когда уборка подошла к концу, они стали почти друзьями. С веником и щеткой Минэко поднялась на второй этаж и позвала Сансиро, который пошел на кухню сменить воду в ведре.

— Поднимитесь, пожалуйста, сюда.

— А что случилось?

Стоя внизу у лестницы, Сансиро видел лишь передник девушки, белевший в темноте. С ведром в руке он стал подниматься по лестнице и вскоре очутился в какой-нибудь трети метра от неподвижно стоявшей Минэко, едва не касаясь лицом ее лица.

— Что случилось?

— Темень такая, ничего не видно.

— Почему же это?

— Да вот не знаю...

Сансиро проскользнул мимо Минэко, поставил ведро и хотел открыть ставень, но не мог справиться с задвижкой. Минэко подошла к нему.

— Не открывается? — спросила девушка и пошла к противоположному окну. — Здесь попробуйте.

Сансиро молча подошел к ней. Он чуть было не коснулся ее руки, но вдруг зацепился за ведро. Раздался грохот. Общими усилиями они наконец открыли один ставень. В глаза ударил ослепительно яркий свет солнца. Они посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись.

Окно с бамбуковой решеткой на противоположной стороне им тоже удалось открыть. Поглядев в сад, где бродили куры, Минэко снова взялась за веник, а Сансиро — за тряпку. Он ползал на четвереньках, вытирая пол.

— Ого! — сказала Минэко, посмотрев на Сансиро.

Вскоре Минэко бросила веник на татами и стала смотреть в окно. Сансиро тоже кончил уборку, сунул тряпку в ведро и подошел к Минэко.

— Что вы там разглядываете?

— Угадайте.

— Кур?

— Нет.

— То большое дерево?

— Нет.

— Что же тогда?

— Облака.

По небу и в самом деле плыли облака. Ярко-синее небо и на нем пышные, похожие на блестящую вату облака. Разгоняемые сильным ветром, они становились вдруг такими тонкими, что сквозь них просвечивала синева, либо сбивались в кучу и торчали, словно заусеницы, белыми мягкими иглами.

— Вы только посмотрите, как они похожи на страусовое боа!

Сансиро не знал, что такое боа, и честно в этом признался. Минэко с удивлением протянула: «Да-а», — но тут же спохватилась и вежливо объяснила.

— А, з н а ю, — ответил тогда Сансиро.

Потом он сообщил ей, как слышал недавно от Нономии, что облака представляют собой снежную пыль, и если даже снизу видно, как они движутся, то скорость у них, пожалуй, больше, чем у ураганного ветра.

— Вот как? — Минэко посмотрела на Сансиро и безапелляционно заявила: — Скучно думать, что это снег.

— Почему же?

— Да так... Облака должны быть облаками. Иначе зачем бы ими любовались?

— Вы так думаете?

— Что значит «думаете»? А вам все равно, облака это или снег?

— Вас, вероятно, привлекает то, что высоко над вами?

— Пожалуй, — ответила Минэко, снова устремив взгляд на небо, где бесконечной чередой плыли облака.

В это время тишину переулка нарушил стук колес приближающейся тележки.

— Приехали, — сказал Сансиро.

— Как быстро, — отозвалась Минэко, не шелохнувшись.

Она прислушивалась к грохоту тележки с таким видом, словно он мог как-то повлиять на движение облаков. Нещадно нарушив спокойствие осеннего утра, повозка вскоре подкатила к воротам.

Сансиро оставил Минэко и сбежал вниз. Ёдзиро как раз входил в ворота.

— Раненько ты пришел, — первым заговорил Ёдзиро.

— Зато ты поздно, — ответил Сансиро, в этом смысле расходясь во мнении с Минэко.

— Поздно, говоришь?.. А что делать? Мне одному пришлось все вещи укладывать. Только служанка да рикша помогали.

— А сэнсэй где?

— В колледже.

Тем временем рикша стал разгружать вещи. Наказав ему и служанке переносить кухонную утварь, Ёдзиро и Сансиро

занялись книгами. Книг было много, и расставить их оказалось делом нелегким.

— А барышня Сатоми еще не пришла?

— Пришла.

— Где же она?

— Наверху.

— Что она там делает?

— Что делает? Ничего. Просто находится наверху.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

Ёдзиро подошел к лестнице и крикнул:

— Сатоми-сан, а Сатоми-сан. Помогите нам, пожалуйста, расставить книги.

— Сейчас приду.

С веником и щеткой Минэко стала не спеша спускаться вниз.

— Что вы там делали? — нетерпеливо спросил Ёдзиро.

— Уборку.

Дождавшись наконец Минэко, Ёдзиро подвел ее к комнате, где у самого входа грудами лежали книги. Перебирая их, спиной к двери сидел на корточках Сансиро.

— Какой ужас! — воскликнула Минэко. — Что же с этим делать?

Не меня позы, Сансиро оглянулся с улыбкой.

— Ничего ужасного, — сказал Ёдзиро. — Внесем все это в комнату и поставим на полки. Вот-вот должен подойти сэнсэй, он нам поможет. Послушай-ка, — недовольным тоном обратился он к Сансиро, — если ты собираешься читать сейчас подряд все книжки, толку не будет. Потом займешься этим, на досуге.

Они распределили между собой роли. Минэко и Сансиро разбирали книги и передавали Ёдзиро, а он расставлял их по полкам.

— Вы только как попало не давайте, — сказал Ёдзиро, размахивая тонкой синей книгой. — Тут должен быть еще один том — продолжение.

— Нет его здесь.

— Как нет? Не может быть!

— Нашел, нашел! — крикнул Сансиро.

— Дайте-ка взглянуть, — наклонилась к нему Минэко. — «История интеллектуального развития...»¹ Ага, в самом деле нашлась...

— Ага, нашлась, — проворчал Ёдзиро. — Давайте быстрее сюда.

Все трое целых полчаса работали без передышки. Даже

¹ Книга из библиотеки писателя. Автор ее — Джон Крозье (1849—1921), уроженец Канады. Философ, историк, экономист. Первый том вышел в 1897 г., третий — в 1901-м. Второй том, по-видимому, не был издан.

Ёдзиро успокоился и перестал торопить своих помощников. Когда же Сансиро и Минэко заглянули в комнату, то увидели, что он тихоноcko сидит перед полкой, скрестив ноги. Минэко слегка тронула Сансиро за плечо. Сансиро, смеясь, окликнул Ёдзиро:

— Эй, ты что это притих?

— Гм. Сижу и думаю, зачем сэнсэю столько бесполезных книг. Только хлопоты доставляет людям. Продал бы лучше да купил акции какие-нибудь. Э, да что говорить, — вздохнул Ёдзиро.

Сансиро и Минэко весело переглянулись. Раз начальник сидит без дела, почему бы и им не передохнуть? Сансиро стал листать какой-то сборник стихов. Минэко раскрыла на коленях большой альбом с рисунками. С черного хода доносился шум — это переругивались рикша со служанкой.

— Взгляните-ка, — тихо проговорила Минэко. Сансиро склонился над альбомом и ощутил исходивший от волос девушки аромат духов.

На фоне моря была изображена обнаженная женщина с хвостом рыбы. Она причудливо изогнулась, так что только хвост был обращен к морю. Одной рукой она придерживала длинные волосы, в другой — держала гребень.

— Русалка!

— Русалка!

Они одновременно прошептали это слово, едва не касаясь друг друга. Тут притихший было Ёдзиро вдруг спохватился:

— Что это вы разглядываете?

Он вышел в коридор, и теперь уже все трое склонились над альбомом, листая его и обмениваясь глубокомысленными замечаниями.

Наконец появился Хирота, во фраке. Он возвратился с торжества по случаю дня рождения императора. Молодые люди быстро захлопнули альбом и приветствовали его.

— Хорошо бы побыстрее управиться, — сказал Хирота.

И они с усердием взялись за дело. При хозяине дома уже неловко было работать спустя рукава. Через час все было готово. Оставалось лишь полюбоваться аккуратно расставленными на полках книгами.

— Что не успели, завтра приведем в порядок, — заявил Ёдзиро таким тоном, будто хотел сказать: «Хватит с вас и этого».

— У вас много книг, — заметила Минэко.

— И вы все это прочли, сэнсэй? — поинтересовался Сансиро. Возможно, ему действительно понадобилось выяснить для себя это обстоятельство.

— Кто может столько прочесть? Разве что Сасаки!

Ёдзиро почесал голову. А Сансиро совершенно серьезно сообщил, что с недавнего времени берет книги в университет-

ской библиотеке, и какую бы книгу ни взял, оказывается, что она уже была у кого-то на руках. Даже в романе некой Афры Бен, который он взял на пробу, есть пометки на полях. Вот он и хочет знать, сколько может прочесть человек.

— Ну, Афру Бен я читал, — сказал Хирота, чем немало удивил Сансиро.

— Невероятно! — воскликнул Ёдзиро. — Ведь обычно вы читаете то, чего не читают другие.

Хирота рассмеялся и пошел в другую комнату. Видимо, чтобы сменить фрак на кимоно. Минэко вышла следом за ним. Тогда Ёдзиро сказал Сансиро:

— Вот почему я и говорю, что он светило, которое не светит. Все на свете прочел. А отдачи никакой. Увлекался бы лучше модными новинками да был понапористее.

Все это Ёдзиро произнес без тени ехидства. Сансиро продолжал молча смотреть на книжные полки. Из гостиной слышался голос Минэко:

— Идите сюда! Будем чай пить!

Молодые люди покинули кабинет и коридором прошли в гостиную. Посреди гостиной стояла корзина Минэко с откинутой крышкой. Минэко доставала из нее бутерброды и раскладывала на тарелочки. Между Ёдзиро и Минэко произошел следующий разговор:

— Вот молодчина, не забыла принести.

— Но ведь вы просили.

— Вы и корзину купили?

— Нет.

— Нашли дома?

— Да.

— Уж очень она велика. Вы, конечно, на рикше приехали? Кстати, рикшу надо было оставить, пусть поработал бы немного.

— Рикшу отправили с поручением. А такую корзинку и женщина в силах принести.

— Это вы так рассуждаете. А другая ни за что не согласилась бы.

— В самом деле? Тогда и я зря согласилась.

Разговаривая с Ёдзиро, Минэко продолжала раскладывать еду на тарелочки. Речь ее лилась неторопливо и спокойно, восхищая Сансиро.

Служанка принесла чай. Все уселись вокруг корзинки и принялись за еду. Воцарилось молчание. Первым его нарушил Ёдзиро.

— Позвольте вас спросить, сэнсэй. Недавно вы упоминали о какой-то Бен. Верно?

— Афре Бен?

— Да. Так вот, кто, собственно, она такая?

— Талантливая английская писательница семнадцатого века.

— Семнадцатого? Чересчур далеко. Материал для журнала из этого не сделаешь.

— Далеко — это верно. Зато она первая женщина, ставшая профессиональной писательницей. И этим знаменита.

— Еще и знаменита? Это меня совсем не устраивает. Тогда скажите, пожалуйста, что она написала.

— Я читал только «Оруноко». Кажется, под таким названием этот роман входит в ее собрание сочинений. Так, Огавасан?

Все это Сансиро забыл и попросил Хироту напомнить ему содержание романа. Как выяснилось, в романе шла речь о негритянском короле Оруноко, который был обманут и продан в рабство английским капитаном и перенес много лишений и страданий. Считают, что Афра Бен была свидетельницей этих событий.

— Интересно. Скажите, Сатоми-сан, вас не привлекает идея написать о таком вот Оруноко?

— Привлекает, но, к сожалению, я не была очевидицей подобных событий...

— Если вам в главные герои нужен негр, то за него вполне сойдет Огава-кун. Он с Кюсю, и кожа у него темная.

— Что за злой язык, — сказала Минэко, беря под защиту Сансиро, и тут же повернулась к нему: — Разрешаете?

Встретив ее взгляд, Сансиро вспомнил, как утром девушка вошла в калитку с корзинкой в руках. Воспоминание это его охватило, и он не мог произнести даже вежливое: «Пожалуйста, прошу вас».

Хирота закурил.

— Дым и то выпускает как философ, — съязвил Ёдзиро. И в самом деле, курил Хирота тоже по-особому, через равные промежутки времени лениво выпуская из ноздрей две густые струи дыма. Созерцая эти струи, Ёдзиро сидел молча, слегка касаясь спиной перегородки, Сансиро рассеянно смотрел в сад. Все это походило не на переезд, а скорее на дружескую встречу небольшой компании. Беседа шла легко и приятно. Минэко, стоя за спиной Хироты, аккуратно складывала снятый им европейский костюм. Пожалуй, и кимоно она помогла ему надеть.

— Кстати, я вам сейчас расскажу об этом Оруноко. А то по рассеянности Ёдзиро может все перепутать, — заметил Хирота, перестав попыхивать сигаретой.

— О, я охотно послушаю, — с готовностью откликнулся Сансиро.

— По выходе в свет этого романа некто по имени Саузерн¹ сделал из него драму и издал под тем же названием.

¹ Саузерн Томас (1660—1746) — английский драматург. Известность принесла ему переделка в драматические произведения двух романов Афры Бен «Оруноко» и «Роковой брак».

Но это совершенно самостоятельное произведение и путать их нельзя.

— А я и не путаю.

Минэко, складывавшая костюм, бросила взгляд на Ёдзиро.

— В этой пьесе есть замечательная фраза: «Pity's akin to love»¹, — продолжал Хирота, снова энергично выпуская свой «философский» дым.

— В японской литературе, кажется, тоже есть нечто подобное, — вступил в разговор Сансиро, и все его поддержали. Но что именно — никто не мог припомнить. Потом каждый пытался перевести английскую фразу, но ничего не получилось. В конце концов Ёдзиро высказал суждение, весьма для него характерное:

— Перевести можно только в форме народной песни. Сам дух этой фразы народный.

После такого заявления решено было поручить перевод одному Ёдзиро. Подумав немного, Ёдзиро сказал:

— Что, если так... Не совсем точно, правда... «Милого жалею — потому люблю».

— Что за пошлость! — поморщился Хирота. — Нет, нет, не годится.

Это было сказано с такой забавной брезгливостью, что Сансиро и Минэко рассмеялись. Как раз в этот момент скрипнула калитка, и вошел Нономия.

— Ну что, навели порядок? — спросил он, подойдя к веранде.

— Нет е щ е, — быстро ответил Ёдзиро.

— Помогли бы немного, — подхватила Минэко.

— А у вас, я вижу, весело, — с улыбкой заметил Нономия. — О чем-нибудь интересном беседуете?

С этими словами он присел на край веранды вполборота ко всем.

— Я перевел тут одну фразу, а сэнсэй меня отчитал.

— Фразу? Какую же?

— Да так, пустяки, «Милого жалею — потому люблю».

— Что такое? — Нономия повернулся к Ёдзиро. — Это о чем, собственно? Не понимаю.

— Никто не понимает, — вмешался Хирота.

— Да нет, я просто в стиле песни сделал, а если точно перевести, то получится «Жалеть — значит любить».

— Ха-ха-ха. А как в подлиннике?

— Pity's akin to love, — сказала Минэко. У нее оказалось великолепное произношение.

Нономия встал, прошелся по садику перед верандой, потом обернулся и сказал:

— А перевод и в самом деле удачный.

¹ «Жалость сродни любви» (англ.).

Сансиро невольно следил за Нономией — за его манерой держаться, за направлением его взгляда.

Минэко сходила на кухню, принесла свежего чаю и, подойдя к краю веранды, протянула чашку Нономии:

— Пожалуйста! — затем села и спросила: — Как здоровье Ёсико-сан?

— Да она, можно сказать, уже здорова, — ответил Нономия, принимаясь за чай, и повернулся к Хирото.

— Знаете, сэнсэй, мы, кажется, напрасно переезжали в Окубо, только время и силы потратили, придется, наверно, снова переселяться в этот район.

— Почему?

— Сестре не нравится ходить в школу через поле Тояма. К тому же по вечерам она скучает, когда я допоздна засиживаюсь в лаборатории. Пока, правда, еще сносно — мать живет с нами. Но скоро она возвращается в деревню. А служанка такая же трусиха, как сестра... Вот морока, — не то в шутку, не то всерьез вздохнул Нономия и обратился к Минэко: — Не желаете ли, Сатоми-сан, завести себе компаньона?

— Охотно.

— А кого именно, Сохати-сан или Ёсико-сан?

— Это все равно.

Один только Сансиро не участвовал в разговоре.

— Что же все-таки вы намерены предпринять? — очень серьезно спросил Хирота.

— Если пристрою сестру — останусь в Окубо. Не то придется переезжать. Я уж подумываю, не поместить ли ее в школьный пансион, а самому жить поблизости, чтобы мы могли часто видеться — ведь она еще ребенок.

— Тогда лучше всего у Сатоми-сан, — снова подал голос Ёдзиро.

Пропустив его слова мимо ушей, Хирота сказал:

— Можно бы и у меня на втором этаже, но куда деть Сасаки?

— Пожалуйста, сэнсэй, пусть на втором этаже будет Сасаки, — попросил сам за себя Ёдзиро.

— Ну, как-нибудь устроимся, — сказал, смеясь, Нономия. — Ёсико только что ростом велика, а так совсем еще глупенькая. Все просит сводить ее на выставку цветочных кукол в Дангодзака.

— Вот и сводили бы, — сказала Минэко. — Я бы сама с удовольствием посмотрела.

— Давайте вместе пойдем.

— Непременно. И Огава-сан тоже.

— Разумеется.

— И Сасаки-сан.

— Нет уж, увольте. Я лучше в кино схожу.

— Искуснейшая вещь эти цветочные куклы, — заметил Хирота. — Нигде в мире, пожалуй, нет ничего подобного.

И сделано это руками человека — вот что главное. Будь это люди, а не куклы, никто не пошел бы на них смотреть в Дан-годзака. Ведь их можно увидеть в любом доме.

— Весьма характерный для сэнсэя взгляд, — прокомментировал Ёдзиро.

— В бытность мою студентом, — сказал Нономия, — меня тоже нередко ошарашивали на лекциях такими суждениями.

— Сэнсэй, пошли бы и вы с нами на выставку, — попросила Минэко. Хирота ничего не ответил. Все засмеялись.

— Загляните кто-нибудь сюда на минутку, — донесся из кухни голос старухи служанки.

— Я сейчас! — сразу вскочил Ёдзиро, в то время как Сансиро даже не двинулся с места.

— Пожалуй, мне пора, — поднялся Нономия.

— Уже уходите? — спросила Минэко. — Так быстро?

— На днях отдам то, что у вас взял, потерпите немного, — обратился Хирота к Нономии.

— Не беспокойтесь, — уже уходя, отозвался Нономия. Не успел он скрыться за калиткой, как Минэко, словно что-то вспомнив, вдруг сказала: «Да, кстати...» — быстро надела гэта, снятые ею у входа в дом, догнала Нономию, и они о чем-то заговорили.

За все это время Сансиро не проронил почти ни слова.

5

Буйно разросшиеся, в рост человека, кусты хаги, ярко освещенные солнцем, бросали вокруг черные тени, которые ползли по земле и не то исчезали в глубине сада, не то поднимались кверху, прячась в густой листве. Росший возле ручейника барбарис тоже был выше обычного. Наклонившись друг к другу, стояли три тоненьких деревца, прикрывая своей листвой окно уборной.

Между кустарником и барбарисом виднелась веранда, уходившая в сторону от барбариса и прятая в тени кустарника. В дальнем ее углу сидела Ёсико.

Войдя в ворота, Сансиро остановился прямо у кустарника. Ёсико сошла с веранды и стала на плоский камень. Сансиро с удивлением отметил про себя, что девушка очень высокая.

— Входите, пожалуйста, — сказала Ёсико таким тоном, словно ждала Сансиро. Сансиро сразу же вспомнил свой визит в клинику. — Садитесь, — пригласила Ёсико, когда Сансиро подошел к веранде. И Сансиро, как был, в ботинках, послушно сел. Ёсико принесла дзабутон. — Садитесь сюда!

Сансиро молча повиновался. С той минуты, как он вошел в ворота, он еще не произнес ни слова. Обращаясь к Сансиро,

девушка, нимало не заботясь о том, отвечает он или нет, продолжала говорить. И Сансиро казалось, что перед ним наивная простосердечная маленькая королева. Его долг — выполнять каждое ее повеление. Незачем рассыпаться перед нею в любезностях. Гораздо лучше быть ее немым рабом и делать, что она велит. Малейшая лесть может все испортить. Его достоинство ни капли не пострадает от того, что Ёсико обращается с ним как с ребенком. Ведь она сама еще дитя.

Сансиро не мог бы сказать, зачем он сюда пришел.

— Нономия-сан еще не вернулся?

— Нет, он обычно допоздна занимается в университете.

Сансиро это было хорошо известно. Просто он не знал, о чем говорить. Вдруг он заметил на веранде коробку с красками и начатую акварель.

— Вы рисуете?

— Да, мне это нравится.

— У кого же вы учитесь?

— Ну, я не настолько талантлива, чтобы приглашать учителя.

— Позвольте взглянуть?

— Это еще не закончено, — сказала Ёсико, протягивая Сансиро рисунок. Он сразу узнал садик возле дома Ёсико, хотя, кроме неба, ярко-красной хурмы перед домом и кустов хаги у входа, на рисунке ничего не было.

— Очень хорошо, — заметил Сансиро, разглядывая рисунок.

— Хорошо? — удивилась Ёсико. Удивление ее прозвучало вполне искренне, не то что похвала Сансиро. Но Сансиро сейчас уже не мог ни обратить свои слова в шутку, ни придать им убедительность. В любом случае Ёсико стала бы его презирать. Продолжая разглядывать рисунок, Сансиро чувствовал себя смущенным.

В комнатах, видневшихся с веранды, стояла тишина. Не только в гостиной, но и на кухне никого не было.

— Ваша матушка уехала в деревню?

— Нет еще, только собирается.

— Она дома?

— Нет, пошла сделать кое-какие покупки.

— Это правда, что вы переезжаете к Сатоми-сан?

— А почему вы спрашиваете?

— Просто так. Недавно был разговор об этом у Хироты-сэнсэя.

— Возможно, и перееду. Но пока ничего еще не решено, Сансиро начал о чем-то догадываться.

— А давно Нономия-сан знаком с Сатоми-сан?

— Да, они друзья.

«Просто друзья? — подумал Сансиро. — Мужчина и женщина? Может ли быть такое?» Однако расспрашивать об этом Сансиро больше не решился.

— Я слышал, что Нономия-сан учился у Хироты-сэнсэя?

— Да...

Наступила пауза.

— А у Сатоми-сан вам будет удобнее жить?

— Мне? Разумеется. Вот только боюсь стеснить ее старшего брата.

— Разве у Минэко-сан есть брат?

— Да, он учился в университете вместе с моим братом.

— Он тоже физик?

— Нет, он юрист. Был у них еще старший брат, друг Хироты-сэнсэя, но он рано умер, и теперь у Минэко-сан никого не осталось, кроме Кёскэ-сан, второго ее брата.

— А мать с отцом?

— У Минэко нет родителей, — ответила Ёсико, чуть улыбнувшись с таким видом, словно об этом все должны были знать. Они умерли, наверно, очень давно, раз Ёсико совсем их не помнит.

— Так вот почему Минэко-сан бывает у Хироты-сэнсэя!

— Да, я слышала, что ее покойный брат был очень дружен с ним. Кроме того, Минэко-сан увлекается английским и время от времени, я думаю, занимается с Хиротой-сан.

— А у вас она тоже бывает?

Между тем Ёсико принялась за свою акварель, нисколько не стесняясь присутствием Сансиро, но это не мешало ей вечать на его вопросы.

— Минэко-сан?... — переспросила она, нанося штрих на тростниковую крышу под хурмой. — Пожалуй, перечернила немного.

— Пожалуй, — на этот раз честно подтвердил Сансиро.

Ёсико смочила кисть и, смывая черную краску, ответила наконец на вопрос Сансиро:

— Да, бывает.

— И часто?

— Часто, — сказала Ёсико, не отрываясь от мольберта. С той минуты как она занялась своим рисунком, Сансиро почувствовал себя непринужденнее.

Некоторое время они молчали. Ёсико старательно смывала с тростниковой крыши черноту, но кисть, обильно смоченная, не слушалась девушки, и, заглянув в рисунок, Сансиро увидел, что черная краска растекается во все стороны мутными полосами, отчего ярко-красная хурма приобрела цвет прелой. Наконец Ёсико положила кисть, слегка запрокинула голову и стала разглядывать рисунок, держа его на вытянутых руках. Потом призналась едва слышно:

— Не получилось.

Рисунок и в самом деле не получился. Сансиро стало жаль девушку.

— Оставьте это. Нарисуйте что-нибудь другое.

Ёсико не обернувшись, лишь искоса взглянула на Сансиро большими, с поволокой, глазами. Сансиро еще больше стало жаль ее. Но тут она вдруг рассмеялась.

— До чего же я глупая! Почти целых два часа убила. — С этими словами Ёсико замазала рисунок вдоль и поперек жирными штрихами и захлопнула коробку с красками. — Ну, хватит. Пойдемте в гостиную. Напою вас чаем.

Сансиро не хотелось снимать ботинки, и он остался на веранде. Девушка казалась ему забавной: предложила чаю после того, как они уже так долго разговаривали. Но у него не было ни малейшего желания насмеяться над нею. Напротив, слова «напою вас чаем», произнесенные как-то вдруг, доставили Сансиро особое удовольствие. Правда, это ощущение не имело ничего общего с чувством, которое возникает у мужчины по отношению к женщине.

В гостиной послышались голоса. Это, наверно, Ёсико разговаривала со служанкой. Вскоре раздвинулись перегородки и Ёсико появилась с чайной посудой. Теперь Сансиро мог хорошенько рассмотреть девушку, потому что она стояла прямо перед ним, и он подумал, что никогда не встречал лица более женственного.

Ёсико принесла чай на веранду, а сама вернулась в комнату и села на татами. Сансиро уже решил уйти, но ему очень не хотелось расставаться с этой девушкой. Тогда, в клинике, она покраснела от его взгляда, так пристально он на нее смотрел, и ему пришлось сконфуженно уйти, но сегодня он чувствовал себя вполне непринужденно. Они все время переговаривались между собой, он — сидя на веранде за чаем, она — устроившись в комнате на татами. Вдруг Ёсико спросила Сансиро, нравится ли ему Нономия. Этот вопрос, казавшийся наивным, даже детским, на самом деле был полон глубокого смысла. Человек, посвятивший себя науке, ко всему подходит с меркой исследователя, поэтому чувство любви в полной мере ему не знакомо. Обычный же человек что-то любит, чего-то не любит. Исследование вообще может его не интересовать. Ее брат — ученый-физик и стремится даже сестру сделать объектом исследования. Казалось бы, чем больше он будет ее изучать, тем меньше будет любить. Однако он, такой энтузиаст своей науки, очень любит свою младшую сестру, и поэтому он, конечно же, самый лучший человек в Японии. Таков был вывод Ёсико.

Эти рассуждения показались Сансиро в общем справедливыми, хотя и несовершенными. Правда, в чем их несовершенство, он не мог бы сказать — в мыслях у него была полная неразбериха. Естественно поэтому, что критиковать рассуждения Ёсико ему оказалось не под силу. И он со стыдом признался самому себе, что не может критически воспринять даже совсем простые, детски наивные вещи. Такая беспомощность недостойна мужчины! Теперь он утвердился во

мнении, что с токийскими студентками надо держать ухо востро.

По дороге домой Сансиро с чувством глубокого уважения думал о Ёсико. Дома его ждала почтовая карточка: «Завтра в час дня мы идем на выставку цветочных кукол. Приходите к Хироте-сэнсю. *Минэко*».

Тем же почерком, показалось Сансиро, была сделана надпись на конверте, торчавшем тогда из кармана Нономии. Сансиро несколько раз перечел записку.

На следующий день — это было воскресенье — Сансиро сразу после завтрака отправился на улицу Нисикатамати в своей новенькой студенческой форме и до блеска начищенных ботинках. Дойдя тихим проулком до дома Хироты, он услышал доносившиеся оттуда голоса. Если от ворот сразу свернуть влево, попадешь в сад, а через садовую калитку можно, минуя парадный ход, пройти прямо к веранде, опоясывающей комнаты. Сансиро взялся за задвижку в калитке, едва заметной среди живой изгороди китайского боярышника, как вдруг услышал, что в саду кто-то разговаривает. Это были Нономия и Минэко.

— Ничего из этого не выйдет, только упадете на землю и убьетесь, — сказал Нономия.

— Все равно так лучше, если даже убьешься, — ответила Минэко.

— Впрочем, безрассудный человек вполне достоин такой участи.

— Вы говорите жестокие вещи.

Сансиро отворил калитку. Стоявшие в центре сада Нономия и Минэко обернулись к нему. Нономия, который был в новой светло-коричневой мягкой шляпе, кивнул головой, ограничившись обычным: «А, это вы!»

Минэко быстро спросила:

— Когда вы получили открытку?

Приход Сансиро прервал их разговор.

На веранде в европейском костюме сидел сам хозяин, выпуская, по обыкновению, свой «философский» дым. Он просматривал европейский журнал. Возле него расположилась Ёсико. Она сидела на татами, откинувшись назад и опираясь на руки, и разглядывала сандалии на своих вытянутых ногах.

Все были в сборе и, видимо, ждали только Сансиро. Хозяин отложил журнал.

— Ну что ж, пойдете. Вытащили все же меня.

— Весьма признательны в а м, — сказал Нономия. Девушки обменялись взглядами, улыбнулись едва заметно и вслед за мужчинами вышли из сада.

— Ну и высокие о н и, — заметила Минэко.

— Как фонарные столбы, — отозвалась Ёсико.

У ворот девушки поравнялись с мужчинами, и Ёсико сказала:

— Вот почему я ношу дзори с такими высокими подошвами.

Когда Сансиро, шедший позади всех, выходил из сада, на втором этаже резко распахнулись сёдзи и на веранде показался Ёдзиро.

— Идете? — спросил оп.

— Ага, а ты?

— Не пойду. Что за интерес смотреть какие-то цветочные поделки? Глупо!

— Ну, а дома сидеть тоже глупо. Пойдем!

— Я статью пишу. Большую статью. Так что мне не до прогулок.

Сансиро недоверчиво улыбнулся и ускорил шаг, догоняя остальных. Он увидел их в конце переулочка, выходящего на широкую улицу. Вчетвером они шли под высоким осенним небом, и, глядя на них, Сансиро почувствовал, что жизнь его полна сейчас глубокого смысла, не то что в Кумамото. Эти люди как раз представляли второй и третий из трех миров, о которых он некогда размышлял. Два силуэта темных, два — светлых, ярких, словно поле, покрытое цветами. В воображении Сансиро они составляли единое, гармоничное целое. Да и сам он, незаметно для себя, оказался частью этого целого. Лишь одно его тревожило: разговор Нономии и Минэко, нечаянно подслушанный в саду. Чтобы рассеять эту тревогу, Сансиро попытался догадаться, о чем шла речь.

У поворота все четверо остановились и оглянулись. Минэко приложила руку козырьком ко лбу. Через какую-то минуту Сансиро догнал их, и все в полном молчании двинулись дальше. Спустя несколько мгновений Минэко сказала:

— Я понимаю, Нономия-сан, почему вы так говорите — вы ведь физик.

Они, видимо, продолжали тот самый разговор.

— Да нет, то, что я физик, здесь ни при чем. Чтобы летать по-настоящему высоко, нужно создать пригодный для этого летательный аппарат. А тут прежде всего необходима голова. Верно?

— Но кто не собирается летать очень высоко, пожалуй, обойдется тем, что есть.

— Так ведь погибнуть можно!

— Разумеется, всего безопаснее на земле. Только скучно так думать.

Нономия, смеясь, повернулся к Хироте:

— Сколько поэтесс среди женщин!

— Зато среди мужчин, к несчастью, истинных поэтов нет, — сказал Хирота. Ответ был неожиданным. Нономия промолчал. А Ёсико с Минэко заговорили о чем-то своем. Сансиро наконец представилась возможность задать вопрос:

— О чем это вы сейчас речь вели?

— Да о летательных аппаратах, — небрежно ответил Нономия. Для Сансиро это прозвучало, как концовка юмористического рассказа.

В это время они подошли к месту, где было очень много народу, и разговор сам собой прекратился. У статуи богини милосердия, касаясь лбом земли, стоял на коленях нищий. Он громко, ни на минуту не умолкая, просил милостыню. Лоб его был белым от песка, это бросалось в глаза, когда время от времени нищий поднимал голову. Никто не обращал на него внимания. Прошли мимо и Сансиро со спутниками. Но не успели они пройти и нескольких шагов, как Хирота вдруг обернулся к Сансиро:

— Вы подали ему что-нибудь?

— Нет, — ответил Сансиро и оглянулся. Нищий по-прежнему громко зывал о милости, поднимая ко лбу сложенные вместе руки.

— Почему-то не хочется подавать, — быстро встала Ёсико.

— Почему же? — спросил Нономия. Спросил без тени укоризны. Лицо его при этом выражало равнодушие.

— Нельзя быть таким назойливым, — пояснила Минэко. — Это только раздражает. Потому никто ему и не подает.

— Нет, дело в том, что место он неподходящее выбрал, — сказал Хирота, — Слишком людное. В горах ему каждый подал бы.

— Но там редко кто ходит. Он мог бы зря прождать целый день, — рассмеялся Нономия.

Слушая эти критические замечания в адрес нищего, Сансиро чувствовал, как рушатся нравственные принципы, которые он привык свято блюсти. Но ведь и сам он не подал нищему ни сэна. Более того. Он ощутил неприязнь к нему. И сейчас, справедливости ради, не мог не признать, что четверо его спутников честнее, нежели он. И еще понял, что они, коренные жители города, лишены предрассудков и именно поэтому искренни.

Народу становилось все больше. Спустя некоторое время они увидели девочку лет семи. Плача, она металась из стороны в сторону и звала: «Бабушка, бабушка!» Никто, казалось, не остался равнодушен. Некоторые даже останавливались, приговаривая: «Бедняжка!» Но никому даже в голову не пришло помочь ребенку. А девочка, привлекая к себе всеобщее внимание и вызывая сочувствие, продолжала плакать. Поистине удивительно!

— Это тоже потому, что место неподходящее? — спросил Нономия, провожая девочку взглядом.

— Все знают, что полицейский сейчас примет меры, и никто не хочет брать на себя ответственность, — пояснил Хирота.

— Если она подойдет ко мне, я отведу ее к полицейскому посту, — сказала Ёсико.

— Тогда догони ее и отведи, — заметил ей брат.

— Догонять не стану.

— Почему?

— Почему? Здесь и без меня полно людей. Пусть отведут.

— Опять, значит, уходишь от ответственности? — сказал Хирота.

— Опять, значит, место неподходящее, — в тон ему произнес Нономия, и оба засмеялись. Когда они поднялись на Дангодзака, перед полицейским постом уже собралась толпа. Девочку наконец-то передали полицейскому.

Сверху им была видна спускавшаяся по склону дорога. Постепенно сужаясь, она делала поворот, напоминая слегка изогнутое острие клинка. Какое-то двухэтажное строение с ее правой стороны наполовину заслоняло поэтому фасад находившегося напротив него балагана, за ними виднелось множество высоких шестов с укрепленными на них полотнищами. Дорога, забитая толпой, походила на ущелье. Люди, шедшие вниз, казалось, внезапно проваливались в это ущелье, они смешивались с тащившимися вверх, так что тот участок дороги, который приходился на самое дно ущелья, буквально кишел людьми и словно бы находился в непрерывном причудливо беспорядочном движении. Если долго смотреть — уставали глаза.

— Что за у ж а с, — произнес Хирота с таким видом, словно сию минуту готов был уйти домой. Остальные, слегка его подталкивая, стали спускаться вниз, в ущелье. Где-то в середине, там, где дорога начинала постепенно уходить куда-то в сторону, стояли довольно просторные, высокие, крытые камышом балаганы, они словно бы сдавливали небо, и оно казалось удивительно узким. Истошным голосом кричали зазывалы.

— Таким голосом могут кричать цветочные куклы, а не люди, — заметил Хирота.

Голоса зазывал были в самом деле неестественными.

В балагане по левую сторону, куда они вошли, находились куклы, изображавшие сцену кровной мести братьев Сога¹. Все — и Горо, и Дзюро, и Ёритомо² были в одеждах из хризантем разных оттенков. Лица, руки и ноги были искусно вырезаны из дерева. В другой сцене кукла представляла

¹ Братья Сога — Дзюро-Суканари и Горо-Токимунэ — самураи, жившие в XII в. (начало периода Камакура). Потеряв в детстве отца, убитого одним из феодалов, поклялись отомстить и посвятили всю жизнь выполнению этого обета. Были оба убиты в 1193 г. Позже стали героями феодального эпоса «Сказание о братьях Сога» (XV в.), а также пьес театров Но и Кабуки.

² Минамото Ёритомо — первый сёгун периода Камакура (1147—1199).

девушку, корчившуюся в судорогах, на которую падали снежинки. Ее кимоно тоже было сделано из цветов и листьев хризантем, с таким искусством плотно и ровно сплетенных друг с другом, что казалось — это не цветы, а настоящая ткань.

Ёсико с интересом все разглядывала. Хирота и Нономия вели нескончаемую беседу. В тот момент, когда они обсуждали способы выращивания хризантем или еще что-то в этом роде, Сансиро был оттеснен от них другими посетителями и оказался несколько позади. Минэко давно ушла вперед. Посетители в большинстве своем были жителями торговых кварталов. Лишь очень немногие с виду казались людьми образованными. Минэко оглянулась и, вытянув шею, искала глазами Нономию. Тот, просунув руку под бамбуковый барьер, показывал на хризантемы и что-то с жаром объяснял Хироте. Минэко отвернулась и, подталкиваемая посетителями, быстро пошла к выходу. Расталкивая толпу, Сансиро бросился за девушкой. Наконец он поравнялся с нею.

— Сатоми-сан!

Держась рукой за бамбуковую загородку, Минэко слегка повернула голову и молча взглянула на Сансиро. За загородкой был изображен водопад Ёронотаки¹. У водопада сидел на корточках какой-то круглолицый малый с топориком за поясом и тыквой-горлянкой в руках. Но Сансиро ничего этого не видел, он смотрел на Минэко.

— Что-нибудь случилось с вами? — вырвалось у него.

Минэко по-прежнему не отвечала. Ее черные глаза с застенчивой грустью смотрели на Сансиро. В этом взгляде Сансиро уловил какое-то особое выражение. В нем сквозила усталость души, упадок сил, жалоба, близкая к страданию. И Сансиро забыл, что ждет ответа Минэко, забыл обо всем на свете.

— Уйдемте отсюда, — попросила Минэко.

Следя за тем, как устало опускает девушка веки, Сансиро все больше проникался мыслью, что должен увести ее отсюда. Когда же решение это созрело, девушка вдруг резко повернулась и пошла к выходу. Сансиро последовал за нею.

Выйдя наружу, они оказались рядом, и Минэко потупилась, поднеся руку ко лбу. Вокруг бурлил людской поток. Сансиро наклонился к девушке:

— Что-нибудь случилось?

Минэко стала пробираться сквозь толпу в сторону Янака. Но, пройдя с полквартала, остановилась.

— Где мы находимся?

— Отсюда можно выйти к Тэннодзи, в Янака. А если до мной, то надо повернуть в противоположную сторону.

— Так... Мне что-то нездоровится.

¹ Ёронотаки — водопад в верховьях реки Ёрогава, в префектуре Гифу. В начале VIII в. считался источником молодости.

Сансиро стоял в раздумье, мучимый собственной беспомощностью.

— Нет ли поблизости более спокойного места? — спросила девушка.

Сансиро хорошо помнил, что на границе районов Янака и Сэндаги есть речушка, которая течет по низине прямо на север. Если идти вдоль берега, то выйдешь в поле, оставив город справа. Сансиро не раз бродил по тем местам. Сейчас Минэко стояла возле каменного моста, у поворота речки из Янака в соседний район Нэдзу.

— Вы сможете пройти еще хоть квартал? — спросил Сансиро?

— Смогу.

Они перешли по каменному мосту на другой берег реки и, свернув влево, прошли немного не то по аллее, не то по тропинке, ведущей к какому-то дому. Чуть ли не у самых ворот дома через речушку был переброшен деревянный мост. Они вернулись по мосту на противоположную сторону, некоторое время поднимались вверх вдоль кромки берега, где было совсем пустынно, и, наконец, вышли в поле.

Среди тихой осенней природы Сансиро почувствовал себя непринужденнее.

— Как вы себя чувствуете? Наверно, голова болит? Это, пожалуй, оттого, что там было полно народу. И люди, далеко не все достойные. Вас никто не обидел?

Девушка молчала. Затем, оторвав взгляд от реки, посмотрела на Сансиро. Этот взгляд, уверенный и гордый, немного успокоил юношу.

— Спасибо. Мне гораздо лучше.

— Отдохнем немного?

— Да.

— Сможете еще чуть-чуть пройти?

— Да.

— Здесь грязно. А дальше есть место, вполне подходящее для отдыха.

— Да.

Метров через сто показался еще мостик — кое-как переброшенные через речку старые, узенькие доски. Сансиро быстро перешел на другую сторону. Минэко последовала за ним. Глядя на нее, Сансиро думал о том, как легко ступает девушка по шатким мосткам — как по земле. Легко и в то же время уверенно, без тени жеманства, так часто свойственного женщинам. Он даже не подал ей руку, чтобы помочь, — это было бы лишним.

Прямо перед ними в некотором отдалении виднелись соломенные кровли, под кровлями во всю ширину дома что-то ярко краснело. Подойдя ближе, молодые люди увидели, что это сушится красный перец.

— Красиво! — произнесла Минэко, усаживаясь прямо на

траву. Трава росла вдоль берега довольно узкой полосой и сейчас уже не зеленела, как в разгар лета. Минэко, видно, совсем не думала о том, что может испачкать свое элегантное кимоно.

— Пройдемте еще немного? — спросил Сансиро.

— Пожалуй, не стоит, благодарю вас.

— Вам все еще нездоровится?

— Я очень устала.

Пришлось и Сансиро сесть на траву. Он сел поодаль, чуть ли не на метр от Минэко. С приходом осени речка сильно обмелела, и на выступившем из воды камне устроилась трясогузка. Вдруг Сансиро заметил, что вода мутнеет. Осмотрелся и увидел неподалеку крестьянина, который мыл редьку. Взгляд Минэко был устремлен в даль, туда, где простиралась за рекой поля, окаймленные рощей, а над рощей медленно меняло оттенки небо.

Синева становилась все прозрачнее, готовая исчезнуть совсем. Наползавшие на нее облака рассеивались и уплывали. Потом все небо затянуло тонкой желтой пеленой, и уже нельзя было отличить синеву от облаков.

— Как помутнело небо! — произнесла Минэко.

Сансиро оторвал взгляд от реки и посмотрел вверх. Такое небо он видел не впервые. Но чтобы о небе говорили «помутнело» — он еще ни разу не слышал. Однако, поразмыслив, он решил, что небо и в самом деле помутнело, точнее не скажешь. Сансиро еще не придумал, что ответить, как Минэко добавила:

— И тяжелым стало, словно мраморным. — Девушка, сощурившись, смотрела вверх. Затем очень спокойно взглянула на Сансиро. — Правда, оно кажется мраморным?

Сансиро только и мог ответить:

— Да, действительно кажется.

Девушка умолкла. Тогда, помолчав несколько мгновений, заговорил Сансиро:

— Когда созерцаешь такое небо, на душе и тяжело и легко.

— Отчего же? — спросила Минэко.

Вместо ответа Сансиро сказал:

— И еще кажется, будто небо спит и видит сны.

— Оно будто движется и в то же время совсем неподвижно. — Минэко снова устремила взор в далекое небо.

Время от времени до них доносились голоса зазывал, приглашающих посетить балаганы с куклами.

— Как громко они кричат!

— Неужели они так с утра до вечера? Просто удивительно, — произнес Сансиро и тут вспомнил о Хироте, Нономии и Ёсико, оставшихся на выставке.

— Это их профессия. Как у того нищего возле статуи богини милосердия

— А место у них подходящее, — пошутил Сансиро, что редко с ним случалось, и засмеялся. Уж очень забавными показались ему слова Хироты о нищем.

— Хирота-сэнсэй часто говорит подобные вещи, — сказала Минэко очень тихо, словно самой себе, и, вдруг оживившись, добавила уже совсем другим тоном: — Место, где мы сейчас с вами сидим, вполне годится для нищих. — На этот раз рассмеялась девушка.

— Верно подметил Нономия-сан, сколько ни сиди здесь, никого не дождешься.

— Вот и хорошо, не правда ли? — быстро произнесла Минэко и тотчас же пояснила свою мысль: — Ведь мы нищие, которые не нуждаются в подаянии.

В это время они заметили, что к ним кто-то приближается. Это был мужчина с усами, в европейском костюме, примерно одних лет с Хиротой. Он, видимо, вышел из-за дома, где сушился перец, и перешел на эту сторону речки. Поравнявшись с молодыми людьми, он резко повернулся и с нескрываемой злобой в упор посмотрел на них. Сансиро стало не по себе. Он заерзал на месте и, провожая незнакомца взглядом, вдруг спохватился:

— Хирота-сэнсэй и Нономия-сан нас, наверно, ищут!

— Ну что вы, — невозмутимо промолвила Минэко, — ничего страшного. Мы просто заблудившиеся взрослые дети.

— Именно поэтому они нас, наверно, и ищут, — стоял на своем Сансиро, на что Минэко еще более холодно возразила:

— Это как раз очень полезно людям, которые стремятся избежать ответственности.

— Кому же именно? Хироте-сэнсэю?

Минэко не отвечала.

— Нономии-сан?

Минэко продолжала хранить молчание.

— Вам лучше? Тогда, может быть, пойдем потихоньку обратно?

Сансиро приподнялся было, но Минэко взглядом заставила его сесть. В этот миг он смутно ощутил, какая лежит пропасть между ним и этой девушкой. От нее ничего не скроешь, она видит его насквозь. Это странным образом оскорбляло Сансиро.

— Заблудившиеся взрослые дети, — продолжая глядеть на Сансиро, повторила девушка. Сансиро промолчал.

— Вы знаете, как по-английски «заблудившийся ребенок»?

Вопрос был для Сансиро настолько неожиданным, что он не смог ответить ни да, ни нет.

— Сказать?

— Да, пожалуйста.

— Stray sheep¹. Вам ясен смысл?

Сансиро растерялся. С ним это часто случалось. Потом, когда растерянность проходила и мысль становилась ясной, он досадовал на себя, что в том или ином случае не ответил так или не поступил этак. Зная за собой эту особенность, Сансиро, однако, не был настолько легкомысленным, чтобы, не раздумывая, отвечать на любой вопрос. В то же время он понимал, что своим молчанием производит неблагоприятное впечатление.

Сансиро знал, что значит stray sheep. Однако смысл, вложенный в эти слова девушкой, он не мог постичь. И он с молчаливым недоумением смотрел на Минэко.

— Я кажусь вам дерзкой? — вдруг, точно оправдываясь, очень серьезно спросила Минэко. До сих пор девушка представлялась Сансиро как бы окутанной туманом, и ему хотелось, чтобы этот туман рассеялся. Однако сейчас, когда в неожиданных словах девушки ему открылась ее душа, он почувствовал легкое разочарование. Пусть бы лучше оставалась такой, как была: то ясной, то туманной, словно небо, раскинувшееся над ними. Но этого не вернешь, не исправишь никакими словами, как ни старайся.

— Что ж, пойдете, — без тени неприязни в голосе сказала Минэко. Она словно бы примирилась с тем, что Сансиро не проявляет к ней ни малейшего интереса.

Небо снова изменило свой облик. Подул ветер. Над полями сгустились сумерки. Стало тоскливо и как-то зябко. От земли потянуло прохладой. Сансиро вдруг подумал, что один он ни за что не просидел бы здесь так долго. А Минэко... Минэко, может быть, нравятся такие места.

— Становится холодно. Пожалуй, пора идти, не то озябнем. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Да, хорошо, — ясным голосом ответила Минэко и, поднимаясь с земли, очень тихо, в раздумье проговорила: — Заблудшие овцы.

Сансиро, разумеется, промолчал.

Указав рукой в ту сторону, откуда появился незнакомец в европейском костюме, Минэко сказала, что ей хотелось бы пройти мимо дома, где сушится красный перец, конечно, если там есть дорога. У дома с соломенной крышей они заметили узкую дорожку и пошли по ней.

— Уже решено, что Ёсико-сан будет жить у вас?

Минэко едва заметно усмехнулась и, в свою очередь, спросила:

— А почему это вас интересует?

Сансиро хотел было ответить, но тут увидел довольно большую лужу. Посреди лужи лежал камень, кто-то, видно, специально его положил, но Сансиро камень не понадобился. Он

¹ Заблудшая овца (англ.).

легко перескочил через лужу и повернулся к Минэко. Девушка в это время пробовала ногой, насколько устойчив камень. Сансиро протянул ей руку.

— Давайте помогу!

— Не нужно, — смеясь, ответила Минэко. Она подождала, пока Сансиро опустит руку, и смело прыгнула. Однако, стараясь не испачкать гэта, не рассчитала прыжок и поскользнулась. Чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за Сансиро.

— Заблудшие о в цы, — чуть слышно пробормотала Минэко, и Сансиро ощутил ее дыхание.

6

Прозвенел звонок, и лектор вышел из аудитории. Сансиро стряхнул чернила с пера и хотел закрыть тетрадь, но Ёдзиро, сидевший рядом, попросил:

— Дай-ка на минутку. Я не все записал.

Ёдзиро придвинул к себе тетрадь, полистал и увидел, что все страницы испещрены словами *stray sheep*.

— Что это?

— Да так, писал забавы ради. Лишь бы не конспектировать. Надоело.

— Разленился ты, я вижу. Лекция, кажется, была о различии между кантонским трансцендентальным идеализмом и трансцендентальным реализмом Беркли. Да?

— Что-то в этом роде.

— Ты не слушал?

— Нет.

— Типичный *stray sheep*. Горе мне с тобой.

Ёдзиро сунул тетради под мышку, встал и уже на ходу окликнул Сансиро:

— Пойдем-ка со мной!

Они спустились вниз, вышли на лужайку перед зданием факультета и сели под тенистой сакурой.

В начало лета здесь все покрыто клевером. Когда Ёдзиро приходил в канцелярию подавать заявление о приеме, под этой сакурой он увидел двух студентов. Лежа на траве, они разговаривали. «Если на устном мне повезет, — сказал один, — и меня попросят спеть народные песенки о любви, я буду петь им сколько угодно». Другой в ответ тихонько запел: «Пусть бы добрый, толковый попался профессор, я бы все рассказал о любви». С тех пор Ёдзиро полюбилось это место под сакурой, и, когда ему нужно было поговорить по душам с Сансиро, он приводил его сюда. Услышав как-то про этих студентов, Сансиро подумал, что не зря фразу «жалеть — значит любить» Ёдзиро перевел в стиле любовной частушки. Сегодня, однако, Ёдзиро был серьезен, как никогда. Едва усев-

шись на траве, он вытащил из кармана журнал «Бунгэй дзи-хё», открытый на одной из страниц, и показал Сансиро:

— Взгляни-ка!

Напечатанный крупным шрифтом заголовок гласил: «Невзошедшее светило». Под статьей подпись: «Рэй Ёси». «Невзошедшее светило» — так называл Ёдзиро профессора Хироту. Это Сансиро слышал не раз. Но кто скрывается за псевдонимом Рэй Ёси? Сансиро посмотрел на Ёдзиро. Тот сидел неподвижно, вытянув шею и прижав указательным пальцем кончик своего и без того приплюснутого носа. Заметив, однако, что какой-то студент, стоявший неподалеку, смотрит на него и смеется, Ёдзиро быстро опустил руку.

— Это моя статья, — заявил он. «Так вот оно что», — понял наконец Сансиро.

— Ты ее писал, когда мы ходили на выставку цветочных кукол?

— Нет, вы ведь были там два-три дня назад. Так быстро ее бы не напечатали. То другая статья, она выйдет в следующем номере. А эту я написал давно. По названию ты, вероятно, догадался, о ком идет речь?

— О Хироте-сэнсэе?

— Ага. Я хочу привлечь к сэнсэю внимание и таким образом подготовить почву для перехода его в университет.

— Этот журнал пользуется популярностью? — Сансиро даже не слышал о его существовании.

— По правде говоря, совсем нет, в том-то и беда, — ответил Ёдзиро.

Сансиро невольно улыбнулся.

— Сколько же у него читателей?

Вместо ответа Ёдзиро, как бы оправдываясь, сказал:

— Ладно. Это все-таки лучше, чем ничего.

Оказалось, что Ёдзиро давно сотрудничает в этом журнале, пишет почти для каждого номера, если позволяет время, но всякий раз под другим псевдонимом, так что знают об этом лишь два-три сотрудника журнала. Вероятно, так оно и было. Сансиро, например, впервые узнал, что Ёдзиро пишет. Он только не понимал, зачем понадобилось Ёдзиро публиковать свои так называемые «большие» статьи тайно, да еще под таким забавным псевдонимом.

Он напрямик спросил, не занимается ли Ёдзиро литературным трудом, чтобы заработать на карманные расходы. Ёдзиро сделал круглые глаза.

— Сразу видно, что ты из кюсюской глуши и не имеешь ни малейшего представления о литературной жизни столицы. Вот и судишь с такой легкостью. Разве может человек мыслящий оставаться безучастным к духовной жизни нынешнего общества с его бурными потрясениями, если видит их собственными глазами? По сути дела, право писать принадлежит сейчас нам, молодежи, и грешно не сказать хотя бы того един-

ственного слова, которое можно сказать. В литературной жизни с головокружительной быстротой происходят разительные перемены — настоящая революция. Все стремительно движется вперед, к новому. Отстанешь — пропадешь. Каждый сам должен проявлять инициативу, создавать это новое, иначе жизнь теряет всякий смысл. Склоняя на все лады слово «литература», о ней говорят, как о чем-то очень доступном, но так говорить можно, к примеру, о литературе, которую нам преподают в университете. Новая литература является отражением самой жизни, и в этом ее величие. В свою очередь, эта новая литература должна влиять на жизнь всего нашего общества. И уже влияет. Пока там некоторые сладко дремлют, она делает свое дело. О, это сила!..

Сансиро слушал молча. Тирада Ёдзиро казалась ему несколько напыщенной, не лишённой хвастовства, хотя в пылости ему нельзя было отказать. Во всяком случае, сам он, чувствовалось, отнесся к своим словам весьма серьезно. Именно это и произвело на Сансиро сильное впечатление.

— Так вот, оказывается, что вдохновляет тебя, когда ты пишешь. Гонорар, выходит, тут ни при чем.

— Нет, почему же, от гонорара я не отказываюсь. Только платят мало — журнал плохо расходуется. Надо как-то поднять к нему интерес, а то совсем захиреет. Может, подкинешь какую-нибудь идею? — И они стали обсуждать чисто практические вопросы. Для Сансиро это было как-то непривычно. Зато Ёдзиро оставался невозмутимым. Их разговор прервал звонок.

— Как бы то ни было, — сказал Ёдзиро, — возьми этот экземпляр, почитай. «Невзошедшее светило» — звучит забавно, правда? Человека непременно надо удивить, иначе читать не станет.

Не успели они вернуться в аудиторию и сесть за стол, как вошел преподаватель. Надо было записывать лекцию. Но Сансиро не давало покоя «Невзошедшее светило». Рядом с тетрадью он положил раскрытый журнал и то и дело в него заглядывал так, чтобы не заметил преподаватель. Но тот, к счастью, был близорук. К тому же ему было не до Сансиро — так он увлекся своей лекцией. И Сансиро, пользуясь случаем, больше читал журнал, чем слушал и записывал лекцию. Но в конце концов он перестал понимать и статью и лектора. Лишь одна фраза из статьи засела в голове: «Сколько лет природа создавала драгоценный камень? Сколько лет этот драгоценный камень сиял в тиши, пока судьба не извлекла его из мрака?» Все остальное осталось для Сансиро туманным. Зато он ни разу не написал *stray sheep*.

Ёдзиро с трудом дождался конца лекции.

— Ну как? — спросил он.

Услышав же, что Сансиро еще толком не прочел статью, он упрёкнул его в напрасной трате времени и сказал: «Обяза-

тельно прочти!» Сансиро обещал прочесть, как только вернется домой. Незаметно подошло время обеда, и они вместе вышли за университетские ворота.

— Вечером придешь, надеюсь? — спросил Ёдзиро, остановившись на углу переулка, выходявшего на улицу Нисикатамати. Сансиро не сразу сообразил, о чем идет речь. Но потом вспомнил, что на вечер назначена дружеская встреча однокурсников, и ответил, что придет.

— Зайди за мной. Я должен тебе кое-что сообщить.

Сансиро и на это согласился. За ухом у Ёдзиро торчала ручка с пером, и вид у него был независимый.

Дома Сансиро залез в ванну, и когда, убогатворенный, вышел из нее, то заметил на столе открытку. На открытке нарисована была речка и берег, поросший травой. На траве — две овцы. Неподалеку стоял крупный мужчина с тростью в руке и свирепым лицом, как у дьявола на европейских картинах. Для вящей убедительности рядом стояло слово devil¹. На лицевой стороне открытки под адресом мелким почерком было написано: «Заблудшие овцы». Сансиро сразу понял, в чем дело, и очень обрадовался. Одной из заблудших овец, несомненно, был он. Не могли же в самом деле обе овцы изображать одну Минэко. Так вот, значит, что подразумевала она под словами stray sheep.

Сансиро решил взяться за «Невзошедшее светило», как обещал Ёдзиро, но читать статью у него не было ни малейшего желания. Он внимательно разглядывал открытку, размышляя при этом: какой юмор в этом рисунке, такого не найдешь даже у Эзопа. Простодушие здесь сочеталось с озорством, свободным от условностей. И еще было нечто такое, что заставляло сердце Сансиро биться сильнее.

Сам по себе рисунок вызывал у юноши самое искреннее восхищение. Все было выписано четко, ясно, не то что дерево хурмы, которое рисовала Ёсико.

Через некоторое время Сансиро, хоть и неохотно, все же принялся за статью.

Но потом увлекся и без труда одолел все двадцать семь страниц. Лишь дойдя до последней фразы, он поднял глаза от журнала и подумал: «Прочел все же».

Но когда в следующую минуту он спросил себя, о чем все-таки написана статья, оказалось — ни о чем. Смешно, но факт. А читал он ее действительно усердно и с увлечением. Ёдзиро просто молодец!

Статья начиналась с нападок на нынешних литераторов и кончалась панегириком в адрес профессора Хироты. Острие критики было обращено главным образом против преподавателей-европейцев с филологического факультета. Если немедленно не пригласить на работу подходящего японца и не вве-

¹ Дьявол (англ.).

сти приличествующий университету курс лекций, то университет — этот храм науки — превратится в нечто вроде начальной школы при буддийском храме прежних времен, в мумию из кирпича. Пусть бы некого было пригласить — тогда другое дело, но ведь есть такой ученый, как профессор Хирота. Ровно десять лет преподает он в колледже, мирясь с мизерным жалованьем и безвестностью. Но он настоящий ученый. Он может внести неопределимый вклад в то новое, что движет сейчас наукой. Его лекции будут неразрывно связаны с живой жизнью общества. Вот, собственно, к чему сводилось содержание статьи. Остальное место в ней занимали на первый взгляд остроумные, меткие выражения и афоризмы.

«Гордятся плешью только старики», «Известно, что Афродита родилась из морской пены, но университет не породил еще ни одного выдающегося мужа», «Видеть в докторе наук жемчужину научного мира — все равно что считать медузу жемчужиной бухты Тагоноура». И все в таком духе. Но самым удивительным было то, что, назвав Хироту «невозшедшим светилом», Ёдзиро сравнил остальных ученых с круглым бумажным фонарем, который тускло освещает пространство в каких-нибудь полметра. Кстати, сравнение это принадлежало Хироте и было направлено в адрес Ёдзиро. Ёдзиро, как и тогда в разговоре с Сансиро, заявил в статье, что «круглый бумажный фонарь», так же как и «трубка с чашечкой», анахронизм и людям молодым не нужен.

Статья, если вчитаться хорошенько, была написана с большим подъемом. Ёдзиро, видимо, считал себя представителем новой Японии и заражал читателя этим своим настроением. И все же статья без главной идеи — все равно что война без опорных баз. Более того, ее можно превратно истолковать как тактическую уловку. Не так давно приехавший из провинции Сансиро еще не был настолько искушен, чтобы до конца понять это, однако статья не принесла ему удовлетворения. Он снова взял открытку и стал рассматривать овец и дьявола. И вдруг у него возникло ощущение счастья. Это ощущение усилило неудовлетворенность статьей. И он совсем перестал о ней думать. «Надо послать ответ Минэко», — решил Сансиро. Жаль, что он не умеет рисовать, а если писать, то надо так, чтобы текст не уступал рисунку на открытке. Нужна фантазия. Размышляя, он вдруг увидел, что уже пятый час.

Сансиро надел хакама¹ и отправился на улицу Нисикатамати за Ёдзиро. Он вошел в дом через кухню, а из кухни прошел в столовую. За маленьким обеденным столиком сидел Хирота. Ёдзиро очень почтительно ему прислуживал.

— Как вы это находите, сэнсэй? — спросил он.

¹ Хакама — шаровары, Часть японского официального костюма.

Перед сэнсэем на тарелке лежала какая-то еда, судя по цвету пригоревшая, каждый кусок величиной с карманные часы.

Сансиро поздоровался и сел. Хирота продолжал усиленно жевать.

— Ну-ка, и ты попробуй! — Ёдзиро захватил палочками кусочек с тарелки и протянул его Сансиро. С палочек кусок переключал на ладонь Сансиро. Это оказалось поджаренное в соусе сушеное мясо морской раковины.

— Странное блюдо, — заметил Сансиро.

— Странное? Зато прямо объедение, ты только попробуй. Это я купил специально в подарок сэнсэю. Сэнсэй говорит, что в жизни не ел ничего подобного.

— Где же ты купил?

— На Нихонбаси.

Сансиро вдруг стало смешно. Как не вязался этот простой житейский разговор со статьей Ёдзиро.

— Нравится вам, сэнсэй?

— Жесткая штука.

— Жесткая, зато вкусная, верно? Нужно только хорошенько прожевать. Тогда почувствуете вкус.

— Пока доберешься до вкуса, устанешь жевать. Зря купил такую архаичную штуку.

— Зря купил? Может быть, для сэнсэя это и не годится. А вот для Минэко Сатоми вполне подошло бы.

— Почему? — спросил Сансиро.

— Она спокойна и терпелива и будет, конечно, жевать до тех пор, пока не доберется до вкуса.

— Да, она внешне спокойна, но в действительности очень строптива.

— Это верно. Есть в ней что-то от ибсеновских женщин.

— Героини Ибсена — прямодушны, у Минэко же строптивость скрытая. Да к тому же не обычная, а какая-то особая. Сестра Нономии на первый взгляд более строптива, но нрав у нее мягкий, чисто женский. Просто удивительно!

Сансиро слушал, не вмешиваясь в разговор. Не все было ему понятно. Но больше всего он недоумевал по поводу того, что Минэко назвали «строптивой».

Ёдзиро вышел, надел хакама, вернулся и сказал:

— Я ненадолго отлучусь.

Уже стемнело, когда молодые люди вышли из дому.

Сансиро заговорил первым:

— Ты слышал? Сэнсэй называл барышню Сатоми строптивой!

— Ага. Мало ли что сэнсэю взбредет в голову! От него еще не то можно услышать. Но самое забавное, что он берется судить о женщинах, хотя совершенно их не знает. Да и откуда ему знать, если он никогда не любил.

— Оставим сэнсэя. Но ведь и ты согласился с ним. Верно?

— Да, согласился. Ну и что?

— В чем же ты видишь ее строптивость?

— Дело не во мне. Просто современные женщины все без исключения строптивы.

— Еще ты сказал, что она похожа на ибсеновскую героиню.

— Сказал.

— Какую же героиню ты имел в виду?

— Какую?.. Не знаю. Похожа, и все.

Сансиро, разумеется, не удовлетворил такой ответ. Но он не стал ни о чем больше спрашивать. Наступило молчание. На этот раз его нарушил Ёдзиро:

— Сейчас весь прекрасный пол похож на ибсеновских героинь. Да и не только прекрасный пол. Даже мужчины, проникнутые новыми веяниями, чем-то напоминают героев Ибсена. Правда, не поступками. Впрочем, как и женщины. Нет в них ибсеновской свободы, независимости. Пока они, как говорится, только сердцем воспринимают все новое.

— Я не очень-то подвержен его влиянию.

— Не поддавайся самообману... Общества без пороков не бывает.

— Да, пожалуй.

— А раз так, значит, живущие в обществе существа должны постоянно испытывать неудовлетворенность. Герои Ибсена, например, с особой остротой ощущали пороки существовавшей в их время социальной системы. Постепенно и мы дойдем до этого.

— Ты так думаешь?

— Не только я. Каждый, кто способен видеть, думает так.

— И твой сэнсэй тоже?

— Мой сэнсэй? Не знаю.

— Но ведь он недавно сказал, что Сатоми-сан уравновешенная и в то же время строптивая. Выходит, что она нашла в себе силы мириться с окружающей средой и поэтому всегда внешне хладнокровна. А протест — ведь ее далеко не все удовлетворяет — она хранит в глубине души.

— В самом деле... Молодец сэнсэй! Так здорово сумел подметить... — И Ёдзиро принялся на все лады расхваливать Хироту. Разговор ушел куда-то в сторону, вопреки желанию Сансиро поговорить еще немного о Минэко.

— Ты, вероятно, помнишь, что я собирался потолковать с тобой, — продолжал Ёдзиро. — Впрочем, скажи прежде, прочел ли ты мою статью? Если не прочел, тебе трудно будет меня понять.

— Как только пришел домой, сразу же прочел.

— Ну и что скажешь?

— А что говорит сэнсэй?

— С какой стати сэнсэй должен ее читать? Он даже не знает о ее существовании.

— Вот что я тебе скажу. Статья интересная, но... ощущение такое, будто выпил старого, уже не крепкого пива, словом, не получил полного удовлетворения.

— Однако настроение у тебя поднялось? И на том спасибо. Нынешний период можно назвать подготовительным. Поэтому я и подписываюсь псевдонимом. Но я поставлю под статью свое настоящее имя, как только наступит благоприятный момент. А сейчас давай поговорим о деле.

Оказалось, что на сегодняшней вечеринке Ёдзиро собирается выступить с протестом против застоя на факультете и очень просит Сансиро его поддержать. Застой — это факт. А против факта никто возражать не станет. И все собравшиеся сообща решают, как исправить положение. Он, Ёдзиро, скажет, что необходимо пригласить в университет на преподавательскую работу хотя бы одного стоящего японца. С этим все, бесспорно, согласятся. Иначе быть не может. Затем перейдут к обсуждению кандидатуры. Ёдзиро предложит Хироту. Тут Сансиро должен начать всячески расхваливать сэнсэя, чтобы никто не заподозрил Ёдзиро в предвзятости. Ведь многим известно, что Ёдзиро живет у Хироты и пользуется его покровительством. В общем, это правда, так что ему наплевать. Он только боится навредить сэнсэю. Впрочем, особенно бояться нечего, там будут и сторонники Ёдзиро, но чем их больше, тем лучше. Вот почему необходимо, чтобы Сансиро выступил. После того как предложение Ёдзиро будет единодушно принято, избранные делегаты пойдут к декану, а потом к ректору. Но сегодня об этом рано говорить. Момент надо будет выбрать сообразно с обстоятельствами.

Увы, красноречие Ёдзиро не производило должного впечатления, оно было лишено глубины и весомости. Иногда даже начинало казаться, что он шутит с серьезным видом. Однако, поскольку сама по себе идея вполне заслуживала уважения, Сансиро поддержал ее. При этом, правда, он заметил, что в способах осуществления этой идеи, предложенных Ёдзиро, слишком много ухищрений. Услышав это, Ёдзиро остановился. Они как раз находились у ворот синтоистского храма на Моривакатэ.

— Много ухищрений, говоришь? Но я ведь пока провожу подготовительную работу, и главное, чтобы она не нарушала нормального хода событий. Ничего противоестественного в этом нет. Ухищрение? Ну и пусть. Важно, чтобы оно вреда не приносило.

Ответ вертелся у Сансиро на языке. Но он никак не мог облечь свою мысль в слова. Из всего, сказанного Ёдзиро, в памяти Сансиро запечатлелось лишь то, над чем он еще не успел поразмыслить и что больше всего привело его в восторг.

— Возможно, ты прав, — очень неопределенно ответил Сансиро, и они зашагали дальше.

За главными воротами университета сразу же открылась просторная площадь с редко разбросанными по ней большими зданиями. Их крыши отчетливо выделялись на фоне ясного звездного неба.

— Какое великолепное небо! — заметил Сансиро. Ёдзиро тоже шел, глядя вверх.

— Послушай-ка! — вдруг сказал он.

— Что? — отозвался Сансиро, уверенный в том, что Ёдзиро намерен продолжить прерванный разговор.

— Ты что чувствуешь, когда видишь такое небо?

Сансиро никак не ожидал от приятеля подобного вопроса. У него наготове было множество таких слов, как «беспредельное», «вечное», но, боясь насмешек Ёдзиро, Сансиро промолчал.

— Какой-то чепухой мы занимаемся, — сказал вдруг Ёдзиро. — Может, бросить все это прямо с завтрашнего дня? Никакого проку от моей статьи, пожалуй, не будет.

— Что с тобой, Ёдзиро?

— Это небо внушило мне такие мысли... Ты влюблялся когда-нибудь?

Сансиро замялся.

— Страшные создания женщины, — заявил Ёдзиро.

— Страшные. Я это знаю, — согласился Сансиро. Ёдзиро расхохотался, вспугнув вечернюю тишину.

— Хотя ни малейшего понятия о них не имеешь. Ни малейшего.

Сансиро растерялся.

— Завтра тоже будет отличная погода. Будто специально для спортивных состязаний. Приходи непременно. Там будет много хорошеньких девушек.

В студенческом клубе ярко горели электрические лампы. Из коридора с дощатым полом они прошли в зал. Там уже собрались студенты. Одни оживленно беседовали. Другие нарочно держались особняком, молча рассматривая газеты и журналы. Каждая группа обсуждала поочередно несколько тем. Однако в комнате было относительно тихо, лишь яростно рвался к потолку табачный дым.

Участники вечера все прибывали. Их темные силуэты один за другим возникали из мрака, продуваемого ветром, и тут же вступали в полосу света. Иногда в комнату заходили сразу пять-шесть человек. Вскоре собрались почти все.

Окутанный клубами табачного дыма, Ёдзиро расхаживал по комнате. Он подходил то к одной группе, то к другой и что-то тихо говорил. «Ну вот, начал свою деятельность», — подумал Сансиро, наблюдая за приятелем.

Через некоторое время распорядитель громким голосом пригласил всех к столу, который, разумеется, был сервирован заранее. Все стали шумно рассаживаться — кто где хотел. Началась трапеза.

Дома Сансиро пил только красное сакэ, низкосортное, местного производства. Такое сакэ пили все учащиеся в Кумамото, считая это в порядке вещей. Изредка они посещали закусочную — обычную мясную лавку. Полагая, что конину там выдают за говядину, они брали с блюда куски мяса и швыряли их в стенку, приговаривая: «Прилипнет — конина, не прилипнет — говядина». Это напоминало магическое действие. Не удивительно поэтому, что такая изысканная студенческая встреча была для Сансиро в диковинку. Он усердно работал ножом и вилок и с наслаждением пил пиво.

— Правда, здесь невкусно кормят? — спросил у Сансиро сосед по столу, коротко остриженный, в золотых очках, очень вежливый юноша.

— Как вам сказать, — неопределенно протянул Сансиро. Будь на месте юноши Ёдзиро, Сансиро ответил бы честно, что для провинциала это настоящее великолепие. Но сейчас он решил воздержаться от такого ответа, боясь, что он может быть воспринят как ирония.

— Вы из какого колледжа? — снова спросил сосед.

— Из Кумамото.

— Из Кумамото? Мой кузен говорил, что это ужасное место — он там учился.

— Глушь.

В это время на противоположной стороне стола начался громкий разговор. Это Ёдзиро что-то горячо доказывал своим соседям, изредка повторяя: «De te fabula»¹. Эти слова, неизменно вызывавшие смех, были непонятны Сансиро. Все больше увлекаясь, Ёдзиро без конца сыпал своим «de te fabula, мы, молодежь нового времени...». Сидевший наискось от Сансиро светлокожий, очень изящный студент перестал есть и некоторое время прислушивался, потом улыбнулся и сказал по-французски: «И а le diable au corps» — «в них вселился дьявол». Но ни Ёдзиро, ни его собеседники ничего не слышали: как раз в этот момент они разом подняли стаканы с пивом и торжественно провозгласили тост.

— Веселый молодой человек, правда? — заметил сосед Сансиро в золотых очках.

— Да, язык у него хорошо подвешен.

— Он меня как-то угощал райскэрри в Ёдомикэне. Мы даже не были знакомы. Вдруг подходит и говорит: «Пошли в Ёдомикэн», и потащил меня туда...

Студент рассмеялся, а Сансиро подумал: «Значит, не одного меня Ёдзиро водил в Ёдомикэн».

Принесли кофе. Вдруг один из студентов встал со своего места. Он был в новой черной студенческой форме, с усами,

¹ «Не твоя ли история это» (букв.: «Это тебя касается») — слова из «Сатиры» Горация. См.: «Римская сатира», кн. I, сатира 1-я, с. 9. Перевод М. Дмитриева. М., «Художественная литература», 1957.

очень высокий, что особенно бросалось в глаза сейчас, когда он поднялся во весь рост. Он, видимо, собирался выступить с речью. Ёдзиро изо всех сил заплодировал. Вслед за ним захлопали в ладоши и остальные.

— Мы собрались сегодня здесь, — начал студент, — чтобы приятно провести вечер за дружеской беседой, и это уже само по себе отраднo. Но совершенно неожиданно мне пришло в голову, что эта дружеская встреча — не ординарное событие, она может привести к весьма важным последствиям. Вот мне и хочется сказать несколько слов по этому поводу. Нашу встречу мы начали пивом и заканчиваем кофе. Казалось бы, самая обычная встреча. Но все мы, сорок человек, которые собрались здесь, — люди не совсем обычные. За короткий промежуток от пива до кофе нам удалось осознать, как можно обогатить духовно нашу жизнь.

Рассуждения о политических свободах, равно как и о свободе слова — пройденный этап. Теперь слово «свобода» не следует использовать только применительно к обыденным явлениям политической и социальной жизни. Я убежден, что мы, молодежь новой эпохи, обязаны говорить о великой свободе духа.

Мы не станем дольше терпеть ни старый гнет Японии, ни новый гнет Запада. И в нынешних условиях наш долг — объявить об этом во всеуслышание. Новый гнет Запада и в социальном смысле, и в области литературы для нас, молодежи новой эпохи, так же мучителен, как гнет старой Японии.

Мы изучаем западную литературу. Именно изучаем, глубоко, всесторонне, а не стараемся рабски ей подражать. Изучаем не для того, чтобы оказаться у нее в плену, а во имя освобождения нашей поработанной души. Мы не станем заниматься литературой, которая не помогает нам справиться с этой задачей, как бы нас к тому ни принуждали, и твердо верим в собственную решимость.

Эта решимость и вера в собственные силы отличает нас от всех остальных. Литература — не техника, ее нельзя превратить в ремесло. Литература — это движущая сила общества. Она непосредственно воздействует на человеческие отношения, на самую жизнь. Вот что я имел в виду, когда говорил о литературе, представляющем для нас интерес, и о нашей решимости ее изучать. И в этом смысле, я полагаю, сегодняшней вечер должен выйти за рамки обычной встречи.

В нынешнем обществе происходят бурные перемены. Меняется и литература — детище общества. И если мы хотим, чтобы литература отвечала духу времени и нашим идеалам, мы должны сплотить наши силы, слабые, пока они разрозненны, духовно обогатить нашу жизнь, сделать ее содержательной, насыщенной. Сегодняшние пиво и кофе не просто пиво и кофе, они приобрели особую ценность, поскольку еще на шаг приблизили нас к заветной цели.

Вот, собственно, краткое изложение речи студента. Как только он умолк, раздался гром аплодисментов. Сансиро был в числе тех, кто аплодировал особенно горячо. Вдруг со своего места поднялся Ёдзиро.

— *De te fabula*. Кому интересно знать, что словарь Шекспира состоял из нескольких десятков тысяч слов или что у Ибсена несколько тысяч седых волос? А ведь все это преподносят нам на дурацких лекциях. Мы, разумеется, не окажемся в плену у подобных представлений, такой опасности нет. Но для самого университета это беда. Надо во что бы то ни стало найти преподавателя, который сумел бы удовлетворить запросы молодежи новой эпохи. Европейцам с такой задачей не справиться. Уже хотя бы потому, что они не пользуются никаким авторитетом...

Снова раздался взрыв аплодисментов, сопровождаемый хохотом.

— Выпьем за *de te fabula!* — крикнул сосед Ёдзиро. Его поддержал только что выступавший оратор. Но увы! Пива больше не было. «Я сейчас», — сказал Ёдзиро и побежал на кухню. Официант принес сакэ. Не успели осушить чашки, как кто-то снова крикнул:

— Еще тост! За «Невзошедшее светило»!

Все дружно расхохотались. Ёдзиро почесал в затылке.

Когда настало время расходиться и молодые люди один за другим исчезли в ночной тьме, Сансиро спросил Ёдзиро:

— Что значит *de te fabula*?

— Это по-гречески, — коротко ответил Ёдзиро. Сансиро не стал докучать ему расспросами.

Над ними простиралось великолепное ночное небо.

Следующий день, как и можно было ожидать, выдался очень теплый. Весь год было теплее, чем обычно. С утра Сансиро отправился в баню. Он жил в рабочем районе, и баня по утрам пустовала. В раздевалке висела реклама магазина одежды Мицукоси. С рекламы на Сансиро смотрела красивая женщина, чем-то напоминавшая Минэко. Только выражение глаз у нее было совсем другое. «А какие, интересно, у нее зубы», — думал Сансиро, рассматривая картинку. Дело в том, что в Минэко его больше всего поражал взгляд и зубы, о которых Ёдзиро говорил, что они слегка выдаются вперед и потому всегда видны. Однако у Сансиро на этот счет было совсем иное мнение.

Обо всем этом и размышлял Сансиро, нежась в теплой ванне, так что на мытье у него уже почти не осталось времени. Со вчерашнего вечера Сансиро ощущал себя молодым человеком новой эпохи. Правда, это касалось лишь его пробудившегося самосознания, но не прибавило ему ни капли энергии. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как праздность. Сегодня после обеда он собирался пойти на университетские соревнования по легкой атлетике.

Нельзя сказать, чтобы Сансиро увлекался спортом. Лишь раз-другой ему довелось участвовать в охоте на зайца — это еще когда он жил в провинции, и быть стартером на состязаниях по гребле в колледже. В этой роли он, правда, выступил неудачно: перепутал синий и красный флажки, чем вызвал бесчисленные нарекания. Возможно, виноват в этом был преподаватель, который выстрелом не известил о начале финальных состязаний. Говоря точнее, курок-то он спустил, а выстрела не получилось. Оттого Сансиро, видимо, и растерялся. С тех пор он всячески избегал спортивные состязания. Но сегодня решил изменить своему правилу, впервые после приезда в Токио. Уж очень советовал ему Ёдзиро пойти. Не столько ради соревнований, сколько ради девушек, которые, по словам Ёдзиро, собирались туда. Наверняка придет сестра Нономии-сан, а с ней, вероятно, и Минэко. Сансиро очень хотелось увидеться с Минэко и обменяться с ней хоть несколькими словами.

Уже перевалило за полдень, когда Сансиро вышел из дому. Вход на спортплощадку находился в ее южном углу. Над входом скрестились два флага — флаг восходящего солнца и английский. Флаг восходящего солнца — это понятно, но при чем тут английский? Может быть, это дань уважения англо-японскому союзу?¹ — подумал Сансиро. Но какое отношение имеет англо-японский союз к спортивным соревнованиям университета? Этого Сансиро никак не мог уразуметь.

Спортивное поле являло собой поросший травой прямоугольник. Наступила осень, и трава из ярко-зеленой превратилась в желтую. Места для зрителей были отведены на западной стороне. За ними высились сложенные из камней искусственные горки, отделенные от спортплощадки барьером, так что зрители теснились на сравнительно небольшом пространстве. Стоял погожий осенний день, однако многие пришли в пальто, а женщины даже с зонтами.

Каково же было разочарование Сансиро, когда он увидел, что дамы сидят отдельно от мужчин. Не так просто было к ним подойти. К тому же Сансиро, вопреки собственным ожиданиям, чувствовал себя как-то неловко рядом с солидного вида мужчинами не то в сюртуках, не то еще в чем-то. Словом, молодой человек новой эпохи несколько стушевался. Это, впрочем, не помешало ему рассмотреть места для дам. Сбоку, конечно, не очень-то разглядишь, но зрелище было впечатляющим. Нарядно одетые женщины казались издали просто красавицами. Причем все без исключения. Они олицетворяли собой ту красоту, которая покоряет мужчин, но ни одной из них нельзя было отдать предпочтения. Это тоже разочаровало Сансиро. Присмотревшись повнимательнее, он наконец обна-

¹ Имеется в виду англо-японский союзный договор, заключенный 30 января 1902 г.

ружил в первом ряду, почтя у самой ограды, двух интересующих его девушек.

Теперь ему не надо было больше шарить глазами по рядам, и он почувствовал облегчение. Вдруг в поле его зрения попали несколько мужчин. Закончились соревнования в беге на двести метров. Финиш как раз находился напротив Минэко и Ёсико — совсем близко от них. Только поэтому Сансиро, не сводивший глаз с девушек, и заметил этих отличных спортсменов. Вслед за первой пятеркой прибежали и остальные — семь-восемь человек. Все они с трудом переводили дыхание. Сансиро невольно сравнил себя с ними — ничего общего. Что за безрассудство так бегать! Зато женщины с нескрываемым восторгом следили за победителями. Больше всех, так показалось Сансиро, восхищались Минэко и Ёсико. И ему вдруг захотелось стать таким же безрассудным, как эти спортсмены. Юноша в лиловых трусах, прибежавший к финишу первым, очень походил на студента, выступавшего накануне с речью. Он стоял сейчас лицом к женщинам, и Сансиро хорошо его разглядел. При таком росте немудрено прибежать первым. На табло появился его результат — 25,74 сек. Стоявший у табло человек отбросил мелок и повернулся к Сансиро. Это оказался Нономия-сан. Он выглядел весьма внушительно в непривычном для него черном сюртуке со значком судьи. Смахнув платком пыль с рукава, Нономия прямо от табло направился к Минэко и Ёсико, перегнулся через барьер и что-то им сказал. Минэко тотчас подошла к нему, и они стали разговаривать. Потом она вдруг обернулась, радостная, улыбающаяся. Сансиро с напряженным вниманием наблюдал за ними. Вскоре покинули свое место и Ёсико. Она тоже подошла к барьеру и включилась в разговор. В это время начались состязания по метанию ядра.

Этот вид спорта, пожалуй, как никакой другой, требовал большой физической силы и в то же время был наименее интересным. Бросать ядро — в этом нет ничего похожего на искусство. Нономия-сан постоял у барьера, посмотрел, посмеялся, потом вдруг спохватился, что мешает зрителям, и вернулся в центр поля. Девушки тоже вернулись на свои места. Сансиро видел, как летит ядро по воздуху, но никак не мог определить, где оно падает. Он вдруг ощутил всю нелепость этого зрелища, но продолжал терпеливо смотреть. Наконец Нономия-сан написал на табло: «11,38 м». Состязания по метанию ядра кончились.

Снова начался бег, потом прыжки в длину с разбега, потом метание молота. Терпение Сансиро иссякло. Он подумал, что незачем на все эти состязания приглашать зрителей. Женщины просто заблуждаются, глядя на все это с таким интересом. Он решил уйти и направился было к искусственной горке, но наткнулся на полотнище, отделявшее спортивное поле, вернулся и пошел по посыпанной гравием дорожке.

Здесь было много гуляющих, и среди них нарядно одетые женщины, которые, видимо, ушли с соревнований, как и Сансиро. Дорожка свернула вправо и привела Сансиро на вершину невысокого холма. Там он сел на большой камень и стал смотреть вниз, на блестящий там пруд.

Так бездумно он посидел минут пять. Потом встал и уже хотел вернуться обратно, как вдруг увидел внизу Минэко и Ёсико. Они шли между кленами, уже слегка тронутыми красной ранней осени, как раз там, где начинался подъем на холм.

Сансиро стал наблюдать за девушками. Вот они вышли из-за деревьев на открытую солнцу поляну. «Сейчас пройдут мимо, — подумал Сансиро, — может, окликнуть?» Правда, расстояние между ним и девушками слишком велико. Сансиро стал поспешно спускаться вниз, но в это время одна из девушек его заметила. И он тотчас же остановился. Ему не хотелось быть навязчивым, кроме того, он был несколько раздражен поведением девушек на соревнованиях.

— Что это вы там... — удивленно смеясь, крикнула Ёсико. Она, видимо, обладала способностью удивляться вещам самым обыденным и в то же время оставаться безразличной при виде чего-либо из ряда вон выходящего. Может быть, именно поэтому с ней всегда бывало легко и просто. Сансиро подумал, что это ощущение легкости возникает благодаря глазам девушки, большим, черным и слегка влажным.

Минэко тоже остановилась и взглянула на Сансиро. Взглянула совершенно бесстрастно. И Сансиро вдруг показалось, что перед ним не девушка, а погасшее пламя. Он продолжал стоять, не двигаясь, как и Минэко.

— Вы почему ушли с соревнований? — спросила Ёсико.

— Надоело. Правда, ушел я совсем недавно.

Ёсико оглянулась на Минэко. Но та оставалась бесстрастной.

— А вы почему ушли? — спросил Сансиро. — С таким интересом смотрели... — Тут Минэко чуть-чуть улыбнулась. Озадаченный этой улыбкой, Сансиро спросил: — А вы уже домой собрались?

Девушки молчали.

— Куда-нибудь спешите? — снова спросил Сансиро.

— Да так, есть тут одно дело... — едва слышно ответила Минэко. Сансиро наконец спустился с холма и подошел к девушкам, но ни о чем больше не спрашивал и стоял молча. В это время со спортивного поля донеслись громкие аплодисменты.

— Прыжки в высоту с шестом, — заметила Ёсико. — Интересно, какой был сейчас прыжок?

Минэко снова чуть-чуть улыбнулась. Сансиро продолжал хранить молчание. Пристало ли ему вести разговор о каких-то там прыжках!

— Вы видели на холме что-нибудь интересное? — спросила Минэко.

Камень да обрыв, вот и все, что видел Сансиро. И он ответил:

— Нет, ничего примечательного.

— Да-а... — с сомнением протянула Минэко.

— Может, поднимемся ненадолго? — весело предложила Ёсико.

— Ты разве не бывала здесь? — спокойно отозвалась Минэко.

— Не все ли равно? Пойдемте! — И Ёсико стала подниматься по дорожке. Сансиро и Минэко ничего не оставалось, как последовать за нею. Очутившись на поляне, Ёсико подошла к краю обрыва и оглянулась.

— Смотрите, какая высота! — Она явно преувеличивала. Отсюда могла бы броситься вниз сама Сафо.

Минэко и Сансиро расхохотались. Правда, Сансиро весьма смутно себе представлял, откуда именно бросилась вниз Сафо.

— Уж не хочешь ли ты последовать ее примеру? — спросила Минэко.

— Я? Броситься с обрыва? Ни в коем случае! Вода чересчур грязная, — ответила Ёсико, подходя к Минэко и Сансиро.

Тут между девушками завязался разговор.

— Ты пойдешь? — спросила Минэко.

— Пойду. А ты?

— Не знаю, как и быть.

— Как хочешь. Могу сходить я, а ты здесь подожди.

— Не знаю, что лучше.

Девушки никак не могли договориться. Сансиро не выдержал и вмешался в разговор. На его вопрос Ёсико ответила, что хочет зайти в клинику, это ведь совсем рядом, и поблагодарить сиделку за уход. А Минэко собирается навестить больничную сестру, которая ухаживала за ее родственницей, лежавшей этим летом в клинике. Впрочем, это совсем не обязательно.

В конце концов Ёсико, пообещав скоро вернуться, стала быстро спускаться с холма. Ни удерживать ее, ни идти вместе с нею не имело смысла, и Сансиро с Минэко остались вдвоем. Точнее говоря, не остались, а были покинуты, если иметь в виду их полную пассивность.

Сансиро снова сел на камень, а Минэко продолжала стоять. В мутной воде пруда, гладкого, как зеркало, отражалось осеннее солнце. Посредине был небольшой островок, на котором росло всего два дерева. Ярко-зеленые ветви сосны удивительно гармонично переплелись с красноватыми листьями клена, образовав садик в миниатюре. На другой стороне пруда темнела густая роща. Указав на нее, Минэко спросила:

— Вы знаете, что это за деревья?

— Бук.

— У вас отличная память, — рассмеялась девушка.

— Это какую медсестру вы собирались посетить, ту, что я тогда видел с вами?

— Да.

— Она и за Ёсико-сан ухаживала?

— Нет. Я говорю о сестре, которая сказала: «Это бук».

— А вон там вы тогда стояли вместе с нею и обмахивались веером.

Холм, на котором они находились, был самым высоким, он словно бы повис над прудом. Справа тянулась небольшая гряда холмов пониже. Молодым людям отсюда видны были высокие сосны, угол старинного здания княжеского дома, часть полотнища, отгораживающего спортивное поле, и само поле.

— День тогда выдался на редкость жаркий. В клинике была такая духота, что я не выдержала и вышла на воздух... А вы что там делали?

— Тоже спасался от жары. В тот день я как раз познакомился с Нономией-сан, вышел от него и решил отдохнуть. Так тоскливо вдруг стало у меня на душе...

— Это после встречи с Нономией-сан?

— Да нет, по другой причине. — Сансиро взглянул на Минэко и тут же перевел разговор на другую тему: — Изрядно пришлось сегодня потрудиться Нономии-сан.

— Да еще в сюртуке... Оп ведь редко его надевает. Представляю, как ему было неудобно. Весь день, с утра до вечера...

— И все же он очень гордился порученной ему ролью, не правда ли?

— Кто гордился? Нономия-сан?.. Ну, это вы преувеличиваете...

— Отчего же?

— Не такой он человек, чтобы гордиться ролью секундометриста на соревнованиях.

— Только что он подходил к вам и о чем-то с вами говорил, — вдруг выпалил Сансиро.

— Это на спортивном поле?

— Да, возле барьера, — сказал Сансиро и тут же пожалел, что завел об этом речь. Короткое «да» в ответ на его слова, пристальный взгляд, слегка выпяченная нижняя губа и чуть насмешливая улыбка повергли Сансиро в смятение. Он хотел замять разговор, но тогда девушка сказала:

— Вы до сих пор не ответили на мою открытку.

— Непременно отвечу. — Сансиро сконфузился. Девушка промолчала. А через некоторое время спросила:

— Вы знаете Харагути-сан, художника?

— Нет, не знаю.

— А-а...

— С ним что-нибудь случилось?

— Ничего... Он был сегодня на соревнованиях. Мастер рисовать с натуры. Вот Нономия-сан и предупредил нас, что-

бы были начеку, если не хотим оказаться на одной из его карикатур.

Сказав это, Минэко села рядом с Сансиро на камень. А Сансиро в это время думал о том, какой же он глупец.

— Ёсико-сан пойдет домой вместе с братом?

— Увы! Она не может этого сделать, если бы даже захотела. Со вчерашнего дня Ёсико-сан живет у меня.

Только сейчас Сансиро узнал от Минэко, что мать Нономии-сан уехала в деревню, что Нономия-сан покинет Окубо и снимет квартиру, а Ёсико на время поселится у Минэко, чтобы ей удобней было ходить на занятия.

Сансиро удивлялся беспечности Нономии. Раз он с такой легкостью согласился снова жить на квартире, стоило ли снимать целый дом? Интересно, как он распорядится всеми своими сковородками, котелками, лоханями и другой домашней утварью, подумал Сансиро, однако эти свои соображения решил не высказывать вслух. И еще Сансиро подумал, что Нономия-сан превратится теперь из главы семьи чуть ли не в простого сёсэя и освободится от житейских забот. Ёсико будет жить у Минэко. А брат с сестрой должны постоянно видаться друг с другом — так уж они устроены. Благодаря этому отношения Нономии-сан с Минэко могут постепенно перейти в иное качество, и не исключено, что в один прекрасный день у Нономии-сан навсегда отпадет необходимость снимать квартиру.

Такое безотрадное будущее рисовалось Сансиро, пока он беседовал с Минэко. Что говорить, приятного мало! Сансиро стоило огромных усилий ничем не выдать своего настроения. Хорошо, что в это время вернулась Ёсико. Девушки не знали, то ли им вернуться на соревнования, то ли не возвращаться, но осеннее солнце садится рано, стало свежо, и они решили идти домой. Сансиро тоже хотел идти домой, но ему никак не удавалось попрощаться с девушками, потому что разговор ни на минуту не прекращался. Они словно бы увлекали его за собой в противоположную от его дома сторону. Но он не очень этому противился и, не отставая ни на шаг, пошел вместе с девушками мимо пруда и библиотеки к главным воротам университета.

— Я слышал, что ваш брат снова будет снимать комнату? — обратился Сансиро к Ёсико.

— Да, так он решил, — сразу же отозвалась Ёсико. — А кое-кого спровадил к Минэко-сан. Каково, а? — добавила она, как бы ища сочувствия. Сансиро хотел ответить, но его опередила Минэко.

— Таким людям, как Нономия-сан, чужды наши желания. Их занимают вещи более важные, — почти с восхищением произнесла Минэко. Ёсико слушала молча. — Житейские дела лишь докучают настоящему ученому. Ради науки он готов терпеть любые лишения. И с этим ничего не сделаешь. Нономия-сан известен даже за границей, а снимает комнату, как

бедный студент, и чем хуже эта комната, тем большего он достоин уважения. — Минэко без конца расточала похвалы в адрес Нономии-сан.

У ворот университета Сансиро наконец простился с девушками. И пока шел домой, все время размышлял над тем, что говорила Минэко. Она, конечно, права. Разве сравнишь его, Сансиро, с Нономией-сан? Сансиро — провинциал и лишь недавно поступил в университет. Ни образования у него нет, ни настоящих знаний. Не удивительно, что Минэко так уважает Нономию, а Сансиро ни во что не ставит, даже насмехается над ним. С самым серьезным видом спросила, что интересного он нашел на холме, когда он сказал, что сбежал с соревнований. В тот момент он это пропустил мимо ушей, а ведь она, пожалуй, над ним издевалась. Сансиро перебирал в памяти каждое слово, каждый поступок девушки на протяжении всего их знакомства. Все представлялось ему сейчас в мрачном свете. И, пробираясь сквозь толпу прохожих, он залился краской стыда и опустил голову. А когда поднял невзначай глаза, то увидел, что навстречу ему идут Ёдзиро и тот самый студент, который тогда на вечере произносил речь. Ёдзиро молча кивнул головой, студент снял фуражку и поклонился.

— Ну что, понравилось вам вчера? Только не вздумайте попасть в плен, — сказал он, смеясь, и они с Ёдзиро прошли мимо.

7

Сансиро вошел с черного хода и спросил у старухи служанки, дома ли Ёдзиро. Та тихим голосом ответила, что Ёдзиро-сан со вчерашнего вечера не возвращался. Сансиро стоял несколько озадаченный. Тут старуха спохватилась: «Что же вы, входите, пожалуйста. Сэнсэй у себя в кабинете». Служанка мыла посуду, видимо, после ужина.

Через столовую Сансиро вышел в коридор. Дверь в кабинет была открыта. Оттуда донесся чей-то голос: «Эй! Поди сюда!» Сансиро шагнул за порог и увидел Хироту. Профессор сидел, загораживая собой, словно оберегая от чужого глаза, что-то, лежавшее на столе. Сансиро сел почти у самой двери и вежливо осведомился: «Работаете?» Хирота обернулся. Усы у него стояли торчком, и он напомним Сансиро человека с фотोगравюры, которую Сансиро недавно видел.

— Ох, виноват. Это вы, а я думал — Ёдзиро! — Профессор встал, и Сансиро увидел на столе кисть для письма и бумагу. Хирота что-то писал. Ёдзиро как-то пожаловался: «Наш сэнсэй изредка пишет. Но что именно, этого никто не в силах понять. Хорошо бы все его записи свести воедино и упорядочить еще при жизни, ибо после смерти они окажутся грудой

никому не нужной бумаги». И сейчас, бросив взгляд на стол Хироты, Сансиро сразу вспомнил слова Ёдзиро.

— Могу уйти, если помешал. Я ведь просто так зашел.

— Нет, вы мне несколько не помешали. Не таким уж важным делом я занимался. Да и срочности никакой нет.

Сансиро не нашелся что ответить. Лишь подумал, что смог бы учиться в университете без особого труда и даже с удовольствием, если бы обладал душевным равновесием Хироты.

— Собственно говоря, я пришел к Сасаки-кун, но не застал, и...

— Да, Ёдзиро как будто не возвращался со вчерашнего вечера. Время от времени болтается где-то... Беда с ним.

— Может быть, он занят каким-нибудь срочным делом?

— У таких, как он, не бывает дел. Он сам себе их придумывает. Чудак!

— Уж очень он беззаботный, — сказал Сансиро первое, что пришло в голову.

— С беззаботностью еще можно мириться. Куда хуже его непостоянство. Видели оросительные канавки на рисовом поле? Мелкие, узкие, а вода в них все время меняется. Так и Ёдзиро. Никакой целеустремленности. Идем мы с ним на праздничную ярмарку, так просто, посмотреть, и вдруг он говорит: «Сэнсэй, купите кадку с сосной!» Не успел я рта раскрыть, а он уже сторговался и купил. Впрочем, делать праздничные покупки он мастер. И как дешево умеет купить! Да, так вот летом, когда все разъехались, он внес сосну в комнату, закрыл ставни и запер квартиру. Возвращаюсь и вижу, что сосна в тепле сопрела и стала совсем красной. Это вполне в его духе.хлопот с ним не оберешься.

Не так давно Ёдзиро занял у Сансиро двадцать иен и обещал вернуть их через две недели, как только получит гонорар от «Бунгэй дзихё». Сансиро выручил приятеля. Оставил себе пять иен, полученных из дому, а остальные отдал Ёдзиро. Две недели, правда, еще не прошло, но от слов Хироты Сансиро стало как-то не по себе. Он, разумеется, не сказал об этом профессору, лишь заметил:

— Зато как Сасаки-кун уважает вас, сэнсэй, как о вас хлопочет!

Хирота насторожился.

— Хлопочет? О чем же это, позвольте узнать?

Тут Сансиро спохватился и перевел разговор на другую тему. Дело в том, что Ёдзиро запретил рассказывать Хироте о статье «Невзошедшее светило» и обо всем остальном, что он делал для профессора. Хирота рассердится, если узнает. Когда можно будет, Ёдзиро сам скажет, а пока лучше молчать.

Сансиро тянуло к Хироте по разным причинам. Прежде всего потому, что этот человек ничем не походил на других, даже образом жизни. И еще больше, чем от других, он отли-

чался от самого Сансиро. Собственно, это и вызывало у Сансиро любопытство и в то же время стремление подражать профессору. С Хиротой Сансиро становился беспечным, и его уже не волновала борьба за положение в обществе. Нономия-сан, пожалуй, тоже не от мира сего. Но создается впечатление, что он сторонится всего житейского только из честолюбия. В обществе Нономии всегда испытываешь неловкость, словно ты в долгу перед наукой и непременно должен внести в нее свой вклад. И это, естественно, будоражит нервы. Зато Хирота-сэнсэй — само спокойствие и умиротворенность. Он знает только свою лингвистику, которую преподает в колледже, и больше ничего. Не очень вежливо говорить об этом, но Хирота-сэнсэй не опубликовал ни единого исследования. Однако держится с большим достоинством. Вот почему, думал Сансиро, с профессором чувствуешь себя легко и беззаботно. Сансиро влюбился. Но до сих пор не знает, любят его или дурачат, и что ему делать: выказывать покорность или презрение, бросить все это или надеяться. Сансиро злился, досадовал. Но стоило ему полчаса потолковать с Хиротой, как он снова обретал спокойствие и ему становились безразличны все девушки на свете. За этим, собственно, он и шел сегодня к профессору...

Была еще третья причина, довольно странная. Сансиро, как известно, страдал от любви к Минэко и ревновал ее к Нономии. Профессор же был очень близок с Нономией. И Сансиро надеялся, бывая у Хироты, понять наконец отношения между Нономией и Минэко. Тогда, по крайней мере, он знал бы, как себя вести. Однако лишь сегодня он впервые за все время решился заговорить об этом с профессором.

— Говорят, Нономия-сан опять собирается снимать квартиру?

— Да, слышал.

— По-моему, человеку, у которого был целый дом, очень неудобно жить в квартире, и все же Нономия-сан с такой легкостью...

— Подобного рода вещи его совершенно не занимают. Посмотрите, как он одет. Да и домашний уют его нисколько не интересует. Только в науку он вкладывает всю душу.

— И долго он собирается жить таким образом?

— Не знаю. Может быть, ему придется снова обзавестись домом.

— Он хочет жениться?

— Возможно. Нашли бы ему подходящую невесту.

Сансиро кисло улыбнулся, подумав про себя, что наболтал лишнего.

— А вы как? — спросил Хирота.

— Я...

— Вам еще рано. Жениться в столь юном возрасте — это ужасно.

— А дома мне советуют.

— Кто советует?

— Мама.

— И вы намерены последовать ее совету?

— Особого желания у меня нет.

Хирота рассмеялся, из-под усов мелькнули еще довольно крепкие белые зубы. Сансиро охватило вдруг какое-то удивительно теплое чувство. Оно не относилось ни к Минэко, ни к Нономии, оно как бы возвышалось над ближайшими интересами Сансиро, было всеобъемлющим. Сансиро устыдился собственной назойливости и перестал расспрашивать о Нономии.

— Мать надо слушаться всегда и во всем, — снова заговорил Хирота. — Молодые люди нынче чересчур дорожат своим «я», не то что мы в юности, когда еще учились. Тогда, что бы мы ни делали, мы прежде всего помнили о других. Государь, родители, страна, общество — вот что было главным для нас, так уж мы были воспитаны и, если хотите, не отдавая себе в том отчета, невольно становились лицемерами. Со временем в общественной жизни произошли перемены, лицемерие оказалось ненужным, на смену ему пришел эгоизм. Собственное «я» — вот что стало важнее всего. Место лицемеров заняли сверхэгоисты, которые и не пытаются скрыть свою подлинную неприглядную сущность, даже, напротив, выставляют ее напоказ. Слышали вы когда-нибудь это слово «сверхэгоисты»?

— Нет, не слыхал.

— Это я его сейчас придумал. Может, и вы один из таких сверхэгоистов? Гм... Утверждать не берусь, но возможно... Вот Ёдзиро — классический пример. В своем роде и Сатоми тоже. Кстати, вы ее знаете. И младшая сестра Нономии, — правда, в очень своеобразной форме, но это тем более забавно. В прежние времена выставлять напоказ свою сущность мог позволить себе разве только владетельный князь или глава семейства, ныне же у всех права равные, и поэтому каждому хочется показать себя полностью. Впрочем, я не вижу в этом ничего плохого. Вообразите, стоит ведро. Снимете крышку — а там отбросы. Стоит только сорвать с человека прекрасную оболочку — под ней окажется неприглядная сущность сверхэгоиста. Это общеизвестно. Так не лучше ли прекрасную оболочку заменить некрашеным деревом? И дешево и без хлопот. Простота и безыскусственность — все на виду. Однако все хорошо в меру. Чрезмерная простота тяготит. Зайдя чересчур далеко, сверхэгоисты начинают тяготиться друг другом, и, когда это чувство, постепенно усиливаясь, достигает предела, возрождается альтруизм. Альтруизм тоже постепенно сводится только к форме и изживает себя. На смену ему опять приходит эгоизм, и так без конца. Это, пожалуй, помогает нам двигаться вперед. Взгляните на Англию. Там с давних пор эти два принципа претолочно уживаются друг с другом. Вот почему англичане и стоят на месте. Нет у них ни Ибсена, ни

Нищие. Бедняги! Они как будто вполне довольны собой, но ведь со стороны видно, что они закоснели и постепенно превращаются в окаменелость.

С восхищением слушая Хироту, Сансиро, в то же время был несколько удивлен тем, что разговор принял столь неожиданный оборот.

— О чем, собственно, мы говорили? — вдруг спохватился Хирота.

— О женитьбе.

— О женитьбе?

— Да, вы советовали мне слушаться мать...

— А, да, да. Непременно слушайтесь м а т ь , — сказал Хирота таким тоном, словно обращался к ребенку, и ласково улыбнулся. Но Сансиро не рассердился, даже не обиделся.

— Допустим, мы сверхэгоисты. Но вы говорите, что люди вашего поколения были лицемерами. В чем же это выразилось?

— Вам нравится, когда с вами любезны?

— В общем, нравится.

— Всегда? А мне нет. Напротив. Чрезмерная любезность бывает очень неприятна.

— Что вы имеете в виду?

— Любезность неискреннюю, чисто формальную.

— А такая бывает?

— Когда вас поздравляют с Новым годом, у вас на самом деле появляется праздничное настроение?

— Да в общем-то...

— Думаю, что нет. Нельзя верить субъектам, которые заявляют, что животики со смеху надорвали или, там, покатились со смеху, потому что ни один из них не смеется искренне. То же самое и с любезностью. Любезность по обязанности — это нечто вроде моего преподавания. Ведь служа я в колледже ради заработка, а у учащихся это наверняка не вызывает симпатии. Вот Ёдзиро совсем другое дело. Он заправил среди сверхэгоистов, хлопот с ним не оберешься, озорник, подчас не знаешь, что с ним делать. Но такие, как он, простодушны и добры, есть в них что-то милое. Возьмите, к примеру, стремление американцев к деньгам. Деньги для них — самоцель, и они не скрывают этого. Нет ничего честнее таких стремлений. И нет ничего прекраснее честности. Нас же воспитывали чересчур строго, поэтому столько в нас неискренности и фальши.

Сансиро не так уж трудно было следить за ходом мыслей Хироты. Но сейчас его занимали не столько общие рассуждения, сколько частный вопрос. Прежде всего ему хотелось знать, насколько искрення одна его знакомая. Он снова мысленно представил себе манеру Минэко держаться и никак не мог решить, лукавит она или не лукавит. А может, он слишком туп, чтобы понять ее?

— Да, вот еще что... — хмыкнул Хирота. — В нашем, двадцатом, веке вошла в моду одна весьма странная вещь, эдакий хитрый выверт: альтруизм, основанный на эгоизме. Вам не встречались люди с такими принципами?

— С какими именно?

— Ну, скажем, из лицемерия откровенно показывать свою неприглядную сущность. Что, не совсем понятно? Вероятно, я не очень хорошо объясняю. Раньше лицемеры заботились главным образом о том, чтобы о них, упаси бог, не подумали плохо. Нынче же нарочно лицемерят открыто, и если человеку от их лицемерия становится не по себе — цель достигнута. Такого рода честность — отличительная черта сверхэгоиста. И движут им как будто самые благие намерения. Словом, что называется, един в двух лицах. В последнее время иные господа просто мастерски пользуются этим приемом. Когда представитель цивилизованной расы с весьма тонкой нервной организацией стремится стать сверхэгоистом да еще хочет сделать это с особым изяществом, лучшего способа не придумаешь. Пустить кровь, чтобы убить человека, считается варварством, и этот метод постепенно выходит из моды.

Хирота говорил о действительности, словно наблюдал ее из далекого прошлого, как гид на поле давних битв, в то же время речь его была исполнена оптимизма, и этим он очень напоминал университетских лекторов. Сансиро по-своему воспринял теорию Хироты. Ведь ее можно было применить к его отношениям с Минэко, и он попробовал это сделать. Но, увы, ничего не вышло. Многие в Минэко никак не укладывались в теорию. Хирота умолк и принялся пускать из носа «философский» дым.

В коридоре послышались шаги. Это был Ёдзиро. Он вошел в кабинет, забыв поздороваться, заявил:

— Пришел Харагути-сан, — и, скользнув взглядом по Сансиро, ушел.

Тотчас же в комнату вошел Харагути-сан, тучный человек с усиками на французский манер и коротко подстриженными волосами, в кимоно, куда более элегантно, чем у Хироты. С виду он был двумя-тремя годами старше Нономии.

— Давненько не заглядывал к в а м , — весело сказал Харагути. — Сейчас у меня был Сасаки, мы с ним позавтракали, поболтали, а потом он притащил меня сюда...

От Харагути так и веяло жизнерадостностью. Сансиро сразу понял, что это и есть тот самый художник, о котором он уже слышал. «Ай да Ёдзиро, просто молодец, со всеми знаменитостями знаком», — с восхищением подумал Сансиро и сразу ощутил неловкость. Он всегда испытывал неловкость в обществе людей почтенного возраста и объяснял это тем, что воспитан в провинциальных традициях.

Хирота представил молодого человека художнику. Сансиро вежливо поклонился. Харагути слегка кивнул. После этого

Сансиро не произнес больше ни слова, молча слушая беседу Хироты с гостем.

Харагути заявил, что прежде всего намерен поговорить о деле. На днях он дает обед и просит Хироту прийти. На сей раз он не собирается приглашать постоянных членов художественного общества и устраивать грандиозный прием; будет несколько литераторов, деятелей искусства, профессоров университета, главным образом, добрые знакомые; ему просто хочется, чтобы собрались друзья и вместе пообедали. А потом побеседовали о литературе и искусстве.

Хирота коротко ответил: «Приду». Таким образом, дело было улажено. Но дальнейший разговор между Харагути и Хиротой показался Сансиро весьма интересным. На вопрос Хироты: «Чем вы сейчас занимаетесь?» — Харагути ответил:

— Все теми же старинными балладами. Скоро пятую выучу. Есть весьма интересные, например, «Восемь обликос Ёсивары весной и осенью» или, скажем, «Самоубийство Хамбэя и гейши Коина на озере Бива». Может, последуете моему примеру, займетесь? Только их нельзя читать в полный голос. Говорят, когда-то их исполняли в маленькой комнате в четыре с половиной татами. Но у меня, как вам известно, голос громкий, к тому же мелодия очень сложная, как следует не получается. Приходите как-нибудь, послушаете.

Хирота улыбался, а Харагути продолжал:

— Ну, у меня еще куда ни шло, а вот Сатоми Кёскэ, так тот до того врет, что и разобрать ничего невозможно. Зато его сестра — мастерица. Недавно он наконец признал свое поражение и заявил, что с песенными сказами покончено, теперь он хочет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Кто-то посоветовал ему заняться народными инструментами — барабаном, флейтой... Смех, да и только!

— Неужели правда?

— Разумеется! Сатоми даже сказал, что если я буду учиться, то и он будет. Есть, говорят, восемь способов игры на этих инструментах.

— А что, если вам и в самом деле попробовать? Для этого таланта особого не требуется.

— Нет, не хочу. Уж если учиться, так лучше на цудзуми¹. Когда я слышу его звуки, не знаю почему, забываю, что сейчас двадцатый век, и становится так отрадно! Настоящий бальзам, особенно когда вспомнишь о том, как огрубели сейчас люди. При всем своем легкомыслии я не взялся бы изобразить на холсте нечто подобное звукам цудзуми.

— По-моему, вы и не собирались?

¹ Цудзуми — небольшой ручной барабанчик особой формы, сверху и снизу обтянутый кожей, по которому ударяют сжатыми вместе пальцами.

— Это просто мне не под силу. Разве можно, живя в современном Токио, написать полную покоя картину? Впрочем, едва ли это относится только к живописи... Кстати, недавно вознамерился было нарисовать сестер Сатоми и Нономии на университетских соревнованиях, нечто вроде дружеского шаржа, так они от меня убежали. Теперь думаю написать портрет и представить на выставку.

— Чей же портрет?

— Сестры Сатоми. Как правило, лица японских женщин очень напоминают картины Утамаро¹ и на европейских холстах получаются плохо. А эта девушка и сестра Нономии так и просятся на холст. Думаю попробовать написать сестру Сатоми в натуральную величину на фоне деревьев, так, чтобы на лицо ей падал свет, с веером у плеча, но не европейским — это безвкусно, — а непременно японским, так куда интересней. Только надо с этим поспешить, а то выйдет замуж, тогда все будет гораздо сложнее.

Сансиро слушал Харагути с большим интересом. Особенно его взволновала предполагаемая композиция картины: Минэко с веером у плеча. И он подумал, что такая композиция не случайна. Размышления Сансиро прервал Хирота.

— Эта композиция не кажется мне очень уж интересной о й, — довольно бесцеремонно заявил он.

— Так хочет сама девушка — непременно держать веер чуть повыше плеча. Я ее поддержал, даже похвалил за тонкий вкус. Напрасно вы считаете, что это плохо. Правда, многое еще зависит от того, как это будет написано.

— Изобразите ее чересчур красивой, отбою от женихов не будет.

— Ха-ха-ха! Придется тогда написать ее не очень красивой. Кстати, о замужестве. Этой девушке пора замуж. Нет ли у вас на примете хорошего жениха? Сатоми меня тоже просил...

— А что, если вам на ней жениться?

— Мне? Я с удовольствием, но, к несчастью, она не очень-то меня жалует.

— Почему?

— Посмеивается надо мной, говорит: «Вы, Харагути-сан, с таким энтузиазмом собирались в Европу, грозились сидеть там безвыходно дома, даже сушеным тунцом запаслись, а как только очутились в Париже, сразу забыли о своих благих намерениях». И ничего ей на это не скажешь. Это ей, наверно, все братец наговорил.

— Такая девушка должна сама выбрать себе мужа. Советовать ей бесполезно. Пусть лучше не выходит замуж, пока не найдет человека по сердцу.

¹ Китагава Утамаро (1753—1806) — японский художник, известный написанными в особой манере женскими портретами.

— Совсем как в Европе. Впрочем, все девушки скоро будут так поступать, и ничего тут нет плохого.

После этого разговор снова перешел на живопись и продолжался довольно долго. Хирота немало удивил Сансиро своим знанием имен европейских художников. Когда, собираясь уходить, Сансиро надевал свои гэта у входа, Хирота подошел к лестнице и крикнул: «Эй, Сасаки, сойди вниз на минутку!»

Погода стояла холодная. Ясное, без единого облачка, небо казалось удивительно высоким. Однако на траве почему-то лежала роса. Кимоно было таким холодным, что от прикосновения к нему зябли руки. Петляя по глухим улочкам, Сансиро вдруг наткнулся на уличного гадальщика с большим круглым фонарем, бросавшим ярко-красный свет на его ноги. Как ни хотелось Сансиро, он не отважился купить билетик с предсказанием судьбы и, прижавшись к криптомериевой изгороди, уступил гадальщику дорогу. Пройдя еще немного, он пересек неосвещенное пространство и очутился на улице Оивакэ. В небольшой закусочной на углу торговали гречневой лапшой. Сансиро решительно приподнял бамбуковую занавеску и вошел: ему захотелось выпить чашечку сакэ.

В закусочной сидели трое учащихся колледжа. Они беседовали о том, что многие преподаватели нынче полдничают гречневой лапшой. И теперь, как только пушка возвестит полдень, разносчики из закусочных устремляются к колледжу, нагруженные судками и кастрюльками. Торговцам от этого прямая прибыль. Об одном преподавателе было сказано, что он даже летом ест горячую лапшу. С чего бы это? Видно, желудок у него не в порядке, высказал предположение один из учащихся. О чем только они не говорили! Об учителях большей частью отзывались неуважительно. Заговорили о Хироте-сан, почему он холостяк. Один из молодых людей сообщил, что видел у профессора картину с изображением нагой женщины, значит, ненависти к слабому полу он, вероятно, не питает. Впрочем, там изображена европейка, а это в счет не идет. Может быть, он не любит японок? Или у него была несчастная любовь? Неужели это сделало его таким чужаком? А правда, что к нему ходит молодая красавица?

Прислушиваясь к их разговору, Сансиро все больше утверждался во мнении, что Хирота-сэнсэй — человек выдающийся. Почему он стал выдающимся, Сансиро представлял себе весьма смутно, но что все трое собеседников читали статью Ёдзиро «Невзошедшее светило», тут сомнений быть не могло. И в самом деле, один из них заявил, что после этой статьи сразу полюбил Хироту-сан. Потом молодые люди стали цитировать афоризмы из статьи Ёдзиро, расхваливая при этом на все лады автора. Кто же это такой — Рэй Ёси? В конце концов

единодушно решили, что статью писал человек, хорошо знающий Хироту-сан.

Сансиро сидел неподалеку от молодых людей и про себя восхищался справедливостью их суждений. Молодец Ёдзиро! Он очень гордился тем, что его статью напечатал журнал «Бунгэй дзихё», хотя, по его же словам, журнал этот не пользовался особой популярностью. До сих пор Сансиро считал, что эта статья в большей мере польстила самолюбию Ёдзиро, чем принесла какую-нибудь пользу. Но сейчас он убедился в том, как велика сила печатного слова. Не зря Ёдзиро говорил, что гораздо хуже молчать. Вдруг Сансиро пришло в голову, какая огромная ответственность лежит на том, кто берется за перо. От него зависит репутация человека. При этой мысли Сансиро стало не по себе.

По дороге домой весь хмель у него выветрился и на душе опять стало тоскливо. Сансиро сел за стол, рассеянно глядя перед собой. Служанка принесла чайник с кипятком и письмо. Сансиро очень обрадовался, увидев почерк матери, и тотчас распечатал конверт.

Письмо было пространное, но ничего особенного мать не сообщала, даже О-Мицу-сан ни разу не упомянула, за что Сансиро был ей очень благодарен. Правда, в письме содержался один странный совет.

«К несчастью, — писала мать, — ты с детства робкий и нерешительный. Такие всегда в убытке, а на экзаменах уж и не знаю, как им трудно! Вот, к примеру, Окицу Така-сан, до чего способный к наукам, преподает в средней школе, а как идет на экзамен, чтоб прибавку получить, дрожит весь, толком ничего сказать не может — так ему, бедняге, до сих пор и не повысили жалованья. Говорят, он приятеля своего попросил, бакалавра медицины, что ли, приготовить ему пилюли, чтоб дрожь унять, принял лекарство перед экзаменом — все равно не помогло. Ты, конечно, не дрожишь, но все же сходи к доктору, пусть даст лекарство для смелости».

Что за чепуха, подумал Сансиро. Но эта чепуха явилась для него великим утешением. Какая добрая у него мать! В этот вечер Сансиро чуть не до часу ночи писал письмо и между прочим упомянул о том, что в Токио ничего интересного нет.

8

Как-то дождливым вечером, часов в девять, к Сансиро вдруг явился Ёдзиро и сказал, что он в крайне затруднительном положении. Вид у него и в самом деле был скверный, даже нездоровый. Сансиро подумал, что он просто вымок под холодным осенним дождем, но когда Ёдзиро сел, понял, что тот чем-то расстроен. Странно было видеть Ёдзиро таким уны-

лым. На вопрос Сансиро: «Что-нибудьстряслось?» — Ёдзиро ответил, заморгав круглыми, как у оленя, глазами:

— Понимаешь, деньги потерял. Хоть в петлю лезь!

Ёдзиро нервно курил, выпуская из носа дым струйку за струйкой. Сансиро стал расспрашивать, что за деньги, где потерял. Ёдзиро помолчал, а потом стал все подробно рассказывать.

Потерял он чужие двадцать иен. В прошлом году у Хироты-сэнсэя не хватило денег, чтобы внести задаток за дом, который он собирался снять, и недостающую сумму — трехмесячную плату — он попросил займы у Нономии. Нономия-сан дал ему деньги, присланные отцом из деревни на покупку скрипки для Ёсико. Нономия, конечно, мог бы и подождать с долгом, но тогда неизвестно, сколько времени Ёсико будет без скрипки. Ведь скрипку ей так и не купили, потому что Хирота-сэнсэй никак не мог вернуть долг, из жалованья не выкроишь, а подработать — не такой он человек. Но совсем недавно он получил наконец шестьдесят иен за то, что летом проверял экзаменационные работы абитуриентов колледжа. И тотчас передал нужную сумму Ёдзиро, попросив вернуть Нономии долг.

— Эти деньги я и потерял, — сказал Ёдзиро, — так что вдвойне стыдно. — Вид у него и в самом деле был очень смущенный.

— Где ж ты их потерял? — спросил Сансиро.

— Не потерял! — воскликнул Ёдзиро. — На скачках проиграл.

Сансиро опешил, так все это было нелепо, — он даже не стал упрекать друга. Ёдзиро и без того был подавлен. Его словно подменили. От прежней жизнерадостности не осталось и следа. Сансиро было жаль приятеля, и в то же время ему стало смешно. Он рассмеялся. Вслед за ним рассмеялся и Ёдзиро.

— Ладно, — сказал он, — как-нибудь выкручусь.

— Профессор еще не знает?

— Пока нет.

— А Нономия-сан?

— Разумеется, нет.

— Ты когда взял эти деньги?

— В начале месяца, сегодня ровно две недели.

— А на скачках когда был?

— На другой день, после того как получил деньги.

— И до сих пор ничего не предпринимал?

— Да нет, как же, бегал, хлопотал, но ничего не вышло. Теперь придется ждать до конца месяца.

— На что-нибудь рассчитываешь?

— Может, получу в «Бунгэй дзихё».

Сансиро выдвинул ящик стола, взял письмо, которое накануне получил от матери, и сказал:

— Я дам тебе денег, в этом месяце мне раньше прислали.

Ёдзиро сразу приободрился и сказал уже своим обычным насмешливым тоном:

— Спасибо тебе, дорогой Огава-кун.

В одиннадцатом часу, несмотря на дождь, они отправились в закусочную, ту самую, где подают лапшу из гречневой муки. Именно в тот вечер Сансиро почувствовал вкус к сакэ. Они весело провели время. Платил Ёдзиро. Не в его правилах было угощаться на чужой счет.

Шло время, а Ёдзиро все не возвращал денег. Сансиро, человек честный и аккуратный, беспокоился, что ему нечем будет уплатить за квартиру. Правда, хозяйка его не торопила, но незаметно подошел конец месяца, оставалось всего каких-нибудь два дня. Просить об отсрочке Сансиро в голову не приходило. Он хотя и не был до конца уверен, что Ёдзиро в ближайшее время отдаст деньги, но все же надеялся, что из дружеского расположения он раздобудет эти двадцать иен и не подведет Сансиро. Хирота-сэнсэй как-то сказал, что Ёдзиро мечется по жизни, словно мелкая речушка меж камней, — чувство долга ему неведомо. Но, может быть, это не так?

Выглянув на улицу из окна второго этажа, Сансиро вдруг заметил быстро шагнувшего Ёдзиро.

— Эй, ты дома? — крикнул Ёдзиро, задрал голову.

— А г а , — ответил Сансиро и отошел от окна. Ёдзиро взбежал вверх по лестнице.

— Небось ждешь, беспокоишься, за квартиру платить надо, я ведь тебя знаю, вот и бегал, чтобы раздобыть денег.

— Получил гонорар в «Бунгэй дзихё»?

— Гонорар? Гонорар я давно получил.

— Ты же сам на днях сказал, что получишь в конце месяца.

— Неужели? Ты, наверно, не так понял. Мне там ни гроша не причитается.

— Забавно! Но ты именно так говорил.

— Да нет, я сказал, что возьму у них аванс. А они не дают ни в какую! Боятся, что пропадет. Вот наглость! Какие-то двадцать иен. А ведь я для них написал «Невзошедшее светило». Просто противно.

— Значит, не достал денег?

— Достал, только в другом месте. Не хотел тебя подводить.

— Вот как? Тогда извини, что заставил тебя хлопотать.

— Правда, есть тут одна закавыка. Деньги-то не у меня. Придется тебе самому идти за ними.

— Куда же это?

— Понимаешь, из «Бунгэй дзихё» я зашел к Харагути, потом еще к кое-кому, у всех пусто в кармане — конец месяца. Тогда я отправился к Сатоми. Кстати, ты его знаешь? Кёскэ Сатоми, бакалавр права. Брат Минэко-сан. Прихожу,

а его дома нет, опять не повезло. Тут есть захотелось — нет сил терпеть, и я решил поговорить с Минэко-сан.

— А сестры Нономии-сан не было дома?

— Разумеется, нет, она в это время как раз на занятиях. А будь она дома, все равно не помешала бы — разговор происходил в гостиной.

— А-а...

— Минэко-сан выслушала меня и сказала, что с удовольствием поможет...

— У нее есть собственные деньги?

— Откуда мне знать? Впрочем, это не имеет никакого значения. Раз она взялась помочь, значит, все в порядке. Удивительная девушка! Совсем молоденькая, а будто старшая сестра. Не беспокойся. На нее можно положиться. Но представь, под конец разговора она меня просто ошарашила, сказала, что денег в руки мне не даст. «Выходит, вы мне совсем не доверяете?» — спрашиваю. «Не доверяю», — отвечает и смеется. «Возмутительно! Может, послать к вам Огаву?» — «Да, — изволила она сказать, — я их вручу Огаве-сан. Пусть распорядится по собственному усмотрению». Ну что, пойдешь?

— Придется, иначе надо будет телеграфировать домой.

— Телеграфировать? Это ты брось. Глупо! Сходи, ничего с тобой не случится.

— Могу и пойти.

Как только вопрос с деньгами был улажен, Ёдзиро заговорил о Хироте. Он сообщил, что дела идут успешно. Каждую свободную минуту он использует для того, чтобы беседовать с людьми, причем с каждым в отдельности. Когда разговариваешь сразу со многими, каждый стремится к самоутверждению, и мнения часто расходятся. Попробуй кого-нибудь ущемить, он сразу устранился. Так что надо говорить с каждым в отдельности. Знаешь, сколько уходит времени! Да и денег тоже. Если из-за всего переживать, толку не добьешься. Имя Хироты-сэнсэя я стараюсь упоминать как можно реже, ведь, если узнают, что я забочусь о нем одном, все пойдет прахом.

В общем, дело близится к успешному завершению. Все сошлись на том, что обходиться одними европейцами нельзя, непременно надо пригласить в университет японца. Теперь остается еще раз собраться, избрать комитет и послать представителей к декану или ректору, чтобы изложили пожелания студентов. Это собрание — чистейшая формальность, можно было бы и без него обойтись. Уже сейчас известно, кто войдет в комитет. Все они одинаково хорошо относятся к Хироте, и, если переговоры пойдут успешно, можно будет назвать имя сэнсэя...

Послушать Ёдзиро, так можно было подумать, словно именно ему суждено спасти мир. Сансиро был восхищен его талантами. Не преминул Ёдзиро рассказать и о том, как случилось, что недавно вечером он привел к Хироте художника

Харагути. Причем, расписывая это, Ёдзиро не поскупился на краски.

— Помнишь, Харагути-сан пригласил сэнсэя к себе на встречу литераторов и художников?

Сансиро, конечно, помнил. Инициатором этой встречи, как следовало понимать из слов Ёдзиро, был, разумеется, он. Зачем она понадобилась? Тут много соображений. Главное — то, что один из ее участников весьма влиятельный профессор с филологического. Ведь наш сэнсэй — чудак, ни с кем не общается, а эта встреча для него — прекрасный случай.

— Так вот зачем ты приводил Харагути! А мне и в голову не пришло. Значит, ты инициатор этой встречи? Но придут ли такие именитые люди, если приглашения будут разосланы от твоего имени?

Ёдзиро некоторое время задумчиво смотрел на Сансиро, потом печально усмехнулся и отвел глаза:

— Не болтай глупостей. Я ведь инициатор, так сказать, неофициальный. Просто, мне принадлежит идея. Короче говоря, я дал Харагути-сан совет, а уж он сам все организует.

— Ах, вон оно что!

— «Вон оно что» говорят только в провинции. Кстати, можешь тоже прийти. Встреча скоро состоится.

— Не пойду! Ведь там будут одни знаменитости.

— Знаменитости! Нет, ты все же провинциал. Знаменитости от незначительностей отличаются лишь тем, что сумели первыми заявить о себе в обществе. Все эти доктора наук, бакалавры, словом, как бы они ни назывались, ничего особенного собой не представляют. Стоит лишь поговорить с ними, чтобы это понять. А прийти надо ради твоего же будущего.

— Где это будет?

— Вероятно, в Уэно, в Сэйёкэне.

— В таких местах я не бывал. Сколько надо внести?

— Иены две, пожалуй, да ты не беспокойся. Я заплачу, если не сможешь.

Сансиро сразу вспомнил о тех двадцати иенах. Но сейчас это не показалось ему смешным. Ёдзиро предложил зайти в какой-нибудь ресторанчик на Гиндзе, полакомиться жареной рыбой в тесте. Деньги есть, сказал он. Удивительный человек, этот Ёдзиро! Сансиро, обычно покладистый, на этот раз отказался. И они с Ёдзиро пошли прогуляться. На обратном пути зашли в кондитерскую, и Ёдзиро купил целую груду пирожков с бобовым джемом и каштанами. «Отнесу сэнсэю», — сказал он и, нагруженный кулками, ушел.

Весь вечер Сансиро думал о Ёдзиро. Может быть, он сам станет таким же, если будет долго жить в Токио? Потом он представил себе, как пойдет к Сатоми занимать деньги. Его радовала возможность встречи с Минэко, хотя просить займы не так уж приятно. Ни разу в жизни Сансиро не занимал денег, да еще у девушки. Девушка всегда от кого-нибудь зави-

сит, пусть даже и располагает средствами. Если он возьмет деньги так, чтобы ее брат не знал, могут быть неприятности, не только у него, но и у Минэко. Правда, Минэко не такая девушка, чтобы допустить неприятности, она, конечно, заранее все устроила. Во всяком случае, прежде всего надо с нею встретиться. Удобно будет — он попросит взаймы, неудобно — воздержится, напишет домой, чтоб прислали, и тогда уплатит за квартиру. Все и обойдется.

На этом Сансиро поставил точку и попробовал мысленно представить себе Минэко, ее лицо, шею, руки, кимоно, оби. Не один десяток вариантов предстоящей встречи нарисовал себе Сансиро — как отнесется девушка к его приходу, что скажет. Стоило ему договориться с кем-нибудь о встрече, ни о чем другом он уже думать не мог, все старался представить себе, как будет держаться партнер. Сам он к встрече никогда не готовился, о чем после жалел, поскольку имел обыкновение анализировать каждое свое слово, каждый поступок.

Как он будет держаться завтра с Минэко, этого он себе даже представить не мог. С некоторых пор Сансиро все чаще приходилось сомневаться в Минэко. Но что пользы от сомнений? До сих пор у него не было случая встретиться с девушкой с глазу на глаз и поговорить. С одного раза ничего не выяснишь. Но какая-то определенность необходима, иначе Сансиро не успокоится. Завтрашняя встреча даст ему, по крайней мере, возможность вынести самому себе приговор. Он увидит, как будет вести себя Минэко. Нынче вечером девушка не шла у него из головы. Но сколько он ни думал, картина получалась для него весьма благоприятная. Зато действительность была неумолима. Бывает же так, что на великолепно выполненной фотографии изображено что-либо малопривлекательное. Но фотография на то и фотография, чтобы точно воспроизводить реальность. И все же в подобных случаях сам снимок и то, что на нем изображено, являют собой дисгармонию.

Вдруг Сансиро осенила радостная мысль. Минэко не отдала Ёдзиро деньги, которые согласилась одолжить. Возможно, он и в самом деле не заслуживает доверия. Однако не исключено, что были на то еще другие причины. Именно они и внушают Сансиро надежду. Кроме того, сам факт, что Минэко согласилась одолжить деньги, говорит о ее добром к нему отношении. А ее желание вручить их ему лично... Тут Сансиро спохватился, что чересчур далеко зашел в своих мечтах, подумал: «А может, она посмеяться надо мной хочет?» — и почувствовал, что краснеет. Зачем бы ей понадобилось над ним насмехаться, на этот вопрос Сансиро вряд ли смог бы ответить или сказал бы, что она вообще насмешница. Он ни за что не воспринял бы ее насмешки как наказание, ведь она сама дала ему право быть самонадеянным.

На следующий день Сансиро повезло: не было послеобе-

денных занятий — не пришли преподаватели. Возвращаться домой ему не хотелось, и он отправился прямо к Минэко. По пути зашел подкрепиться. Сансиро не раз проходил мимо дома Минэко, но никогда у нее не был. На воротах под черепичным навесом висела табличка: «Сатоми Кёскэ». И, проходя мимо, Сансиро пытался представить себе, что за человек этот Сатоми Кёскэ — он ни разу его не видел...

Ворота оказались запертыми, и Сансиро вошел через калитку. От калитки до дома было ближе, чем он себе представлял. Сансиро пошел по дорожке, выложенной через неравные промежутки прямоугольниками гранита, которая привела его к красивой решетчатой двери. На звонок вышла служанка. «Минэко-сан дома?» — спросил Сансиро и сразу смутился оттого, что пришел в чужой дом да еще в гости к девушке. Служанка держалась почтительно и весьма строго. Она скрылась в глубине дома, но вскоре снова появилась и, вежливо кланяясь, сказала: «Пожалуйста». Сансиро последовал за служанкой и оказался в гостиной европейского типа, с тяжелыми занавесями на окнах, довольно мрачной.

— Будьте добры, подождите немного... — опять очень вежливо сказала служанка и ушла. Было тихо. Сансиро сел напротив небольшого камина, над которым висело продолговатое зеркало с подсвечниками по обеим сторонам. Немного посидев, Сансиро встал, погляделся в зеркало и опять сел.

Где-то в доме заиграла и смолкла скрипка. Словно ветер откуда-то принес ее звуки и тотчас унес. Сансиро испытал легкое разочарование — ему очень хотелось, чтобы поиграли еще немного, и, прислонившись к мягкой кожаной спинке кресла, он стал внимательно прислушиваться. Но через какую-то минуту Сансиро уже забыл о скрипке и принялся разглядывать зеркало с подсвечниками. Они еще больше подчеркивали европейский стиль комнаты. Снова зазвучала скрипка — несколько высоких, потом несколько низких нот, и снова смолкла. Сансиро был совершенно не знаком с европейской музыкой, но то, что он сейчас услышал, конечно, не было какой-то мелодией, даже частью ее. Просто небрежно провели смычком по струнам. Однако эти звуки удивительно гармонировали с настроением Сансиро. Как будто внезапно на него упали с неба несколько шальных градинок.

Сансиро, рассеянно смотревший в окно, перевел взгляд на зеркало и увидел там Минэко — она незаметно вошла в комнату. Служанка, оказывается, не закрыла дверь. Отодвинув портьеру, Минэко смотрела в зеркало на Сансиро и улыбалась.

— Рада видеть в а с , — услышал Сансиро у себя за спиной и, обернувшись, встретился с девушкой взглядом. Минэко слегка поклонилась, отчего волосы широкой волной упали ей на лоб. Это было дружеское, отнюдь не церемонное приветствие. Сансиро же привстал и отвесил ей низкий поклон. Ми-

нэко, будто не заметив этого, прошла к зеркалу и села напротив Сансиро.

— Наконец-то пожаловали, — сказала она все тем же приветливым тоном. На Минэко было нарядное атласное кимоно. Она, видимо, переодевалась и потому так долго не выходила в гостиную. Девушка молчала, но так и искрилась улыбкой, смеялись даже глаза. Весь облик Минэко вызывал в Сансиро сладкое томление. Под устремленным на него взглядом Сансиро заговорил с лихорадочной поспешностью:

— Сасаки...

— Он у вас был? — спросила Минэко, сверкнув своими ослепительно белыми зубами. Подсвечники по обеим сторонам зеркала как раз стояли у нее за спиной, на каминной доске. Впрочем, Сансиро сомневался, подсвечники ли это — такой они были удивительной формы. Сквозь плотные занавеси солнце, наверно, никогда не проникало в комнату. К тому же погода стояла пасмурная.

— Да, Сасаки был у меня, — ответил Сансиро на вопрос Минэко.

— Что же он вам сказал?

— Чтобы я пошел к вам.

— В самом деле? Только поэтому вы и пришли? — лукаво спросила Минэко.

— Да, — в замешательстве ответил Сансиро и добавил: — Да, именно поэтому.

Девушка согнала улыбку с лица, легким движением под-ялась со стула, подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— Пасмурный день. Наверно, холодно?

— Нет, удивительно тепло. И безветренно.

— В самом деле? — Минэко вернулась на прежнее место.

— Сасаки говорил... деньги... — начал Сансиро.

— Я знаю, — прервала его Минэко. — Как же это они потелись?

— Их проиграли на скачках.

— Угораздило же, — сказала Минэко, однако лицо ее не выразило ни малейшего возмущения. Напротив, на нем играла улыбка. Немного помолчав, Минэко сказала: — Какие нехорошие люди!

Сансиро промолчал.

— Угадать на скачках еще труднее, чем прочесть в чужом сердце. Но вы с вашей беспечностью не пытаетесь даже прочесть в таком сердце, которое перед вами словно на ладони.

— Так ведь не я покупал билеты на скачки.

— Не вы? Кто же тогда?

— Сасаки.

Девушка неожиданно рассмеялась. Сансиро тоже стало смешно.

— Выходит, деньги нужны не вам. Забавно!

— Нужны-то они как раз мне!
— В самом деле?
— Ну да!
— Странно!
— Могу и не занимать!
— Отчего же? Вам это неприятно?
— Да нет, просто нехорошо брать деньги без ведома вашего брата.

— Почему же без ведома? Брат знает.

— Знает? Тогда можно... Впрочем, не надо. Я напишу домой, и мне пришлют примерно через неделю.

— Ну, если вас это тяготит... Принуждать... — уже другим, холодным тоном произнесла Минэко. Сансиро показалось, будто между ними легла пропасть. Напрасно он отказался от денег. Но теперь уже поздно жалеть. Минэко с отсутствующим видом рассматривала подсвечники. Сансиро не знал, как заглядывать неловкость. Девушка продолжала держаться отчужденно. Потом подошла к окну и спросила:

— Дождя, пожалуй, не будет, как по-вашему?

— Пожалуй, не будет, — в тон ей ответил Сансиро.

— В таком случае, я выйду прогуляться, — сказала девушка. Но для Сансиро эти слова прозвучали как «вы можете идти». Значит, не для него надела она свое сверкающее кимоно. Сансиро поднялся.

— Ну, я пойду.

Минэко проводила его до прихожей и, когда он надевал ботинки, сказала:

— Я провожу вас немного. Не возражаете?

— Как вам угодно, — ответил Сансиро, завязывая шнурки. Девушка подошла и шепнула ему на ухо:

— Вы рассердились?

Тут прибежала служанка проводить гостя.

С полквартала Сансиро и Минэко шли молча. Сансиро перебирал в памяти все, что говорила ему Минэко. Она избалована, думал Сансиро, независима, не то что другие женщины, и делает все, что ей заблагорассудится. Вот и сейчас вышла с ним погулять, ни у кого не спросившись. Родителей нету, а брат по молодости лет считает, что девушка должна пользоваться полной свободой. В деревне ей бы туго пришлось. Что она, интересно, сказала бы, доведись ей жить, как живет, к примеру, О-Мицу-сан? В Токио люди не связаны условностями, как в провинции, и женщины тоже ведут себя свободнее, хотя по сравнению с Минэко все равно кажутся несколько старомодными. Так что Ёдзиро прав. Минэко будто и в самом деле пренебрегает условностями, как ибсеновские героини. Но каковы ее истинные убеждения, этого Сансиро сказать не мог.

Молодые люди шли рядом. Прежде, чем выйти на улицу Хонго, словно по молчаливому уговору, трижды сворачивали

в переулки и все время двигались в одном направлении. На углу четвертого квартала Минэко наконец спросила:

— Вы куда идете?

— А вы?

Они посмотрели друг на друга. Сансиро был очень серьезен. Минэко же не стерпела и улыбнулась, опять показав свои ослепительно белые зубы.

— Пойдемте вместе!

Они свернули за угол, пошли в сторону железнодорожного полотна и шагов через тридцать оказались возле большого европейского здания. Минэко остановилась, вытащила из-за obi чековую книжку и печатку и обратилась к Сансиро:

— Могу ли я попросить вас кое о чем?

— О чем же?

— Получите, пожалуйста, для меня деньги.

Сансиро взял книжку. Посередине было написано: «Текущий счет в банке Когути», а чуть сбоку: «Госпожа Сатоми Минэко». С чековой книжкой и печаткой в руке Сансиро стоял и смотрел на Минэко.

— Тридцать и е н . — Девушка назвала сумму таким тоном, словно обращалась к человеку, привыкшему ежедневно получать в банке деньги. Хорошо еще, что Сансиро, когда жил в провинции, не раз ездил в город Тоёцу получать деньги по чековой книжке. Поднявшись по каменным ступенькам, Сансиро толкнул дверь и вошел в банк. Отдал служащему книжечку и печатку, получил нужную сумму и вернулся к Минэко, которая ждала его поодаль, пройдя десяток шагов в сторону железнодорожной выемки. Сансиро полез было в карман, чтобы отдать Минэко деньги, но она вдруг спросила:

— Вы были на выставке Тансэйкай?¹

— Нет еще.

— У меня есть два пригласительных билета, но все недосуг ходить. Пойдемте сейчас?

— Пойдемте.

— А то выставка скоро закроется и мне будет неловко перед Харагути-сан.

— Это он прислал вам билеты?

— Да. А вы его знаете?

— Видел как-то у профессора Хироты.

— Интересный человек, правда? Сказал, что учится играть на народных инструментах.

— В тот раз он говорил о цудзуми. Потом...

— Потом?..

— Потом, кажется, сказал, что собирается писать ваш портрет. Это верно?

— Да, я ведь первоклассная модель!

Не будучи остроумным, Сансиро не нашелся что ответить,

¹ Т а н с э й к а й — название общества художников.

чем несколько разочаровал Минэко, которой очень хотелось услышать, что он на это скажет.

Сансиро вытащил из кармана чековую книжку и печатку и отдал девушке.

— А деньги? — спросила Минэко. Сансиро думал, что деньги он вложил в чековую книжку, но их там не оказалось. Он снова пошарил в кармане, вынул потрепанные ассигнации и протянул Минэко. Но девушка не взяла их.

— Прошу вас, оставьте у себя, — сказала она. Сансиро было заколебался, но спорить он не любил, тем более на улице, и, кладя деньги в карман, подумал: «Удивительная девушка!»

По улице шли студенты. Все они с любопытством смотрели на Сансиро и Минэко. Некоторые, пройдя мимо, даже оглядывались. Дорога до выставочного зала показалась Сансиро очень длинной. И все же у него не было ни малейшего желания сесть на трамвай. Шли они медленно, и лишь около трех часов подошли к выставочному залу. Афиша необычной формы, иероглифы «Гансэйкай», обрамлявшая их виньетка — все поразило Сансиро своей новизной. Новизной в том смысле, что ничего подобного в Кумамото он не видел. Скорее, это выглядело причудливо. В самом зале все было еще непривычнее. Сансиро мало смыслил в живописи. Единственное, что он мог, это отличить масло от акварели.

И все же одни картины ему нравились, он охотно купил бы какую-нибудь, другие — нет. Однако мнения своего не высказывал, чтобы не попасть впросак.

«Нравится вам эта картина?» — спрашивала Минэко. «Да как вам сказать...» — отвечал Сансиро. «Не правда ли, это интересно?» — говорила девушка. «Пожалуй», — отвечал Сансиро. В общем, разговор не клеился. То ли Сансиро недалеко и не умеет поддерживать беседу, то ли просто не желает ее вести. Хорошо, если он молчит из скромности и не корчит из себя знатока. Но может быть, он просто не снисходит до разговора с Минэко?

Часть стены занимали картины брата и сестры, долгое время путешествовавших за границей. Перед одной из них Минэко остановилась.

— Не правда ли, это Венеция?

Пожалуй, и в самом деле Венеция. Это было понятно и Сансиро. Хорошо бы поплыть вот в такой гондоле. О гондоле Сансиро слышал еще в бытность свою в колледже. Ему понравилось это слово, он даже запомнил, как оно пишется. В его представлении гондола была создана для любовных прогулок. Он молча разглядывал голубую воду, отражавшиеся в ней высокие дома и еще какие-то красные пятна. Вдруг Минэко сказала:

— Мне больше нравятся картины брата.

— Брата?

— По-моему, эту картину написал брат, разве не так?

— Чей?

Минэко удивленно взглянула на Сансиро.

— Ну как же, вон ту картину написала сестра, а эту — брат. Разве вы не видите?

Сансиро обернулся. Картин с видами зарубежных стран, мимо которых они только что прошли, было много.

— Разве их писал не один художник? — спросил Сансиро.

— А вы думали один?

— Да, — растерянно ответил Сансиро. Потом посмотрел на Минэко, Минэко — на него, и оба рассмеялись.

— Ну, знаете... — сказала Минэко, нарочно округлив глаза и понизив голос. Легко ступая, она пошла дальше, а Сансиро продолжал стоять, рассматривая виды Венеции. Увлеченный, он не заметил, что девушка остановилась и внимательно его разглядывает. Вдруг кто-то ее окликнул:

— Сатоми-сан!

Минэко и Сансиро обернулись. Неподдалеку от двери с табличкой «Канцелярия» стоял Харагути. За спиной у него во весь свой рост возвышался Нономия. Минэко мельком посмотрела на Харагути и перевела взгляд на Нономию. Потом подошла к Сансиро, чуть-чуть, чтобы никто не заметил, наклонилась к нему и что-то прошептала. Сансиро не расслышал и хотел переспросить, но Минэко отошла от него и уже здоровалась с Харагути и Нономией.

— Замечательную спутницу вы себе избрали для выставок и, — сказал Нономия Сансиро.

— А мы хорошая пара, правда? — опережая Сансиро, ответила Минэко. Нономия ничего не сказал и стал смотреть на портрет величиной с татами. Портрет был сплошь написан темными красками, без единого просвета, так что одежда и головной убор сливались с фоном. Только лицо белело, худое, изможденное, с впалыми щеками.

— Копия? — спросил Нономия у Харагути, который оживленно рассказывал Минэко:

— Выставка скоро закрывается. Посетителей становится все меньше. Первое время я каждый день заходил в канцелярию, а теперь лишь изредка заглядываю. Как раз нынче пришел по делу и затащил сюда Нономию-сан. Кстати, и вас встретил, просто повезло! Сразу же после закрытия надо будет приступить к подготовке выставки будущего года, так что дел по горло. Выставку откроем несколько раньше обычного — до того, как начнет цвести сакура. Так удобнее для членов общества. Словом, выставка будет следовать за выставкой. Работы уйма. Я еще намерен во что бы то ни стало написать ваш портрет. Готов рисовать вас даже тридцать первого декабря, разумеется, если вы позволите. И выставлю ваш портрет здесь.

Лишь после этой тирады Харагути повернулся к картине,

о которой его спросил Нономия, все время рассеянно ее созерцавший.

— Что скажете о Веласкесе? Правда, это копия. К тому же не очень удачная, — объяснил Харагути. Для Нономии этого было вполне достаточно, и он ни о чем больше не спрашивал.

— А кто делал копию? — спросила Минэко.

— Мицуи. Обычно у него хорошо получается. Но эта его работа восторга не вызывает. — Харагути встал поодаль от картины и добавил: — Копировать гениального художника не так-то просто.

Сансиро с любопытством смотрел на Харагути, который, склонив голову набок, разглядывал картину.

— Все посмотрели? — спросил художник у Минэко. Он все время обращался к ней одной.

— Нет еще.

— А что, если отправиться сейчас в Сэйёкэн? Угощу вас чаем. Мне все равно надо туда по делу... Хочу посоветоваться с менеджером насчет выставки. Мы с ним приятели... Сейчас самое время выпить чаю. Потом будет ни то ни се — для чая поздно, для обеда — рано. Ну как? Пойдемте?

Минэко взглянула на Сансиро. Вид у него был совершенно безразличный. Нономия тоже стоял, не вмешиваясь в разговор.

— Раз уж пришли, надо все посмотреть. Верно, Огавасан? — спросила Минэко.

— Верно, — ответил Сансиро.

— Тогда сделаем так. Посмотрите последние работы Фуками-сан, они в том зале, в глубине. А потом приходите в Сэйёкэн. Я буду ждать вас там.

— Спасибо.

— Только помните: у Фуками-сан акварели особые. В них важен не столько сам рисунок, сколько настроение. И если смотреть именно с этой точки зрения, можно обнаружить весьма интересные вещи.

Минэко поблагодарила Харагути и, когда они вместе с Нономией ушли, проводила их взглядом.

В зале со скудным освещением, куда пришли Минэко и Сансиро, одну из стен занимали последние работы художника Фуками. Почти одни акварели, как и говорил Харагути. Особенно понравились Сансиро тона акварелей, сдержанные, небогатые контрастами, довольно однообразные, настолько бледные, что хотелось выставить их на солнце, чтобы немного оживить. Зато чувствовалось, что кисть художника ни на секунду не отрывалась от холста, словно написанного одним дыханием, что художник чужд условностей в живописи. Люди у него были как бы вытянуты в длину, с маленькой головой и очень напоминали молотильный цеп. Была и в этом зале картина с изображением Венеции.

— Опять Венеция, — сказала Минэко.

— Да, — отозвался Сансиро и тут же спросил: — Что вы мне давеча сказали?

— Когда?

— Когда я разглядывал Венецию в том зале. Я не расслышал.

Девушка ничего не ответила, лишь улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами.

— Если ничего важного, можете не говорить.

— Нет, ничего важного.

Сансиро как-то странно смотрел на Минэко. Был уже пятый час, и в зале стало сумрачно, тем более что погода стояла пасмурная. Посетители почти все разошлись, и Минэко с Сансиро были одни в зале. Девушка подошла к Сансиро.

— Видите ли... Нономия-сан...

— Что Нономия-сан?

— Надеюсь, вы понимаете.

Сансиро словно захлестнуло волной, грудь стеснило, и он спросил:

— Вы посмеялись над Нономией-сан?

— Посмеялась? — с самым невинным видом произнесла Минэко. Сансиро сразу сник, потеряв всякую охоту продолжать разговор, и медленно пошел вперед. Минэко последовала за ним.

— Я и над вами не собиралась смеяться, — сказала она. Сансиро остановился и смерил девушку взглядом:

— Ладно.

— Что же я сделала плохого?

— Я и говорю, что все хорошо.

Девушка отвернулась. В дверях они коснулись друг друга плечом, и Сансиро почему-то вспомнил женщину, с которой ехал в поезде. Это мимолетное прикосновение отозвалось в нем сладкой болью.

— Все хорошо? Вы правду говорите? — тихо спросила Минэко. Навстречу им шли несколько посетителей.

— Как бы то ни было, давайте уйдем отсюда, — сказал Сансиро. На улице шел дождь.

— Вы сейчас в Сэйкэн?

Минэко молчала, стоя под дождем посреди широкой, поросшей травой площадки перед музеем. Оглядевшись, Минэко указала рукой на рощицу напротив.

— Пойдемте туда, переждем дождь.

Похоже было, что дождь и в самом деле скоро прекратится. Они укрылись под большой криптомерией. Дерево слабо защищало от дождя. Но, промокшие и озябшие, они продолжали стоять.

— Огава-сан... — проговорила девушка. Сансиро, созерцавший все время небо, сдвинув брови, повернулся к Минэко. — Вы обиделись?

— Оставим этот разговор.

— Однако... — Минэко приблизилась к нему. — Мне захотелось так поступить, сама не знаю почему, но я не собиралась оскорблять Нономию-сан.

Девушка как-то по-особенному смотрела на Сансиро, и глаза ее, казалось, говорили: «Разве не для вас я это сделала?»

— Прошу вас, оставим это, — повторил Сансиро.

Дождь усилился. Сухим оставался лишь совсем крохотный кусочек пространства. И Сансиро с Минэко стояли так близко, что почти касались друг друга.

— Пожалуйста, расходуйте те деньги, — услышал Сансиро сквозь шум дождя.

— Возьму в долг. Столько, сколько нужно.

— Все расходуйте, пожалуйста!

9

Сансиро в конце концов сдался на уговоры Ёдзиро и, облачившись в черное шелковое хаори¹, отправился на обед в Сэйёкэн. Это хаори, писала мать, сшила О-Мицу-сан, а ткань соткала ее мать, выкрасила в черный цвет и украсила белыми гербами. Сансиро тут же его примерил, но оно ему не понравилось, и он сунул его в шкаф. Ёдзиро сказал, что это грешно, и пригрозил отобрать хаори и носить, если Сансиро будет упорствовать. Сансиро и тут уступил. Надел, и оказалось совсем неплохо.

И вот Сансиро в своем черном шелковом хаори вместе с Ёдзиро стоял в вестибюле Сэйёкэна. Ёдзиро объяснил, что именно так надо встречать людей уважаемых. Сансиро этого не знал, к тому же самого себя тоже считал человеком уважаемым. Но уж если ему действительно положено встречать гостей, то, во всяком случае, не в этом хаори из грубого доматканого шелка. Лучше бы он надел форму. Приглашенные между тем постепенно собирались. Каждого, кто входил, Ёдзиро останавливал и перебрасывался с ним несколькими словами, будто со старым знакомым. Сдав служителю шляпы и пальто, гости направлялись в слабоосвещенный коридор несколько в стороне от широкой лестницы, и тогда Ёдзиро подробно объяснял Сансиро, кто такой и что собой представляет тот или иной приглашенный. Так что теперь Сансиро знал в лицо многих именитых людей.

Гости почти все собрались. Среди тридцати приглашенных были Хирота и Нономия. Нономия, хотя и занимался естест-

¹ Хаори — длинный жакет (кофта, накидка) японского покроя, принадлежность выходного или народного мужского и женского костюма.

венными науками, очень любил живопись и литературу, поэтому, по словам Ёдзиро, Харагути и притащил его сюда. Харагути, разумеется, пришел первым, хлопотал, распорядился, расточал улыбки, тербил свою французскую бородку, словом, занят был до чрезвычайности.

Когда рассаживались, каждый выбрал себе место по желанию, без лишних споров и церемоний. Даже Хирота, уж на что медлительный, и то сел одним из первых. Ёдзиро и Сансиро заняли места у входа.

Между Нономией и Хиротой сидел критик в полосатом хаори. Напротив них — доктор наук по имени Сёдзи. Тот самый профессор, о котором Ёдзиро говорил, что он наиболее влиятельное лицо на филологическом факультете. Держался он весьма солидно, носил сюртук, отрастил длинные волосы, которые в сиянии электрических ламп сверкали темными волнами. Его голова являла полный контраст коротко остриженной голове Хироты. Харагути сидел довольно далеко от них, в углу, напротив Сансиро. Под отложным воротником у него был повязан черный шелковый бант, широкими концами прикрывавший грудь. Ёдзиро сказал, что во Франции все художники носят такие банты. А Сансиро ел бульон и думал, что точно таким же бантом завязывают пояс кимоно. Разговор за столом становился все оживленнее. Однако Ёдзиро не болтал, как обычно, он пил пиво и больше молчал, видимо, стеснялся, что было ему совершенно несвойственно.

— Не произнести ли тебе *de te fabula*? — тихонько сказал Сансиро.

— Здесь не место, — ответил Ёдзиро, отвернулся от Сансиро и заговорил с соседом.

— С удовольствием прочел вашу статью, — сказал Ёдзиро, — и извлек для себя немалую пользу.

Это выражение признательности в устах Ёдзиро поразило Сансиро. Не Ёдзиро ли нещадно поносил эту же статью в разговоре с ним? Тут Ёдзиро снова повернулся к Сансиро.

— Твое хаори просто великолепно! И весьма к лицу тебе. — Он с особым вниманием разглядывал белые фамильные гербы. В это время Харагути, обладавший громким от природы голосом, заговорил с Нономией, сидевшим от него довольно далеко. Хирота с доктором наук прервали разговор. Остальные тоже замолчали. Все внимание теперь было сосредоточено на Харагути и Нономии.

— Вы уже закончили свои опыты с давлением светового луча? — спросил Харагути.

— До конца еще очень далеко, — ответил Нономия.

— Хлопотная это, видно, штука. Требуется еще больше упорства и терпения, чем наша профессия.

— Картину можно написать сразу, по вдохновению, а для физических опытов одного вдохновения мало.

— Для живописи тоже. Этим летом мне довелось услышать

разговор двух старушек. Они обсуждали вопрос о том, кончился ли уже сезон дождей. Одна из них недовольно проворчала: «Вот в старину, бывало, прогремит гром, считай, что сезон дождей кончился, а сейчас все переменялось». — «Что вы, что в вы, — отвечает ей другая, — гром еще ничего не значит». Так вот я и говорю, что одним вдохновением картину сейчас не напишешь. Не знаю, как обстоит дело с романами. Может быть, вы, Тамура-сан, нам скажете?

Писатель Тамура, сидевший рядом с Харагути, ответил, что единственным источником вдохновения для него является требование издателей поскорее сдать рукопись. Все весело рассмеялись. Затем Тамура очень серьезно спросил Нономию, есть ли у светового луча давление и как это можно проверить.

— Из слюды или другого подобного ей материала изготавливают тонкие круглые пластинки величиной примерно с фишку в известной настольной игре, пластинки подвешивают на кристаллическую нить, помещают в вакуум, затем на их поверхность под прямым углом направляют свет дуговой лампы. Под давлением света пластинки приходят в движение.

Все с интересом слушали Нономию. Сансиро вспомнил, как сразу же по приезде в Токио пришел в лабораторию к Нономии и увидел подзорную трубу. «Вот, значит, какое сложное устройство было в той коробке из-под маринованных овощей!»

— Послушай, а разве бывает кристаллическая нить? — вполголоса спросил он у Ёдзио. Ёдзио мотнул головой. Тогда Сансиро обратился с тем же вопросом к Нономии.

— Бывает, — ответил Нономия. — Если кристаллический порошок расплавить пламенем газовой горелки и расплавленную массу растянуть, то образуется тонкая нить.

— Вот как? — сказал Сансиро и умолк. Тут в разговор вмешался сидевший рядом с Нономией критик в полосатом хаори:

— Мы, разумеется, полнейшие невежды в этой области, но расскажите, как вы это обнаружили?

— Подобные гипотезы существовали еще во времена Максвелла¹, но первым это экспериментально доказал Лебедев². Сейчас даже существует мнение, будто под давлением света хвост кометы, о которой вы все слышали, вместо того чтобы оказаться в сфере притяжения Солнца, неизменно отклоняется в противоположную сторону.

Критик был восхищен.

— Сама по себе гипотеза интересна, а главное, каковы масштабы!

— Дело не только в масштабах. Отраднo, что эта гипотеза никому не приносит вреда, — заметил Хирота.

¹ Джемс Максвелл (1831—1879) — английский физик.

² П. Н. Лебедев (1866—1912) — русский физик.

— И если она не подтвердится — никто не пострадает, — засмеялся Харагути.

— Пожалуй, подтвердится, — очень серьезно сказал Нономия. — Давление света пропорционально квадрату радиуса, а притяжение — радиусу в кубе. Поэтому, чем меньше предмет, тем слабее сила притяжения и тем сильнее давление светового луча. Допустим, что хвост кометы состоит из мельчайших частиц, тогда он неизбежно должен быть отброшен в противоположную Солнцу сторону.

— Вреда, разумеется, это не принесет, — не меняя тона, сказал Харагути, — только расчеты замучают. Так что есть тут свои плюсы и минусы.

На этом разговор прекратился, все с наслаждением принались за пиво.

— Физиков, пожалуй, не причислишь к натуралистической школе, — вдруг произнес Хирота. При словах «физики» и «натуралистическая школа» все насторожились.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Нономия.

— Судите сами, — стал объяснять Хирота. — Чтобы исследовать давление светового луча, недостаточно просто наблюдать природу. Это явление не лежит на поверхности. Поэтому необходимо специальное устройство, скажем, нить из кристаллов, или вакуум, или же слюдяная пластинка, чтобы это давление стало видимым. Верно? Вот почему я и говорю, что физиков к натуралистам не причислишь.

— И к романтикам тоже, — вставил Харагути.

— Именно к романтикам, — безапелляционно заявил Хирота. — Создать между предметом и направленным на него световым лучом такое соотношение, которого не сыщешь в природе, разве это не романтика?

— Но коль скоро уже существует такое соотношение и остается только наблюдать присущие световому лучу свойства, то все последующее — не что иное, как натурализм, не правда ли? — сказал Нономия.

— Я бы назвал физиков романтическими натуралистами, — заявил доктор филологических наук, сидевший наискосок от Нономии. — Есть в них что-то ибсеновское, верно?

— Да, в ибсеновских пьесах упоминаются примерно такие же устройства, как в лаборатории Нономии-кун, только весьма сомнительно, чтобы работающие возле них люди, подобно световым лучам, следовали законам природы, — вмешался в разговор критик в полосатом хаори.

Профессор Хирота поставил проблему несколько шире.

— Возможно, все это так, — сказал он, — но вот что, мне кажется, следует помнить, когда речь идет о человеке. В определенных условиях человек может и вправе действовать вразрез с установленными правилами. Но, как ни удивительно, человек, подобно световому лучу, следует механическим законам, отчего и возникают подчас самые нелепые заблужде-

ния. Хочешь кого-нибудь рассердить, а он смеется, хочешь рассмешить, а он сердится. Словом, все наоборот. И все же человек — это человек!

— Выходит, какой бы поступок ни совершил тот или иной человек в тех или иных условиях, все объясняется природой? — спросил писатель.

— Да, да, — откликнулся Хирота. — Каким бы мы ни изобразили человека, хоть один похожий на него непременно найдется. В самом деле, совершенно невозможно представить себе человека, совершившего нечеловеческий поступок. Просто зачастую не хватает мастерства изобразить истинного человека.

Писатель промолчал.

— Некоторые физики, собственно, тоже натуралисты, — снова заговорил доктор наука. — Галилей, например, обнаружил, что время качания маятника висючей лампы в храме всегда одинаково, независимо от его амплитуды; Ньютон открыл, что яблоко падает благодаря силе притяжения.

— Таких натуралистов и в литературе предостаточно, — сказал Нономия и обратился к Харагути. — Скажите, Харагути-сан, а в живописи тоже есть натуралистическое направление?

— Разумеется, есть. Существует некий Курбе¹. Страшная личность. *Verité vraie*². Ничего не признает, кроме фактов. Хорошо, что он не очень популярен, просто считается представителем одного из направлений. Вероятно, и в литературе есть свои Моро³ и Шаванны⁴, не так ли? — спросил он у писателя, сидящего рядом.

— Вероятно, — ответил писатель.

Речей в конце обеда никто не произносил, если не считать Харагути, который в пух и прах разругал статую на Кудане⁵. Он сказал, что от таких памятников один вред, куда приятнее смотреть на статую красивой гейши. От Ёдзиро Сансиро узнал, что Харагути терпеть не может ваятеля статуи на Кудане.

Уже взошла луна, когда Сансиро и Ёдзиро вышли на улицу. Ночь выдалась ясная и прохладная.

— Хотелось бы знать, — сказал Ёдзиро, — понравился ли Хирота-сэнсэй доктору Сёдзи.

— Думаю, что понравился, — ответил Сансиро.

Ёдзиро остановился около водоразборной колонки и стал

¹ Курбе Гюстав (1819—1877) — французский художник-реалист, участник Парижской коммуны.

² Сама истина (*франц.*).

³ Моро Гюстав (1826—1898) — французский художник.

⁴ Шаванн Пьер (1824—1898) — французский художник.

⁵ Речь идет о бронзовом памятнике видному деятелю буржуазной революции Мэйдзи Омуре Масудзиро, сооруженном на территории храма Ясукуни.

рассказывать, как нынешним летом обливался здесь водой, когда, изнывая от жары, вышел ночью прогуляться и, удирая от полицейского, взбежал на холм. Они постояли на Суриба-тияме, полюбовались луной.

На обратном пути Ёдзиро вдруг стал извиняться, что до сих пор не вернул Сансиро денег. Но Сансиро уже почти забыл об этом и извинений Ёдзиро не принял всерьез, тем более что не рассчитывал получить от него эти деньги. Ёдзиро, кстати, и не обещал их вернуть, а лишь пространно объяснил обстоятельства, мешающие ему сделать это. Сансиро не столько слушал, что говорит Ёдзиро, сколько следил за тем, как он говорит... Ёдзиро рассказывал об одном своем знакомом, который решил покончить с собой из-за несчастной любви, но не знал, как это сделать. Топиться в море, броситься в кратер вулкана, повеситься — все эти способы казались ему неподходящими. Тогда он купил пистолет, но, как только собрался пустить себе пулю в лоб, к нему зашел приятель просить займы. Денег не было, но приятель так умолял его выручить, что вместо денег пришлось отдать пистолет. Приятель заложил его в ломбард, а когда выкупил и отнес по назначению, знакомый Ёдзиро уже раздумал стреляться и таким образом был спасен.

— Видишь, какие вещи случаются на свете, — заключил Ёдзиро. Сансиро смеялся. Рассказ друга показался ему забавным, хотя теперь он уже наверняка знал, что долг Ёдзиро ему не вернет. Когда же Ёдзиро строго заметил: «Нечего смеяться», — Сансиро стало еще смешнее.

— Чем хохотать, лучше бы вспомнил, что благодаря мне ты смог занять деньги у Минэко-сан!

— Что же из этого следует? — уже серьезно спросил Сансиро.

— Что следует?! Послушай, ты ведь любишь эту девушку!

Все этот Ёдзиро знает. Сансиро хмыкнул и снова устремил взор на далекую луну, мимо которой проплыло белое облако.

— Ты вернул долг?

— Пока нет!

— И не надо.

Сансиро ничего не ответил, а про себя подумал: «Какую-то чепуху мелет». У него и в мыслях не было не возвращать долга. Двадцать иен он уплатил за квартиру, а оставшиеся десять собирался на другой же день отнести Минэко. Но потом передумал, решив, что это может обидеть девушку, которая дала ему деньги с самыми добрыми намерениями. А потом, в минуту слабости, разменял эти десять иен. Из них, говоря по совести, он и уплатил за участие в нынешнем обеде. В результате осталось каких-то две-три иены, на которые Сансиро собирался купить теплую рубашку.

Потеряв надежду получить с Ёдзиро долг, Сансиро написал домой письмо с просьбой выслать ему дополнительно тридцать

иен. Денег на учебу ему хватало, и он не знал, на что еще попросить, а поскольку лгать не умел, пришлось сказать правду, что дал займы другу, потерявшему деньги.

«Пожалуйста, пришлите», — написал Сансиро, но ответа пока не было. «Может, сегодня вечером придет». И Сансиро поспешил домой. Так и есть — на столе лежал конверт, надписанный матерью. К удивлению Сансиро, на нем была всего одна трехсановая марка, хотя обычно письма от матери приходили заказные. К тому же письмо оказалось предельно коротким. Несвойственным матери сухим тоном была изложена лишь суть дела: «Деньги отправила Нономии-сан, у него и возьмешь». И все. Больше ни слова. Сансиро постелил и лег.

К Нономии Сансиро не пошел ни на другой, ни на третий день. От Нономии тоже никаких вестей не было. Чуть ли не через неделю он прислал служанку своей квартирной хозяйки с запиской: «Получил от вашей матушки то, что вы просили, найдите». В перерыве между лекциями Сансиро спустился в уже знакомый ему подвал естественного факультета. Он собирался перебраться с Нономией несколькими словами и заодно взять у него деньги, но это оказалось не так просто. В комнате, которой летом единолично владел Нономия, теперь сидели несколько студентов и еще два-три человека солидного вида с усиками. Все они самозабвенно занимались своими исследованиями, отрешившись от солнечного мира где-то там, в вышине. Сосредоточеннее всех казался Нономия. Заметив Сансиро, заглянувшего в комнату, он подошел к нему и сказал:

— Вам из дому пришли деньги, но сегодня я их с собой не взял, так что придется вам зайти за ними ко мне домой. Заодно и поговорим.

Сансиро кивнул и попросил разрешения зайти нынче же вечером. Подумав, Нономия согласился, и на этом они распрощались. Какие упорные и настойчивые люди, эти естественники, с восхищением думал Сансиро, выходя из подвала на свет. Он успел заметить, что коробка из-под маринованных овощей и подозрная труба стояли на том же месте и в том же положении, что и летом.

Когда на лекции Сансиро обо всем рассказал Ёдзиро, тот посмотрел на него, словно на чудака, и сказал:

— Говорил я тебе, держи у себя эти деньги, не отдавай, так нет — не послушался, только зря потревожил старуху. Попадет тебе от Сохати-сан. Ничего глупее и не придумаешь.

Ёдзиро говорил с таким видом, словно не он занимал у Сансиро деньги. Да и Сансиро как-то забыл об этом и без тени упрёка ответил:

— Я хочу вернуть деньги, вот и написал домой.

— Мало ли что ты хочешь, зато она не хочет.

— Не хочет?

Это «не хочет» даже для самого Сансиро прозвучало не-

сколько фальшиво, однако Ёдзиро как ни в чем не бывало сказал:

— Оно и понятно. Будь у меня столько денег, сколько у Минэко, я бы тоже не стал их у тебя брать. Почему не быть добрым, если тебя это ни капельки не ущемляет?

Сансиро ничего не ответил и стал записывать лекцию. Но тут Ёдзиро снова зашептал ему на ухо:

— Сколько раз я давал займы, когда у меня водились деньги, никто и не думал возвращать. И мне это было приятно. Видишь, я всегда весел!

Даже не сказав «неужели», Сансиро лишь слегка улыбнулся и снова забегал пером по бумаге. Ёдзиро тоже утомился и до конца занятий не проронил ни слова. Когда после звонка они выходили из аудитории, Ёдзиро вдруг спросил:

— Она влюблена в тебя?

Сансиро промолчал, поскольку следом за ними шли студенты, и обернулся к Ёдзиро, лишь спустившись по лестнице к боковому входу и выйдя на площадку перед библиотекой.

— Точно не знаю, — ответил Сансиро.

С минуту Ёдзиро на него смотрел, потом сказал:

— Допустим. А мог бы ты стать ее мужем, если бы знал точно?

Сансиро над этим никогда не задумывался, но подумал, что мог бы. Главное, чтобы Минэко его полюбила. Своим вопросом Ёдзиро поставил друга в тупик. Сансиро опустил голову.

— А вот Нономия-сан может, — сказал Ёдзиро.

— Между ними были какие-нибудь отношения? — очень серьезно спросил Сансиро.

— Не знаю, — коротко ответил Ёдзиро. Сансиро ничего больше не сказал.

— Ну ладно, иди к Нономии-сан, пусть отчитает тебя, — бросил Ёдзиро и пошел к пруду. А Сансиро так и остался стоять с дурацким видом, словно тумба с аляповатыми афишами. Между тем Ёдзиро вернулся.

— Послушай-ка, а может, ты женишься на Ёсико-сан? — смеясь, сказал он и снова пошел к пруду, увлекая за собой Сансиро. — Так, пожалуй, было бы лучше. Пожалуй, лучше.

В это время прозвенел звонок.

Вечером Сансиро отправился к Нономии. До условленного часа у него еще оставалось время, и он по пути зашел в большой европейский магазин. Приказчик разложил перед Сансиро самые разнообразные рубашки. Сансиро их разглядывал, поглаживал и никак не мог выбрать. Он стоял с небрежно-снисходительным видом, когда вдруг увидел Минэко и Ёсико: они зашли купить духи.

— О, кого я вижу! — воскликнула Минэко. — Благодарю вас за любезность.

Сансиро сразу понял, в чем дело. Речь шла о письме, которое он послал Минэко, вместо того чтобы зайти к ней и вер-

нуть оставшиеся после платы за квартиру деньги. Исполненный горячей благодарности, Сансиро излил свои чувства в письмо, нагромоздив все вежливые слова, какие только знал, и письмо получилось чересчур пространным. Однако послание, которое Сансиро с такой надеждой опускал в почтовый ящик, осталось без ответа. Напрасно он старался. С тех пор ему так и не представилось случая увидеться с Минэко. И сейчас, растерявшись, он даже не нашелся, что ответить на вскользь брошенные девушкой слова: «Благодарю вас за любезность». Юноша разглядывал рубашку, которую держал перед собой, и думал, что Минэко холодна с ним, вероятно, потому, что с ней Ёсико. Потом он вспомнил, что собирается купить рубашку на деньги Минэко. но тут приказчик поторопил его вежливым: «Которую изволили выбрать?»

Девушки со смехом подошли поближе и вместе с Сансиро стали рассматривать рубашку. Наконец Ёсико сказала: «Эту и берите». Сансиро последовал ее совету. В свою очередь, Сансиро пришлось вместе с девушками выбирать духи, в которых он ровно ничего не смыслил. Вертя в руках флакон с надписью «Гелиотроп», он робко спросил: «Нравятся вам?» «Возьму, пожалуй», — ответила Минэко. Сансиро даже почувствовал легкое разочарование, так быстро все решилось.

Когда, выйдя из магазина, Сансиро хотел проститься с девушками, они стали прощаться друг с другом. «Так я пойду!» — кланяясь, сказала Ёсико. «Поскорее возвращайся», — тоже кланяясь, ответила Минэко. Оказалось, что Ёсико собралась к брату. Солнце садилось. В этот ранний вечер Сансиро снова представился случай отправиться в Оивакэ с красивой девушкой.

Сансиро не столько смущало, что он пойдет вдвоем с Ёсико, сколько перспектива оказаться с нею у Нономии. Может быть, пойти к Нономии завтра? Нет, лучше сегодня. Если Нономия, по просьбе матери, и впрямь собирается читать ему нотацию, вряд ли он станет это делать при Ёсико. Не исключено, что Нономия отдаст ему деньги и на этом все кончится. Словом, Сансиро решил схитрить.

— Я как раз тоже иду к Нономии-сан.

— Неужели? В гости?

— Да нет, у меня к нему небольшое дело. А вы в гости?

— Нет, тоже по делу.

Ни Сансиро, ни девушку такое совпадение не смутило. Вежливости ради Сансиро спросил, не помешает ли он, однако девушка не только словами, но всем своим видом выразила удивление: дескать, как можно такое спрашивать. Глаза ее как будто стали еще темнее и больше от удивления.

— Купили скрипку?

— А вы в курсе дела?

Сансиро не нашелся что ответить. Но девушка с невозмутимым видом сказала:

— До сих пор не купил, только обещает: «Куплю, куплю».
Сансиро в душе осудил не столько Нономию с Хиротой, сколько Ёдзиро.

С улицы Оивакэ Сансиро и Ёсико свернули в плотно застроенный узенький проулок, освещаемый лишь висевшими у домов фонарями. У дома Нономии молодые люди остановились. На расстоянии примерно квартала отсюда снимал комнату Сансиро. Он уже не раз успел побывать на новой квартире у Нономии, состоящей из двух комнат и отделенной от главного дома широким коридором. Чтобы попасть к Нономии, нужно было дойти до конца коридора, подняться на две ступеньки, там, по левую руку, и находилась его квартира. Веранда с южной стороны выходила в чей-то большой сад, и здесь всегда было тихо. Впервые очутившись в этой уютной квартире, Сансиро с восхищением подумал, что не так уж плохо было отказаться от аренды целого дома, как это сделал Нономия, и снять эту квартиру. В прошлый раз Нономия вышел в коридор и указал на крышу своего жилища: «Видите? Крыта соломой». Соломенная крыша, в отличие от черепичной, была редкостью в Токио.

Сансиро и Ёсико пришли, когда стемнело, и крыши видно не было. Но, заметив в окнах электрический свет, Сансиро вспомнил о соломенной крыше, и такое сочетание показалось ему забавным.

— Какие гости ко мне пришли! Просто интересно, — сказал Нономия. — Вы встретились у входа?

Ёсико объяснила, как было дело, и посоветовала брату купить такую же, как у Сансиро, рубашку. Потом сообщила, что недавно пробовала японскую скрипку и что у нее очень плохой звук. Раз уж он до сих пор не купил, пусть теперь купит другую, получше, хотя бы такую, как у Минэко-сан. Она долго приставала к брату со своими капризами, он терпеливо слушал, не выказывая ни умиления, ни досады, лишь время от времени произнося неопределенное: «Угу... угу...»

Сансиро тоже молчал. Одна Ёсико болтала без всякого стеснения, и все же она не казалась ни глупой, ни капризной. Сансиро слушал девушку, и на душе у него было радостно, как если бы он вышел в широкое, залитое солнцем, поле. Он даже забыл об ожидавшей его нотации. Из этого состояния его вывели неожиданно произнесенные слова Ёсико:

— О, совсем забыла! Минэко-сан просила тебе кое-что передать.

— В самом деле?

— Разве ты не рад?

Нономия-сан поморщился.

— Глупая у меня сестра, — сказал Нономия, повернувшись к растерянно улыбавшемуся Сансиро.

— Совсем я не глупая. Да, Огава-сан?

Сансиро продолжал натянуто улыбаться.

— Минэко-сан просит тебя повести ее в концерт, устраиваемый «Литературной ассоциацией».

— Ей бы лучше пойти с Сатоми-сан.

— Он сказал, что будет занят.

— Ты тоже пойдешь?

— Конечно.

Так и не ответив ничего определенного, Нономия пожаловался Сансиро на сестру, которая мелет вздор, вместо того чтобы поговорить о серьезном деле, ради которого он, собственно, и пригласил ее сегодня. На вопрос Сансиро, что это за дело, Нономия ответил не как ученый, а по-житейски просто и откровенно, что Ёсико сделали предложение, что родители не возражают и теперь осталось лишь выяснить мнение самой Ёсико. «Что ж, прекрасно», — это было единственное, что мог ответить Сансиро. Он решил покончить со своим делом как можно скорее и уйти.

— Я слышал, — начал Сансиро, — что мать беспокоила вас просьбой...

— Ну что за беспокойство, — возразил Нономия, достал из ящика стола конверт и отдал Сансиро.

— Ваша матушка прислала длинное письмо, она тревожится, пишет, что обстоятельства вынудили вас, несмотря на скромную стипендию, одолжить деньги товарищу. Не важно, кто он, этот товарищ, но он не должен был так легкомысленно поступать, а уж если занял, надо было вовремя вернуть... Деревенские — народ простодушный, бесхитростный, поэтому думать так для них вполне естественно, — сказал Нономия. — Матушка не одобряет вашу щедрость, пишет, что каждый месяц вам присылают из дому деньги на учебу, а вы по легкомыслию вдруг дали займы двадцать иен... В письме я ощутил легкий укор и в мой адрес. Не знаю, как поступить. — Нономия усмехнулся.

— Мне очень жаль, — серьезно ответил Сансиро.

Видимо, Нономия не собирался поучать юношу и сказал уже несколько другим тоном:

— Стоит ли волноваться? Все это совершенные пустяки. Просто, ваша матушка подходит к деньгам с деревенской меркой, и тридцать иен, которые вы попросили, для нее огромная сумма. На тридцать иен, пишет она, может прожить полгода семья из четырех человек. Неужели это правда? — спросил Нономия. Ёсико расхохоталась. Сансиро понимал, что вся эта история нелепа до смешного, хотя мать написала чистую правду. Он поступил и в самом деле опрометчиво и теперь испытывал легкое раскаяние. — Это выходит пять иен в месяц, — прикинул Нономия, — значит, на одного человека иена с четвертью. Если разделить на тридцать, получится около четырех сэн в день — пожалуй, маловато даже для деревни.

— Что же они едят на такие мизерные деньги? — серьез-

но спросила Ёсико. Пришлось Сансиро отвлекаться от собственных переживаний и подробно рассказать о деревенской жизни и ее обычаях. В семье Сансиро было принято раз в год дарить деревне десять иен. От каждого из шестидесяти дворов выделяли по одному человеку, все они собирались в деревенском храме и с утра до вечера пили сакэ и ели.

— И все на десять иен? — удивилась Ёсико. Угроза нотации, судя по всему, миновала. Еще немного поболтали, и Нономия вернулся к прежней теме.

— Знаете, ваша матушка просит выяснить обстоятельства и лишь в том случае, если я не найду в этом деле ничего неподобающего, передать вам деньги. Она просит обо всем подробно ей сообщить и приносит извинения за доставленные хлопоты. Как видите, я в затруднительном положении: деньги отдал, а обстоятельств не выяснил... Значит, это правда, что вы одолжили деньги Сасаки?

Сансиро понял, что Нономия все узнал от Ёсико, а та, в свою очередь, от Минэко. Странно только, что ни брат, ни сестра не заметили, как эти деньги совершили круг. И он, как ни в чем не бывало, ответил:

— Да, правда.

— Сасаки сказал, что поиздержался, купив билеты на скачки?

— Да.

Ёсико снова расхохоталась.

— Так и напишу вашей матушке. Только впредь таких денег лучше в долг не давайте.

Сансиро сказал, что не будет, и стал прощаться. Ёсико тоже собралась уходить.

— Куда же ты? Ведь нам еще надо поговорить, — остановил ее брат.

— Не обязательно!

— Обязательно!

— Вообще нет! Я все равно ничего не знаю.

Нономия молча смотрел на сестру. А она продолжала:

— Право же, что толку спрашивать, выйду я или не выйду за человека, о котором представления не имею? Как я могу сказать, по душе он мне или нет?

Только сейчас Сансиро понял смысл этого «все равно ничего не знаю» и поспешил уйти, оставив Нономию с сестрой. Через тихий малоосвещенный проулок Сансиро вышел на улицу, повернул на север, и в лицо ему пахнуло ветром, налетавшим порывами с той стороны, где был его дом. «Сквозь этот ветер, — вдруг подумал Сансиро, — Нономия-сан проводит свою сестру к Минэко».

Сансиро поднялся к себе на второй этаж, сел и стал слушать, как шумит ветер. Его шум почему-то всякий раз напоминал Сансиро о судьбе, и когда от ветра громко хлопали ставни, ему хотелось сжаться в комок. Он не считал себя

сильной натурой и сейчас подумал о том, что его жизнью со времени приезда в Токио, в общем-то, распоряжается Ёдзиро и при этом нередко над ним подшучивает, хотя и по-дружески. Вполне вероятно, что и в дальнейшем ничего не изменится и этот милый озорник Ёдзиро будет влиять на его судьбу. Но, пожалуй, еще сильнее влияние ветра, который шумит и шумит, не переставая.

Сансиро положил присланные матерью деньги под подушку и лег спать. Эти тридцать иен тоже шутка судьбы. Еще неизвестно, какую они сыграют роль в дальнейшем. Он должен вернуть эти деньги Минэко, они встретятся, и тогда непременно налетит порыв ветра-судьбы. «Пусть он будет как можно сильнее, этот порыв!»

С этой мыслью Сансиро уснул крепким здоровым сном. Ничто не могло ему помешать. Разбудили Сансиро звуки пожарного колокола. Он услышал громкие голоса. Это был уже второй пожар со времени его приезда в Токио. Сансиро накинул поверх пижамы хаори и открыл окно. Ветер утих. Двухэтажный дом напротив чернел на фоне багрово-красного неба.

Поеживаясь от холода, Сансиро вглядывался в это красное небо и вдруг отчетливо представил себе собственную судьбу тоже окрашенной в красный цвет и множество мечущихся в этой судьбе людей. Потом он залез под теплое одеяло и сразу обо всем забыл.

Утром он проснулся как обычно, надел форму, взял тетради и пошел в университет, не забыв положить в карман тридцать иен. Расписание, к несчастью, было неудачным. До трех часов шли занятия. А после трех наверняка вернется из школы Ёсико. Да и Кёскэ, брат Минэко, может оказаться дома. Как-то неловко при них отдавать деньги.

— Ну что, — спросил Ёдзиро, — получил вчера головоломку?

— Да нет, обошлось.

— Так я и думал. Нономия-сан — человек с понятием, — изрек Ёдзиро, куда-то исчез и лишь через два часа снова появился на лекции.

— С Хиротой-сэнсэем вроде бы все в порядке, — заявил он, и на вопрос Сансиро, как у сэнсэя дела, ответил: — Можешь не беспокоиться. Расскажу как-нибудь на досуге. Кстати, сэнсэй тобою интересовался, спрашивал, почему не заходишь. Ты навещай его время от времени, это наша обязанность, ведь он одинок и скучает. Купи чего-нибудь да сходи. — С этими словами Ёдзиро снова исчез. А на следующей лекции опять появился. Среди лекции его, видимо, вдруг осенило, и он написал на клочке бумаги коротко, как в телеграмме: «Деньги получил?»

Сансиро хотел написать ответ, но тут заметил, что на него смотрит преподаватель. Сансиро скомкал записку, бросил под ноги, а Ёдзиро ответил лишь после лекции:

— Деньги получил, они при мне.
— Ага, это хорошо! Собираешься вернуть долг?
— Разумеется.
— Пожалуй, ты прав. Верни поскорее.
— Думаю сегодня.
— Гм, но она будет дома только к вечеру.
— Куда-нибудь ушла?
— Конечно, каждый день ходит позировать. Наверно, портрет почти готов.
— К Харагути-сан?
— Ага.
Сансиро узнал у Ёдзиро адрес Харагути.

10

Хирота заболел, и Сансиро отправился его навестить. У входа в дом стояли ботинки. Наверно, врач, подумал Сансиро. Он вошел, как обычно, с черного хода и никого не встретил. Прошел прямо в столовую, услышал голоса в гостиной и остановился в нерешительности. В руках у него был объемистый сверток с моченой хурмой. Он купил ее на улице Оивакэ, помня наставление Ёдзиро: «Когда пойдешь, купи чего-нибудь». В это время в гостиной что-то грохнуло. «Уж не драка ли там», — подумал Сансиро, чуть-чуть раздвинул перегородку и заглянул в гостиную. Хирота-сэнсэй лежал на полу ничком, а на нем сверху сидел мужчина в коричневых хакама. Рискавя свернуть шею, Хирота приподнял голову и, увидев Сансиро, сказал с улыбкой:

— А, входите, входите!

Тот, что сидел на нем, тоже оглянулся и обратился к Хироте:

— Прошу прощения, сэнсэй, попробуйте, пожалуйста, встать.

Складывалось впечатление, будто мужчина завел руку Хироты назад и коленом прижал ее в локтевом суставе. Хирота ответил, что встать никак не может. Тогда мужчина поднялся, расправил складки хакама и сел в строгой позе. Это был представительный, солидного вида человек. Хирота встал и произнес:

— Вот это да!

— Когда применяют такой прием, сопротивляться опасно, могут руку сломать.

Из их разговора Сансиро наконец понял, что они делали до его прихода.

— Я слышал, вы больны, но вам, я полагаю, уже лучше?

— Да, лучше.

Сансиро развернул пакет и положил содержимое перед Хиротой и его гостем.

— Вот, принес вам хурмы.

Хирота пошел в кабинет за ножом для фруктов. Сансиро сходил на кухню за кухонным ножом, и все трое принялись есть. Хирота и его гость оживленно обсуждали дела средней школы в провинции. Из-за житейских невзгод и всяких неурядиц, рассказывал гость, просто невозможно долго работать на одном месте. Ему, например, приходилось, кроме своего предмета, преподавать еще дзюдо¹, а один его коллега до того беден, что ходит в гэта до тех пор, покуда они совсем не износятся, меняя лишь ремешки; и уж если вышел в отставку, найти работу почти невозможно, поэтому он вынужден временно отправить жену к родителям... Темы казались неисчерпаемыми.

Выплевывая косточки, Сансиро смотрел на этого человека и все больше проникался к нему жалостью. Как не похож он на Сансиро, как будто принадлежит к другой расе. «Хорошо бы снова стать студентом, — то и дело повторял он, — ничего нет приятнее студенческой жизни». Эти слова навели Сансиро на мысль о том, что ему, собственно, осталось быть студентом каких-нибудь два-три года, и настроение у него сейчас уже далеко не такое безоблачное, как в те времена, когда они с Ёдзиро ели гречневую лапшу.

Хирота пошел в кабинет и вернулся оттуда с книгой в темно-красной обложке, покрытой на обресе пылью.

— Вот «Хайдриотафия»², о которой я вам недавно говорил. Полистайте, скуки ради.

Сансиро поблагодарил и взял книгу. «Уход в небытие — явление постоянное и естественное, и не следует задаваться вопросом о том, достойны люди вечности или не достойны». Эта фраза бросилась Сансиро в глаза, как только он открыл книгу. Хирота между тем продолжал беседовать с бакалавром дзюдо. То, что рассказывал бакалавр, несомненно, вызывало сочувствие к учителям средней школы, но наибольшего сочувствия, как явствовало из слов бакалавра, заслуживал он сам. В нынешний век в цене только факты, о чувствах никто и не думает. И с этим ничего не поделаешь: жизнь до того трудна, что не до чувств. Почитайте газеты, и вы увидите, что девять из десяти заметок на социальные темы имеют поистине трагическое содержание. Но для нас это просто информация, и мы не принимаем ее близко к сердцу. Как-то из кратенького сообщения под заголовком «Погибло свыше десяти человек» я узнал адрес, возраст и причину насильственной смерти этих несчастных, каждому была выделена строчка петитом. Предел лаконичности и ясности. Или такая рубрика: «Кражи». Здесь сразу узнаешь, кого и какие воры обобрали. Чрезвычайно

¹ Дзюдо — японская борьба вольного стиля и система самозащиты.

² «Хайдриотафия» — книга английского врача и писателя Томаса Брауна (1605—1682).

удобно. В жизни многое, я полагаю, построено на таком принципе. К примеру, отставка. Для ушедшего в отставку это, возможно, событие, близкое к трагедии, в то время как у окружающих оно не вызовет сколько-нибудь сильных эмоций. К этому надо быть готовым и поступать соответственно.

— Разумеется, при таком количестве свободного времени, как у вас, сэнсэй, можно позволить себе эмоции, — с самым серьезным видом сказал мастер дзюдо и тут же расхохотался. Вслед за ним рассмеялись Хирота с Сансиро. Судя по всему, гость уходить не собирался, и Сансиро, захватив книгу, которую ему дал Хирота, через кухню вышел на улицу.

«Не сгнить в могиле, жить в памяти грядущих поколений, увековечить свое имя, возродиться в будущем — вот чего жаждет человечество с древних времен. Ибо исполнение всех этих желаний — прямая дорога в рай. Однако для истинно верующего желания эти — суета сует. Ведь возродиться — значит снова стать самим собой. А это никак не связано ни с желанием, ни с надеждой, это непреложная истина, которую дано познать истинно верующему. И не все ли равно — лежать в могиле св. Иннокентия¹ или быть погребенным в песках Египта. Главное, радоваться собственной вечности — будь то в тесной могиле размером в шесть футов или в гробнице Адриана². Смирись и будь готов к тому, что тебя ждет».

Идя не спеша по улице, Сансиро прочел это в заключительной главе «Хайдриотафии». Он слышал от Хироты, что автор этой книги — известный писатель и великолепный стилист и что это его сочинение — самое блестящее из всего им написанного. Правда, рассказывая это, Хирота, смеясь, заявил, что сам он придерживается несколько иного мнения. Да и Сансиро, признаться, не увидел в этой книге никакого блеска. Тяжеловесные фразы, очень странное употребление слов, туманно выраженные мысли — впечатление такое, словно осматриваешь старинный буддийский храм. Чтобы прочесть и как-то осмыслить один этот отрывок, понадобилось несколько кварталов пути. И то многое осталось непонятным.

Прочитанное вызвало в Сансиро смутное чувство, близкое к сентиментальности, как если бы в Токио донесся слабым эхом удар в колокол Большого Будды в Нара. Именно это чувство, а не смысл, доставило Сансиро удовольствие. Ведь он никогда еще глубоко не задумывался над вопросами жизни и смерти — слишком молодая и горячая кровь текла в его жилах. В этом чувстве, собственно, и выразилась истинная сущность Сансиро...

По дороге к Харагути Сансиро встретил похороны. За ма-

¹ Имеется в виду папа римский Иннокентий III (1160—1216).

² Римский император Адриан Публий Элий (76—138) еще при жизни построил свою усыпальницу.

леньким гробиком, завернутым в белоснежное полотно, шли двое мужчин в хаори. К крышке гроба была прикреплена красивая игрушка — ветряная мельница с пятью вращающимися разноцветными крыльями. «Красивые похороны», — подумал Сансиро, когда гробик с игрушечной мельницей остался позади.

Сансиро так же безучастно глядел на чужие похороны, как на чужое сочинение, которое держал в руках. Но если бы ему предложили смотреть безучастно на Минэко, он непременно удивился бы. Он не смог бы смотреть на Минэко глазами постороннего, хотя не отдавал себе в этом отчета. Одно было бесспорным: в чужой смерти он ощутил красоту и умиротворенность, красота живой Минэко несла ему страдание. Сансиро почему-то думал, что, если будет идти все время прямо, к своей судьбе, даже мысленно, даже во сне, не отклоняясь в сторону, он избежит от страдания. И он шел все вперед и вперед. На похоронную процессию Сансиро смотрел сейчас издалека, как на картину, сожалел о безвременной кончине, но не скорбел, а испытывал приятное чувство, как при виде чего-то красивого.

Свернув на улицу Акэбоно, Сансиро увидел большую сосну, видимо, о ней ему и говорили, когда объясняли, как отыскать дом Харагути. Однако дом, у которого она стояла, оказался не тот. За ним была еще сосна, а дальше — еще и еще. «Прекрасное место», — подумал Сансиро, прошел мимо множества сосен, свернул налево и очутился перед живой изгородью с красивыми воротами. На воротах висела табличка из темного и очень твердого дорогого дерева, на которой зеленой масляной краской было написано имя Харагути, причем с такой изысканностью и витиеватостью, что не разберешь — иероглифы это или узоры. Тропинка от ворот к дому не была обсажена ни кустами, ни цветами, лишь поодаль с обеих сторон были разбиты газоны.

У входа чинно стояли гэта Минэко. Сансиро узнал их по ремешкам — они были разного цвета. Девочка-горничная сообщила, что господин сейчас как раз работает, но если Сансиро желает подождать, он может войти, и провела его в мастерскую — просторную комнату, вытянутую с севера на юг. В комнате, как и следовало ожидать, царил художественный беспорядок. Непропорциональный размерам комнаты ковер казался небрежно брошенным на пол куском ткани с ярким, очень изящным рисунком. Наискосок от ковра лежала тигровая шкура с длинным хвостом. Здесь же, на полу, стояла большая ваза с шероховатой поверхностью, с двумя торчащими из нее стрелами. Между оперением мышино-серого цвета ярко блестела позолота. Рядом Сансиро увидел старинные воинские доспехи. Он подумал, что, вероятно, они из тех, что носили крупные военачальники, судя по дорогой плотной ткани и выделке. В противоположном углу он заметил что-то ослепи-

тельно блестящее. Это оказалось кимоно с лиловыми узорами и золотым шитьем. Оно висело на шнуре, пропущенном сквозь короткие рукава, словно проветривалось. Пожалуй, очень старинное, подумал Сансиро. Стены были увешаны картинами, большими и поменьше. Те, что без рам, видимо, наброски, лежали небрежно свернутые, с неряшливо загнутыми краями.

И среди этой утомительной для глаз пестрой путаницы стоял холст с начатым портретом. Женщина, которую писал художник, стояла в глубине комнаты, с веером в приподнятой руке. Когда Сансиро вошел, художник резко повернулся от холста и с палитрой в руке пошел ему навстречу, сжимая в зубах толстую трубку.

— Пришли? — сказал он, кладя трубку на круглый столик с пепельницей и спичками, у которого стоял стул. — Садитесь и смотрите. — Он указал на портрет. Холст был размером чуть меньше шести футов.

— Действительно, большое полотно, — сказал Сансиро.

— Угу, очень, — пробормотал словно про себя Харагути и стал рисовать волосы. В этот момент из-за веера сверкнули белые зубы, и Сансиро наконец увидел лицо Минэко.

Несколько минут проходят в тишине. В комнате тепло — горит камин. Да и день выдался нехолодный — ветер утих. Оголенные деревья стоят в лучах зимнего солнца неподвижные и безмолвные. Сансиро кажется, что мастерская в тумане. Он сидит, облокотившись на стол, в атмосфере тишины и покоя. В этой тишине возникает Минэко. Черточка за черточкой появляется ее изображение на холсте. Все вокруг словно застыло, движется лишь кисть толстяка-художника, движется неслышно, как и сам художник.

Вписанная в тишину Минэко с веером до того неподвижна, что ее можно принять за картину. Харагути пишет не с натуры, а с картины, только объемной, думает Сансиро, чудесным образом он со всем старанием как бы переносит Минэко с объемной на обыкновенную картину. И эта, вторая, Минэко постепенно сближается с первой. Их разделяет тишина, которую нельзя измерить часами. Плавно, спокойно течет время, не касаясь сознания художника, и постепенно вторая Минэко нагоняет первую. Еще немного, и расстояние между ними исчезнет, они сольются воедино, тогда ход времени резко изменит свое направление, канет в вечность и кисть Харагути перестанет двигаться. При этой мысли Сансиро вышел из оцепенения и посмотрел на Минэко, все еще неподвижную. От этой звенящей тишины у Сансиро, словно от хмельного, кружилась голова. Харагути неожиданно рассмеялся и спросил:

— Устали, да?

Девушка ничего не ответила, тотчас приняла свободную позу и буквально упала в кресло, стоявшее рядом. Сансиро снова увидел ее ослепительно белые зубы, когда, улыбнувшись, она окинула его быстрым, словно метеор, взглядом.

Харагути подошел к столику.

— Что скажете? — спросил он, взял трубку, приминая пальцами табак, раскурил ее, дважды затянулся, выпустил сквозь усы две густые струи дыма и снова повернулся к холсту, рисуя то, что можно было рисовать без натуры. Картина еще не была закончена, но Сансиро она казалась великолепной. Оценить ее по достоинству он, разумеется, не мог, ибо воспринимал искусство чисто эмоционально, да и то впечатление складывалось у него смутное, поскольку в живописи он не был даже дилетантом. Поэтического восприятия и художественного вкуса у Сансиро хватало лишь на то, чтобы самому себе не казаться человеком, чуждым искусства.

Сколько света в этой картине, она будто озарена солнцем и в то же время припорошена пудрой — ни излишне ярких красок, ни глянца. Даже тени не темные, а скорее светло-лиловые. Это ощущение сочеталось у Сансиро с чувством легкости и приподнятости: словно он плыл по реке на быстроходной увеселительной лодке. О тревоге тут и речи быть не могло — таким покоем и умиротворением веяло от картины. Ни горечи, ни яда. «Картина в духе Харагути-сан», — подумал Сансиро и тут услышал голос Харагути:

— Я расскажу вам кое-что интересное, Огава-сан. Одному из моих знакомых, видите ли, надоела жена, и он потребовал развода. Жена ни в какую, раз уж, говорит, вышла за тебя, ни за что не уйду, а ты как хочешь.

Харагути чуть отступил от картины, оценивая результаты работы, и обратился к Минэко:

— Напрасно вы не пришли в более легком кимоно, Сатоми-сан. Мне было бы легче вас писать, а то делаю все по догадке, не слишком ли смело с моей стороны?

— Мне очень ж а л ь , — отозвалась Минэко.

Харагути ничего не ответил, снова подошел к холсту и продолжал:

— Так вот, поняв, что жену не так-то легко спровадить, приятель сказал ей: не хочешь — не уходи, живи здесь, сколько душе угодно, я сам уйду... Пожалуйста, Сатоми-сан, встаньте на минутку и взгляните сюда. Веер не нужен. Просто встаньте. Вот так. Благодарю... Тогда жена и говорит: что же я буду без тебя делать? А мне что за дело, — отвечает приятель . — Хочешь — выходи замуж.

— Чем же это кончилось? — спросил Сансиро.

— Да н и ч е м , — ответил Харагути и пояснил свою мысль: — К браку следует относиться серьезно. Ни сходиться, ни расходиться просто по капризу нельзя. Возьмите, к примеру, Хироту-сэнсэя, возьмите Нономию-сан, возьмите Сатоми Кёскэ-кун и, наконец, меня. Ни один из нас не женат. И чем больше будет чересчур самостоятельных женщин, тем больше будет холостяков. Эту самостоятельность общество должно ограничивать, чтобы не появлялись холостяки.

- Кстати, мой брат скоро женится, — сообщила Минэко.
- В самом деле? Что же будет с вами?
- Не знаю.

Сансиро и Минэко обменялись взглядами. Минэко улыбнулась. Поглощенный работой Харагути пробурчал себе под нос: «Не знаю, не знаю... Тогда...»

Улучив момент, Сансиро подошел к Минэко. Девушка откинулась на спинку кресла, где висело ее хаори с очень красивой подкладкой, рассыпав по нему свои прекрасные волосы. Воротник кимоно распахнулся, открыв шею, но Минэко это было, видимо, безразлично — так она устала.

В кармане у Сансиро лежали тридцать иен, непостижимым образом связывавшие его с Минэко, в это Сансиро твердо верил. Только поэтому он до сих пор не возвращал ей деньги и решил сделать это именно сейчас. Отдалится она от него, когда это связующее звено перестанет существовать, или, наоборот, приблизится? Следует заметить, что Сансиро был несколько суверен.

— Сатоми-сан! — обратился он к Минэко.

— Что? — откликнулась девушка, подняв глаза на Сансиро и сохраняя при этом совершенно невозмутимое выражение лица. Сразу было видно, что она устала.

— Раз уж я здесь, кстати, верну вам... — произнес Сансиро, сунув руку в карман.

— Что вернете? — спросила девушка все так же вяло, в то время как Сансиро мучительно раздумывал, как ему поступить. Наконец он решился:

— Верну деньги, которые недавно занял у вас.

— Ну, сейчас это совсем не кстати, — ответила девушка, не вставая с кресла, все с тем же безразличным видом. Сансиро еще не до конца осмыслил ее слова, как за спиной у него раздался голос Харагути:

— Ну что, поработаем еще немного?

Оглянувшись, Сансиро увидел, что Харагути стоит с зажатой в пальцах кистью и с улыбкой на них смотрит, свободной рукой пощипывая бородку. Минэко взялась за подлокотники и выпрямилась, собираясь встать.

— Еще долго? — тихо спросил Сансиро.

— Около часа, — так же тихо ответила Минэко. Сансиро снова занял свое место у круглого столика, Минэко стала позировать, а Харагути, закурив трубку, взялся за кисть и, не оборачиваясь, сказал Сансиро:

— Огава-сан, посмотрите, пожалуйста, в глаза Сатоми-сан.

Сансиро послушался, но Минэко вдруг опустила веер, повернулась к окну и стала смотреть в сад.

— Так не годится. Если вы будете смотреть в другую сторону, дело не пойдет. Только-только начал писать, а вы...

— Зачем же вы изволите говорить то, что к делу не относится? — повернулась к нему девушка.

— Я ведь не шутил, — оправдывался Харагути. — Просто нужно было кое о чем спросить у Огавы-сан.

— О чем же?

— Сейчас скажу, только, пожалуйста, примите прежнюю позу. Так. Еще чуть-чуть локти вперед... Скажите, Огава-сан, уловил я выражение глаз оригинала?

— Я в этом мало разбираюсь, — ответил Сансиро, — но все же хочу у вас спросить. Вот вы каждый день пишете, но разве не меняется выражение глаз у того, кого вы пишете?

— Конечно, меняется. Мало того, меняется и настроение художника. Казалось бы, каждый день надо начинать сначала. Но, как ни странно, изображение получается довольно точное и законченное. Вы спросите, почему...

Говоря все это, Харагути смотрел на Минэко и не переставал работать кистью, чем вызвал у Сансиро истинное уважение.

— Картина, которую пишешь, с каждым днем обретает все новые черты и уже сама создает художнику настроение. И это настроение охватывает всякий раз, какходишь в мастерскую и берешься за кисть. Говоря точнее, настроение картины передается тебе. То же самое и с портретом Сатоми-сан. Вполне понятно, что на выражение лица действуют различные факторы, скажем, все эти в беспорядке разбросанные вещи: барабан, тигровая шкура, воинские доспехи, наконец, сама поза. Однако на картину это не оказывает сколько-нибудь серьезного влияния. Потому что постепенно все это становится привычным, включая и выражение лица. Его-то и следует запечатлеть в портрете. Кстати, о выражении лица...

Харагути вдруг умолк. Его, видимо, что-то смутило. Он отступил шага на два и переводил внимательный взгляд с картины на Минэко и обратно.

— Что-нибудь случилось, Сатоми-сан? — спросил он.

— Нет, ничего.

Просто не верилось, что это голос Минэко, так тихо и неподвижно она стояла.

— Кстати, о выражении лица, — продолжал Харагути. — Оно есть не что иное, как проявление души. И именно его изображает художник, а не самое душу, но в нем, собственно, и проявляется богатство души... Да, это, пожалуй, верно. Богатство души, которое никак не проявляется, находится за пределами возможностей художника, и с этим приходится мириться. Таким образом, мы рисуем только плоть. Однако плоть, не имеющая души, мертва, и рисовать ее бессмысленно. Взять, к примеру, глаза Сатоми-сан... Я их рисую вовсе не для того, чтобы отразить ее душу. Мне нравятся именно глаза. Их разрез, густая тень тяжелых ресниц, глубина зрачков — все это я стараюсь изобразить до мельчайших подробностей, из которых и складывается выражение лица. Если же оно не получается, значит, я либо не так, как надо, положил краски, либо

исказил само изображение. Третьего не бывает. От красок и изображения, собственно, и зависит выражение лица, и с этим приходится считаться.

Харагути снова отступил от холста и смотрел то на Минэко, то на портрет.

— Что-то вы не в себе сегодня, — сказал он наконец Минэко. — Устали? Если устали, прекратим...

— Нет, нет.

Харагути снова подошел к картине.

— Хотите знать, почему я выбрал именно глаза Сатоми-сан? Так слушайте... На Западе красавиц непременно рисуют с огромными глазами, даже забавно. А вот в Японии — с узкими. Вспомните хотя бы Каннон-сама¹, маски Отафуку², маски Но³ и, наконец, самые выразительные в этом смысле лица красавиц, запечатленных в укиё⁴. У всех у них глаза узкие, как у слона. Столь различный критерий красоты на Западе и на Востоке на первый взгляд может показаться странным, на самом же деле все очень просто. Европейские женщины — большеглазые, поэтому большие глаза и являются мерилем красоты. У японок же глаза маленькие, японские женщины словно из семейства китовых... Пьер Лоти⁵, например, конечно, в шутку спрашивал, как могут японки открывать глаза. Эта национальная особенность, естественно, отразилась и на эстетическом вкусе. Больших глаз у японок не бывает, и идеалом для нас служат глаза узкие. Их высоко ценят и рисуют на своих картинах Утамаро и Сукэнобу⁶. Но когда европейский художник берется изображать такие глаза, то, как бы он ни старался подражать японскому стилю, женщина у него получается слепой и впечатление производит весьма неприглядное. В Японии не сыщешь такого лица, как у рафаэлевской Мадонны, а если и сыщешь, оно не будет японским... Поэтому-то мне и пришлось побеспокоить Сатоми-сан... Сатоми-сан, еще немного.

Минэко не ответила и продолжала стоять, не двигаясь.

Надо заметить, что Сансиро слушал художника с интересом. Этот интерес возрос бы во сто крат, если бы внимание юноши не отвлекала Минэко, которая занимала сейчас Сан-

¹ Каннон-сама (буд.) — богиня милосердия, изображаемая в образе прекрасной женщины.

² Отафуку, или окамэ — театральные маски круглолицых женщин, скуластых, с приплюснутым носом.

³ Маски театра Но — японского театра масок, одного из древнейших видов японского театрального искусства.

⁴ Укиёэ — японская жанровая живопись эпохи Токугава (XVII—XIX вв.).

⁵ Пьер Лоти (1850—1923) — французский писатель и морской офицер. Японии посвящены его записки «Осень в Японии», повесть «О-Кику-сан».

⁶ Нисикава Сукэнобу (1671—1751) — известный японский художник.

сиро гораздо больше, чем рассуждения художника и даже сама картина. Слушая Харагути, Сансиро не сводил глаз с Минэко. Она была до того хороша в своей неподвижности, что, казалось, пленила саму природу, которая тоже застыла на какой-то миг. Есть в неизменности вечное утешение. Но тут вдруг Харагути, слегка склонив голову набок, спросил девушку, что с нею. Сансиро даже испугался. Быть может, художник хочет сказать, что уже не в силах запечатлеть столь изменчивую красоту?

А девушка и в самом деле как-то потускнела, в уголках глаз затаилась неизбывная грусть, будто и впрямь с нею что-то случилось. Сансиро ощутил, как исчезли мир и покой, которыми так и веяло от этой живой картины. «Уж не я ли причина такой перемены?» — мелькнуло в голове у юноши. И сразу же его душу затопило острое чувство, в котором целиком сказалась его натура. Он уже не мог спокойно, с легкой грустью созерцать эту изменчивую красоту. Неужели это его приход так подействовал на Минэко? Чувство было неожиданным и новым.

Харагути наконец отложил кисть.

— На сегодня хватит. Совсем не клеится!

Минэко уронила веер, взяла с кресла хаори и, надевая его, подошла к Харагути.

— Устали? — спросил художник.

— Устала, — запахивая хаори и завязывая шнурок, словно эхо повторила Минэко.

— Да и я, честно говоря, устал. Завтра продолжим, если почувствуем себя бодрее... Не торопитесь, попьем чайку.

Сумерки еще не наступили, но Минэко отказалась остаться, сославшись на дела. С нею ушел и Сансиро. В условиях Японии остаться наедине с девушкой не так-то просто, и Сансиро решил воспользоваться представившейся возможностью. Однако надежды его не оправдались. Минэко отказалась погулять с ним по тихой, почти безлюдной улице Акэбоно. Через живую изгородь они вышли на большую улицу.

— Харагути-сан, видимо, был прав. У вас в самом деле что-то случилось?

— Случилось, — сказала Минэко тем же тоном, каким отвечала Харагути. За все время знакомства с Минэко Сансиро ни разу не слышал, чтобы она говорила длинными фразами. Речь ее была предельно лаконична. Тем не менее каждое ее слово долго звучало в ушах Сансиро, ибо имело свою особую окраску и неизменно вызывало у него восхищение.

Девушка вполоборота повернулась к Сансиро, посмотрела на него, слегка сощурившись, и Сансиро заметил в ее взгляде неприсущую ей вялость. Лицо ее было бледнее обычного.

— Вид у вас и впрямь усталый.

— В самом деле?

Наступило молчание. Молодых людей словно разделил тонкий занавес, сквозь который Сансиро не знал, как проникнуть. Прибегнуть к словам любви из романов ему не хотелось. Это было бы проявлением дурного вкуса, а также нескромностью, которая не принята в общении между мужчиной и женщиной. Сансиро желал невозможного и придумывал, как бы сделать его возможным.

Молчание нарушила Минэко:

— У вас было какое-нибудь дело к Харагути-сан?

— Никакого.

— Просто в гости приходили?

— Нет, не в гости.

— Зачем же?

— Чтобы увидеться с вами, — быстро ответил Сансиро, воспользовавшись случаем.

Сансиро полагал, что сказал все, что мог. На это девушка ответила совершенно спокойным, всегда опьянявшим его тоном:

— Мне там было неловко брать у вас деньги.

Сансиро приуныл. Но потом вдруг выпалил:

— Деньги тут ни при чем!

После паузы Минэко тихо произнесла:

— Оставьте их у себя, они не нужны мне.

Тут Сансиро не выдержал:

— Я пришел потому, что хотел видеть вас. — Он заглянул в лицо Минэко.

Не глядя на него, девушка словно бы выдохнула:

— Деньги...

— Что касается денег...

Разговор прервался. Так ни один из них не высказал то, что хотел. Прошли еще с полквартила.

— Как вам нравится портрет?

Сансиро молчал, не зная, что ответить. Тогда Минэко снова спросила:

— Вас не удивляет, что Харагути пишет его так быстро?

— Пожалуй, — не очень уверенно ответил Сансиро. Ведь месяца не прошло с тех пор, как Харагути рассказал Хироте о своем желании написать портрет Минэко. А говорил об этом с Минэко уже на выставке. Сансиро не знал, сколько времени нужно писать портрет, потому что мало смыслил в живописи, но слова Минэко навели его на мысль о том, что Харагути и в самом деле пишет слишком быстро.

— Когда он начал портрет? — спросил Сансиро.

— По-настоящему он взялся за работу совсем недавно, а до этого писал от случая к случаю.

— Что значит «до этого»? Когда, примерно?

— Судите по одежде, в которой я изображена.

Тут Сансиро вдруг вспомнил тот далекий теплый день, когда он впервые увидел Минэко возле пруда.

— Помните, вы тогда сидели под буком?

— А вы стояли на холме с веером.

— Как на портрете у Харагути, правда?

— Вот-вот.

Они переглянулись. Недалеко от склона Хакусан им попался навстречу рикша, который вез мужчину в черной шляпе и золотых очках. Еще издали можно было заметить, какой у него цветущий вид. Сансиро показалось, что мужчина не отрываясь смотрит на Минэко. Подъехав чуть ли не вплотную, он остановил рикшу, лихо отбросил ногой фартук коляски, соскочил с подножки, и тут Сансиро увидел, что это стройный, высокого роста молодой человек, с тонкими, по мужественным чертам лица, гладко выбритый, очень приятной и весьма respectable наружности.

— Заждался вас и решил поехать навстречу, — подойдя к Минэко, сказал он, оглядев ее с ног до головы и улыбаясь. Минэко тоже улыбнулась и, сказав: «Очень рада, спасибо», — перевела взгляд на Сансиро.

— Позвольте узнать, кто этот господин? — спросил мужчина.

— Огава-сан, студент университета, — ответила Минэко.

Мужчина вежливо приподнял шляпу.

— Пойдемте скорее. Ваш брат уже ждет.

Они стояли на углу переулка, и это избавило от неловкости Сансиро, которому как раз надо было свернуть на Оивакэ. Он попрощался, так и не возвратив долга.

11

В последние дни Ёдзиро бегал по университету, распространяя билеты «Литературной ассоциации». Ему понадобилось два-три дня, чтобы всучить их решительно всем знакомым. После этого он взялся за незнакомых. Самую бурную деятельность он развивал в коридорах. Поймает кого-нибудь и не отпустит, пока тот не купит билет. Бывало, что в самый разгар переговоров раздавался звонок, тогда Ёдзиро говорил: «Не тот случай», — и отпускал свою жертву. Когда же пойманный начинал смеяться, так и не поняв, чего от него хотят, Ёдзиро говорил: «Не тот человек». Как-то раз он изловил профессора, выходящего из уборной. Вытирая руки носовым платком, тот сказал: «Сейчас, минутку», — поспешно скрылся в библиотеке и больше не появился. Тут уж Ёдзиро не знал, что сказать, посмотрел профессору вслед и заявил, что у профессора наверняка катар кишечника.

Ёдзиро сообщил, что ему поручено продать билетов как можно больше и что действительно, как и предполагает Сансиро, пожалуй, не каждому будет гарантировано место. Но ничего страшного в этом нет, невозмутимо заявил Ёдзиро, ибо

одни покупают билеты лишь приличия ради, другим помешают прийти непредвиденные обстоятельства, скажем, обострение катара кишечника.

Сансиро заметил, что не все платят за билеты, и, поскольку был мнительным, встревожился: вернут ли они потом Ёдзиро деньги? Ёдзиро ответил, что, конечно, не вернут, но все равно выгоднее продать побольше. По такому же принципу, например, лондонское издательство «Таймс» продавало в Японии энциклопедию. Этот поистине великолепный довод не убедил, однако, Сансиро, и он решил на всякий случай предостеречь друга, на что Ёдзиро ответил еще более великолепным доводом:

— Ведь я имею дело со студентами Токийского имперского университета!

— Пусть так, но среди них, я полагаю, немало людей беспечных, вроде тебя...

— Ну, это ты напрасно... Да и «Литературная ассоциация», я думаю, не будет придираться к незлостным неплательщикам. Сколько ни продавай билетов, ей все равно придется залезть в долги.

Когда же Сансиро поинтересовался, чье это мнение, Ёдзиро или ассоциации, Ёдзиро весьма дипломатично ответил, что тут ассоциация сходится с ним во мнении.

В общем, по словам Ёдзиро, получалось, что лишь глупец может не пойти на концерт. И он так рьяно в этом убеждал всех, что многие поддавались на уговоры. Трудно сказать, зачем он это делал: то ли сам верил, что будет интересно, то ли хотел позабавить себя и окружающих, то ли создать ажиотаж и расшевелить всех на свете, то ли просто продать билет. Именно поэтому некоторые предпочитали оставаться глупцами и отказывались от билетов.

Ёдзиро каждому сообщал, что члены ассоциации репетируют до полного изнеможения и он опасается, как бы перед самым спектаклем они не вышли из строя. Декорации просто грандиозные! Чтобы их изготовить, собрали всех даровитых молодых художников Токио и велели показать, на что они способны. Костюмы выдержаны в старинном стиле. Либретто совершенно новое и очень интересное.

Хироте-сэнсэю и Харагути-сан посланы пригласительные билеты. Нономия и Сатоми для себя и для сестер купили самые дорогие билеты. В общем, все идет прекрасно. Из солидарности с Ёдзиро Сансиро провозгласил здравицу в честь концерта.

Вечером Ёдзиро явился к Сансиро, молчаливый и угрюмый. От жизнерадостности его не осталось и следа. Он сел возле хибати, то и дело повторяя: «Ну и холод, ну и холод!» Но, судя по выражению его лица, холод тут был ни при чем. Подержав недолго руки над хибати, он засунул их в карманы. Чтобы разогнать уныние Ёдзиро, Сансиро переставил публи-

же к нему настольную лампу, но это не помогло. Ёдзиро сидел по-прежнему нахохлившись, в свете лампы блестела только его голова, большая, с коротко остриженными черными волосами. Он поднял ее, лишь когда Сансиро спросил: «Что-нибудь случилось?», посмотрел на лампу и ни с того ни с сего спросил:

— Здесь еще не провели электричество?

— Нет еще. Но в ближайшее время, сказали, проведут. С этой лампой ужасно темно.

Однако Ёдзиро, видимо, уже забыл о своем вопросе и воскликнул:

— Послушай, Огава, беда стряслась!

Ёдзиро вытащил из кармана две измятые газеты, взял одну из них, разгладил, сложил пополам, сунул Сансиро и, ткнув пальцем, сказал: «Вот, читай!» Сансиро придвинулся ближе к свету и увидел заголовок: «На филологическом факультете университета». Содержание заметки сводилось к следующему. Отделение зарубежной литературы факультета издавна находилось в ведении европейцев, они, собственно, и вели преподавание. Однако и соответствии с духом времени, а также пожеланиями большинства студентов, решено пригласить для чтения лекций и соотечественников. При подборе кандидатур остановились на господине Н. Как нам сообщили, и ближайшее время его имя будет объявлено. Господин Н. недавно вернулся из-за границы, куда был командирован на учебу. Человек он весьма способный и наиболее подходящий кандидат на вакантную должность.

— Значит, Хироту-сэнсэя обошли?! — обернулся Сансиро к Ёдзиро, который сидел, уставившись на газету. — Это точно?

— Да, вроде бы, — кивнул Ёдзиро. — Я, признаться, просчитался. Был уверен, что все будет в порядке, хотя слышал, что этот Н. ведет усиленную кампанию...

— Может, все это одни слухи? Надо подождать, пока объявят.

— Если б только эта заметка, тогда еще полбеды. Ведь о сэнсэе тут ни слова. Однако... — Ёдзиро сложил пополам газету, которая была у него в руках, и, держа палец на заголовке, пододвинул ее к Сансиро.

Из начала заметки Сансиро не узнал ничего нового, но то, что было напечатано дальше, его ошеломило. О Хироте писали, что он крайне безграмотный субъект, десять лет преподает в колледже языковедение, способностей особых не проявил и никому не известен. Тем не менее, прослышав о намерении пригласить в университет нашего соотечественника, специалиста по зарубежной литературе, не замедлил организовать тайную кампанию среди студентов с целью самовосхваления. Более того, он побудил своего ученика поместить в одном журнальчике статью под названием «Невзшедшее светило». Статья появилась под псевдонимом Рэй Ёси, но, как

стало известно, ее написал бывающий в доме Хироты студент филологического факультета Сансиро Огава.

Так выплыло на свет божий имя Сансиро. Некоторое время друзья молча смотрели друг на друга.

— Да-а, попал в переplet, — с удивлением и досадой сказал наконец Сансиро.

Но Ёдзиро пропустил его слова мимо ушей и спросил!

— Ну, что ты об этом думаешь?

— Что думаю?

— Я считаю, что здесь поместили чье-то письмо. Это отнюдь не результат проверки, произведенной редакцией. Среди писем, которые приходят в «Бунгэй дзихё» и набираются петитом, таких сколько угодно. Петит — почти всегда скопище зла. Если в этих письмах хорошенько покопаться, обнаружишь массу лжи. В некоторых ложь бьет прямо в глаза. Думаешь, их пишут по глупости? Ничего подобного. Только из корысти. Я, например, когда вел отдел «Страница читателя», подобные письма с душком чаще бросал в корзинку. Статейка, которую я тебе показал, именно такого свойства. Она — результат контркампании.

— А почему указано не твое, а мое имя?

Ёдзиро пробормотал что-то неопределенное. Помолчав немного, он сказал:

— В самом деле почему? Скорее всего потому, что ты студент, а я — вольнослушатель.

Но Сансиро такое объяснение не удовлетворило. Он по-прежнему недоумевал и испытывал беспокойство.

— Напрасно я прибег к какому-то жалкому псевдониму — Рэй Ёси. Надо было с гордостью подписаться: Ёдзиро Са-саки. Ведь никто, кроме меня, не мог бы написать такую статью.

Ёдзиро говорил совершенно серьезно. Он даже выразил сожаление в связи с тем, что его авторство приписано Сансиро. Сансиро это показалось забавным.

— Ты говорил об этом сэнсёу? — спросил он.

— Тут-то мы и подошли к самому главному. В конце концов все равно, кто автор «Невзошедшего светила», ты или я, но коль скоро дело касается сэнсэя, молчать нельзя. Он ведь такой человек: скажешь ему, ничего, мол, не знаю, произошло недоразумение, имя автора неизвестно, но сразу видно, что написал ее почитатель профессора, и переживать, пожалуй, не стоит — он ответит: «Вот как!» — и делу конец. Но сейчас я должен непременно сознаться, что виноват. Шло бы все успешно, тогда можно без зазрения совести делать вид, будто ничего не знаешь, но молчать, когда допустил промашку, просто невыносимо. Ведь это я все затеял, поставил в неловкое положение хорошего человека, и оставаться хладнокровным не могу, не в моих это правилах. В общем-то, совершенно неважно, кто виноват. Просто мне больно и сэнсэя жаль.

Сансиро снова подумал, что Ёдзиро замечательный парень.

— Интересно, читал сэнсэй газету?

— Он ее не получает. Поэтому и я ничего не знал. Но в колледже сэнсэй просматривает почти все газеты. А если сам не заметит — расскажут.

— Стало быть, он уже знает.

— Вероятно.

— А тебе он ничего не говорил?

— Нет. Впрочем, и времени нет толком поговорить. Последние дни я занят подготовкой концерта... Осточертело. Бросить, что ли? Ну, загримируются, будут изображать что-то, какой интерес?

— Сэнсэй, наверно, отругает тебя, когда узнает?

— Наверняка! Но это я переживу, а вот что так получилось — жаль, оплошал я, да и его втянул в неприятную историю... Ведь у сэнсэя нет никаких удовольствий. Сакэ он не пьет, табак... — Ёдзиро осекся. Если подсчитать количество «философского» дыма, которое сэнсэй выпускает в течение месяца, получится весьма внушительная цифра. — Правда, курит он много, и все. Рыбной ловлей не увлекается, в го не играет, о семейных радостях понятия не имеет. Это, пожалуй, хуже всего. Хоть бы детей имел... Поистине унылое существование...

Ёдзиро сложил руки на груди.

— А попробуешь скрасить ему жизнь, вот что получается... Ты бы тоже сходил к сэнсэю.

— Сходить мало. Я тоже в какой-то мере виноват и непременно попрошу прощения.

— В этом нет нужды.

— Тогда, по крайней мере, объясню, как все получилось.

Как только Ёдзиро ушел, Сансиро лег в постель, но уснуть не мог и долго ворочался с боку на бок. Дома, в провинции, было куда спокойнее. А тут разве уснешь? Клеветническая записка о Хироте, Минэко, которую увел уважаемого вида мужчина. Тысячи причин для бессонницы.

Лишь после полуночи Сансиро уснул и утром встал с трудом. Возле умывальника он встретился со студентом филологического факультета, которого знал только в лицо. Пока они обменивались вежливыми приветствиями, Сансиро пришло в голову, что студент наверняка прочел злосчастную статью, хотя ни словом не обмолвился об этом. Сансиро тоже молчал.

Когда Сансиро завтракал, вдыхая аромат дымящегося супа, принесли письмо от матери. Судя по виду, оно, как всегда, было пространное. Сансиро поленился переодеться

¹ Го — японская игра типа шашек.

в европейскую одежду, просто надел поверх кимоно хакама, сунул в карман письмо и вышел.

На улице, поблескивающей от инея, почти никого не было, кроме студентов, все они шли в одном направлении, все спешили. Холод, казалось, отступил перед жизненной энергией молодых людей. Среди них Сансиро заметил длинную фигуру Хироты в сером крапчатом пальто. Он казался выходцем из прошлого века, даже шел не как все — спокойно, не спеша. Наконец он скрылся в воротах колледжа, за которыми стояли высокие сосны. Своими ветвями они, словно зонтом, укрывали подъезд. Когда Сансиро дошел до ворот, Хирота уже исчез из виду, и перед Сансиро высились только сосны, а над ними башня с часами, которые то спешили, то отставали, то просто стояли.

Заглянув в ворота, Сансиро снова повторил про себя: «Хайдриотафия». Из всех запомнившихся ему иностранных слов это было самое длинное и самое трудное. Смысла его он так и не понял и все собирался спросить у Хироты. Попытался как-то узнать у Ёдзиро, и тот ответил, что это, пожалуй, разновидность *de te fabula*. Сансиро же казалось, что между этими двумя словами нет ничего общего. *De te fabula* — нечто легкое, пляшущее, а вот «хайдриотафию» никак не запомнишь, до того трудное это слово. Стоило дважды его повторить, как ноги Сансиро сами собой пошли медленнее. Оно будто нарочно было создано древними для Хироты-сэнсэя.

Придя на факультет, он сразу почувствовал себя в центре внимания. Ведь все были уверены, что именно он автор «Невзошедшего светила». Он вознамерился было выйти наружу, но из-за холода раздумал и остался стоять в коридоре. В перерыве между лекциями Сансиро извлек из кармана письмо от матери и стал его читать.

Мать действительно звала его на зимние каникулы домой, как в те далекие времена, когда он учился в Кумамото. Однажды ему даже пришла туда телеграмма еще до начала каникул. «Приезжай», — писала мать, и Сансиро был уверен, что она заболела. Примчался домой, а там все в порядке, мать не на радуется, что он приехал. Спросил, в чем дело, говорит — заждалась и обратилась с вопросом к богу урожая риса О-Инари-сама. Бог ответил, что Сансиро уже в пути. Вот она и стала волноваться, не случилось ли беды. Может быть, и сейчас она вопрошала бога, подумал Сансиро. Но в письме об этом не было ни слова. Лишь сообщалось, что О-Мицу-сан тоже ждет. Она бросила гимназию в Тоёцу и сейчас живет дома. Еще мать писала, что скоро он получит посылку со стеганным кимоно, которое сшила О-Мицу-сан. Плотник Какудзо проиграл девяносто восемь иен, событие было описано во всех подробностях. Однако эту часть письма Сансиро лишь рассеянно пробежал глазами. Какудзо сказал, что явились какие-то трое и заявили, что намерены купить лес. Какудзо

вызвался быть провожатым. Пока они бродили по лесу, деньги, которые у него были с собой, исчезли. Жене Какудзо сказал в порядке оправдания, что совершенно не помнит, когда именно его обокрали. Жена высказала предположение, что ему дали понюхать снотворное, на что Какудзо нерешительно ответил, что так, возможно, оно и было. В деревне, однако, все сходится на том, что его ободрали как липку в азартной игре. Дальше следовало предостережение: раз в деревне такое творится, то каким осмотрительным надо быть в Токио.

Когда он складывал письмо, подошел Ёдзиро.

— Ага, любовное послание! — Сегодня он был веселее, чем накануне, даже шутил.

— Да нет, от матери, — слегка хмурясь, ответил Сансиро, засовывая письмо в карман.

— А может, от барышни Сатоми?

— Говорю тебе, нет.

— Слышал новость о Сатоми?

— Какую новость?

В этот момент к ним подошел студент и сказал, что внизу Ёдзиро ждет какой-то человек, который хочет купить билет на концерт. Ёдзиро помчался вниз и исчез. Сансиро никак не мог его найти, и ему лишь оставалось усердно записывать лекцию.

После занятий он, как и намеревался, зашел к Хироте. В доме стояла обычная тишина. Вытянувшись во весь рост, профессор спал в столовой. Сансиро справился у старухи служанки о его здоровье. Служанка ответила, что вчера господин допоздна не спал и сегодня, придя домой, сразу же изволил лечь. Из-под короткого покрывала торчали ноги Хироты. На вопрос Сансиро, почему профессор поздно лег накануне, служанка ответила, что он всегда работает допоздна, а вчера очень долго беседовал с Сасаки-сан. Сансиро так и не понял, почему вдруг Хирота лег спать днем, зато догадался, что Ёдзиро вчера обо всем ему рассказал. Единственное, чего он не выяснил, это ругал ли сэнсэй Ёдзиро, но вряд ли старуха об этом знала, а самого Ёдзиро он так и не нашел в университете. Но, судя по тому, что Ёдзиро повеселел, можно было предположить, что все обошлось без скандала. Впрочем, Ёдзиро человек сложный, и Сансиро мог ошибиться в своих предположениях.

Сансиро сел возле хибати и стал слушать рулады, которые выводил металлический чайник. Не желая мешать, старуха удалилась. Сансиро грел руки над чайником и ждал, когда проснется Хирота. Тот спал крепким сном. Тишина привела Сансиро в хорошее настроение. Он побарабанил пальцами по чайнику, налил в чашку кипятку и, дуя, стал пить. Хирота, видимо, недавно подстригся, волосы на затылке были совсем

короткими. Он лежал, повернувшись к стене, и Сансиро виден был кончик его усов.

Сансиро достал «Хайдриотафию», которую принес, чтобы вернуть Хироте, и начал читать с пятого на десятое, мало что понимая. Написано, к примеру, о том, что в могилу бросают цветы, что римляне питают affection¹ к розам. Что значит это слово — неясно, но вероятнее всего, оно значит «любить». Еще написано о том, что греки использовали для этого амарант. Опять неясно, хотя, должно быть, это название цветка. Дальше идет нечто непостижимое. Сансиро оторвался от книги и посмотрел на Хироту. Хотелось бы знать, зачем сэнсэй дал ему такую сложную книгу? И почему, несмотря на сложность, ему интересно читать? Вдруг ему пришло в голову, что сэнсэй, собственно, и есть «хайдриотафия».

Наконец Хирота зашевелился и приподнял голову.

— Давно пришли?

Сансиро не скучал и посоветовал профессору еще поспать.

— Нет, надо вставать, — ответил Хирота, закурил и стал молча выпускать густые струи «философского» дыма.

— Спасибо за книгу, — сказал Сансиро.

— Прочли?

— Да, но мало что понял. Прежде всего непонятно само название.

— «Хайдриотафия».

— А что это значит?

— Не знаю. Но слово это, во всяком случае, греческое.

Сансиро не осмелился дальше расспрашивать. Хирота зевнул.

— Славно поспал. И сон интересный видел, приснилась, знаете ли, девушка.

Сансиро ждал подробностей, но Хирота предложил сходить в баню.

Помылись и измерили свой рост. У Хироты было сто семьдесят сантиметров, у Сансиро — сто шестьдесят пять.

— Еще подрастете.

— Вряд ли. Вот уже три года как не расту.

— Вот как! — сказал Хирота. «Считает меня совсем мальчишкой», — подумал Сансиро. Когда они вернулись из бани, Хирота предложил Сансиро остаться, если он не торопится. Считая своим долгом все объяснить, Сансиро последовал за профессором в кабинет.

— Сасаки еще не возвращался?

— Он предупредил, что может задержаться. Последние дни совсем замотался с этим концертом. Не знаю, то ли он в самом деле услужливый человек, то ли просто любитель побегать?

— Он добрый.

¹ Любовь (к чему-либо) (англ.).

— Доля доброты в его поступках, разумеется, есть. Только голова у него устроена не по-доброму, поэтому из всех его затей ничего путного не выходит. Посмотришь на него — человек он вроде бы дельный, толковый. Даже чересчур. А проку от этого никакого. Сколько мы говорили с ним — все напрасно! Теперь уж я рукой махнул. Этот человек просто создан для озорства.

Сансиро подумал, что бесполезно сейчас защищать Ёдзиро, когда налицо результаты его деяний. И он перевел разговор на другую тему:

— Вы читали заметку в газете?

— Да, видел.

— А до этого ничего не знали?

— Нет.

— Удивились, наверно...

— Удивился? Пожалуй, да. Но не в той мере, что неискушенные молодые люди. Я ведь знаю жизнь.

— Вам, видимо, все это неприятно?

— Пожалуй, немного. Однако люди моего возраста далеко не все поверят этой заметке. Так что и здесь я меньше огорчаюсь, нежели молодые. Ёдзиро сказал, что попросит одного своего знакомого, сотрудника редакции, написать опровержение, что выяснит, кто автор письма, накажет его и сам тоже поместит в журнале опровержение, словом, болтает всякий вздор. И опять-таки из самых лучших побуждений. Так не проще ли с самого начала не делать глупостей?

— Ведь он не собирался причинять вам зло, наоборот, заботился о ваших интересах.

— Не хватало еще, чтобы он сделал это умышленно. Но судите сами, вести кампанию в мою пользу втайне от меня, по собственному усмотрению выбирая способы и программу действий, не значит ли это пренебрегать мною, а следовательно, и моим добрым именем?

Сансиро оставалось только молчать.

— А эта глупейшая статья «Невзошедшее светило»? Под ней стоит ваше имя, но написал-то ее Сасаки, а не вы, верно?

— Да, верно.

— Вчера он в этом признался. А главное, вас поставил в дурацкое положение. Такой вздор мог написать один Сасаки. Я ведь читал. Ни содержания, ни формы. Ну, прямо барабан Армии спасения. Такое впечатление, что она написана с целью вызвать неприязнь у читателей. Предвзята от начала до конца. Любой человек со здравым смыслом усмотрит в этой статье корысть. Чему же тут удивляться, что, по мнению многих, это я заставил своего студента ее написать? Так что в газетной заметке есть доля правды.

Хирота умолк и стал выпускать дым через нос. Ёдзиро как-то говорил Сансиро, что по тому, как сэнсэй выпускает дым, можно определить его настроение. Если прямой густой

струей — значит, настроен он в высшей степени философски, если слабой, прерывистой — значит, умиротворенно, и тогда появляется опасность подвергнуться его насмешкам. Когда же дым вьется возле усов, это означает, что профессор погружен в раздумье или же на него нашло поэтическое вдохновение. Самое страшное — это кольца дыма у самого носа — тогда неминуема вспышка гнева. Хорошо зная Ёдзиро, Сансиро, разумеется, не принимал его слов всерьез, и сейчас, внимательно наблюдая за Хиротой, убедился в собственной правоте: дым как дым — ничего общего с настроением сэнсэя не имеет.

Сансиро продолжал скромно молчать, и Хирота снова заговорил:

— Дело сделано, оставим его. Сасаки вчера во всем повинился, попросил прощения, а нынче уже, вероятно, носится как обычно, полный энергии. Я вот порицаю его здесь за безрассудство, а он в это время где-то со спокойной душой ходит и продает билеты. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более приятном.

— Давайте!

— Я только что видел интересный сон. Мне снилась девушка, которую я видел всего раз в жизни. Прямо как в романе. Поверьте, это веселее, чем газетная заметка.

— Еще бы! А что за девушка?

— Девочка лет двенадцати — тринадцати, с родинкой на щеке, очень красивая.

Сансиро был несколько разочарован, услышав, что речь идет о двенадцатилетней девочке.

— Давно вы ее встречали?

— Лет двадцать назад.

— И сразу узнали?

— Сразу. Так ведь это во сне! Все было необыкновенно романтично и приятно. Я будто гулял по лесу. Вон в том вылинявшем летнем костюме и старой шляпе, видите?.. И, гуляя, размышлял о вещах, весьма сложных, о том, что законы вселенной вечны, в то время как все сущее, им подвластное, переменчиво. Значит, законы эти существуют помимо вещей... Вроде бы неинтересно, а во сне я раздумывал над этим всерьез, бродя между деревьями. И вдруг увидел эту девочку. Она не пошла мне навстречу, а осталась стоять на месте. Она ничуть не изменилась. Та же одежда, те же волосы — все как прежде. И родинка та же. Словом, выглядела она так, как двадцать лет назад. Я говорю ей: ты, мол, нисколько не изменилась, а она отвечает — зато вы постарели. Почему ты не меняешься, спросил я ее. Потому что красивее, чем в тот год, у меня не было лица, лучше, чем в тот месяц, не было платья, пышнее, чем в тот день, не было волос. Когда же это было, спрашиваю. Двадцать лет назад, когда я встретила вас, отвечает. Отчего же я так постарел? Оттого, ответила

девочка, что вы стремились и стремитесь к еще более прекрасному.

— А потом что было? — спросил Сансиро.

— А потом пришли вы.

— Но двадцать лет назад вы ее наяву видели?

— Наяву, потому и занято.

— Где же вы ее видели?

Хирота опять выпустил дым из носа, помолчал, глядя на него, и сказал:

— Конституцию обнародовали в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году. В том же году был убит Мори, министр просвещения. Вы вряд ли помните. Сколько вам лет? Значит, в то время вы были грудным младенцем. А я уже учился в колледже. С ружьями наперевес мы все собрались хоронить министра. Думали, что пойдем на кладбище, но учитель гимнастики повел нас к Такэбасиути и выстроил вдоль дороги, чтобы проводить министра в последний путь. На самом же деле мы смотрели на похоронную процессию. День выдался, как сейчас помню, холодный. Стоишь на месте — ноги мерзнут. Сосед то и дело мне говорит: «Нос у тебя стал совсем красным». Вскоре показалась длинная процессия: множество экипажей и рикш. В одной из колясок сидела та девочка, о которой я только что рассказывал. Восстановить в памяти картину, которую я тогда видел, мне не удастся, только девочку я отчетливо помню. С годами, конечно, и это воспоминание потускнело, и я все реже к нему возвращаюсь. Нынче, пожалуй, впервые вспомнил за долгое время, и то потому, что увидел ее во сне. Но тогда впечатление было ярким и врезалось в память.

— И после этого вы никогда больше ее не видели?

— Не видел.

— Не знаете, кто она и откуда?

— Конечно, не знаю.

— И не пытались узнать?

— Нет.

— И поэтому, сэнсэй... — Сансиро осекся.

— И поэтому?

— Поэтому вы не женились?

Хирота рассмеялся.

— Ну, я не настолько романтичен... Я устроен куда прозаичнее, чем вы.

— Но если бы эта девушка согласилась, вы, наверно, женились бы на ней?

— Гм, не знаю, — задумавшись, сказал Хирота, — пожалуй, женился бы.

Сансиро участливо смотрел на сэнсэя.

— Сказать, что из-за нее я остался холостяком, — продолжал Хирота, — все равно что утверждать, будто из-за нее я стал калекой. Но бывают калеки от природы, которые не мо-

гут жениться. Кроме того, многим мешают жениться самые разные обстоятельства.

— И много их, этих обстоятельств?

Хирота сквозь дым сосредоточенно смотрел на Сансиро.

— Вы ведь знаете, что Гамлет не хотел жениться. Так вот, Гамлет, возможно, единственный в своем роде, а похожих на него — много.

— Назовите хоть одного!

— Одного? — Хирота помолчал, усиленно дымя трубой. — Один такой находится совсем рядом. Представьте себе человека, рано потерявшего отца. Потом серьезно заболевает его мать и говорит: «Скоро меня не станет. Тогда ты перейдешь на попечение к такому-то». Она называет человека, которого сын не знает и даже никогда не видел, а почему именно к нему на попечение, не объясняет. Сын пристаёт с расспросами, и в конце концов мать слабым голосом говорит: «Такой-то твой настоящий отец». Это я просто так рассказал, но вообразите, что этот мальчик действительно существует. После этого, разумеется, брак для него перестает быть чем-то священным.

— Такие люди, пожалуй, редко встречаются.

— Возможно, но все же встречаются.

— Но вы, я полагаю, не относитесь к их числу?

Хирота расхохотался и спросил:

— У вас есть мать?

— Есть.

— А отец?

— Умер.

— Моя мать умерла через год после обнародования конституции.

12

Наступил день концерта. До Нового года оставалось каких-нибудь двадцать дней, и погода стояла холодная. У торговцев хлопот было по горло. Бедняки ломали голову над тем, как встретить праздник. В это же самое время на концерте собрались беззаботные люди, которым одинаково хорошо жилось и в праздники и в будни.

Их было много, этих людей, главным образом молодые мужчины и женщины. Ёдзиро сообщил Сансиро об огромном успехе концерта. У Сансиро был билет на второй день, и Ёдзиро попросил его зайти за Хиротой. У сэнсэя, вероятно, билет для почетных гостей, сказал Сансиро. Разумеется, ответил Ёдзиро, но один он не подумает идти, его надо вытащить. Сансиро согласился.

Когда вечером Сансиро зашел к Хироте, тот при ярком свете лампы читал какую-то толстую книгу.

— Вы не идете? — спросил Сансиро. Слегка улыбаясь, Хирота молча покачал головой, совсем как ребенок. Но Сансиро, видимо, нравилась молчаливость Хироты, он считал ее признаком настоящего ученого. Молодой человек сел в нерешительности, огорченный тем, что сэнсэй отказывается идти на концерт.

— Я могу выйти с вами, — сказал Хирота, взяв черную накидку, — прогуляюсь немного.

Они вышли. Холодное, беззвездное небо, казалось, нависло над самой головой.

— Наверно, будет дождь.

— Только бы не сильный.

— Да, в хорошую погоду и то очень неудобно снимать обувь при входе, как это принято в японских театрах. Кроме того, там нет вентиляции, а накурено так, что голова разламывается. Не знаю, как можно все это вытерпеть!

— Но ведь устроить это под открытым небом, наверно, сложно?

— О-кагура¹ всегда устраивают под открытым небом. Даже в холодную погоду.

Сансиро решил не спорить и промолчал.

— Я предпочитаю сидеть, когда надо мною прекрасное небо, когда прохладно, дышать прекрасным воздухом и смотреть прекрасный спектакль, такой же чистый, простой и прозрачный, как воздух.

— Кстати, ваш сон великолепная тема для спектакля.

— Вы знакомы с греческим театром?

— Очень мало. Там, кажется, представления проходили на воздухе?

— Да, под открытым небом. При свете дня. Это создавало хорошее настроение. Сидели прямо на камнях, созданных самой природой. Великолепно! Надо бы показать это Ёдзиро и ему подобным.

Хирота не преминул пройтись по адресу Ёдзиро, который сейчас хлопотал в тесном зале, что-то там устраивал, преисполненный сознания собственной важности. Забавно. Но еще забавнее, что он потом непременно скажет со вздохом: «Если сэнсэй не привести, он ни за что не придет. А ему весьма полезно время от времени бывать в таких местах, как этот театр. Но сколько я ему об этом ни толкую, все напрасно. Просто беда с ним».

Хирота стал подробно рассказывать о греческом театре. Сансиро прослушал лекцию о том, что значит Theatron, Orchest-

¹ О-кагура — синтоистские пляски и пантомимы в масках в сопровождении оркестра национальных инструментов, исполняемые во время ежегодных празднеств. Синто (синтоизм) — древняя религия японцев.

га, Skêne, Proskênion¹. По утверждению одного немца, театр в Афинах, считавшийся небольшим, вмещал семнадцать тысяч зрителей. А самый большой — пятьдесят тысяч. Билеты делались из слоновой кости или свинца и имели форму медали с рисунком или резьбой. Даже стоимость билетов была известна Хироте. На короткое, однодневное, представление — двенадцать энов, на большое, трехдневное — тридцать пять. Сансиро не переставал удивляться. Между тем они подошли к дому, где должен был состояться концерт.

Ярко горел электрический свет. Непрерывно подходили зрители. Оживление царило большее, чем это можно было себе представить из слов Ёдзиро.

— Может, зайдете, раз уж вы здесь? — спросил Сансиро.

— Нет, не пойду, — ответил Хирота и ушел в темноту. Сансиро постоял, поглядел ему вслед, но тут заметил, что какой-то человек, приехавший на рикше, поспешил внутрь, даже не взяв номерок на обувь, и сам заторопился, будто кто-то его подтолкнул.

В дверях стояло несколько человек. Один из них, в хакама, проверял билеты. Сансиро заглянул поверх его плеча в зал — там было очень просторно и очень светло. Жмурясь от света, Сансиро занял место, к которому его проводили, и, втискиваясь в узкое кресло, огляделся. В глазах буквально рябило от пестроты нарядов, и не только потому, что он вертел головой: все это великолепие красок беспрестанно перемещалось в разных направлениях по широкому пространству.

Началось представление. На сцену вышли люди в старинных головных уборах и старинной обуви. Они несли длинный паланкин. На самой середине сцены их кто-то остановил. Они опустили паланкин, и из него вышел человек. Человек вытащил меч и стал драться с тем, кто остановил паланкин. Сансиро совершенно не понимал, что происходит. Ёдзиро, правда, рассказывал ему вкратце содержание пьесы. Но Сансиро слушал в пол-уха, поддакивал, а про себя думал, что увидит — тогда разберется. Но увидеть — увидел, а разобраться не смог. Из рассказа Ёдзиро сохранилось лишь имя — Ирука², и Сансиро стал гадать, который же из актеров Ирука. Однако попытки его оказались тщетными. И олицетворением Ирука для него стала вся сцена: и головные уборы, и обувь, и кимоно, даже реплики действующих лиц. По правде говоря, Сансиро весьма смутно представлял себе этого Ирука. Историю Японии он изучал давным-давно, и древний Ирука совсем стерся из памяти. Вроде бы это было при императоре Суйко³.

¹ Theatron — место для зрителей, Orchestra — площадка перед сценой для хора и музыкантов, Skêne — сцена, Proskênion — просцениум.

² Имеется в виду Сога-но Ирука — сановник при дворе императора Когёку (594—661).

³ Суйко — 33-й император Японии (годы правления 592—628).

Возможно, при императоре Киммэй¹. Во всяком случае, не во времена Оодзин или Сёму². Полагая, что этих познаний вполне достаточно, чтобы смотреть спектакль, Сансиро разглядывал костюмы и декорации в китайском духе. Сути спектакля он так и не понял. Между тем дали занавес.

Незадолго до антракта сосед Сансиро сказал своему соседу с другой стороны, что диалоги актеров сильно напоминают разговор родителей с детьми в маленькой комнате: голос у актеров совсем не поставлен. Тот, в свою очередь, заметил, что артисты неуверенно держатся на сцене. Оба так и сыпали именами актеров. Сансиро внимательно прислушивался. Люди эти были одеты с иголочки. Вероятно, важные особы, решил Сансиро, но Ёдзиро непременно вступил бы с ними в спор. В это время кто-то из сидящих сзади произнес: «Хорошо. Очень, очень хорошо!» Оба соседа Сансиро оглянулись и замолчали. Как раз в это время дали занавес.

Люди поднимались со своих мест и, возбужденные, устремлялись к выходу. Сансиро привстал и осмотрелся. Но, против ожиданий, никого из знакомых не увидел. Он и во время действия искал их глазами и с нетерпением ждал антракта. Сейчас, несколько разочарованный, Сансиро сел на место и перестал смотреть по сторонам.

Соседи Сансиро, кажется, знали чуть ли не всех на свете. Оглядывая зал, они то и дело называли имена известных людей. Двое из этих знаменитостей раскланялись с ними. Благодаря соседям Сансиро увидел некоторых высокопоставленных особ. Кое-кто совсем недавно вступил в брак. Это, по-видимому, оказалось новостью для одного из соседей Сансиро, он протер очки и, устремив на молодоженов взгляд, восклицал: «Скажите на милость!»

По сцене мимо опущенного занавеса с другого ее конца в сторону Сансиро бежал трусцой Ёдзиро. Не добежав примерно трети расстояния, он остановился у края сцены и, перегнувшись через барьер ложи, с кем-то заговорил. Сансиро присмотрелся повнимательнее. В нескольких шагах от Ёдзиро по прямой линии виднелся профиль Минэко.

Рядом с Минэко, спиной к Сансиро, сидел мужчина. Сансиро в душе молил, чтобы тот повернулся к нему лицом. Так и случилось. Мужчина встал, видимо, ему надоело сидеть, и, прислонившись к барьеру, принялся осматривать зал. Сансиро отчетливо увидел широкий лоб и большие глаза Нономии-сан и тут же заметил Ёсико, сидевшую позади Минэко. Интересно, есть ли с ними четвертый, подумал Сансиро, но перед глазами у него темнела целая группа людей, и любого из них можно было считать четвертым. Минэко с Ёдзиро как будто об-

¹ Киммэй — 29-й император (годы правления 539—571).

² Оодзин — 15-й император (годы правления 270—310).
Сёму — 49-й император Японии (годы правления 724—749).

менивались замечаниями, изредка в разговор включался Нономия.

Вдруг из-за занавеса появился Харагути. Он встал рядом с Ёдзиро и то и дело перегибался через барьер — видимо, что-то говорил. Нономия в знак одобрения кивал головой. Потом Харагути похлопал Ёдзиро по спине, после чего тот круто повернулся и нырнул под занавес. Харагути спустился со сцены и, стараясь никого не задеть, пробрался к Нономии. Нономия встал, давая художнику пройти. Харагути протиснулся между сидящими в ложе и вдруг исчез из виду как раз там, где находились Минэко и Ёсико.

Эта ложа интересовала Сансиро куда больше, нежели сам спектакль. Он позавидовал Харагути, который держался легко и непринужденно. Сансиро счел бы неудобным так просто, без всяких церемоний подойти к кому-нибудь. Может, последовать примеру Харагути? Но само сознание, что ему придется подражать другому, лишило его мужества. Кроме того, его удерживала мысль, что при всем желании втиснуться туда теперь, пожалуй, будет трудно. Сансиро так и остался сидеть на месте.

Между тем поднялся занавес, и начался «Гамлет». Сансиро однажды видел у Хироты снимок какого-то известного актера в роли Гамлета. И вот сейчас перед его глазами появился Гамлет, очень похожий на того и одеждой и лицом, даже брови были так же нахмурены.

Легкостью движений этот Гамлет производил приятное впечатление. Главное, он невольно и других заставлял двигаться, не то что Ирука в пьесе Но. Он так действовал на чувства зрителей, что затмевал собою всех остальных, особенно когда, стоя посреди сцены, широко раскидывал руки или устремлял взор к небу.

Говорил он, правда, по-японски. Однако переведенная на японский европейская речь сохранила ритмичность и плавность и порою текла так свободно, что казалась чересчур красивой. Этот великолепный текст Сансиро тем не менее слушал без всякого интереса. Уж очень не по-японски мыслит этот Гамлет. Вместо того чтобы сказать: «Матушка, ведь нехорошо так поступать с батюшкой», — он вдруг вспоминает Аполлона, словом, ведет себя легкомысленно и беспечно. При этом выражение лица у матери с сыном такое, что кажется — они вот вот заплачут. Впрочем, это противоречие не так уж сильно бросалось в глаза, и решительно утверждать, что пьеса неинтересна, у Сансиро не хватило бы смелости.

Когда ему надоедал Гамлет, он переводил взгляд на Минэко. Потом Минэко заслоняли люди, и он снова начинал смотреть на Гамлета.

Сцена, где Гамлет уговаривает Офелию уйти в монастырь, напомнила Сансиро слова Хироты: «Разве может такой, как Гамлет, жениться?» По книге вроде бы не может. А вот в

спектакле видимых препятствий не существует. Зачем же посылать Офелию в монастырь? Никаких причин к тому нет, поэтому Офелия и не вызывает сочувствия.

Снова опустился занавес. Минэко и Ёсико поднялись со своих мест. Сансиро вышел в фойе и увидел, что они разговаривают с каким-то господином. Тот стоял у входа в партер. Сансиро сразу его узнал и, не возвращаясь в зал, вышел на улицу.

Было очень темно, и, когда Сансиро вдруг выходил на освещенное место, ему казалось, что идет дождь. Шелест ветра в деревьях заставил Сансиро поспешить домой.

Среди ночи пошел дождь. Лежа в постели, Сансиро прислушивался к его шуму, мысль его вертелась вокруг фразы: «Ты должна уйти в монастырь!» Хирота-сэнсэй, пожалуй, тоже бодрствует. Интересно, о чем он думает? Ёдзиро наверняка размышляет о «Невзошедшем светиле».

Наутро у Сансиро немного поднялась температура, болела голова, и он решил не вставать: позавтракал в постели, еще поспал, после сна пропотел и ощутил слабость во всем теле. Вдруг примчался Ёдзиро.

— Вчера я тебя не видел, — сказал он, — сегодня, смотрю, на лекции не пришел, я уж заволновался, не стряслось ли чего, и вот пришел узнать.

Сансиро поблагодарил.

— Да нет, в театре-то я был. Даже видел, как ты со сцены беседовал с Минэко-сан.

Чувство легкого опьянения не покидало Сансиро. Слова сами собой соскакивали с языка. Ёдзиро потрогал лоб Сансиро.

— Да ты весь горишь! Надо принять лекарство. Простудился, наверно!

— Разумеется! В театре было чересчур жарко и светло, а на улице очень холодно и темно. Куда это годится!

— Годится или не годится, ничего не поделаешь!

— Все равно не годится!

Сансиро говорил все бессвязней. Ёдзиро, как умел, развлекал его и вдруг заметил, что Сансиро уснул. Примерно через час Сансиро проснулся и спросил, глядя на Ёдзиро:

— Ты еще здесь?

Сейчас Сансиро выглядел лучше.

— Ну, как себя чувствуешь?

— Голова т я ж е л а я, — ответил Сансиро.

— Простудился, наверно, — снова сказал Ёдзиро.

— Простудился, наверно, — словно эхо, повторил Сансиро.

Через некоторое время Сансиро спросил:

— Ты как-то спрашивал меня, знаю ли я новость о Минэко-сан?

— О Минэко-сан? Где это было?

— На факультете.

— На факультете? Когда же?

Ёдзиро никак не мог сообразить. Пришлось Сансиро напомнить ему все в подробностях.

— Да, да, что-то такое, кажется, было, — сказал Ёдзиро.

«До чего же безответственный человек», — подумал Сансиро. Видя, как Сансиро огорчен, Ёдзиро решил вспомнить, о чем шла речь.

— Вот о чем, по-моему, — сказал он наконец. — О том, что Минэко-сан выходит замуж, да?

— Уже решено?

— Как будто бы да, но точно не знаю.

— За Нономию-сан?

— Да нет, вовсе не за Нономию-сан.

— Тогда... — начал Сансиро и осекся.

— Ты знаешь?

— Не знаю, — ответил Сансиро.

— Ничего не понимаю, — сказал Ёдзиро, слегка наклонившись вперед. — Странные вещи творятся на свете. Но скоро, я думаю, все прояснится.

Мог бы сразу сказать, что за странные вещи, подумал Сансиро. Однако Ёдзиро с присущим ему хладнокровием умалчивает о них и непонятно, что кажется ему странным. Сансиро еще немного подождал, потом разозлился и потребовал, чтобы Ёдзиро рассказал без утайки все, что касается Минэко. Ёдзиро рассмеялся.

— Глупец ты, право, что думаешь об этой девушке, — сказал он, то ли в утешение Сансиро, то ли еще для чего-то. — Что толку о ней мечтать? Во-первых, она тебе почти ровесница. Это только в старину влюблялись в мужчину ровесника, во времена О-Сити Яоя¹.

Сансиро молчал. Он никак не мог понять, к чему клонит Ёдзиро.

— Ты спросишь, почему, — продолжал тот. — Сравни юношу и девушку лет двадцати. Юноша во всем ей уступает. И она его ни во что не ставит. Кому же охота идти замуж за человека, которого презираешь. Правда, таким образом девушки рассуждают редко. Если они будут считать, что в мире нет им равных, придется жить в одиночестве. Такое часто случается с богатыми невестами. Они, правда, выходят замуж по собственной воле, но потом всю жизнь презирают своих мужей. Минэко-сан куда выше их. Она не выйдет за человека, которого не сможет уважать, как мужа. Претендент на ее руку должен с этим считаться. Так что ни ты, ни я в мужья ей не годимся.

¹ О-Сити Яоя — дочь зеленщика из Эдо, полюбившая своего ровесника, шестнадцатилетнего юношу. История их любви описана известным японским писателем XVII в. Ихара Сайкаку в новелле «Повесть о зеленщике, сгубившем ростки любви».

Теперь Сансиро попал в одну компанию с Ёдзиро. Однако он упорно молчал.

— Разумеется, мы с тобою обладаем куда большими достоинствами, кто бы что о нас ни думал. Но Минэко сможет их оценить не раньше, чем лет через пять-шесть. Но разве станет она ждать так долго. Стало быть, это пустой номер.

Ёдзиро почувствовал, что совсем не к месту употребил это выражение, и смущенно засмеялся.

— Что говорить, через несколько лет в Японии появятся девушки более высокого класса. Ведь женщины в избытке. Поэтому не стоит из-за них хворать и валяться с температурой... Мир велик, и причин для беспокойства нет. Говоря по правде, у меня масса возможностей, но все до того надоело, что пришлось сказать, будто по служебным делам еду в командировку в Нагасаки.

— Это ты о чем?

— О чем? О моей девушке.

Сансиро удивился.

— Поверь, к таким девушкам тебе и близко подходить не случалось. А я отказался, заявил, что еду в Нагасаки проводить опыты с бактериями и на какое-то время нам придется расстаться. И вдруг она говорит, что придет проводить и принесет яблоки, у меня аж душа в пятки ушла.

Не переставая удивляться, Сансиро спросил:

— Что же будет?

— Понятия не имею. Наверно, ждет меня на станции с яблоками.

— Какой же ты толстокожий! Разве можно так поступать!

— Знаю, что нельзя, и ее жаль, а сделать ничего не могу. Жизнь заставляет. По правде говоря, она с самого начала считала меня студентом медицинского факультета.

— Зачем же без нужды лгать?

— Тут, видишь ли, есть особые обстоятельства. Однажды я даже попал в весьма щекотливое положение, когда она заболела и попросила ее осмотреть.

Сансиро это показалось забавным.

— Я посмотрел язык, постучал по груди, словом, врал что-то. Но когда она попросила разрешения прийти ко мне на осмотр в больницу, тут уж я совсем скис.

Сансиро расхохотался.

— Таких случаев сколько угодно, — продолжал Ёдзиро, — и, пожалуй, лучше всего сохранять спокойствие.

Неизвестно, что имел в виду Ёдзиро, но Сансиро развеселился.

Наконец Ёдзиро заговорил о том, какие странные вещи происходят на свете. Оказывается, предложение сделано и Ёсико и Минэко. Это бы еще ладно. Но жених, говорят, один и тот же. Вот что странно.

Сансиро показалось, что Ёдзиро решил над ним посмеяться. Правда, он собственными ушами слышал разговор о замужестве Ёсико. Но, может быть, он ослышался и речь шла о Минэко? Впрочем, разговор о замужестве Минэко совсем не походил на выдумку. Сансиро очень хотелось узнать все точно. И Ёдзиро обещал помочь. Он скажет Ёсико, что Сансиро болен, девушка придет его навестить, и Сансиро обо всем ее спросит. Неплохо придумано.

— Так что придется тебе пить лекарство и ждать.

— Даже если выздоровею, не встану с постели. Буду лежать и ждать.

Они посмеялись, и Ёдзиро ушел. На обратном пути Ёдзиро пригласил к другу жившего неподалеку врача.

Врач пришел вечером. Он стал щупать пульс, и тут только Сансиро заметил, что это молодой, очень вежливый мужчина. Видимо, ассистент, решил Сансиро. Через пять минут был поставлен диагноз — грипп. Врач велел вечером принять лекарство и следить, чтобы не продуло.

На следующий день Сансиро стало лучше, меньше болела голова. Когда лежишь, самочувствие совершенно нормальное. Только встать трудно — голова кружится. Пришла служанка и сказала, что в комнате очень душно. Завтракать Сансиро отказался, он лежал и смотрел в потолок. Временами дремал — давали себя знать температура и усталость. Сансиро даже испытывал особое удовольствие от лежания в постели, когда не надо было делать над собой никаких усилий: хочешь — спи, не хочешь — так лежи. Но, конечно, потому, что болезнь легкая.

Пролежав так несколько часов кряду, Сансиро заскучал и стал ворочаться с боку на бок. День был чудесный. Солнечные лучи, проникавшие через сёдзи, постепенно перемещали тени. Весело чирикали воробьи. Хоть бы Ёдзиро пришел, думал Сансиро.

В этот момент служанка раздвинула сёдзи и доложила, что пожаловала гостя. Сансиро никак не ожидал, что Ёсико придет так скоро. Впрочем, Ёдзиро, как всегда, проявил расторопность. С постели Сансиро не поднялся, лишь впился взглядом в открытые сёдзи. Вскоре там показалась высокая, стройная Ёсико. Прежде чем войти, она замешкалась, видимо, несколько оробела.

— Входите, пожалуйста, — сказал, приподнявшись, Сансиро.

Ёсико закрыла сёдзи и села у изголовья. Небольшая комната казалась еще теснее от царившего в ней беспорядка — сегодня здесь не убрали.

— Лежите, прошу вас, — сказала Ёсико.

Сансиро откинулся на подушку и, исполненный блаженства, произнес:

— Душно здесь?

— Да, немного, — спокойно ответила Ёсико без тени неудовольствия. — Что с вами? Сильный жар? А врач был?

— Да, вчера вечером. Определил грипп.

— Нынче с самого утра прибежал Сасаки-сан и говорит: «Огава серьезно заболел, пока неизвестно чем. Сходите проведите его, пожалуйста». Мы с Минэко-сан так испугались!

Опять этот Ёдзиро наболтал лишнего. Как говорится, поймай Ёсико на удочку. Сансиро огорчился и стал благодарить:

— Большое вам спасибо!

Ёсико принесла в корзинке мандарины.

— Вот, Минэко-сан велела кушать, — простодушно пояснила она.

Сансиро снова стал благодарить.

— Минэко-сан просила кланяться вам, эти дни она занята и не смогла прийти.

— Видимо, чем-нибудь серьезным занята?

— Да, серьезным, — ответила Ёсико. Взгляд ее больших черных глаз покоился на лице Сансиро. Глядя на очень белый лоб девушки, Сансиро вспомнил их первую встречу в клинике. Она выглядела тогда такой же грустной, как сейчас, и в то же время жизнерадостной.

— Очистить вам мандарин? — заботливо спросила Ёсико.

Она вытащила плод из зеленых листьев, в которые он был завернут. У Сансиро пересохло в горле, и он с наслаждением высосал сладкий ароматный сок.

— Вкусно, правда? Тем более что это Минэко-сан прислала.

— Спасибо, очень вкусно, только я больше не хочу.

Девушка достала из рукава кимоно платок и вытерла руки.

— Что вы решили насчет предложения, которое вам сделали? — спросил Сансиро.

— Ничего.

— Говорят, Минэко-сан тоже сделали предложение?

— Да, все уже решено.

— За кого же она выходит?

— За того господина, который делал предложение мне. Ха-ха! Забавно, правда? Это приятель брата Минэко-сан. А я скоро снова перейду жить к моему брату. Как только Минэко-сан выйдет замуж.

— А вы замуж не собираетесь?

— Я выйду за того, за кого пожелаю, — смеясь, ответила девушка. «Значит, пока такой человек не появился», — отметил про себя Сансиро.

На пятый день, как раз накануне воскресенья, Сансиро встал с постели, рискнул принять ванну, затем посмотрел на себя в зеркало: краше в гроб кладут. И тотчас же отправился в парикмахерскую.

После завтрака он решил пойти к Минэко. Чтобы не простудиться, Надел две рубашки и пальто. У входа в дом

Сансиро встретился с Ёсико, которая как раз собралась уходить.

— Хочу навестить брата, — сообщила она. — А Минэко нет дома.

Сансиро вместе с Ёсико вышел на улицу.

— Выздоровели?

— Выздоровел. Спасибо. А Сатоми-сан где?

— Кёскэ-сан?

— Нет, Минэко-сан.

— Минэко-сан пошла в церковь.

О том, что Минэко ходит в церковь, Сансиро услышал впервые. Он спросил, где находится церковь, и простился с Ёсико. Переулками он вышел прямо к церкви. В церкви Сансиро ни разу не был и представление о христианской религии имел весьма смутное. Остановившись у входа, он стал разглядывать храм. Прочитал объявление о проповедях. Походил вдоль железной ограды, время от времени прислоняясь к ней. Он решил во что бы то ни стало дожидаться Минэко.

Вскоре за плотно закрытым высоким окном послышалось пение. Наверно, поют псалмы, подумал Сансиро. Хор был мощный. Вместе со всеми, вероятно, поет и Минэко. Сансиро стал внимательно слушать. Вдруг пение прекратилось. Подул ветер. Сансиро поднял воротник пальто и посмотрел на небо. Там плыли облака, которые так любит Минэко.

Однажды они вместе с Минэко любовались осенним небом. Это было на втором этаже в доме Хироты. В другой раз они сидели на берегу речушки в поле. Тогда они тоже были вместе. Заблудшие овцы, заблудшие овцы... Они очень похожи на облака.

Неожиданно распахнулись двери церкви, и оттуда стали выходить люди. Они словно возвращались с неба в бренный мир. Минэко вышла одной из последних. На ней было легкое пальто в полоску. Потупив глаза, она спускалась по ступенькам. Видимо, ей было холодно, потому что она вся съежилась и обхватила себя руками. Так, с отрешенным видом, она дошла до самых ворот, подняла глаза и увидела толпу людей, а среди них — Сансиро, который держал в руке фуражку. Не сговариваясь, оба подошли к объявлению о проповедях.

— Как поживаете?

— Сейчас только от вас.

— Да? Тогда давайте вернемся ко мне. — Минэко пошла вперед, но Сансиро прислонился к ограде церкви.

— Можно поговорить и здесь. Наконец-то я вас дождался.

— Зашли бы внутрь. Замерзли, наверно?

— Замерз.

— Прощла у вас простуда? Надо беречься, а то снова заболаете. Вид у вас нездоровый.

Сансиро ничего не ответил и вытащил из кармана сверток в простой бумаге.

— Вот деньги, которые вы сообразовали дать мне займа. Большое спасибо. Простите, что задержал их так надолго. Давно собирался вернуть, да все как-то не получалось.

Минэко бросила быстрый взгляд на Сансиро, взяла сверток и молча на него смотрела. Сансиро тоже смотрел. Несколько минут прошло в молчании. Потом Минэко спросила:

— Вам они не нужны?

— Нет, я попросил прислать из дому, специально, чтобы вернуть вам долг, так что возьмите, прошу вас...

— Ну что же, возьму, пожалуй.

Она положила пакет в карман, вытащила носовой платок и, поднеся его к лицу, продолжала смотреть на Сансиро. Потом вдруг отняла платок и поднесла его к лицу Сансиро. В нос ему ударил резкий аромат.

— «Гелиотроп», — тихо произнесла девушка. Сансиро невольно подался назад. Духи «Гелиотроп». Вечер в Хонго. Заблудшие овцы, заблудшие овцы... Высоко в небе стояло яркое солнце.

— Я слышал, вы выходите замуж.

Минэко сунула платок в карман.

— Значит, вы знаете? — В лице ее не дрогнул ни единый мускул, только во взгляде, когда она прищурилась, отразилось беспокойство, оттого что Сансиро стал каким-то чужим. Впрочем, она сама была в этом виновата. Сансиро молчал.

Еще несколько мгновений Минэко смотрела на Сансиро, потом едва слышно вздохнула и провела тонкой рукой по лбу.

— Я сознаю свою вину. Мой грех всегда будет со мной.

Она произнесла эти слова очень тихо, но Сансиро отчетливо их расслышал. На этом молодые люди расстались.

Дома Сансиро ждала телеграмма от матери: «Сообщи день выезда».

13

Харагути наконец закончил портрет Минэко, и «Общество живописи» поместило его на видном месте в одном из залов выставки. Напротив поставили длинный диван, чтобы можно было сидя любоваться портретом или просто отдыхать. Словом, устроители выставки позаботились об удобстве многочисленных посетителей, устремлявшихся к великому творению. Отношение к картине было особое. Объясняли это по-разному. Во-первых, тем, что само творение было особым. Во-вторых, ее названием. В-третьих, тем, что она написана с настоящей красавицы. Некоторые члены «Общества живописи» приписывали это размерам картины. Она и в самом деле была велика. Да еще в золоченой раме шириной более чем в пятнадцать сантиметров.

Накануне открытия Харагути зашел на выставку, чтобы лично посмотреть, как все устроено. Усевшись на диван с трубкой в зубах, он долго смотрел на портрет. Затем резко встал, обошел все залы, вернулся, снова сел на диван и закурил вторую трубку.

Перед «Девушкой в лесу» с первого же дня открытия выставки толпились люди. Длинный диван оказался совершенно ненужным. На нем отдыхали лишь те, кому было не до картин от усталости. Но даже отдыхая, посетители продолжали обсуждать «Девушку в лесу».

Минэко с мужем пришли на второй день. Их сопровождал Харагути. «Что скажете?» — спросил Харагути, когда они подошли к портрету. «Превосходно», — откликнулся муж, сквозь стекла очков рассматривая портрет. — Весьма удачная поза, и веер очень кстати. Вот что значит мастер своего дела. И лучи солнца очень удачно падают на лицо. А какое великолепное сочетание света и тени! Кажется, что выражение лица все время меняется.

— Все это заслуга Минэко-сан, а не моя.

— Да, нет, разумеется, в а ш а . — Минэко поблагодарила.

— Я тоже вам весьма признателен, — в свою очередь, поблагодарил Харагути. Мужу, видимо, было очень приятно услышать такую похвалу в адрес жены, и он просто рассыпался в благодарностях.

В первую же субботу после открытия выставки сюда пришли Хирота, Нономия, Ёдзиро и Сансиро. Первым делом они, разумеется, пошли в тот зал, где висел портрет Минэко. «Вон она, вон она», — повторял Ёдзиро. Возле картины все время толпились люди. Сансиро в нерешительности замешкался у входа. Нономия вошел с невозмутимым видом.

Сансиро взглянул через спины на портрет, отошел и, прислонившись к дивану, стал ждать, пока подойдут остальные.

— Великая вещь! — воскликнул Ёдзиро.

— Говорят, он собирается продать ее Сасаки, — заметил Хирота.

— Не столько мне... — начал было Ёдзиро, но, заметив, какой у Сансиро угрюмый вид, осекся.

— С каким вкусом положены краски, — сказал Нономия. — Картина написана с большим изяществом.

— Пожалуй, даже чересчур изящно, — заметил Хирота. — Все-таки Харагути должен признаться, что ему не под силу написать картину с таким звучанием, как цудзуми.

— А что это за картина со звучанием цудзуми?

— Забавная картина, бессмысленная, словно звуки цудзуми.

Оба засмеялись. Они говорили только о мастерстве художника.

— Портрет Сатоми-сан, — возразил Ёдзиро, — не может получиться бессмысленным, кто бы его ни писал.

Нономия полез в карман за карандашом, чтобы сделать запись в каталоге. Но вместо карандаша вытащил листок с типографским текстом. Сансиро сразу понял, что это приглашение на свадьбу Минэко. Точно такое он нашел у себя на столе, когда из дому вернулся в Токио. Правда, свадьба к тому времени давно уже прошла. Нономия с Хиротой, облачившись в сюртуки, ходили туда вместе.

Нономия изорвал листок и бросил его на пол. Вскоре они с Хиротой стали обсуждать другую картину. Ёдзиро подошел к Сансиро.

— Ну как «Девушка в лесу»?

— Название неудачное.

— А ты бы как назвал?

Сансиро ничего не ответил, а про себя все повторял: «Заблудшие овцы, заблудшие овцы...»

ЗАТЕМ



ПОМАН



Дайскэ проснулся, услышав громкие торопливые шаги у ворот, как раз когда ему снились свисавшие откуда-то сверху огромные, квадратные, как кухонная доска, гэта. Потом шаги стихли, гэта куда-то исчезли, словно растворились, и Дайскэ открыл глаза.

Первое, что он увидел, был цветок махровой камелии на татами у изголовья. Накануне, лежа в постели, Дайскэ отчетливо слышал в темноте, как цветок упал, упал с шумом, будто с самого чердака с силой швырнули резиновый мяч. Наверно, померещилось, подумал Дайскэ, ведь сейчас глубокая ночь и вокруг тишина. Но на всякий случай он положил руку на сердце и, прислушиваясь к четким ритмичным ударам, заснул...

Какое-то время он рассеянно созерцал большой, чуть не с голову младенца пестрый цветок и вдруг, словно спохватившись, снова приложил руку к сердцу. Прислушиваться к его биению, лежа в постели, в последнее время вошло у Дайскэ в привычку. Сердце билось, как всегда, ровно. Не отнимая руку от груди, он попытался представить себе, как спокойно, в такт биению сердца, течет теплая алая кровь. Это и есть жизнь. Сейчас он ощущает ладонью ее течение. Похожие на тиканье часов звуки выросли в воображении Дайскэ в мощные удары набата, зовущего к смерти. Как легко, как беззаботно ему бы жилось, если б не было этих звуков, если б сердце отмеряло только кровь, а не время! Жизнь стала бы радостью, наслаждением. Однако... Дайскэ невольно содрогнулся. Жажда жизни делала невыносимой самую мысль о том, что сердце может остановиться. Он часто клал руку под левый сосок и думал, что будет, если по этому месту ударить молотком. Дайскэ был совершенно здоров, но этот неоспоримый факт порой воспринимал как случайность, почти как чудо.

Отняв наконец руку от сердца, Дайскэ взял газету, лежавшую у изголовья, и развернул ее. С левой полосы, где была помещена фотография, на которой мужчина убивает женщину, Дайскэ поспешно перевел взгляд на напечатанное крупным

шрифтом сообщение о волнениях студентов. Дайскэ не дочитал заметку, руки устали держать газету, и он уронил ее. Закурив, он слегка откинул одеяло, поднял с пола камелию и стал нюхать, закрыв цветком чуть ли не пол-лица. Пробираясь сквозь лепестки, табачный дым плыл в воздухе густыми клубами. Дайскэ положил камелию на белоснежную простыню, встал и пошел в ванную.

Тщательно вычистив зубы и радуясь, как всегда, что они у него такие крепкие и здоровые, Дайскэ снял рубашку и так же тщательно обтер грудь и спину. При каждом движении руками или плечами кожа его слегка поблескивала, словно натертая ароматным маслом и досуха вытертая. Этим Дайскэ тоже гордился. Затем он расчесал на пробор черные волосы, которые ложились послушно, будто напомаженные. Усы, такие же тонкие и мягкие, как волосы, с удивительным изяществом обрамляли губу. Глядясь в зеркало, Дайскэ обеими руками любовно погладил свои полные щеки, точь-в-точь как женщина, когда она пудрится. Он бы и напудрился, появившись в том необходимость, настолько заботился о своей внешности. Иссохшие, как у благочестивых буддистов, тела, изможденные лица вызывали у Дайскэ отвращение, и, глядя на себя в зеркало, он радовался, что не похож на них ни лицом, ни телом. Он ни капельки не огорчался, когда его называли щеголем, ибо старые понятия были давно ему чужды.

Через полчаса Дайскэ уже сидел за столом, прихлебывая горячий чай и намазывая маслом тосты — слегка поджаренные ломтики хлеба. Кадоно, его сёсэй, принес сложенную четверо газету. Кладя ее рядом с дзабутоном, он напыщенно произнес:

— Сэнсэй, что творится в мире, а?

Обращаясь к Дайскэ, Кадоно всегда вежливо называл его «сэнсэй». Вначале Дайскэ, смеясь, протестовал, но Кадоно, выслушав его, тут же говорил: «Однако, сэнсэй...», и Дайскэ постепенно привык, стал относиться к этому спокойно, правда, позволял так называть себя одному Кадоно в виде исключения. Дайскэ просто уверовал, что для такого хозяина, как он, у Кадоно нет более подходящего слова.

— Опять студенты бунтуют?¹ — невозмутимо спросил Дайскэ.

— Да, просто потрясающе!

— Хотят другого директора?

— Ага, и на этот раз вроде бы своего добьются, — не без радости сообщил Кадоно.

— Допустим. А тебе какая от этого корысть?

— Вы шутите, сэнсэй. При чем тут корысть?

Дайскэ продолжал как ни в чем не бывало жевать.

— Послушай, что за счета у них с директором? Они дей-

¹ Очевидно, имеется в виду забастовка учащихся Высшего коммерческого училища в Токио в 1909 г.

ствительно его не любят или преследуют какую-то выгоду? — Дайскэ подлил в чашку кипятку.

— Этого я не знаю. А вы, сэнсэй?

— Я тоже не знаю. Хотя полагаю, что они преследуют какую-то выгоду. Не станет современный человек просто так устраивать беспорядки. Ловчат они, вот и все.

— Неужели?... — Кадоно посерьезнел. Но Дайскэ больше ничего не сказал. Бесполезно. До Кадоно все равно не дойдет. Сколько ни объясняй, он будет смотреть ясными глазами и без конца повторять: «Неужели... Вот оно что...» Так и не узнаешь, понимает он, что ему говорят, или нет. Именно поэтому Дайскэ, собственно, и держал Кадоно. Общение с ним не требовало ни малейшего усилия мысли, не нарушало покоя. Кадоно, в свою очередь, это вполне устраивало, он целыми днями шатался без дела, даже на занятия не ходил. Изредка, правда, Дайскэ ему говорил: «Занялся бы ты хоть иностранным языком», на что Кадоно отвечал: «Да, пожалуй», или же: «В общем-то, конечно...» Другого ответа от такого бездельника и ждать было нечего. К тому же Дайскэ считал, что достоин лучшей участи, нежели обучать и воспитывать Кадоно, и предоставил молодого человека самому себе. Хорошо еще, что руки и ноги у Кадоно работали не в пример голове усердно. Эти его качества Дайскэ ценил очень высоко, не говоря уже о старухе служанке, которой Кадоно значительно облегчил жизнь. Естественно поэтому, что старуха с Кадоно были в большой дружбе и, когда хозяина не было дома, часто беседовали.

— Как по-вашему, тетушка, чем намерен заняться сэнсэй?

— Ты не волнуйся. При ихнем богатстве можно заниматься, чем душе угодно.

— Да я и не волнуюсь. Просто думаю, что неплохо бы ему чем-нибудь заняться.

— Я так думаю. Возьмет господин в дом жену, а потом будет потихоньку службу искать.

— Неплохо! Я бы тоже не прочь так пожить: весь день книжки читать или же музыку слушать.

— Ты не прочь?

— Можно даже не читать. Просто жить праздно, как он.

— Это уж что кому на роду написано, ничего тут не поделаешь.

— Вот оно что!

И все в таком духе. Недели за две до того, как Кадоно поселился в доме молодого холостяка Дайскэ, между ним и будущим хозяином состоялся следующий разговор:

— Учишься где-нибудь?

— Учился, а сейчас бросил.

— Где же ты учился?

— Да так, в разных местах. Уж очень быстро надоедает.

— Надоедает?

— Да.

- Значит, большого желания учиться у тебя нет?
— Совсем никакого нет. А тут еще дома нелады.
— Я слышал, моя служанка знает твою мамашу?
— Да, когда-то соседями были.
— Мамаша по-прежнему...
— Да, по-прежнему всякой ерундой занимается, на дом берет работу, но в последнее время дела вроде бы идут неважно, заказов совсем нет.
— Ты сказал «вроде бы». Разве вы не вместе живете?
— Живем-то вместе, но я никогда ее об этом не спрашиваю, уж очень нудно. Слышу только, как она без конца ноет.
— А старший брат что делает?
— На почте работает.
— Еще кто-нибудь есть в семье?
— Младший брат. В банке служит. Кажется, рассыльный, а может, чуточку поважнее.
— Выходит, ты один не работаешь?
— Выходит, так.
— Чем же ты занимаешься?
— Сплю, сколько влезет. А то иду гулять.
— Все работают, а ты спишь. И совесть не мучает?
— Нет, не мучает.
— Мирно живете?
— Вроде бы мирно, не ссоримся. Как-то даже чудно.
— Я думаю, старший брат и мамаша ждут не дождутся, когда ты от них уйдешь.
— Возможно.
— Выглядишь ты довольно беспечным малым, если не притворяешься.
— А чего мне притворяться?
— Ну, ты просто олицетворение беспечности.
— Пожалуй, что да.
— Сколько лет старшему брату?
— Сколько лет? Кажется, двадцать шесть исполнится.
— Самая пора жениться. Что ты будешь делать, если он приведет в дом жену? Жить, как сейчас?
— Пока даже представить себе этого не могу. Но думаю, что как-нибудь утрясется.
— А родственники у вас есть?
— Тетка. Держит в Йокогаме агентство морских перевозок.
— Тетушка?
— Точнее говоря, дядя.
— Ты мог бы у них работать. В агентстве морских перевозок всегда нужны люди.
— Не возьмут они меня. Я ведь лентяй от природы.
— Ты за других не решаи. Кстати, твоя мать просила мою служанку пристроить тебя ко мне.
— Слыхал, что-то насчет этого она говорила...
— А ты сам как на это смотришь?

— Да уж постараюсь не лениться...

— Где же ты хочешь жить: дома или у меня?

— Пожалуй, что у вас.

— Но все время спать да гулять тебе здесь не удастся.

— Об этом не беспокойтесь. Я ведь крепкий. Могу воду носить, если понадобится, ну, скажем, для ванны или еще для чего.

— Воду для ванны носить не надо, водопровод есть.

— Тогда в доме прибираться буду...

Так Кадоно стал сёсэем у Дайскэ.

Покончив с завтраком, Дайскэ закурил. Кадоно, который сидел возле посудного шкафчика, обхватив колени и прислонившись к стене, решил, что сейчас самое время обратиться к хозяину:

— Как ваше сердце, сэнсэй?

С некоторых пор Кадоно стала известна мнительность хозяина, и вопрос прозвучал несколько иронически.

— Пока ничего, в порядке.

— Сегодня в порядке, а что будет завтра? При такой мнительности, как у сэнсэя, можно и вправду заболеть.

— Я уже болен.

Кадоно лишь хмыкнул, глядя на пышущее здоровьем лицо Дайскэ, на его полные плечи, вырисовывающиеся под хаори. Дайскэ испытывал к Кадоно чувство, близкое к жалости. Он был убежден, что голова юноши набита коровьими мозгами. В разговоре он может следовать за собеседником лишь по прямому пути, но стоит свернуть чуть-чуть в сторону, и рассуждения, доступные любому нормальному человеку, превращают Кадоно в заблудившегося ребенка. Что же до логических построений, то тут Кадоно не в состоянии и шагу ступить даже по самой прямой дороге. Его нервная система еще примитивнее. Она будто сплетена из грубых соломенных веревок. Наблюдая за Кадоно, Дайскэ порой задавался вопросом, для чего, собственно, такой человек дышит и существует. Тем не менее Кадоно продолжает как ни в чем не бывало бездельничать. К тому же, он втайне считает, что своим образом жизни ничем не отличается от хозяина, и потому держится весьма нагло. Мало того, толстокожий, будто одетый в панцирь, он никогда не упускает случая ужалить хозяина в самое больное место. Нервы Дайскэ — это налог, который он платит за особое умение изощренно мыслить, за повышенную восприимчивость. Нервы — источник его мучений, обратная сторона медали утонченного воспитания. Они — нравственная кара Дайскэ за прирожденный аристократизм. Дайскэ смирился с этими мученьями, безропотно принял кару и потому смог стать таким, как он есть. Именно в таких жертвах он видел смысл жизни. Но что понимает в этом Кадоно?

— Кадоно-сан, почта не приходила?

— Почта? Э-э... Пришла. Открытка и письмо. Я положил их на стол. Принести?

— Да нет, я и сам могу сходить.

Ответ был весьма уклончивый, и Кадоно поспешил принести хозяину почту. На открытке бледной тушью небрежным почерком было написано несколько строк: «Спешу сообщить, что сегодня в два приехал в Токио и остановился в гостинице. Адрес на лицевой стороне открытки. Хотел бы встретиться завтра утром». Название гостиницы на улице Урадзимбо-тё и имя отправителя — Цунэдзиро Хираока — были указаны таким же небрежно-размашистым почерком.

— Уже приехал? Видимо, вчера, — пробормотал Дайскэ, беря конверт: он узнал почерк отца. «Несколько дней, как вернулся. Срочного ничего нет, но поговорить хотелось бы. Как только получишь это письмо — приходи». В конце было несколько строк о всяких пустяках, как, например: «Цветы в Киото еще не распустились», или: «Скорый, которым ехал, был переполнен». Дайскэ вложил письмо в конверт и с каким-то неопределенным выражением лица переводил взгляд с конверта на открытку.

— Послушай-ка, — сказал он наконец. — Позвони, пожалуйста, ко мне домой.

— Сейчас. А что сказать?

— Что на сегодня у меня назначена встреча с одним человеком, поэтому прийти не смогу. А завтра или послезавтра буду непременно.

— Ясно. Кому я должен это передать?

— Кому угодно. Не обязательно отцу... Он только что вернулся из поездки и хочет со мной поговорить...

— Ясно.

Кадоно вразвалку пошел к телефону. Из столовой Дайскэ вернулся через гостиную в кабинет. Там было чисто прибрано, не оказалось даже брошенной им на пол камелии. Дайскэ подошел к книжному шкафу, справа от которого стояла цветочная ваза, с самого верха снял тяжелый альбом, отстегнул золотую застежку и стал переворачивать лист за листом. Дойдя примерно до середины, Дайскэ остановился и долго разглядывал поясной портрет девушки лет двадцати.

2

Только было Дайскэ подумал переодеться и пойти к Хираоке в гостиницу, как тот сам явился. К воротам, тарыхтя, подкатила коляска рикши, и Дайскэ услышал знакомый, ничуть не изменившийся за три года голос: «Стой, приехали!» В прихожей Хираока попросил у служанки взаймы двадцать сэн, сославшись на то, что оставил в гостинице кошелек, и Дайскэ

сразу вспомнил годы ученья. Он побежал старому другу на встречу и потащил его в гостиную.

— Ну, как дела? Располагайся поудобнее.

— Ого, какая мебель! — воскликнул Хираока, плюхнувшись в кресло; он, видимо, совершенно не считался со своим весом. Откинув коротко остриженную голову на спинку кресла, Хираока осмотрел комнату.

— Отличная квартира, — сказал он. — Еще лучше, чем я предполагал.

Дайскэ ничего не ответил и открыл портсигар.

— Как ты жил все это время? — спросил он.

— Всякое бывало... Потом расскажу.

— Вначале ты часто писал, и я был в курсе всех твоих дел, а потом ты вдруг замолчал...

— Я никому не писал, так уж получилось. — Хираока снял очки, вытащил из верхнего кармана пиджака измятый платок и, моргая, стал вытирать глаза. Он с юных лет был близорук. Дайскэ следил за каждым его движением.

— Расскажи лучше о себе, — попросил Хираока, закладывая за уши тонкие дужки очков.

— У меня все по-прежнему.

— Это прекрасно. А то слишком много вокруг перемен...

Хираока, нахмурившись, стал смотреть в сад и неожиданно сказал уже совсем другим тоном:

— О, у тебя в саду сакура! Только начала цвести. Да, здесь совсем другой климат.

Задумчивого разговора, как бывало раньше, не получалось.

— В тех краях, вероятно, гораздо теплее? — безучастно, в тон Хираоке, произнес Дайскэ.

— Разумеется, теплее, — с деланной горячностью ответил Хираока. Вид у него при этом был слегка удивленный, словно он только сейчас понял, что вернулся в Токио. Дайскэ пристально на него посмотрел. Хираока закурил. Как раз в это время служанка принесла небольшой чайник и сказала, извиняясь: «Я бы раньше подала чай, да только недавно набрала воды в котелок и ждала, пока она вскипит, так что не обессудьте». С этими словами она поставила на стол поднос из сандалового дерева, и оба приятеля молча на него уставились. Старуха же, не получив ответа на свои извинения, приветливо улыбнулась и вышла.

— Что это у тебя за бабка?

— Служанка, разве не видишь? Пришлось нанять, надо же, чтобы кто-нибудь стряпал.

— Весьма услужлива.

Дайскэ пренебрежительно усмехнулся, при этом его красные губы приняли форму изогнутого лука.

— Какой с нее спрос, ведь она в таких домах никогда не служила.

— Взял бы кого-нибудь из родительского дома. Слуг там хватает.

— Но все молодые, — серьезно ответил Дайскэ. Хираока не выдержал и расхохотался.

— Так ведь молодые лучше.

— Нет, что ни говори, служанки там никуда не годные.

— А кроме этой старухи, кто-нибудь у тебя живет?

— Сёсэй.

Кадоно тем временем успел вернуться и разговаривал на кухне со служанкой.

— И больше никого нет?

— Нет. А что?

— Ты не женат?

Дайскэ слегка покраснел, но тут же очень спокойно ответил:

— Если бы я женился, то уж тебе, во всяком случае, сообщил бы об этом. Расскажи, как у тебя... — начал оп и осекся.

Дайскэ и Хираока подружились еще в средней школе, учились вместе в университете и целый год после окончания были неразлучны, как братья, делились всем сокровенным, помогали друг другу советами. Чаще это было для них развлечением, но иногда все же приносило какую-то пользу, и каждый поверил, что готов на любую жертву ради друга. Им и в голову не приходила такая банальная мысль, что принесит кто-нибудь из них жертву, и развлечение тотчас обернется мукой. Спустя год Хираока женился и одновременно был переведен в район Кэйхан, в один из местных филиалов банка, в котором служил. Дайскэ провожал молодоженов на вокзале Симбаси. Пожимая руку Хираоке, он весело сказал: «Быстрее возвращайся!» Хираока вскользь заметил, что ничего, дескать, не поделаешь, придется некоторое время потерпеть. Но за стеклами его очков Дайскэ увидел блеснувшее во взгляде самодовольство. И вместе с легкой завистью в душе его шевельнулась неприязнь к другу. Вернувшись домой, он весь день просидел у себя в комнате, погруженный в раздумья. Отказался даже пойти с невесткой на концерт, как было условлено, чем немало ее расстроил.

От Хираоки часто приходили письма: о благополучном прибытии на место, о том, что он обзавелся собственным домом, потом о службе в филиале банка, о планах на будущее. Дайскэ отвечал на каждое письмо. Но при этом его всякий раз охватывало какое-то странное беспокойство, и порой, не в силах его подавить, он бросал перо. Лишь на те письма, в которых Хираока с благодарностью вспоминал их прежнюю дружбу, Дайскэ отвечал спокойно и легко.

Между тем письма стали приходить все реже: вначале два раза в месяц, потом раз в месяц, потом раз в два месяца,

наконец, раз в три месяца, и теперь уже Дайскэ испытывал тревогу оттого, что ему не надо писать письма. Чтобы прогнать ее, время от времени он, неизвестно зачем, смачивал клей на конвертах. Однако спустя полгода Дайскэ почувствовал, что настроение его постепенно меняется. Исчезла мучившая его потребность писать Хираоке. С тех пор как Дайскэ стал жить своим домом, за год с лишним он лишь сообщил Хираоке свой новый адрес — и то вместе с ответом на новогоднее поздравление.

Были, однако, обстоятельства, мешавшие Дайскэ совсем забыть Хираоку. И временами он вспоминал о старом друге, старался представить себе его нынешнюю жизнь, — тем дело и ограничивалось: он и не думал навести справки, осведомиться, как идут у Хираоки дела, просто считал, что нет в том нужды. И вот две недели назад от Хираоки неожиданно пришло письмо, в котором он сообщил о своем намерении в ближайшее время переехать в Токио. «Не думай, — писал Хираока, — что речь идет о повышении в должности и я выполняю приказ главной конторы. Просто у меня вдруг появилось желание переменить профессию. Надеюсь на твою помощь в Токио». Имела ли фраза насчет помощи реальный смысл или же была данью вежливости, трудно сказать, бесспорным было лишь то, что судьба Хираоки коренным образом изменилась. Дайскэ ахнул, прочитав письмо.

Он собирался при встрече подробно расспросить обо всем Хираоку, но разговор, к сожалению, с самого начала пошел совсем о другом. Улучив момент, Дайскэ наконец коснулся главного, но Хираока уклончиво ответил, что об этом-де они поговорят как-нибудь в другой раз не спеша. Тогда Дайскэ предложил:

— Пойдем посидим где-нибудь, ведь столько лет не виделись, заодно и перекусим.

И хотя Хираока стоял на своем: «Как-нибудь в другой раз...» — Дайскэ потащил его в соседний европейский ресторан.

Друзья изрядно выпили. Перекинулись замечаниями о том, что вот они опять, как бывало, вместе едят и пьют, постепенно языки у них развязались. Пересыпая шутками свой рассказ, Дайскэ сообщил приятелю, что несколько дней назад во время пасхи ходил в церковь св. Николая смотреть службу. Служба началась ровно в двенадцать ночи, когда все вокруг уже спят. Обойдя вокруг длинной галереи, прихожане вернулись в главный храм, где к тому времени зажглось несколько тысяч свечей. В глубине шла целая процессия священников в ризах, и по стенам, строго выкрашенным в один цвет, двигались их огромные тени. Хираока слушал, подперев щеку рукой, шуря за стеклами очков покрасневшие глаза. Около двух часов ночи, рассказывал Дайскэ, он вышел на широкую улицу Онарикайдо и, следуя по темневшей в ночи трамвайной линии,

очутился в роще Уэно, среди сверкающих в электрическом свете цветов.

— Ночью, когда вокруг ни души, сакура просто великолепна, — сказал Дайскэ. Хираока осушил рюмку и с легкой грустью промолвил:

— Да, вероятно, хороша. Мне ни разу не приходилось видеть... Но все это прекрасно, пока по столкнешься с жизнью. А уж потом тебе не до этого. — Он с чувством легкого превосходства посмотрел на своего неопытного друга. Не говоря уже о тоне, каким это было сказано, Дайскэ показался нелепым сам ответ. Житейскому опыту он предпочитал опыт той пасхальной ночи.

— По-моему, нет ничего глупее, чем так называемый житейский опыт. Одни страдания, не так ли?

Хираока поднял ословевшие глаза.

— У тебя, кажется, изменились взгляды. Раньше ты считал, что страдания действуют на человека благотворно.

— Несмышленный юнец, подпавший под влияние банальных истин, мог болтать, что попало. Теперь я поумнел.

— Пора и тебе выйти в широкий мир. А то опоздаешь.

— В широкий мир я вышел давно. Сразу после того, как мы с тобой расстались. Теперь мой мир совсем иной.

— С тебя еще не сбили спесь, но рано или поздно ты сдашься.

— Разумеется, если нечего будет есть. В любой момент. Но сейчас мне это не угрожает, с какой же стати мучить себя во имя какого-то пошлого житейского опыта. Ведь это все равно, что индийцу надеть пальто на случай, если вдруг стукнет мороз.

На какое-то мгновение брови Хираоки сошлись на переносице, и, уставившись в одну точку, он усиленно дымил сигаретой. Дайскэ решил, что наговорил лишнего, и продолжал уже более миролюбиво:

— Есть у меня один знакомый, который совершенно не смыслит в музыке. Он учитель. Чтобы свести концы с концами, ему приходится преподавать не то в трех, не то в четырех школах сразу. Жаль мне его. Бедняге едва хватает времени на подготовку к урокам, которые он потом, как заведенный, излагает в классе. Все долгожданное воскресенье он храпит, называя это отдыхом после трудов праведных. Ни в концерт пойти, ни знаменитого артиста послушать у него нет никакой возможности. Так, видно, ему и суждено умереть, ни разу не войдя в прекрасный своеобразный мир — мир музыки. Что может быть печальнее, чем неопытность в этом смысле! Уменье добывать хлеб насущный, может быть, и важнее, но как это низменно. Думать лишь о пропитании недостойно человека. Ты, видно, все еще считаешь меня мальчишкой, но в мире, где я живу, богатом и исполненном смысла, я чувствую себя более зрелым, чем ты.

— Хорошо, если тебе удастся навсегда остаться в твоём мире, — мрачно заметил Хираока, стряхивая на тарелку пепел. Его слова прозвучали, как проклятье богатству.

Друзья вышли на улицу. Они затеяли этот нелепый спор под воздействием винных паров, а до главного так и не дошли.

— Пройдемся немного? — предложил Дайскэ. Хираока ответил что-то неопределенное и пошел вслед за Дайскэ. Он, видимо, не очень торопился, как заявил об этом в начале встречи. Пока, свернув в боковую улочку, они выбирали место поукромнее, как-то сам собой завязался разговор, которого так ждал Дайскэ.

Приехав на место, Хираока стал усиленно изучать дело и попутно экономическое положение района. При первой же возможности он намеревался обобщить теоретически то, что делалось на практике. Однако недостаточно высокое положение не позволило ему осуществить свои планы, и он решил, что попытается сделать это в будущем. В первое время, правда, он обращался с некоторыми рекомендациями к управляющему филиалом, но тот отнесся к ним без всякого интереса. Когда же Хираока привел доводы, довольно сложные, это вызвало у управляющего явное неудовольствие, и он посмотрел на Хираоку так, словно хотел сказать: «Что ты смыслишь в этом, желторотый птенец?» Сам же он, кстати, ничего не смыслил. Просто боялся соперничества Хираоки и потому пренебрегал всеми его предложениями. Выведенный из себя Хираока не раз вступал с ним в спор, и дело доходило до конфликтов.

Но шло время, и Хираока смирился с окружающей обстановкой, делал все, чтобы приноровиться к ней. Управляющий между тем сменил гнев на милость и изредка даже советовался с Хираокой. Да и сам Хираока, умудренный некоторым опытом, не перечил больше управляющему, как это было в первое время, когда он только-только закончил учебу.

— Разумеется, — оговорился Хираока, — я не льстил и не выслуживался.

— Я понимаю, — с серьезным видом ответил Дайскэ.

Управляющий очень заботился о будущем Хираоки. «Скоро подойдет моя очередь вернуться в главную контору, возьму тебя с собой», — сказал он как-то полухотливым тоном. Постепенно Хираока освоился с делом, стал пользоваться доверием, обзавелся знакомствами, и для занятий у него уже не оставалось времени, они мешали работе.

— Я сблизился с одним из моих подчиненных, неким Сэки, и во многом советовался с ним, как управляющий со мной, — рассказывал Хираока. — И вдруг этот Сэки связался с гейшей и совершил растрату. Судя по обстоятельствам, это грозило неприятностями управляющему, — тогда я решил взять вину на себя и подал в отставку.

Вот в общих чертах все, что рассказал Хираока. Но Дайскэ почему-то казалось, будто это управляющий заставил Хираоку принять такое решение, убедил его в том, что оно неизбежно. Такой вывод можно было сделать хотя бы из последней фразы Хираоки: «Чем выше по положению служащий фирмы, тем он изворотливее. Жаль мне таких, как Сэки, которых за первую же провинность увольняют».

— Выходит, управляющий — самый главный ловкач, да? — спросил Дайскэ.

— Возможно, — уклончиво ответил Хираока.

— А как решился вопрос с растраченными деньгами?

— Я внес. Там не было и тысячи иен.

— Здорово! Ты, я вижу, тоже ловкач.

Хираока поморщился и пристально посмотрел на Дайскэ.

— Допустим. Но я ведь истратил все свои деньги, сейчас даже жить не на что. А чтобы внести за Сэки, я занял.

— Вот как? — невозмутимо заметил Дайскэ своим обычным ровным тоном, которому, казалось, была присуща своеобразная округленность.

— Занял у управляющего и покрыл недостачу.

— Почему же ты, а не Сэки или как там его?

Хираока ничего не сказал. Дайскэ не стал допытываться. Некоторое время они молча шли рядом. Дайскэ не сомневался, что какие-то подробности Хираока утаил от него. Но выспрашивать неловко. Кроме того, как истый горожанин он не мог позволить себе подобного любопытства. Дитя Японии двадцатого века, Дайскэ, хотя ему не было и тридцати, успел проникнуться идеей *nil admirari*¹. Он не деревенский простаk, чтобы удивляться человеческим порокам. Ему не шекочут нервы всякие пошлые тайны. Его нервы настолько истрепаны, что не воспринимают даже приятных ощущений.

Вот как далеко вперед ушел Дайскэ в своем особом мире, не имеющем почти ничего общего с миром Хираоки, хотя, к несчастью, во все времена и эпохи оборотной стороной прогресса является регресс. Но Хираока ничего этого не знал. Он, вероятно, считал Дайскэ таким же наивным, каким тот был три года назад. Обнажить перед этим мальчишкой свои слабые стороны все равно, что напугать барышню, кинув в нее из озорства конским пометом. Чем сболтнуть лишнее и тем вызвать к себе неприязнь, куда безопаснее молчать... — так представлял себе Дайскэ ход мыслей Хираоки, и молчание друга казалось ему до нелепого смешным. Теперь уже Дайскэ смотрел на Хираоку как на мальчишку, и не просто мальчишку, а малого ребенка. Но свои мысли каждый держал при себе и ни словом о них не обмолвился, когда разговор возобновился.

¹ «Ничему не удивляться» — слова Горация, которые в Японии часто употреблялись для обозначения нигилистических настроений мэйдзийской интеллигенции.

— Что же ты собираешься делать?

— Гм...

— Лучше не менять профессию, ведь все же накопился опыт...

— Гм... Все зависит от обстоятельств. Я, честно говоря, собирался потолковать с тобой по душам, посоветоваться... Может, в фирме твоего брата найдется для меня место?

— Гм... Попробую что-нибудь устроить... Я как раз собираюсь в ближайшие дни домой, по делу. Не знаю только, что из этого получится...

— Если ничего не получится, попробую устроиться в какую-нибудь газету, не знаю...

— Что же, это неплохо.

Они снова вышли на улицу, по которой ходил трамвай. Некоторое время Хираока созерцал дугу шедшего навстречу трамвая, потом вдруг заявил, что этим трамваем уедет сейчас домой. «Ага», — произнес Дайскэ и не стал удерживать Хираоку. Но расстались они не сразу. Вместе дошли до трамвайной остановки, и тут Дайскэ спросил:

— Как поживает Митиё-сан?

— Спасибо, по-прежнему. Передавала тебе привет. Хотел взять ее с собой, но у нее голова разболелась, видимо, укачало в поезде, пришлось оставить ее в гостинице.

Подожел трамвай, Хираока заторопился, но Дайскэ остановил его: трамвай был совсем другой, не тот, что нужен Хираоке.

— Ребенка жаль, — сказал Дайскэ.

— Да, бедняжка. Спасибо тебе за участие. Лучше бы не родился, чем потом умереть.

— А еще дети будут?

— Вряд ли. Здоровье не позволяет.

— Может, это и к лучшему, особенно при таких жизненных встрясках.

— Пожалуй, ты прав. А холостяку, вроде тебя, например, живется еще легче.

— Вернись к холостяцкой жизни.

— Ты все шутишь... А вот жена за тебя беспокоится: женился, думает, или не женился.

Подожел трамвай.

3

Току Нагаи, отцу Дайскэ, во времена Реставрации¹ довелось участвовать в боях, но по сей день это был крепкий бодрый старик. Оставив государственную службу, он занялся

¹ Реставрация Мэйдзи. — Имеется в виду буржуазная революция 1868 г., ликвидировавшая феодальный строй под флагом реставрации власти императора, узурпированной сёгунами.

коммерческой деятельностью, сколотил капиталец и за полтора десятка лет превратился в довольно состоятельного человека.

Старший брат Дайскэ, по имени Сэйго, закончив учение, сразу же поступил на службу в компанию, куда его устроил отец, и сейчас занимал важный пост. Жена, Умэко, родила ему двоих детей: Сэйтаро, которому уже исполнилось пятнадцать, и дочь Нуи, тремя годами моложе.

Старшая сестра Дайскэ вместе с мужем-дипломатом жила в Европе. Были у него еще два брата, по они рано умерли. Мать тоже умерла. Теперь вместе с отцом в большом доме жили пять человек.

Каждый месяц Дайскэ ходил туда за деньгами. Ему было безразлично, на чьи средства он существует — отца или старшего брата. Иногда ему становилось скучно, и кроме делового визита он наносил еще неделовой: позабавится с детьми, поиграет с сёсэем в шашки, поболтает с невесткой о театре и возвращается домой.

Невестка нравилась Дайскэ. В ней своеобразно сочетались старомодность феодальной Японии с присущими постемэйдзийскому обществу современными представлениями. По ее просьбе золовка прислала из Франции очень дорогую ткань с каким-то мудреным названием, невестка сшила себе из нее оби, а остаток материи подарила приятельницам. Но как все потешались, когда выяснилось, что эта ткань экспортировалась в Европу из Японии! Обнаружил это Дайскэ, увидев ее в витрине магазина Мицукоси. Невестка очень любила европейскую музыку, и Дайскэ часто приглашал ее на концерты. Одновременно она проявляла повышенный интерес к гаданию, почитала физиономиста Сэки Рюси¹ и некоего Ядзиму. Так что Дайскэ пришлось несколько раз сопровождать ее к предсказателю.

Ее старший сын Сэйтаро с некоторых пор стал увлекаться бейсболом, и Дайскэ изредка ходил вместе с ним, подавал ему мяч. Мальчик постоянно питал к чему-нибудь пристрастие. Когда с наступлением лета многие торговцы вместо печеного батата начинали продавать сироп со льдом, он первый из мальчишек прибегал к ним и ел мороженое, хотя настоящей жары еще не было. Если же мороженого не оказывалось, он довольствовался сиропом со льдом. После этого, очень довольный, он возвращался домой. Стоило ему услышать, что строится зал для показательных состязаний по борьбе сумо, как он тут же заявил, что хочет во что бы то ни стало попасть

¹ Сэки Рюси — гадальщик по чертам лица, пятый из семьи предсказателей периода Эдо (1603—1867). Сэки Рюси, используя идеи европейской френологии, провозгласил создание науки об определении характера и судьбы человека по его внешним данным, в 1908 г. стал издавать специальный журнал.

туда в первый же день. «Нет ли у вас знакомых среди борцов сумо?» — не раз приставал он к Дайскэ.

Дочь, Нуи, что бы ей ни сказали, неизменно отвечала: «Ой, ну что это вы...», несколько раз на день меняла ленты в волосах. С недавнего времени она стала учиться игре на скрипке, и, когда упражнялась дома, можно было подумать, будто кто-то точит пилу. Хорошо еще, что играла она у себя в комнате, плотно закрыв дверь. Видимо, поэтому родителям казалось, что дочь делает немалые успехи в музыке. Один Дайскэ изредка приоткрывал дверь и тихонько заглядывал, но тут же слышал сказанное капризным тоном неизменное «Ой, ну что это вы...».

Старший брат редко бывал дома, все время поглощали дела. Дети видели его только за завтраком и понятия не имели, как он проводит остальное время. Не знал этого и Дайскэ. Впрочем, он предпочитал оставаться в неведении, жизнь брата вне дома его совершенно не интересовала.

Дети очень любили Дайскэ. Невестка тоже к нему благоволила. Как относится к нему брат, Дайскэ не знал. В тех редких случаях, когда они виделись, разговор шел лишь на житейские темы. При этом лица у обоих были бесстрастными, тон невозмутимым, как у людей, давным-давно привыкших к банальным темам.

Наиболее теплые чувства Дайскэ питал к отцу. Он даже прощал ему молодую любовницу. И не только прощал, но и одобрял. Пусть осуждают отца те, кто не может позволить себе такую роскошь. В детстве Дайскэ трепетал перед отцом, отличавшимся брюзгливым характером и склонностью к поучениям. Став взрослым, он, разумеется, уже не испытывал этого чувства. Единственное, что вызывало в Дайскэ протест, это стремление отца поставить знак равенства между молодыми людьми его времени и времени нынешнего. Отец старался навязать сыну собственные взгляды на жизнь и протест Дайскэ считал неразумным. Почему неразумным, об этом Дайскэ не спрашивал, и, может быть, поэтому дело до ссор никогда не доходило. По природе своей Дайскэ был очень вспыльчив, и лет восемнадцати — девятнадцати он два раза полез было в драку с отцом. Но с возрастом вспыльчивость прошла. Он завершил образование, стал взрослым, и никто больше не видел, чтобы он выходил из себя. Отец втайне гордился, убежденный в действенности своих наставлений.

На самом же деле эти так называемые наставления отца лишь способствовали постепенному отчуждению от него сына. Так, по крайней мере, думал Дайскэ, Отец, однако, придерживался иного мнения. Как бы там ни было, а сын — кровь и плоть отца. Он должен любить отца независимо ни от чего. И если ради воспитания отец и перегнет немного палку, это никоим образом не может повлиять на сыновнюю любовь.

Приверженец конфуцианства, отец твердо в это верил. Тот простой факт, что родитель дает жизнь сыну, служит гарантией от всяких бед и страданий, является залогом вечной любви. Этому своему убеждению отец Дайскэ следовал неуклонно. И, следуя ему, вырастил сына холодного и равнодушного. После того как Дайскэ закончил ученье, отец стал обращаться с ним совсем по-другому, проявлял несвойственную ему терпимость. Это было всего лишь частью программы, выработанной отцом в тот самый момент, когда Дайскэ появился на свет, и не имело ничего общего с теми изменениями, которые происходили в душе и мыслях взрослого сына. Отец по-прежнему не замечал дурных последствий такого рода воспитания.

Предметом гордости отца являлось его участие в сражениях во времена Реставрации. Он частенько корил сына за робость, объясняя ее тем, что тот не воевал. Храбрость, с его точки зрения, была основным достоинством человека. У Дайскэ эти разговоры всякий раз вызывали неприязнь. В те далекие варварские времена жестокой борьбы, рассуждал Дайскэ, храбрость, возможно, и была необходима, в нынешнее же просвещенное время в ней нет особой нужды, так же как, скажем, в старинных атрибутах стрельбы из лука или фехтования на мечах. Более того, храбрость сейчас вытеснили другие, более ценные человеческие качества. «Снова отец прочел мне лекцию о храбрости, — смеясь, рассказывал Дайскэ невесело. — Его послушать, так выходит, что в этом мире нет никого достойнее каменного Дзидзо»¹.

Дайскэ, разумеется, не отличался храбростью и совершенно искренне считал, что быть трусом совсем не стыдно. Случалось даже, что у него появлялось желание заявить об этом во всеулышание. Как-то в детстве отец уговорил Дайскэ отправиться ночью на кладбище Аояма. Мальчик заставил себя пробыть там целый час, вернулся домой бледный от страха и очень досадовал на себя за это. Но когда наутро отец поднял Дайскэ на смех, он разозлился. А отец стал рассказывать, что в его время юноши, желая воспитать в себе мужество, взбирались на вершину Цуругигаминэ в миле к северу от замка даймё², до зари сидели в одиночестве в храме у дороги и, встретив восход солнца, возвращались домой. Они по-другому относились к жизни, чем нынешняя молодежь, с осуждением замечал отец.

Дайскэ с жалостью думал об отце, который всерьез говорил подобные вещи и по сей день не изменил своих взглядов. Дайскэ боялся землетрясений. При малейшем толчке сердце у него готово было выпрыгнуть из груди. Сидит он, бывало,

¹ Дзидзо — божество — покровитель путников и детей, каменные изображения которого устанавливались на обочинах и скрещеннях дорог.

² Даймё — владетельный князь.

в кабинете, и вдруг ему начинает казаться, что сейчас будет землетрясение. А в следующий момент он уже явственно ощущает, будто дрожат дзабутон, на котором он сидит, татами и даже пол. Дайскэ был убежден, что такая обостренная чувствительность присуща ему от рождения. Людей, подобных отцу, он считал дикарями, лишенными нервов, склонными к самообману глупцами...

Сейчас Дайскэ сидел напротив отца в маленькой комнате, выходящей в сад, наполовину скрытый от глаз длинным низким карнизом крыши. Виднелся только краешек неба. Несмотря на это, сидеть здесь было приятно: вокруг царили тишина и покой.

Отец курил мелко нарезанный трубочный табак. Пододвинув к себе продолговатый поднос с курительными принадлежностями, он время от времени стряхивал пепел, постукивая трубой по пепельнице, и стук этот мелодичным эхом отдавался в тишине сада. В жаровне поблескивали золотым мундштуком несколько окурков, сложенных в ряд; Дайскэ накурило пускать кольцами дым из носа, и он, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел на отца. Лицо у старика все еще было полное и холеное, только щеки, утратив упругость, немного запали. Из-под мохнатых бровей виднелись тронутые морщинами веки. В седых усах проглядывала желтизна. У него вошло в привычку во время разговора переводить взгляд с лица на колени собеседника, сверкая при этом белками, что производило несколько странное впечатление.

— Никто не вправе думать только о себе, — говорил старик. — Есть общество. Есть государство. Жизнь теряет всякий смысл, если не приносишь людям хоть какой-нибудь пользы. Взять хоть тебя. Разве испытываешь ты радость от праздного шатанья? Шла бы речь о человеке необразованном, из низов общества — тогда другое дело. Но что за удовольствие от полного безделья человеку просвещенному? Ему просто необходимо применять на практике полученные знания, тогда появляется интерес к жизни.

— В общем-то, да, — бормотал Дайскэ. Проповеди отца всегда ставили его в тупик, и он отвечал первое, что придет в голову. По мнению Дайскэ, в суждениях отца не было ни капли здравого смысла, им не хватало зрелости и глубины. Он с легкостью переходил с альтруистических позиций на эгоистические, извергал потоки пышных бессмысленных слов, и никогда нельзя было угадать, к какому выводу он в конце концов придет. Перечить старику было трудно, да и бесполезно, и Дайскэ ни разу на это не отважился. Отец же, полагая, что сын находится в одной с ним солнечной системе, неустанно его наставлял, считая себя вправе направлять движение Дайскэ по орбите. И Дайскэ оставалось лишь, приняв смиренный вид, вращаться вокруг солнца — старика отца.

— Не нравится коммерческая деятельность — не надо.

Есть другие способы приносить Японии пользу. Не зарабатывай, если тебе это не по душе. Рассчитывай на мою помощь. Мне уже недолго осталось, деньги с собой в могилу не унесешь. Того, что я даю, на пропитание тебе хватает. Соberись с духом и займись каким-нибудь полезным делом. Выполни свой гражданский долг. Тебе ведь уже тридцать?

— Да.

— В твоём возрасте бездельничать просто неприлично.

Дайскэ, однако, причислял себя к высшей расе, а не к бездельникам и трудиться ради хлеба насущного считал позорным. Как не жалеть отца, который говорит подобные вещи! Он настолько примитивен, что не в состоянии понять, сколь плодотворно для своих мыслей и чувств Дайскэ использует время. И на все поучения отца он с самым серьёзным видом отвечал:

— Просто ума не приложу, что делать.

Старик относился к Дайскэ, как к ребёнку, чему в немалой степени способствовали его односложные и наивные ответы. «Учи его, не учи, — думал старик, — ругай, не ругай, все без толку, вырос, а возни с ним, будто с маленьким». Обескураживал тон Дайскэ, спокойный и невозмутимый, он никогда не прекословил отцу, но подступиться к нему, в этом старик все больше и больше убеждался, было не так просто.

— Со здоровьем у тебя, надеюсь, в порядке?

— За последние два-три года даже ни разу не простудился.

— И голова на плечах есть. Ты ведь неплохо учился?

— В общем, да.

— Тем более грешно болтаться без дела. Кстати, помнишь, одно время к тебе часто заходил молодой человек, запомнил его имя. Так вот, я раза два его встречал.

— Хираока?

— Он самый. Он не считался таким уж способным, а смотри, сразу после университета уехал куда-то работать!

— Зато сейчас потерял место и вернулся и Токио.

— Это почему же? — с плохо скрытой досадой, усмехнувшись, спросил старик.

— Вероятно, потому, что работал ради куска хлеба.

Старик не понял намека и пропустил эти слова мимо ушей.

— Может, натворил что-нибудь? — спросил он.

— Если человек поступает по совести, он всегда что-нибудь натворит.

— Так, так, — как-то неопределенно протянул отец, но тут же снова перешел к поучениям: — Говорят, что молодых людей часто постигают неудачи, но это потому, что им не хватает искренности и усердия. Я прожил жизнь и теперь знаю, что без этих двух качеств успеха ни за что не добьешься.

— Бывает, что искренность и усердие как раз и ведут к неудачам.

— Нет, не бывает.

Над головой отца в рамке висело изречение: «Истинный путь предначертан небом». Отец очень дорожил им, говорил, что изречение собственноручно написал для него последний глава клана, великолепный каллиграф. Дайскэ же видеть не мог этой отцовской реликвии: и написана скверно, и сам смысл раздражает — так и подмывает к словам: «Истинный путь предначертан небом» — добавить: «Но человеку он не нужен».

Много лет назад, когда казна клана опустела, Нагаи, которому было поручено привести дела в порядок, призвал нескольких горожан, приближенных князя, вынул из-за пояса меч, отложил его в сторону и с поклоном попросил у них взаймы денег, заметив при этом, что вряд ли удастся вернуть долг. Столь честное признание и обеспечило успех дела. А глава клана даже подарил ему за это шедевр своего каллиграфического искусства. Отец повесил его у себя в кабинете и с тех пор постоянно им любуется. Эту историю Дайскэ слышал бесчисленное множество раз.

Полтора десятка лет назад поправившееся было финансовое положение княжеского дома из-за непомерных расходов вновь резко ухудшилось, и Нагаи, однажды проявившему недюжинные способности, как и в тот раз, было поручено привести дела в порядок. Прежде всего он решил установить разницу между действительными расходами и записями в книге учета, в частности, даже сам стал топить баню дровами, чтобы выяснить истинный их расход, день и ночь занимался только поручением князя и примерно за месяц сумел наладить ведение хозяйства. С тех пор глава клана с семьей жили сравнительно безбедно.

Гордясь своим прошлым и не желая шага ступить за его пределы, Нагаи уверовал в то, что главное в жизни искренность и усердие.

— У тебя как раз нет ни искренности, ни усердия, — заявил он сыну. — Потому ничего и не получается.

— Есть у меня эти качества, — ответил Дайскэ, — только я не знаю, как ими воспользоваться.

— Почему?

Дайскэ молчал, не зная, как это часто бывало, что ответить. Ему казалось, что искренность и усердие не есть качества, данные от природы, они могут появиться лишь в общении между двумя заинтересованными лицами при прочих благоприятных условиях, подобно тому как возникает искра, когда железо ударяется о камень. Так что дело тут не столько в собственном характере, сколько в характере самого общения между партнерами. При плохом партнере не возникнут ни искренность, ни усердие.

— Вы, отец, вобрали в себя все золото премудрости «Луньюя» или, как там его, Ван Ян-мина¹, — отсюда и ваши суждения.

— Какое золото? Что ты этим хочешь сказать?

Помолчав немного, Дайскэ продолжал:

— И сохранили это золото в первозданном виде.

Нагаи принял слова сына за весьма туманный афоризм, которыми любят щеголять не знающие жизни чудаковатые юнцы-книжники, и, преодолев любопытство, не стал ни о чем больше спрашивать.

Минут сорок спустя старик переделался в другое кимоно, надел хакама и, сев в коляску рикши, куда-то отправился. Дайскэ проводил его до дверей и пошел в гостиную, недавно пристроенную, убранную по-европейски комнату. Почти все здесь — и интерьер и мебель — было сделано по специальному заказу в соответствии с эскизами Дайскэ. Верхняя часть стены, например, во всю ширину была разрисована узорами одним художником, хорошим знакомым Дайскэ. Они вместе обсуждали каждый рисунок, и Дайскэ остался доволен работой художника. Но сейчас, разглядывая рисунки, очень напоминавшие те, что можно увидеть на свитках «эмакимоно»², Дайскэ почему-то не испытывал прежнего удовлетворения. «Чего-то в них недостает», — думал он, внимательно рассматривая фрагмент за фрагментом. Неожиданно вошла невестка.

— Вы здесь? — удивилась она и тут же спросила: — Вам не попался мой гребень?

Гребень оказался на полу возле ножки дивана. Невестка объяснила, что накануне дала его поносить дочери, а та куда-то задевала, и никак нельзя было найти. Говоря это, невестка воткнула гребень в узел на затылке, другой рукой придерживая волосы, и, подняв на Дайскэ глаза, насмешливо сказала:

— Скучаете?

— Да вот, пришлось выслушивать наставления отца.

— Опять? Часто же он вас ругает. Ведь только что вернулся из поездки, и уже... Да и вы хороши, все время сердите его, не слушаетесь.

— Я ведь ни в чем ему не перечу, веду себя сдержанно.

— Это-то и плохо. Поддакиваете, а сами все мимо ушей пропускаете.

¹ «Луньюя» — одна из канонических конфуцианских книг, якобы составленная учениками Конфуция после его смерти и содержащая запись бесед Конфуция с учениками, бесед между учениками по вопросам морали, этики и норм поведения человека в обществе. Ван Ян-мин (1472—1529) — китайский ученый-конфуцианец.

² «Эмакимоно («повесть в картинах») — иллюстрации и рисунки с кратким пояснительным текстом, издававшиеся также в виде альбомов; одно из направлений японской средневековой живописи.

Дайскэ промолчал, лишь криво усмехнулся.

— Сядьте, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами, — сказала Умэко, садясь на стул напротив Дайскэ. Но Дайскэ продолжал стоять, разглядывая невестку, смуглую женщину с густыми бровями и тонкими губами, очень стройную.

— Какой у вас красивый воротник, просто удивительный!

— Вы находите? — Умэко наклонила голову и, скосив глаза, посмотрела на воротник. — Только на днях купила.

— Великолепный цвет.

— Ну ладно, все это не важно. Сядьте же!

— Ну вот, с е л , — сказал Дайскэ, опустившись на стул.

— За что же вас сегодня отругали?

— Толком не знаю. Могу лишь сказать, что преклоняюсь перед способностью отца столь самозабвенно служить обществу и государству, чуть не с восемнадцати лет и поныне, ни на день не дав себе отдыха.

— Благодаря усердию он и достиг такого положения.

— И я бы служил усердно, если бы знал, что наживу такой капитал, как нажил он.

— Ну и беритесь за дело. Но я знаю, вы хитрый! Вам бы хотелось зарабатывать деньги, лежа в постели.

— Я вообще не знаю, как их зарабатывают, ни разу не пробовал.

— Зато, как их тратят, вы знаете.

— Вам что-нибудь брат говорил?

— Ничего он не говорил, потому что давно махнул на вас рукой, только удивляется.

— Суровый он все же. Но еще более достойный, чем отец.

— Почему же это?.. Нет, вы просто несносны. Снова льстите... С серьезным видом насмехаетесь над людьми. Скверная привычка!

— Неужто правда?

— Вы еще сомневаетесь? Хоть бы призадумались, когда вам говорят подобные вещи. Ведь это вас касается.

— Стоит мне прийти сюда, как я превращаюсь в точную копию моего Кадоно. Даже подумать страшно!

— А кто это Кадоно?

— Сёсэй, который у меня живет. На все у него один ответ: «Неужто правда?», или: «В самом деле?»

— Да? Забавно!

Дайскэ помолчал, глядя поверх Умэко на безоблачное небо, видневшееся между занавесками, и высокое дерево вдали. Концы его веток, сплошь усеянных коричневатыми почками, будто скрытые густой сеткой дождя, казались окутанными легкой дымкой и сливались с небом.

— Отличная погода! Поедемте куда-нибудь полюбоваться цветением вишни?

— Непременно. А теперь рассказывайте.

— Что рассказывать?

— Что вам говорил отец.

— Разное говорил, всего по порядку и не расскажешь. Память у меня никудышная.

— Не притворяйтесь... Я ведь знаю, что он...

— Вот вы и расскажите.

— Вас не переговоришь. — Умэко поджала губы.

— Да и вы в долгу не остаетесь... Кстати, почему в доме так тихо? Как дети?

— Дети в школе.

В комнату заглянула молоденькая, лет семнадцати, горничная. «Хозяин просит госпожу к телефону», — сказала она и продолжала молча стоять, видимо, дожидаясь ответа. Умэко тотчас встала. Дайскэ хотел выйти вслед за невесткой из гостиной и тоже встал, но она его остановила:

— Подождите меня. Нам еще нужно поговорить.

Дайскэ обычно несколько иронически относился к повелительному тону невестки. Он сказал ей, чтобы не торопилась, сел и снова принялся разглядывать рисунки на стене. Силой собственного воображения он попытался изменить их. И через некоторое время ему стало казаться, будто глаза его излучают краски, которые, взмыв вверх, тут же плотно пристают к стене. Люди и деревья на рисунках постепенно меняли свой облик, и Дайскэ наконец как бы удалось заново нарисовать то, что было ему не по вкусу. Теперь он сидел, охваченный восторгом, среди самого удивительного сочетания красок, какое только мог вообразить. Но тут вернулась Умэко, и видение исчезло.

Оказалось, что Умэко уже в который раз собиралась поговорить с ним о женитьбе. Еще будучи студентом, Дайскэ благодаря ее стараниям без конца знакомился с различными претендентками на роль жены, их представляли ему и на фотографиях и в натуре. Но ни одна ему не подошла. Вначале он отвергал их в весьма деликатных выражениях, потом перестал стесняться и в последние два года непременно находил у предполагаемой невесты какой-нибудь недостаток. То рот непропорционален подбородку, то глаза чересчур велики, то уши не на месте — доводы один невероятнее другого. Это заставило Умэко призадуматься. Уж не переусердствовала ли она в своих хлопотах? Просто Дайскэ чересчур возмнил о себе и ей назло привередничает. Надо оставить его в покое, решила Умэко. Потом сам будет просить. Однако Дайскэ, ничуть не обескураженный, хранил молчание, занимая по-прежнему неопределенную позицию в вопросе женитьбы.

Отец же во время поездки нашел для Дайскэ невесту, словно предназначенную ему самой судьбой, о чем Умэко узнала еще за несколько дней до прихода Дайскэ. Поэтому она и решила, что разговор у отца с сыном шел именно об этом. Но Умэко ошиблась. Старик и не заикнулся о женитьбе. Возмож-

но, он собирался поговорить об этом с сыном, но, заметив его настроение, счел благоразумным несколько повременить.

К избраннице отца у Дайскэ было особое отношение, хотя он ничего о ней не знал — только фамилию. Даже имя не было ему известно, не говоря уже о возрасте, внешности, образовании и нраве. Что же до судьбы, которая, по словам отца, предназначила ему эту девушку в жены, тот тут Дайскэ сразу смекнул, в чем дело.

У отца Дайскэ был брат, Наоки, годом старше. Они так ходили друг на друга, что их часто принимали за близнецов, только Наоки был меньше ростом. В детстве отца звали не Току, а Сэйносин¹.

Схожи они были не только лицом, но и характером, как и подобает хорошим братьям. Они всегда действовали сообща и стояли горой друг за дружку. Даже на занятия по фехтованию ходили вместе и читали при свете одного светильника.

И вот однажды осенью, как раз когда Наоки исполнилось восемнадцать, они с братом отправились в храм Токаудзи, семейный храм главы клана, находившийся на краю посада неподалеку от замка даймё, отнести письмо тамошнему священнику Сосую, близкому другу отца. В письме было приглашение сыграть в шашки или что-то в этом роде, так что ответа не требовалось. Однако священник задержал их всякими разговорами, и они покинули храм лишь за час до захода солнца. В тот день по случаю праздника в городе была ужасная сутолока. С трудом выбравшись из толпы, братья хотели свернуть в переулок, но на углу столкнулись со своим давним врагом, жившим на другом берегу реки. Он был изрядно пьян. После недолгой перепалки он выхватил меч и нанес удар старшему брату. Тот стал защищаться и тоже вытащил меч. Но недаром противник прославился своим буйством. Вино не лишило его силы. Надо было выручать брата, не то он потерпит поражение в неравной схватке. И младшему брату тоже пришлось обнажить меч. Вдвоем они зарубили врага насмерть.

По обычаям того времени самурай, убивший самурая, должен был совершить харакири. С этим намерением братья и вернулись домой. Отец не собирался им мешать, усадил их рядом, а сам стал делать необходимые приготовления. Мать в это время была у знакомых по случаю праздника, и отец послал за нею, а пока нарочно тянул время, наставлял сыновей, велел им готовить комнату для совершения обряда.

С семьей Такаги, куда мать отправилась в гости, она состояла в дальнем родстве, и это обстоятельство оказалось весьма счастливым. Следует заметить, что то было время перемен в обществе, и самурайские установления уже не соблю-

¹ У японцев, как и у некоторых других пародов Дальнего Востока, принято было давать детям второе, «детское», имя.

дались столь неукоснительно, как раньше. Тем более что убит был человек со скверной репутацией. Вместе с матерью пришел Такаги. Он убедил Нагаи повременить с харакири до официального указания властей и начал хлопотать.

Прежде всего ему удалось склонить на свою сторону первого министра и через него добиться согласия главы клана. Отец убитого, к счастью, оказался человеком здравомыслящим, он знал цену своему непутевому сыну, и когда услышал, что тот первый затеял ссору, без видимого недовольства отнесся к хлопотам Такаги о братьях. Некоторое время молодые люди безвыходно сидели в качестве наказания дома, а потом куда-то исчезли.

Три года спустя старший брат был убит ронинами¹ в Киото. На четвертый год произошла реставрация Мэйдзи. А еще через год Сэйносин вызвал родителей в Токио. Он женился и принял имя Току. К тому времени спасший ему жизнь Такаги уже умер, и семью возглавил его приемный сын. Он приехал в Токио попытать счастья на государственной службе, но устроиться ему не удалось. У него было двое детей — сын и дочь. Сын окончил в Киото частный университет, долгое время жил в Америке, разбогател и теперь занимался коммерческой деятельностью в Кобэ. Дочь была замужем за Сагавой, одним из крупных налогоплательщиков префектуры. И вот их дочь и прочили Дайскэ в жены.

— Страшно запутанная история. Просто ушам своим не веришь, — сказала невестка.

— Как будто вы прежде не слышали ее от отца!

— Но он ни разу не говорил, что хочет женить вас на этой девушке.

— Значит, у Сагавы есть дочь. А я не знал.

— Женитесь на ней.

— Вы благословляете?

— Разумеется. Против судьбы не пойдешь, верно?

— В этом случае я предпочел бы избрать судьбу по собственному усмотрению, а не следовать судьбе, определенной предками.

— Но разве это возможно?

Дайскэ усмехнулся и ничего не ответил.

4

Дайскэ сидел, погруженный в раздумья, облокотившись на стол. Перед ним лежала раскрытая очень тоненькая европейская книжка. Он только что ее прочел и находился под силь-

¹ Ронин — самурай, ранее находившийся на службе у какого-либо феодала, но после падения этого феодала и перехода его владений к другому оказавшийся вне феодальной системы вассалитета, которая определяла его социальное положение.

ным впечатлением последних страниц... «В некотором отдалении, за редкими прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

— Калошу потерял, — сказал Сергей Головин.

— Ну? — не понял Вернер.

— Калошу потерял. Холодно.

— А где Василий?

— Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

— А где Муся?

— Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

— Море, — сказал Сергей Головин, внюхиваясь и лоя ртом в воздух. — Там море...

...Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос...

— Одна я, — вдруг заговорила Таня и вздохнула. — Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, — плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда».

Вспоминая эти последние страницы «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева, Дайскэ, дойдя до этого места, поежился. В подобных случаях его больше всего мучил вопрос, что стал бы делать он в таком положении. Сама мысль о смерти была ему невыносима. Тем большей жестокостью казалась смерть насильственная. Дайскэ сидел неподвижно, рисуя в воображении себя, малодушно мечущегося между жизнью и смертью, и чувствовал, что не в силах больше терпеть мурашки страха, пробегавшие по каждой клеточке спины. Отец любит рассказывать о том, как в юности — ему тогда было семнадцать — они с братом убили самурая из своего же клана и за это должны были совершить харакири: вначале с его помощью брат — дядя Дайскэ, а потом он сам с помощью собственного отца — деда Дайскэ. Просто представить трудно! Рассказы отца вызывали у Дайскэ скорее неприязнь, чем восторг. К тому же он не очень-то в них верил. И это, пожалуй, было главным.

Дед ничем не отличался от отца, судя по рассказам. Когда-то вместе с ним учился фехтованию один человек и искус-

ством этим овладел в совершенстве. Появились завистники, и однажды поздним вечером он был убит, когда возвращался по узкой тропе через рисовое поле в город. Дед первым прибежал на место убийства, с фонарем в левой руке и обнаженным мечом в правой. Постукивая мечом по уже мертвому телу, он приговаривал: «Держись, Гумпэй. Рана неглубока!»

От отца Дайскэ слышал историю о том, как был убит в Киото дядя. Дядя как раз находился в гостинице, когда туда ворвались неизвестные в колпаках-масках. Спасаясь от преследования, дядя прыгнул с карниза второго этажа, но споткнулся о камень в саду и упал. В этот момент его и изрубили мечами, прямо сверху, так что лица было не узнать — оно превратилось в кровавое месиво. Дней за десять до убийства дядя в полночь возвращался к себе в гэта и накидке, с раскрытым зонтом: шел снег. Метрах в двухстах от гостиницы его кто-то окликнул: «Господин Наоки Нагаи!» Не оглядываясь, не закрывая зонта, дядя дошел до гостиницы, вошел внутрь, плотно закрыл за собой дверь и лишь тогда сказал: «Я — Наоки Нагаи. Что угодно?»

Всякий раз эти истории пробуждали в Дайскэ скорее страх, нежели воинственный дух. Запах крови, который, Дайскэ казалось, он явственно ощущал, мешал воздать должное героям этих историй.

Уж если суждена смерть, то пусть она наступит во время какого-нибудь приступа, думал Дайскэ, хотя никаких приступов с ним пока не случалось, если не считать одолевавшей его время от времени дрожи в руках и ногах, в голосе или, скажем, нервного биения сердца. Правда, в последнее время он вроде бы ни разу не приходил в сильное возбуждение. А ведь сильное возбуждение, как выражение душевного состояния, и есть шаг на пути к смерти. Движимый любопытством, Дайскэ не раз пытался сделать этот шаг, подойти, как говорится, к барьеру смерти, но ничего не получилось. Да, за последние пять-шесть лет он стал совсем другим. Просто удивительно!

Дайскэ закрыл лежавшую перед ним книгу и встал. Из чуть приоткрытой стеклянной двери тянуло теплым приятным ветерком, который слегка шевелил освещенные солнцем крупные красные цветы амаранта в горшке.

Дайскэ склонился над цветком, снял пыльцу с длинных тонких тычинок и бережно перенес ее на пестики.

— Что, муравьи напоззли? — спросил Кадоно, входя в комнату. Дайскэ поднял голову.

— Уже вернулся?

— Вернулся. Он сказал, что завтра переезжает, и как раз собирался к вам.

— Кто? Хираока?

— Да... Все же, как бы это сказать... человек он, похоже, и в самом деле занятой. Не то что вы... Если завелись муравьи,

полейте цветок растительным маслом. Муравьи сразу начнут вылезать, тут-то и надо их давить. Хотите, я помогу.

— Какие там муравьи! Просто я решил воспользоваться погожей погодой и перенести пыльцу на пестики, чтобы быстрее образовалась завязь. Так, по крайней мере, меня учил садовник. Благо, и время свободное выдалось.

— Во-от оно что... Просто диву даешься, как все ловко устроено в мире... Кстати, есть еще подходящее занятие — вырашивать в горшках карликовые растения. Красиво, приятно...

Дайскэ лень было отвечать, и он промолчал. Вскоре он поднялся и, сказав: «Ну что ж, хватит, пожалуй, заниматься баловством», — вышел на веранду, сел в кресло из индийского тростника и погрузился в размышления. Кадоно стало скучно, но только было он направился к себе в комнату рядом с прихожей, как с веранды донесся голос хозяина:

— Значит, Хираока обещал сегодня прийти?

— Да, вроде бы обещал.

— Что же,ждемся его.

Дайскэ решил отложить прогулку. Говоря по правде, его не первый день беспокоили дела Хираоки.

О положении друга Дайскэ узнал от него самого еще в прошлый его приход. На примете у Хираоки было несколько мест, в одно из них на первое время он и собирался устроиться. Однако удалось это ему или нет, Дайскэ не знал. Раза два он заходил к Хираоке в гостиницу, но застал его только однажды и то уже в дверях комнаты, одетого в европейский костюм и что-то раздраженно выговаривавшего жене. Это Дайскэ понял сразу, хотя пришел неожиданно, даже не просив горничную доложить о своем приходе. Застигнутый врасплох Хираока едва повернул голову и без малейшего признака удовольствия на лице сказал: «А, это ты?» Из дверей выглянула жена Хираоки. При виде гостя ее бледное лицо вспыхнуло. Испытывая неловкость, Дайскэ ответил отказом на формально вежливое: «Что же ты, входи», сказав: «Не стоит, особых дел у меня к тебе нет. Просто зашел на минутку поведать. Ты, я вижу, собрался уходить, пойдем вместе». И он вышел на улицу.

Дайскэ проводил Хираоку до трамвая, и, пока они шли, Хираока не переставал жаловаться: никак не может найти дом, дел по горло, несколько раз ездил по адресам, полученным от служащих гостиницы, но неудачно — в одном месте еще не выехали, в другом — красят стены. Дайскэ стало жаль друга, и он сказал: «В таком случае я поручу своему сёсю подыскать тебе дом. Сейчас много свободных — в делах ведь застой». На этом друзья расстались.

Дайскэ, как обещал, велел Кадоно подыскать дом и показать его Хираоке с женой. Кадоно очень быстро нашел подходящий и сообщил Дайскэ, что дом супругам как будто понра-

вился. Однако Дайскэ не успокоился. Опасаясь, как бы не вышло неприятности с домовладельцем, если Хираока раздумает переезжать, и предвидя, что в этом случае придется искать другое жилье, он снова послал Кадоно к Хираоке.

— Ты, надеюсь, сказал хозяину, что они снимут дом? — спросил Дайскэ у Кадоно.

— Да, на обратном пути зашел и предупредил, что завтра переезжают.

Сидя в кресле, Дайскэ размышлял о судьбе Хираоки и его жены, которым предстояло заново устраиваться в Токио. За три года с того момента, как они расстались на вокзале Симбаси, Хираока сильно изменился. Счастье еще, что он оступился на первой же ступеньке служебной карьеры, не успев достигнуть высокого положения. По крайней мере, не упал в глазах света. Но хотя удар и оказался не очень сильным, душевного разлада Хираока не избежал. Это Дайскэ заметил еще в первую их встречу, но тут же подумал, что, быть может, ему показалось, поскольку он многое воспринимал теперь иначе. Однако после визита в гостиницу, когда, не заходя даже в номер, он вышел вместе с Хираокой на улицу и потом уже, дома, восстановил в памяти только что виденную им сцену, сомнения рассеялись, уступив место первоначальному впечатлению. Лицо Хираоки выражало крайнее напряжение и болезненно морщилось, словно от ветра или колючих песчинок. Нервозность, смешанная с горечью, чувствовалась и в каждом его слове, о чем бы он ни говорил. Хираока был похож на человека со слабыми легкими, которого заставили плыть по реке, где вместо воды густой кисель.

— Комок нервов, — пробормотал Дайскэ, глядя вслед Хираоке, вскочившему в трамвай. Потом вспомнил о его жене, которая осталась в гостинице.

Дайскэ ни разу не назвал ее «госпожа Хираока», только «Митиё-сан», как называл до замужества. «Может, вернуться, — мелькнула мысль, — поговорить с Митиё-сан?» Но что-то мешало ему пойти к ней. Что именно? Дайскэ даже остановился, размышляя над этим, и, хотя ничего предосудительного в своем намерении не видел, испытывая ту же неловкость, пошел не в гостиницу, а домой. Надо набраться смелости, уготваривал себя Дайскэ, но в данном случае это было не так-то легко. Ощущение тревоги и неудовлетворенности не покидало Дайскэ и дома, и он решил пойти выпить сакэ. Пить он умел и в тот вечер выпил особенно много.

— Ты был просто не в форме, — сказал себе Дайскэ, сидя в кресле и словно обращаясь к кому-то другому.

Появился Кадоно:

— Вам что-нибудь нужно?

Он сбросил хакама и таби, обнажив ноги, очень напоминавшие круглые булки. Дайскэ молча взглянул на него.

В свою очередь, Кадоно уставился на хозяина и несколько секунд стоял неподвижно, как столб, потом спохватился:

— Ах, так вы меня не звали? Ах, ах! — и быстро исчез. Но Дайскэ это даже не показалось забавным.

— Вот видите, тетушка, они не изволили звать, — донесся голос Кадоно со стороны столовой. — Говорил же я, что не было даже хлопка в ладоши. Я и подумал, что чудно как-то.

Старуха и Кадоно рассмеялись.

В это время кто-то пришел. «Наконец-то», — подумал Дайскэ. Но встретивший долгожданного гостя Кадоно предстал перед Дайскэ с растерянным видом. Приблизившись, он шепотом доложил: «Сэнсэй, к вам госпожа Хираока». Не произнеся ни слова, Дайскэ направился в гостиную.

Жена Хираоки была светлокожей, черноволосой, с удивительно тонкими чертами лица и резко очерченными бровями. Затуманенное легкой грустью лицо напоминало старинные гравюры. Она всегда была бледной, а после возвращения в Токио выглядела особенно болезненной. Дайскэ это даже удивило, когда он увидел ее в гостинице. Может быть, она еще не оправилась после утомительной и долгой поездки? Однако на его вопрос женщина ответила, что нет, что теперь она всегда так выглядит, и Дайскэ стало жаль ее.

Спустя год после отъезда из Токио Митиё родила, но ребенок вскоре умер. Через некоторое время у нее появились боли в сердце и недомогание. Она думала, что отлежится, но улучшения не наступало, и пришлось обратиться к врачу. Врач толком ничего не определил, сказал, что это, возможно, сердечное заболевание, она не помнит, с каким, очень мудреным названием. Заболевание серьезное, при котором кровь, поступающая из сердца в артерии, небольшими дозами снова просачивается в сердце, поэтому излечить его полностью не удастся. Хираока не на шутку встревожился и сделал все возможное, чтобы восстановить здоровье жены. Через год Митиё стало лучше, снова появился румянец. Она уже было обрадовалась, но примерно за месяц до возвращения в Токио опять побледнела. На этот раз врач сказал, что сердце ни при чем. Разумеется, оно не стало здоровым, но ухудшения не было, сердечные клапаны работали нормально.

Дайскэ слушал Митиё, смотрел на нее и думал, что причина тут в другом: что-то ее тревожило.

Очень красивые, с ясным взглядом черные миндалевидные глаза Митиё, когда она пристально на что-нибудь смотрела, становились вдруг огромными. Дайскэ это объяснял их цветом.

До замужества Митиё они часто встречались, и Дайскэ хорошо запомнил это выражение ее глаз. Теперь, желая воссоздать в памяти облик Митиё, Дайскэ прежде всего представлял себе ее черные, чуть влажные глаза.

Митиё сидела сейчас напротив Дайскэ, положив на колени удивительно изящные, украшенные кольцами руки одна на другую. Модное золотое колечко, тонкое, с крупной жемчужиной, было свадебным подарком Дайскэ.

Вдруг Митиё подняла голову, и Дайскэ от неожиданности на секунду зажмурился, увидев черные глаза с хорошо знакомым ему выражением.

Они с мужем собирались прийти на другой день после приезда, но помешало ее плохое самочувствие. А потом все не представлялось случая пойти вдвоем, но сегодня как раз... Не договорив, Митиё вдруг вспомнила приход Дайскэ в гостиницу и стала извиняться, объяснив, что муж тогда как раз собрался уходить, потому и получилась такая неловкость. «Правда, вы могли его подождать», — с чисто женской логикой добавила она, стараясь вложить в слова всю свою приветливость. Но в голосе ее звучала грусть, и это напоминало Дайскэ прошлое: Митиё всегда говорила несколько меланхоличным тоном.

— Мне показалось, Хираока был чем-то очень занят...

— Да, разумеется, и все же... Можно было посидеть, верно? Такая церемонность ни к чему.

Дайскэ чуть не спросил, что в тот раз между ними произошло, но воздержался. Хотя на правах старого друга он мог поддразнить Митиё такой, скажем, фразой: «Видимо, вам тогда здорово досталось, вы даже покраснели. Что вы такое могли натворить?» Но шутить у него не хватило духу — такой жалкой выглядела Митиё, пытавшаяся загладить неловкость.

Дайскэ закурил, с сигаретой в зубах откинулся на спинку кресла и непринужденно сказал:

— Позвольте угостить вас чем-нибудь, вы так давно у меня не были. — Дайскэ надеялся своим вниманием и участливым тоном хоть немного утешить женщину.

— Благодарю вас, но мне пора, — ответила Митиё.

— Побудьте еще немного.

Дайскэ сидел, сцепив пальцы и закинув руки за голову, пристально глядя на Митиё. Женщина слегка наклонилась и вытащила из-за obi маленькие часики, свадебный подарок мужа. Хираока покупал их в том же магазине, где Дайскэ покупал кольцо с жемчугом, и в то же самое время. Дайскэ вспомнил, что, выйдя из магазина, они переглянулись и рассмеялись.

— Ох, уже четвертый час. А я думала, двух нет. Впрочем, я еще кое-куда заходила, — добавила она, как бы про себя.

— Вы в самом деле торопитесь?

— Да, хочу пораньше вернуться.

Дайскэ вынул изо рта сигарету и стряхнул пепел.

— Пусть будет по-вашему. За эти три года вы превратились в настоящую домоседку. — Дайскэ улыбнулся, но в тоне его прозвучала нотка горечи.

— Вы же знаете, мы завтра переезжаем! — вдруг оживилась Митиё.

— Ну что ж, может быть, после переезда зайдете, тогда и поговорим не спеша, — невольно поддавшись ее внезапному оживлению, в тон ей сказал Дайскэ. По правде говоря, он совершенно забыл об их переезде.

— Однако... — Митиё, подыскивая слова, чуть наморщила лоб и потупилась, но вскоре подняла порозовевшее лицо. — Откровенно говоря, у меня к вам небольшая просьба.

Дайскэ сразу смекнул, о чем пойдет разговор, потому что с самого приезда Хираоки в Токио был готов к нему. Однако он спросил:

— Какая просьба? Говорите, не стесняйтесь.

— Не могли бы вы одолжить нам немного денег?

Митиё произнесла это по-детски наивно и вся вспыхнула. Дайскэ с участием подумал об обстоятельствах, вынудивших Митиё преодолеть стыд.

Как выяснилось, деньги требовались не на переезд в новый дом и не на обустройство хозяйством. Уезжая в Токио, Хираока задолжал трем знакомым, и одному из них надо было срочно вернуть долг. Не говоря о том, что Хираока обещал выслать деньги не позднее чем через неделю, были и другие причины, из-за которых не следовало медлить. Сразу же по приезде Хираока пытался раздобыть денег, но хлопоты его не увенчались успехом, и он попросил Митиё обратиться к Дайскэ.

— Речь идет об управляющем филиалом?

— Нет, с этим долгом как раз можно подождать. А вот другому человеку непременно надо вернуть, иначе это может отразиться на делах мужа в Токио.

«Даже так!» — подумал Дайскэ и спросил, какая нужна сумма. Оказалось, всего пятьсот иен. «Так мало», — опять подумал Дайскэ, хотя у него не было ни гроша. И тут он впервые с удивлением обнаружил, что очень стеснен в средствах.

— А почему, собственно, у вас долги?

— Даже вспоминать об этом не хочется. Тут и моя болезнь, но...

— Много денег ушло на лечение?

— Да нет, лекарства не так уж дорого стоят.

Митиё ничего больше не сказала, а Дайскэ неловко было расспрашивать. Он лишь уловил едва заметное выражение тревоги на ее бледном лице, видимо, тревоги за будущее.

5

На следующий день с самого утра Кадоно нанял три повозки и отправился на вокзал Симбаси за багажом Хираоки. Багаж прибыл давно, но везти его было некуда, пока не сняли

дом. Поехать за вещами, погрузить их и доставить на место — все это должно было занять, по крайней мере, полдня. И Дайскэ, едва проснувшись, стал торопить Кадоно, опасаясь, что тот не управится. Но Кадоно, как обычно, своим спокойным тоном заявил, что это ему ничего не стоит. Кадоно не очень-то ценил время, и слова хозяина пропустил мимо ушей, лишь когда Дайскэ перечислил все, что предстоит сделать, лицо у Кадоно вытянулось. Оказалось, что оп еще должен помочь Хираоке устроиться на новом месте.

— Понял. Не беспокойтесь. Все будет сделано в наилучшем в и д е , — заверил Кадоно и отправился выполнять поручение хозяина.

До начала двенадцатого Дайскэ читал. Как-то он слышал, что у д'Аннунцио¹ одни комнаты были окрашены в голубой цвет, а другие — в красный. Эту идею писатель, видимо, почерпнул у психологов и, движимый любопытством, решил проверить ее на практике. Комнату для занятий музыкой или, скажем, кабинет, где необходимо возбуждение, желательно выдерживать в красных тонах. Спальню же и другие комнаты, в которых отдыхают, в голубых.

У Дайскэ это вызвало протест. Зачем понадобился д'Аннунцио, человеку легко возбудимому, раздражающий красный цвет? Дайскэ, например, не очень нравились ворота храма Инари именно потому, что они красные. Более того. Он охотно, будь это только возможно, спрятал бы голову во что-нибудь зеленое и безмятежно уснул. Дайскэ очень нравилась картина Аоки, где изображена высокая девушка на дне моря². По мнению Дайскэ, это была единственная достойная внимания картина из всех, что он видел на выставке. Он всегда мечтал о покое и отрешенности от окружающего мира.

Дайскэ вышел на веранду и засмотрелся на зелень, буйно разросшуюся в саду и скрывавшую почти всю веранду. Цветы как-то незаметно осыпались, появились новые побеги и молодая листва. Дайскэ обдало прохладой сверкающей зелени, и он с удовольствием подумал о том, что где-то в ее глубине яркие, будоражащие тона переходят в мягкие, приглушенные. Надев кепку, Дайскэ, как был в будничном кимоно из грубой ткани, вышел из дому.

Несмотря на распахнутые ворота, в новом жилище Хираоки никого не было, даже вещи не привезли, лишь какой-то человек, с виду рикша, курил на веранде. На вопрос Дайскэ он ответил, что господин и госпожа заходили, а потом ушли, сказав, что, видимо, устраиваться придется после обеда.

¹ Д'Аннунцио (1863—1938) — итальянский писатель.

² Сигэру Аоки (1882—1911) — художник-европеист, представитель романтического направления в японской живописи периода Мэйдзи. Речь идет о картине Аоки «Царевна — дочь морского владыки».

— Господин и госпожа вместе приходили?

— Да, вместе.

— И ушли вместе?

— И уйти изволили вместе.

— Вещи скоро привезут. Спасибо тебе за труды, — сказал Дайскэ и вышел на улицу.

Идти к Хираоке в гостиницу не хотелось, но надо было узнать, как там у них дела, а главное, справиться о самочувствии Митиё. Когда Дайскэ вошел, муж и жена как раз обедали за маленькими столиками, сдвинутыми вместе. У порога, спиной к двери, сидела служанка с подносом в руках. Дайскэ окликнул супругов.

Хираока удивленно на него посмотрел, и Дайскэ заметил, что глаза у приятеля воспаленные. Жалобы мужа на бессоницу Митиё отвергла, сказав, что он преувеличивает. Дайскэ жаль было друга, но слова Митиё его успокоили. Как Дайскэ ни задерживали, он тотчас же ушел. Перекусил, постригся, погулял, потом снова зашел в новый дом Хираоки. Митиё, обернув голову полотенцем и подвязав тесемками широкие рукава кимоно, хлопотала с вещами. Здесь же была служанка, которую Дайскэ видел в гостинице. Хираока на веранде развешивал дорожную корзину. Увидев Дайскэ, он рассмеялся и попросил его немного помочь. Кадоно, заткнув полы кимоно за пояс, вдвоем с рикшей втаскивал в гостиную комод.

— Взгляните-ка на меня, сэнсэй, только не смейтесь. Хорош? — спросил Кадоно.

На следующий день, когда Дайскэ пил свой утренний чай, Кадоно вошел в столовую, умытый и сияющий.

— Вы когда вернулись вчера? Я так устал, что сразу уснул и ничего не слышал... Изволили видеть, как крепко я спал? Когда же вы все-таки вернулись? И где изволили быть? — Кадоно болтал с присущей ему беспечностью своим обычным тоном.

— Надеюсь, ты оставался там, пока все не привели в порядок? — спросил его Дайскэ строго.

— Еще бы! Пришлось изрядно потрудиться. У них вон сколько громоздких вещей. Не то что у нас, когда мы переезжали. Госпожа стояла посреди гостиной и растерянно озиралась вокруг — забавный был вид!

— Госпожа не совсем здорова, поэтому...

— Да, да, я это сразу определил по цвету лица. Вот Хираока-сан совсем другое дело, крепкий мужчина. Мы вместе ходили в баню, так я даже удивился.

Поболтав с Кадоно, Дайскэ пришел к себе в кабинет. Ему надо было написать письма: одно в Корею, отблагодарить друга, служившего там в управлении у генерал-губернатора, за присланную им в подарок старинную корейскую керамику, другое — во Францию, мужу старшей сестры с просьбой найти недорогие танагры.

Перед тем как отправиться на послеобеденную прогулку, Дайскэ заглянул в комнату Кадоно. Тот по-прежнему крепко спал, лежа навзничь. Дайскэ даже позавидовал его безмятежному посапыванию. Сам он почти всю ночь не спал. Чересчур громко тикали карманные часы, которые он, как обычно, положил у изголовья. Он засунул их под подушку, но это не помогло: их тиканье по-прежнему отдавалось в голове. Прислушиваясь, он постепенно задремал и словно провалился в бездну. Лишь где-то в отдаленных уголках сознания, казалось, стучит швейная машинка, мелкими стежками прошивая ночную тишину. Неожиданно стук машинки перешел в звонкое пенье цикад, доносившееся из густого кустарника возле красивого парадного входа в какой-то дом... Дойдя в размышлениях до этого момента, Дайскэ вдруг обнаружил, что существует нить, связывающая сон с пробуждением.

Если какая-нибудь мысль вызывала у Дайскэ тревогу, он надолго лишался покоя. Неглупый от природы, он понимал, что в своих ощущениях часто доходит до абсурда, и очень досадовал на себя за это. Некоторое время назад, например, Дайскэ пытался установить, когда именно он погружается в сон. Залез под одеяло, но как только его стала одолевать приятная дремота, встрепенулся: «Ага, вот оно! Вот как я засыпаю». И сна как не бывало. Вскоре повторилось то же самое: он стал засыпать, подумал: «Ага, вот оно!» — и опять очнулся. Мучимый любопытством, он две или три ночи повторял эксперимент, по потом сдался. Ругая себя глупцом, он всячески старался избавиться от этой навязчивой идеи. Ведь, бодрствуя,¹ пытаться наблюдать собственный сон, по словам Джеймса¹, все равно, что зажечь свечу, чтобы изучать мрак, или остановить волчок, желая хорошенько рассмотреть, как он вертится. Так можно на всю жизнь лишиться сна. Все это Дайскэ прекрасно понимал, однако с наступлением ночи испытывал трепет.

Целый год мучился Дайскэ, потом как-то само собой прошло. Сопоставив это состояние со вчерашним сном, он испытал странное чувство. Разве не интересно отделить частицу собственного «я», того «я», которое бодрствует, и уступить ее сну нечувствительно для самого себя? Может быть, подумал Дайскэ, именно так и сходят с ума? Однако он был уверен, что никогда не лишится рассудка, поскольку не приходит в сильное возбуждение.

Три дня Хираока не подавал вестей. На четвертый день Дайскэ после обеда отправился в Адзабу, куда был приглашен в один дом на прием, устроенный в саду. Среди множества гостей самыми почетными были англичане: очень высокий мужчина, не то член парламента, не то коммерсант, и его же-

¹ Джеймс Вильям (1842—1910) — американский философ и психолог.

на в пенсне, настоящая красавица. Просто грешно было с ее внешностью появляться среди японцев. Женщина с важностью держала где-то купленный ею разрисованный зонтик, которые делают в Гифу.

Погода была отличная, небо голубое, прозрачное. Дайскэ во фраке стоял на широком газоне и по тому, как припекало спину, понял, что наступило лето. Английский джентльмен, щурясь, посмотрел на небо и сказал: «Чудесная погода». — «Прелесть!» — с жаром откликнулась жена. «Оригинальная у них манера говорить», — подумал Дайскэ.

Англичанка завела было с ним разговор, но через несколько минут Дайскэ ретировался — не выдержал. Его место заняли барышня в кимоно, с высокой прической «симада»¹, специально сделанной по случаю приема, и некий господин, коммерсант, длительное время живший в Нью-Йорке. Он неизменно посещал кружок английского языка, где с особым удовольствием болтал с соотечественниками по-английски, считая себя крупным специалистом по этой части, и очень любил произносить застольные спичи на английском языке. Скажет что-нибудь и сам хохочет, будто действительно смешно. И сейчас у высокопоставленной четы англичан, с которой он беседовал, то и дело появлялось на лице недоумение. «Хоть бы замолчал», — подумал Дайскэ. Куда лучше получалось у барышни. Дочь богача, она обучалась английскому у домашней учительницы-американки. Дайскэ слушал ее с восхищением: ведь не-красива, а как язык подвешен!

Ни к хозяину дома, ни тем более к супружеской чете Дайскэ не имел никакого отношения. Его пригласили сюда исключительно благодаря влиянию отца и старшего брата в обществе. И Дайскэ бродил по саду, всем без исключения небрежно кивая головой, но ни с кем не останавливаясь. Среди гостей оказался его старший брат.

— А, и ты здесь? — бросил он Дайскэ, даже не прикоснувшись к шляпе.

— Погода будто неплохая, а?

— Да, вполне сносная.

Брат был еще выше Дайскэ и вид имел весьма солидный, поскольку за последние несколько лет заметно пополнил.

— Не хочешь ли немного поговорить с иностранцами? Вон они стоят!

— Нет уж, уволь, — ответил брат с кривой усмешкой, играя покоившейся на животе золотой цепочкой.

— До чего же обходительны эти иностранцы! Даже чересчур... Так хвалят нашу погоду, что ей просто нельзя не стать лучше.

— Хвалят погоду? Хм-м... По-моему, ужасная жара.

¹ «Симада» — прическа молодой девушки с узлом на затылке.

— По-моему, тоже.

Словно сговорившись, братья вытащили белоснежные платки и вытерли лоб — оба были в цилиндрах, потом пошли к окаймлявшим газон деревьям и остановились в тени. Здесь не было ни души. В это время на противоположном конце сада началось какое-то представление. Сэйго посмотрел туда, но выражение лица у него при этом ни капельки не изменилось, словно он находился сейчас дома. «Стань я таким, как брат, — подумал Дайскэ, — я тоже потерял бы интерес к обществу и мне было бы все равно, что дома, что в гостях. Но скучно жить, если ни в чем не находишь удовольствия».

— Что подельывает нынче отец?

— Пошел на вечер поэзии, — ответил Сэйго все с тем же скучающим видом, в то время как Дайскэ эта новость позабыла.

— А сестрица?

— Ей велено принимать гостей.

Это сообщение тоже насмешило Дайскэ, потому что он представил себе, как невестка потом будет жаловаться и ворчать.

Сэйго был вечно занят, причем главным образом на такого рода приемах. Зная это, Дайскэ просто восхищался братом, который без единого слова протеста или неудовольствия в любое время мог пить саке, что-то есть, развлекаться с женщинами и при этом не погрязнуть в житейской суете, сохранять бодрость и душевное равновесие да еще полнеть с каждым годом. Отдельные кабинеты в чайных домиках, рестораны с японской кухней, званые обеды в европейских ресторанах, всевозможные клубы, приглашения на завтраки, проводы на вокзале Симбаси и встречи в Иокогамском порту, визиты вежливости, — вся эта светская жизнь так же привычна для брата, как соленая морская вода — для медузы, размышлял Дайскэ, поэтому ему всегда будут чужды и высокомерие и разочарованность.

Брат вполне устраивал Дайскэ. Не донимал его назойливыми наставлениями, как отец, не заводил разговоров о «принципах», «убеждениях», «взглядах на жизнь», предметах весьма щепетильных, усложняющих жизнь. В общем, был самым обычным человеком, только очень скучным.

С невесткой куда интереснее. При встрече с Дайскэ брат неизменно говорил: «Как дела?» Или: «В Италии было землетрясение, слышал?» Или: «Турецкий султан низвергнут с престола». Затем следовали сообщения, взятые из газет: «Цветы в Мукодзима уже отцвели», «В трюме иностранного судна в Иокогаме обнаружена огромная змея», «Такой-то попал под поезд». Таких безобидных, никого не задевающих тем у брата было неистощимое количество.

Случалось, правда, что он вдруг задавал довольно странные вопросы: «А что, Толстой как будто уже умер?» Или: «Кто

сейчас из японских писателей самый выдающийся?» Равнодушный к литературе и на редкость несведущий, он спрашивал об этом до того безразличным тоном, не выказывая ни почтения, ни презрения, что отвечать можно было, не задумываясь.

Дайскэ это нравилось. Такие разговоры, конечно, не давали пищи мыслям, зато оставляли приятное ощущение. Но Дайскэ почти никогда не удавалось застать брата дома, к величайшему удивлению невестки, Сэйтаро и Нуико, которые считали, что Сэйго вообще никуда не выходит, поскольку к завтраку, обеду и ужину он непременно появлялся к столу...

Стоя сейчас с Сэйго в тени деревьев, Дайскэ решил, что наконец-то выпал удобный случай поговорить с братом.

— У тебя не найдется для меня немного свободного времени?

— Свободного времени? — Брат рассмеялся.

— Может, завтра утром?

— Завтра утром я должен съездить в Иокогаму.

— А после обеда?

— После обеда буду в фирме, но там у меня дела, так что вряд ли удастся поговорить.

— Тогда вечером.

— Вечером я в «Тэйкоку-отеле». Туда приглашена английская чета.

Дайскэ надулся и пристально посмотрел на Сэйго. Потом оба рассмеялись.

— Если очень срочно, давай сегодня? Как ты на это смотришь? Сегодня я могу. Поужинаем вместе, хочешь? Давно мы с тобой вместе нигде не были...

Дайскэ согласился. Но вместо клуба Сэйго повел его в закусочную, славившуюся своими блюдами из угрей.

— В цилиндре идти в закусочную?! — заколебался Дайскэ.

— Пустяки.

Рикша привез их в закусочную у моста Канэсугибаяси. Это был старинного стиля дом, рядом протекала река, на берегу росли ивы. Братья поставили свои цилиндры дном книзу на полку рядом с потемневшими от времени стойками стенной ниши. «Странно как-то!» — заметил Дайскэ. Но сидеть на циновке, скрестив ноги, вдвоем в комнате второго этажа с раскрытыми настежь дверями-стенками оказалось куда приятнее, чем на приеме.

В отличном расположении духа они пили сакэ. Брат ел, пил, болтал на разные темы, словом, держал себя так, будто у него и не было других дел. Дайскэ чуть не забыл, зачем шел сюда, и вспомнил об этом, лишь когда служанка поставила перед ними третий графинчик сакэ. Он собирался попросить у Сэйго денег для Митиё.

С такой просьбой Дайскэ обращался к брату впервые. Был, правда, случай, когда по окончании университета Дайскэ рас-

тратился на гейш, и брату пришлось его выручать. «Вот шалопай! Смотри не проболтайся о т цу», — сказал тогда брат, к удивлению Дайскэ не упрекнув его ни единым словом, и полностью уплатил долги. С тех пор, если появлялась нужда в деньгах, Дайскэ никогда не обращался к брату — стеснялся, а только к невестке, и она ни разу ему не отказала. Так что нынче он впервые заговорил с братом о деньгах.

Сэйго для Дайскэ был словно чайник без ручки — неизвестно, с какой стороны за него ухватиться. Этим, собственно, он и возбуждал любопытство.

Заведя разговор о светских новостях, Дайскэ исподволь рассказал о делах Хираоки. Сэйго это было неинтересно, но он не подал вида и, потягивая сакэ, время от времени произносил монотонное «ну, ну», показывая, что слушает. Даже то, что Митиё сама пришла просить деньги, оставило Сэйго равнодушным, и он снова произнес свое «ну, ну», очень похожее на аккомпанемент.

— Мне стало жаль Митиё, — сказал наконец Дайскэ, — и я обещал что-нибудь для нее сделать.

— Гм... Вот как?

— Посоветуй, как мне быть.

— А ты можешь достать деньги?

— Разумеется, нет, ни гроша. Придется занять.

— У кого?

Дайскэ с самого начала вел к этому разговор и, глядя прямо на Сэйго, сказал:

— У тебя.

Ни единый мускул не дрогнул на лице Сэйго.

— Об этом и не думай, — невозмутимо ответил он и пустился в пространные рассуждения.

Чувство долга или человеколюбие тут ни при чем. Его даже не беспокоит, вернут ему деньги или не вернут. Просто в подобных случаях все должно идти своим чередом. И дело в конце концов уладится.

В подтверждение Сэйго привел множество примеров. У него во дворе снимает барак некий Фудзино. Не так давно у него поселился сын его дальнего родственника. И вдруг выяснилось, что парень должен срочно вернуться на родину, чтобы пройти медицинское освидетельствование призывников. Фудзино успел истратить деньги, присланные на учебу и дорожные расходы юноши, и пришел к Сэйго с просьбой его выручить. Сэйго сам не стал с ним разговаривать, а жене велел отказать. И что же? Парень в срок вернулся на родину и прошел освидетельствование. В другой раз какой-то родственник того же Фудзино истратил задаток, полученный за аренду дома, и никак не мог раздобыть денег, чтобы вернуть арендатору, который на следующий день собирался съехать. И опять от Фудзино пришли к Сэйго со слезной просьбой. Но Сэйго и на этот раз велел отказать. Однако задаток без особых

хлопот был возвращен. В том же духе Сэйго привел еще несколько примеров.

— Ты наивный человек,— расхохотался Дайскэ. — Сестрица наверняка облагодетельствовала этого Фудзино, только втайне от тебя.

— Не выдумывай. Такого быть не может, — очень спокойно возразил Сэйго, поднося ко рту чашечку с сакэ.

6

Итак, Сэйго отказался дать брату займы и вроде бы не собирался менять своего решения. Дайскэ же не старался разжалобить брата словами «бедняжка Митиё», «как я ей сочувствую». Зачем откровенничать с братом, если он ничего не подозревает. Излишняя сентиментальность лишь вызовет насмешки, тем более что брат, так, по крайней мере, казалось Дайскэ, давно уже не принимает его всерьез. Поэтому со свойственным ему беспечным видом Дайскэ расхаживал по комнате, потягивая сакэ, и размышлял. Сейчас, пожалуй, он чувствовал, что ему и в самом деле недостает рвения, о котором столько говорит отец. Но разве не пошло пытаться тронуть кого-нибудь слезами. Все напускное — будь то слезы, страдание, серьезность или рвение, — не что иное, как проявление дурного вкуса. Во всех этих тонкостях Сэйго хорошо разбирается. Одно неосторожное слово, опрометчивый жест — и Дайскэ навсегда потеряет уважение брата. И он постепенно направил разговор по другому руслу: как хорошо им сидеть вот так друг против друга и пить сакэ. Но, когда принесли рис — последнее блюдо, и подали чай, Дайскэ как бы вскользь заметил, что не обязательно одалживать деньги, просто можно пристроить Хираоку на какую-нибудь работу.

— Нет уж, избавь. Таких людей мне не надо. Да и куда я его пристрою, когда застой в делах, — ответил Сэйго, отправляя палочками через край чашки большие порции риса в рот...

Первое, что пришло в голову Дайскэ, когда он утром проснулся, была мысль о том, что на брата мог бы повлиять лишь человек его круга, предприниматель, одними братскими чувствами тут ничего не сделаешь. И все же он не мог упрекнуть брата в черствости, ибо считал это в какой-то мере естественным. Но какая нелепость! Ни слова не сказав, тот же Сэйго оплатил все расходы Дайскэ на пустые развлечения. Интересно, как бы он поступил, если бы Дайскэ, к примеру, поручился за Хираоку, поставив свою печать на долговом обязательстве и тем самым приняв на себя часть ответственности? Отказав в его просьбе, Сэйго, видимо, и это учел. Вероятно, рассчитывает на его благоразумие?

Дайскэ, в общем-то, не был склонен принимать на себя

ответственность за кого бы то ни было. Но если брат его раскусил и поэтому отказал в деньгах, хорошо бы его проучить. Включить в солидарную ответственность и посмотреть, как он себя поведет... Тут Дайскэ спохватился, что собирается совершить поступок весьма неблаговидный, и невесело усмехнулся в душе.

Но в один прекрасный день явится Хираока с долговой распиской и попросит за него поручиться. В этом Дайскэ уверен.

Продолжая размышлять, Дайскэ встал и отправился в ванную. Кадоно сидел в столовой в небрежной позе с газетой в руках, но как только Дайскэ вышел из ванной, сразу же принял строгий вид, сложил газету и бросил на пол.

— До чего же популярна эта «Зола и дым»!¹

— Ты ее читаешь?

— Да, каждое утро.

— Интересно?

— Вроде бы интересно, в общем...

— Что же именно тебе кажется интересным?

— Что именно? Вопрос серьезный, так сразу не ответишь. Как бы это лучше сказать... Разве что так... Ну, описывается общая атмосфера тревоги. Так, что ли?..

— И пахивает чувственностью, да?

— Да, и довольно основательно.

Дайскэ ничего больше не сказал.

С чашкой чая он вернулся в кабинет, сел в кресло и стал рассеянно смотреть в сад. На сухих шишковатых ветках гранатового дерева в тех местах, где они срослись со стволом, появились темно-зеленые с красным оттенком молодые побеги. Эта картина, на миг появившаяся перед Дайскэ, тотчас исчезла из его сознания.

Ничто облеченное в форму не могло сейчас запечатлеться в нем. Оно было тихим и спокойным, как нынешняя погода. Лишь где-то на самом дне жило нечто расплывчатое, неясное, мельчайшие частицы, которых Дайскэ почти не ощущал. Так не замечают червячков на сыре, пока их не растревожат. Но неожиданно эти частицы напоминали о себе, и тогда Дайскэ менял позу.

С недавнего времени вошедшие в моду слова «современный» и «неуверенность» Дайскэ редко употреблял. Считая себя вполне современным, он был убежден, что вовсе не обязательно именно по этой причине испытывать неуверенность.

Неуверенность, занимавшую довольно много места в русской литературе, Дайскэ объяснял климатическими условиями и политическим гнетом. Во французской — супружеской

¹ Произведение японского писателя Морита Сохэй (1881—1949), печатавшееся в газете «Токио асахи» по рекомендации Нацумэ Сосэки с января по май 1909 г.

неверностью, в итальянской, представленной д'Аннунцио, — комплексом неполноценности, появившимся в результате нравственного падения. Пристрастие же японских литераторов к этой теме Дайскэ считал подражанием за границе.

В годы учения он, правда, тоже страдал неуверенностью, кое в чем сомневался, но потом это прошло, и начался обратный процесс. Так бывает, когда подбросят кверху камень, а потом раскаиваются в собственном легкомыслии. Дайскэ тоже раскаивался. Все это были заблуждения юности. Не следовало шутить с камнем. «Великое сомнение во всем сущем» — одна из основ учения дзэн-буддистов — было для Дайскэ неведомой страной, он ни разу не переступал ее границы. Слишком умен был Дайскэ от природы, чтобы так необдуманно во всем сомневаться.

Дайскэ давно начал читать печатавшуюся в газете с продолжением «Золу и дым», которую так хвалил Кадоно. И сейчас рядом с чашкой лежала газета, но заглянуть в нее не было ни малейшего желания. Герои д'Аннунцио не нуждались в деньгах и потому не отказывали себе в разного рода забавах, оно и не удивительно. А вот герои «Золы и дыма», бедняки, не имели такой возможности. Вся их сила заключалась в умении любить. Ни Ёкити, герой «Золы и дыма», ни его возлюбленная Томоко совершенно не думают о том, что из-за своей любви могут быть изгнаны из общества. Какая же внутренняя сила движет ими? Их вряд ли мучают сомнения, если в подобных обстоятельствах они проявляют столько решимости. У Дайскэ на это недоставало бы мужества. Значит, и сам он жертва неуверенности. Все размышления Дайскэ кончились выводом о собственной оригинальности. Однако он отдавал должное и оригинальности Ёкити, признавая за ним в этом смысле превосходство над собой. Вначале Дайскэ читал роман с любопытством, но потом интерес пропал: слишком непохож был герой на самого Дайскэ, и нередко случалось, что номер газеты лежал неразвернутым.

Сам того не замечая, Дайскэ все время ерзал на стуле. Он допил чай и, как обычно, взялся за книгу. Часа два читал, но вдруг бросил на середине страницы, подперев щеку рукой, и задумался. Принялся было читать «Золу и дым», но к роману не лежала душа, и Дайскэ стал просматривать сообщения. Газета с гневом писала о том, что граф Окума¹ на стороне бунтующих учащихся Высшего коммерческого училища. Дайскэ расценил действия Окумы как хитрость, пущенную в ход, чтобы переманить учащихся в университет Васэда, и отшвырнул газету.

Во второй половине дня Дайскэ стало овладевать беспокойство. Причиной послужили какие-то странные ощущения в

¹ Окума Сигэнобу (1838—1922) — политический деятель, основатель и первый президент (ректор) университета Васэда.

желудке, будто там образовалось множество складок, которые без конца меняют форму и передвигаются с места на место. Эти ощущения вытесняли все остальные. Дайскэ считал их чисто физиологическим явлением и уже раскаивался в том, что накануне ел угря. Он решил прогуляться и заодно заглянуть к Хираоке, причем не знал, чему отдать предпочтение. Он велел служанке принести кимоно, но только собрался переодеться, как явился его племянник Сэйтаро. С фуражкой в руке, он сел перед Дайскэ и чуть подался вперед, наклонив круглую, правильной формы голову.

— Так рано с занятий?

— Совсем не рано, — рассмеялся племянник, глядя на Дайскэ.

— Выпьешь шоколаду?

— Давайте!

Дайскэ хлопнул в ладоши и, когда пришла служанка, велел ей принести две чашки шоколаду.

— В последнее время ты только и делаешь, что играешь в бейсбол, — стал подтрунивать над племянником Дайскэ. — Руки у тебя стали вон какими большими, а голова — совсем маленькой.

Сэйтаро, улыбаясь, провел по голове рукой.

— Я слышал, дядюшка, что мой отец вас вчера угощал?

— Ага, угощал. Вот у меня и разболелся живот.

— Все это нервы.

— Какие там нервы! Правду тебе говорю. Твой отец вчера меня обкормил.

— А знаете, что папа сказал?

— Что?

— Он сказал: «Когда будешь возвращаться из школы, зайди к Дайскэ, пусть угостит тебя чем-нибудь».

— Понимаю. Благодарность за вчерашнее?

— Совершенно верно. «Нынче угощал я, говорит, а завтра его очередь».

— За этим ты и пришел?

— Да.

— Ты, друг мой, достойный сын своего отца. Ничего не упустишь. Ну ладно, напою тебя шоколадом, и хватит.

— Ну, шоколад...

— Не пьешь?

— Пью, но...

Оказалось, Сэйтаро хочет, чтобы дядя повел его в зал у храма Экоин, где будут показывать борьбу сумо, да еще на самые лучшие места против арены. Дайскэ охотно согласился. Тогда Сэйтаро на радостях выпалил:

— А правду говорят, дядя, что вы очень умный, только бездельничаете?

На какую-то минуту Дайскэ опешил, а потом сказал:

— Что я умный, это общеизвестно.

— А я впервые об этом услышал от отца вчера.

Из слов Сэйтаро Дайскэ заключил, что накануне в доме отца о нем шел разговор. Всего, разумеется, Дайскэ узнать не удалось, но кое-что племянник хорошо запомнил, он был головастый малый. Отец заявил, что махнул на Дайскэ рукой, брат взял его под свою защиту, сказал, что Дайскэ, хоть и бездельничает, но совсем не глуп и в некоторых вещах разбирается. Надо хотя бы на время оставить его в покое, и все образуется. Вот увидите: он непременно займется каким-нибудь делом. Невестка тоже сказала, что нет причин волноваться. С неделю назад она была у гадальщика, и он предсказал Дайскэ большое будущее.

Дайскэ слушал племянника с интересом, произнося время от времени: «Угу, так, а потом...», и лишь когда речь зашла о гадальщике, это показалось ему забавным. Через несколько минут он переоделся, вышел вместе с Сэйтаро на улицу, распрощался и пошел к Хираоке.

Дом Хираоки, невзрачный и неприглядный, словно зеркало, отражал положение среднего человека, испытавшего на себе все тяготы роста цен за последнее десятилетие. Именно это и пришло в голову Дайскэ, когда он увидел новое жилище друга.

От ворот до парадного входа не было и двух метров, так же как от черного хода до ограды. Тесными и убогими выглядели и дома вокруг. Эти памятники борьбы за существование построили мелкие хозяева, рассчитывая нажить хоть двадцать или тридцать процентов барыша от вложенного в них скудного капитала.

Такие дома в Токио встречались на каждом шагу, особенно на окраинах. Они размножались с поразительной быстротой, как блохи в сезон дождей. Так шло развитие Токио, которое Дайскэ однажды назвал упадком, считая это символом нынешней Японии.

Некоторые из домов были, словно чешуей, крыты скрепленными вместе квадратными банками из-под керосина. Будивший среди ночи скрип столбов, подпирающих потолок, дверь с зияющей щелью, плохо пригнанные фусума. Эти жилища снимали те, кто пытался жить на ежемесячную ренту — проценты с капитала, вложенного в мозг, и сидели запершись, никуда не выходя. В число таких неудачников попал и Хираока.

Первым делом Дайскэ бросилась в глаза крыша. Блеклая, мрачная, землистого цвета черепица вызывала тоскливое чувство. Казалось, она в силах впитать в себя неисчерпаемое количество влаги. Перед входом все еще валялись обрывки рогожи, в которую были упакованы вещи. Дайскэ застал Хираоку в гостиной — он как раз дописывал письмо. Из соседней комнаты доносился легкий стук — это Митиё то выдвигала, то задвигала ящики комода. Сквозь открытые фусума виднелась

дорожная корзина, из которой выглядывали рукава очень нарядного нижнего кимоно.

Хираока извинился и попросил подождать. Дайскэ же тем временем созерцал корзину, кимоно и тонкие руки, которые время от времени опускались в корзину. Лица Митиё видно не было. Несмотря на приход Дайскэ, никто и не думал закрывать фусума.

Наконец Хираока отложил перо и повернулся к Дайскэ. Он, видимо, писал с большим напряжением, даже покраснел весь, глаза были воспаленные.

— Как дела? Спасибо за помощь. Хотел зайти и поблагодарить, да все недосуг.

В тоне Хираоки звучал скорее вызов, чем извинение. Он сидел, небрежно развалившись, сквозь распахнутый воротник проглядывала волосатая грудь.

— Ты, я вижу, еще не устроился?

— При таком положении дел, пожалуй, всю жизнь не устроишься. — Хираока нервно закурил.

Дайскэ отлично понимал его состояние. Не в Дайскэ, даже не в общество метал он стрелы — в самого себя. Дайскэ жаль было друга. И в то же время вызывала неприязнь его манера держаться. Неприязнь, но не злость.

— А жить здесь удобно. Комнаты как будто неплохо расположены.

— Тут уж не до удобств. Приходится мириться с тем, что есть. Или играть на бирже, если хочешь жить с комфортом. Нынче в Токио самые лучшие дома, говорят, строят биржевики.

— Возможно. Только за таким великолепным домом не видно, сколько других домов рушится, сколько семей.

— От этого в нем еще удобнее жить!

Хираока расхохотался. В это время в гостиную вышла Митиё. Она поздоровалась с Дайскэ, села и положила перед собой красный фланелевый сверток, который держала в руках.

— Что это? — спросил Дайскэ, когда Митиё указала на сверток.

— Приданое для малыша. Как сшила, так и лежало на дне корзины, только сейчас достала, когда разбирала вещи.

Митиё развязала ленточки и бережно разложила крохотное кимоно.

— Вот.

— Зачем ты это хранишь? Разорвала бы на тряпки, что ли! — сказал Хираока.

Некоторое время Митиё молча, потупившись, смотрела на детские вещицы, лежавшие у нее на коленях, потом подняла на мужа глаза;

— Кимоно точь-в-точь такое, как у тебя.

— Которое сейчас на мне?

Под кимоно из узорчатой хлопчатобумажной ткани на Хираоке было еще нижнее фланелевое кимоно.

— Просто задыхаюсь от жары.

В тоне, которым это было сказано, прозвучали знакомые нотки. Перед Дайскэ будто появился прежний Хираока.

— Еще бы! Давно пора сменить фланелевое кимоно на легкое.

— Все как-то недосуг...

— Сколько раз ему говорила: «Сними, постираю» — не хочет.

— Теперь сниму. Самому надоело.

Об умершем ребенке никто больше не заговаривал, обстановка становилась все непринужденнее. Хираока по случаю встречи предложил выпить по чашечке сакэ — так долго не виделись! Митиё тоже попросила Дайскэ не торопиться и, сказав, что сейчас все приготовит, вышла в соседнюю комнату. Глядя ей вслед, Дайскэ думал, как бы раздобыть для них денег.

— Что слышно у тебя с работой?

— Гм, как сказать... Что-то предлагают, а в общем, ничего подходящего. Еще некоторое время, возможно, придется побездельничать. Буду искать не спеша. Как-нибудь образуется.

Хираока старался говорить спокойно, но Дайскэ понимал, как лихорадочно тот ищет работу, и решил пока не рассказывать о своей встрече с братом накануне. При данных обстоятельствах это могло бы ранить и без того уязвленное самолюбие Хираоки. Заговори он первый о деньгах — тогда другое дело. Но с какой стати Дайскэ должен поднимать этот вопрос? Пусть даже Хираока осудит его за черствость. К таким упрекам Дайскэ теперь нечувствителен. Да и вообще он никогда не относил себя к числу чувствительных, хотя три года назад счел бы свою нынешнюю позицию нравственным падением. Но в то время он явно переоценивал роль моральных качеств. Как ни ловчи, латунь за золото не выдашь, так лучше сказать прямо, что это латунь.

У Дайскэ никогда не было бурных романов, он не бросался в волны, когда, натерпевшись страху, человек вдруг меняет свои взгляды. Довольствоваться латунью он стал в результате длительных размышлений особого свойства и собственными руками постепенно соскабливал с себя позолоту, которую терпеливо наносил отец. В ту пору отец казался Дайскэ чистым, как настоящее золото. Да и остальные взрослые тоже, по крайней мере, многие из них. Дайскэ мучился, стремясь им уподобиться, из позолоченного стать золотым. Но это было до тех пор, покуда он не распознал их истинную сущность. И тогда все его старания показали нелепыми и смешными.

Раз сам он изменился за это время, значит, изменился и Хираока, у него прибавился жизненный опыт. Раньше Дайскэ

пошел бы на ссору с братом, даже на пререкания с отцом, только бы не разочаровать друга. А потом отправился бы к Хираоке и, как говорится, ударяя в литавры, громогласно возвестил бы о своем поступке. Прежний Хираока, возможно, и ждал бы этого от Дайскэ, но тоже прежнего. Нынешний же Хираока вряд ли принимает нынешнего Дайскэ всерьез.

Вот почему разговор о главном быстро прекратился, и до появления закуски они болтали о разных пустяках. Митиё наливала сакэ, слегка придерживая пальцами дно фарфорового графинчика.

Хираока хмелел и становился все болтливей. Случалось, что он мог выпить сколько угодно и держался как обычно. Иногда приходил в радостное возбуждение, сквозившее в голосе, и делался весьма красноречивым, что так не похоже на пьяных. А то с особым удовольствием заводил речь о предметах очень серьезных, горячо спорил или спокойно возражал собеседнику. В те времена они частенько сражались за бутылкой-другой пива, и Дайскэ всегда удивлялся, что с Хираокой куда легче спорить, если он чуточку выпьет. «Расскажи, о чем я думаю?» — начинал обычно Хираока, выпив рюмку сакэ. Тогда они были близки друг другу, не то что сейчас. И оба понимали, что пути к сближению найти не так-то легко. В первую же их встречу на следующий день после приезда Хираоки в Токио они почувствовали отчуждение.

Однако сегодня произошло чудо. Чем больше Хираока пил, тем сильнее напоминал прежнего себя. Сакэ пошло ему на пользу, парализовало нервы, усыпило недовольство, рассеяло тревогу, связанную с его нынешним материальным положением и всей жизнью. Появился пафос, в голосе зазвучали горделивые нотки.

— Я потерпел крушение. Но продолжаю работать. Намерен работать и дальше. Ты, кажется, смеешься над неудачником?.. Не смеешься? Впрочем, это неважно. Все твоё отношение к этим делам не что иное, как насмешка. Можешь смеяться. Пожалуйста! Но ведь сам-то ты ничего не делаешь. Принимаешь мир таким, как есть, не хочешь проявить хоть каплю воли. Ни за что не поверю, что у тебя ее нет. Она есть у каждого человека. Ты постоянно ощущаешь неудовлетворенность, я убежден. А это и есть свидетельство воли. Я же своей волей хочу воздействовать на общество и получить явное доказательство того, что хоть в какой-то степени мне это удалось. Иначе жить не стоит. В этом я вижу смысл существования. Ты же бездействуешь, только размышляешь. Ты как бы разделил мир на две части: одна в тебе, другая вне тебя. Это тоже крушение. Ты спросишь почему? Все дело в том, что свой душевный разлад ты в отличие от меня загнал внутрь и потому потерпел еще больший крах, чем я. Но я не могу над тобой смеяться, как ты надо мной. Я бы хотел, но

с точки зрения общества мне, в моем положении, непозволительно смеяться.

— Ну что ты, смейся, пожалуйста! Вся штука в том, что я сам над собой смеюсь, и уже давно.

— Это ложь. Верно, Митиё?

Сидевшая все время молча Митиё мягко улыбнулась и взглянула на Дайскэ.

— Это правда, Митиё-сан, — сказал Дайскэ, протягивая чашечку, чтобы она налила ему сакэ.

— Ложь. Сколько бы жена тебя ни защищала, все равно ложь. Смеешься ты над собой или над другими, твой смех — в тебе. Поэтому нельзя тебе ни верить, ни не верить...

— Не надо так шутить.

— Это не шутки. Я говорю совершенно серьезно. Прежде ты был совсем другим. Скажи, Митиё, кто станет сейчас утверждать, что Нагаи не преисполнен гордыни?

— Послушать тебя, так можно подумать, что именно ты преисполнен гордыни.

Хираока так и покотился со смеху. Митиё взяла графин и вышла.

Хираока поковырял палочками в тарелке и, громко чавкая, поднял на Дайскэ осоловелые глаза.

— Давно у меня не было такого хорошего настроения. А ты вот хандришь. Это никуда не годится. Стань прежним Дайскэ Нагаи! Это говорит тебе твой старый друг Цунэдзиро Хираока. Непременно стань! Берись за дело. И я возьмусь, потому что полон решимости! Берись!

Дайскэ был глубоко тронут, такая неподдельная искренность звучала в словах Хираоки. Ему хотелось видеть перед собой прежнего Дайскэ. И все же у Дайскэ было такое ощущение, словно от него требуют вернуть съеденную позавчера пищу.

— Ты, когда выпьешь, только голос у тебя пьяный, а голова вроде бы ясная. Так что позволь и мне высказаться.

— Наконец-то! Теперь я узнаю прежнего Нагаи-кун!

Дайскэ сразу расхотелось говорить.

— Ты способен сейчас соображать?

— Разумеется. Главное, чтобы ты соображал, а обо мне не беспокойся. У меня голова всегда в порядке. — И Хираока посмотрел на Дайскэ совершенно трезвыми глазами. Убедившись, что Хираока и в самом деле не пьян, Дайскэ стал говорить:

— Ты упрекал меня в том, что я не работаю. Но я молчал, потому что упреки твои вполне справедливы. И все же работать я не собираюсь.

— Почему?

— Почему? Не по моей вине. По вине общества. Не сочти это преувеличением, но меня не устраивают отношения Японии с Западом. В мире не сыщешь другой страны, которая

залезла бы в такие долги и тряслась, словно нищий. К тому же совершенно неизвестно, когда она сможет вернуть эти долги. Я не говорю о внешних займах. Их, предположим, еще можно погасить. Не в этом дело. Но Япония всегда будет зависеть от Запада, что не мешает ее стремлению войти в число перворазрядных держав. Во всех областях она тянется за этими державами, развивается, так сказать,вширь, а не вглубь. И это непростительное легкомыслие закончится трагедией. Лягушка никогда не дотянется до вола, как бы ни пыжилась, и в конце концов лопнет. Пойми, такое положение в стране отражается на всех и на каждом в отдельности. Давление Запада мешает нам свободно мыслить и с пользой работать. Получив куцее образование, человек работает до полного изнеможения и в результате становится неврастеником. Поговори с любым. Он, как правило, туп. Ему ни до чего, только до себя. Прожил день, и ладно. И что тут сделаешь, если люди до того вымотаны, что не в состоянии думать? Нервное истощение, к несчастью, постоянный спутник истощения физического. Более того, все это ведет к нравственному падению. Жизнь в Японии беспросветна. Сплошной мрак. И среди этого мрака — я один. Любое мое слово, любой поступок — все бессмысленно. Я лентяй от рождения. Точнее, я был им, еще когда мы общались с тобой. Просто в то время я всячески себя взбадривал, а ты, думая, что я способный, возлагал на меня большие надежды. Будь японское общество нравственно и физически здоровым, появилось бы сколько угодно дел, где я смог бы применить свои способности, появилось бы сколько угодно стимулов, могущих победить мою лень. И тогда я оправдал бы твои надежды. Но сейчас это невозможно. Если в этом смысле ничего не изменится, я буду принимать мир таким, как он есть, так, кажется, ты сказал, буду общаться с людьми, которые мне по душе, и тем довольствоваться. Не заставишь же всех думать, как думаю я.

Дайскэ сделал паузу, потом взглянул на несколько сконфуженную Митиё и спросил весьма дружелюбно:

— Что скажете, Митиё-сан, о моих рассуждениях? Хорошо ведь, что я такой легкомысленный и беспечный?

— Не понимаю, беспечный вы или просто чуждаетесь людей. А еще я думаю, что во многом вы притворяетесь.

— В чем же это?

— Слышишь? — обратилась Митиё к мужу. — Он спрашивает в чем.

Хираока молчал, упершись локтями в колени и положив на руки подбородок. Потом, не проронив ни слова, пододвинул к Дайскэ чашечку. Дайскэ так же молча ее принял. Митиё налила им сакэ.

Дайскэ поднес чашечку к губам и решил прекратить спор.

Он, собственно, не затем пришел, чтобы навязывать Хираоке свои взгляды или выслушивать его рассуждения. Дайскэ прекрасно понимал, что пути их никогда не сойдутся, и попытался перевести разговор на житейские темы, чтобы и Митиё могла принять в нем участие, но это ему не удалось.

Хмелея, Хираока становился упрямым. Выпятив побагровевшую грудь, он выпалил:

— Интересно! В высшей степени интересно! У тех, кто ведет каждодневно изнурительную борьбу за существование, нет возможности размышлять о подобных вещах. Нищая там Япония или слабая, за работой не помнишь об этом. Мир разлагается, а ты этого не замечаешь, трудишься. Нищета Японии, нравственное падение — об этом могут болтать лишь праздные люди, вроде тебя, те, которые не находят себе применения в жизни, а наблюдают ее лишь со стороны. Словом, те, у кого есть время разглядывать себя в зеркале. Человеку занятому некогда заниматься своей внешностью.

Очень довольный, Хираока перевел дух, уверенный в том, что силой своих аргументов убедил противника. Дайскэ невольно улыбнулся. Тогда Хираока добавил:

— Был бы ты стеснен в средствах, пошел бы работать. Но ты обеспечен, вот и занимаешься красивой болтовней.

Дайскэ почувствовал раздражение и прервал Хираоку на полуслове:

— Работать — это прекрасно, только не ради пропитания. Труд в высоком смысле этого слова не имеет ничего общего с трудом ради куска хлеба.

Хираока с горечью во взгляде пристально посмотрел на Дайскэ.

— Почему же это? — спросил он.

— Почему? Да потому, что труд во имя существования и труд во имя труда — вещи разные.

— Говори проще. Твои умозаключения мне недоступны. Они слишком похожи на логические построения.

— Я хочу сказать, что честно работать ради пропитания просто невозможно.

— По-моему, как раз наоборот. Забота о куске хлеба прибавляет рвение.

— Рвение — возможно, но не честность. Когда ты говоришь о «работе ради пропитания», что ты считаешь целью: пропитание или работу?

— Конечно, пропитание.

— Вот и суди. Если пропитание — цель, значит, работа — средство. И, работая, человек, естественно, будет думать о том, как бы прокормиться с наименьшей затратой сил. В этом случае совершенно безразлично, что делать и как. Только бы заработать на хлеб. Верно? Содержание труда, его направленность, сама последовательность процессов регламентиру-

ются не тобой, а кем-то другим. И такой труд иначе как нравственным падением не назовешь.

— Все это теории... Право... Что же дальше?

— Попробую привести один весьма тонкий пример. Ода Нобунага¹ нанял как-то знаменитого повара, но был разочарован поданными блюдами и долго его распекал. Тогда повар вместо изысканных блюд стал кормить хозяина второразрядными и даже третьеразрядными и с тех пор неизменно получал похвалы. Работая ради пропитания, повар принес в жертву кулинарное искусство, верно? Потерял профессиональное достоинство. Что же это, если не нравственное падение?

— Но у него не было выхода. Его бы прогнали!

— В этом-то и дело. Работать серьезно можно лишь из интереса, когда не нуждаешься ни в пище, ни в одежде.

— В таком случае труд в высоком смысле этого слова только для избранных, таких, как ты. Тем более ты должен работать не покладая рук. Верно, Митиё?

— Конечно!

— Кажется, мы пришли к тому, с чего начали. Недаром говорят, что спорить вредно, — сказал Дайскэ, почесав в затылке. На этом спор их кончился.

7

Дайскэ залез в ванну.

— Приятная вода, сэнсэй, или еще немного подогреть? — просунул голову в дверь Кадоно. В подобных случаях он часто проявлял заботу.

— Хорошая, — ответил Дайскэ.

— Хорошая? — откликнулся Кадоно, возвращаясь в столовую. Дайскэ усмехнулся, ему очень нравилась манера Кадоно отвечать. Дайскэ вообще на многое реагировал по-особому, не так, как другие, что порой причиняло ему неудобства. Однажды на похоронах он едва не расхохотался, увидев приятеля в траурном кимоно, который шел за гробом отца, опираясь на палку из зеленого бамбука². В другой раз он буквально измучился, сдерживая смех, когда взглянул на собственного отца в самый разгар нравоучений. Дайскэ никак не мог отделаться от ощущения, что банщик в бане, который немилосердно тер ему спину, египтянин. Пока у Дайскэ не было ванны, он ходил в общественную баню неподалеку, и этот банщик, истый японец, каждый раз выскакивал ему навстречу со словами: «Давайте я вас помою».

¹ Ода Нобунага (1534—1582) — политик и военачальник; вел войны, направленные на объединение Японии под властью центрального феодального правительства.

² Предполагалось, что сын от горя обессилел и потому идет, опираясь на палку. Один из похоронных обычаев.

Как-то Дайскэ прочел о том, что Вебер¹ произвольно изменял ритм биения собственного сердца, то ускоряя его, то замедляя. Дайскэ, у которого и без того была привычка постоянно проверять работу сердца, захотелось последовать его примеру. Он с трепетом дважды, а то и трижды на день производил эксперимент, но когда ему показалось, что он уже близок к цели, вдруг испугался и перестал экспериментировать.

Спокойно плескавшийся в воде Дайскэ случайно поднес руку к левой стороне груди, но, едва услышав живительное «тук-тук», вспомнил Вебера и вылез из ванны. Усевшись на деревянной решетке, он стал рассеянно смотреть на свои ноги, и тут началось нечто невероятное. Дайскэ вдруг показалось, будто ноги не являются частью его самого, будто они нечто совсем постороннее, к тому же грубое и бесстыдное. До сих пор он не замечал, что они так уродливы, даже смотреть противно. Местами волосатые, с синими венами — странные какие-то существа.

Дайскэ снова залез в ванну, и тут ему пришло в голову, что, может быть, Хираока прав, что у него в самом деле слишком много свободного времени для всякого рода размышлений. Поглядевшись в зеркало после ванны, он опять вспомнил Хираоку и стал бриться. Отражаясь в зеркале, лезвие холодно поблескивало, и от этого у Дайскэ по коже забегали мурашки. Еще немного, и ему начнет казаться, что он смотрит вниз с очень высокой башни. Дайскэ кое-как покончил с бритьем и, направляясь в столовую, вдруг услышал, как Кадоно сказал служанке:

— А у сэнсэя неплохо получается!

— Ты о чем? — Дайскэ остановился и посмотрел на Кадоно.

— О, вы уже из ванны. Так быстро! — не отвечая, воскликнул Кадоно. Дайскэ не стал повторять вопрос, прошел в кабинет и сел в кресло отдыхать.

«Так и заболеть недолго, если все время утруждать мозг всякими странными мыслями,— лениво подумал Д а й с к э. — Может быть, отправиться в небольшое путешествие? По крайней мере, это оттянет на время вопрос женитьбы». Но тут вдруг оказалось, что его, как ни странно, беспокоит судьба Хираоки, и он отказался от возникшего было плана. При дальнейшем размышлении он обнаружил, что дело тут не столько в Хираоке, сколько в Митиё. Но это не показалось ему хоть сколько-нибудь безнравственным. Напротив, весьма приятным.

Дайскэ познакомился с Митиё лет пять назад, еще в бытность свою студентом. Отпрыск семьи Нагаи, он знал многих

¹ Вебер Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий психолог и физиолог.

женщин, выезжавших в свет. Однако скромная, сдержанная, даже немного замкнутая Митиё ничем на них не походила. Она была младшей сестрой Суганумы, приятеля Дайскэ и Хираоки, с которым они вместе учились.

Суганума происходил из префектуры, расположенной вблизи Токио. Прочувшись год, он привез из провинции младшую сестру, чтобы, как он объяснил, дать ей образование. Он съехал с квартиры, которую снимал, и вдвоем с сестрой они обзавелись домом. Девушке было лет восемнадцать, она только что окончила гимназию на родине и все еще носила кимоно, какие носят школьницы в провинции. Спустя некоторое время она поступила на женские курсы.

Суганума жил в районе Янака, на улице Симидзутё, в доме без сада. Зато с веранды видна была роща Уэно с очень старыми высокими криптомериями, цвета старого железа. Одна из них почти совсем засохла, лишь несколько голых веток торчало на верхушке. Там вечерами каркали вороны. Соседом Суганумы оказался молодой художник. Узкая улочка была малолюдной и глухой, вполне пригодной для спокойного житья.

Дайскэ часто навещал брата и сестру. В первый его приход Митиё ему только поклонилась и тотчас ушла. Дайскэ поделился своим мнением о роще Уэно и распрощался. И на другой раз и на третий Митиё только приносила чай и удалялась в соседнюю комнату — в доме их было всего две. Поэтому, беседуя с Суганумой, Дайскэ все время ощущал ее присутствие.

Как он впервые заговорил с девушкой, Дайскэ уже забыл. Повод, видимо, был самый ничтожный, потому и не остался в памяти. Во всяком случае, разговаривать с Митиё было куда интереснее, нежели читать наскучившие стихи и романы. Но после первого их разговора у молодых людей возникло то неуловимое влечение друг к другу, которое воспевается в стихах и романах.

Хираока тоже часто бывал у Суганумы. Случалось, что они приходили вместе с Дайскэ. И оба чуть ли не в одно время подружились с Митиё. Иногда они прогуливались вчетвером.

Так прошло около двух лет. Весной, как раз когда Суганума кончал университет, приехала из деревни его мать. Она и прежде гостила у сына по нескольку дней раз, а то и два в год, но в ту весну перед самым отъездом вдруг слегла с очень сильным жаром. Через неделю выяснилось, что это тиф, и женщину тотчас же поместили в университетскую клинику. Туда же перенеслась и Митиё, чтобы ухаживать за матерью. После некоторого улучшения состояние больной резко ухудшилось, и вскоре она умерла. А через некоторое время умер от тифа и Суганума — видимо, заразился от ма-

тери. Теперь у Митиё никого не осталось, кроме отца, жившего в провинции.

Он приезжал на похороны и познакомился с Дайскэ и Хираокой, друзьями его покойного сына. А потом, перед тем как вернуться на родину, они вместе с Митиё посетили обоих молодых людей, чтобы поблагодарить каждого и попрощаться.

Осенью того года Хираока женился на Митиё. Этому немало способствовал Дайскэ. И хотя официальным сватом выступал земляк-старшекурсник, не кто иной, как Дайскэ, уговорил Митиё на этот брак.

Вскоре после свадьбы молодая чета покинула Токио. Тем временем непредвиденные обстоятельства вынудили отца Митиё уехать на Хоккайдо. И сейчас, возвратясь в Токио, Митиё чувствовала себя очень одиноко. Чего бы не сделал Дайскэ, чтобы Митиё наконец обрела покой! Может быть, думал он, еще раз посоветоваться с невесткой насчет денег? И потом он должен непременно увидеться с Митиё, узнать некоторые щекотливые обстоятельства.

Допустим, он еще раз пойдет к Хираоке, однако Митиё не болтлива и вряд ли станет с ним откровенничать. Ну, скажет, к примеру, зачем им срочно понадобились деньги, а ведь Дайскэ интересуют вещи более интимные. Но в этом он мог признаться лишь самому себе. Не все ли ему равно, зачем понадобились Хираоке эти пятьсот иен? Дайскэ охотно раздобыл бы их, чтобы сделать Митиё приятное, а зачем они нужны, это его не касается. Но завоевывать расположение Митиё таким образом — нет, на это Дайскэ не способен.

Кроме того, Хираоки может не оказаться дома, тогда Дайскэ ничего толком не узнает, даже подробности их материального положения. Да и от самого Хираоки ничего не добьешься. Что бы он ни сказал, всего нельзя принять на веру. Из различных, чисто житейских соображений Хираока рисуется перед Дайскэ, даже когда в этом нет необходимости.

Как бы то ни было, первым делом надо посоветоваться с невесткой, хотя надежда на это слабая. Одно дело просить какую-то мелочь, другое — такую сумму, Умэко может испугаться. Она, конечно, располагает собственными средствами и, возможно, выручит его. А если откажет, придется занять, пусть даже под большие проценты. Правда, на такой смелый шаг он пока еще не решился. Но в конце концов Хираока всего равно попросит за него поручиться, так уж лучше опередить события, а заодно и порадовать Митиё. Эта безрассудная мысль крепко засела в голове Дайскэ.

Дул ласковый ветерок, затянутое тучами небо словно застыло в неподвижности, но было еще совсем светло, когда в пятом часу Дайскэ вышел из дому и на трамвае поехал к брату. Недалеко от замка Аояма, слева от трамвая, промчались коляски с двумя рикшами каждая. В одной ехал отец, в другой — брат. Дайскэ даже не успел их приветствовать,

так быстро они проехали, конечно, не заметив его. Дайскэ сошел на следующей остановке.

Подойдя к воротам, он услышал звуки пианино, доносившиеся из гостиной, остановился на посыпанной гравием дорожке, но тут же свернул влево, к черному ходу. Там у решетчатой двери лежал Гектор, огромный английской породы пес, в наморднике. Он сразу узнал Дайскэ, поднял пятнистую морду, задвигал поросшими длинной шерстью ушами и завил хвостом.

Дайскэ заглянул в комнату сёсэя у самого входа, приветливо поздоровался и прошел прямо в комнату, где за пианино сидела невестка. Возле нее стояла Нуико в кимоно с длинными рукавами, с распущенными, как обычно, ниспадающими на плечи волосами. Стоило Дайскэ взглянуть на ее волосы, как он сразу же представлял себе девушку на качелях. Черные волосы, розовая лента, желтый шелковый оби — все это развевалось на ветру и плыло в воздухе: картина, достойная того, чтобы запечатлеться в памяти.

Мать и дочь одновременно оглянулись.

— Ах! — воскликнула Умэко.

Нуико молча подбежала к Дайскэ, схватила за руку и потащила к пианино.

— А я иду и думаю, что это за маэстро здесь играет.

Умэко, смеясь, замахала на него руками:

— Сыграйте, пожалуйста, это место, Дай-сан.

Дайскэ сел за пианино и, глядя в ноты, заиграл. Пальцы его уверенно скользили по клавишам.

— Вот так, наверно, — произнес он, поднимаясь.

Примерно с полчаса то мать, то дочь разучивали один и тот же пассаж. Наконец Умэко встала:

— Хватит. Пойдемте есть. И вы, Дай-сан, с нами, пожалуйста.

В комнате уже ступили сумерки. Звуки музыки, изящные белые руки невестки и племянницы, наконец рисунки, украшавшие верхнюю часть стены, заслонили собой и Митиё и деньги, которые он собирался для нее раздобыть. В полумраке лишь отчетливо вырисовывались ярко-синие волны с белыми брызгами пены, а над ними гряда золотистых облаков, которые художник изобразил по просьбе Дайскэ. Меж облаков видны были силуэты исполинских женщин со спутанными волосами, извивающихся в неистовой пляске. Это тоже была фантазия Дайскэ уподобить Валькирий облаку. Он хотел, чтобы силуэты женщин лишь угадывались, сливаясь с облаками и образуя причудливый клубок. Но у художника так не получилось, и, увидев картину в готовом виде, Дайскэ был слегка разочарован. Когда они с Умэко выходили из комнаты, Валькирии почти не были видны, так же как и ярко-синие волны. Лишь смутно белели гребни волн.

В столовой уже зажгли электричество. Поужинав вместе

с невесткой и детьми, Дайскэ попросил Сэйтаро принести из комнаты брата манилу и, дымя сигарой, болтал о разных разностях. Вскоре Умэко отправила детей готовить уроки, и они с Дайскэ остались наедине. Как-то неловко было ни с того ни с сего завести разговор о деньгах, и Дайскэ решил подойти к нему исподволь. Он спросил, куда так спешили отец и брат в колясках с двумя рикшами, сообщил, что недавно брат его угощал, поинтересовался, почему невестка не была на пикнике в Адзабу, раскритиковал китайские стихи отца, как пустую забаву. В ходе разговора выяснился один любопытный факт. Отец и брат развили такую бурную деятельность, что последние четыре-пять дней не могли даже толком поспать. «А что, собственно, происходит?» — с невозмутимым видом спросил Дайскэ. Невестка тоже очень спокойно ответила, что, видимо, что-то происходит, но ей ничего не известно, поскольку ни отец, ни брат в дела ее не посвящают. «Лучше скажите, Дай-сан, что вы думаете о вашей нареченной?» — начала было Умэко, но в этот момент появился сёсэй. Он сообщил, что старый господин и молодой господин вернутся поздно, только что звонили по телефону, и если придут такие-то, то пусть идут в такой-то ресторан. Как только сёсэй ушел, Дайскэ, опасаясь нудного разговора о женитьбе, поспешил сказать:

— Кстати, сестрица, у меня к вам небольшая просьба.

Дайскэ минут десять излагал суть дела, а потом оказал:

— Решайтесь же, выручайте меня.

Умэко внимательно его выслушала, очень серьезно произнесла «так» и спросила:

— Ну, а когда вы рассчитываете вернуть долг?

Вопрос был неожиданным для Дайскэ. Он молчал, теребя пальцами подбородок и испытующе глядя на невестку. Тогда Умэко еще более серьезно сказала:

— Только не сердитесь. В моем вопросе нет ни капли иронии.

Дайскэ и не думал сердиться. Просто он не был готов к такому вопросу и решил, что умнее всего промолчать, независимо от того, собирается он возратить долг или не собирается. Поэтому единственное, что ему оставалось, — это спокойно принять удар. Полагая, что ей удалось наконец взять верх над непутевым младшим братом, невестка очень просто сказала:

— Вы совершенно со мной не считаетесь, Дай-сан... Нет, нет, я не собираюсь вас отчитывать. Но это действительно так, ничего не поделаешь. Верно?

— Не знаю, что и сказать, настолько вы нынче строги и серьезны.

— Не надо хитрить. Я ведь все прекрасно понимаю. Признайтесь, что я права. Иначе мне будет трудно продолжать разговор.

Дайскэ улыбался и ничего не отвечал.

— Верно? Ну вот видите. Впрочем, это вполне естественно,

и я не в обиде. Сколько бы я ни старалась, мне до вас не дотянуться. Но нас с вами такие отношения вполне устраивают, и никто ни к кому не в претензии. Так ведь вы и отца ни во что не ставите.

Дайскэ нравилось прямотушие невестки, и он ответил:

— Да, иногда случается.

Умэко весело рассмеялась.

— И старшего брата ни капельки не уважаете.

— Брата? Нет, брата я уважаю, и даже очень.

— Неправда. Надо быть до конца откровенным, раз уж мы завели такой разговор.

— Ну, может быть, в каких-то вопросах я не согласен с ним.

— В этом все и дело. Вся наша семья ничего для вас не значит.

— Виноват, грешен.

— Зачем оправдываться, если, по-вашему, иного отношения мы и не заслуживаем?

— Оставим это, пожалуй. Вы что-то нынче очень уж суровы.

— Может быть. Но это не опасно. До ссоры дело не дойдет. Мне только интересно знать, как это вы, такой великий человек, снизили до того, чтобы просить у меня взаймы? Право же, смешно! Вы можете сердиться, полагая, что я так говорю, пользуясь вашим затруднительным положением. Но в этом случае вы будете неправы. Я просто хотела сказать, что, когда нет денег, даже такая персона, как вы, идет на поклон к ничем не примечательной женщине вроде меня.

— Совершенно справедливо. Вот я и обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой.

— Вы никак не хотите отнестись серьезно к моим словам.

— Отчего же? Я вполне серьезен.

— Ну что ж, возможно, это один из ваших многочисленных талантов — к серьезным вещам относиться несерьезно. Но что вы станете делать, если никто не даст вам денег, каким образом выручите ваших приятелей? В подобных случаях даже самый замечательный человек оказывается бессильным, как нищий рикша. «Следует отдать должное невестке, доводы ее бесспорны», — с удивлением подумал Дайскэ. Ведь он и сам почувствовал собственную беспомощность, как только дело коснулось денег.

— В данном случае я, пожалуй, ничем не отличаюсь от рикши. Поэтому и обратился к вам за помощью.

— Несносный вы человек! Будь вы рикшей, я, возможно, выручила бы вас, но вы личность незаурядная, так что доставьте деньги, где хотите. Мало того что сами живете на иждивении отца и брата, так еще для других просите!

Умэко была права, но Дайскэ отмахнулся от этой очевидной истины и лишь представил себе, как дружно противостоят

ему невестка, отец и брат. Пора, видно, перемениться и стать таким, как все. Не зря он опасался, что невестка ему откажет. Но все это были праздные размышления. Взяться за работу — об этом Дайскэ и не думал, поскольку не придавал случившемуся сколько-нибудь серьезного значения.

Он прекрасно понимал Умэко, которая решила воспользоваться случаем, чтобы на него повлиять. И чем больше он это чувствовал, тем равнодушнее становился. Разговор снова коснулся женитьбы. Отец дважды за короткое время докучал ему разглагольствованиями о невесте, но, проникнутый насквозь чувством долга, как его привыкли понимать в старину, на сей раз оказался менее суровым. Женись на ней, говорил отец. Как прекрасно породниться с человеком, которому обязан жизнью, и хоть немного отблагодарить за добро. Рассуждения отца казались Дайскэ лишенными какого бы то ни было здравого смысла. Что в этом прекрасного и при чем тут благодарность? Против невесты, однако, Дайскэ ничего не имел и потому не вступал с отцом в пререкания. Зачем? Можно и жениться. В последние два-три года Дайскэ ничего не принимал всерьез, в том числе и женитьбу. С дочерью Сагавы он знаком не был, только видел ее на фотографии. Но и этого, казалось ему, вполне достаточно. Девушка была хороша собой, и он не собирался артачиться. Просто он никак не решался сказать: «Хорошо, женюсь».

Такую нерешительность отец считал проявлением тупости. Невестка же усматривала в этом определенную странность характера Дайскэ, потому что считала брак важнейшей жизненной проблемой, от решения которой зависело все остальное.

— Ведь и вам, я думаю, вовсе не хочется всю жизнь прожить в одиночестве. Так решились бы наконец и перестали капризничать. — В голосе Умэко прозвучали нотки досады.

Однако Дайскэ до сих пор не знал, что лучше: то ли весь век прожить одному, то ли обзавестись содержанкой, то ли вступить в связь с гейшей. Холостяк по натуре, он не имел ни малейшей склонности к женитьбе по трем причинам: его чувственное восприятие было многогранно, все силы ума он тратил на преодоление иллюзий относительно современного японского общества и, наконец, не испытывая нужды в деньгах, мог общаться с определенного сорта женщинами. Но над всем этим Дайскэ не считал нужным задумываться. Женитьба его нисколько не интересовала, и он предоставил все естественному ходу вещей. Жениться лишь потому, что это необходимо, не только неразумно, но и пошло.

Дайскэ, разумеется, не собирался эту свою философию излагать невестке. И лишь когда она его вынуждала, спрашивал: «Неужто и в самом деле я должен непременно жениться?» Этот вполне искренний вопрос повергал невестку в такое изумление, что она воспринимала его чуть ли не как насмеш-

ку. В тот вечер, исчерпав все доводы, которые она обычно приводила, Умэко сказала:

— Странно! Послушать вас, вы как будто не против женитьбы, а жениться все же не хотите. Может быть, вы влюблены? Тогда скажите: кто она?

Из всех, кого прочили Дайскэ в невесты, он ни одну не смог бы назвать любимой. И вдруг в памяти всплыл образ Митиё. Дайскэ чуть не сказал: «Вот для кого я просил у вас деньги», — но не хватило духу, и, глядя на невестку, он лишь натянуто улыбался.

8

Так ни с чем Дайскэ и вернулся домой. Был уже поздний вечер. Он едва успел на последний трамвай. Ушел, не повидавшись ни с отцом, ни с братом, — их еще не было. Правда, пока он сидел, невестку дважды звали к телефону, но возвращалась она со спокойным видом, а он ни о чем не спрашивал.

В тот вечер небо было цвета земли, в любой момент мог хлынуть дождь. На трамвайной остановке не было ни души. Вдалеке показался огонек. Блуждая в темноте, он все приближался, и, глядя на него, Дайскэ с особой остротой ощутил одиночество и тоску. В трамвае тоже никого не было, если не считать кондуктора и вагонновожатого в черной униформе. Прислушиваясь к лягу и грохоту трамвая, вглядываясь в темноту за окном, Дайскэ сидел в ярко освещенном вагоне, и ему казалось, что этому путешествию не будет конца.

Он вышел на Кагурадзака, тихую улочку, стиснутую с обеих сторон двухэтажными домами, которые постепенно смыкались, образуя тупик. Дойдя до половины улицы, он вдруг услышал гул и звон. «Наверно, ветер шумит по крышам», — подумал Дайскэ, остановился, посмотрел на темневшие карнизы, потом на небо и ощутил безотчетный страх. Двери, сёдзи, стекла — все дребезжало и гремело громче и громче. «Это землетрясение», — мелькнула мысль, ноги отказывались идти, словно оцепенели. Сейчас рухнет дома и погребут под собой улицу. Неожиданно в доме справа со стуком распахнулась калитка, из нее выскочил мужчина с ребенком на руках, громко крича:

— Землетрясение, землетрясение!..

Это действовало на Дайскэ успокаивающе.

Дома Кадоно и служанка оживленно беседовали о землетрясении. Наверняка не пережили того, что он. Забравшись в постель, Дайскэ стал придумывать, как бы все же раздобыть для Митиё денег. Потом начал строить догадки насчет таинственной занятости отца и брата. Последней его мыслью была мысль о женитьбе, с которой он решил тянуть как можно дольше. После этого Дайскэ уснул.

На следующий день в газетах появилось сенсационное сообщение о сахарной компании «Нитто». Один из ее директо-

ров дал из денег компании взятку нескольким депутатам парламента. Кадоно прокомментировал это как обычно, заявив, что событие из ряда вон выходящее, поскольку директор и депутаты парламента арестованы. Дайскэ этому событию не придавал особого значения, хотя с каждым днем возрастало число людей, привлеченных по делу «Нитто». Его расценивали в обществе, как крупный скандал, затеянный, по определению некоторых газет, в угоду Англии. Речь шла о том, что английский посол потерял на акциях «Нитто» и выразил недовольство. Чтобы загладить неловкость, японские власти прибегли к вышеупомянутым мерам.

Незадолго до дела «Нитто», спустя полгода после выплаты двенадцатипроцентных дивидендов, пароходная компания «Тоё-кисэн» сообщила о дефиците в восемьсот тысяч иен. Дайскэ хорошо это помнил. И еще он помнил, что в тот раз, комментируя отчет компании, газеты называли его не заслуживающим доверия.

Дайскэ ничего не знал о фирме, с которой были связаны отец и брат, но не считал их святыми и был уверен, что когда-нибудь они непременно попадут в историю, а при тщательной проверке могут даже угодить в тюрьму. Может быть, он несколько преувеличивал, но, уж во всяком случае, не мог поверить в то, что они нажили свое состояние честно, собственной головой и собственными руками. В первые годы Мэйдзи правительство в качестве поощрения предоставляло землю тем, кто переселялся в Иокогаму. На этом многие изрядно разбогатели. Но далеко не всем послало небо такой дар. Тогда люди вроде его отца и брата, думал Дайскэ, решили сами добыть небесный дар, не стесняясь ни в способах, ни в средствах.

Вот почему к сообщениям газет Дайскэ отнесся без видимого удивления. Что же до судьбы отца и брата, то он не был им настолько предан, чтобы беспокоиться. Одна Митиё его тревожила. Однако он не решался идти к ней с пустыми руками и, теща себя мыслью, что в недалеком будущем все как-нибудь образуется, провел несколько дней, погрузившись в чтение. Тем не менее ни Митиё, ни Хираока, к немалому удивлению Дайскэ, больше не обращались к нему с просьбой о деньгах. В глубине души он надеялся, что Митиё снова придет, сгорал от нетерпения, однако надежды его не сбылись.

В конце концов томимый скукой, Дайскэ почувствовал, что необходимо развлечься, просмотрел в газете объявления о разных зрелищах и решил пойти в театр. Но по дороге раздумал и пошел к товарищу по университету, жившему на улице Морикава. Этот молодой человек по окончании университета не захотел стать преподавателем и, сколько его ни предостерегали, занялся литературой, делом весьма ненадежным. Три года прожил он в безвестности, перебиваясь случайными литературными заработками. Однажды он даже

уговорил Дайскэ написать что-нибудь для одного журнала. Дайскэ написал, и довольно неплохо, однако написанное мешац валялось на книжных прилавках, а потом словно в воду кануло. После этого Дайскэ зарекся братья за перо, хотя Тэрао — так звали друга — при каждой встрече советовал ему продолжать, повторяя при этом: «Бери пример с меня». Но все вокруг говорили, что в скором времени сам Тэрао потерпит полный крах. Особенно любил Тэрао русскую литературу. Ему доставляло удовольствие выискивать малоизвестных писателей, и он на последние деньги покупал новые книги. Дайскэ нередко подтрунивал над другом, когда тот в пылу увлечения произносил целые тирады. Серьезный писатель, считал Дайскэ, не должен впадать в чрезмерный восторг перед Россией. И вообще говорить о России вправе лишь тот, кто прошел русско-японскую войну. На это Тэрао возражал, что никогда еще Япония не оказывалась в столь плачевном положении, как после войны с Россией, и восторг перед этой страной — чувство вполне закономерное и справедливое, пусть даже некоторые считают это малодушием. И он продолжал с жаром восхвалять русскую литературу.

Через парадный ход Дайскэ прошел в гостиную. Тэрао сидел посреди комнаты за лакированным столиком, повязав голову платком в виде жгута («Болит голова», — объяснил он), с засученными рукавами, и писал статью для «Тэйкоку бунгаку».

— Если помешал, зайду попозже, — сказал Дайскэ.

— Можешь остаться, — ответил Тэрао, — я с утра сижу, уже заработал две с половиной ены. — Сняв с головы повязку, Тэрао завел разговор и с первых же слов чуть ли не с пеной у рта стал поносить японских писателей и критиков. Дайскэ слушал его с интересом, а сам думал, что Тэрао вымещает на других досаду за собственные неудачи. Тем не менее он посоветовал:

— А ты напиши об этом.

— Э, нет, нельзя, — засмеялся Тэрао.

— Почему же нельзя?

Тэрао помолчал, а потом объяснил:

— Я о многом написал бы, если бы жил как ты, не нуждаясь. Но ведь надо есть. Впрочем, эта работа в журнале тоже не бог весть какое занятие.

— Не важно, — подбодрил его Дайскэ. — Главное, старайся.

— Как это не важно? — возразил Тэрао. — Мне хотелось бы заняться чем-нибудь настоящим. Может, дашь взаймы? Я попробую.

— Научись раньше серьезно относиться к нынешней своей работе, тогда да, — поддразнил приятеля Дайскэ и ушел.

Он дошел до Хонго, испытывая ту же неодолимую скуку. Чего-то ему не доставало. Желание еще кого-нибудь навестить больше не появлялось. Он прислушался к самому себе, и вдруг

ему показалось, что все его тело заполнено огромным большим желудком. Он сел на трамвай и, пока ехал, при каждом толчке явственно слышал, как бурлит в животе. В четвертом часу, едва волоча ноги, он приплелся домой. У входа его встретил Кадоно.

— Только что приходил нарочный из большого дома, принес письмо. Я расписался в получении, а письмо положил на стол в кабинете.

Письмо принесли в специальной старинной шкатулке с красной лакированной крышкой, на которой не было никакой надписи, даже адреса. На крученом бумажном шнурке, пропущенном через латунные колечки и завязанном узелком, вместо сургуча была метка черной тушью. Дайскэ тотчас догадался, что письмо от невестки. Она любила все старинное, и эта любовь проявлялась иногда самым неожиданным образом. «Сколько ненужных хлопот», — думал Дайскэ, пытаясь концами ножниц развязать узелок.

В отличие от сложной упаковки, само письмо оказалось против ожиданий деловым и лаконичным. «Мне очень ж а л ь , — писала невестка, — что в тот раз я не смогла выполнить вашу просьбу, да еще наговорила вам много лишнего. Прошу вас, не думайте обо мне дурно. Всю сумму, которую вы просили, одолжить не могу. Посылаю двести иен. Отнесите их, не мешкая, вашим друзьям. Только помните, что делаю я это втайне от мужа. А теперь вот вам «задание на дом»: хорошенько подумать о женитьбе и дать ответ».

В письма Дайскэ нашел чек на двести иен и, глядя на него, почувствовал себя виноватым перед Умэко. В тот вечер перед его уходом она спросила: «Значит, деньги вам не нужны?» — заронив тем самым в его душу надежду, хотя вначале наотрез отказалась выполнить его просьбу. Видимо, пожалела его и не могла оставаться спокойной. Слабость и доброта — прелестные женские качества. Однако тогда у Дайскэ не хватило духу воспользоваться ими, и, прощаясь, он ответил: «Нет, не нужны. Как-нибудь обойдусь». Сочтя его ответ чересчур холодным, Умэко, привыкшая действовать смело и решительно, почувствовала себя уязвленной, и в результате появилось это письмо.

Дайскэ тут же написал ответ с изъяснением самых теплых чувств, на какие только был способен. Он и в самом деле ни к кому еще не испытывал такой благодарности, ни к брату, ни к отцу, не говоря уже о людях посторонних. А в последнее время и к самой Умэко.

Может быть, не откладывая, пойти к Митиё? Но двести иен — всего половина. Ни то ни се. Уж не могла Умэко дать всю сумму, раз все равно решилась. Вот тогда бы она действительно его выручила. Но эта мысль мелькнула лишь в тот момент, когда он вспомнил про Митиё. Он был убежден, что при всей своей решительности любая женщина, когда речь

заходит о чувствах, обычно занимает половинчатую позицию, и потому ни капельки не обиделся на Умэко. Напротив, в этой половинчатости Дайскэ видел гибкость, не свойственную мужчинам, чересчур прямолинейным в проявлениях сочувствия. Поступи так отец, Дайскэ счел бы это его необязательностью в делах и не испытал бы ничего, кроме неприязни.

Не ужиная, Дайскэ снова вышел из дому, прошел по улице вдоль Эдогавы, потом через мост и очутился на другом ее берегу. Недавнюю усталость будто рукой сняло. Он поднялся к храму Дэндзуин и между храмовыми постройками увидел высокие заводские трубы, из которых прямо в затянутое облаками небо шел черный дым. Трубы показались Дайскэ убогим существом, которое задыхалось, цепляясь за жизнь. Невольно в памяти всплыл живущий неподалеку Хираока. И, как всегда в подобных случаях, отвращение к уродству взяло верх над состраданием. В этот момент Дайскэ почти забыл о Митиё, до того были ему омерзительны расплзающиеся в воздухе жалкие ключья дыма.

Сквозь дверную решетку Дайскэ увидел в прихожей женские сандалии на толстой подошве и открыл дверь. Из внутренних комнат, шурша шелковым кимоно, вышла Митиё. Она поклонилась, не сразу признав Дайскэ — так темно было в тесной прихожей, но, услышав его голос, тихо проговорила: «А я думаю, кто бы это мог быть?» В сумраке Митиё показалась Дайскэ еще прекраснее.

Хираоки дома не было. Но Дайскэ не знал, лучше это или хуже. Митиё держалась, как всегда, спокойно. Не зажигая лампы, они сидели в комнате вдвоем. Служанка тоже ушла, как сообщила Митиё, да и сама она не так давно вернулась: ходила по делам, здесь неподалеку, и только сейчас поужинала. Потом она заговорила о Хираоке, но ничего нового к тому, что Дайскэ уже знал, не прибавила. Мужа вконец измотали хлопоты, но вот уже целую неделю он почти не выходит из дому, жалуется на усталость, много спит. Или же пьет сакэ. А стоит кому-нибудь зайти, снова пьет, еще больше. Стал раздражительным, всех без разбора ругает.

— Раньше он таким не был, — проговорила Митиё, как бы ища сочувствия. Но Дайскэ молчал. Вернулась служанка и стала чем-то гремять на кухне. Спустя некоторое время она внесла лампу на бамбуковой подставке и, закрывая фусума, когда выходила, украдкой взглянула на Дайскэ.

Дайскэ вынул из кармана сложенный вдвое чек и положил перед Митиё.

— Госпожа Хираока, — он назвал ее так впервые, — вот деньги, которые вы прислали.

Митиё ничего не ответила, только взглянула на Дайскэ.

— Хотел принести сразу, да все было недосуг. Может, опоздал и все уже уладилось?

— Ничего не уладилось, — тихо ответила Митиё. — И не уладится. — В голосе ее звучали жалоба и отчаяние. Она пристально смотрела на Дайскэ широко открытыми глазами. Дайскэ расправил сложенный пополам чек.

— Вероятно, этого мало?

Митиё взяла чек.

— Спасибо. Хираока обрадуется. — Она бережно положила чек на татами.

Дайскэ коротко пояснил, где удалось ему занять деньги.

— Я только кажусь богачом, а помочь никому не могу. У самого ни гроша за душой, так что не думайте обо мне плохо, прошу вас!

— Я все понимаю. Но иного выхода не было. Пришлось затруднить вас столь обременительной просьбой, — виновато сказала Митиё.

— Но хоть немного вас эти деньги выручат? Если нет, я что-нибудь еще придумаю.

— Что же именно?

— Ну, скажем, займу деньги под высокий процент.

— Ох, что вы! — с жаром воскликнула Митиё. — Это самое страшное. Сейчас я вам все расскажу.

Так Дайскэ узнал, что все беды Хираоки пошли от ростовщиков. Долги нависли над ним, словно проклятье. Когда после родов Митиё заболела, Хираока, славившийся своим трудолюбием, стал вдруг вести разгульный образ жизни. Вначале Митиё мирилась с этим, полагая, что мужу необходимо расширять круг деловых знакомств. Но потом это перешло всякие границы, и Митиё уже не могла оставаться спокойной. Волнения пагубно отразились на ее здоровье, Хираоку это раздражало, и он день ото дня становился все распущеннее. «Он не охладел ко мне, нет. В общем-то, я сама во всем виновата», — как бы спохватившись, сказала Митиё и тут же печально добавила, что все было бы по-другому, если бы не умер ребенок.

Из того, что услышал Дайскэ, у него сложилось некоторое представление об отношениях между супругами, независимо от их финансового положения. Однако от расспросов Дайскэ воздержался, лишь, уходя, подбодрил Митиё:

— Не унывайте. Держитесь бодро, как в былые времена. А выдаться свободная минутка — заходите!

— Вы правы, — засмеялась Митиё. Они взглянули друг на друга и будто снова стали прежними Митиё и Дайскэ.

Через два дня к Дайскэ неожиданно явился Хираока. Дул сухой ветер, жара стояла невыносимая, синева неба буквально слепила глаза. Утренняя газета поместила сообщение о том, что расцвели ирисы. Крупная южноафриканская лилия, стоявшая в горшке на веранде, уже осыпалась. Зато из стебля пробились длинные, шириной с клинок короткого самурайского меча, светло-зеленые листья. Старые, уже потемневшие,

сверкали на солнце. Один из них показался Дайскэ безобразным. Он надломился посередине и под углом свешивался вниз. Дайскэ с ножницами в руках вышел на веранду, срезал отломившуюся часть и выбросил. Лист сразу стал сочиться, и, пока Дайскэ его разглядывал, на пол с глухим стуком упало несколько капель густого зеленого сока. Дайскэ, захотелось его понюхать, и он сунул нос в самую гущу листьев. Потом вынул из рукава кимоно платок и стал вытирать ножницы. Как раз в этот момент Кадоно доложил о приходе Хираоки. Дайскэ был сейчас далек и от Хираоки, и от Митиё, и вообще от всего на свете. Его мыслями и чувствами целиком завладела удивительная зеленая влага. Но это настроение тотчас исчезло, стоило Дайскэ услышать имя Хираоки, с которым нынче ему совсем не хотелось видеться.

— Провести гостя сюда? — спросил Кадоно. Дайскэ кивнул и прошел в гостиную. В летнем европейском костюме, новой белой рубашке с ослепительно белым крахмальным воротничком, в модном вязаном галстуке Хираока выглядел настоящим щеголем. Никто не принял бы его за безработного.

Из разговора выяснилось, что дела у Хираоки без изменений. Все его старания тщетны. Целые дни он шатается по городу или спит дома. Тут Хираока расхохотался. Дайскэ сказал, что это не так уж плохо. Они поболтали о разных пустяках, всячески избегая главного и от этого испытывая внутреннее напряжение.

Ни о Митиё, ни о деньгах, ни о визите Дайскэ в его отсутствие три дня назад Хираока речи не заводил. Дайскэ вначале тоже молчал, но немного погодя почувствовал некоторую тревогу.

— А знаешь, я заходил к тебе на днях, но не застал.

— Митиё говорила. Спасибо за помощь... Не стоило, пожалуй, утруждать тебя, обошлись бы как-нибудь, но жена у меня человек беспокойный, вот и доставила тебе хлопот, ты уж извини. — Все это Хираока произнес холодным тоном и продолжал: — Ты, может быть, думаешь, что я пришел специально поблагодарить? Нет, за этим придет Митиё. — Хираока говорил так, словно к этому делу не имел никакого касательства.

— К чему такие церемонии? — только и мог ответить Дайскэ. Какое-то время они молчали, а затем повели общий разговор, малоинтересный для обоих.

— Я, вероятно, порву с коммерческим миром, — вдруг заявил Хираока. — Чем больше я узнаю его закулисные стороны, тем он мне противнее. К тому же я исчерпал все свои силы, пытаюсь пробиться. — Это был крик души.

— Пожалуй, ты прав, — равнодушно ответил Дайскэ. Неприятно удивленный таким безразличием, что было заметно по выражению его лица, Хираока тем не менее продолжал:

— Помнишь, я говорил, что хочу работать в газете?

— Что, есть вакансия?

— Есть. Может, что-нибудь и получится.

Это заявление как-то не вязалось с началом разговора, когда Хираока жаловался на тщетность всех своих поисков и вынужденное безделье, однако Дайскэ лень было допытываться, и он поддержал друга:

— Что же, дело стоящее.

Проводив Хираоку до дверей, Дайскэ некоторое время стоял на пороге, прислонившись к сёдзи. Вместе с ним и Кадоно поглядел Хираоке вслед и тут же заметил:

— Вот уж не думал, что Хираока-сан такой франт. Одет шикарно, а дом в полном запустении.

— Ну что ты! Нынче все так одеты, — ответил Дайскэ, не двигаясь с места.

— Да, теперь по одному внешнему виду и не скажешь, что за человек, — подхватил Кадоно. — Думаешь, солидный господин, а он в какой-то хибаре ютится.

Дайскэ ничего не ответил и вернулся в кабинет. Зеленые капли сока на веранде почти высохли и скорее походили на грязные пятна. Дайскэ сдвинул перегородки между кабинетом и гостиной. После ухода гостей у него обычно появлялось желание побыть одному, особенно если он терял душевное равновесие, как это случилось сегодня.

Итак, Хираока от него отдалился. С каждой встречей они все меньше понимали друг друга. Это, впрочем, касалось не только Хираоки, а и многих других, с которыми Дайскэ приходилось иметь дело. Он давно пришел к выводу, что современное общество это не что иное, как конгломерат разобщенных между собой индивидуумов. Земля, единое целое по природе своей, сразу оказалась поделенной на части, как только на ней выстроили дома. Живущие в домах люди также разделены. Цивилизация способствует разобщению, одиночеству.

Когда Хираока был дружен с Дайскэ, ему необходимо было сочувствие, оно его радовало. Внутренне он, возможно, и не изменился. Но по его неприступному виду судить об этом трудно. Скорее, он отвергает всякое сочувствие. Либо из упрямства, желая доказать, что и сам пробьется в жизни без чьей-либо помощи, либо уразумев вдруг, что независимость главное достоинство современного человека.

В былые времена, когда их с Хираокой связывала тесная дружба, Дайскэ умел сочувствовать чужому горю. Но мало-помалу сердце у него очерствело, как и у многих, кого он знал. Нельзя сказать, что это было веянием века. Просто люди стали таковы. Да и о какой отзывчивости может идти речь, если человек находится под двойным гнетом: западной цивилизации и жестокой борьбы за существование?

И сейчас, думая о Хираоке, Дайскэ испытывал не столько отчужденность, сколько антипатию. То же самое, видимо, испытывает и Хираока, думал Дайскэ. Случалось, что и

прежде у Дайскэ вдруг появлялось что-то похожее на неприязнь к другу, но тогда это его печалило. Нынче же чувство это вполне осознанное и нисколько его не огорчает. Да, думал Дайскэ, кроме неприязни он ничего у меня не вызывает, и с этим ничего не поделаешь.

Дайскэ слишком трезво мыслил, чтобы страдать от одиночества, которое считал естественным состоянием современного человека. Отчуждение между ним и Хираокой всего лишь результат закономерного процесса развития человеческих отношений. Правда, его ускорению способствовало определенное обстоятельство, и трещина появилась несколько раньше, чем это бывает обычно. Этим обстоятельством явился брак Хираоки, которому немало содействовал Дайскэ. Ни тогда, ни после Дайскэ ни в чем не раскаивался. Напротив. Он считал, что столь благородный поступок озарил ярким светом все его прошлое. Но минуло три года, и друзья спасовали перед жизненными перипетиями. От благородных помыслов, тщеславия, дольства собой не осталось и следа. Хираока в глубине души уже раскаивался в своей женитьбе, Дайскэ — в том, что играл роль посредника.

Весь день Дайскэ предавался размышлениям, запершись в кабинете. За ужином Кадоно ему сказал:

— Вы так усердно работали весь день, сэнсэй, что не грех и прогуляться. Нынче, кстати, храмовый праздник бога сокровищ Бисямонтэна. В театре представление китайских студентов. Сходили бы! Чего только там не увидишь! Китайцы — народ веселый.

Однако болтовню Кадоно Дайскэ оставил без внимания.

9

Когда отец в очередной раз велел Дайскэ явиться, тот сразу смекнул, о чем пойдет речь. Встреч с отцом Дайскэ всячески избегал, особенно в последнее время. Он старался пореже ходить в большой дом, потому что его не покидало мучительное чувство, что любым сказанным им словом, пусть самым вежливым, он оскорбляет старика.

В современном обществе люди не могут общаться, не оскорбляя друг друга, и в этом Дайскэ, сам представитель рода человеческого, тоже видел нравственное падение, столь характерное для двадцатого столетия. Непомерная жажда богатства в последние годы уничтожила стремление к нравственной чистоте. Это был конфликт между старым и новым. Жажду роскоши, охватившую Японию, Дайскэ уподоблял тайфуну, налетевшему из Европы.

Жажда богатства и стремление к нравственной чистоте должны когда-нибудь прийти в равновесие. Но это невозможно, пока полунищая Япония не достигнет финансовой мощи евро-

пейских держав. Такого счастливого дня, Дайскэ убежден, ему не дождаться. Оказавшись в тупике, так называемые японские джентльмены постоянно творят зло, пусть в рамках закона, и на этом сосредоточены все их помыслы. Но, зная все друг о друге, они беседуют с удивительной непринужденностью, обходя молчанием главное. Дайскэ же, как представитель рода человеческого, не склонен был никого оскорблять и сам не желал терпеть оскорбления.

Отец Дайскэ несколько отличался от обычных людей, обладая ему одному присущими чертами. В основе его воспитания лежали моральные принципы, типичные для самураев до революции Мэйдзи. Все было неразумно в этом воспитании, его критерии чувств, воли и поступков противоречили самой человеческой природе. Опирающуюся на факты истину это воспитание игнорировало. Однако отец Дайскэ по сей день оставался его ярким приверженцем. Но эта приверженность сочеталась у него, как у коммерсанта, с непомерной алчностью, которая все больше и больше, подобно коррозии, разъедала ему душу. Казалось бы, он должен сильно перемениться с годами. Но в этом он никак не хотел признаваться, утверждая, будто преуспел, ни разу не изменив своим принципам. Лишь в условиях феодального общества можно было воспитать человека аскетом, равнодушным к роскоши и наслаждениям, рассуждал Дайскэ. Если же современный человек хочет придерживаться принципов феодального общества, он обрекает себя на мученья. Лишь невежда и тупица не способен понять такую простую вещь. Вот и отец, когда Дайскэ его слушал, казался ему либо человеком недалеким, либо лицемером. И то и другое было одинаково неприятно.

Но отца не переделаешь. Дайскэ убедился в этом и потому не спорил, не перечил ему. Источник морали — само общество. И пытаться влиять на него с помощью раз навсегда установленных принципов можно, лишь спутав причину со следствием — в этом нет сомнений. Обучение в Японии лишено какого бы то ни было смысла. Оно основано либо на устаревшей морали, либо на морали, более пригодной для европейцев. И та и другая воспринимаются человеком с неумной, почти болезненной жадной жизненных благ как пустая болтовня, не более. Он лишь посмеется, столкнувшись с действительностью, когда вспомнит, чему его учили, или почувствует себя обманутым. Дайскэ тоже воспитывали в никому не нужной строгости, мало того что в школе, так еще и дома. Потом он не мог вспомнить об этом без гнева, а какое-то время даже страдал.

Не так давно, когда Дайскэ ходил благодарить Умэко, она посоветовала ему зайти к отцу поздороваться. Дайскэ рассмеялся и с притворным удивлением спросил: «А разве папа дома?» Потом сослался на то, что торопится, и обещал сделать это в другой раз.

Когда же отец сам его позвал, тут уж ничего не оставалось, как скрепя сердце явиться. Дайскэ, по обыкновению, вошел через боковой вход, но в гостиной, вопреки ожиданию, увидел старшего брата, который, сидя на татами, пил вино, а подле него — Умэко.

— Выпьешь рюмку? — Сэйго помахал перед Дайскэ бутылкой. Там еще оставалось довольно много вина. Умэко велела служанке принести рюмку и наполнила ее.

— Угадайте, сколько лет этому вину?

— Где уж е м у , — сказал Сэйго, с легким пренебрежением глядя на Дайскэ.

— Вкусно, — сказал Дайскэ, отпив глоток. В вазочке вместо закуски лежали тонкие вафли.

— Понравилось? Тогда тем более должны угадать.

— Вероятно, очень старое? Шикарная штука! Дали бы мне с собой бутылочку.

— Охотно, но больше нет. Это нам в подарок прислали, — сказала Умэко и вышла на веранду отряхнуть кимоно, на которое попали вафельные крошки.

— Скажи, что случилось, Сэйго? По какому поводу ты сидишь с видом именинника?

— Решил отдохнуть. Вконец измотался, особенно за последние д н и . — И Сэйго сунул в рот погасшую сигару. Рядом лежали спички. Дайскэ взял их и дал брату прикурить.

— Скорее, Дай-сан, это у вас вид именинника, — заметила Умэко, вернувшись с веранды. Дайскэ пропустил ее замечание мимо ушей и спросил:

— Вы были в театре Кабуки, сестрица? Если не были, непременно сходите. Весьма занятно!

— А вы уже были? Что-то не верится. Такой лентяй!

— Зачем же вы меня обижаете? Просто интересы у меня другие.

— Опять вы за свое... Ни капельки не цените моего отношения. Вообразили о себе невесть ч т о . — Умэко посмотрела на Сэйго, но тот будто и не слышал, рассеянно глядя куда-то в пространство. — Верно я говорю? — снова обратилась Умэко к мужу.

Сэйго досадливо поморщился и вынул изо рта сигару.

— Пусть набирается знаний, может, выручит, если я когда-нибудь разорюсь.

— Вы могли бы стать актером, Дай-сан?

Вместо ответа Дайскэ протянул Умэко свою рюмку. Она больше ничего не сказала и взяла бутылку.

— Ты говоришь, что последние дни был очень занят? — вернулся Дайскэ к прежней теме.

— Так замотался, что лучше не вспоминать. — Сэйго откинулся на спину.

— Вероятно, опять дело «Нитто»?

— «Нитто» здесь ни при чем.

Ответ, как всегда, был маловразумительным. Сэйго не считал нужным выражаться яснее, но Дайскэ не раздражался, относя это на счет нежелания брата обременять себя в разговоре излишними подробностями.

— Неужто нельзя избежать историй, подобных той, что произошла с «Нитто»?

— Гм, как тебе сказать... Всего не предусмотреть. Чего только не случается в мире... Умэ, вели Наоки немного прогулять Гектора, а то ему вредно столько есть и спать.

Во время разговора Сэйго все время тер глаза, словно не выспался.

— Ну что ж, надо наконец пойти к отцу за очередной взбучкой, — сказал Дайскэ, снова протягивая невестке рюмку. Умэко, смеясь, налила ему вина.

— О чем речь пойдет, о невесте? — спросил Сэйго.

— Гм, наверно.

— Женился бы! Зачем волновать старика? И, прошу тебя, будь осторожен, — добавил Сэйго уже несколькими интонациями. — Помни, что атмосферное давление чуточку понизилось.

— Надеюсь, это не связано с хлопотами последних дней? — спросил Дайскэ, поднимаясь с места.

— Понятия не имею, — ответил Сэйго, продолжая лежать. — Все может быть. Кто знает, не заберут ли и нас когда-нибудь, как это случилось с директорами «Нитто».

— Глупости, — с упреком бросила Умэко.

— Я полагаю, мое безделье — главная причина низкого атмосферного давления, — смеясь, заметил Дайскэ.

Чтобы попасть в покои отца, надо было пройти крытую галерею и пересечь внутренний дворик. Еще с порога Дайскэ увидел отца за старинным китайским столиком, на котором лежала раскрытая старинная китайская книга. Он любил стихи китайских поэтов и на досуге часто их читал. Еще он брался за них в дурном расположении духа. В такие минуты даже Сэйго, с нервами толстыми, словно канаты, старался не попадаться старику на глаза. Если же встреча была неизбежна, брал с собой Нуико или Сэйтаро. Дайскэ тоже подумал было об этом, но потом решил и пошел прямо к отцу.

Отец снял очки, положил их на книгу и повернулся к Дайскэ.

— Пришел? — коротко произнес он необычно ласковым для него тоном. «Брат нарочно меня пугал», — подумал Дайскэ, чинно усаживаясь и положив руки на колени. Отец предложил ему чаю, и некоторое время они беседовали на разные отвлеченные темы. К примеру, о том, что нынче рано расцвели душистые пионы, что сборщики чая в эту пору буквально убаюкивают своими песнями, что в некоторых местах появились глицинии длиной почти до четырех сяку¹. Дайскэ вполне

¹ Сяку — 30,3 сантиметра.

устраивал такой разговор, и он старался продлить его как можно дольше. Отцу же это наскучило, и он перешел к делу, сказав:

— Вот зачем я тебя позвал.

Дайскэ, не перебивая, почтительно слушал с таким вниманием, словно все это не было ему давным-давно известно. А отец говорил и говорил, будто лекцию читал. Правда, кое-что в его нравочениях появилось новое и довольно серьезное.

Обычно отец довольствовался пространными указаниями и советами, а сегодня вдруг спросил:

— Что, собственно, ты намерен делать дальше?

На такой вопрос нельзя было ответить уклончиво или наоборот. Отец рассердится. А чтобы старик понял истинные намерения сына, его надо самое малое два-три года перевоспитывать. Сию же минуту Дайскэ не мог привести веских доводов в защиту своих планов на будущее, казавшихся ему самому такими естественными и разумными. Потребуется масса времени, чтобы отец понял и сказал: «Пожалуй, ты прав». Возможно, целой жизни не хватит. Вполне достаточно пустить в ход всякие трескучие фразы вроде: «На благо государства», «Во имя старины», ни словом не обмолвившись о женитьбе, и отец будет удовлетворен. Но Дайскэ не в силах был так унижить себя и честно признаться, что планов у него много, вот он приведет их в порядке и тогда явится к отцу за советом. Такой ответ самому Дайскэ показался забавным, но с этим приходилось мириться.

Не хочет ли Дайскэ иметь состояние, чтобы жить независимо? — последовал вопрос. Разумеется, хочет, был ответ. Тогда было выдвинуто условие: женитьба на дочери Сагавы. Оставалось лишь неясным, от кого Дайскэ получит это состояние: от дочери Сагавы или от отца. Попытки хоть что-нибудь выведать окончились неудачей, и он решил ни о чем больше не спрашивать.

Может быть, Дайскэ хочет съездить в Европу? Дайскэ не отказался. Но и для этого, оказалось, надо жениться.

— Неужели эта женитьба так уж необходима? — не выдержав, спросил Дайскэ. Старик побагровел. Сердить отца не входило в намерения Дайскэ. Любой конфликт он считал проявлением все того же нравственного падения. Стоит ли сердить кого-нибудь или затевать ссору, если гнев на лице противника пагубно отражается на собственном здоровье? Относительно того, можно или нельзя творить зло, у Дайскэ тоже существовало свое, особое мнение. Кару за совершенное зло посылает сама природа. Убийца видит хлещущую из раны кровь убитого, и уже это для него наказание. Дайскэ был уверен, что в целом мире не сыщешь человека, чью душу не терзал бы вид бьющей фонтаном крови. Вот до какой степени был впечатлителен Дайскэ! И, разумеется, ему стало не по себе, когда он увидел, что рассердил отца. И все же ему и в голову не

пришло исполнить волю отца и тем самым вдвойне искупить зло. Поступить так мог только глупец, а Дайскэ с большим уважением относился к своим умственным способностям.

Тогда отец с жаром заговорил о том, что он уже стар, что его родительский долг найти сыну невесту и обеспечить ему будущее, что в достоинствах невесты родитель разбирается куда лучше, чем сам жених, что отцовская забота сейчас может показаться докучливой, а потом, когда что-нибудь случится, от этого назойливого старика будут ждать помощи. Дайскэ был весь внимание, дал старику выговориться, однако остался при своем мнении. Тогда отец сказал с деланным спокойствием:

— Ладно, оставим Сагаву. Выбери себе невесту по душе. Кто бы она ни была. Может быть, она уже есть?

Тот же вопрос задавала и невестка, однако на сей раз усмехнуться и промолчать было невозможно, и Дайскэ напрямик ответил:

— Нет.

— Хоть бы обо мне подумал! — с раздражением сказал отец. — Так нет же, только о себе печешься.

Такая внезапная перемена удивила Дайскэ: воть только сейчас старик уверял, что заботится лишь об интересах сына.

— Ну раз это для вас так важно, я подумаю, — ответил Дайскэ.

Отец еще больше рассердился. С Дайскэ случалось, что в разговоре он стремился оставаться до конца логичным. Но это воспринималось, как желание припереть собеседника к стенке, желание, противное самому существу Дайскэ.

— Я не о себе забочусь, когда говорю о твоей женитьбе. Но раз ты настолько упрям, хочу напомнить, что тебе уже тридцать, верно? И если здоровый, нормальный человек в таком возрасте не женат, что о нем думают люди? Сейчас, разумеется, не прежние времена, и каждый волен жениться или не жениться. Но подумай о том, что ты огорчаешь отца и брата, что в любой момент может быть затронута твоя честь. Что тогда делать?

Дайскэ обалдело смотрел на отца, совершенно не понимая, к чему старик клонит.

— Коль скоро речь идет обо мне, — сказал он после некоторой паузы, — то вам известно, что кое-что я себе позволяю, но...

Наступило молчание. Поскольку Дайскэ больше не возражал, отец, уверенный в своей моральной победе, сказал уже более мягко:

— Ну что ж, подумай хорошенько.

— Непременно, — пробормотал Дайскэ и поспешил уйти. Он хотел поговорить с братом, но того уже не оказалось дома. На вопрос, где невестка, горничная ответила, что в гостиной. Кроме Умэко, там был еще учитель музыки, у кото-

рого Нуико брала уроки. Дайскэ кивнул ему и подозвал к двери невестку.

— Вы ничего не наговорили на меня отцу?

Умэко расхохоталась и увлекла его к пианино, говоря:

— Входите же, вы очень кстати!

10

Пришло лето, в комнаты напоззли муравьи. Дайскэ налил в горшок для цветов воды и поставил туда белоснежные ландыши. Горшок был такой низкий, а стебли такие длинные, что цветы, свесившись, закрыли по краям горшка узоры. Тронешь горшок, цветы осыпаются. Дайскэ поставил цветы на толстый словарь, положил на татами подушку и в изнеможении лег. Голова его как раз оказалась в тени горшка, и Дайскэ с наслаждением вдыхал аромат ландышей. Так незаметно он задремал.

Редко встречалось такое обостренное восприятие, как у Дайскэ. Даже отраженный солнечный свет бывал для него порою невыносим. И когда это случалось, Дайскэ избегал людей, стараясь, будь то утро или день, как можно больше спать. Его великолепно усыплял тонкий аромат цветов, и, зная это, Дайскэ ложился так, чтобы на него не падал свет, и, смежив веки, тихо дышал, сомкнув губы, одним носом. Аромат постепенно успокаивал взбудораженное сознание, навевал сон. И если ему удавалось уснуть, после пробуждения он чувствовал себя обновленным, и его уже не тяготило общение с людьми.

После очередного визита к отцу Дайскэ целых несколько дней не мог смотреть на розы, яркими пятнами алевшие в углу сада, и, бросив на них случайно взгляд, тотчас же переводил его на листья функии, которая росла возле кадки с водой. На листьях, беспорядочно переплетаясь, белели полосы, и каждый раз, когда Дайскэ смотрел на них, ему чудилось, будто и листья и полосы вытягиваются, становясь все длиннее, свободные, ничем не скованные. Цветы граната были еще ярче, чем розы, они сверкали среди зелени, словно нарочно выпячивая свою яркость, и тоже не гармонировали с настроением Дайскэ.

Дайскэ, как это порою с ним бывало, все представлялось сейчас в мрачных тонах. Светлое поэтому казалось слишком светлым и вызывало отвращение. Даже листья функии становились неприятны, стоило ему хорошенько в них взглядеться.

Вдобавок ко всему Дайскэ вдруг охватило беспокойство, весьма типичное для нынешнего поколения японцев. Было что-то варварское, пожалуй, даже первобытное в этом беспокойстве, рожденном недоверием между людьми. Подобные явления чисто морального порядка вызывали в Дайскэ сильнейший душевный разлад. Как человек мыслящий, он был

неверующим и верующим стать не мог. Более того, он был убежден, что люди полагаются на бога потому, что не верят друг другу. Недоверие причиняет муки, а у кого просить избавления, как не у бога? Путем таких размышлений Дайскэ пришел к выводу, что в странах, где почитают бога, люди лгут. В этом смысле Япония стоит особняком: здесь ни во что не верят — ни в бога, ни в людей. И виной всему экономическое положение.

На днях Дайскэ прочел в газете об агенте уголовной полиции, сообщнике воров, совершившем преступление. Это не был единичный случай. По словам другой газеты, если начать распутывать клубок по всей строгости закона, Токио, пожалуй, останется на время без полицейских. Дайскэ зло усмехнулся. Все нормально. Нужда заставила полицейского пойти на преступление.

И тут на память Дайскэ пришел его последний разговор с отцом о женитьбе. Отец грозил Дайскэ всякими неприятностями, причем не прямо, а намеками, и все потому, что между ними не было доверия. Дайскэ не считал безнравственным думать об отце дурно. Он ничуть не удивился бы, приведи отец свою угрозу в исполнение.

С такой же антипатией относился Дайскэ и к Хираоке, только более снисходительно. Старшего брата Дайскэ любил, но и ему не верил. Искренность и доброту невестки приписывал ее житейской неопытности.

Словом, ко всем окружавшим его людям Дайскэ относился в высшей степени пренебрежительно. Обостренная чувствительность уживалась у него с самоуверенностью. Он ясно это сознавал. И вдруг в нем шевельнулось чувство, похожее на беспокойство. Быть может, это результат физического состояния? И Дайскэ прибег к испытанному средству. Поставил у изголовья ландыши, которые ему привезли с Хоккайдо, и лег спать.

Спустя час он открыл глаза и некоторое время неподвижно смотрел в одну точку, не шевельнув ни рукой, ни ногой, будто мертвец. Но тут почувствовал, что по шее у него ползет муравей, и быстро его придавил. Затем взял двумя пальцами и стал разглядывать. После этого щелчком его отбросил и встал.

С муравьями, которые ползали по ноге, Дайскэ расправился тонким разрезным ножом из слоновой кости и хлопнул в ладоши. Вошел Кадоно.

— Проснулись? Чаю хотите?

Запахивая халат на груди, Дайскэ безразличным тоном спросил:

— Никто не приходил, пока я спал?

Кадоно так же равнодушно ответил:

— Приходили. Супруга Хираоки-сан. А как вы догадались?

— Почему же ты меня не разбудил? — воскликнул Дайскэ.

- Уж очень сладко вы спали.
— Все равно надо было разбудить, раз гости пришли, — рассердился Дайскэ.
— Это верно, но... Госпожа Хираока не велела будить.
— А что она сказала? Зайдет еще?
— Зайдет, наверно. Сказала, что сходит за покупками в Кагурадзака и вернется.
— Значит, придет?
— Она, собственно, хотела подождать, даже в комнату зашла, а потом раздумала. Видно, поняла, что не так-то скоро вы проснетесь.
— Значит, заходила, а потом ушла?
— Выходит, так.

Дайскэ рассмеялся и провел рукой по лицу. Затем пошел в ванную. Смочил волосы и почувствовал себя бодрее. Он вышел на веранду и стал смотреть в сад, залюбовавшись парой ласточек в затянутом облаками небе.

С того самого дня, как у него последний раз побывал Хираока, Дайскэ с нетерпением ждал прихода Митиё. Но то ли Хираока просто так сболтнул из вежливости, то ли Митиё раздумала приходить по каким-то ей одной известным соображениям. От этой мысли в душе у Дайскэ образовалась пустота, но он принял это как должное и продолжал бездействовать. Лучше не заглядывать в этот уголок души, чтобы не обнаружить чего-нибудь еще более мрачного.

Поэтому Дайскэ не собирался пока наносить Хираоке визит. Во время прогулок бывало, что ноги сами несли его к реке Эдогава. В пору, когда осыпалась сакура, Дайскэ, ласкаемый вечерним ветерком, переходил с берега на берег по четырем мостам туда и обратно, подобно иголке прошивая длинную набережную. Потом цветы сакуры облетели, и появилась густая листва, дающая тень. Облокотившись на перила моста и подперев голову руками, Дайскэ подолгу созерцал сверканье реки, лентой бежавшей среди сочной зелени. Потом глядел вдаль, туда, где река превращалась в узкую полоску, и любовался рошей на холме Мэдзиро. Так хотелось перейти мост и подняться по улице Коисикава, но, подавив это желание, Дайскэ возвращался домой. Когда однажды неподалеку от Омари ему показалось, будто Хираока сошел с трамвая, Дайскэ тут же повернул к пристани.

По-прежнему ли Хираока в стесненных обстоятельствах, без работы, или нашел какой-нибудь выход из положения, ничего этого Дайскэ не знал, хотя к судьбе друга не был равнодушен. Но он не мог заставить себя пойти к Хираоке и все подробно выяснить, поскольку смутно чувствовал, что встреча эта сулит ему одни неприятности. Нельзя сказать, что он беспокоился о Хираоке ради одной Митиё, не так уж плохо он относился к старому другу. Напротив, он желал ему только добра.

Ощущение пустоты где-то в самом дальнем уголке сердца не проходило. Если бы можно было окунуть голову в прохладную голубую воду и дать отдых разгоряченному слишком интенсивной работой мозгу, думал Дайскэ, когда некоторое время назад велел Кадоно принести подушку, намереваясь уснуть. Чересчур острое восприятие жизни изматывало нервы, и стоило Дайскэ коснуться подушки, как он тут же забыл и про Хираоку и про Митиё. Спал он безмятежно, только вдруг ему почудились чьи-то легкие шаги: кто-то тихонько вошел и тут же вышел. Он проснулся, но это ощущение не проходило. Поэтому, собственно, он и спросил Кадоно, не был ли здесь кто-нибудь, когда он спал.

Приложив руки ко лбу козырьком, Дайскэ наблюдал за весело кружившими в небе ласточками, пока не устали глаза, а потом вернулся в комнату. Предстоящий приход Митиё нарушил равновесие Дайскэ, и он уже не мог ни размышлять, ни читать. Тогда он снял с полки толстый альбом с гравюрами, положил на колени и стал перелистывать. Однако делал он это чисто механически, без всякого удовольствия. Правда, один раз взгляд его оживился, это когда он увидел гравюру с картины Брэнгвина¹, которого высоко ценил, с изображением какого-то порта. Суда, мачты, паруса, яркое небо с легкими облаками, темная вода — все это было выписано удивительно четко, а на переднем плане стояло несколько полуобнаженных рабочих. Некоторое время Дайскэ созерцал их спины и плечи с упругими сплетениями мышц и ложбинками между ними, буквально ощущая исходившую от них физическую силу и испытывая при этом радость. Но тут из кухни донесся голос служанки. Дайскэ оторвал глаза от альбома и прислушался. Раздался звон посуды, затем торопливые шаги разносчика молока. В тишине дома обостренный слух Дайскэ улавливал каждый шорох.

Рассеянно разглядывая стену, Дайскэ хотел было позвать Кадоно и уточнить, когда именно обещала прийти Митиё, но передумал, решив, что это глупо. В самом деле, с какой стати он с таким нетерпением ждет чужую жену? Давно бы сам к ней пошел и поговорил. Дайскэ устыдился собственной нелогичности, хотя великолепно знал ее причину. Нелогичность в данных обстоятельствах — это сама реальность, пришедшая в столкновение с логикой. А логика всего лишь форма, которая пренебрегла собственной сущностью в угоду чуждым ей суждениям. Придя к такому выводу, Дайскэ, собравшийся было идти, снова опустился на стул.

Что он делал, о чем думал до прихода Митиё, Дайскэ почти не помнил. Лишь почувствовал, как неистово забилося сердце, когда у входа раздался женский голос. Обладая умением заставить свой ум логически мыслить, Дайскэ в то же время

¹ Брэнгвин Фрэнк (1867—1943) — английский художник.

не способен был управлять собственным сердцем. Своим хладнокровием в последнее время он тоже был обязан рассудку, который не позволял ему злиться и тем самым ставить себя в нелепое положение. Но случилось и так, что Дайскэ становился рабом чувств. Заслышав шаги Кадоно, выходявшего встретить гостью, а потом увидев в дверях кабинета его самого, Дайскэ слегка побледнел.

— Сюда? — коротко спросил Кадоно, не утруждая себя лишними словами, вроде «проводить в гостиную или в кабинет?». Дайскэ кивнул и, желая поскорее избавиться от Кадоно, который ждал ответа, выглянул на веранду. Несколько растерянная, Митиё стояла между верандой и прихожей.

Выглядела она еще болезненнее, чем в последнюю их встречу. Движением головы Дайскэ пригласил гостью в кабинет и вдруг заметил, как учащенно она дышит.

— Что с вами?

Не отвечая, Митиё вошла в комнату. На ней было легкое кимоно, в руках — крупные белые лилии. Резким движением она положила, точнее, бросила, лилии на стол и в изнеможении села, прислонившись головой к спинке стула и рискуя испортить прическу.

— Ах, как я устала, — промолвила женщина, глядя на Дайскэ. Дайскэ собрался было позвать служанку, чтобы та принесла воды, но Митиё молча показала на стакан, из которого Дайскэ после еды полоскал рот. Там оставалось еще немного воды.

— Я из него пил. — Дайскэ хотел выплеснуть воду, не вставая с места, прямо в сад, но мешала стеклянная дверь напротив сѣдзи. У Кадоно была привычка держать закрытыми одну-две створки стеклянных наружных дверей веранды. Пришлось самому идти на веранду выливать воду. Заодно Дайскэ позвал Кадоно, но тот не откликнулся, видимо, ушел куда-то. В легком замешательстве Дайскэ вернулся к Митиё.

— Подождите минутку, сейчас принесу, — сказал он, поставил стакан на стол и пошел в кухню. Проходя через столовую, он увидел Кадоно, который своими неуклюжими пальцами доставал из оловянной чайницы «яшмовую росу»¹.

— Я сейчас, сэнсэй, — сказал Кадоно извиняющимся тоном.

— С чаем можно подождать. Воды нет, — сказал Дайскэ.

— А, вон оно что! Попить? — Кадоно пошел вслед за хозяином на кухню. Они вдвоем стали искать стакан, но не нашли.

— А старуха где? — спросил Дайскэ.

— Пошла купить чего-нибудь сладкого для гостыи.

— Раньше надо было купить, — стал выговаривать сѣсю Дайскэ, наливая в чашку воду из-под крана.

¹ «Яшмовая роса» — название зеленого чая высшего сорта.

— Я не сказал тетушке, что будет гостя. — Кадоно виновато почесал в затылке.

— Сам бы ходил в лавку, — сказал Дайскэ, выходя из кухни.

— Она сказала, что кроме конфет надо еще кое-что купить, — продолжал оправдываться Кадоно. — Нечего было ей самой ходить, ноги у нее болят, да и погода хуже некуда.

Недослушав, Дайскэ вернулся в кабинет. И сразу заметил, что Митиё держит на коленях тот самый стакан, который Дайскэ поставил на стол. В стакане была вода, примерно столько, сколько Дайскэ выплеснул. С чашкой в руке, несколько растерянный, Дайскэ подошел к Митиё.

— Вы пили воду?

— Да, спасибо. Больше не хочу. Я вон оттуда взяла. — Митиё указала глазами на вазу с ландышами. — Там совсем чистая вода.

Сквозь голубоватые, тонкие, как зубочистки, стебельки было видно, как отражается в воде узор по краям сосуда.

— Зачем же вы пили такую воду? — недоумевая, спросил Дайскэ.

— Ну, не отравя же это. — Митиё посмотрела стакан на свет.

— Не отравя... А может быть, два или три дня ее не меняли?

— Когда я приходила нынче первый раз, мне захотелось понюхать цветы, и молодой человек, который здесь был, сказал мне, что только что в вазу налили свежую воду из бочки. Так что не беспокойтесь. Приятный запах!

Дайскэ ничего не ответил. У него не хватило духу выспрашивать, пила она воду из-под цветов, движимая каким-нибудь поэтическим чувством или же просто потому, что ее мучила жажда. Окажись правильным первое предположение, Дайскэ был бы разочарован почерпнутым из романов желанием Митиё щегольнуть поэтичностью своей натуры. Поэтому он лишь спросил:

— Вам лучше?

К Митиё постепенно вернулся румянец. Вытащив из рукава кимоно платок, она вытерла уголки губ и стала рассказывать о разных разностях. Обычно за покупками она ездила в Хонго, но недавно узнала, что там все на десять, а то и на двадцать процентов дороже, и последний раз или два покупала здесь, в Кагурадзака. Как-то по пути она собиралась зайти к Дайскэ, но было поздно и пришлось поспешить домой. Сегодня же она специально вышла пораньше. Дайскэ отдышал, и она решила сначала сходить в магазины, а потом снова зайти. Как нарочно, погода испортилась, стал накрапывать дождь. Зонта у нее не оказалось, и, чтобы не промокнуть, она ускорила шаг, запыхалась и очень устала.

— Такое случается со мной не впервые, я привыкла и перестала пугаться. — Митиё с грустной улыбкой взглянула на Дайскэ.

— Все еще побаливает сердце? — с участием спросил он.

— Теперь я никогда не выздоровею. — В тоне, которым Митиё произнесла эти слова, не было отчаяния, даже уныния. Взгляд ее был устремлен на кольцо, которое она рассматривала, слегка оттопырив тонкий палец. Затем она скомкала платок, сунула его в рукав кимоно и так сидела, потупившись. Дайскэ с восхищением смотрел на ее лоб, обрамленный волосами.

Вдруг, словно спохватившись, Митиё стала благодарить Дайскэ за то, что он выручил их деньгами, и как будто бы слегка покраснела. Это не укрылось от зоркого взгляда Дайскэ. Объяснив смущение Митиё исключительно тем, что ей пришлось просить займы, Дайскэ переменял тему.

Лилии, которые принесла Митиё, по-прежнему лежали на столе. И сама она, и Дайскэ ощущали сильный, пряный аромат. Дайскэ с трудом переносил его, но убрать цветы, не получив на то согласия Митиё, не решался.

— Вы их купили? — спросил он. Митиё кивнула.

— Как пахнут, а? — Митиё наклонилась и вдохнула источаемый лилиями аромат. Дайскэ невольно подался назад.

— Не надо к ним так близко наклоняться!

— Почему?

— Да просто так, не надо!

Дайскэ слегка нахмурился. Митиё выпрямилась и спросила:

— Вы не любите лилии?

Дайскэ вместе со стулом откинулся назад, улыбнулся и ничего не сказал.

— Лучше бы я их не приносила. А то, чтобы их купить, я сделала крюк, попала под дождь и чуть не задохнулась, пока бежала...

Дождь и в самом деле пошел. Собираясь в водосточном желобе, капли с шумом стекали вниз. Дайскэ встал, взял лилии и разорвал стягивающую их мокрую соломинку.

— Если это для меня, то я их немедленно поставлю в воду. — И Дайскэ небрежно бросил лилии в горшок с ландышами. Но из-за чересчур длинных стеблей цветы, казалось, вот-вот выскочат из воды. Тогда Дайскэ вытащил их, взял из ящичка ножницы и срезал стебли почти наполовину. Затем снова втиснул цветы между ландышами.

— Ну вот, теперь хорошо, — сказал Дайскэ, кладя ножницы на стол.

Некоторое время Митиё смотрела на лилии, так небрежно брошенные в воду, а потом вдруг почему-то спросила:

— С каких пор вам разонравились лилии?

Давно, еще когда был жив брат Митиё, Дайскэ однажды принес к ним на Янака такие же лилии. Он попросил тогда Митиё вымыть первую попавшуюся ему на глаза вазу, сам очень бережно поставил в нее цветы и поместил вазу в нишу, после чего предложил Митиё с братом полюбоваться. Митиё до сих пор не забыла этого.

— Помните, как вы ставили цветы в вазу и нюхали?

Дайскэ не помнил, но принужденно улыбнулся — возможно, было такое.

Между тем дождь усилился. Шум его приглушил все звуки, доносившиеся снаружи. Вошел Кадоно. «Что-то прохладно», — сказал он и спросил, не закрыть ли наружные стеклянные двери. Пока он этим занимался, Дайскэ и Митиё оба смотрели в сад. Запах мокрой листвы благотворно действовал на Дайскэ. Все, что казалось зыбким и бередило душу, как бы встало на свои места. Впервые за долгое время Дайскэ словно бы нашел себя.

— Какой хороший дождь, — сказал он.

— Ничего хорошего. Тем более что я пришла в сандалиях. — Митиё с досадой смотрела на капли дождя, стекавшие по желобу.

— Не огорчайтесь. Надумаете возвращаться, я велю вызвать рикшу. Так что не торопитесь, посидите немного.

Но что-то Митиё тревожило, это заметно было по ее виду. Она в упор посмотрела на Дайскэ и произнесла с укором:

— Вы все такой же легкомысленный. — Однако во взгляде ее мелькнула улыбка.

В эту минуту образ Хираоки, незримо присутствовавшего здесь, отчетливо встал перед мысленным взором Дайскэ. Слово какая-то тень надвинулась на него из полумрака. Этот темный призрак постоянно сопровождает Митиё.

— Как поживает Хираока-кун? — с нарочитым безразличием спросил Дайскэ.

— Все так же, — поджав губы, ответила Митиё.

— Еще не устроился?

— Насчет этого я теперь не волнуюсь. В следующем месяце ему, кажется, дадут место в газете.

— Отлично! А я и не знал. Значит, дела пока что не так уж плохи?

— Я, по крайней мере, довольна, — тихо и очень серьезно проговорила Митиё, показавшаяся в этот момент Дайскэ особенно милой.

— А с теми делами что слышно? Не беспокоят вас?

— С какими? — замаялась Митиё и вдруг покраснела. — И, признаться, специально пришла извиниться перед вами, — Она подняла на Дайскэ глаза.

Отвергнуть ее извинения, как излишнюю церемонность, или принять их значило бы еще больше смутить это нежное

создание, и Дайскэ, понимая это, спокойно слушал Митиё и молчал.

Те двести иен, которые они получили от Дайскэ, следовало отдать в счет долга, говорила Митиё, но часть их ушла в связи с переездом в новый дом, а потом начались трудности, и скрепя сердце Митиё стала тратить их на жизнь, так они и разошлись. Только это, впрочем, и помогло им с мужем протянуть до сегодняшнего дня. Лучше бы их совсем не было, этих денег, как-нибудь обошлись бы, нашли бы выход из положения. А то все главные долги, на которые дана была расписка, как висели, так и висят. Но это ее вина, Хираока тут ни при чем.

— Я так раскаиваюсь в своей ошибке, но верьте, я искренне хотела отдать долг, для того и занимала деньги, так что, прошу вас, будьте снисходительны.

— Я отдал деньги вам, и никому нет дела до того, на что вы их истратили. Главное, что они пригодились. — Дайскэ, как мог, утешал Митиё, а в слово «вам» вложил всю нежность, на какую только был способен.

— Спасибо, вы меня успокоили, — только и могла ответить Митиё.

Дождь не переставал, и, когда Митиё собралась уходить, Дайскэ, как и обещал, нанял рикшу и к тому же предложил гостю поверх кимоно набросить его мужскую накидку, поскольку стало свежо, но Митиё, смеясь, отказалась.

11

Стало тепло, и люди сменили теплую одежду на шелковые хаори. Несколько дней Дайскэ просидел дома и, когда вышел на улицу, сразу почувствовал, что жарко. «Пора, видно, снимать теплую кепку и саржевое кимоно», — подумал Дайскэ, однако, пройдя несколько кварталов, встретил каких-то двоих в авасэ¹. Но тут же на глаза ему попался сёсэй, он стоял у лотка только что появившегося здесь торговца прохладительными напитками и что-то пил. Дайскэ тотчас же вспомнил о Сэйтаро.

Надо заметить, что Дайскэ все больше и больше любил племянника. С кем бы Дайскэ ни разговаривал, у него обычно возникало ощущение, будто перед ним не человек, а лишь его оболочка, и от этого хотелось скрипеть зубами. Причем Дайскэ хорошо понимал, что сам он в этом смысле больше кого бы то ни было вызывает раздражение. Грустно было думать, что это кара, ниспосланная длительной борьбой за существование.

Как-то Дайскэ сводил племянника в парк Асакуса на аттракционы, и теперь Сэйтаро был просто одержим желанием

¹ Авасэ — кимоно на теплой подкладке.

научиться балансировать на шаре. Мальчик был упорен в своих желаниях и в этом походил на мать, зато от отца унаследовал сдержанность и чувство меры. Прямодушие Сэйтаро делало общение с ним легким и приятным, ибо жизнь среди людей, чье сердце постоянно защищено непроницаемой броней, была для Дайскэ истинным страданием.

Нынешней весной Сэйтаро пошел в среднюю школу и с этого времени, так, по крайней мере, казалось Дайскэ, стал быстрее расти. Еще год-другой, начнет ломаться голос. Незвестно, в каком направлении у него будет формироваться характер. Но если он захочет стать порядочным человеком, многие от него отвернутся, это несомненно. И тогда он, словно нищий, стараясь быть незамеченным, в вечных поисках будет брести по человеческой ярмарке.

Дайскэ шел по берегу канала. От бело-красных азалий, еще недавно густо вкрапленных в зелень узорами по другую сторону канала, и следа не осталось. На склоне, буйно поросшем травой, вдоль насыпи бесконечной цепью тянулись в безоблачное, удивительно ясное небо высокие сосны. Дайскэ собрался было сесть на трамвай, съездить к брату, поддразнить, как обычно, невестку, поиграть с Сэйтаро, но вдруг у него появилось желание идти вдоль канала, пока не устанет, и любоваться соснами, поэтому ехать к брату он раздумал.

Постепенно его стали утомлять сновавшие мимо трамваи. Дойдя до Симмицукэ, он перешел канал, вышел к синтоистскому храму Сёконся, а от него — к кварталу Бантё. Походив еще некоторое время, он вдруг подумал, что глупо бродить так без всякой цели, хотя обычно считал, что по делам ходят только плебеи. Но сейчас ему почему-то показалось, что эти самые плебеи умнее его. Размышляя, он почувствовал, как на него надвигается хорошо знакомая ему скука, и повернул обратно. В одном из магазинов на Кагурадзака изо всех сил надрывался огромный граммофон. Резкие металлические звуки болью отдавались в голове Дайскэ.

Вдобавок ко всему дома Кадоно, пользуясь отсутствием хозяина, во все горло орал модную песенку. Правда, услышав шаги Дайскэ, он сразу умолк и вышел в прихожую.

— Быстро вы вернулись!

Дайскэ, не отвечая, повесил кепку, прошел в кабинет и даже задвинул за собой сёдзи. Но их тут же раздвинул Кадоно, который вошел вслед за хозяином с чашкой чая в руках.

— Задвинуть? Не будет жарко?

Дайскэ достал платок, вытер пот со лба, но тем не менее приказал:

— Задвинь!

Кадоно, удивленный, вышел, плотно закрыв за собой сёдзи. Некоторое время Дайскэ сидел в сумраке комнаты в каком-то оцепенении. На редкость цветущий вид сочетался у Дайскэ с вялыми мышцами, каких не бывает у людей физи-

ческого труда. Ни разу в жизни Дайскэ серьезно не болел, наивысшим счастьем считал здоровье и о себе, естественно, заботился, по крайней мере, вдвое больше, чем о других. Крепок он был не только телом, но и духом. Единственное, что его мучило, это различные умозаключения. Порой ему даже начинало казаться, будто мозг его расслаивается, подобно мишени для стрельбы из лука, которая расходится от центра кругами.

Именно под властью такого рода ощущений Дайскэ и размышлял о том, зачем, собственно, он появился на свет. Причины к тому были разные: то чисто философский интерес, то повышенная впечатлительность, то наконец скука, как, например, сегодня. И каждый раз он приходил к выводу, что на вопрос, зачем рождается человек, ответить невозможно. Во всяком случае, не ради достижения какой-то определенной цели. Цель появляется позднее. А предопределить ее — все равно что лишить человека свободы действий с рождения. Казалось бы, каждый сам должен выбирать себе цель, но это опять же невозможно, поскольку независимо от выбора уже одним своим существованием человек как бы заявляет всему миру о том, зачем он существует.

Основываясь на этом принципе, Дайскэ отождествлял цель с желанием. Гулять ради прогулки. Размышлять ради размышления. Гулять же или размышлять с какой-либо иной целью не что иное, как нравственное падение. То же самое можно сказать о любой деятельности. Использовать ее как средство для достижения цели, непосредственно не связанной с самой деятельностью, значит собственными руками разрушить цель собственного существования.

Так Дайскэ и жил, считая главной целью исполнение каждого своего желания, когда бы оно ни возникло. Бывало, что у него появлялись сразу два желания, исключаящие одно другое, и тогда цель, по мнению Дайскэ, теряла свою сущность. Словом, цель в представлении Дайскэ была лишенным цели желанием, и он считал это наиболее нравственным, поскольку никого не обманывал.

Придерживаясь, насколько возможно, этого своего принципа, Дайскэ порой возвращался к давным-давно решенным вопросам, для чего, скажем, он делает то или это. И, гуляя по кварталу Бантё, он спросил себя, зачем, собственно, ему это нужно? В такие минуты Дайскэ обнаруживал у себя недостаток жизнеспособности и этим объяснял обуревавшие его сомнения. И вот такое свое состояние, когда у него пропадал всякий интерес к собственной цели, Дайскэ и называл скукой. Скука же, в свою очередь, влияла на логику, порождая путаницу в мыслях. Каким же словом, если не скукой, можно было определить состояние человека, который, задавшись вопросом «зачем?», переставал понимать, что причина, а что следствие.

Дайскэ захотелось встряхнуть собственную голову, когда, обхватив ее руками, он сидел взаперти у себя в кабинете, — до того невыносимы были все эти нелепые сомнения, мучившие мыслителей всех времен и народов. Он обычно старался как можно быстрее от них избавиться. Но недостаток жизнеспособности, который он болезненно ощущал, мешал ему в достижении поставленной цели. Он чувствовал себя как путник, очутившийся один среди пустыни.

Дайскэ питал склонность к жизни утонченной и в то же время нравственно чистой. Когда-нибудь оба эти желания скрестят мечи, и без искр не обойдется. Потому-то он и держал в узде стремление к благам жизни. Кабинет в японском стиле, без всяких излишеств и украшений. Даже порядочной картины, по словам Дайскэ, там не было. Единственное, что могло привлечь взгляд, это европейские книги в ярких переплетах, выстроенные на полках. Но Дайскэ сидел среди этих книг с отсутствующим видом, а потом, придя немного в себя, оглядел комнату, прикидывая, что бы в ней изменить и таким образом хоть чуточку взбодриться. Потом снова рассеянно уставился на стену. Наконец он пришел к мысли, что есть только один способ вывести себя из этого поистине жалкого состояния, и едва слышно произнес: «Надо увидеться с Ми-тиё».

Он уже жалел, что не пошел в ту сторону, куда ноги сами его несли, и подумал было прямо сейчас отправиться к Хираоке. Но в это время явился Тэрао, в новой соломенной шляпе и легком хаори. Жалуясь на жару, он то и дело вытирал красное потное лицо.

— Ты что это вдруг пожаловал? — не слишком дружелюбно встретил его Дайскэ. Впрочем, он всегда так разговаривал с Тэрао.

— По-моему, сейчас самое подходящее время для визитов. А ты опять спал? До чего же ленивы люди, которые могут не работать. Даже непонятно, для чего ты родился. — Тэрао без конца обмахивался шляпой, и, поскольку особой жары не было, выглядело это довольно забавно.

— Для чего бы я ни родился, тебе до этого нет никакого дела. Лучше скажи, зачем пришел. Опять сейчас скажешь: «Всего на каких-нибудь десять дней»? Но денег я тебе не дам, не рассчитывай, — довольно бесцеремонно заявил Дайскэ.

Тэрао ничего не оставалось, как заметить:

— Вежливостью ты не отличаешься.

Но, судя по его виду, он не обиделся, не усмотрев в словах Дайскэ ничего для себя оскорбительного. Дайскэ так смотрел на Тэрао, словно перед ним был не человек, а стена.

Тем временем Тэрао вынул из кармана книжку в засаленной бумажной обложке.

— Это надо перевести, — сказал он.

Дайскэ продолжал молчать.

— Пусть ты не должен заботиться о куске хлеба, но зачем выказывать такое отвращение к работе? Спустись-ка с небес на землю, для меня это вопрос жизни и смерти, — сказал Тэрао, постукивая книжкой о спинку стула.

— Какой срок?

Тэрао пошелестел страницами.

— Две недели, — решительно заявил он, присовокупив: — Надо управиться, иначе с голоду помру.

— Завидная энергия, — не без иронии произнес Дайскэ.

— За этим, собственно, я и притащился. Что же касается денег, дашь займы — спасибо, не дашь — не надо... Главное перевод. Есть непонятные места, вот я и пришел с тобой посоветоваться.

— Только этого не хватало! И так у меня нынче голова не работает. Как будто нельзя перевести приблизительно. Ведь платят-то все равно за страницу?

— Ну, этого, знаешь ли, даже я не могу себе позволить! Найдут ошибки, так потом хлопот не оберешься.

— Ну что ты пристал! — не меняя тона, сказал Дайскэ.

— Нет, без шуток, — продолжал Тэрао. — Таким бездельникам, как ты, надо хоть изредка что-нибудь делать, а то ведь умрешь со скуки. Будь уверен, есть люди, которые и в самом деле блестяще знают язык, не то что ты. Но беда в том, что все они заняты. — Тэрао продолжал наступать, и Дайскэ понял, что придется либо поссориться, либо сдаться. Со своими взглядами он не мог, разумеется, относиться к Тэрао иначе как с презрением, но ссориться с ним не хотелось.

— Ну давай, взгляну, только недолго. — И Дайскэ стал просматривать отмеченные места. Ознакомиться хотя бы вкратце с содержанием книги у него не возникло ни малейшего желания, тем более что непонятных мест было больше чем достаточно.

— Спасибо тебе, — сказал немного спустя Тэрао и закрыл книгу.

— Так ведь кое-что осталось непонятным!

— Что-нибудь придумаю... Вряд ли кто-нибудь толком объяснит. А главное, времени нет. — Тэрао, видимо, заранее решил, что гонорар куда важнее ошибок в переводе.

По своему обыкновению, Тэрао завел разговор о литературе, горячо, с энтузиазмом, которого ему так не хватало, когда речь шла о переводе. Дайскэ пришло в голову, что многие из нынешних литераторов, создавая свои произведения, преследуют ту же цель, что и Тэрао, занимаясь переводами. Забавно было видеть, как уныние у Тэрао сменилось радостным возбуждением, стоило ему заговорить об интересующем его предмете.

Так и не состоялся в тот день визит к Хираоке.

Во время ужина из книжного магазина «Марудзэн» принесли бандероль. Отложив в сторону палочки для еды, Дайскэ ее

распечатал. Там оказались новые книги, которые он давно еще заказал за границей. С книгами под мышкой Дайскэ вернулся в кабинет и стал просматривать одну за другой. Ничего интересного для себя он там не нашел. И когда листал последнюю книжку, успел перезабыть все названия. Решив, что как-нибудь на днях он снова ими займется, Дайскэ положил книги прямо стопкой на полку и вышел на веранду. Небо из голубого постепенно становилось синим, над платаном в соседнем саду, казавшимся сейчас еще более густым и темным, повисла бледная луна.

Кадоно принес большую керосиновую лампу с голубым абажуром из гофрированного стекла, похожего на шелковый креп, поставил ее на стол, вернулся на веранду и заметил:

— Скоро появятся светлячки.

— Рано е щ е , — с сомнением возразил Дайскэ.

Кадоно произнес свое обычное «в самом деле?», но тут же серьезным тоном добавил:

— Прежде эти светлячки были в большой моде у господ писателей, а нынче они что-то их не очень жалуют. С чего бы это? Ни один про светлячков не пишет, да и про ворон тоже.

— Ты совершенно прав. Интересно, в чем же тут дело? — в тон Кадоно, с притворной серьезностью ответил Дайскэ.

— Электричество их заменило, — сострил Кадоно и, захихикав, отправился восвояси. Дайскэ вышел вслед за ним в прихожую.

— Опять уходите? — спросил Кадоно. — Ладно. Я послежу за лампой... Бабка уже легла, жаловалась, что живот у нее болит, но я думаю, все обойдется... Так что гуляйте спокойно.

Дайскэ вышел за ворота. Когда он дошел до Эдогавы, почти стемнело, и вода в реке казалась черной. Намереваясь зайти к Хираоке, Дайскэ не пошел, как обычно, вдоль берега, а пересек мост и стал подниматься по Конгодзидзака.

За последнее время Дайскэ неоднократно встречался с Хираокой и с Митиё по самым различным поводам. Хираока прислал пространное письмо, в котором выражал Дайскэ благодарность за все его хлопоты и заботы после их приезда в Токио. Далее в письме говорилось: «Я весьма и весьма обязан знакомым и друзьям по университету. Недавно благодаря содействию одного из них я получил приглашение на должность ведущего корреспондента экономического отдела одной газеты. Охотно попробую свои силы на этом поприще. Но, прежде чем принять это предложение, прошу твоего совета, поскольку уже обращался к тебе с просьбой об устройстве». И все в таком духе. Так оно и было. Хираока действительно просил Дайскэ устроить его в фирму к старшему брату. Дайскэ ему не отказал, но никаких шагов в этом направлении не делал. И потому письмо Хираоки понял, как напоминание об этой просьбе. Письмо с отказом Хираока мог воспринять, как непростительное равнодушие, поэтому на следующий же день

Дайскэ лично отправился к другу, рассказал ему, как обстоят дела, и попросил пока на него не рассчитывать. Хираока ответил, что ничего другого он и не ждал, и при этом довольно странно посмотрел на Митиё.

В другой раз от Хираоки пришла открытка. «С газетой, наконец уладилось, хотелось бы посидеть с тобой вечерок и выпить. Жду такого-то числа». Отправившись на очередную прогулку, Дайскэ тогда зашел к Хираоке и предупредил, что прийти, к сожалению, не может по разным непредвиденным обстоятельствам. Хираоку он застал лежащим прямо посреди комнаты. Оказалось, что накануне он был в гостях и весь вечер пил. Хираока все время тер воспаленные глаза. Потом вдруг стал жаловаться на тяготы семейной жизни: «Работать могут только холостяки, ну вот хотя бы ты, к примеру. Будь я холост, непременно поехал бы в Маньчжурию или в Америку, а так...» Митиё в это время чем-то занималась в соседней комнате, ее и слышно не было.

В третий раз Дайскэ зашел к ним, когда Хираока был на работе в редакции. Зашел просто так, без всякого дела, и с полчаса просидел на веранде, беседуя с Митиё.

После этого он долго избегал района Коисикава, вплоть до сегодняшнего вечера... Когда, подойдя к дому Хираоки, он громко окликнул хозяев, навстречу ему вышла служанка с лампой в руке. Ни Хираоки, ни Митиё дома не оказалось. Дайскэ не стал расспрашивать, куда они пошли, сел на трамвай, доехал до Хонго, там пересел до Канды. В районе Канды сошел с трамвая, зашел в пивную и залпом выпил пива.

Утром Дайскэ проснулся с хорошо знакомым ощущением, что мозг его разделен на две части, которые кругами расходятся от центра. В таких случаях Дайскэ обычно воспринимал собственную голову как сооружение, у которого плохо пригнаны наружная и внутренняя части, и начинал трясти головой, чтобы слить их воедино. Вот и сейчас, лежа на подушке, он стукнул себя несколько раз по голове чуть выше уха.

Дайскэ и в голову не приходило, что эта патология могла возникнуть из-за частых возлияний. Он привык к вину чуть ли не с детства и никогда не хмелел, сколько бы ни выпил. Стоило ему после этого хорошенько выпастьяся, и он чувствовал себя совершенно здоровым. Однажды они с братом поспорили, кто больше выпьет. Дайскэ осушил тринадцать бутылочек сакэ по три го¹, а на следующий день как ни в чем не бывало пошел на занятия. Брат же два дня жаловался на головную боль и ходил мрачнее тучи, объясняя это разницей в возрасте.

В сравнении с этим вчерашнее пиво сущий пустяк, думал Дайскэ, продолжая колотить себя по голове. К счастью, эти странные ощущения нисколько не влияли на работу мозга,

¹ Го — 0,18 литра.

просто иногда Дайскэ не хотелось его утруждать. Но при некотором усилии мозг его мог выполнить любую сложную работу. Поэтому Дайскэ не видел причин для пессимизма и несколько не опасался за свою психику. Когда эти ощущения появились у него впервые, он удивился. Во второй раз обрадовался, как чему-то новому и необычному. Правда, в последнее время эти ощущения приходили вместе с душевным разладом, когда он бывал способен на любой бессмысленный поступок. Это, собственно, и огорчало Дайскэ.

Сев в постели, он помотал головой. Во время завтрака Кадоно пересказал сообщение утренней газеты о поединке змеи с орлом, но Дайскэ никак на это не прореагировал. Ну, опять задумал, подумал Кадоно, и пошел на кухню. Там он очень участливо сказал старухе служанке:

— Вам сейчас вредно работать, тетушка! Я сам все уберу и вымою, как только сэнсэй поест, а вы отдохайте.

Услышав это, Дайскэ вспомнил, что старуха хворает, и собрался было сказать ей в утешение несколько слов, но не захотел утруждать себя и раздумал.

Взяв чашку чая, Дайскэ ушел в кабинет. Взглянул на часы: было начало десятого. Некоторое время он смотрел в сад, неторопливо прихлебывая чай, но вдруг явился Кадоно и доложил:

— За вами прислали коляску из большого дома.

Еще не было случая, чтобы за Дайскэ присылали рикшу. Он стал расспрашивать Кадоно, но тот бормотал что-то мало-вразумительное, и Дайскэ, с досадой покачав головой, сам вышел в прихожую. Там он увидел Кацу, рикшу, возившего брата. Кацу почтительно поклонился и сообщил, что коляска у входа.

— Что это тебя вдруг прислали? — спросил Дайскэ.

— Это хозяйка велела поехать за вами, — сконфуженно ответил Кацу.

— Что-нибудь срочное?

Кацу, разумеется, понятия ни о чем не имел.

— Госпожа сказала, приедете, сами узнаете, — как-то неопределенно ответил он.

Дайскэ вернулся в комнаты и хотел позвать служанку, чтобы достала кимоно, но потом решил, что не годится утруждать больного человека, порылся в комод, нашел кимоно, быстро оделся и вскоре уже сидел в коляске.

Дул сильный ветер, Кацу задыхался и бежал с трудом, всем телом подавшись вперед. У Дайскэ же так свистело в ушах, что он опасался головокружения, тем более что с головой у него нынче и так было неладно. Колеса с резиновыми шинами мягко пружинили, и Дайскэ с наслаждением отдался плавному движению коляски, которая, убаюкивая, несла его куда-то. И когда они прибыли в Аояму, Дайскэ почувствовал прилив бодрости.

Слегка встревоженный, потому что был в неведении, он вошел в дом и первым делом заглянул в комнату сёсэя. Там Наоки и Сэйтаро уплетали за обе щеки клубнику, посыпанную сахарной пудрой.

— О, какое лакомство вы едите! — сказал Дайскэ. Наоки с чинным видом поздоровался. Сэйтаро же, не обтерев выманных клубникой губ, неожиданно выпалил:

— Дядя, а когда вы женитесь?

Наоки ухмыльнулся. Дайскэ не нашелся что ответить и, в свою очередь, спросил:

— А ты почему не в школе? Да еще с утра пораньше упиваешь клубнику? — Тон у него был не то насмешливый, не то укоризненный.

— Так ведь сегодня воскресенье, — совершенно серьезно сообщил Сэйтаро.

— Воскресенье? — удивился Дайскэ.

Наоки посмотрел на Дайскэ и расхохотался. Дайскэ тоже засмеялся и прошел в большую гостиную. Там никого не было. На свеженастланных татами стоял круглый поднос красного сандалового дерева с резьбой, а на нем чашки, расписанные рисунками Асаи Мокуго¹ из Киото. Пробравшись сквозь густую зелень в саду, по комнате бегали солнечные зайчики. Все вокруг дышало тишиной и покоем, даже ветер, казалось, стих.

Из гостиной Дайскэ направился в комнату брата и только хотел было войти, как услышал доносившийся оттуда голос невестки:

— Ну, это уж слишком!

Дайскэ вошел и увидел невестку, Нуико и брата, стоявшего лицом к двери в щегольском летнем хаори причудливого покроя, лишь недавно вошедшего в моду. На поясе блестела золотая цепочка часов.

— А вот и он. Так что вместе и идите, — завидев Дайскэ, обратился брат к Умэко. Дайскэ ничего не понял, но тут к нему повернулась Умэко:

— Надеюсь, вы сегодня не заняты, Дай-сан?

— Да в общем-то нет, — ответил Дайскэ.

— Тогда прошу вас, пойдете со мной в театр Кабуки.

Услышав это, Дайскэ тотчас же представил себе своеобразный комизм положения. Но сегодня у него не было ни малейшего желания подтрунивать, как обычно, над невесткой. Поэтому он очень спокойно и дружелюбно сказал:

— Что же, пойдете!

— Но вы, кажется, там уже были? — спросила Умэко.

— Был. Но какое это имеет значение! Пойдете, — сказал Дайскэ, с улыбкой глядя на невестку.

¹ Асаи Мокуго (настоящее имя Тю, 1856—1907) — японский художник, писавший в европейском жанре.

— Вы всегда не прочь поразвлечься, — заметила Умэко, что еще больше насмешило Дайскэ.

Сославшись на дела, Сэйго тут же ушел, правда, перед уходом объяснив Дайскэ, зачем тот понадобился. Оказалось, что Сэйго обещал приехать в театр к четырем часам, как только управится с делами, и предложил Умэко отправиться туда вдвоем с Нуико. Но Умэко ни в какую не соглашалась. Тогда Сэйго предложил ей взять с собой Наоки. Но жена и это отвергла, заявив, что Наоки просто невыносим, нарядится в темно-синюю касури и хакама и будет сидеть с церемонным видом. Словом, не оставалось ничего другого, как послать за Дайскэ. Это пространное объяснение показалось Дайскэ не совсем логичным, но он ничего не сказал, ограничившись кратким: «Ах, вот оно что!» Сам же подумал, что Умэко берет его в театр в качестве собеседника, чтобы не скучать в антрактах, и вообще на всякий случай, если что-либо ей понадобится.

Пока Умэко и Нуико прихорашивались, Дайскэ терпеливо сидел рядом в роли эксперта и время от времени их поддразнивал, а Нуико отвечала:

— Ну, и злой же вы, дядя!

Отец, как выяснилось, ушел с самого утра, куда — неизвестно. Впрочем, Дайскэ это не очень интересовало. Нет дома — и слава богу. После недавней встречи Дайскэ виделся с отцом раза два, не больше, и оба раза разговор длился десять, от силы пятнадцать минут. Почуввав опасность, Дайскэ сразу же откланивался, непременно выказывая при этом максимум почтительности. Рассерженный отец приходил в большую гостиную и жаловался всем, что в последнее время Дайскэ, мол, не посидит с отцом как следует, скажет два слова и убегает. Рассказывая об этом, невестка то и дело поправляла сзади пояс перед зеркалом.

— Совсем отец во мне разочаровался, — сказал Дайскэ и, взяв зонтики Умэко и Нуико, вышел из дома. У входа уже стояли в ряд три коляски.

Чтобы не продуло, Дайскэ надел кепку. Но ветер почти стих, из-за облаков выглянуло солнце и стало припекать голову. Ехавшие впереди Умэко и Нуико раскрыли зонтики. Дайскэ же время от времени прикрывал лоб тыльной стороной руки.

И Умэко и Нуико были заядлыми театралками, Дайскэ же никак не мог сосредоточиться, то ли потому, что уже видел это представление, то ли из-за душевного разлада. Жара в театре угнетала, и он непрерывно обмахивался веером.

В антрактах Нуико задавала Дайскэ самые неожиданные вопросы. Почему, скажем, один из героев пил сакэ прямо из корыта или как это мог священник так сразу превратиться в полководца — словом, вопросы, на которые невозможно ответить. Умэко это забавляло, и она смеялась. Дайскэ вдруг вспомнил заметку одного театрального рецензента, который

написал, что японские пьесы чересчур эксцентричны и смотреть их подчас просто невозможно. Прочтя в газете его заметку, Дайскэ на миг представил себя актером и решил, что автору заметки и ему подобным не обязательно ходить в театр. Адресовать актерам упреки, которые целиком относятся к драматургу, сказал он Кадоно, так же глупо, как слушать дзёрури¹ в исполнении Косидзи² для того, чтобы познакомиться с произведениями Тикамацу³. «Да, пожалуй», — как обычно, ответил Кадоно, потому что ничего другого ответить не мог.

С детства привыкший к традиционному японскому театру, Дайскэ, как и Умэко, под театральным искусством понимал исключительно актерское мастерство. Поэтому у них с Умэко всегда находились общие темы для разговора. Иногда, как истые ценители, они до мельчайших подробностей разбирали тот или иной спектакль и почти всегда сходились во мнениях. Но сегодня Дайскэ начисто утратил интерес к представлению, и пока шло действие, рассматривал в бинокль зрителей. Здесь было много гейш. Некоторые, держа бинокль, тоже смотрели в его сторону.

Справа от Дайскэ сидел мужчина примерно одних с ним лет. Жена его, с прической «марумагэ»⁴, как и подобает замужней женщине, была очень недурна собой. В профиль она походила на одну гейшу, с которой Дайскэ был знаком. Соседями Дайскэ слева были четверо мужчин, все профессора университета. Дайскэ хорошо знал каждого в лицо. Большую лужу чуть поодаль занимали двое. Один, пожалуй, ровесник брата Дайскэ, был в строгом европейском костюме и золотых очках. Где-то Дайскэ его как будто уже видел, но припоминать не стал. Рядом с ним была женщина, совсем молодая, ей вряд ли исполнилось двадцать. Чересчур длинная челка закрывала ей лоб, подбородок женщина прятала в воротник кимоно.

Дайскэ измучился, до того ему надоело сидеть, и то и дело выходил в коридор позади ложи, с тоской глядя на видневшуюся из окна узкую полоску неба. Хоть бы брат поскорее приехал, думал он, по крайней мере, можно было бы вернуться домой. Он уже успел, взяв с собой Нуико, пройтись вокруг театра. Наконец Дайскэ решил выпить сакэ и попросил, чтобы принесли прямо в лужу.

Брат явился, когда уже начало смеркаться. Однако в ответ на упреки Дайскэ он вынул из-за obi и показал ему часы. Было немногим больше шести. Брат, по обыкновению, спокойно

¹ Дзёрури — особый драматический жанр — песенный сказ в японском театре Кабуки и кукольном театре.

² Такэмото Косидзи (1864—1924) — известный исполнитель дзёрури.

³ Тикамацу Мондзамон (1653—1724) — выдающийся японский драматург, особенно прославившийся своими дзёрури.

⁴ «Марумагэ» — волосы, уложенные на затылке узлом овальной формы.

огляделся, потом пошел перекусить и долго не возвращался. Немного спустя Дайскэ случайно заметил, что брат разговаривает с человеком в золотых очках, тем самым, что сидел в большой ложе, и время от времени обращается к его молодой спутнице. Однако женщина лишь на какой-то миг повернула к нему улыбающееся лицо и снова с серьезным видом стала смотреть на сцену. Дайскэ вознамерился было спросить у невестки, кто это такие, но тут же решил, что это не имеет никакого значения. У брата до того обширные знакомства, что в любом обществе он чувствует себя как дома.

В антракте брат, не заходя в ложу, окликнул Дайскэ и повел его к господину в золотых очках. «Мой младший брат», — представил он Дайскэ. «А это господин Такаги из Кобэ». Господин, в свою очередь, кивнул в сторону молодой женщины, сказав: «Моя племянница». Та очень грациозно поклонилась. Тут брат добавил: «Дочь господина Сагавы». «Ловко меня обставили», — подумал Дайскэ, услышав имя девушки, но виду не подал и повел обычный светский разговор. Невестка мельком глянула на них, но Дайскэ успел это заметить.

Спустя несколько минут Дайскэ с братом вернулись к себе в ложу. Теперь уже неловко было улизнуть, как Дайскэ собирался. Чего доброго, подумают, будто он приходил в театр с определенной целью, а это вовсе нежелательно, ибо может привести к дурным последствиям. И Дайскэ скрепя сердце пришлось остаться. Брату тоже, видимо, было неинтересно, но он держался, как всегда, солидно, без конца курил, так что голова его вся была в облаках густого дыма. Изредка он отпускал примерно такие замечания: «А ничего сценка, правда, Нуико?» Умэко, как ни удивительно, не проявляла свойственного ей любопытства, не спрашивала ни о Такаги, ни о его спутнице, не отпускала в их адрес никаких замечаний. Такая ее сдержанность показалась Дайскэ весьма забавной. Прежде он никогда не сердился на Умэко, если даже попадался к ней на удочку. Точно так же он воспринял бы всю эту комедию с посещением театра. Развеял бы скуку, посмеялся, и ладно. Тем более, если бы у него было намерение жениться. Это была бы комедия со счастливым концом, и потом всю жизнь можно было бы над самим собой смеяться. Но когда он понял, что невестка, к которой он относился с такой симпатией, в сговоре с отцом и братом и готова заманить его в ловушку, Дайскэ стало не до шуток. Гадая, как поведет себя невестка дальше, Дайскэ невольно встревожился. Потому что Умэко больше чем кто бы то ни было проявляла интерес к подобного рода делам. Если она и впредь будет на него нажимать, втайне опасался Дайскэ, ему в конце концов придется совсем порвать с семьей.

Представление окончилось к одиннадцати. Когда они вышли, ветер уже стих, но ни луны, ни звезд не было, лишь

электрические фонари тускло светились в тишине ночи. Из-за позднего времени так и не удалось поболтать в буфете, и все пошли к коляскам, которые стояли наготове. Дайскэ по рассеянности не заказал коляски и сел на трамвай, сочтя хлопотным посылать за рикшей сейчас, хотя невестка настоятельно ему это советовала. В районе Сукиябаси он сошел, чтобы пересесть на другой трамвай, и стоял в ожидании на темной улице. Подошла усталая женщина с ребенком за спиной. В обратную сторону промчалось два или три трамвая. У самых рельсов, там, где стоял Дайскэ, громоздились не то камни, не то куча земли, похожая на насыпь. Только сейчас Дайскэ сообразил, что это не остановка.

— Тетушка, — обратился он к женщине с ребенком, — здесь вы не сядете на трамвай. Нужно пройти немного дальше, за насыпь.

Женщина поблагодарила и пошла следом за Дайскэ. Было так темно, что он шел наугад, словно ощупью. Прошел метров двадцать — тридцать и увидел наконец слева столб с табличкой. Женщина с ребенком села в сторону Кандабаси. Дайскэ — в противоположную сторону, к району Акасака.

Ему очень хотелось спать, но он чувствовал, что сегодня ему не уснуть, и уже заранее об этом тревожился. У него часто бывало, что, сильно устав за день и ощущая вялость, он, неизвестно почему, приходил потом в возбуждение и проводил бессонную ночь. Вот и сейчас в его мозгу, разбросанные в беспорядке, расплывчатые, словно пятна, пестрели впечатления, накопленные за день, и он не мог в них разобраться, совладать с ними. Дайскэ устало смежил веки и решил, что единственное спасение — выпить виски, когда он вернется домой.

Но вдруг среди всего этого моря путаницы, сумбура и хаоса всплыл островок успокоения — образ Митиё. Это видение он воспринял скорее душой, чем разумом. Лицо Митиё, ее манера говорить, отношения с мужем, болезнь, словом, вся она удивительным образом гармонировала с душевным состоянием Дайскэ.

На следующий день Дайскэ получил из Тадзимы письмо от друга. По окончании учебы он сразу вернулся в родные места и с тех пор ни разу не приезжал в Токио. Жить в глуши ему, разумеется, не хотелось, но такова была воля отца. В течение года он чуть ли не в каждом письме повторял, что переубедит отца и непременно приедет в Токио, но потом, видно, отчаялся и оставил эту мысль. Все поколения его предков жили в тех местах и были поставщиками леса. На сей раз он подробно описал свою жизнь в нарочито торжественных выражениях, не без иронии объявил, что месяц назад избран мэром городка с жалованьем триста иен в год, присовокупив при этом, что многие его друзья, став сразу по окончании университета учи-

телями средней школы, получают, по крайней мере, вдвое больше.

Чуть ли не через год после возвращения домой, в провинцию, приятель Дайскэ женился на дочери весьма состоятельного человека из Киото, разумеется, тоже по воле отца, и в скором времени у них родился ребенок. О жене приятель в письмах и не заикался, зато о малыше писал много и часто довольно забавные вещи. При этом Дайскэ всякий раз рисовал в своем воображении жизнь друга, который, видимо, решил посвятить себя воспитанию ребенка. Хотелось бы знать, появился ли у него интерес к жене благодаря ребенку, думал Дайскэ.

Время от времени друг присылал Дайскэ сушеную макрель или хурму, тоже сушеную. Дайскэ отдаривал его книгами, преимущественно европейскими новинками. О каждой друг в письмах подробно сообщал свое мнение, как бы в подтверждение того, что прочел с интересом. Но вскоре он совсем перестал упоминать их в письмах, даже не благодарил. И как-то Дайскэ специально справился в письме об этом. Друг ответил дословно так: «Книги получил, спасибо. Хотел прочесть, а потом поблагодарить, да вот задержался с ответом. Впрочем, признаться честно, я еще не брался за них. Не то чтобы не хватало времени, просто желания нет. А если еще откровеннее, я перестал понимать, что в них написано». После этого Дайскэ вместо книг стал посылать игрушки...

Дайскэ прочел письмо, снова вложил его в конверт и вдруг со всей отчетливостью ощутил, что этот его старый друг, некогда близкий ему по духу, и мыслит и живет теперь совсем по-другому. И Дайскэ попробовал определить разницу в частоте колебаний их жизненных струн.

С точки зрения Дайскэ, женитьба друга была вполне естественным явлением. Когда человек живет в глуши, среди лесов и долин, он должен взять в жены выбранную отцом невесту и тем самым упрочить свое положение. Исходя из тех же посылок, Дайскэ делал вывод, что у горожанина, человека, интеллектуально развитого, брак не может быть счастливым. Город — своего рода выставка индивидуумов. К этому Дайскэ пришел путем следующих рассуждений.

Красота многогранна, и физическая и духовная. И каждый, не лишенный интеллекта человек имеет право соприкасаться с любой из граней и познавать все больше и больше. Лишь тот не стремится познать красоту во всей ее многогранности, у кого не хватает воображения. Он просто не способен ее оценить. Эта бесспорная истина подтверждалась собственным опытом Дайскэ. И на основе этой истины Дайскэ пришел к выводу, что все светские мужчины и женщины подвержены различного рода неожиданностям и случайностям, возникающим из их влечения друг к другу. Отсюда и появляется то, что принято именовать супружеской неверностью. И некогда

заключенный брак становится несчастьем на всю жизнь. Как истый горожанин и светский человек, Дайскэ обладал особой эмоциональной восприимчивостью, был, как никто, свободен в выборе и из всех граней красоты предпочел наиболее заманчивую — гейш, с которыми и общался. Они мало чем отличались от светских женщин, у которых тоже были возлюбленные, только числом поменьше. Разглагольствовать о вечной любви в нынешний век могут разве что отъявленные лицемеры.

Но тут вдруг Дайскэ вспоминал о Митиё и начинал думать, что упустил нечто важное в своих логических построениях. Что именно — Дайскэ не знал. Ведь, согласно его теории, любовь к Митиё, как и всякая другая, должна быть чувством мимолетным. Но именно в этом пункте сердце приходило в столкновение с рассудком.

12

Теперь Дайскэ страшили две вещи: чрезмерная активность невестки в вопросе его женитьбы и притягательная сила Митиё. Выезжать на лето из Токио было еще рано. Дайскэ утратил всякий интерес к развлечениям и даже к книгам, в которых любил находить близких ему по духу героев. Пока он размышлял спокойно, его мысли тянулись одна за другой, подобно волокнам сломанного лотоса, но как только он начинал их анализировать и пытался сосредоточиться, ему становилось страшно, такое тягостное они оставляли ощущение. Надо поездить, думал Дайскэ, встряхнуть, как молочный коктейль, свой мертвенно-бледный мозг. Сперва Дайскэ собирался на дачу к отцу. Но потом решил, что его все равно будут атаковать из Токио, как если бы он оставался у себя в Усигомэ. Тогда он приобрел путеводители и стал прикидывать, куда лучше ему поехать. Однако на всем земном шаре для него не нашлось подходящего местечка. И тем не менее он твердо решил попутешествовать. Главное — хорошо подготовиться. Дайскэ отправился на Гиндзу. День выдался ясный и ветреный. Обойдя пассаж Симбаси, Дайскэ стал не спеша спускаться по широкой улице. Дома в перспективе казались плоскими, как декорация на заднем плане сцены, а голубое небо виделось ему нарисованным прямо на крышах.

Побывав в нескольких магазинах импортных товаров, Дайскэ купил все необходимое, в том числе довольно дорогое духи. Он хотел еще купить зубную пасту, но молодой продавец, как Дайскэ ни отказывался, настойчиво предлагал фирменную, и Дайскэ, раздосадованный, вышел из магазина. Со свертком под мышкой он дошел до конца Гиндзы и свернул на Маруноути. Теперь он шел без определенной цели в западном направлении и вдруг подумал, что даже такую прогулку можно назвать легким неумотительным путешествием. Нако-

нец он все же устал, но рикши не нашел и вернулся домой на трамвае.

В передней аккуратно стояли ботинки, принадлежавшие с виду Сэйтаро. На вопрос Дайскэ Кадоно ответил: «Совершенно верно. Давно ждет вас». Дайскэ прошел прямо в кабинет и увидел Сэйтаро, который сидел за столом в глубоком кресле и читал «Записки об экспедиции на Аляску». На столе стоял поднос с чайником, чашкой и горкой лепешек из гречневой муки.

— Что это ты тут пируешь без меня? — шутя, укорил его Дайскэ. Сэйтаро, смеясь, сунул в карман «Записки» и встал.

— Сиди, с и д и , — остановил его Дайскэ, но Сэйтаро продолжал стоять. Дайскэ, как обычно, начал подтрунивать над племянником. Тут Сэйтаро сказал, что ему известно, сколько раз зевнул дядя, когда недавно ходил в театр Кабуки, а потом задал тот же вопрос, что и в прошлый раз:

— Когда вы женитесь, дядя?

Оказывается, Сэйтаро явился по поручению отца. Тот велел Дайскэ завтра к одиннадцати быть в большом доме. Дайскэ изрядно надоели все эти вызовы, и он рассердился.

— Что это происходит?! Издеваются они, что ли, надо мной! Каждый раз вызывают, а зачем, не говорят...

Сэйтаро продолжал лукаво улыбаться. Тогда Дайскэ переменял тему, и они с Сэйтаро стали обсуждать результаты борьбы сумо, о которых сообщалось в газетах.

Ужинать Сэйтаро отказался, сославшись на то, что ему еще предстоит готовить уроки. Перед уходом он спросил:

— Значит, вы завтра не придете?

— Гм... Пока не знаю. Передай, что дядя, может быть, уедет путешествовать.

— Когда?

— Сегодня или завтра.

Вопрос, казалось, был исчерпан. Однако, надевая ботинки в прихожей, Сэйтаро снова спросил:

— Куда же вы едете?

— Сам еще не знаю. Так, поезжу по разным местам.

Сэйтаро ухмыльнулся и вышел.

Рассчитывая уехать сегодня же вечером, Дайскэ велел Кадоно вычистить саквояж и стал потихоньку укладывать вещи. Кадоно с любопытством поглядел на хозяина и, не двинувшись с места, спросил:

— Помочь?

— Да нет, обойдусь. — Дайскэ вытащил уже лежавшие в саквояже духи, снял обертку, вынул пробку и понюхал. Кадоно, несколько разочарованный, отправился было к себе, но тут же снова явился.

— Распорядиться насчет рикши, сэнсэй?

Дайскэ поднял глаза от саквояжа.

— Да, конечно... Только попозже.

Он выглянул в сад. На кустах китайского боярышника, об-
разующего живую изгородь, сверху еще лежали неяркие
блики солнца. Созерцая эту картину, Дайскэ подумал, что
в ближайшие полчаса необходимо наметить маршрут предпо-
лагаемого путешествия. Сесть в поезд, который отходит в под-
ходящее время, сойти на последней остановке, провести там
остаток дня и ночь, а потом отдаться на волю судьбы. Вот
только денег у него маловато. Их и на педелю не хватит, если
все время останавливаться в гостиницах, приличествующих
его костному. Впрочем, не так уж это его заботило. Вытребует,
как только понадобится, деньги из дому. Кроме того, он твердо
решил сократить расходы до минимума, поскольку основной
его целью была смена обстановки. Еще можно, если придет
такая фантазия, нанять носильщика и весь день идти пеш-
ком.

Он снова раскрыл путеводитель, стал тщательно изучать
мелкие цифры, но оставался так же далек от какого-либо
решения, между тем как мысли его снова устремились к Ми-
тиё. Надо с ней повидаться перед отъездом. Вещи он успеет
уложить попозже, а выедет завтра, с самого утра. Дайскэ
торопливо вышел в прихожую. На звук его шагов выскочил
Кадоно. Не переодеваясь, как был, в будничном кимоно, Дай-
скэ снял с вешалки кепку.

— Опять уходите? Может, за покупками? Тогда, давайте
я схожу, — предложил Кадоно. Вид у него был немного расте-
рянный.

— Сегодня я не поеду, — бросил Дайскэ и вышел из дому.
Он давно не видел такого красивого неба. Одна за другой
вспыхивали звезды. Забираясь в рукава кимоно, легкий ветер-
ок приятно щекотал руки. У Дайскэ, отмерявшего широкие
шаги своими длинными ногами, лоб очень скоро покрылся
испариной. Чтобы хоть немного охладить голову вечерней
росой, он снял кепку и время от времени обмахивался ею.

Тени прохожих у дома Хираоки напомнили Дайскэ летучих
мышей. Сквозь ветхий дощатый забор пробивался свет лампы.
При ее свете Митиё читала газету.

— Поздненько вы читаете газету! — удивился Дайскэ, на
что Митиё ответила, что не читает, а перечитывает.

— У вас так много свободного времени? — Дайскэ положил
дзабутон на порог и сел, прислонившись к сёдзи.

Хираоки дома не было. Да и сама Митиё, по ее словам,
только что вернулась. Она была в бане, и сейчас возле нее ле-
жал веер. В этот вечер у Митиё была европейская прическа.
Она сказала, слегка покраснев, что Хираока должен вот-вот
вернуться, попросила Дайскэ посидеть, а сама пошла в столо-
вую готовить чай.

Хираока тем не менее все не возвращался. На вопрос Дай-
скэ, всегда ли он так поздно возвращается, Митиё со смехом
ответила, что да, примерно, в это время. Однако Дайскэ в ее

смехе уловил горечь и пристально на нее посмотрел. Заметив его взгляд, Митиё вдруг схватила веер и стала обмахиваться.

Озабоченный материальным положением Хираоки, Дайскэ без обиняков осведомился, как обстоят у них дела, выразив надежду, что все в порядке. Митиё снова рассмеялась, сказав, что, разумеется, в порядке. Дайскэ промолчал.

— Значит, вы полагаете, что все уладилось? — спросила тогда Митиё, бросила веер и показала Дайскэ свои тонкие красивые пальцы, чуть розовые после ванны. На них не было ни одного кольца, в том числе и подаренного Дайскэ. Память об этом подарке Дайскэ бережно хранил в душе и сейчас очень сочувствовал Митиё, которая вся залилась краской.

— Что поделаешь! Пришлось заложить. Вы уж меня простите, пожалуйста, — сказала Митиё, и Дайскэ еще больше стало ее жаль.

Он просидел до девяти и перед уходом отдал Митиё все содержимое бумажника, пустившись при этом на маленькую хитрость. Открыл бумажник прямо за пазухой, не считая, зажал в руке ассигнации, которые там были, и небрежно протянул их Митиё, сказав: «Возьмите, пожалуйста». Митиё тихонько, так, чтобы не услышала служанка, произнесла: «Ох, что вы!» — и прижала руки к груди. Но Дайскэ не отступал.

— Кольцо же вы приняли, — смеясь, сказал он, не убирая руки, в которой были деньги. — Берите и считайте, что это тоже кольцо, только бумажное.

Митиё продолжала колебаться, твердя, что это уж слишком. Может быть, спросил Дайскэ, Хираока ее за это отругает, и она боится? Митиё не знала точно, отругает ее муж или похвалит, но денег не брала, продолжая держать руки у груди. Дайскэ заметил, что не обязательно сообщать мужу. Но и этот довод не подействовал на Митиё. И Дайскэ ничего не оставалось, как попытаться вложить ей деньги в руку. Он подошел совсем близко, слегка наклонился, едва не коснувшись ладонью груди Митиё, и тихо, но твердо произнес:

— Возьмите, ничего дурного не случится.

Митиё чуть подалась назад и молча протянула руку, в которую Дайскэ торопливо вложил деньги. Он заметил, как дрогнули при этом длинные ресницы Митиё. Деньги она спрятала за оби.

— Как-нибудь за бегу, — сказал, уходя, Дайскэ. — Кланяйтесь Хираоке.

Было уже совсем темно. Дайскэ шел сквозь ночь с таким чувством, словно только что видел прекрасный сон. Не прошло и получаса, как он оказался у своих ворот, но входить ему не хотелось. Он бродил по тихому кварталу особняков, а над ним было высокое звездное небо. Он думал, что не устанет бродить хоть до полуночи, и не заметил, как снова очутился у своего дома. Там было тихо. Кадоно со служанкой, вероятно, болтали в столовой.

— Что же вы так поздно? — встретил его вопросом Кадоно, не успев Дайскэ войти в дом. — Каким поездом завтра едете?

— Никуда я не поеду, — ответил, улыбаясь, Дайскэ и ушел к себе. Постель уже была приготовлена. Дайскэ взял духи и капнул ими на взбитую подушку. Однако, не удовлетворившись, побрызгал еще в каждом углу. Развлекшись таким образом, он переоделся в белый ночной халат и, очень довольный, забрался под новое теплое одеяло, имевшее форму кимоно. Вдыхая аромат духов, пахнувших розами, Дайскэ уснул.

Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко, и его золотистые блики плясали на веранде. У изголовья лежали две свежие газеты. Дайскэ не слышал, как Кадоно их принес и как открыл ставни. Потягиваясь всем телом, он встал. Когда, вымывшись, он обтирался полотенцем, в ванную вошел немного растерянный Кадоно и сообщил:

— Ваш брат изволили пожаловать!

— Сейчас иду, — ответил Дайскэ. Он не знал, убрано ли в гостиной, но решил, что торопиться нет нужды, досуха обтерся, тщательно расчесал на пробор волосы, подправил бритвой усы и не спеша вышел в столовую. Но тут его одолело беспокойство, пропала всякая охота есть. Он, стоя, проглотил чашку чая, обтер салфеткой усы и чуть ли по вбежал в гостиную.

— О, Сэйго! Рад тебя видеть! — воскликнул Дайскэ.

Сэйго, с неизменной, зажатой между пальцами, погасшей сигарой, спокойно читал газету.

— Это от твоей головы так хорошо пахнет? — спросил он, едва завидев брата.

— По-моему, здесь пахло еще до того, как появилась моя голова, — ответил Дайскэ и рассказал о купленных накануне духах.

— Так, т а к, — хладнокровно заметил Сэйго, — экий ты, однако, франт!

Брат редко навещал Дайскэ. И если уж приходил, то непременно с каким-нибудь неотложным делом. Покончит с делом и тут же уходит. Наверняка что-то произошло, подумал Дайскэ. Быть может, это результат вчерашнего визита Сэйтаро? Поболтав о разных пустяках, брат наконец приступил к главному:

— Сэйтаро сказал, что ты сегодня уезжаешь. Вот я и решил сам к тебе прийти.

— Я и в самом деле собирался уехать не позднее шести утра, — не моргнув глазом соврал Дайскэ.

— Не тот ты человек, чтобы подняться в шесть утра, — очень спокойно заметил брат, — я был уверен, что застаю тебя, иначе не пришел бы.

Дайскэ весьма осторожно осведомился, чем обязан приходу брата. Как он и предполагал, атака продолжалась. Отец велел

ему прийти нынче на званый завтрак, который устраивается ради Такаги и дочери Сагавы. Отец страшно рассердился, узнав от Сэйтаро, что Дайскэ отказался прийти. Это обеспокоило Умэко, которая решила повидать Дайскэ и попросить его повременить с отъездом. Но Сэйго ее успокоил: «Не уедет Дайскэ сегодня вечером, — сказал он. — В лучшем случае сидит сейчас перед чемоданом, погруженный в размышления. Вот увидишь, завтра сам явится, даже если оставить его в покое». Все это Сэйго произнес совершенно спокойно.

— Вот и оставили бы меня в покое, — с досадой произнес Дайскэ.

— Но женщины — народ нетерпеливый, — будто не слыша, продолжал Сэйго. — Только проснулась, как стала теревить меня, мол, неудобно перед отцом: вот и пришлось ехать.

Сэйго говорил серьезно, без тени юмора, даже с едва скрытой досадой, что с Дайскэ приходится столько возиться. Однако Дайскэ медлил с ответом. Сказать что-либо маловразумительное и отделаться от брата, как накануне от Сэйтаро, Дайскэ не решался. К тому же теперь он уже не мог рассчитывать на собственные деньги, даже если бы и решил ехать. Все равно пришлось бы обратиться к одному из своих противников — отцу, брату или невестке. И Дайскэ завел с братом ни к чему не обязывающий разговор. Сказал, что он видел Такаги один-единственный раз лет десять назад, и чем-то он ему запомнился, потому что он сразу узнал Такаги, когда увидел на днях в театре, — даже сам удивился. А вот девушку, ему показалось, он видит впервые, хотя совсем недавно ему показывали ее фотографию. Странная вещь — фотография. Если знаешь человека, его легко узнать на снимке, зато по снимку узнать почти невозможно. Если подойти к этому с философской точки зрения, то можно сказать, что мертвое не сделаешь живым, зато живое становится мертвым. Таков закон всего сущего.

— Это пришло мне в голову тогда, в театре.

— Ах, вот оно что, — ответил брат без всякого интереса, усиленно дымя сигарой, которую почти докурил и едва не обжег ею усы.

— Итак, у тебя нет особой надобности уезжать именно сегодня?

Дайскэ пришлось ответить, что нет.

— Значит, ничто не мешает тебе явиться к завтраку, верно?

Дайскэ лишь оставалось сказать, что верно.

— Ну, так я пошел, у меня еще дела. Смотри же приходи обязательно. — У Сэйго, как обычно, был очень занятой вид. Дайскэ перестал упорствовать и согласился. Все равно ведь не отвертишься.

— Никак не пойму, в чем дело, — сказал вдруг Сэйго. — Почему бы в самом деле тебе не жениться на этой девушке?

Невеста, по-моему, вполне подходящая, и нечего привередничать. Просто смешно так серьезно смотреть на женитьбу. словно ты галантный кавалер эпохи Гэнроку¹. Тогда ужасно усложняли любовь не только женщины, но и мужчины. Ты не находишь?.. Ну ладно, во всяком случае, постарайся не сердить старика и приходи.

После ухода брата Дайскэ вернулся к себе и некоторое время переваривал высказывание Сэйго относительно галантности в любви. Ведь и сам он, как Сэйго, относится к женитьбе с некоторой иронией. Поэтому ему должны предоставить в этом вопросе полную свободу. Такой логический вывод очень устраивал Дайскэ, но тут, к несчастью, они с Сэйго расходились во мнениях.

Такаги, как сообщил брат, приехал в Токио по коммерческим делам и взял с собой племянницу, которая давно не была в Токио, чтобы посмотреть город. А как только закончит здесь все дела, сразу увезет ее в провинцию. Решил ли отец воспользоваться представившейся возможностью и навсегда скрепить отношения между семьями общими коммерческими интересами или во время своей недавней поездки сделал так, чтобы эта возможность появилась, Дайскэ не знал, да и не намерен был вдаваться в подробности, не видя в том нужды. Он посидит с гостями, воздаст должное вкусному завтраку и тем самым выполнит свой долг, долг светского человека. Если же его станут принуждать к большему, ему ничего не останется, как принять контрмеры.

Дайскэ велел принести кимоно и скрепя сердце, приличия ради, надел летнее хаори с фамильными гербами. Летних хакама не нашлось, и он решил, как только придет в большой дом, надеть хакама отца или брата. Дайскэ с детства привык к обществу и очень спокойно, несмотря на свою нервозность, относился ко всякого рода банкетам, приемам, прощальным вечерам, на которых ему часто приходилось бывать. По этой же причине он знал в лицо многих именитых людей, в том числе молодых аристократов — виконтов, графов. Общение с ними не оставляло в душе никакого следа. С каждым из них Дайскэ держался и разговаривал одинаково и в этом очень походил на брата. Поэтому те, кто мало знал Дайскэ, были уверены, что братья очень походят друг на друга характерами.

В большой дом Дайскэ приехал без пяти одиннадцать. Гостей не было. Брат тоже еще не вернулся. В гостиной Дайскэ застал только Умэко, одетую к случаю очень нарядно.

¹ Эпоха Гэнроку — период 1688—1701 гг., или, иначе, последняя четверть XVII в. и первая четверть XVIII в.; известна как период бурного расцвета всех видов искусства, литературы, театра, выражавших идеологию «третьего сословия».

— Хороши вы, нечего сказать, — обрушилась она на Дайскэ. — Хотели всех перехитрить и уехать.

У невестки подчас совершенно отсутствовала логика. Вот и сейчас, упрекая Дайскэ в хитрости, она, вероятно, совершенно забыла, что не так давно сама обвела его вокруг пальца. Но в этом, на взгляд Дайскэ, было что-то милое и очаровательное. Дайскэ сел и тут же начал разглядывать туалет Умэко, отпуская замечания. Умэко сказала, что отец у себя, но Дайскэ к нему не пошел, когда же невестка начала на него наседавать, заявил:

— Я пойду известить отца, как только придут гости, а задно и поздороваюсь с ним. — После этого он начал обычный светский разговор, ни словом не упомянув о дочери Сагавы, как ни старалась Умэко навести его на эту тему. Дайскэ хорошо это понимал и мстил ей, болтая с самым невинным видом.

Тем временем появились долгожданные гости, и Дайскэ сразу же пошел к отцу. Как он и рассчитывал, на поучения времени не оставалось. Отец лишь сказал: «Ага!» — и поднялся с места. Дайскэ прошел в комнату брата, надел хакама и вышел в гостиную. И хозяева и гости все были в сборе, кроме Сэйго. Отец завел разговор с Такаги. Умэко развлекала беседой племянницу. Наконец появился и Сэйго, в том же костюме, что и утром. Он вошел неторопливо и сказал:

— Прошу прощения, что немного задержался.

Потом сел на свое обычное место, обернулся к Дайскэ и очень тихо сказал:

— А ты, я смотрю, рано пришел.

Стол был накрыт в соседней комнате. Через приоткрытую дверь Дайскэ заметил уголок белоснежной скатерти. Значит, завтрак будет европейский. Умэко встала и повернула голову в сторону комнаты, где был накрыт стол, дав тем самым понять отцу, что все готово.

— Прошу вас, — поднялся с места отец. Такаги тоже встал и слегка поклонился. Вслед за ним встала и поклонилась племянница. Дайскэ про себя отметил, что девушка довольно высокая и стройная. Отец и Такаги сели в центре стола друг против друга. Справа от Такаги села Умэко, рядом с отцом Дайскэ заняла место дочь Сагавы. Последовав примеру женщин, Сэйго с Дайскэ тоже сели друг против друга. Из-за стоявшей на столе большой вазы Дайскэ было видно лицо девушки, озаренное яркими лучами солнца, падавшими из окна за ее спиной. От этого, так казалось Дайскэ, тени у носа были слишком темными. Зато возле ушей щеки ее были безупречно розовыми. Еще более розовыми и удивительно нежными были уши, которые будто просвечивали на солнце. В сравнении с кожей карие глаза казались совсем темными, что придавало особое очарование ее круглому личику.

Стол был точно рассчитан на количество гостей и в про-

сторной столовой казался совсем маленьким. Со вкусом подобранные цветы великолепно выглядели на фоне белоснежной скатерти, между цветами сверкали ножи и вилки.

Разговор шел обычный, светский, и все скучали. В таких случаях отец начинал рассказывать о любимых произведениях каллиграфического искусства, картинах и антикварных редкостях. А если бывал в настроении, доставал из хранилища свои сокровища и все, одно за другим, показывал гостям. Дайскэ, благодаря отцу, тоже стал кое-что смыслить в этих вещах, в отличие от брата, который знал только имена художников и, глядя на свиток, мог, к примеру, сказать: «Ага, это Цзю Инь¹. А это Окё»². Не больше. Сэйго настолько был безразличен к этим произведениям искусства, что даже притвориться не мог, будто ему это интересно, и взять, скажем, лупу, чтобы с видом знатока определить, подлинник перед ним или подделка. В этом они с Дайскэ были совершенно одинаковы. Ни один не мог оценить ту или иную картину, сказать, как отец, что в старину художники писали волны совсем иначе, а сейчас не умеют.

Чтобы внести хоть какое-то оживление в разговор, отец коснулся излюбленной темы, но тут же понял, что Такаги это совершенно не интересует, и, как человек, умудренный житейским опытом, решил не продолжать. Когда же оба они вернулись к привычной беседе, оказалось, что говорить, в общем-то, не о чем. Отец спросил, как Такаги развлекается. Такаги ответил, что никаких особых увлечений у него нет. Тогда отец, с видом потерпевшего крушение, умолк, перепоручив гостя Сэйго и Дайскэ. Сэйго с легкостью повел разговор о самых различных вещах, начиная от гостиниц в Кобэ и кончая храмом в честь Кусуноки Масасигэ, причем сделал это так умело, что и племянница могла вставить слово-другое. Дайскэ вначале коснулся университета Досися, а затем они с Такаги перешли к положению в американских университетах. Когда же всплыли имена Эмерсона и Готорна, Дайскэ удостоверился, что Такаги человек сведущий, однако в подробности не стал вдаваться, и разговор о литературе не пошел дальше нескольких имен и названий книг.

Умэко, разумеется, не умолкала ни на минуту. Главной ее задачей было преодолеть робость сидевшей напротив племянницы Такаги, и девушка из приличия вынуждена была отвечать на сыпавшиеся непрерывно вопросы Умэко. Сама же она не делала никаких попыток завоевать расположение Умэко. Когда она что-нибудь говорила, то чуть-чуть склоняла голову набок. Но Дайскэ это не показалось кокетством, скорее, привычкой.

¹ Цзю Инь — китайский художник первой половины XVI в.; был особенно известен портретами красавиц.

² Маруяма Окё (1733—1795) — японский художник, один из создателей реалистического направления в японской живописи.

Девушка получила образование в Киото. Училась играть — вначале на кото¹, потом на фортепьяно. Пробовала учиться на скрипке, но скрипка ей не давалась, и ничего не вышло. В театре она почти не бывала.

— Как вам понравился тогда спектакль в Кабуки? — спросила Умэко. Девушка ничего не ответила. Может быть, она не понимает театра, нет, пожалуй, она его просто презирует, подумал Дайскэ. Тогда Умэко заговорила об актерах. А. играет хорошо, Б. — плохо... Тут Дайскэ пришлось вмешаться и прекратить разговор о театре, поскольку, с его точки зрения, невестка опять погрешила против логики.

— Ну, скажем, театр вы не любите, но романами, я полагаю, увлекаетесь? — спросил Дайскэ.

Только сейчас девушка взглянула в его сторону и, вопреки ожиданиям, вполне определенно ответила:

— Нет, я и романы не люблю.

Все ждали, что скажет девушка, и, услышав такой ответ, громко рассмеялись. Чтобы выручить племянницу, Такаги пустился в объяснения. Племянницу воспитывала женщина, мисс имярек, в общем, в пуританском духе, поэтому, добавил он с некоторым осуждением, девушка несколько старомодна. После этого все сразу посерьезнели, никто даже не улыбнулся.

— Это весьма, весьма похвально, — сказал отец, не слишком жаловавший христианскую религию. Умэко, которая понятия не имела о том, что это за воспитание, произнесла как-то неопределенно:

— Да, в самом деле...

Эти слова могли произвести неприятное впечатление, и Сэйго поспешил сказать:

— Вы, вероятно, сильны в английском?

— Нет, — слегка покраснев, ответила девушка.

После завтрака все вернулись в гостиную, но разговор не клеился, его нельзя было возобновить быстро, как зажигают взамен догоревшей новую свечу. Умэко подошла к роялю и открыла крышку.

— Сыграйте нам, пожалуйста! — обернулась она к госте, но та не двинулась с места.

— Тогда вы, Дай-сан, начните!

Дайскэ не настолько хорошо играл, чтобы развлекать гостей, но перечить невестке и скучно и бесполезно, поэтому он ответил:

— Я сыграю, оставьте рояль открытым, — а сам продолжал говорить о вещах, совершенно посторонних.

Еще с час гости посидели и стали прощаться. Хозяева церемонно провожали их в прихожей.

¹ Кото — японский тринадцатиструнный музыкальный инструмент.

— Дайскэ, я полагаю, еще побудет у нас, — сказал отец, уходя к себе. Дайскэ между тем, немного отстав от всех, с силой потянулся, едва не коснувшись руками потолка, затем побродил по пустым комнатам и вернулся в японскую гостиную. Там он застал брата с женой.

— Только не вздумай уходить, — с напускной строгостью предупредил его Сэйго. — Пойди к отцу, он хочет поговорить с тобой.

Умэко едва заметно улыбалась. Дайскэ ничего не сказал, лишь почесал в затылке. У него не хватало духу встретиться сейчас с отцом с глазу на глаз, и он стал уговаривать брата и Умэко пойти вместе с ним. Но из этого ничего не вышло, и Дайскэ остался. Тут явилась горничная.

— Прошу прощения, молодого господина просят пройти в покои хозяина.

— Сейчас иду, — ответил Дайскэ и тут же стал объяснять брату и невестке, что одному ему идти нельзя. У отца известно какой характер, а Дайскэ человек негибкий, чего доброго, рассердит старика какой-нибудь глупостью. А улаживать дело придется им. Так что пусть они лучше сейчас пойдут, хлопот будет меньше.

Сэйго не любил препираться и, хотя на лице у него было написано: «Что за вздор!» — поднялся со словами:

— Ну ладно, пошли.

Умэко рассмеялась и тоже поднялась с места. Все трое пришли к отцу и там уселись с невозмутимым видом.

Чтобы отвести от Дайскэ очередную нотацию, Умэко сразу же направила разговор в определенное русло. Отозвалась с похвалой о дочери Сагавы как об очень милой скромной девушке. Отец, Сэйго и Дайскэ полностью с ней согласились. Что же до американской мисс, которая якобы воспитывала девушку, то тут Сэйго выразил сомнение, сославшись на то, что именно европейским женщинам присуща развязность. Отец и невестка это замечание пропустили мимо ушей. Дайскэ же сказал, что скромность девушки та же застенчивость, обусловленная принятыми в Японии отношениями между мужчиной и женщиной, и воспитание мисс, если она и была, здесь ни при чем. Пожалуй, это верно, сказал отец. Умэко высказала предположение, что на девушке сказалась жизнь в Киото. Сэйго не упустил случая съязвить, заметив, что и в Токио не все женщины похожи на Умэко. Отец сделал строгое лицо и постучал по пепельнице. Умэко нашла внешность девушки незаурядной, с этим согласились все, даже Дайскэ. После этого разговор перешел на Такаги, который произвел впечатление человека сдержанного, но весьма приятного. Никто, к сожалению, не знал родителей девушки, но отец заверил, что за их честность и порядочность ручается, сославшись при этом на мнение одного из депутатов тамошнего префектурального собрания, человека весьма состоятельного. Что же до их иму-

щественного положения, то оно намного прочнее и надежнее, чем у иных предпринимателей.

На этом разговор был исчерпан, и отец обратился к Дайскэ:

— Серьезных возражений, я полагаю, у тебя быть не может?

Сам тон и смысл этих слов были скорее похожи на приказ, нежели на вопрос.

— Гм, как вам сказать, — ответил неопределенно Дайскэ. Отец смотрел на него в упор и все сильнее и сильнее хмурил свой и без того морщинистый лоб. Выручил Дайскэ брат, избавив его от необходимости тотчас же дать ответ.

— Что ж, — сказал о н , — пусть немного подумает.

13

Дня четыре спустя Дайскэ пришлось провожать на вокзале Симбаси Такаги с племянницей. Такова была воля отца. В то утро Дайскэ не выспался, его разбудили раньше обычного, и, возможно, поэтому, когда он приехал на станцию, у него было ощущение, будто его продуло и он застудил голову. Умэко заметила, что он не в себе, и сказала ему об этом. Дайскэ, словно не слыша, снял шляпу и то и дело ерошил аккуратно причесанные еще влажные волосы, отчего они в конце концов растрепались.

На перроне Такаги вдруг предложил Дайскэ:

— Поедьте с нами, сойдите в Кобэ, развлечетесь немного.

— Благодарю, — коротко ответил Дайскэ.

Перед самым отправлением поезда Умэко подошла к окну вагона и обратилась к племяннице Такаги:

— Непременно приезжайте к нам поскорее.

Девушка вежливо поклонилась и что-то сказала, но сквозь стекло ничего не было слышно. Проводив гостей, все четверо покинули станцию. Умэко приглашала Дайскэ к ним, но он отказался, сославшись на головную боль.

Наняв рикшу, Дайскэ вернулся к себе на Усигомэ, прошел прямо в кабинет и бросился на постель. Кадоно заглянул было осведомиться, как дела, но, зная хозяйский нрав, ничего не сказал, увидев Дайскэ, лишь забрал брошенное на стул хаори и ушел.

Дайскэ лежал, размышляя о будущем. Если отдаться на волю судьбы, его непременно заставят жениться. Он и так отверг многих невест. Дальше упорствовать невозможно: он либо потеряет расположение близких, либо, что того хуже, навлечет на себя гнев. Пусть он потеряет расположение, только бы его оставили в покое и не заставляли жениться. А вот родительский гнев может повлечь за собой крупные неприятности. Но как можно жениться против собственной воли?

В нынешний век это просто нелепо. Словом, Дайскэ зашел в тупик.

В отличие от людей старомодных, таких, как отец, Дайскэ считал, что в определенных делах нельзя действовать по заранее придуманному плану, втискивая в его рамки самое природу человека. Человеческая природа величественнее любого созданного человеком плана. И насиловать ее так же бессмысленно, как с помощью свидетельства о разводе удостоверять супружеские отношения. Но Дайскэ и в голову не пришло бы идти с этими аргументами к отцу. Ничего не могло быть труднее, нежели в чем-либо его переубедить. Любая попытка неизбежно окончилась бы неудачей, рассердила бы отца не меньше, чем прямой отказ жениться.

С невесткой и братом еще можно сладить. Куда опаснее отец. Вряд ли за этой женитьбой не кроется еще что-то, чего Дайскэ не знает. Но до сих пор у него не было случая выяснить, каковы подлинные намерения отца. В том, что он подозревает отца, Дайскэ не видел ничего безнравственного и потому совсем не считал, что такие отношения с отцом делают его самым несчастным из сыновей. Просто он опасался, как бы из-за всех этих дел они с отцом еще больше не отдалились друг от друга.

Допустим, такое отчуждение окончится полным разрывом. Приятного в этом мало, но стерпеть можно. Гораздо страшнее последствия: Дайскэ лишится средств к существованию.

Того, кто пришел к мысли, что картошка важнее алмазов, можно считать погибшим, — так всегда думал Дайскэ. Допустим, что отец лишит его помощи. Волей-неволей придется забыть об алмазах и грызть картошку. А вознаграждение каково? Любовь. И не к кому-нибудь, а к чужой жене.

Сколько Дайскэ ни думал, ничего придумать не мог. Его будущее не подвластно ему, как жизнь и смерть, и, как жизнь и смерть, туманно. Лишь какие-то тени мелькают в сознании, и Дайскэ тщетно старается их поймать.

Сменяя друг друга, рождаются и исчезают смутные видения — летучие мыши, вспугнувшие темноту. Он видит, как трепещут их крылья. И вот уже он сам взмыл в высоту и парит в воздухе, гоняся за видениями-мышами. Постепенно Дайскэ погрузился в сон.

Вдруг над самым его ухом ударили в колокол. Дайскэ проснулся, и первой мыслью была мысль о пожаре, но Дайскэ продолжал лежать. Во сне ему часто мерещились удары колокола. Одно время они преследовали его и после пробуждения. Несколько дней назад Дайскэ проснулся от ощущения, будто качается дом. Каждой частицей тела он явственно ощущал, как ходит под ним цинковка. Случалось, что во сне у него начиналось сильное сердцебиение, которое не проходило, даже когда он просыпался. Тогда Дайскэ клал руку на грудь,

устремлял взор в потолок и в такие минуты походил на святого.

Вот и нынче он лежал до тех пор, пока звон колокола не стих. Затем пошел в столовую, где возле хибати стоял обеденный столик, а на нем что-то, накрытое салфеткой. Стенные часы показывали первый час. Служанка, видимо, уже поела и сейчас дремала у себя в комнате, облокотившись на кадушку для вареного риса. Кадоно нигде не было, наверно, куда-то ушел.

Дайскэ отправился в ванную, смочил голову, вернулся и в одиночестве сел за столик. Покончив с трапезой, он снова пошел в кабинет с намерением хоть немного почитать после долгого перерыва. Открыл европейский роман на странице с закладкой, но обнаружил, что совершенно забыл, о чем шла речь впереди. Такое редко случалось с Дайскэ, обладавшим прекрасной памятью. Со школьных времен он слыл книголюбом. И по окончании учебы необычайно гордился тем, что в состоянии выписать любую книгу, не отказывая себе в остальном. Стоило ему день не почитать, и возникало ощущение пустоты. Поэтому, если ничто не мешало, он ежедневно наслаждался чтением. Порой ему казалось, что это истинное и единственное его призвание.

Дымя сигаретой, Дайскэ полистал уже прочитанные страницы, постарался восстановить в памяти, как развивался сюжет, и у него вдруг возникло неприятное чувство, словно ему надо было чересчур быстро перепрыгнуть из шлюпки на берег. Тем не менее Дайскэ заставил себя почитать часа два. Но больше не выдержал. Печатные знаки, разумеется, слагались в его сознании в слова и фразы, обретали смысл, но несколько его не волновали. От такого чтения Дайскэ не получал никакого удовольствия, как если бы, изнывая от жары, стал вместо льда сосать пузырь со льдом.

Чтение сейчас не шло на ум. Он решил не заставлять себя и захлопнул книгу. Но ему надо было чем-нибудь заняться, ибо нынешнее его состояние не определялось просто скукой.

Дайскэ прошел в столовую, накинул хаори, который Кадоно аккуратно сложил, сунул ноги в гэта, сброшенные у входа, и чуть не бегом устремился к воротам. Было около четырех часов. Дайскэ сел в первый попавшийся трамвай. На вопрос кондуктора, куда он едет, ответил первое, что пришло в голову. Раскрыл бумажник. Там еще оставалось кое-что из тех денег, которые он собирался истратить на свое путешествие и большую часть которых отдал Митиё. Купив билет, он тщательно пересчитал оставшиеся бумажки.

Этот вечер он провел в одном из чайных домиков Акасака, где ему довелось услышать занятную историю. Красивая молодая женщина сошлась с одним мужчиной и зачала от него, но, когда пришло время рожать, печалилась необычайно и проливала слезы. Все удивлялись, спрашивали о причине

грусти, она же отвечала, что ей, такой юной, очень обидно рожать. Видимо, всем существом своим женщина вдруг ощутила быстротечность жизни, мимолетность истинной любви, которая исчезнет с появлением ребенка, когда она станет матерью. Женщина эта, судя по всему, не была воспитана в строгих правилах. Дайскэ слушал с огромным интересом. Вот он, внутренний мир женщины, для которой ничего нет важнее собственной красоты и радостей любви.

Дайскэ решил на следующий день непременно увидиться с Митиё и придумал предлог. Он должен знать, сказала ли она мужу о деньгах, которые ей принес Дайскэ, и как это отразилось на их отношениях. Он убедил себя, что именно это главная причина тревоги и он не успокоится, пока не поговорит с Митиё.

Дайскэ переоделся, отбросив в сторону все, что надевал накануне, и почувствовал себя обновленным. С каждым днем солнце припекало все сильнее, и люди с нетерпением ждали дождей, которые принесут влагу. После вчерашних развлечений Дайскэ ощущал себя мрачной тенью на фоне веселого солнечного пейзажа, и это сильно его угнетало. «Скорее бы сезон дождей», — надевая летнюю широкополую шляпу, думал Дайскэ, у которого мысли были такими же пасмурными и тяжелыми, как грозовое небо.

Пока он добирался до Хираоки, вся голова его, до самых корней волос, покрылась испариной. Дайскэ снял шляпу и хотел войти, но дверь была заперта, лишь какая-то возня слышалась за домом, Дайскэ обошел его с другой стороны и увидел возле кладовой Митиё. Склонившись и слегка вытянув свою тонкую шею, она вместе со служанкой натягивала на доску выстиранный и накрахмаленный кусок ткани, измятой и бесформенной. Заметив Дайскэ, она оторвалась от дела и так стояла, не произнося ни слова. Дайскэ тоже несколько секунд молчал, а потом проговорил:

— Не ждали?

Митиё отряхнула воду с рук, вбежала в дом с черного хода, сделав Дайскэ знак глазами, чтобы он шел с парадного. «Приходится запирать от воров», — объяснила она, отпирая решетчатую дверь. Митиё вся покраснела от солнца, бледный лоб покрылся мелкими каплями пота. Глядя сквозь дверную решетку на удивительно тонкую, почти прозрачную кожу Митиё, Дайскэ терпеливо ждал, пока она откроет.

— Простите, что заставила вас ждать, — сказала Митиё, отступив на шаг и пропуская Дайскэ в дом. Дайскэ протиснулся в узкую дверь, едва не задев Митиё, и прошел в гостиную. У столика Хираоки был заботливо положен лиловый дзабутон. Дайскэ это слегка задело. Удручающее впечатление производил бурьян на сухой, неухоженной земле в саду.

Дайскэ с грустью смотрел на запущенный сад, бормоча обычные извинения, что, дескать, помешал, простите, и ис-

кренне жалея Митиё, которой приходится жить в таком уютном доме. Положив на колени руки с чуть припухшими от воды пальцами, Митиё рассказала, что сейчас крахмалила во дворе материю — надо же как-то убить время. Хираока, видимо, постоянно не бывал дома, и Митиё в одиночестве томилась от скуки.

— Завидная у вас доля, — сказал Дайскэ нарочно, чтобы вызвать Митиё на откровенность, но она, видно, не собиралась делиться с ним своими переживаниями и молча вышла в соседнюю комнату. Зазвенели металлические ручки комода, и Митиё вскоре вернулась с красной бархатной коробочкой в руках. Там оказалось аккуратно вложенное кольцо, некогда подаренное ей Дайскэ.

— Вы одобряете мой поступок? — спросила Митиё виноватым голосом и снова вышла в соседнюю комнату. Там она торопливо, словно опасаясь, как бы кто не увидел, спрятала драгоценную коробочку в комод и вернулась. Дайскэ продолжал хранить молчание. Потом, глядя в сад, заметил:

— Отчего бы вам не выполоть траву в саду, раз у вас столько свободного времени?

На сей раз промолчала Митиё.

— Хираока знает о тех деньгах? — после недолгой паузы спросил Дайскэ.

— Нет, — тихо ответила Митиё.

— Значит, вы ему не сказали?

Митиё, как выяснилось из ее слов, до сих пор так и не удалось поговорить об этом с мужем, потому что он почти не бывал дома. Дайскэ верил ей и все же никак не мог себе представить, что это единственная причина. Ведь на такой разговор ушло бы не более пяти минут. Что-то другое ей помешало, какая-то тяжесть, камнем лежавшая на сердце. И Дайскэ вдруг пришло в голову, что это из-за него Митиё чувствует себя виноватой перед мужем. Однако он не испытывал угрызений совести. Доля ответственности за положение, в котором очутились Митиё и Хираока, лежит на самом Хираоке, и он должен понести заслуженную кару, уготованную ему пусть не законом, так жизнью.

Дайскэ поинтересовался делами Хираоки, но Митиё, как обычно, говорила мало и очень неохотно. Единственное было ясно, что отношение мужа к ней резко изменилось. Об этом Дайскэ догадывался с самого начала, еще когда они только приехали в Токио, но истинной причины не знал — супруги ее тщательно скрывали. Отношения их между тем день ото дня ухудшались, в этом не могло быть никаких сомнений. Но Дайскэ не допускал мысли, что он — третий лишний, тому виной, иначе не вел бы себя столь неосмотрительно. Разум ему подсказывал, что не в нем дело. Были другие причины: болезнь Митиё, отразившаяся на их интимных отношениях, смерть ребенка, склонность Хираоки к распутству, его неудачи по

службе и, наконец, денежные затруднения, возникшие из-за распутства. Все эти размышления привели Дайскэ к выводу, что Митиё не пара Хираоке и им не следовало вступать в брак. Как он теперь раскаивался, вспоминая роль посредника, которую взял на себя по просьбе Хираоки. И все же не из-за него произошло отчуждение между супругами. В то же время Дайскэ не мог отрицать, что это отчуждение разбудило в нем любовь к Митиё, которая росла с каждым днем.

Не во имя прошлого, а во имя настоящего Дайскэ не мог оставаться равнодушным к Митиё. Не к прежней Митиё, а к той, что страдала от тяжкого недуга. К той, что утратила ребенка. К той, что потеряла любовь мужа. К той, что несла бремя жизненных тягот. Но пока еще любовь не настолько вскружила ему голову, чтобы он действовал открыто и навсегда разлучил Митиё с Хираокой.

Из рассказов Митиё Дайскэ понял, что Хираока придерживает деньги, даже когда они у него заводятся, и отдает на расходы лишь мизерную часть. Это больше остального мучило Митиё, и Дайскэ решил хоть как-нибудь ей помочь.

— Я постараюсь встретиться с Хираокой и серьезно с ним поговорить.

Митиё печально на него взглянула. А вдруг это ничего не принесет ей, кроме неприятностей? Дайскэ тоже это понимал и не настаивал. Митиё принесла голубоватый конверт, вынула из него письмо и показала Дайскэ. Это было весьма странное послание от отца Митиё с Хоккайдо. Отец сообщал, что дела у него идут неважно, цены небывало высокие и он едва сводит концы с концами, чувствует себя совсем одиноким, хочет приехать в Токио и просит прислать ему денег. В общем, ничего веселого. Дайскэ аккуратно сложил и вернул письмо Митиё. В глазах у нее стояли слезы.

Некогда отец Митиё владел небольшим участком земли. Но во время русско-японской войны кто-то посоветовал ему играть на бирже. Он проигрался, не задумываясь, продал землю, на которой жили его предки, и поселился на Хоккайдо. Это было все, что Дайскэ знал о его жизни, пока не прочел вышеупомянутое письмо. «Есть родня, нет родни — одно и то же», — так часто говорил Дайскэ старший брат Митиё, когда еще был жив. Словом, Митиё не на кого было рассчитывать, кроме отца и Хираоки.

— Завидую я в а м, — сказала Митиё, при этом ресницы ее дрогнули. И у Дайскэ не хватило духу возразить ей. Немного помолчав, она спросила: — А отчего вы все не женитесь?

Дайскэ продолжал молчать, лишь пристально смотрел на Митиё. Он заметил, как под его взглядом кровь постепенно отливала от щек Митиё и она стала бледнее обычного. Тут Дайскэ впервые подумал о том, что рискованно подолгу оставаться наедине с Митиё. Еще немного, и чувства, облеченные в слова, заставят их преступить границы дозволенного. Однако

Дайскэ умел повернуть разговор в противоположную сторону, причем с самым невинным видом. Читая европейские романы, он часто удивлялся откровенности и прямоте любовных диалогов, от которых так и веяло чувственностью. В оригинале эти романы еще можно было читать, но весь тон и манера изложения, с точки зрения Дайскэ, делали их совершенно непереводаемыми на японский. Поэтому у него не было ни малейшего желания прибегать в разговоре с Митиё к словам из романов, очень напоминавшим актерскую речь, чтобы выразить свои чувства. Им бы вполне хватило самых обыкновенных слов. Была другая опасность: незаметно для самих себя перейти запретную черту. И Дайскэ едва удержался от последнего шага. Митиё проводила его до дверей и сказала на прощанье:

— Мне так тоскливо, так одиноко! Приходите, пожалуйста.

Служанка все еще работала на заднем двореке. Дайскэ, словно во сне, прошел почти квартал. Он не знал, радоваться ему, что он вовремя остановился, преодолев естественное побуждение высказать Митиё все до конца, или жалеть об этом. Впрочем, посиди он еще пять, десять минут, ничего бы не изменилось. Все это началось не сегодня, а очень давно. Даже трудно сказать, когда именно. Перебирая мысленно события прошлого, Дайскэ не помнил, чтобы хоть на день или на миг погасло пламя их любви. Митиё была женой Дайскэ. Была ею всегда. Даже когда выходила за Хираоку. Эта мысль камнем легла Дайскэ на душу, и он зашатался под ее тяжестью.

— Что-нибудь случилось? — спросил Кадоно. — Вы вроде бы не совсем здоровы.

Дайскэ прошел в ванную, старательно отер пот с бледного лба, полил холодной водой голову.

Два дня Дайскэ совсем не выходил из дому. Лишь на третий день после обеда сел на трамвай и поехал в редакцию газеты, где служил Хираока, намереваясь обстоятельно поговорить с ним и хоть немного облегчить участь Митиё. Он отдал курьеру свою визитную карточку и, пока ждал возле покрытого пылью стола дежурного, то и дело доставал платок и прикладывал его к носу. Затем его провели в приемную на втором этаже, душную, мрачную и тесную комнату. Дайскэ успел выкурить сигарету, пока наконец появился Хираока. Он вышел из двери с табличкой «Редакция», которая то и дело открывалась, впуская и выпуская людей. На Хираоке был уже знакомый Дайскэ летний костюм, как всегда, белоснежный воротничок и манжеты. С видом чрезвычайно занятого человека он бросил Дайскэ небрежно: «А, привет!» Дайскэ невольно поднялся. Так, стоя, они обменялись несколькими фразами. В редакции перед выпуском очередного номера как раз была горячка, и поговорить с Хираокой не удалось. На вопрос Дайскэ, когда удобно зайти, Хираока, поглядев на часы, которые вынул из кармана, ответил:

— Извини, но лучше всего через часок.

Дайскэ взял шляпу, спустился по темной пыльной лестнице, вышел на улицу, и его сразу обдало прохладным ветром.

Деваться было некуда, и он решил побродить где-нибудь поблизости, а заодно обдумать, с чего начать разговор с Хираокой. Единственно, чего хотел Дайскэ добиться, это хоть немного покоя для Митиё, который был ей так нужен. Допустим, Хираока почувствует себя оскорбленным, Дайскэ даже готов на разрыв с ним. Правда, оп не знает, как в этом случае сможет выручить Митиё. Встречаться с ней наедине у Дайскэ пока не хватало смелости, но он уже не мог оставаться равнодушным к ее нынешнему положению. Поэтому свидание с Хираокой было скорее рискованным шагом, предпринятым под влиянием чувств, нежели актом, продиктованным разумом. Такого рода поступки не были свойственны Дайскэ, но сам он этого не замечал. Ровно через час он снова стоял у двери с табличкой «Редакция» и через некоторое время вместе с Хираокой вышел за ворота.

Когда они миновали несколько кварталов, Хираока вдруг вошел в какой-то дом. Под крышей висели пучки папоротника для защиты от жары, небольшой двор был полит водой. Хираока снял пиджак и сел в небрежной позе. Дайскэ, не ощущая особой жары, ограничился тем, что взял веер.

Разговор начался с положения дел в газете. Хираока сказал, что, несмотря на загруженность, доволен работой, и прозвучало это вполне искренне, без тени сожаления о прошлом. Дайскэ иронически заметил, что Хираока, видимо, не очень-то усердствует. Хираока с самым серьезным видом защищался, ссылаясь на то, что в газете из-за огромной конкуренции не обойтись без особой сметливости и умения лавировать.

— В самом деле, — согласился Дайскэ, не выразив должного восторга, — бойко владеть пером теперь, видно, недостаточно.

— Я веду экономический отдел, — заявил Хираока, — по представь, сколько интереснейших фактов всплывает на поверхность! Хочешь, напишу о тайных операциях вашей фирмы?

Этот вопрос не застал Дайскэ врасплох, поскольку у него были свои наблюдения, и потому его не испугал.

— Что ж, — ответил он спокойно. — Это может оказаться интересным, но лишь при условии полной объективности с твоей стороны.

— Разумеется! Клеветой я не намерен заниматься.

— Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что если ты выступишь в печати с нападками на нашу фирму, критикуй тогда и остальные.

Хираока зло рассмеялся.

— Думаешь, мы удовлетворимся одним делом «Нитто»? — сказал оп со скрытой угрозой в голосе. Дайскэ молча слушал, потягивая сакэ. Разговор в таком духе мог в любой момент

оборваться. Но тут Хираока вдруг неизвестно зачем рассказал Дайскэ анекдотический случай с компанией Окура во время японо-китайской войны, видимо, связывая его с закулисными сторонами делового мира. Компании Окура надлежало поставить воинским частям в Хиросиме определенное количество голов рогатого скота. И вот сдадут они, к примеру, несколько голов, а ночью сами же их и выкрадут. А на другой день, как ни в чем не бывало, сдают тех же самых коров. Так продолжалось до тех пор, покуда армейские чиновники не спохватились и не поставили в один из дней на принятом скоте клеймо. А когда ничего не подозревавшие дельцы вновь проделали эту операцию, они были пойманы с поличным и разоблачены.

Этот анекдот Дайскэ расценил как типичный образец сатиры на современное общество. Затем Хираока рассказал про Котоку Сюсуй, социалиста, весьма опасного для правительства. Возле дома Котоку день и ночь дежурят полицейские. Одно время они даже вели наблюдение из палатки, которую там специально поставили. Сюсуй выйдет из дому — полицейские следом за ним. Не дай бог выпустить его из виду — это было бы чрезвычайным происшествием. Вот он появился в Хонго, а сейчас пришел в Канда, из пункта в пункт передают по телефону, во всем Токио переполох. Только полицейский участок Синдзюку тратит на Сюсуя не менее ста иен в месяц. Когда один из его приверженцев, допустим, торговец леденцами, прямо на улице готовит свои фигурки на продажу, полицейский в белой форме тут как тут — стоит над душой и ничего не дает делать. Дайскэ и это сообщение не принял всерьез.

— Тоже, по-твоему, образец современной сатиры? — с вызовом произнес Хираока.

— Вот именно, — рассмеялся Дайскэ. Все эти вопросы мало его интересовали, а уж сегодня он меньше, чем когда-либо, был склонен обсуждать события политического порядка, впрочем, так же как и общаться с гейшами, которых Хираоке очень хотелось пригласить.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал наконец Дайскэ, переходя к интересующей его теме. Хираока вдруг переменялся в лице, во взгляде появилась тревога. Его ответ явился полной неожиданностью для Дайскэ:

— Я сам давно собираюсь с тобой потолковать, как-то решить вопрос, но сейчас это совершенно невозможно. Повремени немного. Я же обещаю пока не публиковать в газете ничего такого, что касалось бы твоего отца или брата.

Дайскэ понял, что попал в дурацкое положение, однако ненависть вытеснила все остальные чувства.

— Ты сильно изменился, — холодно сказал Дайскэ.

— И ты тоже. Но что поделаешь! Жизнь нас к тому вынуждает. Вот я и говорю, повремени немного, — с деланным смехом ответил Хираока.

Слова Хираоки Дайскэ пропустил мимо ушей и решил высказать до конца все то, ради чего он сюда шел. В спешке не объяснишь, что он явился вовсе не за долгом, потому что Хираока, большой охотник во всем искать скрытый смысл, опять истолкует его слова как-нибудь не так. А это будет досадно. И Дайскэ решил перейти к главному, уже не заботясь о том, как поймет его Хираока. Одно его смущало. Если он скажет, что ему известно, как ведет себя Хираока дома, это может навлечь неприятности на Митиё. А не скажет, тогда окажутся бесполезными все его предупреждения и советы. Волей-неволей пришлось начать издалека.

— Ты, я смотрю, часто бываешь в таких местах, слишком хорошо тебя здесь знают.

— Кутить, как ты, я, разумеется, не могу, откуда у меня такие деньги, но изредка в компании приходится, особенно если это нужно для работы. — Хираока привычным жестом поднес ко рту чашечку сакэ.

— Не мое это дело, только я не понимаю, как ты при этом сводишь концы с концами? — ринулся в атаку Дайскэ.

— Кое-как свожу, — очень неохотно ответил Хираока и как-то сразу сник. Дайскэ зашел в тупик и уже не знал, что говорить дальше.

— Обычно в это время ты всегда бывал дома, — выдавил он из себя. — А вот в прошлый раз я тебя не застал, ты, наверно, задержался допоздна?

— Я прихожу по-разному, то раньше, то позже. Такая работа, что поделаешь, — уклончиво ответил Хираока, словно оправдываясь.

— Наверно, Митиё-сан скучает в одиночестве?

— Да нет, не очень. Она ведь тоже сильно изменилась, — сказал Хираока, и Дайскэ уловил в его взгляде сомнение и страх. Может случиться, что отчуждение между супругами никогда не пройдет. И если сама природа разрубит соединяющие их узы, судьба Дайскэ решена. Он неизбежно будет сближаться с Митиё по мере того, как она будет отдаляться от Хираоки. И вдруг, будто движимый какой-то неведомой силой, Дайскэ сказал:

— Она не могла сильно измениться. Просто стала старше. Постарайся больше бывать дома, и Митиё-сан успокоится.

— Ты так думаешь? — проговорил Хираока, залпом допив свое вино.

— Думаю? — словно эхо, повторил Дайскэ. — У кого хочешь спроси, тебе скажут то же самое.

— В твоём представлении Митиё, видно, все та же, какой ты знал ее три года назад. А она очень переменялась. Да, да, очень. — Хираока осушил еще чашечку. Дайскэ почувствовал, как учащенно забилося у него сердце, и ответил:

— Ты не прав. Она все та же. Ничуть не переменялась.

— А что делать, если дома мне неинтересно?

— Ты не вправе так говорить.

Хираока даже глаза раскрыл от удивления. У Дайскэ перехватило дух. Однако у него ни на йоту не возникло ощущения, что пущенная им стрела попала в цель. Нынче в его речах не было, как обычно, логики, был импульс, и только. Однако он ни на минуту не сомневался в том, что желает Хираоке добра. Каждым своим словом, каждым поступком он пытался вернуть супругам их бывшее благополучие и таким образом вырваться из плена Митиё. Ему и в голову не приходило, что его благие намерения всего лишь хитрость, с помощью которой он пытался скрыть от Хираоки свое истинное отношение к Митиё. Как человек вполне порядочный и светский, он никогда не позволил бы себе вероломства по отношению к другу. Постепенно Дайскэ вернулся к своему обычному состоянию.

— Пойми, — сказал он, — если все время ты где-то будешь пропадать и транжирить деньги, вы никогда не сможете жить по-человечески. И, согласишься, совсем невесело будет в семье.

— Семья? — скептически воскликнул Хираока, засучивая рукава белоснежной рубашки. — Эка важность! Только холостяки, вроде тебя, придают ей серьезное значение.

В Дайскэ шевельнулась неприязнь к Хираоке. Можешь не любить семью, если тебе угодно, хотелось сказать Дайскэ, только знай, я уведу от тебя жену. Но до такого разговора было еще далеко. Дайскэ попробовал затронуть еще одну струну души Хираоки.

— Помнишь, когда мы впервые встретились после твоего приезда в Токио, ты советовал мне чем-нибудь заняться и даже прочел мораль на эту тему?

— Ага, помню. Зато ты удивил меня своей философией ничегонеделания.

Только сейчас Дайскэ пришло в голову, что он, видно, и в самом деле удивил тогда Хираоку, который в то время лихорадочно жаждал деятельности. Чего Хираока добивался? Богатства? Славы? Или же власти? А может быть, ему просто надо было найти применение своей энергии?

— Люди, такие, как я, духовно надломленные, вынуждены придерживаться подобного мнения. Никто не следует раз навсегда принятым взглядам, у каждого своя точка зрения, и годится она лишь для него одного. Так же обстоит дело и с моей философией. Для меня она приемлема, для тебя — нет. И ты не можешь, опираясь на нее, строить свою жизнь. Твои тогдашние воззрения достойны самого глубокого почитания. Ты — человек действия, я пользуюсь твоими же словами, так и оставайся им навсегда.

— Энергии у меня, разумеется, хоть отбавляй, — решительно заявил Хираока.

Дайскэ насторожился.

— И ты намерен применить ее в газете?

Хираока замялся было, но тут же отчеканил:

— Да, именно в газете.

— Все ясно. Ты дал исчерпывающий ответ, и лезть к тебе в душу я не намерен. Но есть ли у тебя к этой работе вкус?

— Полагаю, что е с т ь , — снова отчеканил Хираока.

Разговор носил весьма абстрактный характер, и хотя Дайскэ сказал «все ясно», истинные намерения Хираоки оставались для него туманными, словно перед ним был не Хираока, а полномочный член правительства или, на худой конец, адвокат. Тут Дайскэ из соображений чисто тактических решил польстить самолюбию Хираоки, для чего ему понадобилось вернуться к временам русско-японской войны и вспомнить ее героя, именовавшегося «богом войны» — капитана второго ранга Хиросэ. Он командовал отрядом кораблей, блокировавшим с моря Порт-Артур, погиб и стал всеобщим кумиром, а спустя некоторое время был обожествлен. Но война кончилась, и сейчас мало кто о нем вспоминает. Мода на героев быстро проходит. Для своего времени они люди чрезвычайно ценные, но великими только кажутся, ибо задачи выполняют сугубо практические. Задача выполнена, и в глазах общества герой уже не герой. Именно это и случилось с капитаном Хиросэ. Когда шла война с Россией, его отряд, вероятно, имел очень важное значение, но наступил мир, и Хиросэ, будь он хоть сто раз героем, из бога превратился в простого смертного. Основа человеческих отношений — корысть, это распространяется и на героев. Герои сменяют друг друга, так же как и остальные ведут борьбу за существование. Поэтому он, Дайскэ, вовсе не склонен становиться героем. Но, допустим, живет на свете отличный парень, честолюбивый, волевой, полный энергии. Он добивается славы не мечом, а пером, славы более прочной. Где же ее добиться, как не в газете?

Эту тираду Дайскэ произнес без малейшего энтузиазма, в душе потешаясь над тем, что ему приходится льстить, да к тому же делает он это как-то по-детски прямолинейно. Выслушав, Хираока бросил: «Благодарю», — не выразив при этом никаких чувств.

Дайскэ устыдился: он недооценил Хираоку. Не сумел тронуть его душу, сказать нужные слова, уговорить его восстановить мир в семье. Дайскэ потерпел поражение в самом начале, поскольку для осуществления своего плана избрал окольный путь, самый трудный.

Так, ни до чего не договорившись, Дайскэ распрощался с Хираокой, не понимая, зачем ходил к нему в редакцию. Хираока это, вероятно, еще меньше понимал, тем более что ни о чем не спросил Дайскэ.

Весь следующий день Дайскэ провел у себя в кабинете, вновь и вновь вспоминая вчерашнее. За два часа встречи он был искренен с Хираокой, лишь когда пробовал защищать Митиё. И то искренним не в речах, а в побуждениях. Говорил

же он неопределенно, малоубедительно, первое, что приходило в голову. Если судить строго, все его слова были фальшью. Да и сами побуждения, в серьезности которых он не сомневался, по существу, возникли из тревоги за собственное будущее. Естественно поэтому, что Хираока не мог поверить в его чистосердечность. Более того, весь разговор Дайскэ вол с целью сбить Хираоку с его нынешней позиции и заставить мыслить так, как мыслит сам он. Вот почему он ничего не добился.

Надо было ему сослаться на Митиё и сказать все напрямик Хираоке, тогда, возможно, он вызвал бы его на откровенность. Наверняка вызвал бы. А если бы не удалось? Хираока, пожалуй, стал бы еще хуже относиться к Митиё. Могло бы дойти до ссоры с Хираокой.

Дайскэ раскаивался в собственной трусости, которая заставила его быть столь нерешительным. Это никак не вязалось с его заботой о Митиё и желанием спасти ее от Хираоки. Выходит, Дайскэ снова допустил непозволительное нарушение логики.

Дайскэ с завистью подумал о людях прежних поколений, которые, оставаясь эгоистами, не отдавали себе в этом отчета и, уверенные в том, что пекутся о ближнем, горячими уверениями и слезами заставляли этих ближних следовать их совету. Если бы Дайскэ мог им уподобиться, расчувствовался вчера, он, вероятно, добился бы желаемого. Дайскэ часто говорили, в особенности отец, что ему недостает искренности и рвения. Тщательные размышления привели Дайскэ к выводу, что не все человеческие побуждения и действия настолько чисты и благородны, чтобы воспринимать их как искренние и честные. Напротив. Люди зачастую неблагородны. Надо примитивно мыслить, чтобы в каждом побуждении и поступке видеть искренность, либо быть лицемером, который, желая возвыситься, выставляет напоказ собственную искренность и рвение.

Равнодушие не самое лучшее человеческое качество, но Дайскэ пришел к нему в результате анализа природы людей. Он не мог проявлять ни рвения, ни искренности, поскольку твердо знал, что его побуждения и сами поступки чаще всего бывают лживыми, лишены серьезности.

Ио теперь Дайскэ стоял перед дилеммой: либо идти в своих отношениях с Митиё прямым путем, как велят чувства, либо вернуться к прежним временам, когда она для него не существовала и он жил, не зная волнений. Третьего не дано. Надо выбирать. Иначе жизнь утратит смысл. Любое половинчатое решение ведет ко лжи. Разумеется, оно безопасно. И не грозит ему осложнениями в обществе, зато является свидетельством слабости и полной беспомощности.

Он сознавал всю рискованность отношений с Митиё, если отдался на волю провидения. Иначе, как провидением, он не мог это назвать. Любовь, угодная небу, но противоречащая

законам общества, во все времена признавалась обществом лишь после гибели влюбленных. И Дайскэ содрогнулся, представив себе возможность столь трагической развязки.

Но расстаться с Митиё — не значит ли это нарушить волю неба, подавить свою собственную волю и в результате погибнуть? Может быть, послушаться отца с невесткой и жениться? Средство, способствующее гибели. Зато этот брак многое изменит в его отношениях с людьми.

14

Итак, Дайскэ пребывал в нерешительности: отдаться ему на волю судьбы или проявить твердую волю. Дайскэ, болезненно воспринимавший зной и холод, считал глупым ограничивать себя строгими рамками поведения, уподобляясь тем самым машине, ограниченной жестким режимом работы. В то же время он проникся мыслью, что в его жизни наступил критический момент, когда необходимо принять серьезное решение.

Из отцовского дома он вернулся с напутствием: «Итак, хорошенько подумай», — но до сих пор так и не удосужился это сделать. В тот день он лишь возблагодарил судьбу за то, что уже в который раз ему удалось избежать смертельной опасности. Он больше не вспоминал об этом, тревожась лишь об одном, как бы в ближайшее время отец снова не вызвал его к себе. А пока он решил выбросить женитьбу из головы. Позовут, тогда и придумает, что сказать, сообразуясь с тем, какое будет в этот момент лицо у отца. Он отнюдь не собирался морочить отца. Ответ, каким бы он ни был, всегда зависит от обстоятельств, значит, прежде всего необходимо оценить собственную позицию и позицию партнера.

И в предстоящем разговоре с отцом Дайскэ поступил бы именно так, если б не его чувства к Митиё, которые требовали окончательного решения. Дайскэ сейчас как игрок: в руке у него кость, и он должен бросить ее, независимо от выражения лица партнера, решив для себя заранее, на что он ставит. Пусть сердится отец, пусть злится Хираока — жребий брошен, и надо покориться велению неба. Игральная кость в руке у Дайскэ, и ставку может сделать только он, коль скоро судьба его должна решиться жребием. Дайскэ был глубоко убежден, что никто не вправе за него решать — ни отец, ни брат, ни невестка, ни Хираока.

Тем не менее он был чересчур безвольным, чтобы самостоятельно решить свою судьбу. Все эти дни он созерцал лежавшую на его ладони кость. Хоть бы вошла судьба и хлопнула его логонько по руке. В то же время он радовался, что жребий пока не брошен.

Время от времени в кабинет заходил Кадоно и каждый раз заставлял Дайскэ неподвижно сидящим за столом.

— Пошли бы прогулялись немного. Нельзя столько работать, вредно для здоровья.

У Дайскэ и в самом деле был какой-то землистый цвет лица. Приближалось лето, и Кадоно теперь каждый день готовил ванну. После ванны Дайскэ непременно разглядывал себя в зеркало. Стоило ему раз не побриться, как смотреть на себя становилось противно, но еще противнее было трогать лицо, на котором росла густая жесткая щетина.

Ел он как обычно, но двигался мало и плохо спал, размышляя по ночам, из-за чего нередко ощущал боль в желудке. Но Дайскэ это мало тревожило. Он был целиком поглощен одной-единственной, до сих пор не решенной проблемой, привык постоянно думать о ней и уже не делал никаких усилий, чтобы вырваться из замкнутого круга, в котором очутился.

В конце концов он стал презирать себя за свою нерешительность. Но как только приходил к мысли, что из-за Митиё ему, возможно, придется отказаться от женитьбы на дочери Сагавы, его охватывал невольный страх. И все же ему ни разу не пришло в голову воспользоваться женитьбой, чтобы сразу порвать с Митиё.

Он не раз отказывался жениться, но сейчас его отказ должен был повлечь за собой откровенное объяснение с Митиё, и при мысли об этом ему становилось страшно.

Дайскэ с нетерпением ждал вестей от отца. Но их все не было. Увидеться с Митиё у него не хватало духу.

Дайскэ все больше укреплялся во мнении, что брак, который будет играть для него чисто формальную роль, не может разлучить его с Митиё, поскольку не касается самой сущности их отношений. Ведь не помешало же их сближению замужество Митиё. Не помешает и женитьба Дайскэ. Сердце не подвластно никаким условностям, они лишь увеличивают страдания. В результате всех этих рассуждений Дайскэ пришел к выводу, что единственный выход — это отказаться от женитьбы.

На следующее утро Дайскэ впервые за много дней подстригся и побрился. Наступил сезон дождей. Почти неделю лило не переставая, омытые водой земля и деревья обрели покой. Не так яростно, как прежде, припекало солнце. Жар его лучей, пробивавшихся между облаками, казалось, поглощала напитавшаяся влагой земля. Сидя перед зеркалом в парикмахерской, Дайскэ по привычке погладил свои полные щеки и решил, что с сегодняшнего дня начнет действовать.

Возле отцовского дома, когда он приехал, стояли у входа две коляски. Рикши спали, прислонившись к подножкам, видимо, в ожидании хозяев, и не слышали, как мимо прошел Дайскэ. В большой гостиной сидела Умэко, держа на коленях газету и рассеянно глядя в сад на густую, словно сплетшуюся, зелень. Казалось, невестка тоже сейчас уснет: такой, по край-

ней мере, у нее был вид. Дайскэ вошел без доклада и, не дожидаясь приглашения, сел напротив невестки.

— Отец у себя?

Умэко испытующим взглядом окинула Дайскэ и, не ответив на его вопрос, сказала:

— Вы вроде бы осунулись, Дай-сан?

— Это вам кажется, — возразил Дайскэ, невольно погладив щеки.

— Да вы только взгляните, что за болезненный у вас цвет лица, — стояла на своем Умэко, пристально всматриваясь в Дайскэ.

— Нет же! Просто тень от листвы падает мне на лицо, вот я и кажусь зеленым. Да и вы по той же причине бледная, — добавил Дайскэ, кивнув в сторону сада.

— Зелень тут ни при чем. Просто последние несколько дней мне нездоровится.

— Ах, вот оно что! Я сразу заметил, что вы какая-то вялая. Что-нибудь случилось? Или схватили простуду?

— Не знаю, что и сказать вам, но почему-то все время мучает зевота, — ответила Умэко, сбросила газету с колен и хлопком в ладоши позвала служанку. Она уже забыла, что Дайскэ спрашивал про отца, и, когда он обратился к ней с тем же вопросом, объяснила ему, что у отца гости, их как раз и привезли рикши, которых Дайскэ видел у входа. Дайскэ сказал, что подождет, если, разумеется, гости не засидятся, а невестка тем временем пошла в ванную освежить лицо. Служанка принесла целую тарелку приготовленных на пару сладких колобков, туго завернутых в бамбуковые листья. Дайскэ ухватился за кончик листа, как за хвост, вытащил колобок и с наслаждением вдохнул исходивший от него аромат.

Когда Умэко, несколько приободренная, вернулась из ванной, Дайскэ спросил:

— А что брат? — В это время рука его, державшая колобок, качалась из стороны в сторону, словно маятник.

Умэко, стоявшая на веранде, продолжала смотреть в сад с таким видом, словно считала лишним отвечать на такой банальный вопрос, затем вернулась на прежнее место и сказала, проявив завидную наблюдательность:

— Дожди только начались, а как зазеленел мох! — и нехотя добавила: — Значит, вам интересно, где ваш брат?

И когда Дайскэ подтвердил, что да, интересно, равнодушно ответила:

— А что он... Как всегда...

— Как всегда, не бывает дома?

— Да, да, с утра до вечера.

— И вам одной не скучно, сестрица?

— Что толку об этом спрашивать? — рассмеялась Умэко, решив, что Дайскэ либо подтрунивает над ней, как обычно, либо просто ребячится. Дайскэ и сам удивился, что вдруг за-

говорил с Умэко серьезно. Ему давно были известны отношения брата с женой, но до сих пор они как-то мало его интересовали. Да и невестка со своей стороны ни разу не выказала недовольства.

— Неужто в супружестве все так живут и тем довольствуются? — высказал свою мысль Дайскэ и, не ожидая ответа, даже не взглянув на Умэко, стал просматривать лежавшую на татами газету.

— Что вы сказали? — неожиданно резко произнесла Умэко.

Удивленный ее тоном, Дайскэ невольно посмотрел на невестку. Тогда она заявила:

— Женитесь и сидите, пожалуйста, дома, лелейте жену.

В этих словах Дайскэ узнал прежнюю Умэко, зато сам, как ни старался, не мог вернуться к обычному своему тону.

Его мысли были целиком поглощены женитьбой, которая не состоится, и его будущими отношениями с Митиё. Поэтому сквозь обычный его тон, к которому привыкла Умэко, нет-нет да и проскальзывали неожиданные для нее нотки.

— Вы, Дай-сан, нынче странный какой-то, — заметила она наконец. Дайскэ не хотелось уклоняться от прямого ответа, как он это часто делал, прибегая к самым различным способам. И он очень серьезно попросил Умэко объяснить, в чем же его странность. Вопрос показался Умэко нелепым, и брови ее удивленно взметнулись вверх. Но в конце концов она сдалась, сказала «ладно» и принялась объяснять. Сегодняшнюю серьезность Дайскэ она истолковала как намеренную и заметила:

— То, что вы тут говорили насчет мужа и что Я без него скучаю, когда его нет дома, все это непохоже на вас, слишком много чуткости.

— Нет, н е т, — поспешил возразить Д а й с к э, — просто есть у меня одна знакомая, у нее такое же положение, и мне, по правде говоря, очень ее жаль. Поэтому я и спросил, не скучаете ли вы одна. А насмехаться я и не думал.

— Правда? Что же это за знакомая?

— Имени ее я не могу назвать.

— Посоветуйте ее мужу быть с ней поласковее...

Дайскэ улыбнулся.

— Вы, значит, тоже так думаете?

— Разумеется!

— А если муж меня не слушает? Как тогда быть?

— Тут уж ничего не поделаешь.

— Отступиться?

— Ничего больше не остается.

— Обязана ли в таком случае жена хранить верность?

— Ну, это уже из области философии. Тут еще надо знать, насколько провинился перед ней муж.

— А представьте, что жена полюбила другого? Что тогда?

— Нелепый вопрос. Раз она любит другого, так за него бы и шла.

Дайскэ задумался, потом произнес:

— Сестрица...

Пораженная проникновенностью его голоса, Умэко внимательно посмотрела на Дайскэ. Между тем он, не меняя тона, продолжал:

— Я и на этот раз намерен отказаться от женитьбы.

Его рука с сигаретой слегка дрожала. Стараясь не смотреть на ставшее вдруг равнодушным, словно застывшее лицо невестки, Дайскэ продолжал:

— Не раз я доставлял вам хлопоты своим отказом жениться. Вот и сейчас тоже. Говоря по справедливости, я должен бы прислушаться к вашему совету, ведь мне уже тридцать. Однако есть соображения, которые вынуждают меня снова вас огорчить. И не только вас, но и отца и брата, и тут ничего не поделаешь. Речь не о том, что дочь Сагавы мне не по душе. В последнюю нашу встречу отец велел мне хорошенько подумать. Я все хорошо обдумал и полагаю, что мне лучше пока не жениться. Я, собственно, и пришел сегодня только для того, чтобы сообщить об этом отцу. Но, поскольку он занят с гостями, решил прежде высказать все это вам. Так что не взывайте.

Поверив наконец в серьезность и искренность речей Дайскэ, Умэко внимательно его слушала, не перебивая пустыми репликами, как это бывало обычно. Когда же он кончил, очень коротко и очень просто сказала:

— Однако вы поставите отца в затруднительное положение.

— Ничего, я скажу отцу все напрямик.

— Боюсь, что уже поздно...

— Как же поздно, если я еще ни разу не сказал «да».

— Но ведь «нет» вы тоже не сказали.

— За тем я и пришел, чтобы сказать «нет».

Наступило молчание. Дайскэ считал разговор исчерпанным. Он все сказал, что мог, и откровенничать дальше не собирался. Зато у Умэко так и вертелись на языке слова и вопросы, только она не знала, с чего начать.

— Не знаю, как далеко зашел в своих переговорах отец, — сказала наконец Умэко, — но ваш отказ для всех явится неожиданностью.

— Почему же? — очень спокойно и холодно спросил Дайскэ.

— Бессмысленно об этом спрашивать.

— Пусть бессмысленно, но объясните все же!

— Сколько бы вы ни отказывались, результат будет тот же.

Дайскэ не понял и с недоумением смотрел на Умэко. Тогда она впервые откровенно высказала ему свое мнение:

— Надо же вам когда-нибудь жениться, так стоит ли без конца привередничать? Просто перед отцом совестно. Раз вам никто не нравится, не все ли равно, кого взять в жены? Уж сколько вам показывали, ни одна не годится. Во всем мире, видно, не сыщешь подходящей для вас невесты. Смиритесь же с тем, что жена вам не будет нравиться, и женитесь! Не перечьте, и все уладится ко всеобщему удовольствию. Может статься, что на сей раз отец что-нибудь предпримет без вашего ведома, не посвятит вас, скажем, в какую-нибудь мелочь и сочтет это вполне естественным. Иначе вряд ли он доживет до того, чтобы лицеизреть вашу жену.

Дайскэ спокойно выслушал невестку и сидел молча, не возражая. Он понимал, что его доводы лишь осложнят разговор. Умэко все равно его не поймет, и оба они окажутся в затруднительном положении. Поэтому он сказал только:

— У вас свой резон, у меня свой, так что, прошу вас, оставим это.

По его тону Умэко почувствовала, что Дайскэ тяготит ее вмешательство, однако слова его она не оставила без ответа:

— Что ж, Дай-сан, вы, разумеется, не дитя и вправе решать все самостоятельно. Вам, видно, не нравится, что я суюсь со своими советами, так что я умолкаю. Но поставьте себя на место отца. В деньгах он вам не отказывает, и живете вы, в сущности, на его иждивении, получая даже больше, чем в студенческие годы. И вот, пользуясь всеми этими благами, вы, ссылаясь на то, что стали взрослым, не желаете слушаться его, как прежде. Согласитесь, что это просто несерьезно!

В запальчивости Умэко могла сказать все, что угодно. Дайскэ ее перебил:

— Но ведь, женившись, я еще больше обременю отца.

— Неважно. Отец говорит, что это вполне его устроит.

— Значит, отец твердо решил женить меня, пусть даже невеста мне не по нраву?

— Так ведь во всей Японии не сыщешь девушку, которая бы вам понравилась!

— Откуда вам это знать?

Умэко в упор посмотрела на Дайскэ.

— Вы придираетесь к каждому слову!

Дайскэ наклонился к невестке.

— Я люблю одну женщину, — тихо, но твердо проговорил он, бледнея.

Дайскэ в шутку не раз говорил невестке подобные вещи, которые Умэко вначале принимала всерьез. Но однажды вышел забавный случай, когда она попыталась стороной выяснить, правда ли это. С тех пор Умэко больше не верила Дайскэ, если он рассказывал ей о предметах своей любви, и часто даже насмехался над ним. В этих случаях Дайскэ оставался совершенно невозмутимым. Но сейчас все было по-другому. Выражение лица Дайскэ, его взгляд, тихий, но твердый голос,

необычно серьезный разговор — все это буквально ошеломило Умэко. А последняя короткая фраза о женщине, которую он любит, показалась невестке блеснувшим кинжалом.

Дайскэ взглянул на часы, которые достал из-за пояса. Гости, судя по всему, не собирались уходить. Небо снова заволкли тучи. Дайскэ решил не ждать больше и поднялся.

— Я потом найду поговорить с отцом.

Умэко между тем пришла в себя и, будучи женщиной доброй, привыкшей заботиться о других, не могла оставаться в неведении. Она стала выпрашивать, что за женщина, как ее имя, и не давала Дайскэ уйти. Дайскэ, разумеется, не отвечал. «Нет, скажите», — настаивала Умэко. Дайскэ молчал. Тогда Умэко спросила, отчего бы ему не взять эту женщину в жены. Дайскэ ответил, что есть много сложностей. Он едва не довел Умэко до слез. Она укоряла его в неискренности, в том, что из-за него все их хлопоты пошли прахом, что он должен был сразу во всем признаться. В то же время она сказала, что жалеет его и очень ему сочувствует. Несмотря на все уговоры, Дайскэ так и не назвал имени Митиё. Умэко в конце концов отступила. Лишь когда Дайскэ стал уходить, она спросила его:

— Значит, вы сами поговорите с отцом? Мне, пожалуй, пока лучше молчать?

Дайскэ не знал, что лучше.

— Как вам сказать, — нерешительно произнес он. — Ведь к отцу я приду, чтобы сообщить о своем отказе.

— Ладно, выберу удобный момент, сама все расскажу. А не выберу — вы первый скажете. Другого, пожалуй, ничего не придумаешь, — с участием произнесла Умэко.

— Надеюсь на вашу поддержку, — сказал, уходя, Дайскэ. Дойдя до угла, он сел на трамвай до Сиотё, рассчитывая потом немного пройти. Из окна вагона Дайскэ увидел, как на западном краю неба пробилось сквозь тяжелые тучи багровое вечернее солнце, столь редкое в пору дождей. Оно осветило все широкое поле армейского плаца, где как раз в это время проходил трамвай, выхватило из сумрака колеса повозки, которую тащил по ту сторону плаца рикша, засверкало на спицах. На фоне просторного плаца повозка выглядела совсем маленькой, и тем огромное казался плац. Дайскэ высунулся в окно и, обдуваемый ветром, смотрел на проплывающий мимо пейзаж, ощущая, как кружится отяжелевшая голова. То ли душевное его состояние сказалось на физическом, то ли наоборот, но, подъезжая к конечной остановке, Дайскэ так скверно себя почувствовал, что никак не мог дожидаться, когда сойдет с трамвая. Волоча по земле, словно тросточку, зонт, который он захватил на случай дождя, Дайскэ пошел дальше пешком.

Он шел и без конца твердил себе, что собственными руками почти разрушил свою судьбу. До сих пор в объяснениях с от-

цом или с невесткой Дайскэ удавалось добиться своего мягко, без нажима, держа их на почтительном расстоянии. Теперь придется во всем признаться, и уж тогда добра не жди. Может быть, пойти на попятный, снова обманывать отца, вилять? Дайскэ зло смеялся над собой прежним. Ему хотелось верить, что нынешним признанием он, по крайней мере наполовину, перечеркнет свое будущее. Он готов был к любым ударам и хотел лишь одного — чтобы Митиё вверила ему свою судьбу.

Прежде чем встретиться с отцом, он должен хорошенько все продумать и непременно повидаться с Митиё. Напрасно он разрешил невестке поговорить с отцом. Если она осуществит свое намерение нынче же вечером, Дайскэ не успеет повидаться с Митиё, поскольку утром отец может его вызвать. Надо сегодня же с ней переговорить, решил было Дайскэ, по тут вспомнил, что время уже позднее.

Начало смеркаться, когда Дайскэ, миновав офицерскую школу, вышел к берегу канала и пошел вдоль трамвайной линии, прямо, никуда не сворачивая. Невыносима была мысль о том, что вот сейчас он вернется домой и, как всегда, праздно просидит в кабинете весь вечер. На высокой насыпи по ту сторону канала нескончаемой темной цепью тянулись сосны, под соснами взд и вперед сновали электрички. Дайскэ физически ощущал легкость, с которой они скользят по рельсам, и проникся еще большей неприязнью к шумному, грохочущему трамваю. Так и не дойдя до своей улицы, которая уже виднелась, Дайскэ заметил редкие огоньки в отдалении, в роще Коисикава, и, не раздумывая, отправился к Митиё.

Минут через двадцать он вышел к развалинам храма Дэндзуин, пробрался сквозь нависшие с обеих сторон густые ветви, свернул влево и оказался у дома Хираоки. Припав к забору, Дайскэ в щели, через которые пробивался свет, стал наблюдать за тем, что происходит в доме. Там было тихо, никакого движения. Может быть, подойти к двери и окликнуть хозяев? И вдруг совсем близко от Дайскэ, видимо, на веранде, послышался звук, будто кто-то хлопнул себя по колену, затем встал и пошел в комнату. Вскоре послышались голоса. Что они принадлежали Хираоке и Митиё, в этом Дайскэ не сомневался, только слов не мог разобрать. Вскоре оба умолкли. Снова послышались шаги на веранде, кто-то стал шумно усаживаться. Дайскэ отошел от забора и направился в противоположную сторону.

Некоторое время он двигался словно во сне, не сознавая, куда и зачем идет, целиком поглощенный только что полученным впечатлением. И вдруг остановился, охваченный невыразимым стыдом за собственное унижение. Зачем он убежал, словно вор, которого спугнули? Этого Дайскэ не мог объяснить, только удивлялся и, стоя на тропинке, радовался стужавшемуся мраку. Духота перед дождем затрудняла дыхание,

и с каждым шагом Дайскэ чувствовал это все сильнее. Наконец он вышел на Кагурадзака, в глаза ударил яркий свет. Бесчисленные взгляды жгли, казалось, так же нещадно, как слепящие огни. И Дайскэ ускорил шаг, движимый единственным стремлением поскорее скрыться.

— Как вы поздно! — встретил его Кадоно со своим обычным, немного обалделым в и д о м . — Ужинали?

Есть Дайскэ не хотелось, он ответил, что ничего не нужно, и едва не выставил Кадоно из кабинета, но буквально через две-три минуты позвал его.

— Отец за мной не присылал?

— Нет.

— Ага, прекрасно!

Кадоно продолжал стоять в дверях, ожидая пояснений.

— Сэнсэй, — спросил о н , — разве вы не были в большом доме?

— А что? — нахмурился Дайскэ.

— Но ведь вы сами говорили, что идете туда.

— Б ы л , — с досадой ответил Дайскэ, которому Кадоно изрядно на д о е л . — Я только про посыльного спросил, и нечего больше об этом разговаривать.

— Слушаюсь... Так вот оно что!.. — протянул Кадоно и вышел. Дайскэ потому спросил про посыльного, что знал, как нетерпелив бывает отец, если вдруг пожелает увидеть не кого-нибудь, а именно его, Дайскэ. Могло стать, что он послал за Дайскэ сразу, как только он ушел. Мысль на следующий же день встретиться с Митиё не покидала Дайскэ.

Даже ночью, в постели, он придумывал, как это сделать. Можно послать ей с рикшей письмо с просьбой заехать, однако не исключено, что после сегодняшнего разговора с невесткой к нему завтра нагрянут или сама невестка, или же брат. Пойти самому к Митиё, в дом Хираоки, было для Дайскэ мучительно, и он решил встретиться с нею в каком-нибудь нейтральном месте.

Среди ночи полил дождь. Он так яростно стучал о крышу и о стены, что, казалось, даже полог от москитов весь пропитался сыростью и от него веет холодом. Прислушиваясь к шуму дождя, Дайскэ с нетерпением ждал рассвета.

Дождь не перестал и на следующий день. Дайскэ вышел на мокрую веранду и, глядя на мрачное небо, вносил коррективы в свой вчерашний план, соответственно погоде. Пригласить, например, Митиё просто в чайный домик не очень-то удобно. На худой конец можно бы поговорить и под открытым небом, только не при такой погоде. В дом Хираоки он не пойдет. И Дайскэ решил, что ничего не остается, как привести Митиё к себе. Немного мешает Кадоно, но вести разговор можно так, чтобы в его комнате ничего не было слышно.

Почти до полудня Дайскэ ничего не предпринимал, только созерцал дождь. Но сразу же после обеда надел плащ и вышел

из дому. Дойдя до Кагурадзака, он позвонил оттуда на Аояму, решив взять инициативу в свои руки и сказать следующее: «Завтра я собираюсь к вам, так что...» К телефону подошла невестка. Она сказала, что отец еще ничего не знает и она советует Дайскэ хорошенько подумать. Дайскэ поблагодарил и повесил трубку. Затем он позвонил в редакцию, чтобы выяснить, на работе ли Хираока. Ему ответили, что да, на работе. Тогда Дайскэ, не обращая внимания на дождь, отправился в цветочный магазин и вернулся домой с охапкой белых лилий. Еще мокрые цветы он поставил в две вазы. А несколько лилий, подрезав у них стебли, поместил в ту самую керамическую вазу с узором по краям. Затем сел и написал Митиё записку: «Надо срочно поговорить, приезжайте».

На зов Дайскэ явился, шмыгая носом, Кадоно и, взяв послание, заметил:

— Как хорошо у вас пахнет!

— Возьмешь рикшу и привезешь ее сюда, — приказал Дайскэ. Пришлось Кадоно под проливным дождем идти в контору, услугами которой они обычно пользовались, когда нужен был рикша.

Созерцая лилии, Дайскэ с наслаждением вдыхал их аромат, распространившийся по всей комнате. Он напомнил Дайскэ прежнюю Митиё. И эти воспоминания, словно тень, неотделимые от ее прошлого, сливались с тенью его прошлого, как две струйки дыма, в одно целое.

«Наконец-то я становлюсь самим собой», — подумал Дайскэ. Давно уже не чувствовал он такого удивительного покоя, всем существом своим он ощутил его. Отчего он так долго противился природе? В дожде, в лилиях, в воспоминаниях и образах прошлого Дайскэ вновь обрел простую, чистую жизнь, чуждую корысти, постоянных забот о выгоде, не знающую гнета так называемой морали. Жизнь свободную, как облака, естественную, как вода, жизнь, полную блаженства, истинной красоты.

Но тут грезы покинули Дайскэ. Он вспомнил о страданиях, которыми заплатит за этот мир блаженства. Губы его побелели. Он молча поглядел на себя, на свои руки, и ему показалось, что он видит, как дрожит под ногтями кровь. Дайскэ подошел к лилиям, наклонился, едва не касаясь их губами и вдыхая пряный запах, пока не закружилась голова. Он готов был задохнуться от сладкого аромата, упасть без памяти. Затем, обхватив ладонями локти, Дайскэ долго ходил из кабинета в гостиную и обратно, ощущая тревожное биение сердца. Лишь когда надо было сосредоточиться на какой-нибудь мысли, подумать, он останавливался то у кресла, то у письменного стола и снова начинал ходить, в смятении не находя себе места.

Время между тем шло, и Дайскэ нет-нет да и поглядывал на стенные часы. Затем смотрел в окно, не перестал ли

дождь. Но с неба по-прежнему струями падала на землю вода, а небо стало даже как будто еще мрачнее. Особенно темным казалось оно там, где тучи громоздились друг на дружку, напоминая бурлящий водоворот и словно бы грозя вот-вот обрушиться на землю. Споря с шумом дождя, застучали колеса въехавшей во двор коляски, мокрой и блестящей. Дайскэ побледнел и с улыбкой приложил руку к груди.

В сопровождении Кадоно вошла Митиё. Одетая она была совсем не так, как прошлый раз, в темно-синее с мелким белым узором кимоно из простого шелка, перехваченное топким, без подкладки, поясом с вытканым на нем выюнком. В этом наряде она показалась Дайскэ какой-то другой, совсем новой, только цвет лица был по-прежнему болезненный. Еще не переступив порог гостиной, она встретилась взглядом с Дайскэ, и лицо ее застыло, точно окаменело, да и сама она не в силах была двинуться с места, отказали ноги. Получив записку, Митиё в предчувствии чего-то неведомого испытывала и тревогу, и страх, и радость. Пока она шла от коляски к дому, с лица ее не сходило выражение напряженного ожидания. Это выражение сохранилось и когда она вошла в гостиную и увидела растерянного и взволнованного Дайскэ.

Митиё молча опустилась на предложенный Дайскэ стул. Сам он сел напротив. Какое-то время они смотрели друг на друга, не произнося ни слова.

— У вас ко мне дело? — спросила наконец Митиё.

— Да, — только и ответил Дайскэ. Снова наступило молчание. Оба прислушивались к шуму дождя.

— У вас какое-нибудь дело? — снова спросила Митиё.

— Да, — так же односложно ответил Дайскэ. Разговор, который обычно они вели легко и непринужденно, сегодня не клеился. Дайскэ подумал было, что следовало прибегнуть к помощи сакэ, по тут же устыдился этой мысли. Он должен найти в себе силы и объясниться с Митиё. И все же, поскольку нынешняя встреча была особенной, Дайскэ жаждал глотнуть хоть каплю чего-нибудь крепкого. Он едва сдержался, чтобы не опрокинуть привычную рюмку виски в соседней комнате. Нет, он не настолько труслив, чтобы пить для храбрости, он и без этого будет откровенен с Митиё до конца. Было бы чересчур жестоко оскорбить ее столь недостойным поступком. Если говорить об обществе с его моралью, то здесь Дайскэ не считал для себя обязательной искренность, в отношении же Митиё он не позволил бы себе вероломства. Нет, в его любви к Митиё не оставалось места для низменной расчетливости. Но он никак не решался начать объяснение, всякий раз заставляя Митиё бледнеть в ожидании ответа. Наконец он сказал:

— Что же, потолкуем не спеша, — закурил и умолк. Митиё опять побледнела. Дождь лил по-прежнему, глухо стуча

по крышам. И казалось, ничего нет больше в мире, только этот шум и этот дождь. Будто не было в доме ни Кадоно, ни служанки, только они двое. Двое среди одуряющего аромата лилий.

— Я только что купил эти цветы, — сказал Дайскэ, и глаза Митиё невольно последовали за его взглядом, скользнувшим по комнате, в то время как сама она с удовольствием вдыхала запах лилий.

— Мне захотелось вернуть то время, — продолжал Дайскэ, — когда я бывал у вас на Симидзу-тё, где вы жили с братом. Взгляните, сколько здесь лилий!

— А как чудесно они пахнут! — Митиё отвернулась от Дайскэ, залобовавшись прелестными раскрывшимися лепестками, когда же она снова к нему повернулась, щеки ее слегка порозовели.

— Как вспомнишь о том времени... — Она так и не закончила фразы.

— А вы вспоминаете?

— Конечно, вспоминаю.

— В тот раз вы были в нарядном кимоно и причёске «итёгаэси»¹.

— Ведь я тогда только приехала в Токио. Очень скоро я переменяла причёску.

— У вас была точь-в-точь такая же причёска, когда недавно вы приходили сюда с лилиями!

— А вы заметили? Я ее тогда специально сделала...

— Именно эту причёску?

— Да, почему-то пришла такая фантазия.

— Я, как увидел, сразу вспомнил прошлое.

— Правда? — смутилась Митиё.

Дайскэ однажды похвалил ее причёску, которую она носила в первое время после приезда в Токио. Она жила тогда на Симидзу-тё и уже непринужденно разговаривала с Дайскэ. В ответ на его похвалу Митиё рассмеялась, по больше такой причёски не делала. Этот случай оба хорошо помнили, но сейчас и словом о нем не обмолвились.

Брат Митиё был человеком широких взглядов, великодушным и доброжелательным, чем снискал всеобщую любовь и уважение. Особенно они подружились с Дайскэ. Брату, веселому и общительному, был по душе тихий и мягкий нрав младшей сестры. Он привез ее из провинции и поселил у себя не столько для того, чтобы дать ей образование, сколько из стремления всегда быть вместе и заботиться о ее личном счастье. О своих побуждениях он рассказал Дайскэ, еще когда Митиё не было в Токио, и Дайскэ отнесся к ним с юношеским пылом.

¹ «Итёгаэси» — японская национальная девичья причёска.

Приезд Митиё еще сильнее сблизил друзей. Дайскэ и сам не знал, кто из них больше способствовал этой возросшей близости. Уже после смерти брата Митиё, мысленно возвращаясь к тем временам, Дайскэ не мог не признать, что помимо дружбы их связывало еще что-то. Только они никогда об этом не говорили. И эту тайну брат Митиё унес с собою в могилу. Делился ли он своими сокровенными мыслями с Митиё, Дайскэ, разумеется, не знал, но, судя по речам девушки, ее поступкам, манере держаться, о чем-то смутно догадывался.

Брат Митиё видел в Дайскэ человека, обладавшего тонким художественным вкусом, которым сам он, по собственному мнению, не отличался. В беседах об искусстве, если они приобретали серьезный характер, он честно признавался, что в данном предмете смыслит мало, и никогда не вел пустых споров. Как раз в то время он где-то наткнулся на слова *arbiter elegantiarum*¹ и пользовался ими вроде бы как прозвищем для Дайскэ. Когда они беседовали, Митиё сидела в соседней комнате и молча слушала. Слова *arbiter elegantiarum* врезались ей в память, она спросила брата, что это значит, и была удивлена его ответом.

Оказалось, что брат полностью доверил Дайскэ воспитание эстетического вкуса Митиё, делал все, чтобы они побольше общались и девушка получала бы пищу для ума. Дайскэ этому не противился, но несколько позднее вдруг обнаружил, что, собственно, сам взял на себя эту миссию. Митиё с радостью признала его своим учителем. Так втроем они проводили месяц за месяцем, представляя собой как бы разомкнутый круг, которому суждено было вскоре сомкнуться. Но умер брат Митиё и круг, так и не сомкнувшись, распался на две части — равновесие было нарушено...

Преодолев барьер смущения, Дайскэ и Митиё пустились в воспоминания пятилетней давности. Настоящее постепенно отодвинулось, они перенеслись в давно прошедшие студенческие времена и снова почувствовали себя близкими друзьями.

— Интересно, что было бы со мной, если бы брат остался жив, — с грустью и нежностью в голосе произнесла Митиё.

— Вы хотите сказать, что все было бы по-другому?

— Для меня все осталось по-прежнему. А для вас?

— Для меня тоже.

— Ой, неправда, — с легким укором сказала Митиё. Пристально глядя на нее, Дайскэ возразил:

— Ведь я все тот же, что и прежде.

Глаза Митиё метнулись в сторону. Тихо, словно размышляя вслух, она проговорила:

¹ Ценитель прекрасного. Прозвище Петрония, приближенного римского императора Нерона (см. «Хроники» Тацита, кн. 16, а также «Камо грядеши» Г. Сенкевича).

— Вы еще тогда ко мне изменились.

Эти слова она произнесла едва слышно, и Дайскэ ухватился за них, боясь, как бы они не ускользнули:

— Вам это просто показалось. Нисколько я не изменился. Вы заблуждались, и тут ничего не скажешь.

Он говорил, буквально отчеканивая каждое слово, горячо и пылко, словно защищаясь.

— Пусть я заблуждалась, не все ли равно, — почти шептала Митиё.

Дайскэ молча за ней наблюдал. Митиё сидела, не поднимая глаз, и Дайскэ видел, как дрожат ее длинные ресницы.

— Я не мыслю себе жизни без вас. Понимаете, не мыслю! Только это я и хотел сказать, когда звал вас нынче.

Дайскэ не произнес ни единого красивого слова из лексикона влюбленных. И тон его, и сами слова, простые и безыскусные, были скорее строго-торжественными. Правда, само его побуждение срочно вызвать Митиё, чтобы сказать ей эти несколько слов, казалось таким же наивным, как детские стихи на игрушках. Однако Митиё прекрасно поняла, что это дело, далекое от житейской обыденности, и в самом деле не терпит отлагательств. К тому же она не питала склонности к пышным речам из популярных романов и потому не ждала от Дайскэ прылких уверений в любви. Но несколько его скупых слов проникли в душу Митиё, и на дрогнувших ресницах блеснули слезы, которые медленно падали ей на щеки.

— Поймите же меня, Митиё! Прошу вас!

Митиё плакала и не в силах была отвечать. Платком, вынутым из рукава кимоно, она прикрыла лицо до самых бровей. Дайскэ придвинулся к Митиё и наклонился к самому ее уху;

— Надеюсь, вы все поняли.

Не отнимая платка от лица, Митиё, всхлипывая, сказала:

— Что сейчас говорить об этом?

Дайскэ будто током поразило. Он со всей остротой осознал, что признание его запоздало. Надо было сказать ей о своих чувствах до ее замужества. И сейчас произнесенные сквозь слезы слова Митиё причинили Дайскэ невыразимое страдание.

— Вы правы, — сказал он с убитым в и д о м . — Мне следовало объясниться с вами несколько лет назад.

Резким движением Митиё отняла платок от лица.

— Могли и не объясняться, но почему... — Тут Митиё вскинула на Дайскэ покрасневшие от слез глаза, пристально на него посмотрела и уже решительно закончила: — Почему вы бросили меня? — Она снова заплакала, прикрывая лицо платком.

— Я виноват. Простите меня. — Дайскэ взял Митиё за руку, в которой она держала платок, чтобы отнять ее от лица. Митиё не сопротивилась. Платок упал ей на колени. Потупившись, Митиё дрожащими губами промолвила:

— Это жестоко!

— Мне нечего вам возразить. Но согласитесь, я за это су-
рово наказан.

Митиё удивленно на него посмотрела.

— Как это понимать?

— Вы четвертый год замужем, а я все еще одинок,

— Разве вы не можете жениться?

— Не могу, даже если бы и хотел. Родственники каждый раз находят мне другую невесту, а я от всех отказываюсь. Вот и сейчас отказался. Не знаю, что предпримет отец. Но для меня это неважно. Я останусь холостым до тех пор, покуда вы мне будете мстить, как бы ни сложились у меня отношения с отцом.

— Мстить! — словно эхо, повторила Митиё, и в глазах ее промелькнул страх. — Думайте обо мне, что хотите, — сухо сказала она, — но с момента моего замужества я не перестаю сокрушаться, что вы одиноки.

Пропустив эти слова мимо ушей, Дайскэ произнес:

— Я хочу, чтобы вы мстили мне всю жизнь. Это мое искреннее желание. И нынешним своим признанием я, собственно, лишний раз дал вам такую возможность. Ведь в глазах общества я теперь грешник. Но такая, видно, у меня доля — грешить без конца. Что значит людская молва в сравнении с радостью чистосердечно покаяться перед вами!

Митиё улыбнулась сквозь слезы, первый раз в продолжение всего их разговора, но ничего не сказала. Воспользовавшись этим, Дайскэ продолжал:

— Я понимаю, как жестоко после стольких лет открыть вам свое сердце. Но иного выхода у меня нет. Именно к этому я и стремился, чтобы мой поступок вы сочли жестоким, чтобы жестокость слышалась в каждом слове. Без этого я не смог бы жить дальше. Пожалуй, в этом проявился мой эгоизм, и я прошу у вас прощения.

— Жестокость тут ни при чем, и не надо просить у меня прощения.

В голосе Митиё все еще звучали печальные нотки, но тон был более спокойный, какой-то просветленный.

— Заговори вы об этом немного раньше... — после непродолжительной паузы начала Митиё, но слезы помешали ей договорить.

— Вы почли бы за счастье, если б я всю жизнь молчал?

— Вовсе нет, — с жаром возразила Митиё, — Пожалуй, и мне трудно было бы жить, не объяснившись с вами.

На этот раз улыбнулся Дайскэ.

— Значит, вы не сердитесь?

— Не только не сержусь, я рада. Но...

— Но, хотите вы сказать, это нечестно перед Хираокой?

Митиё в раздумье кивнула.

— Скажите честно, Митиё-сан, вы любите мужа?

Митиё вдруг побледнела и плотно сжала губы. На лицо ее легла печать страдания, в глазах появилось жесткое выражение.

— Тогда, может быть, муж вас очень любит? — снова спросил Дайскэ.

Митиё молчала, потупившись. Но только было Дайскэ собрался высказать по этому поводу собственное мнение, как она подняла голову — ни тревоги, ни страдания не увидел Дайскэ на ее лице. Даже слезы почти высохли. Она все еще была бледной, но губы не дрожали.

— Делать нечего. Я решила сь, — тихо, но внятно произнесла она.

Дайскэ вздрогнул, словно по спине у него побежали холодные струйки воды. Они сидели и испытующе вглядывались друг в друга, эти двое, которым судьба уготовила изгнание из общества, и сердца их трепетали перед могучей силой, вопреки всему соединившей их.

Вдруг Митиё, словно в предчувствии чего-то грозного, надвинувшегося на нее, закрыла лицо руками и заплакала. Чтобы не видеть ее слез, Дайскэ опустил голову, прикрыв лоб рукой, и так сидел неподвижно. Оба они сейчас очень напоминали изваянных скульптором влюбленных.

Оба испытывали такое душевное напряжение, словно за короткий миг прожили целых полвека. В то же время они ощущали близость друг друга. Они чувствовали, что дорого заплатят за этот дар любви, которая принесет им и радость и муку.

Вскоре Митиё тщательно вытерла слезы и тихо проговорила:

— Мне пора.

— Да, по жалуй, — ответил Дайскэ.

Дождь почти перестал, но Дайскэ не хотел отпускать Митиё одну. Он нарочно не вызвал рикшу, чтобы проводить ее. Правда, расстались они на мосту Эдогавы, на некотором расстоянии от дома Митиё. Дайскэ стоял на мосту, пока она не свернула в переулок, потом медленно пошел назад, сказав себе: «Ну вот и все».

К вечеру дождь прекратился, из-за туч выглянула ясная, словно омытая луна. Стоя на веранде, Дайскэ долго смотрел на залитые ее сиянием мокрые листья, потом надел гэта и спустился в сад. И без того небольшой, сад был густо засажен деревьями, так что гулять было негде. Дайскэ остановился и стал смотреть на огромное, простиравшееся над головой, небо. Затем принес из гостиной лилии и, опустившись на землю, разбросал их вокруг. В лунном свете они ярко засверкали. Некоторые упали под деревья и там смутно белели в тени. Дайскэ рассеянно на них смотрел.

В дом он вернулся, лишь когда подошло время спать. В гостиной еще витал едва уловимый аромат цветов.

Встреча с Митиё принесла Дайскэ облегчение, и он почувствовал, что скоро обретет душевный покой. Впрочем, это не было для него неожиданностью, все получилось так, как он и ожидал.

На другой день он проснулся с твердой решимостью бросить наконец жребий. Теперь он в ответе не только за собственную судьбу, а и за судьбу Митиё. Но ведь именно этого он и желал, а своя ноша тяжелой не бывает. Напротив, с нею он быстрее пойдет вперед. Он сам открыл новую страницу в своей жизни и теперь готовился к генеральному сражению с отцом. А затем с братом и невесткой. После этого он еще даст бой Хираоке. Допустим, он их одолеет, а что делать с обществом, для которого не существуют ни свобода личности, ни чувства? Оно сеет только мрак, и Дайскэ готов был вступить в поединок с обществом.

Дайскэ сам дивился собственной неустрашимости. До сих пор он считал себя человеком мирным, осторожным, добропорядочным, считал недостойным горячиться и избегал опасности, не пускался на рискованные предприятия. Чуждый малодушия, граничащего с подлостью, Дайскэ тем не менее не мог преодолеть в себе трусость.

В одном из номеров популярного европейского журнала, который Дайскэ выписывал, он прочел очерк под названием «Mountain Accidents»¹ и был потрясен приведенными там случаями трагической гибели альпинистов, искателей приключений. Одни были раздавлены в горах во время обвала, и останки их нашли только сорок лет спустя на ледниковой скале, другие, их было четверо, словно обезьяны, по плечам друг друга карабкались на отвесную кручу, и когда тот, что был первым, ухватился за край совершенно плоской огромной скалы, край этот обломился, веревка, которой были связаны альпинисты, оборвалась, и они полетели в пропасть. Все остальные истории были в том же духе. Одна из иллюстраций изображала людей, распластавшихся, подобно летучим мышам, на крутом, как стена, склоне горы. К этой иллюстрации Дайскэ в своем воображении пририсовал бескрайнее небо, под ним, далеко внизу, долины и так явственно ощутил глубину пропасти, что почувствовал головокружение.

Пожалуй, самому Дайскэ грозила сейчас такая же опасность, как альпинисту. Однако он и не помышлял об отступлении, потому что испытывать страх и пребывать в нерешительности было куда мучительнее.

Единственное, чего он сейчас желал, это поскорее встретиться и поговорить с отцом, поскольку втайне опасался всяких непредвиденных препятствий. На другой же день после

¹ «Несчастные случаи в горах» (англ.).

встречи с Митиё Дайскэ решил справиться по телефону, не сможет ли отец его принять. Отца не оказалось дома. Еще через день ответили, что отец занят. Затем сказали, чтобы Дайскэ ждал, пока не позовут. Но время шло, а никаких вестей ни от невестки, ни от брата не было. Может быть, это уловка, чтобы дать ему время одуматься? Дайскэ успокоился, к нему вернулся аппетит, по ночам не мучили кошмары. Несмотря на дождь, он даже два раза совершил в сопровождении Кадоно прогулку. Но из большого дома за ним все не присылали. И этот затянувшийся привал в самом центре отвесной кручи стал тревожить Дайскэ. В конце концов он сам решил пойти на Аояму. Брата, как обычно, дома не было. Невестка с сочувствием посмотрела на Дайскэ, но о главном ни слова не сказала. Когда Дайскэ объяснил причину своего прихода, она встала со словами: «Сейчас узнаю, можно ли зайти к отцу». Умэко вроде бы и сочувствовала Дайскэ, стремясь оградить его от отцовского гнева, и в то же время в ее манере держаться он почувствовал какую-то отчужденность. Это его мучило. Но в ожидании невестки он сам себе твердил, что теперь ему все равно, и он готов ко всему, что бы ни случилось.

Умэко долго не было, потом она вернулась и, поглядев на Дайскэ с жалостью, как и в момент его прихода, сказала, что отец не сможет его принять. На вопрос Дайскэ, когда же все-таки ему прийти, Умэко, видя, как он удручен, участливо сказала, что в ближайшие же дни узнает и тотчас ему сообщит, а пока пусть он идет домой. Она проводила его до дверей специально, чтобы сказать:

— Прошу вас, обдумайте все хорошенько.

Ничего не ответив, Дайскэ простился с невесткой. Настроение у него вконец испортилось. Обретенный с таким трудом душевный покой, которым он наслаждался после встречи с Митиё, был нарушен. Он скажет отцу все напрямик, тот выложит, не церемонясь, свои соображения. Возникнет конфликт. Но Дайскэ был теперь готов к любым испытаниям. Поведение отца превзошло все ожидания Дайскэ. Отец проявил свой нрав, и Дайскэ, как сына, это тем более удручало.

Дорогой Дайскэ пришло в голову, что, пожалуй, напрасно он так спешит увидеться с отцом. Скорее отец должен быть заинтересован в этой встрече, поскольку ждет от Дайскэ определенного ответа. Избегая Дайскэ, отец лишь оттягивает решение весьма важного для него вопроса. Вот и все. Дайскэ полагал, что свое будущее он уже устроил, а в остальном решил положиться на волю судьбы. Он будет ждать, пока отец сам его позовет.

Когда он вернулся домой, от неприязни к отцу в душе у него осталась лишь едва различимая тень. Но со временем она грозила стать явственной. Перед мысленным взором Дайскэ как бы обозначились два русла его судьбы. В одном он

видел себя с Митиё, в другое водоворотом жизни был вовлечен и Хираока. И это второе русло его страшило. После свидания с Митиё Дайскэ ничего больше не предпринимал, да и не собирался предпринимать, хотя встречу с ней откладывать надолго не рассчитывал. Пусть пока все остается, как есть, думал он, не представляя себе, что будет с ним дальше. Но к столкновению с Хираокой был готов в любой момент, когда бы оно ни произошло. Дайскэ знал, что при первом же удобном случае начнет действовать, хотя не выработал никакого плана. В одном он был уверен, даже поклялся себе, что не допустит со своей стороны хоть в какой-то мере бесчестного поступка и до конца будет откровенен с Хираокой. Вот почему он и страшился этого второго, мрачного течения своей судьбы, которое неотвратимо несло его навстречу Хираоке. Но не за себя страшился, за Митиё, которую он должен был спасти во что бы то ни стало от бурь и потрясений.

Что же до общества, главного его судьи, то тут Дайскэ не знал, как поступить. У общества есть власть, данная ему законом, и оно может покарать человека. Но человека природа наделила властью над собственными побуждениями и поступками. Поэтому то, что годится для него, не может зависеть от общества. Из этого Дайскэ и исходил.

Так Дайскэ тщательнейшим образом изучил свой маленький мирок, центром которого был сам он, взвесил все «за» и «против», сказал себе: «Ну что ж», — и вышел из дому. Наняв самого чистого и быстрого на вид рикшу, Дайскэ прокатился по улицам и часа через два вернулся домой.

На следующий день, как и накануне, внимательно оглядел собственный мирок, сказал: «Ладно», — вышел из дому и, побродив некоторое время, вернулся домой.

То же самое повторилось и на третий день. Только он не занимал рикши, не бродил, а перешел мост и отправился прямо к Митиё.

— Почему вы так долго не приходили? — встретила его Митиё, как обычно, словно между ними ничего не произошло. Ее невозмутимость поразила Дайскэ. Митиё не без умысла пододвинула Дайскэ дзабутон, лежавший у столика Хираоки, и, чуть ли не насильно усадив его, сказала: — Вы нынче какой-то беспокойный.

Они поболтали примерно с час, и Дайскэ немного успокоился. Лучше бы он и вчера и позавчера пришел к Митиё, вместо того чтобы кружить по улицам. Перед уходом он, как бы утешая Митиё, сказал:

— Я скоро приду. Не беспокойтесь, все будет хорошо.

Митиё в ответ лишь улыбнулась.

Вечером пришло наконец известие от отца. Дайскэ как раз ужинал, когда Кадоно подал ему письмо. Старуха служанка тоже была здесь и прислуживала. Отставив чашку, Дайскэ вскрыл конверт и прочел записку, в которой было сказано,

чтобы Дайскэ пожаловал на следующий день к такому-то часу.

— Прямо в канцелярском стиле! — сказал Дайскэ, показав отцовское послание Кадоно.

— Из большого дома? — спросил, почтительно глядя на конверт, Кадоно и, не зная, что сказать по существу, заметил лишь: — Что ни говори, а красивый у стариков почерк.

После этого он ушел, а служанка продолжала разговор о лунном календаре, который завела еще раньше. Она что-то надоедливо бубнила о первом августа — празднике нового урожая, о днях, в которые нельзя устраивать похороны и свадьбы и в которые можно стричь ногти и начинать постройку дома. Дайскэ рассеянно ее слушал. Потом она попросила устроить куда-нибудь Кадоно, хоть на пятнадцать иен в месяц. Дайскэ даже не помнил, что отвечал ей. Он лишь подумал, что ему не до Кадоно сейчас, когда сам он в довольно неопределенном и опасном положении.

Не успел Дайскэ покончить с ужином, как явился Тэрао. Дайскэ в раздумье смотрел на Кадоно.

— Не принимать? — бесцеремонно спросил Кадоно. За последнее время Дайскэ пропустил не то один, не то два светских приема, раза два отказался принять гостей, правда, таких, из-за которых у него не могло быть осложнений.

Однако Тэрао Дайскэ решил принять. Тот, как всегда, выглядел взбудораженным — это Дайскэ сразу заметил, но сегодня у него не появилось ни малейшего желания подтрунивать над ним, как обычно. Тэрао готов был трудиться до последнего вздоха, не отказывался ни от переводов, ни от адаптации и в глазах Дайскэ был более ценным человеком для общества, нежели сам Дайскэ. При мысли о том, что, возможно, ему придется, как и Тэрао, трудиться, Дайскэ становилось жаль себя, и он даже не представлял, как долго сможет выдерживать такую жизнь. Вскоре Дайскэ окажется в еще более незавидном положении. Это так же несомненно, как факт, уже свершившийся, но пока еще никому не известный. И с этой мыслью Дайскэ уже смирился. Потому сегодня он не мог себе позволить отнестись к Тэрао с обычным пренебрежением.

Тэрао сообщил, что лишь к концу месяца с большим трудом закончил тот самый перевод, но издатель заявил, что из-за стесненных обстоятельств его издание откладывается до осени. Денег за него Тэрао, разумеется, не получил и вот просит Дайскэ его выручить. Дайскэ удивился, что Тэрао делал работу без договора, но выяснилось, что это не совсем так, что договор вроде был и издатель с этим как-то посчитался. Словом, из объяснений Тэрао понять что-либо было трудно, кроме одного, что он находится в стесненных обстоятельствах. Однако Тэрао не роптал, с ним, видимо, не раз обходились подоб-

ным образом, и он к этому привык, и хотя называл кого-то невежами или наглецами, в душе заботился лишь о пропитании, что же до морали, то она его совершенно не интересовала.

Испытывая к Тэрао жалость, Дайскэ снабдил его небольшой суммой, которой могло хватить лишь на очень короткое время. Тэрао поблагодарил и стал прощаться, признавшись перед уходом, что получил в качестве аванса немного денег, от которых давным-давно ничего не осталось. А ведь это тоже определенная порода людей, подумал Дайскэ о Тэрао, когда тот ушел. Разумеется, не всякий человек станет таким, как бы беспечно он ни относился к материальным благам. Может быть, нынешнее положение в так называемых литературных кругах настолько плачевно, что появление там людей типа Тэрао просто неизбежно и не вызывает удивления. Все это Дайскэ представлял себе весьма смутно.

В тот вечер обретенный было покой уступил место возросшей тревоге за будущее. Дайскэ без конца спрашивал себя, хватит ли у него мужества следовать по пути Тэрао, если отец откажет ему в помощи. Выбора не было. Либо он возьмется за перо и будет жить, как Тэрао, либо погибнет от голода. Единственное, к чему он способен, это к литературному труду.

Лежа в постели, Дайскэ, то и дело открывал глаза, поглядывая на лампу за пологом. Потом закурил. Ночь была не жаркой, но Дайскэ все время ворочался в постели. Снова полил дождь. Он было убаюкал Дайскэ, но тут же разбудил. Так, без сна, Дайскэ провел ночь.

К назначенному часу он отправился на Аояму, захватив зонт и надев гэта на высоких деревянных подставках. В трамвае, до отказа набитом людьми, которые стояли, держась за висающие поручни, окна с одной стороны были плотно закрыты. И Дайскэ вскоре почувствовал головную боль и тошноту; возможно, дала себя знать бессонная ночь. С трудом просунув руку между пассажирами, он открыл окно у себя за спиной. Тотчас же дождь стал нещадно брызгать ему на шею, на шляпу. Взглянув через несколько минут на лицо соседа, Дайскэ поспешил закрыть окно. Сквозь стекло, по которому расползались дождевые капли, улица казалась причудливо искривленной. Глядя на нее, Дайскэ то и дело тер глаза, однако его не покидало ощущение, что все вокруг сегодня выглядит довольно странно, особенно оно усиливалось, когда Дайскэ всматривался в даль.

Когда он пересел на трамвай у моста Бэнкэйбаси, дождь почти перестал, и в вагоне было свободнее. Теперь уже Дайскэ не без удовольствия смотрел на мир, весь мокрый от дождя. Но перед глазами то и дело возникало хмурое лицо отца, беспрестанно меняющее свое выражение, и это ранило воображение Дайскэ. А в ушах неотступно звучал отцовский го-

лос, каким его Дайскэ представлял себе в предстоящем разговоре.

Войдя в дом, Дайскэ прежде всего направился к невестке.

— Что за тоскливая погода, правда? — произнесла Умэко, гостеприимно наливая ему чай. Но Дайскэ было не до чая.

— Пойду к отцу, он, пожалуй, ждет. — Дайскэ поднялся, заметив на лице у невестки выражение беспокойства.

— Дай-сан, — попросила она, — постарайтесь не волновать старика. Ведь ему уже недолго осталось жить.

Дайскэ впервые услышал из уст Умэко такие полные грусти слова, и ему показалось, будто он летит в пропасть.

Отец сидел в задумчивости перед столиком с курительными принадлежностями и не поднял головы, даже когда Дайскэ вошел. Дайскэ почтительно поклонился. Он ждал сурового взгляда, но, против ожидания, отец мягко ему сказал:

— Извини, что заставил тебя приехать в дождь.

Только сейчас Дайскэ заметил, как сильно осунулся отец. Перемена была особенно заметна, поскольку лицо у него всегда было полным.

— Вы нездоровы, отец? — невольно вырвалось у Дайскэ.

Что-то дрогнуло в лице старика, видимо, он был тронут, однако не придал никакого значения удрученному виду сына.

— Стар я стал...

Тон, которым это было сказано, заставил Дайскэ насторожиться и вспомнить совет невестки побереечь отца.

Отец пожаловался на здоровье и сообщил, что в скором времени намерен отойти от дел, но сделать этого пока не может, поскольку фирма его переживает большие трудности в связи с интенсивным расширением торговли и промышленности после русско-японской войны. Сначала надо эти трудности преодолеть, а потом уйти, иначе его могут обвинить в безответственности. Так что некоторое время придется потерпеть. Дайскэ слушал рассуждения отца, думая про себя, что они вполне логичны.

Отец долго говорил о том, с какими тяготами связана так называемая коммерческая деятельность, с каким напряжением всех сил, духовных и физических. Куда прочнее материальное положение у крупного землевладельца, живущего в провинции на первый взгляд как будто скромно. Вооруженный этим аргументом, отец снова заговорил о женитьбе.

— Согласись, что такой родственник не только удобен, но просто необходим.

Дайскэ давно уже раскусил отца и сейчас лишь удивлялся циничной откровенности, с которой старик предлагал ему этот брак по расчету. И не столько даже удивлялся, сколько испытывал приятное чувство от того, что отец наконец-то снял ма-

ску. По складу своего характера Дайскэ сам вполне был способен на такой брак и прекрасно это понимал.

К тому же он совершенно неожиданно почувствовал к отцу жалость, потому что все в нем — и лицо, и голос, и стремление повлиять на сыновние чувства говорило о надвинувшейся старости и, уж во всяком случае, не походило на уловку. Будь ситуация несколько иной, он предоставил бы все решать отцу.

Но поддаться минутному настроению, проявить сыновнюю почтительность сейчас, после памятного свидания с Митиё, было бы недопустимо. Для Дайскэ, нерешительного по природе, было так же трудно согласиться с чьим-либо мнением, как и противостоять ему. И эта его нерешительность, в зависимости от восприятия, могла быть истолкована как хитрость. Порой, когда Дайскэ упрекали в этих недостатках, он и сам не мог разобраться, который упрек справедливее. Дело тут было, однако, не в хитрости или нерешительности, а скорее в проницательности, благодаря которой Дайскэ обычно видел обе стороны любого вопроса, что лишало его мужества совершить очертя голову тот или иной поступок. Вот, собственно, отчего он зачастую бездействовал. Но эта его пассивность происходила не от скудости мысли, а, напротив, от способности трезво оценивать окружающую действительность. Он сам это понял, лишь когда, убежденный в собственной правоте, принял решение и стал действовать с твердостью, обычно ему не свойственной. Примером тому могли служить его отношения с Митиё.

После сделанного ей признания Дайскэ не мог взять на себя роль чистого листа бумаги, на котором отец напишет все, что ему заблагорассудится, хотя старика искренне жалел. Прежде, согласившись на брак, Дайскэ в то же время не отказывал бы себе в удовольствии видеться с Митиё, уравнив таким образом обе стороны вопроса и находясь в центре его, не склоняясь ни в одну сторону. Но сейчас это было невозможно. Поздно, как говорится, очутившись по другую сторону изгороди, пожимать руку тому, кто остался с этой стороны. Так рассуждал Дайскэ, чувствуя всю серьезность своего долга перед Митиё, движимый не только сердцем, но и рассудком, которые слились воедино. В общем, перед отцом стоял теперь совсем другой, будто заново родившийся, Дайскэ.

Правда, он оставался столь же немногословным, как всегда, и столь же сдержанным, поэтому никакой особой перемены отец в нем не заметил. Зато Дайскэ не переставал удивляться переменам, происшедшим в отце. Ведь Дайскэ считал, что все это время отец намеренно с ним не встречался, опасаясь услышать от него отказ, и ничего хорошего не ждал, кроме хмурого лица и потоков брани. Это было бы весьма кстати. По крайней мере, его отказ был бы психологически оправдан. Но сам отец и его речи, к несчастью, вызывали только боль и жа-

лость. Однако и эту боль Дайскэ был полон решимости преодолеть.

— Все, что вы сейчас сказали, совершенно справедливо, но я не смею согласиться на этот брак, и ничего другого, пожалуй, мне не остается, как отказаться, — твердо произнес Дайскэ под пристальным взглядом отца.

— Не смеешь? — после недолгой паузы спросил отец, швырнув на татами трубку. Дайскэ молчал, уставившись на собственные колени.

— Может быть, девушка тебе не нравится?

Дайскэ по-прежнему не отвечал. До сих пор мирные отношения с отцом, собственно, зиждились на полной скрытности Дайскэ. Но все, что касалось Митиё, Дайскэ с самого начала утаивать не собирался. Здесь он не позволил бы себе и капли хитрости или малодушия, хотя наперед знал, какие беды обрушатся на его голову после объяснения с отцом. И если он до сих пор не признался, то лишь потому, что не пришла пора. Таким образом, имя Митиё пока оставалось в тени.

— Ладно, поступай, как знаешь, — хмуро сказал отец.

Дайскэ было как-то не по себе, но, делать нечего, он поклонился и уже собирался уйти, как вдруг отец остановил его:

— Только имей в виду, на мою помощь больше не рассчитывай!

Не успел Дайскэ войти в гостиную, как Умэко, которая, видимо, с нетерпением его ждала, тотчас спросила:

— Ну, как дела?

Дайскэ промолчал.

16

Утром, только Дайскэ проснулся, как в ушах его явственно прозвучали слова отца, сказанные на прощанье. Они таили в себе серьезную опасность, особенно в сложившихся ныне обстоятельствах. На поддержку отца теперь нечего было рассчитывать. Такого исхода Дайскэ больше всего боялся. Чтобы вернуть расположение отца, он должен был либо согласиться на брак, пусть не этот, так другой, либо объяснить отцу причину, побуждавшую его вообще не жениться, и привести убедительные для старика доводы. И первое и второе было исключено. Что же касается его жизненной философии, то здесь Дайскэ тем более не мог вводить отца в заблуждение. Перебирая в памяти вчерашний разговор, он ни в чем не мог себя упрекнуть, и все же его не покидал страх. Он сам решил пойти навстречу собственной судьбе, и теперь у него было такое чувство, словно он стоит на краю пропасти.

Прежде всего он должен найти себе работу. Но в голове у него вертелось лишь само это слово, не находившее конкрет-

ного воплощения. Ведь до нынешнего времени у него не возникало необходимости проявлять интерес к подобного рода вещам. О любой работе, какую бы он ни припоминал, он имел лишь поверхностное представление и неспособен был судить о ней серьезно. У каждого человека в этом широком сложном мире есть свое призвание, если можно так сказать, своя особенная окраска. А у него, у Дайскэ, ее нет. И он не мог этого не признать.

Мысленно перебрав все профессии по порядку, он вдруг подумал о бродягах. И с ужасающей ясностью представил среди них самого себя, будто он тоже превратился в нечто среднее между человеком и собакой. Самой страшной для Дайскэ была мысль о том, что это падение убьет свободу духа. Что станет с его душой, когда она вывалится в грязь? Дайскэ содрогнулся.

Вот куда он увлечет за собой Митиё. Ведь сердце ее уже не принадлежит Хираоке. До последнего дыхания Дайскэ готов ее оберегать. Но теперь он уже не знал, что лучше: вероломство человека обеспеченного или преданность того, кто впал в нищету. Что пользы от его стремления, если он не сможет его осуществить? В растерянности Дайскэ ничего не видел, будто ослеп.

Он решил снова пойти к Митиё. Как и в прошлый раз, она держалась очень спокойно и так и сияла улыбкой, подставляя лицо ласковому весеннему ветру. Дайскэ почувствовал, что она безгранично ему верит, и душа его исполнилась нежностью и жалостью. Терзаясь мыслью, что он негодяй, Дайскэ ушел, ни словом не обмолвившись о своей тревоге, сказав лишь на прощанье:

— Заходите как-нибудь, если будет время, хорошо?

Митиё кивнула и снова улыбнулась, причинив Дайскэ жестокую боль.

С недавнего времени Дайскэ старался бывать у Митиё в отсутствие Хираоки. Вначале это было ему просто неприятно, но с каждым днем становилось все мучительнее. Кроме того, он опасался частыми визитами вызвать подозрения служанки. Ему уже мерещилось, что она как-то странно на него смотрит, когда приносит чай. Однако Митиё, судя по ее виду, была совершенно спокойна.

Дайскэ никак не удавалось поподробнее расспросить Митиё, каковы нынче ее отношения с Хираокой. Стоило ему вскользь заговорить об этом, как Митиё, словно не слыша, уходила от ответа. Когда Дайскэ бывал рядом, Митиё вся светилась радостью, и он принимал это за ее естественное состояние. Во всем ее облике не было и тени от сгузавшихся над нею черных туч, а что таилось в ее душе, этого Дайскэ не знал. По природе своей Митиё была легкоранимой. Притворяться она не умела, но в то же время Дайскэ не мог думать, что ее нынешнее поведение служит доказательством безоблач-

ного существования. И от этого сознание долга перед Митиё выросло у Дайскэ во сто крат.

— Так что приходите, очень вас прошу, нужно кое о чем поговорить, — прощаясь с Митиё, очень серьезно сказал Дайскэ.

Через два дня Митиё пришла, но ничего нового Дайскэ за это время не придумал. Вихрь тревоги кружился в его возбужденном мозгу. Стоило ему избавиться от огромных, словно выжженных в голове, иероглифов «работа», как тотчас же начинала свою бешеную пляску угроза отца: «На мою помощь больше не рассчитывай». Исчезали эти слова, приходила в неистовство «судьба Митиё». Так и гонялись друг за другом три эти мысли в сознании Дайскэ, словно крылья игрушечной ветряной мельницы. Все вертелось у Дайскэ перед глазами, в то время как сам он оставался неподвижен. Так бывает, когда плывешь на судне.

Вестей из отцовского дома не было. Впрочем, Дайскэ их и не ждал, стараясь отвлечься болтовней с Кадоно. А Кадоно это было на руку, он не очень-то любил обременять себя делом, тем более в такую жару. Но и ему в конце концов надоедали разговоры, и тогда он предлагал:

— Может, в шахматы сыграем, сэнсэй?

Вечерами они вдвоем поливали сад. Ходили босиком, с ведрами в руках, и лили воду куда попало. «Смотрите, — как-то заявил Кадоно, — сейчас я полью павлинию в соседнем саду до самой верхушки». Он хотел плеснуть из ведра, но, поскользнувшись, шлепнулся наземь. Мирабилис у изгороди сплошь покрылся цветами. Стали огромными листья бегонии, которая росла позади небольшого каменного водоема. Прошел наконец сезон дождей. По небу, громоздясь друг на друга, плыли белые пушистые облака. Раскаленное солнцем небо будто весь свой жар обрушило на землю.

Лишь поздним вечером Дайскэ выходил полюбоваться звездами, а днем сидел у себя в кабинете. Снова звонко застрекотали цикады. Дайскэ то и дело ходил в ванную освежать голову. Пользуясь моментом, туда шел и Кадоно, неизменно произнося: «Ну и жара!»

Так бесплодно прошли два дня. На третий день, в самый зной, когда Дайскэ глядел на ослепительное небо, обжигающее своим дыханием, ему вдруг стало страшно при мысли, что эта беспощадная жара неотвратимо калечит душу.

И вот в такое пекло Митиё сдержала слово и пришла. Услышав голос, Дайскэ сам побежал ее встретить и увидел, что Митиё стоит за решетчатой дверью с зонтом и узелком в руках и достает платок из рукава простого домашнего кимоно. Слово сама судьба, злорадствуя, приподняла завесу над будущим Митиё, подумал Дайскэ. Невольно улыбнувшись, он заметил:

— У вас такой вид, будто вы убежали от мужа.

— Ходила за покупками, лишь под этим предлогом мне можно выйти на улицу.

Как только они вошли в дом, Дайскэ сразу же достал два веера. Видимо, от солнца Митиё слегка порозовела. Усталость будто рукой сняло. В глазах появился юный блеск. Словно растворившись в этой живой красоте, Дайскэ на миг забыл обо всем на свете, но вскоре ему стало грустно, когда он подумал, что, сам того не желая, губит эту красоту. Вот и сегодня он омрачит ее сияние предстоящим разговором, ради которого, собственно, и пригласил Митиё.

Каждый раз Дайскэ порывался откровенно объяснить с Митиё, но все не решался. Было бы безнравственно, с его точки зрения, заставить эту молодую женщину, которая сидела перед ним с таким счастливым видом, хоть в какой-то мере почувствовать собственную беспомощность. Если бы не чувство долга перед Митиё, которое он остро ощущал, он не стал бы сейчас пускаться в объяснения, а снова, в той же комнате, повторил бы свое недавнее признание, пренебрег бы всем остальным во имя тихих радостей любви.

Наконец Дайскэ решил:

— Не изменились ли у вас с тех пор отношения с мужем?

Даже такой вопрос не мог испортить настроение Митиё.

— А если бы и изменились, не все ли равно, — ответила она все с тем же счастливым видом.

— Вы до такой степени верите мне?

— Еще бы! Иначе разве я могла бы так поступать?

Дайскэ поднял голову, посмотрел на высокое, сверкающее, как зеркало, знойное небо и с горькой усмешкой произнес:

— Вряд ли я заслужил ваше доверие!

Мозг его пылал, как сушильная печь. Но Митиё, видимо, не придавала его словам серьезного значения, даже не спросила, зачем он так говорит, лишь притворилась удивленной и коротко сказала: «Что вы!»

Дайскэ посерьезнел.

— Мне надобно сделать вам признание. Говоря по совету, я человек не столь надежный, как, скажем, Хираока. Так что не надо меня переоценивать. Уж лучше я откроюсь вам.

После этого предисловия последовал подробный рассказ об отношениях Дайскэ с отцом вплоть до сегодняшнего дня.

— Не знаю, что будет дальше. Но прежде всего мне надо стать на ноги. Я не желаю оставаться таким никчемным, поэтому... — Дайскэ запнулся.

— Поэтому... Говорите, я слушаю.

— Поэтому меня тревожит ваше будущее, я не смогу быть вам опорой в той мере, как считаю нужным.

— Какой опорой? Говорите, пожалуйста, яснее, я ничего не понимаю.

Для Дайскэ было всегда главным материальное благополучие, и он не мог представить себе счастливой любимую женщину в нужде. Поэтому, размышляя о долге перед Митиё, он включал в это понятие также и богатство и, исходя из этого, ответил:

— Я говорю об опоре не в моральном, а в материальном смысле.

— Да мне она и не нужна.

— Независимо от вашего желания она станет со временем необходимой. Многие в наших с вами отношениях будут зависеть от материального благополучия.

— Многое или немногое, стоит ли сейчас об этом беспокоиться?

— Говорить легко, гораздо тяжелее жить, и это совершенно очевидно.

По лицу Митиё пробежала тень.

— Стоило мне нынче услышать о вашем батюшке, как я сразу все поняла. А уж вам-то, я думаю, следовало это знать давным-давно.

Дайскэ не нашелся что ответить. Обхватив голову руками, он, словно обращаясь к самому себе, проговорил:

— Что-то неладное со мной творится.

На глаза у Митиё навернулись слезы.

— Зачем же мучиться? Помириться с отцом, а обо мне не тревожьтесь.

Дайскэ сжал руку Митиё и с жаром воскликнул:

— Да пожелай я так поступить, я и не подумал бы тревожиться. Но я сочувствую вам, простите же меня!

— Простить в а с . . . — дрогнувшим голосом прервала его Митиё. — Ведь я сама всему виной, зачем же у меня просить прощения? — И она разрыдалась.

— Неужели вы станете терпеть нужду? — мягко спросил Дайскэ.

— Отчего же терпеть? Ведь так оно и должно быть.

— Мало ли что может случиться!

— Знаю. Но я ко всему готова. С недавних пор... С недавних пор я твердо решила умереть, если появится в том надобность.

Вздвогнув, Дайскэ снова спросил:

— Вы не строите никаких планов на будущее?

— Никаких. Как вы пожелаете, так и будет.

— Скитаться...

— Могу и скитаться, если прикажете, и умереть.

Дайскэ снова вздрогнул.

— А если оставить все, как есть?

— И так можно.

— Хираока ничего не подозревает, как по-вашему?

— Возможно, и подозревает. Но я решилась, и вам не о чем беспокоиться. Пусть даже он убьет меня, мне все равно.

— «Умру», «убьет», стоит ли бросаться такими словами?

— Но ведь я долго не протяну, пусть даже все останется по-прежнему.

Дайскэ словно застыл, не сводя глаз с Митиё. Она снова разрыдалась и была близка к истерике.

Спустя немного Митиё успокоилась. Лицо ее прояснилось. Перед Дайскэ снова сидела обаятельная женщина, спокойная и мягкая, как всегда.

— Можно мне поговорить с Хираокой?

— А вы сможете? — удивилась Митиё.

— По крайней мере, надеюсь на это, — твердо ответил Дайскэ.

— Как вам будет угодно, — сказала Митиё.

— Так, пожалуй, и сделаем. Нечестно обманывать Хираоку. Я постараюсь объяснить ему реальное положение вещей. Если понадобится — извинюсь. Разумеется, все может получиться вопреки моим ожиданиям, но я сделаю все, чтобы предотвратить трагический исход. Неопределенность — вещь мучительная, да и перед Хираокой как-то неловко. Но, может быть, мои действия заставят вас испытать стыд перед мужем? Сама мысль об этом мне тяжела. Впрочем, и мне не избежать стыда. Но каждый должен нести ответственность за свои поступки. Именно поэтому надо преодолеть стыд и все до конца рассказать Хираоке, пусть даже это не принесет никаких результатов. Откровенное признание тем более необходимо, что сыграет решающую роль в нашей дальнейшей судьбе.

— Я все поняла. И готова умереть, если случится что-нибудь ужасное...

— Умереть... Допустим. Но я должен знать, когда это произойдет. Иначе зачем же мне говорить с Хираокой?

Митиё снова расплакалась.

— Итак, я всё расскажу Хираоке.

Когда они простились, солнце уже клонилось к закату. Но Дайскэ не пошел провожать Митиё, как в прошлый раз. Чуть ли не час он просидел в кабинете, прислушиваясь к пению цикад. После откровенного разговора с Митиё Дайскэ почувствовал облегчение. Он взялся было за перо, чтобы условиться с Хираокой о встрече, но, написав приветствие, остановился, вдруг ощутив, как угнетает его сознание долга. В одной рубашке, босиком, он выскочил в сад. На веранде появился Кадоно, который спал мертвым сном все время, пока Митиё была в доме.

— Поливать рано, — сказал он, держась обеими руками за коротко остриженную голову. — Солнце еще не село.

Не отвечая, Дайскэ забрался в угол сада и принялся сметать в кучу опавшие листья бамбука. Пришлось и Кадоно, сняв кимоно, спуститься с веранды.

Сад был небольшой, но земля так пересохла, что увлажнить ее оказалось нелегко. Дайскэ не выдержал, пожаловался на боль в руках, обтер ноги и поднялся на веранду. Так он и сидел там, отдыхая и дымя сигаретой. Кадоно поглядел на него и спросил насмешливо:

— Что, сэнсэй, сердце не в порядке?

Вечером Дайскэ отправился с Кадоно на храмовый праздник на Кагурадзаку, купил несколько горшков с осенними цветами и поставил перед домом, чтобы их смочило росой. Близилась ночь, на ясном, удивительно высоком небе сияли звезды.

Дайскэ решил не закрывать перед сном ставни, мысль о врагах никогда не приходила ему в голову. Он погасил лампы и, ворочаясь с боку на бок, глядел из-за полога на темное небо. Перед его мысленным взором с необыкновенной яркостью проходили события минувшего дня. Еще немного, и все окончательно решится, размышлял Дайскэ, ощущая радостное биение сердца в груди. Постепенно в обволакивающем его мраке Дайскэ погрузился в глубокий сон.

На другое утро он собрался отправить Хираоке письмо, черкнув всего несколько слов. «Нам надо поговорить, пожалуйста, сообщи, когда тебе будет удобно. Меня устраивает любое время». Он положил записку в конверт, наклеил марку, и тут ему показалось, будто он идет ва-банк. У него даже руки дрожали, когда он отдавал Кадоно конверт, велел ему бросить его в почтовый ящик, словно в конверте была не записка, а сама посланница судьбы. После ухода Кадоно нервное возбуждение сменилось ощущением пустоты. Вдруг всплывшее воспоминание о посредничестве между Хираокой и Митиё три года назад было как дурной сон.

Два долгих дня провел Дайскэ в напрасном ожидании вестей от Хираоки. Не было ничего и на третий и на четвертый день. Между тем подошло время, когда Дайскэ обычно ездил на Аояму за деньгами. В кармане у него уже почти ничего не оставалось. Но Дайскэ был теперь готов к тому, что придется как-то жить без помощи отца. Он и мысли не допускал отправиться туда как ни в чем не бывало.

Два-три месяца продержусь, утешал себя Дайскэ, продам что-нибудь из книг или одежды, а потом, когда все уладится, начну потихоньку искать работу. Он вспомнил слышанную от других истину, почти вошедшую в поговорку, что-де никто еще так просто не умер с голоду, что все как-нибудь обрадуется.

Так и не дождавшись ответа от Хираоки, Дайскэ на пятый день в самую жару сел на трамвай и отправился в редакцию, но там ему сказали, что Хираока будет лишь через несколько дней. Выйдя на улицу и глядя вверх на грязные окна, Дайскэ пожалел, что, прежде чем ехать, не справился по те-

лефону. Может быть, Хираока не получил его записки? Дайскэ умышленно послал ее на редакцию. На обратном пути он зашел в букинистический магазин, где часто бывал, сказал, что хочет продать ненужные ему книги и просит зайти их посмотреть.

Ему ничего не хотелось в этот вечер, даже поливать сад, и он праздно наблюдал за Кадоно, который там работал в белой сетчатой рубашке.

— Вы устали, сэнсэй? — гремя ведром, спросил Кадоно. Терзаемый тревогой, Дайскэ пробормотал что-то невразумительное. Ужинал он без всякой охоты, почти не ощущая вкуса еды. Быстро проглотил рис, отбросил палочки и позвал Кадоно.

— Поезжай к Хираоке, спроси, получил ли он мое письмо. Если получил, скажи, что просят ответить и ответ передать с тобой.

На всякий случай он объяснил Кадоно, что речь идет о письме, которое он на днях посылал в редакцию. В ожидании Кадоно Дайскэ вышел на веранду и сел в кресло. Вернувшись, Кадоно застал Дайскэ неподвижно сидящим в темноте.

— Был я там, — сообщил Кадоно. — Хираока-сан просил передать, что письмо получил и утром пожалуе́т.

— Ага. Спасибо!

— Еще он просил передать привет и сказал, что надо бы ему прийти раньше, но он не мог, потому как ухаживает за больной, и просил его извинить.

— За больной? — вырвалось невольно у Дайскэ.

— Да, ихняя супруга вроде бы прихворнула.

В темноте лица Кадоно видно не было, лишь смутно белело летнее кимоно.

— И что, худо ей? — настойчиво спросил Дайскэ, с силой сжимая подлокотники кресла.

— Не знаю, что и сказать вам. Вроде бы не очень хорошо, но и не так уж плохо, раз Хираока-сан завтра собирается прийти.

Этот довод немного успокоил Дайскэ.

— А что за болезнь?

— Да я мимо ушей пропустил.

На этом разговор прекратился. Кадоно вернулся к себе, и через несколько минут Дайскэ услышал, как звякнул абажур о стекло лампы. Наверно, Кадоно зажег свет.

Дайскэ продолжал сидеть в темноте. Тело его оставалось неподвижным, в то время как сердце замирало от волнения, а сжимавшие подлокотники кресла руки стали влажными. Дайскэ позвал Кадоно.

— Вы все еще впотьмах! — воскликнул Кадоно. — Может, зажечь лампу?

Дайскэ сказал, что зажигать не надо, и снова стал задавать вопросы, связанные с болезнью Митиё. Есть ли сиделка,

озабочен ли Хираока, он не ходит на работу из-за болезни жены или есть какая-нибудь другая причина; словом, Дайскэ интересовался каждой приходившей ему в голову подробностью. Однако Кадоно повторил лишь то, что уже говорил, а в остальном это были высказанные наобум, ни на чем не основанные догадки. И все же Дайскэ почувствовал облегчение, сидеть в одиночестве было просто невыносимо.

Перед сном Кадоно вынул из почтового ящика письмо. Дайскэ взял его, но не спешил прочесть, продолжая сидеть в темноте.

— Вроде бы с Аоямы, — сказал Кадоно. — Принести лампу?

Дайскэ велел поставить лампу у него в кабинете и вскрыл конверт. Это было письмо от Умэко, довольно пространное.

«Вы, вероятно, немало поволновались в последнее время из-за бесконечных разговоров о вашей женитьбе. Да и мы все здесь тревожились, и я, и ваш брат, и всех больше, конечно, отец. Только хлопоты оказались напрасными. В последний раз, когда вы у нас были, вы, кажется, заявили отцу о своем решительном отказе. Жаль, разумеется, но ничего не поделаешь, и мы примирились с этим. Потом я узнала, что, разгневавшись, батюшка отказал вам в помощи, и решила, что именно поэтому вы и перестали у нас бывать. Вы даже не пришли, как обычно, за ежемесячным содержанием, а я так ждала и уже стала волноваться. Отец говорит: «Не обращай внимания». Муж со свойственной ему беспечностью заявляет, что, мол, сам прибежит и уж тогда пусть хорошенько попросит у отца прощения. А не придет, я сам к нему съезжу, поговорю, как брат с братом. О вашей женитьбе никто больше не помышляет, так что не беспокойтесь. Только отец, кажется, еще сердится, и пока нет надежды, что он сменит гнев на милость. Вот я и подумала, что вам пока и в самом деле лучше не приходиться. Только не представляю, как будет с деньгами, которые вам отец ежемесячно выдавал. Вряд ли вы сможете заработать себе на жизнь, я ведь вас знаю, так что вам туго придется, и мне вас заранее жаль. Поэтому я распорядилась на свой страх и риск и посылаю вам обычную сумму, продержитесь как-нибудь до следующего месяца. А там, может, отец перестанет гневаться. Я попрошу мужа поговорить с ним. И сама при случае поговорю, попрошу у него за вас прощения. А до этого вам лучше здесь не показываться».

Написано было много, но, как и всякая женщина, Умэко без конца повторялась. Дайскэ вынул чек, внимательно перечел письмо, снова вложил его в конверт и мысленно поблагодарил невестку. Когда она писала, то, видимо, вспомнила дав-

нишний совет Дайскэ пользоваться в письмах простым разговорным стилем, только подпись ему не понравилась, в ней не хватало изящества.

Дайскэ пристально смотрел на лежавший подле лампы конверт. Еще месяц он сможет жить, как жил прежде. Однако забота невестки, за которую Дайскэ ей так благодарен, пойдет ему скорее во вред, чем на пользу. Ведь рано или поздно ему все равно придется начать новую жизнь. В то же время до разговора с Хираокой он не собирался приниматься за работу ради пропитания, и в этом смысле дар невестки приобретал в его глазах особую ценность.

В эту ночь, как и накануне, Дайскэ, прежде чем забраться под сетку от москитов, задул лампу, но не возражал, когда Кадоно пришел закрывать ставни. Небо ему было видно и через стеклянную дверь веранды, правда, оно казалось чуть темнее, нежели вчера. Может быть, наплыли тучи, подумал Дайскэ и не поленился выйти на веранду посмотреть. И как раз, когда из-под карниза он глянул ввысь, с неба упала звезда, прочертив в темноте яркую дугу. Дайскэ снова забрался в постель, но уснуть не мог и все время обмахивался тихо шелестевшим веером.

Отношения с родными его мало занимали, с мыслью о работе он давно смирился. Единственное, что его мучило, это болезнь Митиё, ее причины и следствия, и еще мысль о предстоящей встрече с Хираокой. Хираока велел передать, что придет к девяти, до наступления зноя. Начало разговора нимало не волновало Дайскэ, они обменяются несколькими вежливыми фразами — и все. Тема разговора тоже давно определена, последовательность будет зависеть от обстоятельств. Словом, волноваться не о чем. Только бы Хираока его понял и все обошлось без скандала. Да и самому надо вести себя как можно сдержаннее. Дайскэ решил хорошенько выспаться, закрыл глаза, но уснуть оказалось еще труднее, чем накануне. Забрел рассвет. Дайскэ вскочил и, как был, босиком, выбежал в сад. Он долго бродил по холодной росе, потом вернулся на веранду, сел в кресло и в ожидании восхода солнца задремал.

Его разбудил Кадоно, который, протирая сонные глаза, пришел открывать ставни. Все вокруг, насколько хватал глаз, купалось в багровых лучах солнца.

— Что это вы так рано? — удивился Кадоно. Дайскэ, не мешкая, пошел в ванную умываться. Завтракать он не стал, выпил только чашку чая. Затем рассеянно просмотрел газету, не вникая в смысл и тут же забывая прочитанное. Внимание его было целиком поглощено стрелками часов. Два с лишним часа оставалось до прихода Хираоки. И Дайскэ не знал, как убить время. Он буквально места себе не находил. За что ни принимался, все валилось из рук. Вот бы проспать эти два часа, а потом проснуться и увидеть Хираоку.

Пока он придумывал, чем бы заняться, на глаза ему попалось письмо Умэко. «Вот что я должен сделать», — подумал Дайскэ, заставил себя сесть за стол и написать благодарственное письмо невестке. Он нарочно употреблял изысканно-вежливые обороты, витиеватые и очень длинные, но когда вложил письмо в конверт и написал адрес, оказалось, что не прошло и четверти часа. Полными тревоги глазами Дайскэ уставился куда-то в пространство, словно пытаясь сосредоточиться на какой-то мысли. Потом вдруг встал.

— Если придет Хираока, пусть подождет немного, скажи, что я скоро вернусь, — бросил он Кадоно, выходя из дому. По дороге в букинистическую лавку Дайскэ все время щурился от палящего солнца.

— Вчера я просил вас зайти ко мне посмотреть книги на продажу, но обстоятельства изменились и я решил повременить.

Обратно, чтобы не идти по жаре, Дайскэ сел на трамвай. У дома он заметил коляску рикши. В прихожей аккуратно стояли ботинки. Дайскэ и без предупреждения Кадоно понял, что приехал Хираока. Отерев пот и переодевшись в свежестырианный халат, он вышел в гостиную.

— Ты посылал за мной, — сказал Хираока. Несмотря на жару, он был в костюме и усиленно обмахивался веером.

— Извини, что в такую жару... — вежливо сказал Дайскэ, чтобы как-то начать разговор.

Они побеседовали о погоде. Дайскэ не терпелось справиться о здоровье Митиё, но он никак не мог решиться. Наконец запас формально-вежливых фраз иссяк, и надо было приступать к делу. Притом не кому-нибудь, а именно Дайскэ, потому что он приглашал Хираоку для разговора.

— Я слышал, Митиё-сан больна.

— Угу. Я даже на службе не был несколько дней. И тебе не ответил, как-то запамятовал.

— Это неважно, лучше скажи, как Митиё-сан, она очень плоха?

Хираока ответил как-то неопределенно, что, дескать, не очень плоха, но в общем, самочувствие скверное.

Оказалось, что на следующий день, после того как Митиё в самую жару делала покупки и по дороге заходила к Дайскэ, она собирала Хираоку на службу и только было взяла его запонки, как вдруг упала в обморок. Хираока испугался, стал хлопотать возле жены, но через несколько минут она сказала, что ей легче, чтобы он шел на службу, даже улыбнулась. Вид у нее и в самом деле стал лучше, хотя с постели она не вставала, и Хираока перед уходом велел ей, если снова станет плохо, вызвать врача, а в случае необходимости позвонить ему в редакцию. Домой он вернулся поздно, и Митиё, сославшись на недомогание, сразу легла. На вопрос, что с ней, она так ничего и не ответила толком. Утром она проснулась с каким-

то болезненным цветом лица. Хираока тотчас же вызвал врача. Доктор выслушал сердце, нахмурился, сказал, что обморок случился из-за малокровия, и нашел у нее сильное нервное истощение. И хотя Митиё всячески успокаивала мужа, уговаривая пойти на работу, он, разумеется, остался дома. На второй день вечером Митиё вдруг расплакалась и сказала, что должна просить у него прощения, а за что — это ему скажет Дайскэ, пусть он пойдет и спросит. Вначале Хираока не принял ее слов всерьез, отнеся их на счет расстройства нервов. Он, как мог, утешал ее, просил не волноваться, по когда и на третий день она повторила свою просьбу, Хираока призадумался. А тут еще явился за ответом Кадоно.

— Между просьбой Митиё и твоим письмом существует какая-нибудь связь? — Хираока вопросительно посмотрел на Дайскэ.

Дайскэ испытывал глубокое волнение и не сразу нашелся что ответить, до того неожиданным и простодушным показался ему вопрос Хираоки. Дайскэ даже покраснел слегка, что с ним редко случалось, и опустил глаза. Но очень скоро к нему вернулось самообладание, и он сказал:

— Я знаю, за что Митиё хотела просить у тебя прощения, поскольку именно об этом и намерен вести с тобой разговор. Мой долг сказать тебе всю правду, и я прошу тебя во имя пашей прежней дружбы помочь мне выполнить его.

— Слишком торжественное начало, — сухо заметил Хираока.

— Нет, я хочу высказать тебе все напрямик, без предисловий, чтобы ты не думал, будто я оправдываюсь. Дело это серьезное, оно, пожалуй, повлечет за собой нарушение общепринятой морали, и, если в ходе разговора ты рассердишься и перебежишь меня, я окажусь в трудном положении. Так что, прошу тебя, наберись терпения...

— Ну, говори же, что случилось! — Движимый любопытством, Хираока в то же время все больше хмурился.

— А уж потом я с полной смиренностью выслушаю все, что бы ты мне ни сказал, — закончил Дайскэ свою мысль.

Хираока молчал, сквозь очки пристально глядя на Дайскэ широко открытыми глазами. Солнце жгло немилосердно, его раскаленные лучи уже достигли веранды; но ни Дайскэ, ни Хираока жары не замечали.

Слегка понизив голос, Дайскэ подробно обрисовал все перемены в отношениях супругов Хираока с момента их приезда в Токио. Хираока, плотно сжав губы, с жадностью ловил каждое слово, каждую фразу. Дайскэ говорил чуть ли не час. Но Хираока его не перебивал, лишь задал несколько коротких вопросов.

— Таково истинное положение в е щ е й, — в заключение сказал Дайскэ. У Хираоки вырвался не то вздох, не то стон, и

Дайскэ почувствовал, как тяжесть камнем легла ему на сердце.

— Ты вправе сказать, что я тебя предал, что, как друг, поступил подло. И мне нечего возразить. Я виноват.

— Выходит, ты и сам считаешь, что поступил скверно?

— Разумеется.

— Но продолжаешь в том же духе? — В тоне Хираоки зазвучали напряженные нотки.

— Совершенно верно. И поэтому с открытым сердцем приму любое наказание, которому ты нас подвергнешь. Моим долгом было рассказать тебе все начистоту, а уж ты придумай кару!

После недолгой паузы Хираока совсем близко наклонился к Дайскэ:

— И ты полагаешь, что в мире существует способ, с помощью которого можно восстановить поруганную честь?

Дайскэ не ответил, и Хираока продолжал:

— Здесь все бессильно: закон, наказание — ничто не поможет!

— Значит, говоря о восстановлении чести, ты имеешь в виду нас троих?

— Вот именно!

— Но для этого необходимо, чтобы у Митиё изменились чувства и она полюбила тебя вдвое сильнее прежнего, чтобы ко мне она почувствовала отвращение, словно к змее или скорпиону. Может быть, тогда в какой-то мере ты будешь отомщен.

— И ты в силах добиться этого?

— Н е т, — отрезал Дайскэ.

— Считая собственное поведение безнравственным, ты тем не менее собираешься и дальше поступать так же и довести дело до крайности?

— Возможно, в моих рассуждениях есть противоречие. Но и оно, в свою очередь, основано на противоречии между супружескими отношениями, освященными законом, и чувствами самих супругов, так что тут ничего не поделаешь. Единственное, что в моих силах, это просить у тебя прощения, как у законного мужа Митиё. Что же до моих поступков, то хочу тебя заверить, что они вполне логичны.

— Ты, видимо, считаешь, — Хираока несколько повысил голос, — что законы общества бессильны помочь супругам наладить отношения?

Дайскэ с участием посмотрел на Хираоку, у которого вдруг стало мягче выражение лица.

— Видишь ли, Хираока-кун, с точки зрения общества дело это первостепенной важности, поскольку здесь затронута честь мужчины. И ты, не чуждый таких убеждений, разумеется, готов отстаивать свои супружеские права, нужны они тебе или

не нужны. Не горячись, вспомни студенческие времена, когда нас с тобой ничто не разделяло, и выслушай меня внимательно. — Наступило молчание. Затем Дайскэ выпустил струю дыма и тихо, но решительно проговорил: — Ты никогда не любил Митиё-сан.

— Ну, это...

— Это, разумеется, не мое дело, но я не мог не сказать. Сейчас все решает твоё отношение к Митиё-сан.

— Ты способен отвечать за свои поступки?

— Я люблю Митиё-сан.

— И считаешь себя вправе любить чужую жену?

— Что поделаешь. По закону Митиё-сан принадлежит тебе.

Но она человек, и нельзя владеть ею, как вещью, даже её сердцем! Она сама вольна выбирать, кого ей любить, кого не любить. Права мужа на её чувства не распространяются. Его долг сделать все, чтобы жена не полюбила другого.

— Положим, я действительно не любил Митиё, как ты и рассчитывал, — едва сдерживаясь, начал Хираока, сжимая кулаки. Дайскэ ждал, пока он закончит фразу.

Но Хираока вдруг спросил:

— Помнишь, что произошло три года назад?

— Три года назад ты женился на Митиё-сан.

— Верно. А при каких обстоятельствах, ты не забыл?

Мысли Дайскэ сделали резкий скачок в прошлое.словно факел во тьме, блеснули воспоминания.

— Ты сам, первый, предложил сосватать мне Митиё.

— После того как ты признался мне, что хочешь на ней жениться.

— Я помню. И до сих пор благодарен тебе. — Некоторое время Хираока сидел в задумчивости, потом снова заговорил: — Помню, как однажды поздним вечером мы с тобой шли в направлении к Янака. Недавним дождем сильно размыло дорогу. От музея мы, беседуя, дошли до моста, где ты участливо сказал, что хорошо меня понимаешь.

Дайскэ молчал.

— Именно тогда я подумал, как это прекрасно иметь преданного друга. Всю ночь я бодрствовал, исполненный радостного волнения, и уснул, лишь когда зашла луна.

— Такое же радостное чувство было и у меня, — точно во сне, отозвался Дайскэ.

Но Хираока резко его перебил:

— Стоило ли принимать во мне участие, быть посредником между мною и Митиё, чтобы сейчас затеять столь скверную историю? Уж лучше бы ты тогда остался равнодушным к моему признанию. Какое зло я причинил тебе, что ты мне так жестоко мстишь?

— Хираока, ведь я давно полюбил Митиё-сан, еще до тебя!

Хираока ошеломленно смотрел на искаженное мукой лицо Дайскэ.

— Тогда я был другим, не то что сейчас. Узнав о твоих чувствах, я решил принести в жертву собственную любовь. И совершил ошибку. Будь у меня тогда зрелый ум, я, возможно, исправил бы ее, но по молодости лет отнесся к своему чувству пренебрежительно. Как я жалею, как раскаиваюсь, стоит мне только вспомнить те времена! И дело не только во мне. Я очень виноват перед тобой. Благородство, легкомысленно проявленное мною в тот вечер, еще менее прощительно, нежели мой нынешний поступок. Но ты видишь, как я наказан. Я на коленях готов просить у тебя прощения!

Слезы навернулись Дайскэ на глаза и стали медленно капать. У Хираоки тоже запотели очки.

— Ну что ж, такая, видно, судьба, — почти выдохнул Хираока. И за все это время они впервые прямо посмотрели друг другу в глаза. — Может быть, ты знаешь, как выйти из этого положения? Скажи, я послушаю!

— Я, как виновный, не вправе первым высказывать свое мнение.

— Ну, а я ничего не могу придумать, — стиснув голову руками, ответил Хираока.

— Тогда вот что, — решительным тоном произнес Дайскэ. — Отдай мне Митиё-сан!

Хираока отнял руки от головы и бессильно опустил их на стол.

— Ладно, — сказал он и, не дав Дайскэ ответить, повторил: — Отдам. Только не сейчас. Возможно, ты прав, я не любил Митиё, но и не питал к ней отвращения. Сейчас она больна. И довольно серьезно. Пока она не выздоровеет, я буду ухаживать за него и оставаться ее мужем.

— Мы оба с Митиё-сан просим у тебя прощения, ты вправе не прощать нас, считая людьми без стыда и совести... Но ведь она больна, и...

— Я понимаю. Только не думай, что из мести я стану с ней плохо обращаться, даже я... никогда...

Дайскэ поверил Хираоке и был глубоко ему благодарен.

— В глазах общества я обманутый муж и с нынешнего дня вынужден прекратить с тобой всякое общение. Так что имей это в виду!

— Ничего не поделаешь. — Дайскэ опустил голову.

— Я уже сказал тебе, что Митиё серьезно больна и пока неизвестно, что с ней будет дальше. Я понимаю, как это тебя тревожит. Но коль скоро отношения между нами разорваны, я вынужден просить тебя пока не бывать у нас, независимо от того, дома я или нет.

— Хорошо, — уныло ответил Дайскэ, бледнея. Хираока поднялся.

— Посиди еще несколько минут, — попросил Дайскэ. Хираока сел, но разговора не продолжал.

— Как ты думаешь, не может наступить резкого ухудшения в состоянии Митиё?

— Что тебе сказать?..

— Хотя бы это скажи.

— Я полагаю, что не следует так волноваться, — не глядя на Дайскэ, процедил сквозь зубы Хираока. Дайскэ был в отчаянии.

— Если... Если ты узнаешь, что может случиться непредвиденное, ты позволишь мне прийти хоть раз, один только раз? О большем я и не прошу. Только об этом. Умоляю!

Хираока не сразу ответил. Преодолевая внутреннюю боль, Дайскэ с силой сжал руки. Наконец Хираока сурово произнес:

— Там видно будет.

— Могу ли я хотя бы время от времени справляться о состоянии больной?

— Это невозможно. Если мы когда-нибудь и встретимся, то лишь для того, чтобы я передал тебе Митиё.

Словно пораженный током, Дайскэ подскочил на стуле.

— А-а, теперь я понял. Ты имеешь в виду мертвую Митиё? Это бессердечно! Жестоко! — Дайскэ подбежал к Хираоке, сидевшему на противоположном конце стола, и, тряся его за плечи, повторял: — Жестоко! Жестоко!

Заметив в глазах Дайскэ безумный блеск, Хираока встал и, сбросив с плеч его руки, воскликнул:

— Да что это тебе взбрело в голову?

Какой-то миг они смотрели друг на друга, словно одержимые дьяволом, потом Хираока сказал:

— Успокойся!

— Я спокоен, — с трудом ответил Дайскэ, тяжело дыша. Спустя некоторое время наступила реакция. Дайскэ бессильно опустил на стул и закрыл лицо руками.

17

В одиннадцатом часу вечера Дайскэ, крадучись, вышел из дому.

— Куда это вы так поздно? — крикнул вслед ему удивленный Кадоно.

— Надо мне, скоро вернусь, — неопределенно ответил Дайскэ. Время было летнее, и на улицах царил оживление. Мелькавшие перед глазами люди, одетые в легкие кимоно, казались Дайскэ неодушевленными, непрерывно движущимися предметами. Магазины по обеим сторонам улицы сверкали огнями, слепившими глаза, и Дайскэ свернул в малоосвещенный переулок. От реки Эдогава, подле которой Дайскэ очутился, веяло прохладой. Темнели слегка колеблемые ветром листья сакуры. Перегнувшись через перила, на мосту стояли двое и смотрели вниз.

На улице, где жил Хираока, было совсем тихо. Лишь из редких домов свет проникал наружу. Мимо пробежал рикша с пустой коляской, и сердце Дайскэ застучало в унисон со стуком колес. Он подошел к ограде, прижался к ней, пытаясь разглядеть, что делается в доме. Там было темно. Фонарь над запертыми воротами бросал мертвенно-бледный свет на табличку с именем хозяина. К стеклу фонаря прилепилась ночная ящерица, отбрасывая косую тень.

Дайскэ и утром приходил на эту улочку, и днем по ней бродил, рассчитывая, что, может быть, служанка выйдет за покупками и он тогда расспросит ее о состоянии Митиё. Но никто не появился, ни служанка, ни Хираока. Стоя у ограды, Дайскэ напряженно вслушивался, однако голосов слышно не было. Надежда поговорить с врачом тоже оказалась напрасной, никакой коляски у дома он не увидел. Между тем Дайскэ так напекло голову, что она закружилась, будто от морской качки, и он едва не упал в обморок. Когда он двинулся с места, земля ходуном заходила у него под ногами. С большим трудом Дайскэ добрал до дому. Не ужиная, бросился в постель и так лежал недвижимый. Наконец беспощадное солнце село, в небе замерцали звезды, и Дайскэ ожил. Наслаждаясь ночной прохладой, он снова пошел к дому Митиё.

Там Дайскэ стал прохаживаться перед воротами. Всякий раз, дойдя до фонаря, он останавливался и несколько минут внимательно прислушивался. Дом был объят тишиной.

Прилепившаяся к фонарю ящерица своей неподвижностью вызывала в Дайскэ смутную тревогу. Все его чувства до того обострились, что он готов был впасть в суеверие. Воображение рисовало ему невыносимые страдания Митиё, которая уже близка к смерти, ему казалось, что она его зовет и не может спокойно умереть, не увидевшись с ним, он слышал ее предсмертное дыхание. Он едва удержался, чтобы не забарабанить кулаком в ворота, но тут же вспомнил свою вину перед Хираокой и в страхе бросился бежать, нарушив тишину стуком своих гэта. Наконец он выбился из сил и замедлил бег.

Заметив у обочины дороги каменную лестницу, он, едва не потеряв сознание, опустился на ступеньку и замер, стиснув голову руками. Открыв глаза, Дайскэ увидел высокие черные ворота. Над ними, касаясь живой изгороди, нависли ветви старой сосны. Это были ворота храма.

Дайскэ встал и, едва волоча ноги, побрел куда глаза глядят. Но через некоторое время обнаружил, что идет по дорожке, ведущей к дому Хираоки. Словно во сне, он опять остановился под фонарем. И опять увидел на нем неподвижную тень ящерицы. С тяжким вздохом Дайскэ покинул Коисикаву.

Всю ночь Дайскэ мучил один и тот же кошмар: его голова, словно лист дерева, бешено кружилась в красном огненном вихре, и он никак не мог ее вызволить.

На следующий день солнце жгло так же немилосердно. Его яркие лучи действовали раздражающе. В девятом часу Дайскэ насилу заставил себя встать с постели, и тотчас же все поплыло у него перед глазами. Он, как обычно, обтерся холодной водой, прошел в кабинет и сидел там, подперев лицо руками, неподвижно, словно в оцепенении.

Явился Кадоно доложить, что пришел гость, и застыл в дверях, с удивлением глядя на Дайскэ. Дайскэ даже не спросил, кто пришел, лишь слегка повернул голову. В это время на веранде послышались шаги и, не дожидаясь приглашения, вошел Сэйго.

— А, садись, — слабым голосом проговорил Дайскэ, указывая на стул. Сэйго сел, отдуваясь, достал веер и, распахнув воротник чесучового кимоно, стал обмахиваться. Как все тучные люди, он тяжело переносил жару.

— Ну и пекло, — сказал он.

— Дома все в порядке? — спросил Дайскэ с видом вконец измотанного человека.

Несколько минут они вели обычный светский разговор. Брат и не подумал спросить у Дайскэ, что с ним, хотя его тон и манера держаться были не такими, как всегда.

— Нынче я, честно говоря... — сказал Сэйго, воспользовавшись паузой, и достал из кармана письмо. — Честно говоря, я пришел спросить тебя кое о чем.

Он показал Дайскэ надпись на конверте.

— Ты знаешь этого человека?

На конверте рукой Хираоки были написаны его имя и адрес.

— Знаю, — почти машинально ответил Дайскэ.

— Он действительно был твоим сокурсником?

— Да.

— И его жену ты знаешь?

— Знаю.

Сэйго снова взял веер и несколько раз раздраженно взмахнул им. Затем, слегка подавшись вперед, сказал, понизив голос:

— Что у тебя с его женой?

Дайскэ с самого начала не собирался скрывать своего отношения к Митиё. Но как в двух словах ответить на такой вопрос? Брат вынул из конверта лист бумаги и, развертывая его, сказал:

— Дело в том, что этот Хираока прислал отцу письмо, понимаешь?.. Хочешь прочесть?

С этими словами он передал письмо Дайскэ. Дайскэ молча взял его и стал читать в то время, как Сэйго пристально смотрел не то на его лоб, не то куда-то мимо лба.

Дайскэ читал строку за строкой, написанные мелким убо-рыстым почерком. Прочитанное свисало вниз длинным развер-нутым свитком, а конца письму все еще не было видно. В гла-зах у Дайскэ рябило. Голова будто свинцом налилась, но он решил непременно прочесть до конца. Такую неизъяснимую тяжесть Дайскэ ощущал во всем теле, что, когда наконец до-читал письмо, у него не хватило сил его сложить, и он уронил письмо на стол.

— Все это правда? — тихо спросил Сэйго.

— Правда, — коротко ответил Дайскэ. Брата будто удар хватил, он даже перестал обмахиваться веером. Несколько мгновений оба молчали, не в силах вымолвить ни слова. На-конец Сэйго, все еще не приходя в себя от изумления, произнес:

— Как же это тебя угораздило сотворить такую глупость?

Дайскэ не отвечал.

— При желании ты мог выбрать себе в жены любую жен-щину.

Дайскэ продолжал молчать.

— Я полагаю, за свою жизнь ты немало позабавился, — продолжал Сэйго. — Но, выходит, только зря деньги перевел, раз после всего решился на такое безумие!

Объяснить все брату Дайскэ не решался, поскольку совсем еще недавно разделял его точку зрения.

— Умэко чуть не плачет, — сказал Сэйго.

— Да? — словно во сне отозвался Дайскэ.

— Отец вне себя от гнева.

Дайскэ не ответил, лишь как-то отчужденно смотрел на брата.

— Ты всегда был сумасбродом, но я полагал, что со време-нем ты поумнееешь, и до сих пор считал возможным общение с тобой. Но ты как был, так и остался безрассудным, и я ре-шил махнуть на тебя рукой. Нет никого опаснее для обще-ства, нежели сумасброды. Неизвестно, что вдруг взбредет им в голову и какой трюк они выкинут. Ты, разумеется, волен поступать как хочешь, но подумай об отце и обо мне, о нашем престиже. Тебе, я полагаю, не чуждо понятие чести семьи.

Слова брата едва касались слуха Дайскэ, не доходя до его сознания. Глубокое страдание вытеснило все остальные чув-ства. Но он еще достаточно владел собой, чтобы не признаться брату в угрызениях совести. В то же время Дайскэ не соби-рался собственного благополучия ради разыгрывать мелодра-му, рассчитанную на жалость брата, которого ничто, кроме светских приличий, не заботило. Убежденный в справедливо-сти избранного им пути, Дайскэ был вполне доволен. Но ни-кто его не понял: ни отец, ни брат, ни общество, одна только Митиё. Все остальные — враги. Они охотно сожгли бы на

костре и его и Митиё. Впрочем, их стремление совпадало с самым заветным желанием Дайскэ: обнявшись с Митиё, молча сгореть в закружившем их огненном вихре. Дайскэ сидел неподвижно, будто окаменев, уронив на руки отяжелевшую голову, и молчал. Его вывел из забытья голос Сэйго:

— Дайскэ, меня послал к тебе отец. Ты перестал у нас бывать. При других обстоятельствах отец сам с тобой поговорил бы, но сейчас ему это неприятно, и он попросил меня выяснить истинное положение вещей. «Если у него есть что сказать в свое оправдание, выслушай его, если же факты, приведенные в письме, подтвердятся, передай, что я знать его больше не желаю. Пусть живет, где хочет и как хочет. Но в этом случае он мне больше не сын, а я ему — не отец». Я думаю, что это решение отца вполне справедливо. Ты сам заявил, что в письме нет ни слова лжи. Верно? Кроме того, я не заметил, чтобы ты раскаялся и признал свою вину. Поэтому я не собираюсь хлопотать за тебя. То, что велел отец, я тебе передал. Ты вник в смысл его слов?

— Вник, — коротко ответил Дайскэ.

— Болван! — не сдержавшись, крикнул Сэйго.

Но и сейчас Дайскэ не поднял головы.

— Остолбенел ты, что ли? Бывало, тебя не переговоришь, а сейчас слова не добьешься! Завел, видите ли, шашни, осрамил доброе имя отца! Чему, спрашивается, тебя учили?

Сэйго взял письмо и, шурша, стал его складывать, нарушив тишину в комнате. Затем вложил письмо в конверт и сунул в карман.

— Ну, я пошел! — сказал Сэйго, как ни в чем не бывало. Дайскэ вежливо поклонился.

— Я тоже знать тебя больше не желаю! — добавил Сэйго на прощанье и вышел.

Еще некоторое время Дайскэ сидел, не двигаясь, но когда пришел Кадоно убрать чашки, резко поднялся.

— Пойду поищу работу, Кадоно-сан, — сказал он, нахлобучил кепку и, забыв про зонт, выскочил из дому.

Несмотря на жару, шел он быстро, чуть ли не бегом. Солнце пекло голову. Искорки сухой пыли обжигали ноги. В груди бушевало пламя.

— Ж ж е т, — пробормотал Дайскэ, — жжет!

У Иидабаси он сел на трамвай.

— А-а, движется, весь мир движется, — сказал он громко, так что находившиеся рядом его услышали. Быстрота, с которой мысли в голове у Дайскэ сменяли друг друга, могла поспорить со скоростью трамвая. И эти мысли огнем жгли Дайскэ. Он вдруг подумал, что, если так ехать полдня, можно дотла сгореть.

Неожиданно за окном в глаза ему бросился красный почтовый ящик. Его цвет мгновенно завладел сознанием Дайскэ

и вихрем завертелся у него в мозгу. То же самое произошло, когда Дайскэ увидел у лавки подвешенные один над другим четыре красных зонта. С перекрестка, где продавали красные воздушные шары, трамвай резко повернул за угол, но шар устремился следом за Дайскэ и тоже заплясал у него в сознании. Вслед за тем Дайскэ почувствовал, как его мозг впитал в себя красную тележку с почтовыми посылками, красную бамбуковую штору табачной лавки, красное полотнище с надписью «Распродажа», красные телеграфные столбы, красные вывески, тянувшиеся друг за другом. Весь окружающий мир стал багрово-красным. Он вращался в сознании Дайскэ, обдавая его огненным дыханием. И Дайскэ решил ехать до тех пор, куда огненный вихрь его не испепелит.

BPATA

POMAH





Соскэ вынес на галерею дзабутон и некоторое время сидел, скрестив ноги, с наслаждением греясь на солнце, но вскоре отбросил журнал, который держал в руках, и повалился навзничь. Стояли погожие осенние дни, и с обычно тихой улицы доносился веселый перестук гэта прохожих. Соскэ лежал, закинув руки за голову, и смотрел вверх. Бескрайнее прозрачно-синее небо казалось еще огромнее в сравнении с узенькой галереей. Некоторое время Соскэ, щурясь от ослепительных лучей, размышлял о том, что мир становится совершенно другим, когда в долгожданное воскресенье можно вот так лежать, бездумно глядя на небо; но тут ему пришлось повернуться на бок, потому что глазам стало больно, и взгляд его упал на сёдзи, за которыми сидела с шитьем в руках жена.

— Прекрасная погода нынче, — обратился к ней Соскэ.

— Да, — коротко ответила жена. Соскэ ничего больше не сказал, видимо, и ему не очень хотелось разговаривать.

— Сходил бы погулял, — подала голос жена. В ответ Соскэ пробормотал что-то неопределенное.

Через некоторое время жена сквозь сёдзи посмотрела на мужа. Он лежал в какой-то странной позе, подогнув под себя колени и весь сжавшись, словно креветка. Из-за чуть приподнятых локтей выглядывала черная как смоль голова, лица совсем не было видно.

— Смотри не усни там, а то простудишься, — предостерегла жена. К токийской манере речи у нее примешивались еще интонации, свойственные всем современным образованным женщинам.

— Не бойся, не усну, — ответил Соскэ, часто моргая широко открытыми глазами.

Снова наступила тишина. Ее нарушил звон колокольчиков — по улице один за другим пробежали рикши с колясками, затем где-то вдали прокричал петух. С жадностью впитывая всем телом тепло солнечных лучей, проникавших сквозь новенькую рубашку из простой ткани, Соскэ лишь краем уха воспринимал доносившиеся снаружи звуки, потом, будто вспомнив что-то, окликнул жену:

— О-Ёнэ, как пишется первый иероглиф в слове «недавний»?

Жена не удивилась, не расхохоталась, как это свойственно молодым женщинам, хотя вопрос был забавным, а спокойно ответила:

— По-моему, он пишется так же, как иероглиф «О» в названии провинции Оми.

— А я не знаю, как он пишется в «Оми».

Жена чуть-чуть раздвинула сёдзи и через порог длинной линейкой начертила на полу иероглиф.

— По-моему, т а к , — сказала она и, не отнимая линейки от пола, залюбовалась чистым, без единого облачка, небом.

— Неужели? — произнес Соскэ совершенно серьезно, без тени улыбки, даже не взглянув на жену, которую меньше всего сейчас интересовало написание этого иероглифа.

— А ведь и в самом деле чудесная погода! — произнесла О-Ёнэ, как бы обращаясь к самой себе. Так и оставив сёдзи приоткрытыми, она снова принялась за шитье. Наконец Соскэ приподнял голову и поглядел на жену.

— Удивительная вещь эти иероглифы!

— Почему удивительная?

— Сама посуди. В любом иероглифе, даже самом простом, можно запутаться, стоит только над ним призадуматься. Недавно, к примеру, я написал иероглифы «сегодня». Написал вроде бы правильно, а когда стал их разглядывать, вдруг показалось совсем не то. Смотрел, смотрел и в конце концов пришел к выводу, что это вообще какие-то другие иероглифы. С тобой не бывало такого?

— Ну, что ты!

— Выходит, только у меня так? — Соскэ коснулся рукой головы.

— Что-то неладное с тобой творится!

— Нервы, видимо, расшалились.

— По ж а л у й , — сказала О-Ёнэ, взглянув на Соскэ. Наконец он встал, переступил через шкатулку с рукоделием и обрывки ниток, раздвинул фусума столовой, за которой сразу же находилась гостиная. С южной стороны помещалась прихожая, загоравшая свет, поэтому сёдзи напротив гостиной, которые он открыл, после залитой светом галереи показались Соскэ мрачными и холодными. У самого края галереи, совсем близко от козырька крыши, был обрыв, и отвесная стена не пропускала сюда утреннее солнце. Сплошь поросший травой обрыв у основания не был укреплен даже камнями, и постоянно существовала угроза оползня. Однако, как ни удивительно, здесь ни разу не было обвала, и, видимо, поэтому домовладелец не принимал никаких мер предосторожности. Еще говорили, что прежде здесь была густая бамбуковая роща. Ее расчистили, а корни деревьев не выкорчевали, поэтому почва оказалась, сверх ожидания, плотной. Все это Соскэ узнал от

словоохотливого старика зеленщика, добрых два десятка лет прожившего в этом квартале. Соскэ высказал предположение, что здесь снова может вырасти роща, раз корни остались, однако старик, словно это было его кровным делом, с горячностью заявил, что после такой расчистки вряд ли что-нибудь вырастет, а вот почва и в самом деле уплотнилась и обвала можно не опасаться.

Осенью обрыв почти не менял красок, если не считать травы, потерявшей свой сочный ярко-зеленый цвет и неряшливо разбросившей во все стороны полинявшие метелки. И уж конечно, не радовали глаз дикий виноград или мискант. Зато на склоне обрыва стояли два прелестных стройных деревца тропического бамбука, сохранившегося от прежних времен, и несколько таких же деревцев на самом его верху. Их листья приобрели желтоватый оттенок, но озаренные солнцем деревца, казалось, разливали вокруг ласковое осеннее тепло. В это время года дни становятся короче, и Соскэ, возвращаясь со службы после четырех, редко мог вот так любоваться обрывом. Он вышел во двор, и когда мыл руки в небольшом искусственном водоеме, невзначай глянул вверх и только тут вспомнил о бамбуке. Верхушки деревьев были сплошь покрыты лежавшими в несколько слоев мелкими листьями и напоминали коротко остриженную, с торчащими волосами, голову. Напоенные осенним солнцем, словно захмелевшие, листья застыли в неподвижности, глядя вниз.

Соскэ вернулся в гостиную и сел за стол. Гостиной, собственно, она называлась только потому, что здесь принимали гостей, это был скорее кабинет, а еще точнее — семейная комната с нишей на северной стороне. В нише, как полагалось, висела картина, перед которой поставили убогую цветочную вазу бордового цвета. Над раздвижными перегородками, разделявшими комнаты, блестели два латунных крюка, лишь напоминая о традиционной картине в раме. Стоял еще здесь застекленный книжный шкаф. Но ни примечательных книг, ни красивых безделушек на его полках не было.

Соскэ выдвинул ящик стола, инкрустированный серебром, порылся, ничего не нашел и с шумом его задвинул. Затем снял с тушечницы крышку и принялся за письмо. Написал, вложил в конверт, подумал с минуту и обратился к жене:

— Послушай, какой номер дома у Саэки?

— По-моему, двадцать п я т ь , — ответила О-Ёнэ и добавила, когда Соскэ дописывал адрес: — Что пользы от письма? Надо пойти и обстоятельно поговорить.

— Будет польза или не будет, это мы увидим. А послать надо. Не выйдет — пойду поговорю.

Жена ничего не ответила, тогда он, уже более настойчиво, проговорил:

— Ты слышала, что я сказал? По-моему, это самое лучшее. Жена спорить не стала, вероятно, не решилась, и Соскэ

с письмом направился из гостиной к выходу. Заслышав его шаги, О-Ёнэ вышла в прихожую.

— Прогуляюсь немного, — сказал Соскэ.

— Что же, приятной тебе прогулки, — улыбнулась О-Ёнэ.

Спустя минут тридцать задрезжалась с трудом отодвигаемая входная дверь. О-Ёнэ подумала было, что это вернулся Соскэ, оставила шитье и вышла ему навстречу. Но оказалось, что пришел Короку, младший брат Соскэ, в форменной студенческой фуражке и длинной, чуть не до пят, накидке из черного сукна.

— Ну и жарыща! — сказал Короку, расстегивая накидку.

— Вы тоже хороши, в теплую погоду так одеться!

— Да вот думал, солнце зайдет — станет холодно, — словно бы оправдываясь, сказал Короку, следом за невесткой проходя в столовую.

— Вы, как всегда, деятельны, — заметил он, кивнув на шитье, и уселся перед хибати. Невестка сложила шитье в угол, села напротив Короку и, слегка отодвинув чайник, принялась подбрасывать в хибати углей.

— Чай пить я не буду, так что не беспокойтесь, — сказал Короку.

— Не хотите? — как-то по-детски спросила О-Ёнэ. — А печенье хотите? — Она засмеялась.

— У вас есть печенье?

— Разумеется, нет, — честно призналась она, но тут же добавила: — Погодите, может быть, найду.

О-Ёнэ встала, отодвинула ведерко для углей и открыла шкаф.

— Ладно, не надо печенья, — сказал Короку, опасаясь, что на поиски уйдет много времени. — Скажите лучше, куда это брат подался в воскресенье?

— Он скоро придет, — ответила О-Ёнэ, продолжая рыться в шкафу. Но наконец захлопнула дверцы. — Пустое дело. Все съел ваш брат. — С этими словами О-Ёнэ вернулась к хибати.

— Ладно, вечером чем-нибудь накормите.

— Охотно. — О-Ёнэ взглянула на настенные часы. Было около четырех. «Четыре, пять, шесть», — считала О-Ёнэ, по угощение мало интересовало Короку, и он молча смотрел на невестку.

— Брат был у Саэки?

— Еще не был, но обещал пойти. С утра до вечера он на работе. Приходит до того измученный, что даже в баню пойти нет сил. Мне жаль его, я и молчу.

— Я понимаю, как он занят, но это дело не дает мне спокойно учиться.

Говоря, Короку что-то чертил в золе хибати латунными щипцами. Следя за их движением, О-Ёнэ, как бы утешая Короку, сказала:

— По поводу этого дела он как раз только что написал письмо.

— Что же он написал?

— Не знаю, не читала. Но полагаю, что письмо касается именно этого дела. Спросите брата, когда он вернется. Думаю, что я права.

— Пожалуй, правы.

— Я видела, как он писал. А сейчас пошел отправить.

Короку решил не продолжать разговор, который невестка затеяла то ли для того, чтобы оправдать мужа, то ли чтобы утешить его, Короку. Он лишь подумал с досадой, что раз у брата нашлось время для прогулки, он мог бы не посылать письма, а сходил бы и поговорил. Короку прошел в гостиную, снял с полки европейскую книгу и стал рассеянно ее листать.

2

Соскэ же, вместо того чтобы вести разговор лично, предпочел послать письмо. Он зашел в лавку на углу, купил марку, захватил пачку сигарет, вышел и опустил письмо в почтовый ящик. Испытывая какую-то неудовлетворенность, Соскэ стал бесцельно бродить по улицам, зажав в зубах сигарету и глядя, как, дрожа, растворяется ее дым в лучах осеннего солнца. Шел он долго, и вдруг его осенило: «Вот он каков, Токио!» Эту мысль Соскэ воспринял как воскресный дар, и решил вернуться домой поспать. Он каждый день дышал воздухом Токио, каждый день ездил трамваем на службу и со службы, но, постоянно угнетенный и физически и морально недостатком времени, не замечал видневшихся из окна вагона оживленных улиц, даже то, что на одной из них он живет, проходило мимо его сознания. Нельзя сказать, чтобы Соскэ очень страдал от такой своей занятости, лишь по воскресным дням, на досуге, приходила в голову мысль о суете и бесцельности собственной жизни. Грустно было думать о том, что, живя в Токио, он, в сущности, этого Токио не видел и не знает.

В такие моменты Соскэ вскакивал и спешил уйти из дому. Порой у него появлялось желание развлечься, тем более когда в кармане оказывалось немного денег, но желание это не было настолько сильным, чтобы толкнуть его на какое-нибудь безрассудство, и так и оставалось неосуществленным. К тому же кошелек с весьма скромным содержанием наилучшее средство против легкомысленных поступков, и Соскэ, и ему подобные предпочитали, сунув руки в карманы, лениво брести домой, нежели утруждать свой мозг всякими нелепыми фантазиями и пустыми планами. Посещение торговых рядов или просто прогулка помогали развеять скуку до следующего воскресенья.

Вот и нынче Соскэ сел в трамвай без какой-либо определенной цели. К его удовольствию, несмотря на воскресенье и погожий день, пассажиров оказалось меньше, чем обычно, и вид у них был спокойный и умиротворенный. Соскэ невольно вспомнил, как по утрам в одно и то же время он едет в сторону Маруноути в страшной давке, когда люди стараются оттеснить друг друга, только бы занять место. Ничего нет прозаичнее этого переполненного людьми трамвая. Никаких человеческих чувств ни разу не возникло у Соскэ к случайным попутчикам, ехал ли он стоя, держась за поручень, или сидел на мягком бархатном сиденье. И он считал это вполне естественным. Он безучастно созерцал всех, кто сидел или стоял, напротив или рядом, словно это были не люди, а механизмы.

Но сейчас он смотрел на мир совершенно другими глазами. Он видел старушку напротив, которая что-то говорила на ухо внучке лет восьми, и молодую женщину, с виду жену торговца, с умилением глядевшую на них, слышал, как женщина спросила, сколько девочке лет и как ее зовут...

Во всю длину вагона прямо над головой висели объявления в рамке. Соскэ словно впервые их заметил, а одно даже прочел. Это оказался рекламный листок фирмы по перевозке домашних вещей. Фирма предлагала свои услуги при переезде с квартиры на квартиру. На следующем объявлении были расположены в ряд три строки: «Всем, кто умело ведет хозяйство», «Всем, кто печется о гигиене», «Всем, кто хочет избежать пожара», а под ними шла реклама газовых плит и рисунок, изображающий газовую плиту в действии. Затем белыми иероглифами на красном фоне было написано: «Кинофильм «Вечные снега» по мотивам знаменитого произведения русского писателя графа Толстого»¹, а ниже «Комедия-гротеск (из жизни современных молодых людей) в постановке театра «Котацу-дайитидза».

Соскэ трижды внимательно перечел рекламы, потратив на это чуть ли не десять минут. Но ни одна из них не возбудила в нем интереса. Зато он испытал немалое удовлетворение хотя бы потому, что у него нашлось время прочесть эти рекламы и даже запомнить — так спокойно было у него сейчас на душе. И в нем заговорила гордость от сознания этой вдруг возникшей непринужденности — в таком напряжении держала его жизнь от воскресенья до воскресенья.

Соскэ сошел с трамвая у Суругадай, и тотчас же его вниманием завладела витрина, где с большим вкусом были расставлены европейские книги. Соскэ постоял немного, рассматривая красные, голубые, полосатые и узорчатые переплеты с золотыми буквами, прочел названия, но даже любопытства

¹ Имеется в виду, по-видимому, французский фильм «В снегах Сибири» по роману Л. Н. Толстого «Воскресение», демонстрировавшийся в Токио в феврале 1910 г.

ради ему не захотелось заглянуть хотя бы в одну из них. Страсть к книгам, некогда не дававшая Соскэ спокойно пройти мимо книжной лавки, давно остыла. Лишь ярко-красный переплет с названием «History of Gambling»¹ в самом центре витрины произвел на него некоторое впечатление какой-то новизной.

Соскэ, улыбаясь, перешел на другую сторону шумной улицы и решил подойти к часовому магазину. Отдав должное разнообразию оттенков и изяществу формы выставленных там во множестве золотых часов и золотых цепочек, Соскэ тем не менее не испытал ни малейшего желания что-нибудь приобрести. И все же он просмотрел каждый ярлычок с указанием цены, подвешенный на шелковой нитке, придирчивым взглядом окинул каждую вещь, к которой ярлычок был прикреплен, и поразился их дешевизне.

От магазина зонтов Соскэ перекочевал к европейской галантерее, и тут взгляд его задержался на галстуках, развешенных рядом с цилиндрами. У них был приятный рисунок, не то что на его галстук, который он носил на работу. Он вознамерился было войти узнать цену, но передумал, решив, что просто нелепо ни с того ни с сего менять галстук, и с неприятным чувством прошел мимо, даже не открыв кошелек. У магазина тканей Соскэ задержался несколько дольше. Здесь были названия, о которых он понятия не имел: полосатый креп, узорчатый атлас и еще какие-то, тоже дорогие ткани. У филиала киотоского торгового дома «Эрисин» Соскэ так близко подошел к витрине, что коснулся стекла полями шляпы и, стоя там, долго разглядывал воротнички тонкой работы для женского кимоно. Некоторые были бы очень к лицу жене. Еще несколько лет назад он непременно сделал бы ей подарок, но сейчас пришлось подавить в себе это желание. Невесело усмехнувшись, Соскэ зашагал дальше, потеряв всякий интерес и к улице и к витринам.

Неожиданно его внимание привлек большой журнальный киоск на углу. Под карнизом крыши висела написанная крупными иероглифами реклама книжных новинок. Одни объявления были вставлены в длинную, узкую, как лестница, раму, другие наклеены на разноцветную доску и издали очень походили на замысловатый узор. Соскэ внимательно просмотрел названия книг и имена писателей. За исключением некоторых, вроде бы встречавшихся в газетных объявлениях, все они были ему незнакомы. Позади киоска, прямо на земле сидел, скрестив ноги, человек лет тридцати в котелке. Он надувал воздушные шары, приговаривая: «Шар воздушный для детей игрушка!» Шары принимали форму «дарума»². В определенный момент появлялись нарисованные точь-в-точь там,

¹ «История азартных игр» (англ.).

² «Дарума» — игрушка наподобие ваньки-встаньки.

где полагается, глаза и рот. Соскэ пришел в восторг. К тому же надутый шар долго сохранял форму, лежа на ладони или насаженный на кончик пальца. Но стоило воткнуть в отверстие снизу, например, зубочистку, как шар мгновенно со свистом сжимался.

Вся улица казалась сплошным людским потоком, быстрым и бурлящим. Хоть бы кто-нибудь остановился! Лишь человек в котелке, сидевший на углу, будто вся эта суতোлка его не касалась, надувал шары и как ни в чем не бывало приговаривал: «Шар воздушный для детей игрушка!» Соскэ протянул торговцу полтора сэна, взял шар, предварительно попросив выпустить из него воздух, и положил в карман. «Не мешало бы подстричься», — мелькнула мысль, но ни одной приличной парикмахерской поблизости как будто не было. Солнце между тем клонилось к закату. Соскэ решил, что пора возвращаться, и сел на трамвай.

Когда на конечной остановке Соскэ отдавал водителю билет, он увидел, что небо потемнело и на политую водой улицу легли длинные тени. Соскэ вдруг ощутил холод, взявшись за металлический поручень, и поежился. Вышедшие вместе с ним люди с деловым видом заторопились в разные стороны. Окинув взглядом окраину города, где он жил, Соскэ заметил стелющийся над крышами белесый дымок и быстро пошел в сторону скрытых за деревьями домов. Кончилось воскресенье, теплое осеннее воскресенье, навевавшее приятную истоми, уныние и пустота опять подступили к Соскэ. Завтра он пойдет на службу, будет, как всегда, усердно тянуть свою лямку, — и так день за днем, до следующего воскресенья. При мысли об этом Соскэ до боли стало жаль безвозвратно ушедшего дня, и он еще острее ощутил серую скуку собственной жизни. Сейчас весь мир перед его глазами заслонила большая унылая комната с крошечным окном, сквозь которое почти не проникало солнце, лица сослуживцев и начальника и его голос: «Нонака-сан, на минутку!»

Если пройти закусочную «Уокацу», а через несколько домов свернуть в узенькую, словно переулочек, улочку, очутишься у высокого обрыва, с одинаковыми строениями по обеим сторонам — это дома, сдающиеся внаем. До недавнего времени на этом же участке за живой изгородью из редких криптомерий стоял ветхий дом под тростниковой крышей, некогда принадлежавший, вероятно, вассалу какого-нибудь князя. Потом участок купил некто Сакаи, живший неподалеку, и заново его застроил, сломав и дом, и криптомериевую изгородь. Потолковав с женой, Соскэ снял жилье в самом конце улочки, внизу у обрыва. Там, правда, было несколько мрачновато, но это окупалось расположением дома, стоявшего в некотором отдалении от улицы.

Воскресный день бывает раз в неделю, а Соскэ надо было еще сходить в баню, если останется время, подстричься, а за-

тем не спеша поужинать. Он быстро отодвинул дверь и тотчас услышал стук посуды на кухне. В следующий момент он, не заметив, наступил на гэта Короку и наклонился, чтобы поставить их на место. Тут как раз подоспел и сам Короку.

— Кто пришел? Муж? — крикнула из кухни О-Ёнэ.

— А, это ты? Давно здесь? — спросил Соскэ, проходя в гостиную. Пока он гулял по Канда и вплоть до прихода домой Соскэ ни разу не вспомнил о существовании Короку и сейчас устыдился, будто пойманный с поличным.

— О-Ёнэ, О-Ёнэ, — позвал он. Жена, видимо чем-то занятая на кухне, быстро вышла, даже не задвинув сёдзи, и остановилась на пороге.

— Надо бы угостить Короку, — сказал Соскэ.

Сказав: «Да, сейчас», О-Ёнэ пошла было на кухню, поскольку и сама прекрасно понимала, что гостя следует накормить, но тут же вернулась:

— Извините за беспокойство, Короку-сан, но прошу вас, закройте, пожалуйста, ставни в гостиной и зажгите лампу. Мы с Киё очень заняты.

— Охотно, — ответил Короку, с готовностью вставая.

Слышно было, как Киё, так звали служанку, что-то крошит на кухне и спрашивает: «Куда это переложить, госпожа?», как льется вода в раковину. Затем раздался голос Короку: «Сестрица, где ножницы? Надо подрезать фитиль». Зашипела, выплеснувшись на огонь, вода — видимо, закипел чайник. Соскэ молча сидел в темной гостиной и грел руки над хибати, где среди золы еще тлели редкие угольки. Понеслись звуки рояля. Это играла хозяйская дочь. Соскэ вышел на галерею, чтобы закрыть ставни в гостиной. Звук рояля доносился с той стороны, где на фоне неба темной полоской выделялся бамбук. Одна за другой загорались звезды.

3

Когда с полотенцами в руках Соскэ и Короку вернулись из бани, посреди гостиной был накрыт стол, который так и манил к себе аппетитными кушаньями. Огонь в очаге стал будто бы ярче, а пламя лампы — светлее.

Соскэ придвинул к столу дзабутон и устроился на нем поудобнее.

— Наверно, хорошо помылись? — осведомилась О-Ёнэ, принимая у мужа полотенце и мыло.

— Угу, — только и ответил Соскэ. Эту лаконичность можно было отнести скорее на счет расслабленности, нежели безразличия.

— Отличная была нынче баня, — поспешил согласиться с О-Ёнэ Короку.

— Опять народу полно, — положив согнутые в локтях руки на край стола, вяло заметил Соскэ. В баню он ходил обычно после службы, перед ужином, как раз когда там уйма людей. За последние три месяца он уже успел забыть, какого цвета вода при солнечном свете. Это бы еще ладно. Но нередко случалось так, что три-четыре дня кряду он вообще не мог попасть в баню. Вот придет воскресенье, мечтал Соскэ, встану пораньше, чтобы вволю пополокаться в чистой воде. Но только в воскресенье и можно было выспаться за неделю, и Соскэ, нежась в постели, тянул время, а потом откладывал посещение бани на следующее воскресенье.

— Больше всего мне хочется как-нибудь утром выбраться в баню.

— Так ведь ты поздно встаешь! — насмешливо проговорила жена. Желание поваляться в постели Короку считал врожденной слабостью старшего брата. Он не понимал, как дорожит Соскэ воскресными днями, хотя сам учился. Слишком много надежд брат возлагает на эти короткие двадцать четыре часа. Мыслимо ли за один какой-нибудь день сбросить с души скопившуюся за неделю усталость и развеять мрачные думы? Даже сотой доли своих стремлений он не в силах осуществить за воскресенье. Поэтому, стоит ему за что-нибудь взяться, как первым делом возникает мысль о нехватке времени, от которой у него опускаются руки, и драгоценное время он проводит в безделье. Так незаметно проходит воскресенье. Короку никак не мог взять в толк, что в ущерб здоровью и собственным склонностям Соскэ вынужден отказывать себе даже в отдыхе и развлечениях, а дела Короку и подавно не умещаются у него в голове. Более того, Короку считал брата черствым себялюбцем, который в свободное время либо слоняется по городу, либо сидит дома с женой — ни поддержки, ни помощи от него не дождешься.

Впрочем, соображения такого порядка появились у Короку не так давно, собственно, после того лишь, как начались переговоры с Саэки. Юный и потому во всем нетерпеливый Короку не сомневался, что его дело, стоит только попросить брата, будет улажено если не за один, так за два дня. Но как выяснилось, к великому неудовольствию Короку, брат еще не ходил к Саэки.

И все же нынче Короку почувствовал, с каким теплом относится к нему брат, хотя при встрече тот и не выразил особого восторга. И Короку решил отложить интересующий его разговор. Вместе с Соскэ он пошел в баню и теперь был настроен дружелюбно.

Братья расположились за столом. К ним подседа О-Ёнэ. Все трое чувствовали себя вполне непринужденно. Соскэ и Короку осушили чашечку-другую сакэ. Перед тем как приняться за рис, Соскэ сказал со смехом:

— Я тут купил одну забавную вещицу.

С этими словами он достал из рукава кимоно воздушный шар, надул его, сколько возможно, поставил на крышку чашки с рисом и объяснил, как устроена игрушка. О-Ёнэ и Короку с любопытством разглядывали колеблющийся шар. Затем Короку дунул, и шар упал на татами, но так и остался в вертикальном положении.

— Вот видите, — сказал Соскэ.

О-Ёнэ рассмеялась звонко, как смеются только женщины, сняла крышку с чашки и, подкладывая Соскэ рис, взглянула на Короку, как бы извиняясь за мужа:

— Легкомысленный у вас брат!

Сам Соскэ и не думал оправдываться, он принял от жены чашку и как ни в чем не бывало стал есть. Короку взял палочки для еды и тоже молча последовал его примеру.

Об игрушке больше не упоминали, но благодаря ей разговор за ужином на разные житейские темы шел легко и непринужденно. Под конец Короку очень серьезно заметил:

— Кстати, ужасная история произошла с Ито-сан.

Несколько дней назад Соскэ прочел экстренный выпуск с сообщением об убийстве князя Ито¹ и пришел к хлопотавшей на кухне О-Ёнэ.

— Представь, какое несчастье! Князя Ито убили! — сказал он довольно равнодушно, сунул газету в карман фартука О-Ёнэ и вернулся в кабинет.

— Говоришь «несчастье», а у самого хоть бы голос дрогнул, — полушутя бросила вслед ему О-Ёнэ.

Каждый день газеты печатали несколько столбцов об Ито, но Соскэ так мало интересовался этим убийством, что даже непонятно было, читает он эти заметки или не читает.

Когда он приходил домой, О-Ёнэ, прислуживая ему за столом, неизменно спрашивала: «Есть нынче что-нибудь об Ито-сан?» Соскэ отвечал лишь: «Да, довольно много». Тогда О-Ёнэ вынимала у мужа из кармана измятую утреннюю газету и принималась за чтение, чтобы узнать подробности. Впрочем, и О-Ёнэ видела в этом убийстве только тему для разговора с мужем и не стремилась его продолжать, видя, как безразличен Соскэ к этому делу. Так что все время, с момента выхода в свет экстренного выпуска и вплоть до нынешнего вечера, когда об этом заговорил Короку, Соскэ и О-Ёнэ почти не вспоминали о событии, всколыхнувшем всю страну.

— Как же его могли убить? — Об этом О-Ёнэ спрашивала и Соскэ, когда прочла экстренный выпуск.

— Несколькими выстрелами из пистолета, — ответил Короку, поняв вопрос буквально.

— Да нет... Как могло такое случиться?

¹ Ито Хиробуми — премьер-министр Японии; был убит в Харбине в 1909 г.

Но Короку, видимо, так и не понял вопроса.

— Что кому суждено, — спокойно проговорил Соскэ, с удовольствием глотнув чаю. Однако О-Ёнэ не унималась.

— И зачем только ему понадобилось ехать в какую-то Маньчжурию?

— Действительно, — спокойно заметил Соскэ, радуясь тому, что утолил наконец голод.

— Ходят слухи, будто у него были какие-то связи с Россией, — многозначительно сообщил Короку.

— Да, — в раздумье произнесла О-Ёнэ. — Жаль все же, когда убивают человека.

— Если такого мелкого чиновника, как я, тогда, конечно, жаль. Но князь Ито совсем другое дело! Тем более что он убит во время поездки в Харбин. — Соскэ заметно оживился.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что Ито-сан теперь войдет в историю, чего не случилось бы, умри он своей смертью.

— Смотри-ка, а может, это и вправду так? — чуть ли не с восхищением проговорил Короку. И добавил: — Что ни говори, а Маньчжурия или там Харбин — места опасные и доверия не внушают.

— Оно и не удивительно. Ведь там полно всякого сброд а, — заявил Соскэ и, заметив устремленный на него взгляд жены, сказал: — Ну, можно, пожалуй, уносить стол. — Он поднял с татами шар и насадил на указательный палец. — Просто диву даешься, как ловко это сделано...

Пришла Киё и унесла столик с пустыми тарелками и чашками. О-Ёнэ вышла в соседнюю комнату заварить чай, и братья остались наедине друг с другом.

— Люблю, когда прибрано. Грязная посуда на меня плохо действует, — сказал Соскэ с кислым видом, словно ему не по душе пришелся скромный ужин. Слышно было, как на кухне все время смеется Киё.

— Что тебя так насмешило? — донесся сквозь сѣдзи голос О-Ёнэ.

— Да я... — Киё не в силах была продолжать от смеха, к которому молча прислушивались братья. Через некоторое время появилась О-Ёнэ с подносом, на подносе стояли чайник, чашки и вазочка с печеньем. Из большого фарфорового чайника с ручкой, сплетенной из лозы глицинии, она разлила чай по большим, величиной с кружку, чашкам дешевый зеленый чай, не отличавшийся ни отменным вкусом, ни крепостью, и поставила их перед мужчинами.

— Что это Киё там заливается? — спросил Соскэ, заглядывая в вазочку с печеньем.

— Да оттого, что ты забавляешься с игрушкой, а детей мы с тобой не заводим.

— А - а , — небрежно протянул Соскэ, но тут же спохватился и ласково, будто раскаиваясь, взглянул на О-Ёнэ: — Был же ребенок.

О-Ёнэ сразу умолкла, но через некоторое время обратилась к Короку:

— Что же вы не едите печенья?

— Спасибо, я ем , — ответил Короку, но О-Ёнэ уже не слышала, она ушла в столовую. Братья снова остались одни.

Дом находился в самой глубине квартала, минутах в двадцати от трамвайной остановки, и еще до наступления вечера здесь воцарялась тишина, лишь изредка гулко постукивали гэта прохожих. С приближением ночи становилось все холоднее.

— Днем тепло, а вечером просто не знаешь, как согреться я , — сказал Соскэ, пряча руки под кимоно.— В общежитии топят?

— Нет еще. Ждут холодов.

— В самом деле? Значит, тебе приходится зябнуть?

— Разумеется. Но от подобных вещей я меньше всего страдаю.— Короку замаялся, потом решительно спросил: — Скажи, как обстоят дела с Саэки? Сестрица говорила, что сегодня ты послал письмо...

— Ага, послал. Денька через два, я думаю, ответят. А после я еще сам к ним схожу.

Нельзя сказать, чтобы Короку очень уж устраивала такая невозмутимость брата. Но держался Соскэ ровно, без излишней резкости и в то же время без трусливого стремления выгородить себя. Поэтому у Короку не хватило духу напустить на брата с упреками, и он сказал лишь:

— Выходит, пока все остается без изменений?

— Да, и в этом я виноват перед тобой. Даже с письмом затянул. Что поделаешь, за последнее время нервы совсем сдали.

В ответ на это заявление Короку кисло усмехнулся:

— Если ничего не выйдет, я, пожалуй, брошу учебу и подамся в Маньчжурию или Корею.

— Маньчжурию или Корею? Это безумие! Не ты ли сейчас говорил, что Маньчжурия место опасное и доверия не внушает.

Так братья ни до чего и не договорились.

— Ты пока не волнуйся. Может, образуется как-нибудь. Я тебе сразу сообщу, как только получу ответ. Тогда и потолкуем.

Перед уходом Короку заглянул в столовую, где О-Ёнэ сидела у хибати.

— Сестрица, до свиданья!

— О, вы уже уходите? — вышла к нему О-Ёнэ.

Ответ от Саэки, так тревоживший Короку, пришел, как и ожидали, через несколько дней. Предельно краткий, он мог бы уместиться на открытке, но был аккуратно вложен в конверт с трехсэновой маркой. И написан не Ясуноскэ, а теткой.

Соскэ заметил конверт сразу, когда, придя со службы и переодевшись, сел греться у хибаги. Кончик конверта чуть-чуть выглядывал из ящика стола. Отхлебнув зеленого чаю, Соскэ поспешил распечатать письмо.

— Оказывается, Ясу-сан уехал в Кобэ! — воскликнул он, продолжая читать.

— Когда? — О-Ёнэ как подавала мужу чай, так и застыла на месте.

— Точно не сказано, написано лишь, что «в скором времени должен вернуться в Токио», так что скоро, наверно, вернется.

— «В скором времени» — узнаю манеру тетушки.

Соскэ пропустил мимо ушей замечание жены, сложил письмо и, отбросив его, нервно потер шершавый, несколько дней не бритый, подбородок.

Письмо О-Ёнэ подняла, но читать не стала, а положила его на колени и взглянула на мужа.

— «В скором времени должен вернуться в Токио» — что она имела в виду, как ты думаешь?

— Что Ясуноскэ вернется, тогда она с ним посоветуется и сообщит:

— «В скором времени»... Значит, не пишет, когда именно он вернется?

— Нет.

Для достоверности О-Ёнэ пробежала письмо глазами и снова его сложила.

— Дай конверт. — О-Ёнэ протянула руку. Соскэ взял голубой конверт и передал жене. Конверт никак не раскрывался, и О-Ёнэ дунула в него, чтобы вложить письмо, затем ушла на кухню.

Соскэ тут же забыл о письме. Один из сослуживцев рассказывал ему сегодня, что недавно в районе вокзала Симбаси он видел английского генерала Китченера¹. Такие люди везде привлекают всеобщее внимание, размышлял Соскэ, в любом уголке мира. Может быть, это судьба? Его прошлое, как и будущее, так непохоже на будущее Китченера, что трудно поверить, будто оба они принадлежат к одной и той же породе, породе людей.

Погруженный в раздумья, Соскэ усиленно дымил сигаретой. С вечера задул ветер. Шум его все усиливался, словно

¹ Китченер Гораций Герберт (1850—1916) — английский генерал; в 1909 г. приезжал в Японию на военные маневры.

он ближе и ближе подступал к дому. Временами ветер стихал, и тогда становилось еще тоскливее. Сложив руки на груди, Соскэ думал о том, что скоро начнут топить очаги и повсеместно будут вспыхивать пожары.

Он заглянул на кухню. Там жена над раскаленными докрасна углями жарила на проволочной сетке нарезанную кусками рыбу. Склонившись над раковиной, Киё мыла соленые овощи. Женщины так усердно работали, что им даже некогда было перекинуться несколькими словами. Соскэ постоял, послушал, как шипит жир, капающий на угли, молча закрыл сёдзи и вернулся на прежнее место. О-Ёнэ даже не подняла глаз от рыбы.

Когда, покончив с едой, супруги сели возле хибати, О-Ёнэ сказала:

— Ничего не получается с Сазки.

— Что поделаешь. Придется ждать возвращения Ясу-сан.

— Может быть, стоит поговорить пока с тетушкой?

— Подождем немного. На днях что-нибудь выяснится.

— Но ведь Короку-сан сердится. А разве хорошо это? — нарочно сказала О-Ёнэ и улыбнулась. Сосредоточенно глядя вниз, Соскэ пытался воткнуть в воротник кимоно зубочистку.

Через день Соскэ сообщил Короку, какой ответ пришел от Сазки. На сей раз в конце письма была приписка, что, дескать, на днях все как-нибудь образуется. Словно тяжкое бремя свалилось с плеч Соскэ. Он, как обычно, ходил на службу и со службы, решив, видимо, не думать об этом деле, куда само оно каким-нибудь образом но даст о себе знать. Возвращался он поздно и в редкие дни заставлял себя потом выйти из дому. Гости у них почти не бывали, и случалось даже, что за ненадобностью они отправляли служанку спать совсем рано, когда еще не было и десяти. После ужина супруги, сидя все у того же хибати, еще с час беседовали на обычные темы, касающиеся их жизни, только обходили молчанием всяческие невзгоды, впрочем, не представляя себе, как, например, погасить задолженность в рисовой лавке, хотя близился конец месяца. И уже не было в их разговоре поистине удивительных и красотой своей, и цветистостью слов, неуловимо скользящих между влюбленными. А чтобы обменяться мнениями о каком-нибудь прочитанном романе или там научной книге — такое им и в голову не приходило. Все это осталось позади, и хотя до старости еще было далеко, жизнь с каждым днем становилась все бесцветнее, все скучнее. А может быть, так было всегда, может быть, оба они, сами скучные и бесцветные, соединили свои судьбы, чтобы, в силу обычая, влачить унылое супружеское существование.

С первого взгляда могло показаться, что супругов ничто не тревожит, даже судьба Короку. Сердобольная, как и все женщины, О-Ёнэ раз или два вскользь заметила мужу:

— Сходил бы в воскресенье к Ясу-сан, может, он уже вернулся?

— Что ж, можно и сходить, — как-то неопределенно отвечал Соскэ, тем дело и ограничивалось. В воскресенье Соскэ и не вспоминал об этом, а О-Ёнэ ему не напоминала. В погожий день она обычно говорила:

— Пошел бы погулял немного.

В ненастье замечала:

— Хорошо, что нынче воскресенье.

К счастью, Короку не появлялся. Целеустремленный по своей натуре, он, в чем-либо утвердившись, стоял на своем обычно до конца и в этом очень походил на Соскэ студенческих времен. Случалось, правда, что настроение у него резко менялось, он забывал о том, что еще вчера считал главным, и держался так, будто ничего не произошло. Такой же неуравновешенностью некогда отличался Соскэ, недаром они были братьями. Трезвому рассудку Короку претили лишние всяких чувств логические рассуждения, равно как и лишние здравого смысла чувства. О чем бы ни шла речь, он старался уловить главное и делал все, чтобы довести вопрос до его логического разрешения. Физическую силу и крепкое сложение Короку вполне заменяли неукротимая энергия и молодой задор.

При каждой встрече с братом Соскэ преследовала мысль, что это сам он возродился и оценивает собственные поступки прежними глазами. Порою это вызывало у него беспокойство. Порою — неприязнь. Может быть, судьба нарочно послала ему Короку, как живой укор за прошлое, когда он, Соскэ, поступал слишком уж своевольно. Думать об этом было страшно. Что, если те же испытания выпадут на долю Короку? При этой мысли Соскэ одолевала тревога, а еще чаще становилось как-то не по себе.

Однако до сих пор Соскэ ни разу не высказал брату своего неодобрения, ни единым словом не выдал своих опасений за его будущее. Он не держался с Короку как старший по возрасту, умудренный житейским опытом человек, а вел себя самым обычным образом, поскольку безрадостное существование, которое Соскэ сейчас влачил, как бы перечеркнуло все его прошлое.

После Соскэ было еще двое мальчиков, но они рано умерли, и разница между братьями составляла почти десять лет, к тому же расстались они, когда Короку было лет двенадцать — тринадцать. В силу некоторых обстоятельств Соскэ, студент первого курса, перевелся на учебу в Киото. Короку так и сохранился в памяти Соскэ как упрямец и озорник. Тогда еще жив был отец, семья не нуждалась, держали даже собственного рикшу, которому отвели комнату в доме для прислугов во дворе усадьбы. Сын рикши, тремя годами моложе Короку, был постоянным его товарищем в играх. Однажды

жарким летним днем мальчики привязали к длинному шесту мешочек из-под сладостей и, стоя под большой хурмой, состязались в ловле цикад. Соскэ увидел их и сказал сыну рикши:

— Кэмбо, возьми-ка надень, а то получишь солнечный удар. — И он протянул мальчику старенькую соломенную шляпу Короку. Короку задело, как это брат без спросу распорядился его вещью, он выхватил у Кэмбо шляпу, швырнул на землю и стал топтать. Соскэ, как был босой, спрыгнул с галереи и дал Короку подзатыльник. Этого случая оказалось достаточно, чтобы Соскэ стал считать Короку несносным мальчишкой.

Так и не закончив второго курса, Соскэ вынужден был уйти из университета, однако домой в Токио не вернулся, а поехал в Хиросиму, где прожил с полгода. За это время не стало отца. Мать умерла шестью годами раньше. Теперь в доме оставались наложница отца и шестнадцатилетний Короку.

Получив телеграмму от Саэки, своего дяди, Соскэ наконец приехал в Токио и после похорон занялся приведением в порядок семейных дел. Разбирая бумаги, он поразился скудости состояния и в то же время обилию долгов. Вместе с Саэки они пришли к выводу, что прежде всего необходимо продать дом — это единственный выход. Наложницу было решено отправить домой, снабдив солидной суммой. Короку временно оставался на попечении дяди. Но продать дом оказалось не так-то легко, и пришлось прибегнуть к помощи дяди, чтобы некоторое время как-то продержаться. Саэки был коммерсантом, питавшим склонность ко всякого рода спекуляциям, не брезговал никакими делами, но не раз оставался в убытке. Не менее алчный, нежели дядя, на его удочку часто попадался отец и в предвкушении обещанного ему крупного куша вкладывал в предприятия дяди изрядные деньги. Это было, еще когда Соскэ жил в Токио.

Сейчас, собственно, положение Саэки ничем особенно не отличалось от прежнего, однако он был многим обязан отцу Соскэ, а кроме того, легко приспосабливался к любым обстоятельствам. Потому он охотно взялся привести в порядок дела семьи Соскэ, который, в свою очередь, охотно передоверил дяде все касающееся продажи дома и земельного участка. Это было как бы вознаграждением Саэки за то, что в трудную минуту он выручил их деньгами.

— Что ни говори, а покупателя надо видеть насквозь, нельзя иметь дело с кем попало, если не хочешь потерпеть убытка.

Вещи, не представлявшие никакой ценности, только занимавшие место, дядя продал сразу. А для нескольких какэмоно и дюжины антикварных вещей решил искать покупателя не спеша, истинного ценителя, чтобы не продешевить. Соскэ согласился и попросил взять эти ценности на хранение.

После всего у Соскэ осталось наличными около двух тысяч иен. Соскэ вдруг вспомнил, что часть из них должна уйти на обучение Короку. Лучше, пожалуй, сразу оставить дяде нужную сумму, думал Соскэ, нежели самому посылать. При его нынешнем положении это большой риск. И как ни тяжело ему было, он передал дяде половину оставшейся суммы, попросив его взять на себя заботу о Короку. Соскэ не повезло, так пусть хоть брат выбьется в люди. Сейчас он оставит эту тысячу иен, а там видно будет: либо он сам поможет брату, либо дядя что-нибудь придумает. И Соскэ уехал в Хиросиму.

Примерно через полгода от дяди пришло письмо. Он сообщал, что удалось наконец продать дом, и теперь Соскэ может не беспокоиться. Подробностей никаких. Даже за сколько продан дом, Сазки не написал. Когда же Соскэ справился об этом, дядя ответил, что все в порядке, что вырученных денег вполне хватило на покрытие известного Соскэ долга, а об остальном они поговорят при встрече. Соскэ ухватился за эту фразу и, потолковав с женой, решил съездить в Токио. Однако О-Ёнэ со своей обычной улыбкой участливо сказала:

— Но ведь ты не можешь ехать, что же зря говорить об этом?

Услыхав столь неожиданное и бесспорное суждение, Соскэ скрестил руки на груди и некоторое время размышлял. Как ни крути, как ни верти, а он и в самом деле связан обстоятельствами, из которых ему не вырваться. И все осталось по-прежнему.

Не находя выхода, Соскэ обменялся с дядей еще несколькими письмами, но все безрезультатно. Лишь в каждом письме повторялась все та же фраза «при встрече».

— Так ничего не выйдет,— поглядев сердито на жену, сказал однажды Соскэ. Месяца три спустя ему неожиданно представилась возможность вместе с О-Ёнэ съездить в Токио. Но тут он простудился и слег, а потом еще заболел брюшным тифом и провалялся в постели два с лишним месяца. Он стал так слаб, что после выздоровления почти месяц не мог ходить на службу. А вскоре был вынужден покинуть Хиросиму и переехать в Фукуоку. Незадолго до переезда он было решил воспользоваться случаем и выбраться ненадолго в Токио, но и на сей раз обстоятельства складывались не в его пользу. Так и не осуществив своего намерения, Соскэ сел в поезд на Фукуоку. К тому времени деньги, вырученные от продажи имущества в Токио, были на исходе. Приехав в Фукуоку, он чуть ли не два года провел в ожесточенной борьбе за существование. Вспоминая студенческие времена в Киото, когда под самыми различными предложениями он мог в любое время потребовать от отца крупную сумму и потратить ее как благорассудится, Соскэ с суеверным страхом думал, что уйти от судьбы невозможно, что рано или поздно приходится

расплачиваться за содеянные ошибки. Безмятежная юность теперь представлялась Соскэ подернутым дымкой золотым временем.

— О-Ёнэ, я ведь ничего не предпринимаю, — говорил Соскэ, когда становилось неважно. — Может, снова обратиться к дяде?

О-Ёнэ, конечно, мужу не перечила. Лишь, потупившись, говорила с ноткой безнадежности:

— Бесполезно. Ведь у дяди нет к тебе доверия.

— Возможно. Так ведь и я не очень-то ему доверяю, — запальчиво возражал Соскэ, но, глянув на потупившуюся О-Ёнэ, сразу, казалось, терял мужество. Такие разговоры вначале происходили раз или два в месяц, потом раз в два или три месяца, пока, наконец, Соскэ не заявил однажды:

— Ладно, пусть только он поможет Короку. Об остальном мы потолкуем, когда мне удастся побывать в Токио. Слышишь, О-Ёнэ, на том... Так и решим...

— Что ж, так лучше всего, пожалуй, — ответила О-Ёнэ.

И Соскэ перестал думать о Саэки. Обратиться к нему с просьбой о помощи Соскэ мешало прошлое. И он так ни разу и не написал дяде по этому поводу. От Короку время от времени приходили письма, чаще короткие и официальные. Соскэ помнил Короку совсем наивным мальчиком, которого он видел, когда приезжал хоронить отца. Ему и в голову бы не пришло поручить этому мальчику от своего имени вести переговоры с дядей.

Супруги жили, согревая собственным теплом друг друга, словцо нищие в лачуге, лишенной солнечного света. И лишь когда бывало нестерпимо тяжело, О-Ёнэ говорила Соскэ:

— Ничего не поделаешь!

— Как-нибудь выдержим, — отвечал в таких случаях Соскэ.

Покорность судьбе и безграничное терпение — вот все, что им осталось в жизни: ни луча надежды впереди, ни тени будущего. О прошлом они, словно сговорившись, никогда не вспоминали.

— Вот увидишь, — изредка утешала мужа О-Ёнэ, — скоро все переменится к лучшему. Не может ведь всегда быть плохо.

В такие минуты Соскэ казалось, будто сама судьба издевается над ним, вложив в уста его жены эти простые, сердечные слова, и в ответ он лишь с горькой иронией усмехался. Если же О-Ёнэ, будто не замечая, продолжала в том же духе, он решительно возражал:

— Таким, как мы, не на что надеяться.

И жена, спохватившись, умолкала. После этого оба невольно погружались в темную бездонную пропасть — воспоминания далекого прошлого, и так некоторое время сидели, молча глядя друг на друга.

Они сами лишили себя будущего, смирились и решили идти по этой беспросветной жизни рука об руку, вдвоем. Что касается денег, вырученных дядей за дом и землю, то и здесь они не питали каких-либо надежд. Время от времени Соскэ, будто вдруг вспомнив, говорил:

— А ведь за дом и землю дядя самое малое выручил вдвое больше того, что дал нам. Глупо как-то получилось!

— Опять ты об этом? — с печальной улыбкой отзывалась О-Ёнэ. — Ни о чем больше не думаешь. Но разве не ты сам передоверил дяде это дело?

— А что мне оставалось делать? Другого выхода в то время не было.

— Быть может, именно поэтому дядя счел справедливым оставить за собой дом и землю в качестве компенсации, — сказала О-Ёнэ.

Соскэ подумал, что О-Ёнэ, пожалуй, права, что у дяди и в самом деле были некоторые основания распорядиться таким образом, тем не менее он возразил:

— И все же согласись, что дядя поступил не очень-то красиво.

Однако после каждого такого разговора вопрос этот отодвигался все дальше и дальше.

Так, ни с кем не общаясь, супруги прожили в согласии два года. И вот, как раз когда второй год подходил к концу, Соскэ неожиданно встретился с бывшим своим однокурсником по имени Сугихара, с которым некогда был очень дружен. По окончании университета Сугихара выдержал экзамен на должность чиновника высшего ранга и теперь служил в одном из министерств. В Фукуоку он приехал по делам службы, о чем Соскэ узнал из местных газет, даже было указано точное время прибытия и гостиница, где остановился Сугихара. Но Соскэ, неудачник, стыдился искать встречи с бывшим другом, так преуспевшим в жизни. Уж чересчур разителен был между ними контраст. Были и другие причины, побуждавшие его избегать встреч со старыми друзьями. Словом, у него не было ни малейшего желания увидеться с Сугихарой.

Каким образом стало известно Сугихаре, что Соскэ прозябает в этом городке, сказать трудно, только он во что бы то ни стало пожелал свидеться со старым другом, и Соскэ вынужден был уступить. Именно благодаря этому Сугихаре Соскэ удалось перебраться в Токио. Когда от Сугихары пришло письмо, что дело наконец решилось, Соскэ, отложив в сторону палочки для еды, сказал:

— О-Ёнэ, наконец-то мы поедem в Токио!

— Это чудесно! — отозвалась О-Ёнэ, взглянув на мужа.

Первые две-три недели в Токио промчались с головокружительной быстротой: столько было хлопот и суеты. Обзаведение новым домом, новая работа, бешеный ритм жизни

большого города — все это и днем и ночью будоражило, мешало спокойно мыслить и спокойно действовать.

Когда, приехав вечерним поездом на вокзал Симбаси, они после долгой разлуки увидели дядю с тетей, Соскэ не заметил на их лицах радости встречи. Или, может быть, это выражение скрыл от Соскэ падавший на них электрический свет? Из-за происшествия в пути поезд прибыл с небывалым опозданием на целых полчаса, и Саэки с женой всем своим видом старались показать, как они устали, словно это Соскэ нарочно заставил их ждать.

— О, как вы постарели, Со-сан, — это было первое, что услышал тогда Соскэ от тетки. Он представил О-Ёнэ.

— Это та самая... — Тетка замялась и взглянула на Соскэ. О-Ёнэ в растерянности лишь молча поклонилась.

Короку, разумеется, тоже пришел их встретить. Соскэ был поражен, увидев, как сильно вырос младший брат, он, кажется, и его самого перерос. Короку как раз окончил среднюю школу и готовился поступить в колледж. Он, робея, поздоровался с Соскэ, не назвал его «братцем», не сказал, как это принято, «добро пожаловать».

С неделю Соскэ и О-Ёнэ снимали номер в гостинице, а потом переехали в дом, в котором жили и поныне. Первое время дядя с тетей всячески им помогали. Прислали кое-что из собственной кухонной утвари, заявив, что вряд ли стоит покупать новую, дали шестьдесят иен «на обзаведенье».

Свыше месяца ушло на всякие хозяйственные хлопоты, и Соскэ никак не мог выбрать время, чтобы потолковать с дядей о деле, не дававшем ему покоя, когда он еще жил в провинции.

— Ты говорил с дядей? — спросила его как-то О-Ёнэ.

— Гм... Нет, пока не говорил, — ответил Соскэ с таким видом, будто совсем забыл об этом.

— Странно... А сам так волновался, — слабо улыбнулась О-Ёнэ.

— Видишь ли, все недосуг, а для такого разговора необходимо спокойствие, — оправдывался Соскэ.

Дней через десять он сам заговорил об этом.

— О-Ёнэ, пока я так ничего и не спросил у дяди. Противно начинать об этом разговор.

— Ну и не надо, раз противно.

— Не надо?

— Зачем ты спрашиваешь? Ведь это, в сущности, твое личное дело. А мне, в общем-то, все равно.

— Тогда я так сделаю. Спрошу при первом же удобном случае. Он скоро представится, я уверен. Не начинать же с дядей официальный разговор!

Так Соскэ оттянул на время это весьма неприятное для него дело.

Короку жил у дяди в полном достатке. Однако с дядей у них как будто бы уже была договоренность, что если Короку выдержит экзамены в колледж, он сразу же переселится в общежитие. Со старшим братом Короку ни о чем не советовался, не то что с дядей, тем более что Соскэ совсем недавно приехал в Токио. Причина, возможно, заключалась в том, что именно от дяди он получал деньги на учение. Зато с двоюродным братом Ясуноскэ в силу сложившихся обстоятельств Короку был очень дружен, совсем как со старшим братом.

Соскэ редко бывал у дяди, и то больше из приличия, а на обратном пути его обычно мучило ощущение ненужности этих визитов. Случалось и так, что, обменявшись несколькими фразами о погоде, Соскэ с трудом заставлял себя посидеть хотя бы еще с полчаса, болтая о разных разностях. Да и дядя держал себя как-то скованно и неловко.

— Посидите, куда вам торопиться, — уговаривала тетка, отчего Соскэ становилось еще тягостнее. Но если он подолгу у них не бывал, то чувствовал беспокойство, близкое к угрызениям совести, и снова шел с визитом.

— Короку доставляет вам столько хлопот, — говорил изредка Соскэ, склоняя голову в благодарном поклоне, но ни единым словом не упоминая ни о дальнейших расходах на учебу Короку, ни о проданных дядей земле и доме. Уж очень тяжело было заводить об этом разговор. И тем не менее визиты к дяде, не доставлявшие Соскэ ни малейшего удовольствия, были обусловлены не столько родственными чувствами или сознанием долга, сколько таившимся в глубине души стремлением уладить мучившее его дело, как только представится удобный случай.

— Как переменялся Со-сан,— часто говорила тетка, на что дядя отвечал:

— Да, переменялся. Что ни говори, а от подобных перипетий так сразу не оправившись. — Все это дядя произносил многозначительно: страшная, мол, штука судьба.

— И в самом деле,— поддакивала тетка, — разве можно с такими вещами шутить. Таким был живчиком, даже чересчур шумным, а что с ним стало за каких-то там три года! Поглядеть на него, так он старик в сравнении с тобой.

— Ну, уж это ты слишком, — отвечал дядя.

— Да я не о внешности говорю, а о том, как он держится.

После приезда Соскэ в Токио такие разговоры между супругами Сазки стали обычными. Соскэ и в самом деле выглядел каким-то постаревшим, когда бывал у них.

О-Ёнэ со дня приезда в Токио ни разу не перешагнула порог их дома, что-то, видимо, ее удерживало. Сама она вежливо их принимала, называла «дядюшка» и «тетушка», но на их приглашения «загляните как-нибудь» лишь кланялась и благодарила, однако сходить к ним так и не собралась. Как-то даже Соскэ предложил ей:

— Может, наведишь разок дядю?

На что О-Ёнэ, как-то странно на него взглянув, ответила:

— Пожалуй, но...

С тех пор Соскэ больше не заговаривал на эту тему. Так прошло около года. И вот дядя, который, по признанию собственной жены, был душой моложе Соскэ, неожиданно скончался от менингита. Несколько дней он лежал с признаками простуды, но однажды, сходяв по нужде, стал мыть руки и как был, с черпаком в руке, упал без памяти и чуть ли не через сутки скончался.

— О-Ёнэ, дядя умер,— сообщил Соскэ, — а я так и не успел с ним поговорить.

— Все о том же? — удивилась О-Ёнэ. — Я думала, у тебя давно пропала охота, но ты, оказывается, настойчивый.

Прошел примерно еще год, сын дяди, Ясуноскэ, окончил университет, Короку перешел на второй курс колледжа. К этому времени тетка с Ясуноскэ переехали в тот дом, где жили и сейчас.

На третий год во время летних каникул Короку отправился на полуостров Босю к Токийскому заливу, где были отличные морские купанья. Там он провел свыше месяца, до сентября. Короку пересек полуостров, вышел на побережье Тихого океана и, лишь пройдя вдоль знаменитого пляжа в девятьно девять ри¹, вспомнил, что пора возвращаться в Токио. К Соскэ он явился дня через два-три после приезда, когда было еще по-летнему тепло. На почерневшем от загара лице Короку ярко блестели глаза, и выглядел он настоящим дикарем. Пройдя в комнату, куда редко заглядывало солнце, он в ожидании брата лег на постель. Не успел Соскэ появиться, как Короку вскочил:

— Брат, у меня к тебе дело.

Соскэ несколько опешил, таким серьезным тоном это было сказано, и, даже не переодевшись, хотя в европейском костюме было нестерпимо жарко, весь обратился в слух.

Как выяснилось со слов Короку, несколько дней назад, когда он вернулся с побережья, тетка объявила, что последний год дает ему деньги на учебу, выразив при этом сожаление. Сразу после смерти отца Короку взял на попечение дядя. Мальчика учили, одевали, давали ему карманные деньги, словом, ни в чем не отказывали. Короку к этому привык и ни разу не подумал о том, что кто-то платит за его учебу. Поэтому слова тетки, будто приговор, повергли Короку в смятение, и он не нашелся что сказать.

Тетка вроде бы и в самом деле была огорчена, так показалось Короку. С чисто женским пристрастием к подробностям она целый час пространно объясняла, почему не сможет больше о нем заботиться. Причин было много: нарушившая

¹ Ри — 3,927 километра.

семейное благополучие смерть дяди, окончание Ясуноскэ университета и возникший в связи с этим вопрос о его женитьбе.

— Я так старалась дать тебе возможность закончить колледж, чего только не делала, но...

Короку слово в слово повторил все, что сказала тетка. Во время разговора с пей он вдруг вспомнил, что Соска после похорон отца, уже перед отъездом, сказал Короку, что оставляет деньги на его учебу дяде. Но когда он спросил об этом тетку, та с удивлением ответила:

— Какую-то небольшую сумму Со-сан действительно оставил, но тех денег давно уже нет. И дядя, когда был жив, полностью тебя содержал.

Какую сумму и на сколько лет оставлял брат, этого Короку не знал и. потому ни слова не мог возразить тетке. А та еще присовокупила:

— Ты ведь не один, у тебя есть старший брат, с которым можно посоветоваться. Я тоже непременно повидаюсь с Со-сан и подробно расскажу, как обстоят дела. А то и Со-сан к нам не приходит, и я давно у него не была, потому и не могла поговорить о тебе.

Выслушав Короку, Соскэ поглядел на него и сказал:

— Ума не приложу, что делать!

Прежде Соскэ, всплыв, тотчас же побежал бы к тетке объясняться. Как ни странно, он не испытывал к брату неприязни за то, что, всегда холодный и безразличный, он вдруг разоткровенничался, видимо, забыв о том, что совсем недавно великолепно обходился без Соскэ.

Блестящее будущее, созданное воображением Короку, рушилось у него на глазах, и, не зная, кого в этом винить, он уходил вконец подавленный. Проводив его взглядом, Соскэ некоторое время стоял на пороге темной прихожей, устремив взор на вечернее небо. Затем он принес с заднего дворика два больших банановых листа, расстелил их на галерее возле гостиной, сел, рядом усадил О-Ёнэ и все ей рассказал.

— Может, тетушка хочет передать нам его на попечение, как ты думаешь? — спросила О-Ёнэ.

— Надо встретиться и поговорить, иначе не узнаешь, что у нее на уме, — ответил Соскэ.

— Да, конечно, — согласилась О-Ёнэ, обмахиваясь веером. Соскэ ничего больше не сказал, всматриваясь в полоску неба, видневшуюся между крышей и обрывом. О-Ёнэ первая нарушила молчание:

— Неужели тетя не понимает, что нам это не под силу?

— Ну, конечно же, совсем не под силу, — поддакнул Соскэ.

Они заговорили о другом и к этой теме больше не возвращались. Дня через два-три, как раз была суббота, Соскэ со службы зашел к тетке. Увидев его, она воскликнула с преувеличенным радушием:

— О, кого я вижу!

Пересилив возникшее было неприятное чувство, Соскэ заговорил о том, что его мучило последние годы. И тетке волей-неволей пришлось пуститься в объяснения. Она сказала, что точно не помнит, сколько выручил дядя за усадьбу, но после покрытия долга, сделанного ради Соскэ, оставалось не то четыре с половиной, не то четыре тысячи триста иен. Дядя считал себя в праве распорядиться этими деньгами, как собственными, поскольку Соскэ бросил на него усадьбу, а сам уехал. Но дяде не хотелось, чтобы кто-нибудь упрекнул его в том, будто он нажился на Соскэ, и он решил положить деньги в банк на имя Короку. Кстати, Соскэ за его поступок могли бы вообще лишить наследства, так что у него нет оснований претендовать хоть на единый грош из этих денег.

— Не сердитесь, Со-сан. Я лишь передаю вам слова дяди, — как бы оправдываясь, сказала тетка. Соскэ ничего не ответил, и тетка продолжала:

— На деньги Короку, положенные в банк, дядя, на свою беду, купил дом в районе Канда, но дом сторел раньше, чем успели его застраховать. Поскольку Короку ничего не знал о покупке дома, то и о случившемся несчастье ему, само собой, тоже не сказали. Вот как обстоят дела, — сказала тетка. — Мне жаль вас, Со-сан, но теперь поздно говорить об этом. Такова судьба. Смиритесь. Был бы жив дядюшка, он, возможно, вышел бы из положения. Ну что в конце концов за тяжесть еще один человек в семье. Даже я, будь только это в моих силах, возместила бы Короку стоимость дома или же, на худой конец, дала бы ему возможность доучиться, но... — Тут тетка посвятила Соскэ в еще одно сугубо семейное дело, касавшееся Ясуноскэ.

Единственный сын дяди, Ясуноскэ, этим летом только окончил университет. Дома его лелеяли и холили, общался он лишь со своими однокурсниками и никаких забот не знал. Словом, хорошо воспитанный, он вступил в жизнь, совсем ее не зная. Инженер-механик, он мог поступить на службу в одну из многочисленных фирм Японии, несмотря на то что промышленная лихорадка постепенно начала стихать. Однако Ясуноскэ, видимо, унаследовал от отца предпринимательскую жилку и был одержим стремлением начать собственное дело. Как раз в этот момент ему подвернулся один из бывших студентов инженерно-технического факультета, окончивший его раньше Ясуноскэ. Он уже успел построить небольшую фабрику в районе Цукидзима и теперь самостоятельно вел дело. Они потолковали, и Ясуноскэ решил попробовать войти с ним в долю, а для этого, разумеется, нужен был хотя бы небольшой капитал. В этом, собственно, и заключалось названное теткой «сугубо семейным» дело.

— Все до единой акции, а у нас их было немного, Ясуноскэ вложил в это предприятие, и сейчас мы остались букваль-

но без гроша. На первый взгляд может показаться, будто живем мы в достатке. Оно и не удивительно: семья небольшая, собственный дом. Приходит на днях одна знакомая и заявляет, что мало кто живет сейчас так беспечно, только-де и знаете, что мыть да протирать листья фикуса. Это она, конечно, чересчур, однако...

Наконец тетка исчерпала все свои пространные истории, но Соскэ молчал. Он просто не знал, что сказать, объясняя себе собственную растерянность неврастением, лишившей его способности быстро и ясно мыслить. Опасаясь, как бы Соскэ не усомнился в правдивости ее слов, тетка даже назвала сумму капитала, внесенного Ясуноскэ, что-то около пяти тысяч иен, и сказала, что некоторое время сыну придется жить на мизерную зарплату и дивиденд с этих пяти тысяч.

— Да и какой дивиденд, еще неизвестно, — добавила тетка. — В лучшем случае это будет десять, ну пятнадцать процентов, но кто поручится, что не останешься в проигрыше.

Не похоже было, что тетка все это говорила, движимая корыстью, и Соскэ мучился, не зная, что сказать. В то же время было бы нелепо, и Соскэ это сознавал, уйти ни с чем, не поговорив о будущем Короку. Поэтому он не стал больше ворошить прошлое и спросил лишь, как распорядились той тысячей иен, которую он, уезжая, оставил дяде для платы за учение Короку.

— Что касается этих денег, — ответила тетка, — то они полностью ушли на содержание Короку. Только за время его обучения в колледже было потрачено почти семьсот иен.

Кстати Соскэ поинтересовался судьбой книг, картин и антикварных вещей, оставленных дяде на хранение.

— С ними произошла какая-то глупая история, — начала было тетка, но, заметив, как изменился Соскэ в лице, спросила: — Неужели дядя вам ничего не говорил?

Соскэ ответил, что нет, не говорил. Тут тетка разохалась и заявила:

— Значит, он просто забыл! — И она стала излагать все по порядку, не упустив ни единой подробности.

Вскоре после отъезда Соскэ дядя поручил продать эти вещи некоему Санада, с которым был в добрых отношениях. Этот Санада знал толк в книгах, равно как и в антикварных ценностях, обычно посредничал при их купле-продаже и знал, как говорится, все ходы и выходы. Он охотно взялся за поручение дяди, а потом одну за другой стал брать у него вещи, ссылаясь на то, что покупатель хочет посмотреть. Брал вроде бы ненадолго, но так и не возвращал, отговариваясь тем, что ему самому еще не вернули. А потом он, видимо, окончательно запутавшись, куда-то скрылся.

— Знаете, Со-сан, когда недавно мы переезжали, я обна-

ружила вашу ширму, и Ясу-сан сказал, что при первой же возможности надо вам ее вернуть.

Тетка говорила таким тоном, словно считала пропавшие вещи сущими безделицами, и потому, естественно, не испытывала ни малейших угрызений совести. Но Соскэ на нее за это не сердился, полагая, что она и в самом деле в этих вещах ничего не смыслила, тем более что и сам он ими ни разу не поинтересовался.

Но когда тетка сказала:

— Может, заберете свою ширму? Она нам совершенно не нужна. А говорят, нынче такие вещи очень поднялись в цене, — Соскэ охотно согласился.

Соскэ сразу узнал хорошо знакомую ему двустворчатую ширму, когда из кладовки ее вынесли на свет. Внизу она вся была разрисована крупными японскими колокольчиками, цветами «женская краса», вьющимися растениями, кустами хаги, над которыми сияла серебром полная луна. Сбоку по вертикали было написано:

Тропинка в полях.
Посредине луны осенней
Соцветья «женской красы»¹
*Kiuti*²

Соскэ пододвинулся вплотную, внимательно разглядывая потемневшую от времени серебряную краску, желтизну на листьях, как бы приподнятых ветром, большую красную печать с именем Хоицу³ посередине, и невольно вспомнил о том времени, когда еще жив был отец.

С наступлением Нового года отец непременно доставал эту ширму из полутемной кладовой, ставил ее в прихожей, впереди помещал поднос из сандалового дерева с высокими краями для визитных карточек и принимал новогодние поздравления. В нише гостиной неизменно вешали два свитка с изображением тигра, чтобы Новый год был счастливым. Как-то отец сказал ему, что эти свитки написал не Ганку⁴, а Гантай⁵, и Соскэ до сих пор это помнил. На одном из свитков с изображением тигра, который пьет воду, было пятно. Отец постоянно огорчался, что кончик тигриного носа немного испачкан тушью, и никогда не упускал случая ласково, но не без досады, укорить Соскэ: «Это ты сделал, когда был маленьким, помнишь?»

¹ Перевод В. Сановича.

² Киити — псевдоним японского художника Судзуки Мото-нага (1796—1858), ученика Хоицу.

³ Хоицу — японский художник Сакаи Хоицу (1761—1828).

⁴ Ганку — японский художник (1749—1838). Подлинная фамилия Сазки, позже принял фамилию Ган и имя Ку.

⁵ Гантай — старший сын Ганку, художник (1782—1865).

— Тетушка, так я возьму ее,— сказал Соскэ, сидя с благоговением перед ширмой и размышляя о безвозвратно ушедшем времени.

— Да, да, разумеется, — дружелюбно откликнулась тетка. — Если хотите, я пришлю ее.

Соскэ попросил тетку оказать ему такую любезность и на том распрощался. После ужина они вместе с О-Ёнэ, надев белые юката, вышли на галерею и там сидели рядышком в темноте, наслаждаясь прохладой и беседуя о событиях прошедшего дня.

— А с Ясу-сан ты не виделся? — спросила О-Ёнэ.

— Тетка сказала, что даже в субботу он с утра до вечера торчит на фабрике.

— Вероятно, ему приходится много работать, — только и сказала О-Ёнэ, не произнеся ни единого нелестного слова в адрес дядюшки и тетушки.

— Что же теперь будет с Короку? — спросил Соскэ.

— Трудно сказать... — ответила О-Ёнэ.

— Здраво рассуждая, мы вправе предъявить им серьезные обвинения, даже дойти до суда, но дела все равно не выиграем, доказательств нет.

— Стоит ли доводить дело до суда, — быстро проговорила О-Ёнэ. Соскэ ничего не ответил, лишь горько усмехнулся.

— Съезди я тогда в Токио, не случилось бы такого.

— Ну да. А потом все это уже утратило всякий смысл.

Соскэ и О-Ёнэ поглядели на узкую полосу неба между карнизом крыши и откосом, поговорили о завтрашней погоде и легли спать.

В воскресенье Соскэ позвал Короку и передал ему свой разговор с теткой.

— Не понимаю, отчего тетка от тебя все скрыла, то ли зная твой горячий нрав, то ли считая тебя ребенком. Во всяком случае, дела обстоят именно так.

Но что пользы было Короку от объяснений, даже самых подробных. И, надувшись, он сердито посмотрел на Соскэ, бросив:

— Вот оно что!

— Ничего не поделаешь. Поверь, ни у тетушки, ни у Ясу-сан нет дурных побуждений.

— Не сомневаюсь, — заявил Короку.

— Можешь винить меня, если тебе угодно. Я всегда виноват во всем. Такой уж я человек.

Соскэ лег и закурил. Короку тоже молчал, разглядывая стоявшую в углу двусторчатую ширму.

— Узнаешь? — спросил наконец Соскэ.

— Узнаю.

— Позавчера принесли от Саэки. Это все, что осталось от отцовских вещей. Если бы за нее можно было выручить приличную сумму, я хоть сейчас отдал бы ее тебе, но на одну

выцветшую ширму университет не окончишь, — сказал Соскэ и со слабой улыбкой добавил: — Нелепо, конечно, в жару держать в комнате такую вещь, но просто некуда ее девать.

Короку всегда были чужды беспечность и нерасторопность брата, они его даже раздражали, но в критические минуты он терял способность возражать и спорить. Вот и сейчас, утратив весь свой пыл, Короку произнес:

— Ширма ширмой, но что будет со мной дальше?

— Пока не знаю. Но этот вопрос надо решить до конца года, так что подумай хорошенько. Я тоже буду искать выход.

Короку стал горячо сетовать на неопределенность положения, которую по складу своего характера он совершенно не выносил. Она не давала ему покоя ни на лекциях в колледже, ни дома, когда надо готовиться к занятиям. Соскэ повторил все то, что уже сказал, когда же раздражение Короку достигло предела, заметил:

— Чем без конца жаловаться и упрекать, бросил бы учебу и уехал куда-нибудь. Ты ведь решительный, не то что я!

На этом разговор закончился, и Короку ушел. Соскэ сходил в баню, поужинал, а вечером вместе с О-Ёнэ пошел на праздник в ближайший храм. Там они недорого купили два цветка в горшках и вернулись домой. Оба горшка они прямо через окно выставили в сад, поскольку от кого-то слышали, что цветы очень любят вечернюю росу.

— Как дела у Короку-сан? — спросила О-Ёнэ, когда они легли в постель.

— Все так же, — ответил Соскэ. Спустя минут десять супруги уже мирно спали.

На следующий день Соскэ пошел на службу и за недостатком времени перестал думать о Короку. Впрочем, и дома, на досуге, он старался избегать этих докучливых мыслей, тяжким бременем давивших на его усталый мозг. В прежние времена он любил математику, отличался завидным упорством и достаточной ясностью ума, чтобы решать весьма сложные геометрические задачи, и когда сейчас Соскэ вспоминал об этом, его пугала происшедшая в нем перемена, слишком резкая для сравнительно короткого отрезка времени.

И все же не было дня, чтобы где-то в самой глубине его сознания не всплыл образ Короку, и тогда появлялось стремление непременно найти выход, что-то придумать. Но в следующий же момент Соскэ гнал эту мысль, говоря сам себе: «Спешить некуда!» Однако совесть, словно крюк, торчала в сердце, не давая покоя.

Между тем наступил конец сентября, ярче сиял Млечный Путь по ночам, и вот как-то ранним вечером неожиданно явился Ясуноскэ. Он мог прийти только по делу, настолько редким был гостем, и Соскэ с О-Ёнэ сразу это поняли. Они не ошиблись: Ясуноскэ пришел потолковать о Короку.

Как выяснилось, Короку совсем недавно вдруг пришел

к Ясуноскэ на фабрику и заявил, что, дескать, от старшего брата узнал во всех подробностях историю, касающуюся денег, оставшихся после отца. В конце концов обидно столько лет учиться и не поступить в университет. Он во что бы то ни стало хочет продолжать учебу, если для этого даже понадобится залезть в долги. Вот он и пришел спросить совета. Когда же Ясуноскэ ответил, что поговорит с Соскэ, Короку вдруг резко воспротивился и заявил, что с братом нечего советовать, не тот он человек — сам бросил университет, а теперь хочет, чтобы и другие остались недоучками. Если разобраться, во всей этой истории есть доля вины брата, однако Соскэ сохраняет полное спокойствие и безразличие. Поэтому вся надежда Короку на Ясуноскэ. Может показаться странным, что он обратился к Ясуноскэ после того, как тетка отказала, однако Короку полагает, что Ясуноскэ лучше его поймет. Настроен был Короку весьма воинственно и, судя по всему, отступать не собирался.

Ясуноскэ стал уверять Короку, что Соскэ тоже о нем очень беспокоится и в ближайшие дни придет к ним обсудить этот вопрос. Насилу удалось успокоить Короку и отправить домой. Уходя, Короку вынул из кармана несколько листов бумаги, объяснив, что причины пропуска занятий полагается излагать письменно, попросил Ясуноскэ поставить личную печать и добавил, что регулярно посещать колледж не намерен, куда не решится вопрос о его дальнейшей учебе.

Сославшись на занятость, Ясуноскэ не просидел и часа. Как быть с Короку, они так и не решили, обменявшись на прощанье примерно такими фразами: «Как-нибудь все вместе соберемся, не спеша обсудим и решим, а если позволят обстоятельства, пригласим и Короку». После ухода Ясуноскэ О-Ёнэ спросила мужа:

— Что ты обо всем этом думаешь?

Сунув руки за пояс кимоно и слегка ссутулившись, Соскэ вместо ответа сказал:

— Хотелось бы мне снова стать таким, как Короку! Я вот тревожусь, как бы его не постигла та же участь, что и меня, а ему плевать на какого-то там старшего брата!

О-Ёнэ унесла чайную посуду на кухню, и после этого разговор больше не возобновлялся. Высоко в небе холодно белел Млечный Путь.

Следующая неделя прошла спокойно, ни от Короку, ни от Сэки не было вестей. Когда О-Ёнэ и Соскэ по утрам вставали, еще сверкала роса, а полоска неба, видневшаяся из-под крыши, была багряной от солнца. Вечерами они располагались у лампы, стоявшей на закопченной бамбуковой подставке, отбрасывая на стену длинные тени. Случалось, что, разговаривая, они вдруг умолкали, и в наступившей тишине слышалось лишь тиканье стенных часов.

Мало-помалу они все же как-то решили вопрос о Короку.

Пожелает он дальше учиться или не пожелает, было очевидно, что на время ему все равно придется съехать с квартиры, которую он снимал, и либо вернуться к тетушке, либо поселиться у Соскэ. Если хорошенько попросить тетку и Ясуноскэ, они, пожалуй, согласятся хоть ненадолго приютить племянника. Но справедливость требует, чтобы Соскэ обеспечил плату за учебу и карманные расходы. А позволит ли его бюджет это осуществить? И так прикидывали О-Ёнэ и Соскэ и этак, но пришли к выводу, что это им не под силу.

— Ничего не выйдет!

— Совершенно невозможно!

Рядом со столовой, где они сейчас сидели, находилась кухня, справа от кухни — комната для прислуги, слева — еще маленькая комната в шесть татами. В ней особой нужды не было — вместе с прислугой в доме их жило всего трое. В этой комнате стояло трюмо О-Ёнэ, и по утрам, умывшись, Соскэ приходил туда переодеться.

— Может, там и поселим Короку? — предложила О-Ёнэ. Жить и питаться он будет у нас, немного денег добавит тетушка, как-нибудь перебьемся, пока Короку окончит университет.

— С одеждой тоже можно выйти из положения, — продолжала О-Ёнэ, — у тебя и у Ясуноскэ-сан есть старые вещи, перешьем их, и пусть носит.

Соскэ тоже так думал, но молчал. Зачем доставлять лишние хлопоты О-Ёнэ, да и себе? Но когда жена сама об этом заговорила, у него не хватило духу ей перечить.

Соскэ написал Короку: «Если ты согласен, я еще раз поговорю с теткой». Получив письмо, Короку примчался в тот же вечер. Ликующий, он шел под дождем, стучавшим каплями по зонту, словно деньги на учебу уже были у него в руках.

— Знаете, отчего тетушка завела тогда этот разговор? — начала О-Ёнэ. — Она считала, что мы вас совсем забросили. Да будь у нас обстоятельства чуть получше, ваш брат давно бы что-нибудь придумал, но вы ведь знаете, что от него, в сущности, ничего не зависело. А сейчас, если мы обратимся к ним с такой просьбой, пожалуй, ни тетушка, ни Ясу-сан нам не откажут. Все образуется, я уверена, так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь.

Окрыленный этими заверениями, Короку возвращался к себе, и снова дождь стучал каплями по его зонту. Через день он явился справиться, не ходил ли еще брат к родственникам. А через три дня зашел к тетке и, узнав, что Соскэ еще не было, пошел к О-Ёнэ просить, чтобы она поторопила мужа.

Шли дни, и, пока Соскэ все обещал: «Схожу, схожу», — наступила осень. И вот в один из ясных воскресных дней, когда уже завечерело, Соскэ решил наконец что-то предпринять и написал тетке письмо, на которое пришел ответ, что Ясуноскэ уехал в Кобэ.

Тетка пришла к ним в субботу в третьем часу. С самого утра небо заволочло тучами, подул северный ветер и неожиданно похолодало. Грея руки над круглым бамбуковым очагом, тетка заметила:

— Что, О-Ёнэ-сан, в этой комнате, пожалуй, только летом хорошо, а зимой, видно, холодновато?

Вьющиеся волосы тетки были уложены узлом на затылке, старинные шнурки хаори повязаны на груди. Тетка любила потягивать сакэ, вероятно, до сих пор выпивала перед ужином, оттого, возможно, имела здоровый цвет лица, была полной и потому выглядела весьма молодо. После ее ухода О-Ёнэ обычно говорила Соскэ: «Тетушка совсем еще молодая». Соскэ отвечал, что ничего в этом нет удивительного, поскольку родила она за свою жизнь всего одного ребенка. О-Ёнэ с ним соглашалась, потом шла в маленькую комнату и разглядывала свое лицо перед зеркалом. При этом ей казалось, что от раза к разу щеки становятся все более впалыми. Ничего не было для О-Ёнэ тяжелее мысли о материнстве. У хозяйина дома была куча ребятишек, они прибежали в сад на краю обрыва, качались на качелях, играли в пятнашки, и от их веселых голосов О-Ёнэ бывало горько и пусто. Вот сидит перед нею тетка. Полная, подбородок двойной, так и веет от нее благополучием. Даже смерть мужа на ней не очень отразилась. И все потому, что у этой женщины есть сын, пусть единственный, но все же есть, он вырос, получил прекрасное образование.

По словам тетки, Ясуноскэ не переставал тревожиться из-за того, что она сильно расплелась и может получить апоплексический удар, если не будет беречься. Слушая тетку, О-Ёнэ думала, что, несмотря на все тревоги, и мать и сын вполне счастливы.

— Как Ясу-сан? — спросила О-Ёнэ.

— Только позавчера, вы подумайте, только позавчера вернулся. Из-за этого, собственно, и нельзя было ответить на ваше письмо, даже неловко... — сказала тетка и снова заговорила о Ясуноскэ.

— Благодарение небу, он окончил университет, но теперь начинается самое главное, и я не могу быть спокойна... В общем-то, ему повезло, с нынешнего сентября он вошел в долю с владельцем фабрики в Цукидзима, и если проявит рвение, то в конце концов, возможно, добьется успеха. Правда, молод он слишком, мало ли что может в жизни случиться.

О-Ёнэ, когда тетка умолкала на минутку, вставляла одно-два слова — «поздравляю» или «это прекрасно».

— Он ведь и в Кобэ ездил по делам фабрики, — продолжала тетка. — Говорил, что на тунцеловных судах там должны устанавливать не то нефтяные двигатели, не то еще что-то.

О-Ёнэ почти ничего не понимала из того, что говорила тетка, но все время ей поддакивала.

— Я мало что в этом смыслю,— призналась тетка, — но Ясуноскэ все мне объяснил, и я подумала: «Вон оно что!» По про нефтяной двигатель и сейчас толком не расскажу. — Тут тетка расхохоталась, — Вроде бы это машина, которая работает на нефти и благодаря которой судно движется. Словом, вещь достаточно полезная. С этой машиной судно легко уходит в море на пять, а то и на десять миль, и грести не надо. А знаете, сколько судов в Японии? Если на каждое поставить по такой машине, можно получить огромную прибыль, так говорит Ясуноскэ. он с головой ушел в это дело. Как-то недавно мы тут даже смеялись: прибыль, разумеется, это хорошо, только не во вред здоровью, так что не стоит особенно увлекаться.

Тетка болтала без умолку, преисполненная гордости за сына. О Короку и речи не было. Соскэ почему-то все не возвращался со службы.

А Соскэ в тот день после работы доехал до Нижней Суругадай, сошел с трамвая и, кривя рот, будто от чего-то кислого, квартал-другой прошел пешком, затем вошел в ворота дома, где жил зубной врач. Несколько дней назад, разговаривая за обедом с О-Ёнэ, Соскэ вдруг почувствовал боль в переднем зубе. Потрогал — оказалось, что зуб шатается. С этих пор зуб болел всякий раз, как туда попадал чай или даже воздух. Утром Соскэ чистил зубы, стараясь не задеть щеткой болезненное место, а когда посмотрел в зеркало, то поежился, словно от холода: в двух задних зубах были серебряные пломбы, поставленные еще в Хиросиме, а передние оказались неровными и стертymi, словно отполированными. Переодеваясь в европейский костюм, Соскэ сказал жене:

— Что-то у меня неладно с зубами, все почти шатаются.

Он пошатал пальцем нижние зубы. О-Ёнэ засмеялась.

— Годы сказываются, — проговорила она, пристегивая ему к рубашке белый воротничок.

В этот день Соскэ наконец решил пойти к зубному врачу. В приемной у большого стола, спрятав подбородок в воротник, сидели в мягких бархатных креслах ожидавшие своей очереди пациенты. Все это были женщины. Красивый камин золотистого цвета еще не был зажжен. Поглядывая на трюмо, в котором отражались на редкость белые степы, Соскэ тоже ждал своей очереди и от скуки стал рассматривать лежавшие на столе журналы. Взял один, другой, третий, — все журналы предназначались для женщин. Некоторые из них Соскэ полистал, разглядывая фотографии на первой странице. Затем взял журнал «Успех». Вначале по пунктам излагался своего рода рецепт успеха. В одном из пунктов говорилось, что надо без оглядки смело идти вперед, в другом — что очертя голову бросаться вперед, не обеспечив себе прочного тыла, нелепо.

Соскэ прочел оба пункта и положил журнал на место. «Успех» и Соскэ никак не вязались друг с другом. Соскэ даже не знал до сих пор, что существует журнал с таким названием, и из любопытства снова раскрыл его. Вдруг ему бросились в глаза стихотворные строки:

Ветер подул среди синих небес,
Смел облака прочь.
И над Восточной горой поднялся
Чистый яшмовый круг¹.

Эти строки привели в восторг равнодушного к поэзии Соскэ, но не стихотворным мастерством, а светлым и радужным настроением, редким, к несчастью, у человека. Движимый все тем же любопытством, Соскэ прочел помещенную перед стихами статью, но, как ему показалось, ничего общего со стихами она не имела. Он снова положил журнал на место, но стихотворение надолго запечатлелось в памяти. Ведь в последние годы Соскэ ни разу не пришлось полюбоваться воспетым в нем чудесным пейзажем.

В это время дверь в кабинет открылась, и ассистент вызвал: «Нонака-сан!» Залитый падавшим из окон светом, кабинет оказался вдвое просторней приемной. Там было несколько кресел, возле каждого стоял мужчина в белом халате, склонившись над пациентом. Соскэ провели в самую глубину комнаты: «Пожалуйста, сюда». Соскэ сел в кресло, и ассистент прикрыл ему колени плотной полосатой салфеткой.

Сидеть было покойно и удобно, и от этого Соскэ казалось, будто зуб не так уж болит. Каждой частицей своего тела Соскэ ощущал этот покой. Откинувшись на спинку, он бездумно созерцал свисавшие с потолка газовые лампы, опасаясь лишь, что за весь этот комфорт придется заплатить больше, нежели он рассчитывал.

В это время к Соскэ подошел тучный лысоватый мужчина, с виду еще молодой, учтиво с ним поздоровался, чем немало смутил Соскэ, который с трудом кивнул головой, поскольку полулежал в кресле. Осведомившись, что его беспокоит, толстяк осмотрел Соскэ, потрогал больной зуб и сказал:

— Зуб этот мертвый, и вылечить его нельзя.

Это заявление действовало на Соскэ, будто скудный свет осеннего дня. Ему хотелось спросить, неужели сказывается возраст, но он сдержался и, словно эхо, повторил:

— Значит, вылечить его нельзя?

— Ничего другого, пожалуй, я вам не скажу, — улыбнулся толстяк. — Со временем, возможно, придется его удалить, но пока такой необходимости нет. А боль я вам успокою. Зуб мертвый, понимаете? Внутри он весь сгнил.

¹ Перевод В. Сановича.

— Ах, вот оно что! — только и мог сказать Соскэ и отдался на волю толстяка. Просверлив в зубе отверстие бормашинной, толстяк несколько раз вводил туда длинную тонкую иглу, подносил ее к носу, нюхал, наконец вытащил волоконец толщиной с нитку и показал Соскэ: «Видите, какой я вам нерв удалил?» Затем положил в отверстие лекарство и велел назавтра снова прийти.

Когда Соскэ сошел с кресла, в поле его зрения оказался сад и кадка с сосной чуть ли не пяти футов высоты. Ее корневую часть тщательно закутывал в рогажу садовник в соломенных сандалиях. Соскэ невольно подумал о том, что скоро роса превратится в иней и люди состоятельные уже сейчас готовятся к холодному сезону.

В аптеке, помещавшейся в конце вестибюля, Соскэ дали порошки для полоскания, которые следовало растворить в теплой воде и полоскать рот не меньше десяти раз в день. К радости Соскэ, плата за лечение оказалась низкой, и он подумал, что в состоянии прийти еще несколько раз, как велел врач. Надевая ботинки, Соскэ вдруг обнаружил, что подметки, неизвестно когда, успели прохудиться. Дома он узнал, что буквально только что от них ушла тетка.

— Неужели? — воскликнул Соскэ с таким видом, словно был очень огорчен. Переодевшись в кимоно, он уселся, как обычно, у хибаты. О-Ёнэ унесла в маленькую комнату его рубашку, брюки и носки. Соскэ лениво зажег сигарету, но тут услышал, как в соседней комнате О-Ёнэ чистит его костюм, и спросил:

— Что говорила тетушка?

Зубная боль прошла, на душе, будто остывшей под осенним ветром, потеплело. Тем не менее спустя некоторое время он попросил О-Ёнэ растворить в теплой воде порошки, которые она вынула у него из кармана, и принялся усердно полоскать рот.

— Да-а, насколько короче стал день, — заметил Соскэ, стоя на галерее. Близился вечер. В квартале, где они жили, и днем не было шума, а с наступлением сумерек воцарялась полная тишина. Супруги, по обыкновению, расположились у лампы, и им казалось, что весь остальной мир погружен сейчас во мрак. Он не существовал для них, этот мир, их было двое — О-Ёнэ и Соскэ. Так и коротали они все вечера и в этом стремились найти смысл жизни.

Исполненные спокойствия, они время от времени высыпали из банки конфеты, начиненные морской капустой, очень сладкие и пряные, которые Ясуноскэ вроде бы привез им в подарок из Кобэ, и не спеша обсуждали полученный от тетушки ответ.

— Мне кажется, они могли бы ежемесячно давать Короку хотя бы на обучение и на мелкие расходы, верно?

— Говорят, что не могут. Ведь как ни считай, а это не

меньше десяти иен. Сумма кругленькая и, как они заявляют, им не по карману.

— Что за резон тогда давать по двадцать иен, но лишь до конца нынешнего года?

— Так ведь сказала же тетка, что месяц-другой они помогут, а уж потом мы сами должны что-нибудь придумать.

— Неужели они в самом деле не могут?

— Не знаю. Во всяком случае, тетюшка так говорит.

— А уж если ему повезет с этими машинами на рыболовецких судах, так десять иен для него тем более не деньги.

— Разумеется.

О-Ёнэ тихонько засмеялась. Соскэ тоже едва заметно улыбнулся и после небольшой паузы сказал:

— Придется, видно, поселить Короку у нас. Другого выхода нет, а там видно будет. Он ведь продолжает посещать колледж.

— Да, пожалуй, — откликнулась О-Ёнэ. Соскэ больше ничего не сказал и пошел к себе в комнату, куда редко заходил в последнее время. Спустя примерно час О-Ёнэ заглянула к нему, Соскэ что-то читал за столом.

— Все трудишься? Отдохнул бы!

— Да, пора ложиться, — ответил Соскэ, поднимаясь.

Сняв кимоно и повязывая поверх ночного халата белый в горошек пояс, он сказал:

— Вдруг захотелось почитать «Лунью». Давно я за него не брался.

— Нашел там что-нибудь поучительное?

— Да нет, ничего, — ответил Соскэ и, устраиваясь поудобней на подушке, добавил: — А знаешь, насчет возраста ты, оказывается, была права. Врач сказал, что зуб уже не вылечить, раз он шатается.

6

Было решено, что Короку переедет к брату. Глядя на трюмо, О-Ёнэ с легкой досадой, как бы жалуясь, сказала Соскэ:

— Не представляю даже, куда мы его теперь поставим.

Эта небольшая комната была, собственно, единственной, где О-Ёнэ могла переодеться и привести себя в порядок, и Соскэ тоже не знал, куда девать трюмо. Невольно посмотрев на стоявшее у окна зеркало, Соскэ заметил отраженный в нем профиль О-Ёнэ и расстроился — таким нездоровым был у нее цвет лица.

— Что-нибудь случилось? Какой-то у тебя больной вид.

Соскэ перевел взгляд с отражения на самое О-Ёнэ. Прическа у нее была в беспорядке, воротник кимоно не очень свежий.

— Вероятно, я просто замерзла, — коротко ответила О-Ёнэ, распахнув дверцы встроенного в стену довольно широкого шкафа. Низ его занимали ящики с платьем и бельем, наверху стояли на полках две плетеные корзины с крышками и фибровой чемодан.

— И это все девать некуда.

— Оставь здесь.

Словом, супруги не очень-то торопили Короку с переездом, поскольку знали, что он их стеснит. А сам Короку, хоть и обещал переселиться, все не показывался. Каждый день отсрочки приносил супругам облегчение. Короку, видимо, это понимал и решил, пока есть возможность, оставаться у себя на квартире. Тем не менее, не в пример брату с женой, он, в силу своего характера, все время испытывал беспокойство.

По утрам уже стал выпадать редкий иней, пальмы в саду за домом поникли. В саду у хозяина на верхушке склона пронзительно верещал дрозд. Вечерами торопливо проходил по улице продавец тофу¹, и звуки его рожка сливались с ударами деревянного гонга в храме Эммёдзи. Дни становились все короче. Вид у О-Ёнэ был по-прежнему болезненный, ничуть не лучше, чем в тот день, когда Соскэ это вдруг заметил. Раз или два, придя со службы, Соскэ заставлял О-Ёнэ в постели, но она объясняла это просто легким недомоганием. Однако показываться врачу, как ей советовал муж, не стала, в этом, по ее словам, не было нужды.

И все же Соскэ не мог оставаться спокойным. Тревога порой не давала работать. Но как-то раз, добираясь трамваем со службы домой, Соскэ вдруг хлопнул себя по колену. В дом он вошел бодрой походкой и прямо с порога спросил: «Ну, как сегодня?» О-Ёнэ ничего не ответила, собрала, как обычно, костюм и носки, которые Соскэ снял, и направилась в маленькую комнату. Соскэ, идя следом, улыбаясь, спросил:

— Ты ждешь ребенка?

О-Ёнэ, молча потупившись, старательно чистила пиджак, стоя у открытого окна. Потом все стихло, но О-Ёнэ не выходила. Тогда Соскэ сам пошел к ней. Зябко съежившись, О-Ёнэ сидела в полумраке перед зеркалом. Когда Соскэ ее окликнул, она ответила: «Сейчас»,— и поднялась. В голосе ее дрожали слезы.

Вечером муж и жена сидели у хибати, грея руки над железным чайником.

— Ну, как дела? — против обыкновения весело, спросил Соскэ, и О-Ёнэ со всей отчетливостью вспомнила, какими оба они были до женитьбы.

— Давай попробуем встряхнуться,— продолжал Соскэ. — Уж чересчур уныло мы с тобой живем.

¹ Тофу — соевый творог.

Они поговорили о том, куда бы съездить в воскресенье, обсудили, что купить из одежды к Новому году. Соскэ насмешил О-Ёнэ, не без юмора рассказав об одном сослуживце, некоем Такаги, который наотрез отказался купить жене подбитое ватой шелковое кимоно, заявив, что не станет потакать ее капризам и тратить зря с трудом заработанные деньги. А когда жена упрекнула его в жестокости, сказав, что ей и в самом деле не в чем в холод выйти из дому, муж ответил, что в крайнем случае она может закутаться в ватное или шерстяное одеяло.

Глядя на повеселевшее лицо Соскэ, О-Ёнэ на какой-то миг представила себе, что к ним вернулось прошлое.

— Пусть себе жена Такаги довольствуется одеялом, — сказал Соскэ, — мне безразлично, а вот я, например, не прочь обзавестись пальто. Недавно я увидел, когда был у зубного врача, как садовник укутывает деревца рогажей, и мысль о пальто буквально застряла у меня в мозгу.

— Тебе хочется пальто?

— Ага.

О-Ёнэ взглянула на мужа.

— Так закажи, в рассрочку.

— Ладно, оставим это, — вдруг помрачнев, уныло сказал Соскэ и вслед за тем спросил: — Кстати, когда намерен Короку переселяться?

— Ему, наверное, не очень этого хочется, — сказала О-Ёнэ. Она с самого начала чувствовала, что Короку почему-то ее недолюбливает, но, памятуя о том, что это брат ее мужа, всячески старалась с ним ладить. Одно время ей уже казалось, будто деверь стал к ней относиться по-родственному дружелюбно. Но теперь единственную причину его упорного нежелания к ним переехать видела лишь в самой себе.

— Видно, ему жаль покидать комнату, в которой он сейчас живет. Он ведь понимает, что жизнь у нас сулит ему массу неудобств, и потому боится так же, как боимся мы, лишнего беспокойства и хлопот. Во всяком случае, пока Короку не переехал, я не расстанусь с мыслью о пальто.

Это категорическое заявление, исполненное чисто мужской решимости, все же не успокоило О-Ёнэ, и она молчала, пряча подбородок в воротник кимоно. Затем глянула на Соскэ исподлобья и спросила:

— Короку-сан по-прежнему меня ненавидит?

Этот вопрос О-Ёнэ часто задавала мужу в первое время после приезда в Токио, и всякий раз ему стоило немалого труда успокоить ее и утешить. Но потом она перестала об этом говорить, и Соскэ решил, что вопрос сам собой отпал.

— Опять у тебя шалят нервы, — сказал Соскэ. — Не все ли равно, что там думает Короку, если я с тобой.

— Это ты в «Лунное» вычитал? — У О-Ёнэ еще хватило духу пошутить.

— Ага,— ответил Соскэ, и разговор на этом прекратился. Когда на следующий день Соскэ проснулся, по крытой жестью крыше барабанил холодный дождь. Пришла О-Ёнэ с подхваченными тесьмой рукавами кимоно.

— Пора вставать!

Слушая, как падают на крышу тяжелые капли, Соскэ испытывал неодолимое желание еще хоть немного понежиться под теплым одеялом. Однако стоило ему увидеть О-Ёнэ, болезненную, бледную, но неизменно заботливую, как он, крикнув: «Э-эй!» — тотчас же вскочил.

Всю улицу заволокла густая пелена дождя. Росший на обрыве тропический бамбук время от времени покачивался, словно зверь, отряхивающий воду с гривы. Теплый рис и горячий суп из мисо¹ несколько приободрили Соскэ, которому сейчас предстояло мокнуть под этим унылым небом.

— Опять промочу ноги,— сказал Соскэ. — Непременно надо купить еще пару ботинок.

Но пока ему пришлось удовлетвориться старыми, с прохудившимися подметками. Он надел их и немного подвернул брюки.

Вернувшись домой, Соскэ увидел, что О-Ёнэ поставила возле трюмо лохань с тряпкой. С потолка, сильно потемневшего в одном месте, время от времени в лохань капала вода.

— Что говорить о ботинках, если крыша течет, — горько усмехнулся Соскэ. В тот вечер О-Ёнэ ради мужа разожгла котлацу², просушила его шерстяные носки и суконные брюки в полоску.

Дождь не переставая лил и на следующий день. О-Ёнэ, как обычно, разбудила мужа, который, одеваясь, снова вспомнил о ботинках. На третье утро Соскэ нахмурился и с досады прищелкнул языком:

— До каких же это пор будет продолжаться? Ботинки уже невозможно надеть, до того они намокли.

— А с маленькой комнатой прямо беда, с потолка так и лет.

Они решили попросить хозяина в первый же ясный день починить крышу. Соскэ с трудом натянул скрипевшие от воды ботинки и ушел.

К счастью, часам к одиннадцати дождь прекратился, стало тепло и ясно, как бывает в погожий осенний день, на заборах чирикали воробьи. О-Ёнэ встретила Соскэ радостная, даже какая-то просветленная, и неожиданно спросила:

— Послушай, не продать ли нам ширму?

Полученная от тетушки ширма так до сих пор и стояла в углу кабинета. Всего лишь двусторчатая, она тем не менее

¹ Мисо — густая масса из перебродивших соевых бобов, служит для приготовления супов и в качестве приправы.

² Котлацу — комнатный очаг.

оказалась бы лишней в гостиной, из-за размеров и расположения этой комнаты. Если поставить ее с южной стороны — она загородит вход, если с восточной — не будет пропускать свет, остается лишь поставить ее у ниши, но ведь нишу закрывать тоже не так уж удобно. Соскэ не раз ворчал:

— Взял ее как единственную память об отце, а куда девать — не знаю.

При этом О-Ёнэ смотрела на серебряную луну с облупившимися краями и едва различимые на фоне ширмы стебли тростника с видом полнейшего недоумения, как, дескать, могут люди дорожить подобной вещью. Но сказать об этом мужу прямо О-Ёнэ не решалась, лишь однажды как бы вскользь спросила:

— Неужели это и в самом деле ценная картина?

Тут Соскэ впервые рассказал О-Ёнэ про Хоицу. Точнее, не рассказал, а передал то, что некогда слышал от отца и помнил довольно смутно. Что же до истинной ценности картины и подробностей истории Хоицу, то тут он ничего определенного сказать не мог. Но для О-Ёнэ этих сведений оказалось вполне достаточно, чтобы решиться на не совсем обычный для нее поступок, в особенности когда она присовокупила к ним разговор с мужем на прошлой неделе. И вот в тот самый день, когда дождь наконец перестал и лучи солнца залили сѣдзи в столовой, она накинула поверх кимоно не то шаль, не то шарф какого-то неопределенного цвета и вышла из дому. Пройдя квартала два, О-Ёнэ свернула на улицу, по которой ходил трамвай, и подошла к довольно большому магазину подержанных вещей, помещавшемуся между булочной и лавкой, где продавали сушеную рыбу и сушеные овощи. Когда-то О-Ёнэ купила здесь складной обеденный столик. Отсюда же Соскэ принес железный чайник, который жил у них и поныне.

Спрятав руки в рукава кимоно, О-Ёнэ остановилась и увидела все те же новенькие железные чайники и множество хибати, которые были как раз к сезону. Ни одной антикварной вещи, если не считать какой-то странный предмет, висевший против входа и очень похожий на щит черепахи, а под ним длинное желтое буддийское кропило из конского волоса, меха белого медведя и пеньки. Еще было выставлено несколько полок для чайной посуды из сандалового дерева, сделанных до того плохо, что в любой момент они могли покоробиться. Но О-Ёнэ в таких вещах мало что смыслила. Зато она убедилась, что ни одной ширмы или какэмоно здесь нет, и вошла внутрь.

Шла сюда О-Ёнэ с единственной целью, чтобы хоть за какую-нибудь цену сбыть ширму. У нее был некоторый опыт в такого рода делах, полученный еще в Хиросиме, и она без особых усилий завела разговор с хозяином, мужчиной лет пятидесяти со смуглым лицом и впалыми щеками. Надев очки в черепаховой оправе, огромные и потому кажущиеся забав-

ными, он читал газету, грея руки над бронзовым с шероховатой поверхностью хибати.

— Что ж, схожу посмотрю, — сразу согласился хозяин, правда, без особого интереса, чем несколько разочаровал О-Ёнэ. Тем не менее она повторила свою просьбу, хоть не питала на этот счет никаких иллюзий.

— Ладно, приду, только позднее. Приказчик ушел, не на кого оставить лавку.

Небрежный тон, каким это было сказано, вселил в душу О-Ёнэ сомнение: придет или не придет? В одиночестве, как обычно, она съела свой немудреный обед, но не успела позвать Киё, чтобы та убрала посуду, как услышала громкое: «Можно войти?» Старьевщик сдержал свое обещание. О-Ёнэ провела его в гостиную и показала ширму. Приговаривая «так, так», он водил рукой то по краям ширмы, то по ее тыльной стороне.

— Ну, если она вам не нужна... — Старьевщик замолчал, словно бы размышляя, а потом сказал: — За шесть иен возьму, пожалуй.

Цена показалась О-Ёнэ подходящей, но она решила прежде поставить обо всем в известность Соскэ, тем более что ей теперь была известна история ширмы. Услыхав, что О-Ёнэ хочет советоваться с мужем, старьевщик, уходя, сказал:

— Ладно, госпожа, раз уж я здесь, набавлю еще иену, разорюсь. Соглашайтесь, а то не избавитесь от своей ширмы.

Тогда О-Ёнэ с замиранием сердца решительно возразила:

— Но ведь это Хоицу!

— Хоицу сейчас не в моде, — невозмутимо парировал лавочник, в упор глядя на О-Ёнэ, и сказал на прощанье: — Что же, посоветуйтесь еще!

О-Ёнэ слово в слово передала мужу разговор с лавочником, а затем простодушно спросила:

— Продадим?

В последнее время у Соскэ то и дело возникали какие-то нужды. Но он до того привык во всем себе отказывать, что и мысли не допускал попытаться добыть хоть какие-то средства сверх заработка и хоть немного отдохнуть от постоянных лишений и забот. И сейчас, выслушав О-Ёнэ, Соскэ был просто поражен сметливостью жены, хотя и сомневался в необходимости такого шага. На вопрос, как она сама считает, О-Ёнэ ответила, что совсем неплохо выручить сейчас чуть ли не десять иен, тогда, по крайней мере, можно будет купить не только ботинки для Соскэ, но еще и отрез недорогого шелка. Соскэ подумал, что это и в самом деле неплохо, но сама мысль расстаться с ширмой, которой так дорожил отец, ради каких-то там ботинок и отреза шелка казалась чудовищной. И Соскэ сказал:

— Продать ширму, разумеется, можно. Все равно девать ее некуда. Но без новых ботинок я могу пока обойтись. Было

плохо, когда непрерывно лил дождь. А теперь погода наладилась.

— Но если опять зарядят дожди?

Соскэ молчал, он не мог гарантировать навечно ясную погоду. Молчала и О-Ёнэ, не решаясь сказать, что нельзя откладывать продажу ширмы до ненастных дней. Муж с женой переглянулись, и оба засмеялись.

— Может быть, лавочник мало дает? — после паузы спросила О-Ёнэ.

— Как тебе сказать...

В этом вопросе у Соскэ не было собственного мнения, и он мог лишь прислушиваться к чужому: мало — значит, мало. В общем, он готов был продать ширму за любую цену, только бы нашелся покупатель. Как-то он вычитал в газете, будто старинные картины и произведения каллиграфического искусства нынче в цене. «Мне бы хоть одну такую вещь», — с завистью подумал он, но тут же примирился с мыслью, что ничего подобного у него никогда не будет.

— Цена зависит и от того, кто продает, и от того, кто покупает. Я, например, не сумел бы дорого продать даже самую знаменитую картину. И все же семь или восемь иен за ширму, пожалуй, слишком мало.

Из слов Соскэ получалось, что и ширма хороша, и старьевщик знает толк в делах, только сам он ни к чему не способен. О-Ёнэ слегка огорчилась и больше не упоминала о ширме.

На следующий день Соскэ поговорил кое с кем из сослуживцев. Все в один голос заявили, что за такую цену ширму отдавать нельзя. Но никто не вызвался ему помочь, даже не посоветовал, как поступить, чтобы не попасть впросак. И Соскэ понял: либо придется продать ширму старьевщику, либо пусть по-прежнему загромождает гостиную. И Соскэ перенес ширму в гостиную. Но тут явился старьевщик и предложил за нее уже пятнадцать иен. Супруги решили повременить с продажей. Лавочник снова пришел, но О-Ёнэ опять ему отказала, уже просто из интереса. В четвертый раз старьевщик привел с собой какого-то человека. Они пошептались и предложили тридцать пять иен. Супруги наконец согласились.

7

Криптомерии в храме Эммэдзи стали багрово-красными, словно подгорели. В погожие дни на горизонте белела зубчатая линия гор. Во всем чувствовались приметы зимы. Выкрики торговца вареными бобами, который ранним утром непременно проходил мимо их дома, напоминали об инее на черепичной крыше. И Соскэ, лежа в постели и прислушиваясь к его голосу, думал о том, что вот опять наступили холода.

Хлопоча на кухне, О-Ёнэ молила судьбу, чтобы в нынешнем году вода в кране снова не замерзла. Все вечера муж и жена проводили у котлацу, с сожалением вспоминая Хиросиму и Фукуоку, где почти не бывает зимы.

— Мы точь-в-точь как старики Хонда, — засмеялась О-Ёнэ. Эти Хонда были их соседями по двору и тоже снимали дом у Сакаи. Они держали одну-единственную служанку и жили тихо, как мыши. Лишь изредка, сидя в столовой за шитьем, О-Ёнэ слышала, как старуха Хонда зовет своего мужа: «Дед!» Встречаясь у ворот, О-Ёнэ и супруги Хонда вежливо здоровались, перебрасывались несколькими фразами о погоде, звали друг друга поболтать, тем дело и ограничивалось. И то немногое, что О-Ёнэ о них знала, она слышала от торговцев, которые ей рассказали, что у стариков есть сын, что он вроде бы важный чиновник, служит в канцелярии генерал-губернатора в Корее, ежемесячно высылает им деньги, и живут они потому безбедно.

— Дед по-прежнему возится со своими растениями?

— Видно, перестал, ведь холодно уже. Горшки с карликовыми растениями он поместил под галерею, чтобы не замерзли.

Разговор переключился на хозяина дома, Сакаи. Сам он и вся его семья, на взгляд Соскэ и О-Ёнэ, были, не в пример Хонда, на редкость шумными и веселыми. В саду стало по-осеннему уныло, и ребятишки теперь туда не прибегали. Зато не проходило вечера, чтобы из хозяйского дома не доносились звуки рояля, а с той стороны, где была кухня, — громкий смех не то служанки, не то еще кого-то, который Соскэ и О-Ёнэ часто слышали, сидя у себя в столовой.

— Интересно, чем, собственно, занят наш хозяин? — время от времени спрашивал Соскэ у О-Ёнэ. И она неизменно отвечала:

— Думаю, что ничем, просто живет в свое удовольствие. Ведь у него и земля и дома.

В подробности Соскэ никогда не вдавался, и на этом разговор заканчивался. В былые времена, когда Соскэ ушел из университета, его так и подмывало бросить в лицо людям преуспевающим и высокомерным: «Погодите, я еще потягаюсь с вами!» Позднее воинственность сменилась ненавистью. Но в последнее время ненависть уступила место равнодушию. Все люди разные, рассуждал Соскэ, у каждого своя судьба, свои интересы, своя жизнь. И спрашивал он о ком-нибудь, только если приходилось к слову, считая обременительным излишнее любопытство. Все это можно было сказать и об О-Ёнэ. Но в этот вечер, вопреки обыкновению, она сообщила о Сакаи некоторые подробности. Таким образом Соскэ узнал, что хозяину что-то около сорока, что усов он не носит, что музицирует его старшая дочь лет тринадцати, а чужим детям,

которые приходят поиграть, не разрешают даже покачаться на качелях.

— Это почему же?

— Не знаю, видно, бояться, как бы не сломались. Все от скупости.

Соскэ рассмеялся. Просто удивительно! А ведь на кровельщика не скупится, стоит лишь сказать, что протекает крыша. И садовнику тотчас же велит подправить живую изгородь, если пожалуешься, что она чуть-чуть подгнила.

В эту ночь Соскэ спал сном праведника. Ему не снились ни цветочные горшки Хонда, ни хозяйские качели. Лег он спать в половине одиннадцатого и сразу захрапел — сказалась усталость многих дней. Часто страдавшая головной болью О-Ёнэ мучилась бессонницей. Она то и дело открывала глаза, оглядывая полутемную комнату. В нише светился слабый огонек — супруги обычно оставляли лампу на ночь, лишь поместив ее в нишу и прикрутив фитиль.

О-Ёнэ беспокойно ворочалась в постели, каждый раз поправляя подушку, с которой сползало вниз плечо. В конце концов она легла на живот, оперлась на локти и некоторое время смотрела на мужа. Затем встала, накинула сложенное в ногах кимоно и взяла из ниши лампу.

— Послушай, проснись, — склонившись, окликнула она мужа. Храпеть Соскэ перестал, но по-прежнему спал глубоким сном. О-Ёнэ вышла в столовую. При слабом свете лампы, которую она держала в руке, тускло блеснуло металлическое колечко шкафа. О-Ёнэ прошла в черную от копоти кухню, где лишь белели сёдзи. Некоторое время она неподвижно стояла на холоде, затем тихонько отодвинула перегородку в комнате служанки и увидела, что та спит, словно крот, завернувшись в одеяло какой-то невообразимой расцветки. В тоскливой пустоте маленькой комнаты, куда О-Ёнэ следом заглянула, поблескивало зеркало, вызывая суеверный страх.

О-Ёнэ обошла весь дом, убедилась, что все в порядке, вернулась и легла в постель. Через несколько минут она наконец уснула. Но вскоре снова открыла глаза. Ей почудился какой-то глухой стук у изголовья. Приподнявшись, она стала слушать и, подумав, решила, что с обрыва за домом что-то упало прямо к галерее комнаты, где они спят. Ничего другого быть не могло. Но она слышала это сквозь сон или уже после? О-Ёнэ стало как-то не по себе. Она дернула край одеяла и уже настойчивее стала будить мужа. Она так его трясла, приговаривая: «Проснись, пожалуйста», — что он наконец открыл глаза, еще полусонный пробормотал: «Ладно, ладно», — и сел в постели. Тогда О-Ёнэ шепотом рассказала ему о своих страхах.

— Только стукнуло, и все?

— Да, вот прямо сейчас.

Они замерли, прислушиваясь. Вокруг было тихо. «Холодно», — сказал Соскэ, накинул на халат хаори, вышел на галерею и отодвинул ставень. Но ничего, кроме сплошной тьмы, не увидел, лишь ощутил, как веет снаружи холодом. Он быстро задвинул ставень и, вернувшись, залез под одеяло.

— Все тихо. Тебе, наверно, приснилось.

Но О-Ёнэ продолжала утверждать, что совершенно отчетливо слышала шум над головой. Соскэ повернулся к жене:

— У тебя нервы не в порядке. Надо что-то предпринять против бессонницы и дать отдых голове.

Часы в соседней комнате пробили два, прервав их разговор. Ночная тишина, казалось, стала еще более глубокой. Теперь уже и Соскэ совсем расхотелось спать.

— Беззаботный ты все же человек, — заметила О-Ёнэ, — не успеешь лечь, как тут же засыпаешь.

— При чем тут беззаботный! Просто я сильно устаю, вот и сплю крепко.

И будто в подтверждение этих слов Соскэ опять уснул, в то время как О-Ёнэ продолжала беспокойно ворочаться в постели. По улице проехала тележка. С некоторых пор грохот колес на рассвете стал будить О-Ёнэ, и она удивлялась, что так быстро наступило утро. Это бывало, как О-Ёнэ установила, в определенное время, и она решила, что проезжает всегда одна и та же тележка. Хозяин ее, видимо, спешил развезти молоко или какой-нибудь другой товар, и О-Ёнэ успокаивалась, заслышав знакомый звук, потому что знала, что уже наступило утро и соседи принялись каждый за свое дело. Между тем где-то закудахтали куры, кто-то прошел по улице, громко стуча гэта. Отодвинув перегородку, вышла из своей комнаты Киё и прошла в столовую, наверно, посмотреть на часы. В это время часть комнаты, где помещалась постель, погрузилась в темноту, в лампе, наверно, выгорел керосин. Лишь через щель в фусума проникал лучик света от лампы, которую держала Киё.

— Это ты, Киё? — окликнула служанку О-Ёнэ.

Через полчаса после Киё поднялась и О-Ёнэ. А еще через полчаса встал наконец и Соскэ. В обычные дни О-Ёнэ будила его словами: «Вставай, уже пора». А по воскресеньям и долгожданным праздникам вместо «пора» говорила «пожалуйста». Но сегодняшняя ночь оставила у О-Ёнэ какой-то неприятный осадок, и она не пришла, как обычно, будить мужа. Он сам встал и сразу открыл ставни, выходящие во внутренний дворик.

В легкой морозной дымке бамбук словно замер, окрашенный сверху лучами утреннего солнца. Иней постепенно таял. Соскэ несколько удивился, заметив, что сухая трава в том месте, где склон круто шел вверх, выдернута, и виднеется красная глина. Земля у самой галереи, где сейчас стоял Соскэ, была словно бы вытоптана. Уж не свалилась ли сюда

с обрыва какая-нибудь собака? Нет, даже самая большая собака не разломала бы ледяную корку.

Соскэ прошел через комнаты и, надев гэта, спустился в сад. В конце галереи, у входа во внутренний дворик, стояла уборная, и крохотный садик казался еще теснее. Соскэ всякий раз потешался над О-Ёнэ, когда она предупреждала уборщика нечистот:

— Пожалуйста, осторожней, у нас здесь просто повернуться негде.

Узкая дорожка вела прямо к кухне. Прежде здесь была живая изгородь из кустов криптомерии; редкая, наполовину засохшая, она отделяла этот сад от соседнего. Но совсем недавно хозяин заменил ее дощатым забором. Солнце сюда почти не проникало, во время дождя из водостока стекала вода, и благодаря этому летом густо разрасталась бегония. Листья ее так густо переплетались между собой, что даже трудно было пройти. В первое время после переезда сюда Соскэ и О-Ёнэ не могли налюбоваться этим уголком. Бегония пережила и криптомериевую изгородь, и старого хозяина и продолжала пускать побеги, как только становилось тепло. Глядя на нее, О-Ёнэ всегда восхищалась:

— Какая все же прелесть!

Именно сюда и пришел Соскэ, ступая по инею, и в том месте, куда не проникало солнце, остановился как вкопанный. На дорожке, прямо у него под ногами, лежала черная лакированная шкатулка с росписью. Причем не валялась, а стояла аккуратно, будто ее специально принесли сюда. Только крышка, внутри оклеенная узорчатой бумагой, была несколько в стороне, футах в двух-трех, и казалась прибитой к изгороди. Рядом валялись в беспорядке письма и записки. Одно письмо, сравнительно длинное, лежало наполовину развернутое с измятым краем. Подойдя ближе, Соскэ невольно усмехнулся: письмо было выпачкано нечистотами.

Собрав в облепленную грязью и инеем шкатулку разбросанные по земле бумаги, Соскэ принес ее на кухню и позвал Киё. Передав ей шкатулку, Соскэ сказал:

— Положи пока вон туда.

Киё с недоумением поглядела на Соскэ. О-Ёнэ в это время подметала в комнатах. Сунув руки в карманы, Соскэ прошел от входа в дом до ворот, но ничего особенного не обнаружил. Он вернулся назад, расположился на своем обычном месте в столовой у хибати и спустя некоторое время позвал О-Ёнэ.

— Куда это ты ходил, едва встав с постели? — спросила О-Ёнэ, входя в столовую.

— Хотел узнать, что за шум ты слыхала ночью. И выяснил, что тебе не померещилось. Это был вор, он спрыгнул к нам во двор из хозяйского сада. У нас на дорожке валялась шкатулка, а вокруг разные письма и бумаги.

Соскэ вынул из шкатулки и показал О-Ёнэ несколько писем с адресом Сакаи на конвертах.

— Может быть, хозяина обокрали? — испуганно предположила О-Ёнэ.

— Возможно, — ответил Соскэ, сложив на груди руки.

Тут супруги решили, что пора завтракать, и оставили шкатулку в покое, однако за едой продолжали разговор о ночном происшествии, которое, к радости О-Ёнэ, не явилось плодом ее воображения. Соскэ же, напротив, был доволен тем, что ничего не слышит, когда спит, и хоть ночью может отдохнуть.

— Нашел, чем хвалиться, — сказала О-Ёнэ. — А если бы к нам залез вор?

— Не бойся, к таким, как мы, не полезут!

Тут из кухни выглянула Киё.

— Хорошо, что не к нам залезли, а к Сакаи-сан, ведь могли украсть новое пальто хозяина.

От такой прямолинейности Соскэ и О-Ёнэ даже опешили.

После завтрака оставалось еще довольно много времени, и до ухода на службу Соскэ решил собственноручно отнести шкатулку Сакаи, поскольку был уверен, что в доме там переполох. Рисунок на шкатулке, хоть она и была покрыта лаком, представлял собой всего-навсего шестигранник, нанесенный золотом, и стоит очень дорого такая вещь, разумеется, не могла. О-Ёнэ завернула ее в шелковую салфетку, связав крест-накрест концы узлами, поскольку шкатулка в ней едва уместилась. Сверток имел вид сувенирной коробки конфет.

Стоявший на пригорке дом Сакаи находился как раз против окна гостиной Соскэ, но, чтобы попасть туда, надо было пройти с полквартиры, подняться по склону и пройти те же полквартиры назад вдоль живой изгороди из аккуратно высаженных кустов фотинии. Основание изгороди было выложено камнем, присыпанным сверху землей, и обложено дерном. Войдя в садик перед домом, Соскэ удивился царившей там тишине. Он подошел к дверям с матовым стеклом, позвонил раз, другой, но на звонок никто не вышел, и Соскэ волей-неволей пришлось идти к черному ходу. Двери с матовым стеклом были и там закрыты, лишь изнутри доносился стук посуды. Соскэ отодвинул дверь и поздоровался со служанкой, сидевшей на корточках перед переносной газовой плитой.

— Это, наверно, ваша вещь, — сказал Соскэ, передавая служанке шкатулку. — Нынешним утром я нашел ее у себя за домом и вот принес.

— Очень вам благодарны, — сказала служанка, подошла ко входу в кухню и позвала какую-то женщину, видимо, горничную. Тихонько объяснив, в чем дело, служанка отдала ей шкатулку, которую горничная, скользя взглядом по Соскэ, унесла в комнаты. Потом прибежала круглолицая большеглазая девочка лет тринадцати, вероятно, с младшей сестренкой, обе с одинаковыми бантами в волосах. Они заглянули в кух-

ню и почти одновременно шепотом проговорили: «Вор». Соскэ же, решив, что покончил с делом, собрался уходить, сказав лишь:

— Значит, шкатулка ваша.

Но служанка ничего не знала и молчала в растерянности.

— Ну, я пойду, — сказал Соскэ, но в этот момент пришла горничная и, вежливо кланяясь, сказала:

— Пожалуйста, пройдите в комнаты.

Соскэ немного смутился. Горничная еще любезнее повторила приглашение. И к смущению у Соскэ прибавилось какое-то тягостное чувство. В это время вышел сам хозяин.

Как и следовало ожидать, он оказался полнолицым и цветущим и так и сиял довольством. Вопреки утверждению О-Ёнэ, на его до синевы выбритом лице темнели короткие, аккуратно подстриженные, усики. Одет он был в чесучовое с набивным узором кимоно.

— Доставили мы вам хлопот, — сказал он, улыбаясь, отчего вокруг глаз собрались морщинки, и стал неторопливо расспрашивать Соскэ про обстоятельства дела. Соскэ в общих чертах рассказал все, как было, и поинтересовался, не украдено ли еще что-нибудь. Оказалось, что еще пропали лежавшие на столе золотые часы. Но Сакаи говорил об этом спокойно, словно обокрали не его, а кого-то другого. Зато к рассказу Соскэ он проявил живой интерес и буквально засыпал его вопросами примерно такого содержания: хотел ли вор убежать через внутренний двор Соскэ или же случайно свалился туда с пригорка? Этого, разумеется, Соскэ не знал.

Горничная принесла чай, подносик с сигаретами, спичками и пепельницей. По требованию хозяина появились дзабутонны. В общем, Соскэ никак не удавалось уйти. Хозяин долго рассказывал о том, как с самого утра пришел полицейский, который утверждал, что разбойник, по его мнению, еще с вечера проник в усадьбу и прятался где-нибудь в кладовой. Влез он, разумеется, через кухню, зажег свечу, укрепил ее на кадке для солений в кухне и перешел в столовую. Но там спали жена и дети, и грабитель отправился в кабинет, где и стал орудовать. Но тут заплакал новорожденный сынишка — настало время его кормить, вор испугался, открыл ставни и скрылся в саду.

— Этого не случилось бы, будь в доме собака, — сказал Сакаи, — но собака, к несчастью, заболела, и несколько дней назад ее поместили в больницу.

— Да, не повезло вам, — поддакнул Соскэ. Тут Сакаи принялся рассказывать о собаке, ее родословной, о том, что изредка берет ее на охоту, и еще о разных разностях.

— Люблю охоту. Вот только невралгия мешает последнее время. Охотишься, скажем, на птицу с начала осени до зимы, так ведь по два, а то и по три часа стоишь по пояс в мокрой траве, а для здоровья это как-никак вредно.

Ничем, видимо, не занятый, хозяин говорил и говорил, Соскэ лишь успевал вставлять: «да, в самом деле» или «вот как».

— Мне, знаете ли, пора на службу, — сказал наконец Соскэ, поднимаясь. Сакаи спохватился и стал извиняться, что задержал его, затем попросил не отказать в любезности помочь, если полицейский надумает осмотреть место, где была обнаружена шкатулка.

— Заходите как-нибудь поболтать. Я сейчас свободен и тоже с удовольствием нагряну к вам.

Домой Соскэ возвращался чуть не бегом, обычно он отправлялся на службу почти на целых полчаса раньше.

— Что там с тобой случилось? — встретила его обеспокоенная О-Ёнэ. Торопливо переодеваясь, Соскэ пояснил:

— Этот Сакаи удивительно беспечен. Впрочем, когда есть деньги, спешить некуда.

8

— Начнем со столовой или с гостиной? — спросила О-Ёнэ Короку.

Несколько дней назад он все же переехал к ним и теперь должен был помочь переклеить бумагу на сёдзи. Еще когда он жил у дяди, ему пришлось однажды вместе с Ясуноскэ делать то же самое в своей комнате. Он приступил тогда к работе по всем правилам: развел клей в подносе, вооружился специальной лопаточкой. Но когда клей просох, створки почему-то покосились и никак не хотели входить в пазы. И еще раз его постигла неудача, когда тетка велела ему и Ясуноскэ заменить бумагу на сёдзи в других комнатах. Он пустил сильную струю воды из крана и стал мыть рамы, после чего они тоже покосились и у Короку была куча неприятностей. Поэтому сейчас, наученный горьким опытом, Короку предупредил О-Ёнэ:

— Знаете, сестрица, оклеивать сёдзи надо очень осторожно, а то можно все испортить. Главное — не мыть рамы. — Говоря это, Короку с треском оборвал бумагу с сёдзи, отделяющих столовую от галереи.

Галерея шла вправо, образуя угол у маленькой комнаты, в которой жил Короку, слева она упиралась в прихожую, а поскольку параллельно галерее тянулся забор, дворик получался почти квадратным. Летом весь участок сплошь зарастал космосом, и, любуясь по утрам усеянными каплями росы цветами, супруги не могли нарадоваться. Бывало, что у изгороди они втыкали в землю тонкие стебли бамбука и пускали по ним вьюнок. И тогда, едва встав с постели, они наперебой считали, сколько распустилось цветов за ночь. Но в конце осени цветы и трава увядали, и вокруг становилось уныло,

словно в пустыне, даже смотреть было грустно. Стоя спиной к этому мерзлomu квадрату земли, Короку усердно срывал с сѣдзи бумагу.

Налетавший порывами ветер охлаждал его коротко остриженную голову, залезал за воротник, вызывая сильное желание поскорее уйти с продуваемой насквозь галереи. Молча работая покрасневшими руками, Короку отжал в ведре тряпку и стал протирать поперечины сѣдзи.

— Вам, бедному, наверно, холодно. Как назло, дождливая погода, — с участием проговорила О-Ёнэ, размешивая сваренный накануне клей и подливая теплую воду из чайника.

Короку в душе глубоко презирал такого рода работу, тем более в его нынешнем положении. Особенно его оскорбляла тряпка, которую он держал в руках. Живя в доме дяди, он такие дела считал развлечением, заполнявшим досуг, о неприязни и речи быть не могло, он даже испытывал к ним интерес. Сейчас же ему казалось, что он просто вынужден мириться с этой ничтожной работой, словно ни на что больше не был способен, и от этого холод на галерее раздражал его особенно сильно.

Участливые слова невестки Короку оставил без внимания, лишь что-то неохотно пробурчал в ответ. Ему вспомнилось, что студенту юридического факультета, соседу по бывшей его квартире, ничего не стоило во время прогулки зайти в парфюмерный магазин «Сисэйдо» и истратить целых пять иен на три куска душистого мыла в коробке и зубной порошок. И он считал несправедливым свое такое трудное положение. Какими жалкими выглядели в его глазах брат с женой, даже не мечтавшие о другой жизни. Это жалкое существование стало для них настолько привычным, что им и в голову не приходило купить для сѣдзи хорошую плотную бумагу.

— Ведь эта бумага скоро порвется, — сказал Короку. Он слегка отвернул край свернутой в трубку бумаги и дернул несколько раз, разглядывая на свет.

— Вы полагаете? А я думаю, ничего страшного, ведь детей у нас нет, — ответила О-Ёнэ. Она обмакнула щетку в клей и намазала перекладыны.

Потом они с Короку стали натягивать с двух сторон длинные полосы бумаги, следя, чтобы она не провисала. Но время от времени на лице у Короку появлялось до того недовольное выражение, что смущенная О-Ёнэ спешила кое-как обрезать бритвой конец свернутой в рулон бумаги. От этого бумага в некоторых местах пошла пузырями. С грустью и досадой О-Ёнэ смотрела на сѣдзи. «Вот если бы вместо Короку помогал муж...» — мелькнула мысль.

— Неровно как-то получилось.

— Такой уж я мастер!

— Думаете, ваш брат лучше умеет? К тому же он куда тяжелее вас на подъем.

Короку ничего не ответил, взял из рук у Киё чашку и очень равномерно разбрызгал по бумаге воду, так что когда она просохла, пузырей почти не оказалось. К этому времени они как раз закончили переклеивать вторую дверь, но когда перешли к третьей, Короку пожаловался на боль в пояснице. О-Ёнэ, кстати сказать, с самого утра мучилась головной болью.

— Давайте закончим столовую,— предложила она, — а затем отдохнем.

Между тем настала пора обедать, и О-Ёнэ с Короку принялись за еду. Последние несколько дней с тех пор, как Короку переехал, они все время обедали вдвоем, поскольку Соскэ в это время был на службе. За свою многолетнюю супружескую жизнь О-Ёнэ привыкла делить трапезу с мужем либо ела в одиночестве. И теперь ощущала неловкость оттого, что они с деверем вот так сидели друг против друга за чашкой риса, особенно когда не было поблизости служанки. Разница в возрасте, да и сам характер отношений между ними исключали, конечно, всякую возможность их влечения друг к другу, когда неожиданно появляется страсть, а следом за ней привязанность. Чувство неловкости тем более тяготило О-Ёнэ, что прежде ей ничего подобного и в голову не приходило. Чтобы от него избавиться, О-Ёнэ за столом все время что-то говорила. Однако Короку было не до нее, он ничего не замечал и вел себя не так, как следовало бы в сложившихся обстоятельствах.

— Вкусно готовили на вашей прежней квартире, Короку-сан?

Теперь Короку было сложно ответить на этот вопрос, не то что прежде, когда он приходил сюда в гости. И он нехотя буркнул:

— Да нет, где там.

Натянутость в его тоне О-Ёнэ, как это бывало и раньше, отнесла на собственный счет. Видимо, не так она заботится о нем, как надо. И эти ее мысли Короку изредка угадывал.

Нынче измученной головной болью О-Ёнэ было особенно трудно поддерживать разговор, тем более что она, как говорится, не хотела ударить лицом в грязь. Поэтому почти все время за столом царило молчание.

После обеда работа у них спорилась, за утро они, видимо, успели приобрести кое-какой навык, но друг с другом держались еще отчужденнее. Этому способствовало внезапная перемена в погоде. На ярко-голубое, уходящее в неведомые дали небо вдруг набежали тучи, мрачные, будто напитанные снегом, и скрыли солнце. О-Ёнэ и Короку по очереди грели руки над хибати.

— С будущего года брату, наверно, прибавят жалованье? — вдруг сказал Короку. На лице у О-Ёнэ, которая в это время клочком бумаги вытирала испачканные клеем руки, отразилось недоумение.

— С чего вы взяли?

— Так ведь в газетах пишут, что с будущего года всем чиновникам прибавят жалованье.

О-Ёнэ ни о чем подобном не слыхала, и лишь когда Короку ей все подробно объяснил, кивнула:

— И в самом деле, ведь нынче буквально ни на что не хватает. Взять, к примеру, рыбу, подорожала вдвое с тех пор, как мы поселились в Токио!

«Баснословная цена», — подумал Короку, до этого не имевший понятия о стоимости рыбы. В нем пробудилось любопытство, и это оживило разговор. О-Ёнэ не преминула сообщить, как дешево все стоило во времена юности Сакаи, хозяина, у которого они снимают дом. Хозяин сам не так давно рассказывал об этом Соскэ. Порция отварной лапши из гречневой муки стоила всего восемь рингов, лапша с приправой, мясом и яйцом — два с половиной сэна¹. Порция обычной говядины — четыре сэна, вырезки — шесть. Билет на эстрадное представление можно было купить за три-четыре сэна. Студенты, получавшие от государства вспомоществование около семи иен в месяц, считались людьми среднего достатка. А уж если кто имел, к примеру, десять иен — слыл богачом.

— В те времена, Короку-сан, вы без труда окончили бы университет, — заметила О-Ёнэ.

— Да и брату жилось бы куда легче, — ответил Короку.

Лишь в четвертом часу они переклеили бумагу на сёдзи в гостиной. Скоро должен был прийти Соскэ, и они прекратили работу, чтобы успеть приготовить ужин, убрали бритву и клей. Короку с силой потянулся и несколько раз стукнул себя кулаком по голове.

— Большое вам спасибо. Устали, наверно, — проговорила О-Ёнэ. Но Короку скорее мучил голод, чем усталость. О-Ёнэ достала из буфета печенье, подарок Сакаи, и Короку принялся его уплетать. Наливая чай, О-Ёнэ спросила:

— Говорят, Сакаи окончил университет?

— Да, вроде бы...

Закурив после чая, Короку спросил:

— Неужели брат ничего не говорил вам о предстоящей прибавке?

— Ни словечка.

— Завидую я ему. Никогда не ропшет.

О-Ёнэ ничего не ответила, а Короку поднялся и ушел в маленькую комнату, но вскоре появился с хибати в руках, сообщив, что погас огонь.

Ясуноскэ заверил Короку, что ему недолго придется обременять брата с женой, что в самом скором времени все образуется. И Короку взял в колледже отпуск, полагая, что на время вышел из положения.

¹ Рин — 0,1 сэна; сэн — 0,01 иены.

После случая со шкатулкой между хозяином и Соскэ завязалось более близкое знакомство. До сих пор к хозяину раз в месяц отправляли Киё уплатить за аренду, он присылал расписку, и на этом, собственно, все кончалось, даже намек на добрососедские отношения не было, словно хозяин был чужестранцем.

Все началось с того дня, когда Соскэ принес шкатулку. Вечером, как и говорил Сакаи, явился полицейский осмотреть участок позади дома Соскэ до самого обрыва. Вместе с ним пришел и Сакаи. О-Ёнэ впервые его увидела и очень удивилась, что он с усами, поскольку ей говорили, что он усов не носит. Но еще больше поразила О-Ёнэ его учтивость, особенно по отношению к ней.

— Сакаи-сан, оказывается, носит усы, не преминула сообщить О-Ёнэ, когда Соскэ вернулся со службы.

Дня два спустя служанка Сакаи принесла очень красивую коробку печенья с приложенной к ней визитной карточкой. Хозяин велел передать, сказала служанка, что весьма обязан, благодарит и собирается лично засвидетельствовать свое почтение.

С аппетитом уплетая бобовое печенье со сладкой начинкой, Соскэ сказал:

— Смотри, как Сакаи расщедрился! А еще говорят, будто он скуп, не дает чужим детям на качелях качаться. Наверно, зря болтают!

— Конечно, зря! — поддакнула О-Ёнэ.

И все же ни у Соскэ, ни у О-Ёнэ не возникало и мысли всерьез подружиться с хозяином: ни из добрососедских, ни тем более из корыстных побуждений. И если бы дни шли за днями, как обычно, Соскэ так и остался бы Соскэ, хозяин — хозяином, оба чужие и далекие друг другу, как их дома, один на самом верху, другой в самом низу.

Однако еще через два дня, когда дело уже шло к вечеру, Сакаи снова явился, на этот раз в теплой накидке с выдровым воротником. Не привыкшие к гостям, тем более вечером, супруги пришли в легкое замешательство. Они провели Сакаи в гостиную. Любезно поблагодарив за услугу, Сакаи сказал:

— Слава богу, еще одна пропажа нашлась. — С этими словами он отцепил от белого крепового пояса золотую цепочку, на которой висели золотые часы с двумя крышками. Часы очень старые, рассказывал Сакаи, и, по совести говоря, ему их не было ни капельки жаль. Но заявление в полицию пришлось сделать, поскольку существует такое правило. И вот вчера он вдруг получает посылку без обратного адреса, а в посылке — эти часы.

— Видимо, и вор не знал, что с ними делать. А возможно, ничего не мог за них выручить и потому вернул по назначе-

нию. Но как бы то ни было, случай поистине удивительный. — Сакаи рассмеялся. — Шкатулка для меня куда ценнее. В незапамятные времена бабушка получила ее в дар от князя, у которого служила, так что, если хотите, это своего рода реликвия.

Сакаи пробыл у них чуть ли не два часа и рассказал уйму интересных вещей. О-Ёнэ сидела в столовой, откуда ей все было слышно. И у нее и у мужа сложилось впечатление о хозяине как о весьма интересном собеседнике.

— Чего только он не знает, — проговорила О-Ёнэ, когда Сакаи ушел.

— А все потому, что времени у него хоть отбавляй.

Когда на следующий день, возвращаясь со службы, Соскэ сошел с трамвая и проходил мимо лавки старьевщика в переулке, он вдруг увидел знакомую накидку с выдровым воротником и профиль Сакаи, о чем-то беседовавшего с лавочником.

— О, добрый вечер,— радушно окликнул он Соскэ. — Вы домой?

И Соскэ пришлось быть любезным. Он замедлил шаг и снял шляпу. Сакаи решительно вышел из лавки, всем своим видом показывая, что покончил с делами.

— Что-нибудь купили? — поинтересовался Соскэ.

— Да нет, просто так заходил.

Они пошли рядом по направлению к дому.

— Ну и хитер, скажу я вам, этот старик, — заметил Сакаи, пройдя с десяток шагов. — Хотел всучить мне подделку под Кадзана¹, я и отругал его за это.

Соскэ про себя отметил, что, как и все люди, располагающие временем и к тому же деньгами, Сакаи увлекается коллекционированием старинных картин. Знал бы, показал бы ему ширму Хоицу, прежде чем ее продать.

— А что,— спросил Соскэ, — старик знает толк в таких вещах?

— Да где там? Он вообще ни в чем не смыслит, не говоря уже об искусстве. Стоит лишь взглянуть на его лавку, и это сразу можно понять. Ни одной антикварной вещи! Ничего похожего. Да и чему тут удивляться. Ведь совсем недавно он был простым тряпичником.

Сакаи все до мельчайших подробностей знал про хозяина лавки. Как-то Соскэ от зеленщика слышал, будто при правительстве сёгуна дом Сакаи был в этой округе самым старинным и всех членов его семьи величали не иначе как «ваша милость». Еще зеленщик рассказывал, будто после крушения сёгуната Сакаи то ли не уехал вместе с последним сёгуном

¹ Ватанабэ Кадзан (1793—1841) — известный японский художник.

в Сумпу¹, то ли уехал, по потом снова вернулся, это Соскэ запомнил.

— В детстве он был озорной, первый среди мальчишек драчун. — Сакаи даже вспомнил о далеком прошлом, когда оба они были детьми. Соскэ любопытствовал, как это вдруг получилось, что хозяин лавки вознамерился продать подделку. Сакаи рассмеялся и стал объяснять:

— Видите ли, еще мой отец ему покровительствовал, и теперь он время от времени приносит разные вещи, в которых мало что смыслит, но старается сбить подороже. Словом, не так-то легко с ним иметь дело. К тому же совсем недавно я купил у него ширму Хоицу, так что теперь он совсем возгордился...

Соскэ оторопел, но перебивать Сакаи не решился и промолчал. А Сакаи продолжал говорить о том, что после этого случая с ширмой лавочник вошел во вкус и часто приносит картины и произведения каллиграфического искусства, толку в которых сам не знает. А однажды он принял чашку, сделанную в Осака, за подлинную «кориаки»² и выставил ее, как ценность.

— В общем, у него только и можно купить что кухонный столик или чайник, — заключил Сакаи.

Между тем они подошли к тому месту, где Сакаи надо было свернуть направо, а Соскэ — спуститься вниз. Соскэ хотелось поподробней расспросить о ширме, но он счел для себя неловким идти дальше за Сакаи и протиснулся, спросив лишь:

— Можно мне на днях зайти к вам?

— Милости прошу, — последовал ответ.

День выдался безветренный, время от времени даже выглядывало солнце, по О-Ёнэ считала, что дома очень холодно, и в ожидании мужа поставила посреди гостиной котачу, согревая на нем кимоно Соскэ. Это она впервые за нынешнюю зиму развела огонь в котачу днем. Вечерами она уже давно обогревала дом, только котачу ставила обычно в маленькой комнате.

— Что это ты вдруг поставила котачу посреди гостиной? — спросил Соскэ.

— Ничего, — ответила О-Ёнэ, — ведь мы гостей не ждем. А в маленькой комнате неудобно. Там же Короку.

До сих пор Соскэ как-то не ощущал присутствия брата в доме. Жена помогла ему надеть поверх рубашки кимоно. Завязывая оби, Соскэ заметил:

¹ Сумпу — ныне город Сидзуока. Сёгуну Токугава Ёсинобу было приказано находиться там под домашним арестом, а его непосредственным вассалам — быть при нем.

² «Кориаки» — старинная корейская керамика с резьбой и инкрустациями эпохи Корё (918—1392).

— Холодно в этих краях. Единственное спасенье — котуцу.

Маленькая комната, которую отвели Короку, хоть и не блистала новизной татами, зато выходила на юг и восток и была самой теплой в доме.

Отпив из чашки налитого ему О-Ёнэ горячего чая, Соскэ спросил:

— Где Короку?

Короку был дома, но не подавал признаков жизни. О-Ёнэ встала, чтобы его позвать, но Соскэ сказал, что незачем, и залез под одеяло, которым был накрыт котуцу. Близилась сумерки, и в гостиной, одной стороной обращенной к обрыву, царил полумрак. Соскэ лежал, подложив руку под голову, ни о чем не думая, и глядел перед собой. О-Ёнэ и Киё что-то делали на кухне, но доносившиеся оттуда звуки Соскэ воспринимал как совершенно посторонние, не имеющие к нему никакого отношения. В сумраке лишь смутно белели сёдзи. Соскэ лежал тихо, не шевелясь, даже не крикнул, чтобы принесли лампу.

Когда же наконец он вышел в столовую ужинать, появился и Короку и сел напротив брата. О-Ёнэ поспешно встала из-за стола, сказав, что за хлопотами совсем забыла закрыть ставни в гостиной. Соскэ подумал, что это следовало сделать Короку, так же, например, как и зажечь лампу, но промолчал, решив, что, пожалуй, неудобно делать замечания человеку, который совсем недавно у них поселился.

Дождавшись О-Ёнэ, братья принялись за еду. Соскэ рассказал о своей встрече с Сакаи, сообщив, что хозяин купил у того лавочника в больших очках ширму Хоицу. Выразив удивление, О-Ёнэ некоторое время смотрела на мужа, а потом завяла:

— Я уверена, что это наша ширма.

Молчавший до сих пор Короку наконец понял, в чем дело, и спросил:

— За сколько продали?

Прежде чем ответить, О-Ёнэ быстро взглянула на мужа. После ужина Короку сразу ушел к себе, а Соскэ вернулся к котуцу. Немного погодя, пришла погреться у очага и О-Ёнэ. Потолковав, супруги решили, что в субботу или воскресенье следовало бы сходить к Сакаи посмотреть ширму.

В воскресенье Соскэ, по обыкновению, долго нежился в постели, что можно было позволить себе всего раз в неделю, и полдня прошло впустую. О-Ёнэ пожаловалась на головную боль и с унылым видом села у хибати. Соскэ подумал, что будь маленькая комната свободной, О-Ёнэ могла бы уединиться и отдохнуть, а теперь там Короку. Получалось так, что у О-Ёнэ отобрали ее единственное прибежище. И Соскэ чувствовал себя очень виноватым перед нею.

Он посоветовал жене постелить в гостиной и лечь, если

ей нездоровится, но О-Ёнэ стеснялась. Тогда он сказал, что и сам устроится возле катацу, и велел Киё принести его в гостиную вместе с ватным одеялом.

Короку ушел, когда Соскэ еще лежал в постели, и не показывался, однако Соскэ ни словом о нем не упоминал. Он жалел О-Ёнэ и не хотел с ней заговаривать о брате, догадываясь, что это ей неприятно. Вот если бы жена сама пожаловалась на деверя, он мог бы либо выбрать ее, либо утешить.

Наступил полдень, но О-Ёнэ все не вставала. Подумав, что сон ей полезен, Соскэ тихонько вышел на кухню, сказал Киё, что сходит к Сакаи ненадолго, накинул на кимоно короткую крылатку, из которой виднелись рукава кимоно, и вышел из Дома.

Возможно, потому, что в комнате было мрачно и уныло, очутившись на улице, Соскэ вдруг почувствовал себя легко и бодро. Каждой клеткой своего тела, каждым мускулом, упруго сопротивлявшимся холодному ветру, он с наслаждением ощущал зимнюю живительную свежесть. И он подумал о том, что О-Ёнэ все время сидит в четырех стенах и что необходимо, как только наладится погода, свезти ее за город подышать свежим воздухом.

Едва войдя в ворота дома Сакаи, Соскэ заметил в просветах живой изгороди, отделявшей парадный вход от черного, что-то красное, чересчур яркое для зимнего времени, и, движимый любопытством, решил посмотреть, что бы такое это могло быть. Приблизившись, Соскэ увидел прикрепленный к веткам боярышника ночной халат для куклы, с пропущенной из рукава в рукав тонкой бамбуковой палочкой. Все было сделано с похвальной аккуратностью, столь удивительной для маленькой шалуньи. Соскэ, никогда не имевший детей, долго смотрел на красный кукольный халатик, сушившийся на солнце, и ему вспомнилась красная подставка с пятью куклами-музыкантами, подаренная отцом с матерью младшей сестренке, фигурное печенье и сакэ, неожиданно оказавшееся вместо сладкого горьким¹.

Пока Соскэ ждал, когда Сакаи пообедаст, из соседней комнаты до него донеслись голоса девочек, и Соскэ снова вспомнил о кукольном халатике. В это время фусума раздвинулись, горничная принесла чай, и Соскэ заметил устремленный на него взгляд двух пар огромных глаз. Когда же горничная снова появилась, неся хибати, за спиной у нее мелькнули еще какие-то детские лица. Каждый раз, как раздвигались фусума, Соскэ казалось, будто он видит все новых и новых детей, и он никак не мог определить, сколько же их у хозяина. Но это ощущение возникло, пожалуй, потому, что видел он этих детей впервые. Потом горничная ушла и больше не показыва-

¹ Здесь речь идет о ежегодном празднике девочек 3 марта.

лась. Тут фусума чуть-чуть раздвинулись, и к щелке приникли черные озорные глаза. Соскэ стало весело, и он поманил рукой. Но в тот же миг фусума плотно закрылись и раздался дружный смех. Немного погодя Соскэ услышал:

— Сестрица, давайте поиграем в папы и мамы.

— Давайте. Только в европейцев. — Это был уже другой голос, видимо, старшей сестры.

— Тосаку-сан, — продолжал тот же голос, — будет, как всегда, отцом, и мы будем звать его по-английски «папа», а Юкико-сан — будет матерью, и мы будем звать ее «мама». Поняли?

— «Мама». Ой, как смешно! — Кто-то весело рассмеялся.

— А я как буду по-английски? Я ведь всегда бабушка. Значит, и бабушку надо называть по-английски.

— Бабушку можно звать «баба», — раздался голос старшей сестры.

Затем они повели такой разговор: «Извините, можно к вам?» — «Откуда изволили приехать?» «Динь-динь-динь» — подражал кто-то телефонному звонку. Соскэ было весело и интересно.

Послышались шаги, видимо, из внутренних комнат пришел Сакаи:

— Вы что расшумелись? Ну-ка, марш отсюда! Ведь у нас гость.

— Не хочу-у, пап... Купи большую лошадь, тогда уйду.

Это сказал совсем маленький мальчик. Он с трудом выговаривал слова, что особенно позабавило Соскэ.

Пока хозяин усаживался, извиняясь, что заставил Соскэ ждать, дети ушли в дальние комнаты.

— Как у вас весело, — с восхищением сказал Соскэ. Однако Сакаи истолковал его слова как любезность и, словно бы оправдываясь, возразил:

— Ну что вы, весь дом вверх дном, право...

И хозяин пустился в рассуждения о том, сколько хлопот доставляют дети. Чего только не натворят! Однажды, например, набили доверху красивую китайскую корзину для цветов угольными брикетами и поставили ее в стенную нишу в гостиной, а еще как-то налили в его ботинки воды и пустили туда золотых рыбок. Ничего подобного Соскэ, разумеется, никогда не слышал. Затем Сакаи пожаловался, что у него слишком много девочек и просто не напасешься материи на платья. Уедешь на каких-нибудь две недели, а они за это время выросли на целый дюйм, того и гляди, отца догонят. Не успеешь оглянуться, как замуж пора выдавать. Разорение, да и только!

Бездетный Соскэ не мог посочувствовать хозяину. Напротив, ничего, кроме зависти, его жалобы не вызывали, ибо вид у Сакаи был вполне счастливый.

Выбрав подходящий момент, Соскэ спросил, нельзя ли

взглянуть на ширму, о которой он недавно слышал. Хозяин с готовностью согласился, хлопком в ладоши позвал слугу и велел ему принести из кладовой ширму. Затем обернулся к Соскэ и пояснил:

— Вон где она стояла еще несколько дней назад, но тут как-то смотрю — собрались возле нее дети, стали шалить, я и подумал: испортят, не дай бог, и убрал подальше.

Слушая Сакаи, Соскэ тяготился мыслью, что доставил ему хлопоты своей просьбой. По правде говоря, не так уж сильно мучило Соскэ любопытство. Не все ли в конце концов равно, та это ширма или не та, если она больше ему не принадлежит.

Соскэ не ошибся в своих предположениях, но это не вызвало в нем никаких особых чувств. Правда, на фоне роскошного убранства комнаты: татами великолепной расцветки, узорчатого потолка из дорогого дерева, богатых украшений в парадной нише, ширма, которую бережно внесли двое слуг, казалась Соскэ вещью куда более ценной, нежели в то время, когда она стояла у него в гостиной. И сейчас Соскэ в растерянности, не зная, что сказать, молча, равнодушно смотрел на нее.

Полагая, что гость хоть что-то смыслит в антикварных ценностях, Сакаи переводил взгляд с Соскэ на ширму, положив руку на ее край, но Соскэ, судя по всему, не собирался высказывать своего суждения, и хозяин сам заговорил:

— Вот это не подделка, ширма принадлежала одной старинной родовитой семье.

— В самом деле, — только и мог сказать Соскэ.

Хозяин стал подробно разбирать каждую часть ширмы, при этом указывая на нее пальцем, и заметил, между прочим, что недаром художник был крупным даймё — он не скупился на самые лучшие краски, что делало его картины просто великолепными. Эти банальные, в общем, суждения для неискушенного Соскэ были чуть ли не открытием.

Улучив подходящий момент, Соскэ поблагодарил хозяина и вернулся на прежнее место. Сакаи последовал его примеру и теперь заговорил о стихотворной строке на ширме, о других эпиграфах, о разных стилях в каллиграфии. В глазах Соскэ хозяин выглядел подлинным ценителем каллиграфического искусства и знатоком стихотворного жанра «хайку»¹. Его осведомленность была достойна удивления, и, стыдясь собственного невежества, Соскэ почти все время молчал, не решаясь вставить хотя бы слово.

Сакаи же показалось, что эта тема мало интересует Соскэ, он решил вернуться к живописи, любезно предложил

¹ Хайку (или хокку) — одна из национальных стихотворных форм — трехстишие, состоящее из семнадцати слогов (5—7—5).

показать Соскэ свои альбомы и какэмоно, скромно заметив, что ничего заслуживающего внимания там нет. Соскэ ответил, что не смеет так утруждать хозяина, и, извинившись, поинтересовался, сколько денег уплатил Сакаи за ширму.

— Восемьдесят иен,— ответил тот. — Чрезвычайно удачное приобретение.

Поразмыслив, Соскэ все же решил, что будет занято, если Сакаи узнает историю этой ширмы, и стал рассказывать все по порядку. Сакаи слушал, то и дело удивленно восклицая «ах, вот оно что!», «скажите на милость!», и, наконец, посмеялся над собственным заблуждением, сказав:

— А я-то думал, что вы интересуетесь живописью и потому пришли посмотреть.

Затем он посетовал, что не купил ширму у самого Соскэ, по крайней мере, Соскэ не остался бы в убытке, и начал поносить лавочника, называя его бесстыжим наглецом.

С этих пор Сакаи и Соскэ еще больше сблизились.

10

Ни тетушка, ни Ясуноскэ больше не показывались. Соскэ все было недосуг их посетить, да и особого желания с ними увидеться он не испытывал. Они хоть и доводились Соскэ родней, однако каждой семье, как говорится, светило свое солнце.

Один Короку вроде бы навещался к ним, и то не часто, по о своих визитах почти ничего не рассказывал. О-Ёнэ считала, что это он нарочно молчит, желая досадить ей, но скорее радовалась, нежели огорчалась, поскольку дела тетки ее совершенно не интересовали. Однако кое-что О-Ёнэ все же узнавала из разговоров мужа с братом. Так, с неделю назад Короку сообщил брату, что Ясуноскэ сейчас сильно озабочен применением какого-то нового изобретения. Речь шла о машине чрезвычайно Полезной, которая давала бы четкую печать без типографской краски. О-Ёнэ в этом ничего не смыслила и, разумеется, молчала, как обычно. Зато Соскэ, как мужчине, это было любопытно, он не представлял себе, как можно печатать без типографской краски, и буквально засыпал Короку вопросами, на которые нельзя было ответить, не имея специальных знаний. И Короку ничего не оставалось, как старательно пересказать все, что он слышал от Ясуноскэ и что удалось запомнить.

Впервые эта машина появилась в Англии, и работает она на электричестве. Стоит лишь один электрод присоединить к шрифту, объяснял Короку, а другой — к листу бумаги, плотно прижатой к шрифту, как сразу же получится отпечаток. Цвет печати может быть любой: красный, синий, не только черный. И, что особенно ценно, не требуется времени для

просыхания краски. А какая экономия средств, скажем, при выпуске газет! Ни валиков для краски, ни самой краски — ничего этого не нужно. В общем, хлопоты сократятся по меньшей мере на четверть. Так что изобретение это чрезвычайно перспективное.

Короку без конца повторял то, что слышал от Ясуноскэ, и глаза его при этом так сверкали, будто его собственная судьба целиком зависела от блестящего будущего, которое наверняка ждет Ясуноскэ. Соскэ, как всегда, невозмутимо выслушал брата, не разделяя его восторгов, но и не отрицая возможности успеха. Трудно было сказать, что из этого выйдет, куда машина не найдет широкого применения.

— А установку двигателей на тунцеловных судах он уже бросил? — вмешалась наконец в разговор О-Ёнэ.

— Не то чтобы бросил, — как бы защищая Ясуноскэ, ответил Короку, — но он говорит, что это требует немалых затрат и далеко не каждому по карману.

Они поговорили еще немного, и Соскэ заметил:

— Не так-то просто все делается.

— Самое лучшее — иметь деньги и жить в свое удовольствие, как Сакаи-сан, — сказала О-Ёнэ.

Короку ничего на это не сказал и ушел к себе.

Так время от времени О-Ёнэ и Соскэ узнавали кое-что о делах родственников. Но чаще всего они месяцами ничего друг о друге не слышали.

Как-то раз О-Ёнэ спросила мужа:

— Видно, Короку-сан получает от Ясу-сан карманные деньги, когда там бывает?

Для Соскэ, которого дела брата не слишком интересовали, вопрос оказался неожиданным, и он, в свою очередь, спросил:

— Почему ты так думаешь?

Помявшись, О-Ёнэ сказала:

— Так ведь он часто приходит домой навеселе.

— Может быть, Ясу-сан угощает его в благодарность за то, что он слушает все его сказки на тему о том, как разбогатеть?

Соскэ рассмеялся, и разговор на этом прекратился.

Через два дня Короку опять не явился к ужину. Какое-то время они его ждали, но в конце концов Соскэ проголодался и сел за стол, хотя О-Ёнэ советовала подождать еще и принять пока ванну, чтобы Короку не обиделся.

— Поговорил бы ты с братом, — сказала О-Ёнэ. — А то ведь он пьет.

— Неужели это настолько серьезно, что надо вмешаться? — удивился Соскэ.

Пришлось О-Ёнэ сказать, что не очень серьезно, но все же ее беспокоит, что он часто является днем какой-то неестественно румяный. Соскэ не стал вдаваться в подробности, одна-

ко подумал, что Короку, может быть, занимает деньги или так от кого-нибудь получает и тратит их на вино от безделья.

Между тем близился конец года, ночи стали длиннее. Шум ветра нагонял тоску и уныние. Короку томился от безделья в своей комнатухе, но беседовать с невесткой было еще скучнее, и он целыми днями пропадал у друзей, выслушивая всякие интересные истории. Потом истории истощились, но Короку все равно являлся. В конце концов все поняли, что он приходит от нечего делать, чтобы развеять скуку, и часто притворялись занятыми то подготовкой к занятиям, то еще какой-нибудь работой. Короку было обидно, что его считают бездельником, но сидеть дома, читать или просто так размышлять он уже не мог. То ли в силу внутренней неуравновешенности, то ли из-за сложившихся обстоятельств, которыми он тяготился, Короку ничему не учился, что было бы естественно для юноши его возраста, не прилагал никаких стараний, чтобы чего-то достичь и стать самостоятельным человеком.

В ненастную погоду, когда лил косой холодный дождь или же шел мокрый снег, Короку сидел дома, чтобы не промокнуть или же чтобы не пришлось смывать грязь с таби. В такие дни он буквально не мог найти себе места, то и дело выходил из своей комнаты, с унылым видом садился возле хибати и наливал себе чаю. А если в это время там бывала О-Ёнэ, обменивался с нею несколькими фразами.

«Вы любите сакэ? — спрашивала его О-Ёнэ или говорила: — Скоро Новый год. Вам, вероятно, очень нравится дзони?»¹

Эти короткие разговоры сблизили О-Ёнэ и Короку. Теперь он даже мог обратиться к ней с просьбой починить ему хаори. И когда О-Ёнэ зашивала распоровшийся по шву рукав, Короку садился неподалеку, сосредоточенно следя за ее пальцами. Будь на его месте муж, О-Ёнэ работала бы молча, но с Короку она старалась вести разговор, опасаясь, как бы он не обиделся. Чаще всего Короку говорил о своем будущем, внушающем ему тревогу. Раза два О-Ёнэ его утешала:

— Вы ведь еще молоды, Короку-сан. У вас все впереди. Вот брат ваш другое дело. Ему уже не на что надеяться.

Как-то она спросила Короку:

— Разве Ясу-сан не говорил, что он поможет и в будущем году все образуется?

— Хорошо, если его планы осуществляются, — с несколько растерянным видом ответил Короку. — Но я все чаще в этом сомневаюсь и почти не надеюсь на его помощь. Ведь провалилась же его затея с рыболовецкими судами.

¹ Дзони — новогоднее блюдо: суп с рисовыми клецками, овощами, креветками, грибами.

Глядя на унылый вид во всем разуверившегося деверя, О-Ёнэ вспоминала, с каким недовольством, с каким глухим раздражением он приходил домой, когда бывал навеселе. Смешно и жалко было на него смотреть. И О-Ёнэ не раз участливо ему говорила:

— Были бы у мужа деньги, он непременно помог бы вам.

Как-то холодным вечером Короку ушел, закутавшись в накидку, но в девятом часу вернулся с белым продолговатым пакетом и сказал, что по дороге от Сазки купил гречневой муки, подумав, что в такой холод гречневые клецки будут весьма кстати. Пока О-Ёнэ кипятила воду, Короку усердно чистил сушеного тупца, изъявив желание приготовить рыбный суп.

Между прочим Короку сообщил, что в семье тетушки новость — женитьбу Ясуноскэ отложили до весны. Вскоре по окончании университета Ясуноскэ сделал предложение, и к тому времени, когда Короку вернулся со взморья, сватовство уже почти состоялось. Под этим предлогом тетка, собственно, и отказала Короку в помощи. Однако точно Соскэ ничего не знал, так как формального извещения ему не присылали, лишь от Короку он слышал, что свадьбу как будто собираются праздновать в этом году. От Короку же он узнал, что невеста, дочь служащего одной фирмы, человека весьма состоятельного, окончила прославшуюся аристократической женскую гимназию в Токио и что у нее много братьев. И видел ее, правда на фотографии, тоже только Короку. Когда однажды О-Ёнэ спросила, хороша ли собой девушка, Короку ответил, что, пожалуй, хороша.

В этот вечер, пока варились клецки, О-Ёнэ, Соскэ и Короку обсуждали вопрос о том, почему отложена свадьба. О-Ёнэ считала, что из-за неблагоприятного расположения звезд, Соскэ — что из-за недостатка времени: до конца года оставалось совсем немного. Один лишь Короку высказал необычное для него сугубо житейское соображение:

— Скорее всего дело упирается в деньги. Семья невесты, говорят, живет на широкую ногу, и тетке за ними никак не угнаться.

11

О-Ёнэ стала прихварывать глубокой осенью, когда листья клена покраснели и сморщились. Исключая то время, когда О-Ёнэ жила в Киото, ни в Хиросиме, ни в Фукуоке она ни дня не чувствовала себя вполне здоровой, и нельзя было сказать, что возвращение в Токио повлияло на нее благотворно. Скорее, ей был вреден климат родных мест, так сильно она одно время страдала.

Но постепенно состояние ее несколько улучшилось, и причин для тревоги у Соскэ стало гораздо меньше. Он спокойно ходил на службу, а О-Ёнэ, проводив его, весь день хлопотала по хозяйству. И когда глубокой осенью, принесшей ледяной ветер и иней, О-Ёнэ снова почувствовала недомогание, она не очень огорчилась, даже не сказала об этом мужу, когда же он сам заметил в ней перемену и посоветовал обратиться к врачу, отказалась.

Как раз в это время к ним переехал Короку. Соскэ очень не хотелось обременять и без того слабую здоровьем О-Ёнэ, но обстоятельства оказались сильнее его, и ему пришлось смириться. Единственное, что ему оставалось, это дать жене бесполезный совет беречь себя и не волноваться. «Все будет хорошо», — засмеялась в ответ О-Ёнэ.

После этих слов Соскэ окончательно потерял покой. Но, как ни странно, с переездом Короку О-Ёнэ даже приободрилась, видимо, потому, что прибавилось хлопот, и теперь со всем усердием, на какое только была способна, ухаживала за мужем и деверем. Не в пример Короку, Соскэ все это хорошо понимал и, исполненный благодарности, боялся лишь, как бы волна душевной энергии не захлестнула О-Ёнэ, не ухудшила ее здоровья.

Так оно, к несчастью, и случилось. В один из декабрьских дней, когда над землей свинцовой тяжестью нависло небо и холодное ненастье угнетало душу, сжимая руками измученную голову, О-Ёнэ с трудом поднялась после бессонной ночи и стала хлопотать по хозяйству. Каждое движение отдавалось в мозгу легкой болью, и все же днем О-Ёнэ было легче, нежели ночью, когда все мысли были сосредоточены на этой боли.

Превозмогая боль, О-Ёнэ собирала мужа на службу, надеясь, что немного погода наступит, как обычно, облегчение. Однако надежды ее не оправдались. Оставшись наедине с собой, О-Ёнэ почувствовала слабость во всем теле. Вдобавок угнетала промозглая погода. Казалось, небо замерзло и холод проникает в дом сквозь сёдзи, тоже темные и сумрачные. Но, несмотря на холод, голова горела. Пришлось О-Ёнэ лечь в постель. Спустя немного она попросила Киё принести ей смоченное в воде полотенце. Полотенце сразу стало теплым, так пылала у О-Ёнэ голова. Тогда она поставила у изголовья таз и время от времени сама смачивала полотенце.

Промучилась О-Ёнэ до самого обеда. У нее даже не хватило сил встать к столу и поесть, как обычно, вместе с Короку. Она лишь велела служанке подать Короку обед. А потом, совершенно не заботясь о прическе, попросила принести мягкую ватную подушку вместо жесткой, на которой обычно спала.

Вышел из своей комнаты Короку, заглянул к О-Ёнэ, но, увидев, что она лежит с закрытыми глазами, вероятно, решил, что она спит, и тихонько прикрыл фусума. Затем сел к столу и стал торопливо есть политый чаем рис.

Лишь к двум часам О-Ёнэ наконец забылась коротким сном, а когда проснулась, полотенце, обмотанное вокруг головы, оказалось совершенно сухим. Головная боль несколько утихла, но все тело было налито какой-то отвратительной тяжестью. С большим трудом О-Ёнэ встала, чтобы немного подкрепиться.

— Что, госпожа, полегче вам? — заботливо спросила Киё, прислуживая за столом. О-Ёнэ будто и в самом деле почувствовала облегчение. Она велела служанке убрать постель и села у хибати дожидаться мужа.

Соскэ пришел со службы вовремя, с раскрасневшимся от холода лицом. В районе Канда, сообщил он, уже началась предновогодняя торговля, у магазинов стоят шесты с рекламами, вход в торговые ряды задрапирован по обеим сторонам белым в красную полоску полотном, гремит специально нанятый оркестр, привлекая покупателей.

— Такое веселье! — заключил Соскэ. — Непременно посмотрю. На трамвае доедешь очень быстро.

После внимания, проявленного мужем, у О-Ёнэ не хватило духу пожаловаться на недомогание, да и не так уж она страдала. Поэтому она, как обычно, помогла мужу переодеться.

Но не было еще и девяти часов, когда вдруг она сказала, что хочет лечь пораньше¹, потому что ей нездоровится. Для Соскэ это явилось неожиданностью, и он встревожился, но О-Ёнэ так уговаривала его не волноваться, что он успокоился и отправил ее спать.

Минут двадцать после этого он сидел при тусклом свете лампы у хибати, прислушиваясь к шуму чайника в вечерней тишине, и размышлял. Ходят слухи, будто всем чиновникам с нового года прибавят жалованье, но перед этим непременно проведут либо реорганизацию, либо сокращение. И Соскэ без страха не мог думать, что ждет его в этом случае. Устроивший его на службу Сугихара, к несчастью, ушел из министерства, где был начальником отдела. Соскэ, хоть и не доучился и потому многим уступал в знаниях, да и читал мало, с работой справлялся не хуже других, к тому же, как ни удивительно, после переезда в Токио он ни разу не болел и изо дня в день исправно ходил на службу.

Наконец Соскэ решил, что, пожалуй, все обойдется, и легонько постучал ногтем по чайнику. В этот момент раздался исполненный страдания голос О-Ёнэ, которая звала его. Забыв обо всем, Соскэ побежал к жене.

Морщась от боли и сжимая рукой плечо, О-Ёнэ сидела в постели, сбросив наполовину одеяло. Соскэ почти машинально положил ей на плечо руку, ощутив пальцами остро торчавшую ключицу.

¹ Согласно японским обычаям, лечь спать раньше мужа считается невежливым.

— Чуть подалее,— жалобно произнесла О-Ёнэ. Соскэ не сразу нашел большое место между плечом и шеей, затвердевшее, словно камень. По просьбе О-Ёнэ он изо всех сил надавил на это место, у него даже пот выступил на лбу, но это не принесло О-Ёнэ облегчения.

Невольно Соскэ вспомнил болезнь со старинным названием «грудная жаба» и рассказ деда об одном самурае, ехавшем куда-то верхом. Почувствовав вдруг нестерпимую боль в плече, самурай соскочил с лошади, схватил нож, прикрепленный к рукоятки меча, сделал надрез на плече и пустил кровь, тем самым избежав смерти. Понимая всю опасность болезни, Соскэ тем не менее сомневался в необходимости столь жестокого метода лечения.

Прилив крови был настолько сильным, что у О-Ёнэ покраснели даже уши. На вопрос, есть ли жар, О-Ёнэ с трудом ответила, что есть. Соскэ велел Киё налить в пузырь холодной воды, но пузыря, к несчастью, не оказалось, и Киё так же, как утром, принесла таз с водой и, смочив полотенце, положила его на голову О-Ёнэ. Соскэ продолжал усиленно массировать плечо, время от времени справляясь, не стало ли О-Ёнэ хоть чуточку легче, однако О-Ёнэ едва слышно отвечала, что нет, ей не легче. Соскэ совсем приуныл, но оставить О-Ёнэ одну и идти за врачом не решался.

— Сбегай в лавку за пузырем, а заодно позови врача, он, пожалуй, не спит, ведь рано еще,— сказал Соскэ служанке.

Киё тотчас же вышла в столовую посмотреть на часы, и оттуда послышался ее голос:

— Сейчас четверть десятого.

Затем она пошла на кухню и принялась в темноте искать гэта. Очень кстати вернулся Короку. Как всегда, не сказав брату ни слова, даже не поздоровавшись, он направился было к себе, но Соскэ громко его окликнул. Короку замешкался в столовой, однако брат продолжал его настойчиво звать. Короку волей-неволей нехотя откликнулся и заглянул в комнату О-Ёнэ. Глаза у него были воспаленные, он, видимо, выпил. Однако хмель тут же прошел.

— Что-нибудь случилось с сестрицей? — испуганно спросил Короку.

Соскэ решил вместо служанки отправить за врачом и в лавку Короку и велел ему поторопиться. Короку, не раздеваясь, пошел к выходу.

— Я лучше позвоню врачу от Сакаи-сан, так будет быстрее.

— Ладно,— согласился Соскэ. Пока Короку ходил, Соскэ то и дело заставлял Киё менять воду в тазу, а сам массировал О-Ёнэ плечо, чтобы хоть как-то отвлечься. Было невыносимо смотреть, как она страдает, и бездействовать. Соскэ весь извелся в ожидании врача, все время напряженно прислушиваясь к звукам снаружи.

Появление врача было для Соскэ равносильно наступившему после тревожной ночи долгожданному рассвету. Врач, как ему и полагалось, держался вполне спокойно. Он поставил рядом с собой свой чемоданчик и хладнокровно, не спеша, стал осматривать О-Ёнэ, словно перед ним был больной, страдающий хронической болезнью. Глядя на его невозмутимый вид, Соскэ немного успокоился.

Врач поставил О-Ёнэ на спину горчичники и велел ставить их каждый раз во время приступа, а также класть на ноги согревающий компресс, а на голову пузырь со льдом. Киё и Короку занялись приготовлением компресса, а Соскэ положил жене на голову пузырь.

Так в хлопотах прошло около часу. Врач остался, чтобы некоторое время понаблюдать за больной, и время от времени они с Соскэ обменивались ничего не значащими фразами, не переставая озабоченно поглядывать на О-Ёнэ.

— Холодно теперь по ночам, — заметил врач. Испытывая неловкость оттого, что доставил врачу столько хлопот, Соскэ попросил его не стесняться и уйти, когда тот пожелает, и подробно расспросил об уходе за больной. К этому времени О-Ёнэ почувствовала себя лучше.

— Теперь все будет хорошо, — сказал врач. — Я пропишу лекарство, вам надо выпить его на ночь, и я надеюсь, вы сможете уснуть.

Врач оставил рецепт и ушел. Вслед за ним ушел и Короку купить лекарство.

Взглянув на мужа, О-Ёнэ спросила, который час. При свете лампы она выглядела особенно бледной. Соскэ подумал, что это из-за разметававшихся по подушке черных волос, и заботливо поправил ей прическу.

— Легче тебе? — спросил он.

— Да, гораздо легче, — ответила О-Ёнэ со своей обычной улыбкой. Даже страдая, она не забывала улыбнуться Соскэ. В столовой, положив голову на стол, посапывала служанка.

— Разбуди, пожалуйста, Киё, — попросила О-Ёнэ.

Когда О-Ёнэ приняла купленное Короку лекарство, было уже около двенадцати. Не прошло и двадцати минут, как больная мирно спала.

— Все в порядке, — сказал Соскэ, глядя на жену.

Короку тоже посмотрел на невестку и ответил:

— Да, вроде бы в порядке.

Вскоре Короку ушел спать. Соскэ постелил себе возле О-Ёнэ и быстро, как всегда, уснул. Через несколько часов на смену холодной и ненастной ночи пришел рассвет. А вскоре взошло солнце, заливая яркими лучами землю.

Соскэ позавтракал, уже пора было идти на службу, а О-Ёнэ так и не просыпалась. Склонившись, Соскэ прислушивался к ее глубокому дыханию и раздумывал, идти ему на службу или остаться дома.

Придя на службу, Соскэ приступил к своим обычным обязанностям, но перед глазами, сменяя друг друга, вставали события вчерашнего дня, усиливая тревогу. Он даже допустил, что было ему несвойственно, несколько ошибок в работе и, едва дождавшись обеденного перерыва, поспешил домой.

Пока Соскэ ехал в трамвае, он старался рисовать в воображении лишь полные благополучия картины: вот О-Ёнэ проснулась, ей гораздо лучше, можно не опасаться нового приступа. Пассажиров в это время дня бывало немного, и ничто не отвлекало Соскэ от его мыслей. Он не заметил, как приехал на конечную остановку.

Когда Соскэ подошел к дому, он показался ему пустым — так было тихо внутри. Соскэ открыл дверь, снял ботинки, прежде чем войти в прихожую, но никто не появился ему навстречу. Соскэ прошел прямо в комнату О-Ёнэ и увидел, что она все еще спит. На том же месте лежали у изголовья порошки, на красном лакированном подносе стоял стакан, наполовину наполненный водой. Так же, как утром, лицом к степной нише лежала О-Ёнэ, виднелась лишь ее левая щека и горчичник на шее. Ничто, казалось, не связывало О-Ёнэ с миром, кроме дыхания. Все было здесь, как утром, когда Соскэ уходил на службу. Даже не сняв пальто, Соскэ наклонился над О-Ёнэ и услышал все то же ровное, спокойное дыхание. Ни малейших признаков пробуждения. Загибая пальцы, Соскэ посчитал, сколько часов назад О-Ёнэ приняла порошок, и на лице у него отразилось волнение. Он не мог оставаться спокойным, когда жена страдала бессонницей, но такой длительный сон казался ему противоестественным.

Соскэ легонько потряс О-Ёнэ, но она не проснулась, только волосы волнами рассыпались по подушке. Тогда Соскэ прошел на кухню. Грязная посуда мокла в неглубоком тазу с водой. Он заглянул к Киё и увидел, что она тоже спит, прислонившись к большой деревянной чашке на обеденном столике. Спал и Короку у себя в комнате, укрывшись с головой одеялом.

Пришлось Соскэ самому переодеться. Он добавил углей в хибати и поставил кипятить чайник. Посидел несколько минут в раздумье, а потом разбудил Короку и Киё.

Короку сказал, что до одиннадцати О-Ёнэ не просыпалась, а потом сам он, поев, лег спать, потому что не выспался.

— Сходи-ка к врачу, скажи, что О-Ёнэ со вчерашнего дня не просыпалась.

— Ладно, — ответил Короку и ушел. Соскэ вернулся к О-Ёнэ и, сложив руки на груди, стал внимательно на нее смотреть, не решаясь разбудить.

Немного погода вернулся Короку. Врач как раз собирался с визитами, сообщил он, и обещал непременно зайти. «Может,

нельзя ждать так долго?» — выразил опасение Соскэ, на что Короку ответил, что врач больше ничего ему не сказал. Тогда Соскэ сел у изголовья и стал терпеливо ждать, упрекая в душе и врача и Короку за такую беспечность. Неприязнь к брату усугублялась воспоминаниями о том, в каком виде он явился накануне, как раз когда у О-Ёнэ был приступ. Узнав от жены, что брат часто приходит пьяный, Соскэ стал внимательнее к нему приглядываться и, убедившись в его легкомыслии, решил сделать ему как-нибудь внушение, но, зная наперед, что разговор такого рода приведет к ссоре, все его откладывал, боясь огорчить О-Ёнэ.

«Надо бы все ему сказать сейчас, пока О-Ёнэ спит, тогда, по крайней мере, что бы ни случилось, на ней не отразится».

Соскэ невольно взглянул на безучастное во сне лицо жены и, движимый тревогой, хотел тотчас же ее будить, но не хватило духу. Пока он колебался, пришел наконец врач.

Аккуратно, как и накануне, поставил рядом чемоданчик, спокойно попыхивая сигаретой, внимательно выслушал Соскэ, затем, сказав: «Сейчас посмотрим больную», — повернулся к О-Ёнэ. Долго слушал пульс, глядя на часы, затем приставил к сердцу черный стетоскоп, подвигал вправо, влево, все, как полагается, и достал наконец зеркало с круглым отверстием, после чего попросил Соскэ принести свечу. Свечей в доме не оказалось, и Соскэ велел Киё зажечь лампу. Врач приподнял больной веки и направил в зрачки отраженный в зеркале свет. На этом осмотр закончился.

— Лекарство подействовало чуть-чуть сильнее, чем следовало, — повернувшись к Соскэ, сказал врач, но, заметив настороженность в его глазах, поспешил его успокоить: — Да вы не волнуйтесь! Сердце и мозг в порядке, никаких отклонений нет, а это главное.

Соскэ почувствовал облегчение. Перед уходом врач объяснил, что прописанное им лекарство — это повое средство, которое, судя по данным, не так вредно, как другие снотворные, однако действие его бывает самым различным в зависимости от организма.

— Значит, пусть спит, пока сама не проснется? — на всякий случай спросил Соскэ. Врач ответил, что будить особой нужды нет.

После ухода врача Соскэ нестерпимо захотелось есть, и он прошел в столовую. Чайник уже вскипел, и Соскэ велел Киё подавать на стол. Но та, смутившись, ответила, что пока не готово. И действительно, время ужина еще не наступило. Не испытывая больше мучительной тревоги, Соскэ удобно расположился у хибаты, съел маринованную редьку и проглотил кряду чуть не четыре чашки риса, политого кипятком. Через полчаса О-Ёнэ наконец проснулась.

К Новому году Соскэ захотелось подстричься, и впервые за долгое время он вошел в парикмахерскую. Посетителей было много, как всегда перед праздником, торопливо позвякивали в унисон несколько пар ножниц. В этой суете, царившей и в парикмахерской и на улице, откуда только что пришел Соскэ, чувствовалось лихорадочное стремление людей избавиться от холода и поскорее перебраться в новый год.

В ожидании своей очереди Соскэ некоторое время курил, стоя возле печки, ощущая себя против воли втянутым в беспоконную жизнь большого мира, к которому не имел ровно никакого отношения, но почему-то должен был провожать старый и встречать новый год. Сам не имея никаких желаний, ни к чему не стремясь, он заразился всеобщей лихорадкой и уже не мог бездействовать.

Приступы у О-Ёнэ постепенно прекратились, и, уходя из дому, Соскэ уже не тревожился, как прежде. Он готов был встретить Новый год без всякой пышности, как это бывало в других семьях, еще скромнее, чем обычно, даже без традиционных приготовлений, только бы избавить О-Ёнэ от излишних хлопот. Глядя на жену, словно ожившую, просветленную, Соскэ испытывал облегчение, как человек, чудом спасшийся от страшной трагедии. Но порой мысль о том неизбежном, что могло в любой момент обрушиться на его семью, туманом обволакивала мозг, вызывая безотчетный страх. И страх этот усиливался предпраздничной лихорадкой, пристрастием людей к суете и всему необычному, их желанием искусственно ускорить наступление Нового года. В такие минуты Соскэ нестерпимо хотелось остаться одному в сумрачном декабре, если бы только это было возможно. Когда наконец подошла его очередь и он сел в кресло, то из зеркала на него глянул совсем другой человек, по самый подбородок укутанный в белоснежную салфетку. В зеркале еще отражалась клетка с хозяйской птичкой, прыгающей на жердочке.

Благоухающий бриолином и напутствуемый праздничными поздравлениями и пожеланиями парикмахера, Соскэ вышел на улицу и сразу почувствовал себя свежим и бодрым. Вдыхая прохладный воздух, он не мог не признать, что совет О-Ёнэ подстричься помог ему обрести душевное равновесие.

По дороге домой Соскэ зашел к Сакаи уговориться о плате за пользование водопроводом. «Сюда, пожалуйста», — сказала горничная, но, против обыкновения, провела его не в гостиную, а в столовую. Фусума были слегка приоткрыты, и оттуда доносился смех. В доме Сакаи всегда бывало весело.

Хозяин сидел за большим, полированного дерева, хибати, а жена его чуть поодаль, ближе к галерее. Позади хозяина висели на стене часы в продолговатом черном футляре. Слева

от часов — стенной шкафчик с оклеенными плотной бумагой дверцами. На дверцах — рисунки тушью, литографии, два веера с извлеченными из них костяными планками.

Кроме хозяина и его жены, в комнате сидели, тесно прижавшись друг к другу, две девочки в одинаковых кимоно с узкими рукавчиками и во все глаза смотрели на вошедшего Соскэ. Смех еще искрился в их глазах, дрожал на губах. Осмотревшись, Соскэ заметил еще одного человека, весьма странного вида, сидевшего почти у самого входа в почтительной позе.

Не прошло и пяти минут, как Соскэ понял, что этот человек, собственно, и являлся причиной веселого оживления. Жесткие, слегка выгоревшие на солнце волосы, словно припорошенные пылью, плотный, вьевшийся в кожу загар. Белая хлопчатобумажная рубашка с керамическими пуговицами, домотканое стеганое кимоно и круглый плетеный шнурок, переброшенный через шею, напоминающий те, на которых обычно носят кошельки. Незнакомец, судя по всему, был жителем одного из отдаленных горных районов, которому редко выпадает случай побывать в таком большом городе, как Токио. Несмотря на холодное время, он то и дело вынимал полотенце из-за полинявшего темно-синего бумажного пояса, чтобы вытереть проступавший на верхней губе пот.

— Это торговец из провинции Каи, — представил его хозяин, — приносит на продажу в Токио тамошние ткани.

Торговец тотчас повернулся к Соскэ:

— Купи что-нибудь, господин хороший!

Только сейчас Соскэ заметил сваленные в углу самые различные шелка. Здесь был и первоклассный полосатый креп «о-мэси», и ткань «мэйээн» попроще, и некрашеное шелковое полотно «сироцумугп». Просто не верилось, что хозяин всех этих великолепных товаров такой простак. Жена Сакаи пояснила, что почва в его деревне — сплошь застывшая вулканическая лава, ничего там не растет: ни рис, ни каштаны, только тутовые деревья, и все жители вынуждены разводить шелковичных червей. Живут там очень бедно, только в одной семье есть стенные часы, всего трое детей ходят в школу второй ступени.

— Он говорит, что единственный на всю деревню знает грамоту, — смеясь, заключила хозяйка.

— Это чистая правда, госпожа, — очень серьезно произнес ткач, — никто, кроме меня, не умеет ни читать, ни писать, ни считать. Что говорить — гиблое место!

Ткач раскладывал ткань за тканью, приговаривая: «Купите, господа хорошие!» — и чисто по-деревенски торговался: «Уж больно дешево даешь, дай подороже, сделай милость! Да ты погляди, какой тяжелый, а выделка какая!» Он забавлял хозяев, они смеялись и, ничем не занятые, охотно вели с ним разговор.

— Но ты ведь должен есть, когда идешь из своей деревни в Токио?

— А как же! Без еды нельзя. Голод каждого дойдет!

— Где же ты ешь?

— Где ем? Да в чайных ем. Это такой домик, где дают поесть, — ответил он на заданный в шутку вопрос хозяина. Но еще больше он всех насмешил, когда сказал, что до отвала наедается на постоянных дворах, потому как еда там очень уж вкусная, три раза на день ест, даже бывает совместно.

В конце концов ткачу все же удалось сбыть хозяйке штуку белого шифона и отрез шелка из крученой нитки. При этом Соскэ невольно подумал, что только люди со средствами могут купить перед самым Новым годом летнюю ткань.

— Может, и вы, кстати, что-нибудь возьмете? — обратился Сакаи к Соскэ. — Ну хотя бы на будничное платье супруге?

Жена его уверяла Соскэ, что вряд ли представится еще случай купить так дешево. «А заплатите, когда хотите». Соскэ согласился купить для О-Ёнэ «мэйсэн». Сакаи долго торговался, и ткач наконец уступил материю за три иены, посетовав:

— Не цена это, а слезы!

Все снова дружно рассмеялись.

Ткач, видимо, везде, куда бы ни пошел, говорил по-деревенски, потому что иначе не умел. Он обходил всех своих постоянных покупателей, пока от его ноши не оставались только темно-синий фуросики² да шнурок. Он сказал, что вернется ненадолго домой, проводит старый год и тотчас снова отправится в путь. Товару возьмет столько, сколько сможет унести, и к началу мая, когда у шелководов наступает страдная пора, возвратится с выручкой в свою деревушку, где перекатываются под ногами кусочки лавы, близ северного склона Фудзи.

— Чуть ли не пять лет он ходит к нам, и все такой же, — сказала жена Сакаи.

— Да, редко встретишь нечто подобное, — присовокупил муж. — И в самом деле, пробудешь нынче три дня дома, а потом смотришь: улицу расширили, день не прочтешь газет — а тут, оказывается, новую трамвайную линию открыли.

Размышляя обо всем этом, Соскэ с искренним сочувствием смотрел на ткача, который, дважды в год бывая в Токио, смог все же сохранить своеобразные черты жителя гор, особую манеру речи, одежду.

По пути домой, перекладывая под накидкой покупку из руки в руку, Соскэ никак не мог забыть торговца, буквально

¹ Еда входит в плату за постой.

² Фуросики — большой платок, традиционно используемый японцами для завертывания самых различных предметов.

за нищенскую цену продавшего ему ткань, его бедную одежду, жесткие, цвета темной глины, волосы, на удивление аккуратно расчесанные на пробор.

Когда он пришел домой, О-Ёнэ как раз дошла новогоднее хаори для мужа, положила его под дзабутон, а сама села сверху вместо пресси.

— Перед сном положишь его под тюфяк, — обернулась она к Соскэ. О-Ёнэ от души смеялась, когда муж рассказал ей про торговца, и никак не могла налюбоваться подарком, приговаривая: «До чего же дешево!» Ткань и в самом деле была великолепной.

— Не понимаю,— сказала наконец О-Ёнэ, — какая ему от этого выгода?

— Не так уж это дешево. Просто торговцы мануфактурой, перекупщики, здорово наживаются на покупателях. — Сказано это было с таким видом, словно Соскэ прекрасно разбирался в подобном рода делах.

Постепенно разговор перешел на семью Сакаи. Живут в достатке, могут сколько угодно переплатить хозяину антикварной лавки, зато с бедным ткачом торгуются, чтобы приобрести по дешевке то, что понадобится лишь в следующем сезоне. Забот не знают, и потому в доме у них постоянно веселье. И вдруг уже совсем другим тоном, как бы поучая, Соскэ сказал:

— Дело не только в деньгах. Главное — дети. С детьми и беднякам весело.

В его словах О-Ёнэ послышался горький упрек, брошенный Соскэ самому себе. Она выпустила из рук шелк, который держала на коленях, и взглянула на мужа. Однако он ничего не заметил, весь поглощенный мыслью о том, что впервые за долгое время порадовал наконец жену — материя пришлась ей по вкусу. О-Ёнэ же не сказала ни слова, отложив разговор до вечера.

Спать они легли в одиннадцатом часу, как обычно. И О-Ёнэ, улучив момент, пока муж еще не уснул, повернулась к нему:

— Ты нынче говорил, что без детей скучно...

Соскэ вспомнил, что нечто подобное он действительно говорил, но лишь в порядке общих рассуждений, во всяком случае не имея в виду ни О-Ёнэ, ни себя. Но жена, видно, придала его словам чересчур серьезное значение, и сейчас ему ничего не оставалось, как возразить:

— Я ведь не нас с тобой имел в виду.

Наступила пауза. Потом О-Ёнэ снова заговорила:

— Ты ведь считаешь, что мы скучно живем, потому и сказал так. Верно?

Говоря по совести, Соскэ следовало бы в этом признаться, но он не решился и, чтобы не огорчать едва оправившуюся

после болезни жену, предпочел обратить все в шутку, но ничего из этого не получилось.

— Ну, раз ты так говоришь, может, и в самом деле у нас скучновато, однако... — Соскэ запнулся, но, так и не подыскав нужного слова, сказал лишь: — Ладно, ладно. Только, пожалуйста, не волнуйся.

О-Ёнэ промолчала.

— Вчера вечером опять был пожар, — сообщил Соскэ, стараясь отвлечь О-Ёнэ от этого разговора, но она продолжала:

— Я очень перед тобой виновата.

Сказала и осеклась, так и не договорив. Лампа стояла на своем обычном месте, в стенной нише на полочке, и Соскэ не видел лица жены, лежавшей спиной к свету, но голос ее показался Соскэ глухим от слез. Он быстро повернулся на бок и вгляделся в лицо О-Ёнэ, едва видное в полутьме. О-Ёнэ тоже пристально на него смотрела и наконец заговорила прерывающимся голосом:

— Я давно хотела тебе сказать, но все не решалась, прости меня...

Соскэ ничего не понял, подумал было, что это истерия, потом засомневался и молчал в недоумении.

— У меня никогда не будет детей, — с трудом проговорила О-Ёнэ и заплакала. Видимо, эта мысль давно ее мучила. Жалость волной поднялась в душе Соскэ после этого горестного признания, но в растерянности он не знал, как утешить жену.

— Без детей проживем, — сказал он наконец. — Возьми хоть Сакаи-сан. Ему можно лишь посочувствовать. Не дом, а детский сад. Что хорошего!

— Но ты сам будешь страдать, если точно определится, что я не могу иметь детей.

— Так ведь пока неизвестно. Может, на этот раз ты благополучно родишь.

О-Ёнэ еще сильнее расплакалась. И Соскэ ничего не оставалось, как ждать, пока она успокоится, а потом дать ей все высказать до конца.

Не в пример многим, Соскэ и О-Ёнэ жили в полном согласии, лишь невозможность иметь детей омрачала их счастье. Они потеряли ребенка, а это куда тяжелее, чем его вообще не родить. И потому Соскэ и О-Ёнэ чувствовали себя глубоко несчастными.

О-Ёнэ впервые ждала ребенка, когда, покинув Киото, они влачили скудное существование в Хиросиме. Все дни тогда О-Ёнэ проводила в мечтах, отдавшись охватившему ее дотоле неизведанному чувству, испытывая перед будущим то страх, то радость. Для Соскэ их будущий ребенок был осязаемым и зримым доказательством великой силы любви, и он с нетерпеливой радостью ждал появления на свет этого крохотного комочка, частицы его плоти. Однако роды начались на пятом

месяце. В то время О-Ёнэ и Соскэ изо дня в день боролись с жестокой нуждой. Соскэ был уверен, глядя на ставшее землистым лицо О-Ёнэ, что постоянные лишения и тяготы — единственная причина их несчастья. Теперь он был надолго лишен радости взять на руки младенца — плод их любви, загубленный нуждой, и горько сожалел об этом. О-Ёнэ ничего не говорила, только плакала.

Но вскоре после переезда в Фукуоку О-Ёнэ снова потянуло на кислое. Она слышала, что преждевременные роды повторяются, и была очень осмотрительна. Может быть, поэтому все шло нормально, но родила она на месяц раньше срока. Акушерка, с сомнением качая головой, советовала показать ребенка врачу. Врач определил, что ребенок недоношен, и велел держать его в тепле, днем и ночью поддерживая постоянную температуру. Но оборудовать в комнате хотя бы очаг было не так-то просто. Чего только они не делали, чтоб сохранить жизнь младенцу! Но все усилия оказались тщетными. Спустя неделю маленькое тельце похолодело. Держа его на руках, О-Ёнэ, рыдая, спросила:

— Как теперь дальше жить?

Соскэ мужественно принял и этот удар. Ни слова жалобы, ни стоны не вырвалось у него за все время, пока крохотное существо, превратившись в пепел, навеки упокоилось в земле. По время шло, печаль рассеивалась постепенно, а потом и совсем исчезла.

В третий раз О-Ёнэ забеременела почти сразу же после переезда в Токио. В то время она была очень слаба, и Соскэ за нее тревожился, не говоря уже о будущем ребенке. И все же оба они не теряли надежды на благополучный исход и проводили в спокойной уверенности месяц за месяцем. В то время у них еще не было водопровода, утром и вечером служанка брала воду в колодце и у колодца же стирала. Однажды, когда О-Ёнэ была уже на пятом месяце, ей понадобилось что-то сказать служанке, которая стирала в это время на заднем дворе, поставив лохань рядом с колодцем возле выложенного камней стока. Тут О-Ёнэ и поскользнулась, когда хотела перейти сток, упав на покрытый мокрым зеленым мхом бугор. Ругая себя в душе, она все же постыдилась признаться Соскэ в собственной оплошности и сказала ему об этом лишь спустя некоторое время, когда убедилась, что все обошлось. Соскэ не стал упрекать жену, лишь ласково сказал:

— Смотри будь осторожна!

Между тем время родов приближалось, и, сидя на службе, Соскэ ни на минуту не забывал об О-Ёнэ. Возвращаясь домой, он с замиранием сердца некоторое время стоял у дверей: а вдруг, пока его не было, что-нибудь произошло... Соскэ напряженно вслушивался, надеясь, что вот сейчас раздастся плач младенца, потом испуганно вбегал в дом, тут же раскаинаясь в малодушии.

Схватки, к счастью, начались поздно вечером, когда Соскэ был дома. Он не отходил от жены, заботливо за ней ухаживая, вовремя велел позвать акушерку, приготовил все необходимое. Против ожидания, роды оказались легкими, но ребенок, такой долгожданный, ни единым вздохом не дал знать о своем появлении в этом брэнном мире, как ни старалась акушерка вдуть воздух в маленький ротик через тонкую стеклянную трубку. На свет появился бездыханный кусочек плоти, не издавший ни единого крика, и Соскэ с О-Ёнэ печально глядели на смутно очерченные рот, нос и глаза.

За неделю до родов акушерка внимательно осмотрела О-Ёнэ, прослушала даже сердце будущего ребенка и сказала, что все идет хорошо. Она не могла ошибаться, ибо как только прекращалось развитие плода, случался выкидыш. Значит, до последнего момента ребенок был жив. Поняв это, Соскэ впал в отчаяние. Ребенок погиб, потому что перед самым рождением у него вокруг горла обмоталась пуповина, причем не обычная, а очень толстая, и даже опытная, уже не молодая акушерка ничего не могла сделать. Ребенок попросту задохнулся.

Какая-то доля вины лежала, конечно, и на акушерке, но главное заключалось в неосторожности О-Ёнэ, когда четыре месяца назад она упала возле колодца. О-Ёнэ выслушала все это молча, беспомощно кивнув головой. Из усталых, слегка запавших глаз по щекам струились слезы, которые Соскэ, утешая жену, все время вытирал платком, длинные ресницы вздрагивали.

Не удивительно, что Соскэ с О-Ёнэ избегали теперь разговоров о детях, чтобы не ворошить исполненное горечи прошлое. И все же в тайниках души оно ныло, это прошлое, навевая тоску, угнетая, каждый раз напоминая о себе. Неизбывная, омрачавшая жизнь грусть звучала даже в их смехе, и ни у Соскэ, ни у О-Ёнэ не было нужды возвращаться в разговоре к печальным событиям. Вовсе не о том собиралась вести речь О-Ёнэ. В последний раз потеряв ребенка, О-Ёнэ обвинила себя в жестокости. Ведь это она, пусть ненамеренно, сгубила зачатое ею существо, так и не дав ему появиться на свет. Она — злодейка, совершившая тягчайшее преступление. Но эти, снедавшие О-Ёнэ нравственные муки она стойко переносила в одиночестве, ни с кем их не деля, даже с мужем.

Три недели после родов О-Ёнэ, как и полагается, провела в постели. Но в то время, как тело ее пребывало в полном покое, душа не знала ни минуты отдыха. Соскэ без всякой пышности похоронил маленькое тельце, а потом сделал поминальную табличку, на которой черным лаком было написано посмертное имя¹. Другого имени у младенца не было, его не

¹ Имя, которое буддийские монахи дают умершим.

успели дать. Вначале табличка стояла на шкафчике в столовой, и, вернувшись со службы, Соскэ непременно зажигал перед ней ароматичные курения. Лежавшая в маленькой комнате О-Ёнэ временами ощущала их аромат, настолько обострились за это время все ее чувства. Но немного спустя Соскэ почему-то убрал табличку в шкаф, где аккуратно завернутые в кусок материи, каждая в отдельности, хранились поминальные таблички умершего в Фукуоке ребенка и отца Соскэ. В свое время, покидая Токио, Соскэ решил все поминальные таблички оставить на попечение храма, чтобы не возить их с места на место, за исключением таблички отца, которую он взял с собой.

От глаз О-Ёнэ не укрылось, что Соскэ убрал табличку, но этот его поступок она не сочла случайным. Обе таблички умерших детей были связаны в сознании О-Ёнэ длинной нитью судьбы, которую она мысленно протянула к бесформенному существу, исчезнувшему бесследно, словно тень, которому даже не понадобилась табличка. Хиросима... Фукуока... Токио... Воспоминания о постигших ее там несчастьях внушали О-Ёнэ мысль о неодолимости тяготевшего над нею рока, из-за которого ей так и не суждено стать матерью. И в ушах у О-Ёнэ все время, пока она лежала, неотступно звучал голос проклятья, терзая ее измученную душу.

Было невыносимо тяжело лежать вот так, без всякого движения, глядя в одну точку. И после ухода сиделки О-Ёнэ по утрам вставала потихоньку и принималась бродить по дому, в тщетной надежде одолеть гнетущую тревогу. Потом, охваченная унынием, она снова зарывалась головой в подушку, чтобы не видеть ничего вокруг.

Через три недели О-Ёнэ окрепла, поднялась, аккуратно сложила постель и с каким-то новым чувством погляделась в зеркало. Пора было менять теплую одежду на легкую, и О-Ёнэ наконец с наслаждением сбросила с себя подбитое ватой кимоно, сразу ощутив свежесть и легкость во всем теле. Ее тоскующая душа не осталась безучастной к ярким, полным жизни, краскам японской природы на грани весны и лета, и из самых дальних ее уголков всплыли навстречу яркому свету горестные воспоминания. Неожиданно, во мраке, окутавшем прошлое О-Ёнэ, родилось желание знать, что ждет ее в будущем.

Как-то утром, проводив, как обычно, мужа на службу, О-Ёнэ вслед за ним вышла из дому. Уже наступила пора, когда редко встретишь на улице женщину без зонтика. Утро выдалось великолепное, припекало солнышко, и у О-Ёнэ, которая шла быстро, выступили на лбу капельки пота. На всем пути ее не покидала мысль о поминальной табличке, на которую она случайно наткнулась сегодня, выдвинув ящик комода, чтобы достать кимоно. Вот наконец и дом, где живет гадатель.

О-Ёнэ с детства не чужда была суеверий, что, в общем-то, свойственно многим вполне цивилизованным людям. Но, как и они, не отдавая себе в том отчета, О-Ёнэ говорила о суевериях, словно о забаве. Однако нынче ей было не до шуток, коль скоро речь шла о важном, даже святом для каждого человека деле. Вся собранная, очень серьезная, О-Ёнэ предстала перед гадателем и спросила, дарует ли ей когда-нибудь небо ребенка, и суждено ли ей его вырастить. Гадатель, точно-точно как уличные прорицатели, которые, расположившись на улице со своим столиком, за двенадцать энов предсказывают прохожим судьбу, разложил шесть гадательных палочек «санги», меняя их то и дело местами, повертел в руках палочки «дзэйтику», посчитал что-то и, теребя бородку, долго смотрел на О-Ёнэ, как бы изучая ее. Затем изрек:

— У вас не будет ребенка.

Несколько минут О-Ёнэ молчала, вникая в смысл сказанного, затем подняла на гадателя глаза:

— Почему же?

Вопреки ее ожиданиям, гадатель, не раздумывая, сразу ответил:

— Над вами тяготеет сознание вины, вот почему вам не суждено стать матерью.

Эти слова ударили О-Ёнэ в самое сердце. Окончательно приуныв, она вернулась домой и в тот вечер даже боялась взглянуть на мужа.

Но дальше таиться у О-Ёнэ не было сил. Ночная тишина, тусклая лампа в стенной нише и, наконец, признание О-Ёнэ — все это произвело на Соскэ какое-то тягостное впечатление.

— Нервы у тебя не в порядке, вот и ходишь куда не следует. Не глупо ли тратить деньги на всякую чепуху? Опять, наверно, собираешься к этому гадателю?

— Нет, ни за что, уж очень страшно!

— И не ходи. Глупости все это, — сказал Соскэ подчеркнуто небрежным тоном и снова улегся на подушку.

14

Соскэ и О-Ёнэ жили на редкость дружно, ни разу за шесть лет не испытав друг к другу неприязни, ни разу серьезно не поссорившись. Дни проводили в полном уединении, ни с кем не общаясь, если не считать, например, мануфактурщика или торговца рисом, без которых никак нельзя было обойтись. Они просто ни в ком не нуждались, вполне довольствуясь обществом друг друга, словно находились не в городе, а в далекой горной глуши. Да иначе, собственно, и быть не могло. Отграничив себя от внешнего, сложного и беспокойного мира со всеми его проявлениями, О-Ёнэ и Соскэ утратили возможность пользоваться благами цивилизованных людей. Не тяго-

тясь друг другом, не испытывая скуки, они в то же время не могли не замечать скудости собственного существования, такого бедного событиями и впечатлениями, и, само собой, смутно ощущали неудовлетворенность от того, что один день был похож на другой, как две капли воды. Но не они презрели общество, общество отвернулось от них еще с самого начала их совместной жизни, и, лишённые простора, они поневоле замкнулись в себе, целиком отдавшись связывавшему их чувству, которое день ото дня становилось все глубже, все сильнее. За эти прожитые вдали от людей долгие годы они до конца узнали друг друга, их души как бы слились воедино, и иного существования они уже себе не мыслили. Эти два человеческих существа нравственно ощущали себя единым живым организмом, в котором тесно переплелись тончайшие нервные волокна, составлявшие их духовное «я». Они соединились в одно целое, как две капли жира в сосуде с водой, вытолкнутые на поверхность, и не было силы, способной их разъединить.

Взаимной симпатии и дружеским чувствам, столь редко встречающимся у супругов, сопутствовала полная апатия, не мешавшая, однако, им чувствовать себя счастливыми. Для их любви эта апатия была как бы волшебной пеленой, скрывшей весь остальной мир. Зато они могли не опасаться, что по их нервам пройдет щетка для мытья посуды. Словом, привязанность их росла по мере того, как они все дальше и дальше уходили от общества.

Их неизменное согласие было и в самом деле достойно удивления, но сами они его словно не замечали, хотя нет-нет да и заглядывали в собственное сердце, чтобы удостовериться в искренности своих побуждений. Тогда перед каждым из них вставал весь долгий тернистый путь вплоть до сегодняшнего дня с того момента, когда они решили пожениться, и оба они в трепете склоняли голову в ожидании возмездия. Но, исполненные благодарности за ниспосланное счастье, они все же не забывали курить фимиам богу любви, покорно принимая удары хлыста, жестокие и в то же время сладостные.

Соскэ был младшим сыном довольно состоятельного токийца и в студенческие годы жил на широкую ногу, как и многие молодые люди его круга. Одежда, манеры, образ мыслей, словом, весь он был образцом современного светского человека. Держался уверенно, ходил с высоко поднятой головой. Сверкающий белизной воротничок, безукоризненно выутюженные брюки, узорчатые, из тончайшей шерсти, носки — все это как нельзя лучше гармонировало с его светскими манерами.

Отличаясь природным умом и завидной смекалкой, Соскэ не слишком утруждал себя занятиями, полагая, что учеба это лишь средство занять положение в обществе, и ни капельки

не стремясь к унылой карьере ученого. Соскэ аккуратно посещал лекции, исправно их записывал, извел целый ворох тетрадей, но дома ни разу в них не заглянул. А если случалось пропустить занятия, пробелов в записях он никогда не восполнял. В кабинете, где царил идеальный порядок и аккуратной стопкой лежали тетради, Соскэ почти не бывал, предпочитая занятиям развлечения. Друзья завидовали его беспечности. Соскэ тоже был очень доволен собой, и будущее рисовалось ему в самом радужном свете.

В силу своего легкомыслия он был не очень разборчив в выборе друзей, которых у него завелось великое множество, не то что нынче. О врагах Соскэ в то время не думал, само это слово было ему чуждо. Исполненный оптимизма, он легко шагал по жизни.

— Главное — не киснуть, тогда везде будешь желанным гостем, — не раз говаривал он своему университетскому приятелю Ясуи и сам ни разу не изменил этому принципу.

— Хорошо говорить, когда блещешь, как ты, здоровьем, — не без зависти возражал Ясуи, страдавший каким-то недугом. Этот Ясуи был родом из провинции Этидзэн¹, долго жил в Июкогаме и поэтому ни внешностью, ни речью ничуть не отличался от токийцев. Со вкусом одевался, волосы носил длинные, посередине аккуратно расчесанные на пробор. Они с Соскэ учились на разных факультетах, но на общих лекциях часто сидели вместе. Случалось, что Ясуи бывал на лекциях рассеян и потом обращался к Соскэ за разъяснениями. Так они познакомились. А потом и сдружились. Для Соскэ, приехавшего в Киото совсем недавно, к началу учебного года, Ясуи оказался весьма полезным. Он водил Соскэ по городу, и тот буквально хмелел от новизны впечатлений. Вдвоем они вечерами бродили по оживленным улицам. Подолгу гуляли среди увеселительных заведений в квартале Кёгоку. Созерцали, стоя на мосту, игру воды в реке Камогава или же любовались сиявшей над горной цепью Хигасияма спокойной луной, казавшейся Соскэ круглее и больше, нежели в Токио. А если город им надоедал, они уезжали на субботу и воскресенье в окрестности. Густая зелень тенистых бамбуковых рощ, стройные ряды сосен, сверкавших на солнце красными, словно нарочно выкрашенными, стволами, — все это вызывало у Соскэ неподдельный восторг. Однажды они поднялись на гору Арасияма, к храму богини Каннон, где на воротах была табличка с каллиграфическими письменами монаха Сокухи². Внизу, под горой, протекала река. Лежа на траве, друзья слушали всплески воды, голоса лодочников, похожие на крики диких гусей, и любовались табличкой. В другой раз они весь

¹ Этидзэн — теперь префектура Фукуи, центральная часть Японии.

² Сокухи — буддийский монах, знаменитый каллиграф (XVII в.).

день проспали в чайной Хэйхатидзя, славившейся своими рыбными блюдами, а проснувшись, велели хозяйке зажарить рыбу на вертеле. Они ели рыбу, оказавшуюся не такой уж вкусной, и пили сакэ. Широкие шаровары, которые носила хозяйка, перехваченные тесьмой у щиколоток, очень напоминали дорожные, голова ее была повязана полотенцем.

Понадобилось совсем немного времени, чтобы Соскэ пресытился ароматом древней столицы, достопримечательности интересовали его не больше, чем литография. Несколько разочарованный, он теперь замечал, что прекрасные горы и рощи, реки с прозрачной водой уже не поражают, как прежде, его воображения. Чересчур горяча была юная кровь, чтобы ее могла остудить прохлада рощ. Да и дела такого не появилось, которому Соскэ отдал бы весь жар молодого сердца. Кровь бурлила впустую, вызывая острое, словно зуд, беспокойство.

— Я сыт по горло всей этой поросшей мхом древностью, — заявил Соскэ, скрестив на груди руки и глядя на расстилавшийся перед ним горный пейзаж.

Ясуи, весьма кстати, смеясь, рассказал Соскэ о родине одного своего приятеля, некогда знаменитой почтовой станции, упоминаемой в одной из дзёрури: «Плачут облака над «Горой встреч» — Цутияма»¹. Утром проснешься — перед тобой горы, спать ляжешь — опять горы. Словно в ступке живешь. В мае там непрерывно льют дожди, и этот приятель, в бытность свою ребенком, всегда боялся, что потоки воды с гор не сегодня-завтра затопят станцию. Слушая Ясуи, Соскэ думал, что ничего нет печальнее участи человека, обреченного всю жизнь прожить в такой ступке.

— Неужто там есть люди? — спросил он. И Ясуи рассказал слышанный от приятеля анекдот про одного тамошнего жителя, который украл тысячу золотых, был за это распят и тем прославился. Соскэ, которому уже изрядно надоел этот тесный Киото, решил, что такое событие, по крайней мере раз в сто лет, просто необходимо, чтобы хоть немного развеять скуку.

В то время Соскэ неизменно стремился к новому. Поэтому один и те же из года в год краски природы перестали его волновать, и уже не было нужды любоваться весенними цветами сакуры или альбами листьями клена в осеннюю пору, для того лишь, чтобы предаваться воспоминаниям. Соскэ стремился к жизни бурной, богатой впечатлениями, и в этом смы-

¹ Дзёрури — театральный, жанр, построенный на песенном сказе, исполняемом певцом-рассказчиком. В роли актеров выступают куклы. Здесь речь идет о дзёрури выдающегося драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653—1724) «Ночная песня погонщика Ёсаку из Тамба». Цутияма — крупная почтовая станция у перевала Судзука.

сле его, разумеется, интересовало не прошлое, ставшее призраком, сном, а настоящее и будущее, которое он должен был себе обеспечить. Полуразвалившиеся синтоистские храмы, буддийские кумирни с позеленевшими от времени металлическими украшениями Соскэ до смерти надоели, и у него пропала всякая охота глядеть на всю эту ветошь истории. Не настолько охладел он к жизни, чтобы в задумчивости бродить среди дремлющей старины.

Кончился учебный год. Ясуи сказал, что съездит ненадолго в Фукуи, к себе на родину, оттуда в Иокогаму, из Иокогамы напишет Соскэ, и, если удастся, они вместе вернутся в Киото. По пути можно заглянуть в прибрежный городок Окицу, только бы позволило время, посмотреть расположенный в живописнейшем месте храм Сэйкэндзи, побывать на поросшем соснами взморье Михо, откуда открывается прекрасный вид на Фудзи, и на холме Кунодзан с его храмом Тосёгу, Соскэ охотно согласился, заранее предвкушая удовольствие, с которым он прочтет письмо Ясуи.

Когда Соскэ вернулся в Токио, отец еще не хворал. Короку в то время был совсем ребенком. После года разлуки Соскэ с наслаждением вдыхал дым и копоть столицы, радовался духоте. «Вот он, Токио», — думал Соскэ, глядя откуда-нибудь сверху на уходящие вдаль черепичные крыши, которые, казалось, вот-вот покоробятся и расплавятся под жгучими лучами солнца. То, что теперь могло вызвать у Соскэ головокружение, запечатлелось тогда у него в мозгу одним ярким, удивительно волнующим словом «Токио».

Будущее его было подобно нераскрывшемуся бутону, о нем пока ничего нельзя было сказать. Да и Соскэ сам плохо его себе представлял, это будущее, хотя возлагал на него большие надежды. Даже во время летних каникул, в самую жару, он не переставал размышлять о том, что станет делать по окончании университета: то ли поступит на государственную службу, то ли займется коммерческой деятельностью; но в любом случае, Соскэ был в этом уверен, весьма полезно заранее подготовить почву. Он заручился рекомендациями отца и его знакомых. Некоторым, особо влиятельным, решил нанести визиты. Но один из них уже уехал на лето из Токио, другого Соскэ не застал дома. Третий, ввиду занятости, назначил встречу у себя на службе. Не было еще семи, солнце недавно взошло, когда Соскэ лифтом поднялся на третий этаж каменного здания и, к немалому своему удивлению, увидел в приемной нескольких посетителей. Соскэ с жадностью впитывал в себя каждое новое впечатление, познавая таким образом мир, о котором до сих пор имел очень смутное представление, и радовался, не важно, хорошим бывало впечатление или плохим.

Выполняя волю отца, он, например, с удовольствием проветривал и просушивал из года в год одежду. И в этих

случаях либо сидел в тени, обдуваемый ветерком, на слегка сыроватом камне, рассматривая альбом с достопримечательностями Эдо и иллюстрированный атлас Эдо, либо, расположившись посреди гостиной на татами, нагретых солнцем, словно порошок, завертывал в пакетики нафталин. Недаром его резкий запах до сих пор ассоциировался у Соскэ с самыми жаркими днями лета и парившим высоко в небе коршуном.

Наступила осень. Незадолго до «двести десятого дня»¹ подул ветер, начались дожди. По небу непрерывной чередой плыли синеватые, словно напоенные бледной тушью, тучи. Сразу похолодало. Каникулы подходили к концу, пора было Соскэ собираться в дорогу.

Помня об уговоре с Ясуи, Соскэ вначале спокойно ждал от него вестей — ведь впереди было целых два месяца. Но мало-помалу молчание Ясуи стало его тревожить, и он написал ему домой, в Фукуи. Не получив ответа, он хотел навести справки в Иокогаме, но у него не оказалось адреса.

Вечером, накануне отъезда, Соскэ позвал к себе отец и, по просьбе сына, к деньгам на обычные дорожные расходы прибавил небольшую сумму на тот случай, если по пути Соскэ захочет где-нибудь остановиться, а также на первое время жизни в Киото.

— Деньги зря не трать, — предупредил отец. Эти слова Соскэ выслушал с таким видом, с каким все сыновья выслушивают подобные наставления. — Мы расстаемся до будущего года, — сказал затем отец. — Так что смотри береги себя.

Но в следующие каникулы Соскэ не пришлось побывать дома. А когда наконец он приехал домой, то не застал отца в живых. Этого Соскэ никогда не мог себе простить.

В день отъезда пришло наконец письмо от Ясуи. Он извинялся, что вынужден нарушить уговор и вернуться в Киото несколько раньше. Подробности он сообщил Соскэ при встрече. Так, с письмом во внутреннем кармане пиджака Соскэ и уехал. В Окицу Соскэ в одиночестве вышел из вагона и по длинной узкой улице отправился к храму Сэйкэндзи, который они с Ясуи уговаривались посмотреть. Было начало сентября, курортники уже разъехались, и в гостинице было сравнительно тихо. Соскэ занял комнату с видом на море и, лежа на животе, набросал несколько строк Ясуи, среди которых была и такая: «Ты не приехал, и я решил побывать здесь один».

На другой день Соскэ посетил Михо и Рюгэдзи, чтобы было потом о чем рассказать другу. Но то ли из-за погоды, то ли из-за одиночества, в котором он невольно оказался, и море и горы оставили его равнодушным. Тем более скучно было сидеть в гостинице. Соскэ быстро сбросил с себя халат,

¹ Один из последних дней августа. Считается несчастливым, так как в это время обычно налетают тайфуны и случаются другие стихийные бедствия.

который выдавали каждому постояльцу, вместе с оби повесил его на перила галереи и покинул Окицу.

Весь первый день в Киото Соскэ провел дома, отдыхая после ночи в дороге и разбирая вещи, а на второй день отправился в университет. Преподаватели и студенты еще не все съехались. Не было, как ни странно, и Ясуи, который собирался вернуться несколькими днями раньше Соскэ. Тревожась за друга, Соскэ по пути домой заехал к нему на квартиру, неподалеку от храма Камои-дзиндзя, стоявшего в густой роще на берегу реки. Еще до каникул Ясуи сказал, что хочет перебраться в тихое место, где ничто не мешает занятиям, и выбрал этот отдаленный, очень напоминавший деревню район. Дом старинного стиля был окружен глинобитной оградой. Хозяин прежде служил священником в храме. Жена его, женщина лет сорока, очень бойкая на язык, взяла на себя заботу о Ясуи. Но с первых же дней Ясуи весьма нелестно о ней отзывался: «Настряпает кое-как овощи и таскает их мне три раза в день. Вот и вся забота!» Соскэ знал эту нерадивую хозяйку, поскольку бывал у Ясуи, и она тоже хорошо его помнила. Едва завидев его, женщина вежливо поздоровалась и, опередив Соскэ, тотчас спросила, что он знает о Ясуи: «Он, как уехал, так ни разу весточки не подал».

Соскэ каждый день подходил к аудитории с надеждой увидеть наконец Ясуи и каждый день возвращался с занятий, испытывая пустоту и неудовлетворенность. Мало-помалу желание поскорее увидеться с другом уступило место возросшей тревоге. Почему он до сих пор не приехал? Ведь говорил, что в силу некоторых обстоятельств вернется раньше Соскэ, за что просил его извинить. Кого из студентов Соскэ ни спрашивал, никто о нем ничего не знал. Кто-то, правда, сказал, будто накануне вечером видел в уличной толпе человека, очень похожего на Ясуи, в летнем кимоно. Но Соскэ почему-то не поверил. Тем не менее спустя почти неделю после приезда Соскэ в Киото к нему вдруг явился Ясуи, одетый и в самом деле в летнее кимоно.

Все в Ясуи показалось Соскэ необычным: простая одежда, соломенная шляпа в руке, даже выражение лица, которого он прежде у Ясуи не замечал. Напомаженные волосы были тщательно расчесаны на пробор, и Ясуи, словно оправдываясь, сказал, что он только что из парикмахерской.

Они проговорили больше часа, и Ясуи стал снова прежним: та же манера речи, серьезная, чуть-чуть застенчивая, та же привычка часто говорить «однако». Он лишь не объяснил причины, отчего из Июкогамы уехал раньше Соскэ, а в Киото возвратился позже. Приехал он три дня назад и на старой квартире еще не был. Вот, пожалуй, единственное, что Соскэ от него узнал.

— Где же ты живешь?

Ясуи назвал гостиницу. Название было знакомо Соскэ. Третьеразрядное заведение в районе Сандзё.

— Как это тебя угораздило? Думаешь долго там пробыть?

Ясуи ответил, что так сложились обстоятельства, но тут же озадачил Соскэ:

— Надоели мне эти квартиры, уж лучше снять небольшой дом.

На следующей неделе Ясуи осуществил свое намерение и поселился в тихом районе неподалеку от университета, в мрачном, тесном доме, каких много в Киото, с опорными столбами и решетками на дверях и окнах, выкрашенными под старину в красный цвет. У ворот росла раскидистая ива. Раскачиваемая ветром, она едва не касалась конька крыши. Сад при доме выгодно отличался от садов в Токио своей аккуратностью и ухоженностью. Поставленный там большой камень прямо напротив окон гостиной был весь окружен мхом и вызывал ощущение прохлады. За домом, на внутреннем дворике, пустовала кладовка с прогнившим порогом, за нею виднелась бамбуковая роща. Несмотря на конец сентября, солнце еще припекало по-летнему, и Соскэ пришел к Ясуи с зонтом. Сложив его у входа, он заглянул в дом и увидел мелькнувшую там женщину в полосатом домашнем кимоно. Сразу от дверей начинался полутемный коридор с земляным полом, который вел прямо во внутренний дворик. Справа был вход в комнаты. Из коридора хорошо просматривался весь дом. Соскэ постоял, покуда женщина не исчезла в направлении черного хода, и лишь потом толкнул решетчатую дверь. В прихожей появился Ясуи.

Они прошли в гостиную, долго разговаривали, но женщина не показывалась, ничем не выдавая своего присутствия. Скорее всего, она находилась в соседней комнате, потому что дом был невелик, но оттуда не доносилось ни звука. Этой бесшумной тенью была О-Ёнэ.

Ясуи рассказывал о родных местах, о Токио, о лекциях в университете, словом, о чем угодно, только не об О-Ёнэ. У Соскэ же не хватило смелости спросить. Так они и распрощались.

Все повторилось и на следующий день. Друзья, как, впрочем, и подобает молодым людям, вели непринужденную беседу о разных разностях, всеми способами избегая запретной темы. У Ясуи просто не хватало духу заговорить об О-Ёнэ, а Соскэ не допытывался, легко преодолев в себе любопытство. И все же О-Ёнэ незримо присутствовала при каждой их встрече.

Через неделю, в воскресенье, Соскэ снова пришел к Ясуи, поговорить об одном из кружков, в котором друзья принимали участие. Повод, будто бы не имеющий ничего общего с О-Ёнэ. Но стоило Соскэ очутиться в гостиной и сесть на то

же, что и в прошлый раз, место и увидеть растущие вдоль изгороди невысокие сливовые деревья, как он тотчас вспомнил свой прошлый приход. Как и в тот раз, в доме было тихо. И Соскэ невольно представил себе притаившуюся в этой тишине молодую женщину. Взглянуть на нее Соскэ, разумеется, не надеялся. Но, против его ожиданий, Ясуи их познакомил.

О-Ёнэ вышла из соседней комнаты, только уже не в простом домашнем кимоно. Казалось, она собралась куда-то или только что вернулась домой. Ничего не было в ее наряде такого, что поразило бы Соскэ. Кимоно и оби обычного цвета. Не было в ней и той милой застенчивости, которая свойственна молодым женщинам при первом знакомстве. Только она показалась Соскэ удивительно тихой и молчаливой. Такой же тихой, как и в тот раз, когда она сидела в соседней комнате. И Соскэ подумал, что причина тут вовсе не в робости перед чужими людьми, а в спокойном нраве, которым, видимо, О-Ёнэ отличалась.

— Моя младшая сестра, — представил ее Ясуи. Они обменялись всего несколькими фразами, но Соскэ успел заметить, что в ее произношении нет ничего провинциального.

— Вы до приезда сюда жили на родине? — спросил он.

— Нет, в Йокогаме, причем довольно долго, — ответил за сестру Ясуи.

Они как раз собирались в город, и О-Ёнэ надела выходное кимоно и белые таби, поскольку было очень жарко. Узнав об этом, Соскэ почувствовал неловкость, оттого что помешал им.

— Понимаешь, — сказал, смеясь, Ясуи, — обзавелись домом и теперь раз-два в неделю непременно ходим за покупками: то одно нужно, то другое.

Соскэ быстро поднялся.

— Я провожу вас немного.

Кстати, Ясуи предложил осмотреть дом. В соседней комнате стоял квадратный хибати с цинковым зольником, дешевый латунный чайник и деревянное ведро, казавшееся чересчур новым рядом со старой кухонной раковиной. Вместе с Ясуи Соскэ направился к выходу. Пока Ясуи бегал к соседям отдавать ключ, О-Ёнэ и Соскэ успели перекинуться несколькими словами.

Соскэ и сейчас их помнил, эти ничего не значащие, мелкие и пресные, как вода в ручье, слова, которые он не раз пускал в ход, если вдруг случалось вступить в разговор с кем-нибудь из прохожих на улице.

Соскэ ничего не забыл, ни единой подробности тех считанных минут, которые он провел тогда с О-Ёнэ. Легковесные, лишённые какой бы то ни было окраски слова! Как могли они нарисовать им такое яркое будущее! Спустя много дней

краски будущего поблекли. Опалившее их пламя погасло, к алой краске прибавилась черная, жизнь стала сумрачной и унылой. Но, окидывая мысленным взором прошлое, Соскэ каждый раз с новой силой ощущал живую прелесть тех простых безыскусных слов и страшился судьбы, пославшей им случай, который изменил всю их жизнь.

Они стояли у ворот, их тени, будто сломанные пополам, лежали на земле и на глинобитной ограде. На стену падала бесформенная тень от зонтика О-Ёнэ. О-Ёнэ спряталась под иву, но негустые ветви пропускали жаркое солнце ранней осени, уже клонившееся к западу. Соскэ стоял чуть поодаль, переводя взгляд с лилового зонта с белой полоской по краям на все еще яркую зелень дерева.

Теперь, когда прошло уже столько лет, все это казалось Соскэ простым и ясным. Дождавшись Ясуи, они все вместе отправились в город. Мужчины — рядом, О-Ёнэ немного позади, шаркая своими дзори и почти не мешиваясь в разговор. Вскоре Соскэ простился с ними и пошел домой.

Но этот день надолго запечатлелся в его памяти. Приняв ванну и расположившись подле лампы, Соскэ стал думать об О-Ёнэ и Ясуи, и они предстали перед ним, будто на цветной гравюре. А когда он лег в постель, то вдруг засомневался, в самом ли деле О-Ёнэ младшая сестра Ясуи, как он ее отрекомендовал. Но выяснить это можно было лишь у самого Ясуи, с пристрастием его допросив. У Соскэ даже появилось любопытство при мысли, что его предположения могут подтвердиться. Тут же он решил, что нечего теряться в одних и тех же догадках, и задул наконец лампу.

Если бы Соскэ и Ясуи отделились друг от друга, все эти воспоминания у Соскэ исчезли бы без следа. Но изо дня в день они встречались в университете и вне его стен, как и до каникул. О-Ёнэ не всегда выходила поздороваться с Соскэ, когда он бывал у них. Два раза выйдет, а на третий сидит тихонько в своей комнате, как в первый его визит. Но Соскэ не придавал этому особого значения. И действительно, спустя немного они сдружились и так непринужденно себя чувствовали, что даже позволяли себе шутить друг с другом.

Между тем снова наступила осень. Вспоминая, какой скучной была она в прошлом году, Соскэ охотно принял приглашение Ясуи и О-Ёнэ отправиться за грибами. Соскэ вдруг снова обнаружил, что воздух напоен ароматом, что красивые листья кленов удивительно красивы. Когда они шли по горной местности, О-Ёнэ подвернула подол верхнего кимоно, нижним прикрыла таби и все время опиралась на зонтик, будто на трость. Освещенная солнцем река под горой была до того прозрачна, что даже издали просвечивало дно.

— До чего же хорошо в Киото! — воскликнула О-Ёнэ, оглянувшись на спутников. И в этот момент Соскэ был совершенно уверен, что лучшего места нигде не найти.

Время от времени они совершали втроем такие прогулки, но чаще встречались дома. Как-то, придя к Ясуи, Соскэ застал О-Ёнэ одну, словно нарочно покинутую в этот печальный осенний день.

— Вы, наверно, скучаете в одиночестве, — сказал Соскэ. Они прошли в гостиную, сели у хибати и, грея руки, проговорили неожиданно долго. В другой раз, когда Соскэ сидел у себя за столом, витая в заоблачных даях, вдруг пришла О-Ёнэ. Она объяснила, что делала в этом районе покупки и заодно решила навестить Соскэ. Они пили чай с печеньем, вели непринужденную беседу, потом О-Ёнэ ушла.

Такие случаи повторялись все чаще и чаще. Между тем листья деревьев совсем облетели, побелели вершины гор и открытая ветрам река. Люди шли по мосту, ежась от холода. Зима в тот год была безветренная, но коварная, холод словно бы пронизывал исподтишка. Ясуи заболел гриппом в тяжелой форме, с очень сильным жаром. О-Ёнэ даже напугалась, но жар держался недолго. Однако полное выздоровление никак не наступало. Жар становился то сильнее, то слабее, и Ясуи измучился, как при лихорадке.

Врач определил катар верхних дыхательных путей и настоятельно советовал переменить климат. Ясуи нехотя вытащил из шкафа дорожную корзину, перетянул ее веревкой. О-Ёнэ уложила чемодан. До самого отхода поезда Соскэ сидел в купе, стараясь приободрить друзей веселой болтовней, а когда сошел на перрон, Ясуи крикнул ему из окна:

— Приезжай в гости!

— Пожалуйста, непременно! — присоединилась к нему и О-Ёнэ.

Поезд медленно прошел мимо пышущего здоровьем Соскэ и, дымя, скрылся в направлении Кобэ.

Новый год Ясуи встретил вдвоем от Киото. Каждый день от него приходили открытки с припиской от О-Ёнэ, в которых он неизменно звал Соскэ в гости. Соскэ аккуратно их складывал, и вскоре на столе образовалась целая стопка, которая была постоянно у него на виду. Время от времени он перечитывал их или просто разглядывал. Наконец Ясуи сообщил, что совершенно здоров, в ближайшее время вернется в Киото, но просит Соскэ хотя бы ненадолго приехать сразу же по получении этой открытки. К тому времени, надо сказать, Соскэ наскучило однообразие жизни, и этих десяти с лишним слов оказалось достаточно, чтобы в тот же вечер он сел в поезд и приехал к Ясуи.

Когда после долгой разлуки они втроем вновь собрались у лампы, Соскэ сразу заметил, как поздоровел Ясуи, — таким он никогда не видел его в Киото. Ясуи и сам сказал, что чувствует себя прекрасно, засучил рукава и довольно поглаживал мускулистые с синими прожилками руки. У О-Ёнэ глаза

радостно блестели, что было ей несвойственно, и это поразило Соскэ. Он привык видеть ее удивительно спокойной, самые яркие впечатления не могли вывести ее из этого состояния. Причем особенно спокойным казалось выражение глаз, которое почти не менялось.

На следующий день они втроем пошли на прогулку. Любовались уходящей вдаль густой синевой моря, вдыхали смолистый запах сосен. Зимнее солнце быстро клонилось к западу, окрашивая по пути низкие облака в желтый и дымно-красный цвет. Наступил вечер, такой же тихий, как день, лишь временами шелестел в соснах ветер. Все три дня, которые Соскэ провел у Ясуи, стояла чудесная погода.

Соскэ не хотелось возвращаться с прогулки, его поддерживала О-Ёнэ. А Ясуи сказал, что это Соскэ привез с собой хорошую погоду. Через некоторое время они все вместе вернулись в Киото. Зима была на исходе. Северные ветры ушли наконец в холодные страны. Снежные заплаты на вершинах постепенно исчезли, и на их месте все зазеленело.

Возвращаясь к прошлому, Соскэ невольно думал о том, что если бы тогда замерла вдруг природа, а они с О-Ёнэ превратились в камень, им не пришлось бы так страдать. Но весна входила в свои права, освобождаясь от гнета зимы. В те дни все и началось, а завершилось, когда вновь оделась в молодую листву сакура. Вся природа, казалось, отчаянно борется за жизнь. Но страдания, которые вынесли Соскэ с О-Ёнэ, можно было сравнить лишь с пыткой на медленном огне. Налетел ураган, застиг их врасплох и сбил с ног. Оба неопытные и беспечные, они даже не заметили, как это произошло, а когда поднялись, увидели себя с ног до головы в пыли.

Беспощадно изгнанные из общества, они вначале не испытывали нравственных мук, лишь в полной растерянности удивлялись собственному безумству. Они ощущали себя скорее неразумными, чем безнравственными, и потому не стыдились, не искали никаких оправданий. И от этого еще больше мучились. Они лишь сетовали на жестокость судьбы, которая прихоти ради, чтобы позабавиться, расставила им ловушку, и не могли без горечи думать об этом.

Со временем им пришлось испытать все муки людей, отвергнутых обществом, ярким светом вспыхнуло в мозгу сознание вины, и они покорно подставили лоб, на котором им выжгли клеймо. Они поняли, что, связанные невидимой нитью, всегда должны идти рука об руку, вместе. Они покинули родителей. Покинули родственников. Покинули друзей. Словом, покинули общество. Точнее, общество покинуло их. Из университета Соскэ, разумеется, пришлось уйти, хотя внешне все выглядело так, будто он оставил учебу по доброй воле.

Таково было прошлое Соскэ и О-Ёнэ.

Они уехали в Хиросиму, потом в Фукуоку, поезде страдали, неся бремя прошлого. Такая же участь ждала их и в Токио. Завязать дружеские отношения с семьей Сазки не удалось. Дядя умер. А тетка и Ясуноскэ были совсем чужими, о какой же искренности или теплоте могла идти речь? В нынешнем году обе семьи даже не нанесли друг другу традиционного новогоднего визита с подарками. Короку не уважал в душе старшего брата, хотя и жил у него. Сразу же по приезде Соскэ в Токио Короку с чисто детской непосредственностью возненавидел О-Ёнэ. И сама она, и Соскэ это хорошо понимали. Днем, при солнечном свете, супруги бодрились, зато свет луны вызывал у них грустные мысли. Не один год встретили они так, не один проводили. Подходил к концу и нынешний год. Перед каждым домом висели новогодние украшения — соломенные жгуты с вплетенными в них полосками бумаги. Шелестел на ветру украшавший вход бамбук. Соскэ купил и приколотил к воротам маленькую тонкую сосну. В нишу поставил два рисовых колобка на небольшой деревянной подставке, а сверху положил оранжево-красный апельсин с зеленым листом. Написанная тушью дешевая картина в нише изображала цветущую сливу с листьями, сквозь которые проглядывала похожая на морскую раковину луна. Соскэ не понимал, что за смысл ставить под такой нелепой картиной новогодние украшения, и спросил об этом у О-Ёнэ:

— В чем, собственно, тут идея?

— Не знаю. Полагается так, — ответила О-Ёнэ и ушла на кухню.

— Столько хлопочут, чтобы потом все это съесть. — Поправляя украшения, Соскэ пожал плечами.

Поздно вечером в столовую принесли кухонные доски и занялись приготовлением праздничных колобков. Только Соскэ не принимал в этом участия — ему не хватило ножа. Самый крепкий, Короку больше всех приготовил колобков. Зато чаще, чем у остальных, колобки получались у него какие-то нескладные. Всякий раз при этом Киё громко смеялась. Изю всех сил нажимая на нож, обернутый сложенной в несколько раз мокрой салфеткой, Короку резал затвердевшее тесто и раскраснелся от напряжения.

— Подумаешь, некрасивые, — защищался Короку. — Лишь бы вкусными были.

Еще полагалось готовить к Новому году сушеные анчоусы, мелко нарезанные курицу, рыбу и овощи, сваренные в соевом соусе. Вечером 31 декабря Соскэ пошел к Сакаи поздравить его и заодно уплатить за квартиру. Он решил войти скромно, с черного хода. Сквозь матовое стекло кухонных дверей виден был яркий свет, в доме царил оживление. С порога, приветствуя Соскэ, поднялся паренек с тетрадкой в руке, с виду

посыльный из магазина, собирающий взносы за проданный в кредит товар. В столовой Соскэ застал хозяина с женой и еще человека в рабочей куртке со значком фирмы, который с примерным усердием делал новогодние украшения — соломенные жгуты с множеством колечек. Рядом лежали ножницы, бумага, веточки с ярко-зелеными листьями, листья папоротника. Молодая служанка, сидя перед хозяйкой, раскладывала на татами ассигнации и серебряные монеты, видимо, сдачу.

— Рад вас видеть,— сказал Сакаи, когда Соскэ вошел. — Вы тоже, вероятно, с ног сбились перед праздником. Взгляните, что у нас творится! Садитесь, пожалуйста. Вот сюда! Вам, я полагаю, тоже наскучило встречать Новый год. Как бы ни было интересно, а делать одно и то же больше сорока раз — надоест.

Но хотя Сакаи и утверждал, будто новогодние праздники дело хлопотное, вид у него был веселый, полное лицо так и сияло довольством. Соскэ выкурил предложенную хозяином сигарету, с полчаса поболтал с ним и вернулся домой.

О-Ёнэ с нетерпением его ждала, завернув мыльницу в полотенце. Они с Киё собрались в баню, а дома некого было оставить.

— Ты что так долго? — О-Ёнэ взглянула на часы. Время близилось к десяти, а Киё после бани еще надо было зайти в парикмахерскую. Последний день года с его суетой вошел и в тихую жизнь Соскэ.

— Со всеми уже расплатилась? — спросил он. — О-Ёнэ ответила, что еще остался торговец дровами, и попросила:

— Заплати ему, когда придет. — С этими словами О-Ёнэ достала засаленный мужской бумажник, кошелек с мелочью и протянула их Соскэ.

— А Короку где?

— Сказал, что пойдет посмотреть, как выглядят в предновогоднюю ночь улицы. Неугомонный! Гулять в такой холод.

— Ничего, он еще молодой, — смеясь, заметила Киё и пошла к черному ходу приготовить для О-Ёнэ гэта.

— Куда же он пошел?

— Вроде бы на Нихонбасидори и на Гиндзу, — ответила О-Ёнэ. Послышался звук раздвигаемых сёдзи, и Соскэ остался один. Он сел подле хибати, рассеянно созерцая золу. Перед его мысленным взором предстал завтрашний день: развевающиеся на ветру флаги, сверкающие цилиндры, бряцание сабель, конское ржанье, возбужденные голоса игроков в волан. Через несколько часов он попадет в ту особую предновогоднюю атмосферу, единственную среди всех праздников, которая как бы обновляет душу.

Но Соскэ оставался равнодушным и к бурному веселью, и к оживлению — ничто не могло его увлечь. Будто не получив приглашения на пир, он наблюдал его со стороны. Единствен-

ное, чего он мог желать, это из года в год вести с О-Ёнэ жизнь — монотонную и будничную. Объятый тишиной дом, в котором он сидел один в этот предновогодний вечер, был словно символом его реального существования.

О-Ёнэ вернулась в одиннадцатом часу порозовевшая, из неплотно запахнутого воротника кимоно виднелся красивый изгиб шеи.

— Столько народу, столько народу, просто невозможно мыться, даже таз не возьмешь, — сказала она, переведя дух.

Киё явилась после одиннадцати. Просунув в слегка раздвинутые сёдзи голову, она сказала, что в парикмахерской пришлось ждать очереди, и извинилась за опоздание.

Зато Короку не спешил домой. В двенадцать Соскэ заявил, что пора спать, но в такой вечер О-Ёнэ считала это неловким и старалась продолжить разговор, чтобы дожидаться Короку. К счастью, он вскоре вернулся, рассказав, что побывал на Нихонбаси, на Гиндзе, затем решил съездить к храму Суйтэнгу, но трамвай до того были переполнены, что пришлось несколько пропустить, поэтому он и задержался.

Потом он зашел в галантерейный магазин, рассчитывая сделать покупку, за которую в качестве премии можно получить золотые часы. Но ничего такого в магазине не оказалось, кроме коробки с двумя матерчатыми мячами. И когда он поймал воздушный шар, которые машина там надувает целыми сотнями, в прикрепленном к нему ярлычке значились не часы, а совсем другое. Короку вынул из кармана пакет с шампунью для мытья головы.

— Это от меня сестрице... А это передай девочкам Сакаи. — Короку положил перед Соскэ красивые мячики.

Так закончился небогатый событиями последний день года в этой маленькой семье.

16

На второй день праздничные улицы оделись во все белое — пошел снег. Он скатывался с крытого цинком конька крыши, и Соскэ с О-Ёнэ с тревогой прислушивались к его глухому шуму. Особенно это пугало ночью. Но вскоре снег перестал, и крыша обрела свой прежний цвет. Грязь не просыхала так быстро, как после дождя, липла к ботинкам, и Соскэ, придя с улицы, всякий раз с обидой говорил О-Ёнэ, словно она была в этом виновата:

— Ужас, что творится!

— Прости меня, пожалуйста, — сказала наконец О-Ёнэ со смехом. — От души сочувствую.

Соскэ не нашелся что ответить, лишь сказал:

— Здесь у нас без гэта на высоких подставках не выйдешь. А в центре на улицах пыль, до того сухо, и высокие

подставки только мешают. Словом, наш район отстал на целое столетие.

Соскэ говорил без особого неудовольствия, да и О-Ёнэ это трогало не больше, чем дым от сигареты, который муж выпускал через нос.

— Ты лучше скажи об этом Сакаи-сан,— посоветовала она.

— Скажу. И попрошу его сбавить квартплату.

Но к хозяину Соскэ не пошел, а ограничился тем, что в первый день Нового года опустил в его почтовый ящик визитную карточку с поздравлением. Потом до самого вечера ходил с непременными визитами, а когда, вернувшись, узнал, что заходил Сакаи, почувствовал себя неловко. Начало Нового года прошло для супругов без всяких событий, если не считать, разумеется, выпавшего снега. К вечеру третьего дня явилась служанка от Сакаи с приглашением: «Если господин и госпожа свободны, пусть непременно пожалуют сегодня в гости вместе с молодым господином».

— Что это вдруг мы им понадобились? — удивился Соскэ.

— Вероятно, собираются играть в поэтические карты¹. Ведь у них полон дом детей. Так что ты сходи.

— Лучше ты пойди. Я давно не брал в руки карт, ничего у меня не получится.

— И у меня тоже.

В конце концов решено было послать представителем от семьи «молодого господина».

— Сходи, молодой господин! — сказал Соскэ. Короку нехотя встал. Было очень забавно, что Короку называли молодым господином, и, глядя на его кислую мину, супруги дружно рассмеялись. Выйдя на холод из теплого дома, где царил праздничная атмосфера, Короку немного погодя снова очутился в теплой праздничной атмосфере, среди множества электрических ламп.

Отдавая девочкам мячики, Короку сказал, что это подарок его старшего брата. Домой он вернулся с куклой-голышом, которую выиграл в домашней лотерее, устроенной Сакаи. На лбу у голыша была трещинка, закрашенная тушью. Короку положил куклу перед Соскэ и О-Ёнэ и очень серьезно сказал, что это Содэхаги². Почему Содэхаги, супругам да и самому Короку было непонятно, хотя жена хозяина пыталась ему это

¹ Поэтические карты — карты со стихами из классической японской поэзии. На одних стихотворение дается полностью, на других — лишь заключительная строфа. Один из участников игры читает начало стихотворения, остальные должны найти карту с окончанием. Побеждает тот, кто наберет большее число таких карт.

² Содэхаги — героиня средневековой драмы. Вышла замуж против воли родителей, потом раскаялась, но не посмела возвратиться. Бамбуковая ограда родительского дома показалась ей железной.

объяснить. Тогда Сакаи взял листок почтовой бумаги, написал реплику Содэхаги, а в скобках — строку собственного сочинения и велел показать Соскэ и О-Ёнэ. Пошарив в рукаве кимоно, Короку достал листок, где было написано:

«Эта тонкая ограда будто сбита из железа».

(«Этот голенький чертенок об нее расшиб свой лоб».)

Соскэ и О-Ёнэ от души рассмеялись.

— Очень удачный каламбур! Интересно, кто его придумал? — спросил Соскэ.

— В самом деле, кто же? — словно эхо, повторил Короку и, небрежно бросив куклу, ушел к себе.

Седьмого вечером снова пришла служанка от Сакаи, сказав, что хозяин просит Соскэ зайти поговорить. Соскэ и О-Ёнэ как раз собирались ужинать. Но только они зажгли лампу и Соскэ, держа чашку, сказал: «Ну, кажется, праздники кончились», — как вошла Киё и сообщила о переданном через служанку приглашении Сакаи. О-Ёнэ с улыбкой взглянула на мужа.

— Снова какое-нибудь празднество? — в некотором замешательстве произнес Соскэ. Но из слов служанки выяснилось, что гостей не ждут, никаких приготовлений не было, более того, жена хозяина с детьми собирается к родственникам.

— Ладно, схожу, — решил Соскэ. Он бывал в обществе, лишь когда к этому вынуждали обстоятельства, ни с кем не заводил дружбы, а на визиты у него просто не хватало времени. Исключение составлял Сакаи, к которому Соскэ изредка заходил даже не по делу. О чем могли беседовать на редкость общительный Сакаи и замкнутый Соскэ, даже О-Ёнэ не могла себе представить.

Миновав столовую, Соскэ с хозяином прошли в небольшую комнату, видимо, кабинет.

— Прошу вас, — сказал Сакаи, задержавшись у входа и щелкнув выключателем.

В стенной нише висел небольшой свиток с крупными иероглифами, несколько грубоватыми, написанными, вероятно, специальной жесткой кистью. Рядом стояли на полочке великолепные белые пионы. Столик, подушки для сиденья — все сверкало чистотой.

— Одну минутку, — сказал Сакаи и, чиркнув спичкой, зажег газовый камин, не очень большой, как и сама комната. Затем предложил Соскэ подушку для сиденья.

— В этой берлоге я спасаюсь, когда мне очень уж докучают.

Здесь и в самом доле все дышало каким-то удивительным покоем. Едва слышно потрескивал камин, и Соскэ чувствовал, как по телу разливается тепло.

— Устраивайтесь поудобнее. Тут нам никто не мешает. Никогда не думал, что праздники так могут надоесть. Вчера окончательно выбился из сил. Слишком долго тянутся эти

новогодние праздники, просто мученье. Сегодня наконец мне удалось уйти от суеты и днем поспать. Только недавно проснулся. Принял ванну, перекусил, выкурил сигару и вдруг обнаружил, что жена с детьми ушла к родственникам. Лишь тогда я понял, отчего в доме так тихо, и сразу заскучал. Так уж эгоистично устроен человек. И все же лучше скука, чем праздничная суета. А праздничная еда и крепкие напитки, скажу я вам, это даже страшно. Прошу простить за откровенность, но мне вдруг захотелось поговорить с вами, человеком, которому вроде бы нет дела до новогоднего веселья, до светской суеты, словом, до всего житейского, только, пожалуйста, не обижайтесь за то, что я сейчас сказал. — Сакаи говорил, как всегда, складно и непринужденно.

В обществе этого жизнерадостного человека Соскэ порой забывал о своем прошлом И думал, что в других условиях стал бы таким, пожалуй, как Сакаи.

Вошла служанка. Еще раз учтиво поклонившись Соскэ, она поставила перед ним не то деревянное блюдо, не то тарелку для печенья, такое же блюдо поставила перед хозяином и молча вышла. На блюде лежал довольно большой пирожок со сладкой бобовой начинкой, а рядом с ним зубочистка¹, пожалуй, вдвое больше обычной.

— Не угодно ли, пока горячий? — предложил Сакаи. Соскэ подумал, что пирожок совсем свежий, только сейчас испеченный. Но хозяин возразил:

— Это вам показалось. Вчера в гостях мы похвалили эти пирожки, и нам дали их еще с собой. Они и в самом деле были горячие, а сегодня служанка подогрела их, прежде чем подать.

Сакаи взял зубочистку, небрежно разломил пирожок и принялся есть. Соскэ последовал его примеру.

Сакаи рассказал о странной гейше, которую накануне видел в ресторане. Ей почему-то очень нравится карманное издание «Луньюя», и она никогда не расстается с ним, ни в пути, ни в гостях.

— Из всех учеников Конфуция она предпочитает Цзы Лу. И знаете почему? Потому что он был настолько честным, что даже страдал, если ему приходилось услышать что-нибудь новое, прежде чем он успевал усвоить старое. Об этом Цзы Лу у меня, честно говоря, весьма смутное представление, и я спросил, не значит ли это, что, не успев жениться на одной хорошей женщине, он знакомился с другой, тоже хорошей, женщиной и потому мучился...

Сакаи все это рассказывал с очень беспечным видом. Он, вероятно, часто посещал подобные места, но делал это просто по привычке, так как ничто его там уже не волновало.

¹ Деревянная зубочистка нередко употребляется вместо палочек для еды.

В ответ на расспросы Соскэ он объяснил, что даже ему, человеку, любящему развлечения, и то порой надоедает, и он нуждается в покое. Вот тогда-то он и уединяется в своем кабинете.

Нельзя сказать, что Соскэ был совсем не искушен в такого рода делах, поэтому он слушал сдержанно, не проявляя особого любопытства. Это, видимо, нравилось Сакаи. За самыми обычными словами Соскэ как бы угадывалось его романтическое прошлое. Но стоило ему заметить, что эти воспоминания Соскэ неприятны, как он тотчас менял тему, не из хитрости, а из простой учтивости. Поэтому у Соскэ не оставалось и капли неприятного осадка.

Разговор коснулся Короку. Некоторые наблюдения Сакаи оказались для Соскэ совершенно неожиданными, и он слушал хозяина с нескрываемым интересом, ни разу не возразив. Не думает ли Соскэ, поинтересовался Сакаи, что юноша склонен к умствованиям, несвойственным его возрасту, и в то же время отличается чисто детской непосредственностью. Соскэ сразу же с ним согласился, заметив, правда, что, независимо от возраста, это свойственно всем, кто не получил социального воспитания, а только учился в школе.

— Пожалуй. Зато с теми, кто получил только социальное воспитание, еще труднее; характер сложный, а умственное развитие, как у ребенка.

Сакаи усмехнулся и, помолчав немного, неожиданно сказал:

— А что, если мне взять его в сёсэи? В смысле социального воспитания это будет совсем неплохо.

Оказалось, что его прежнего сёсэя призвали в армию, а нового он до сих пор не мог найти.

Соскэ обрадовался случаю без каких бы то ни было усилий пристроить Короку и в то же время растерялся, давно уже не рассчитывая на доброту и сердечность людей. Соскэ решил не мешкать с ответом. Теперь у него расходов будет меньше, и вместе с Ясуноскэ они помогут Короку получить высшее образование. Свои соображения Соскэ чистосердечно изложил Сакаи, а тот очень просто ответил:

— Вполне с вами согласен.

В общем, они почти договорились. Соскэ хотел было откланяться, но Сакаи его не отпускал, сказав, что впереди еще весь вечер, а сейчас рано, и даже вытащил часы для убедительности. Да и у Соскэ не было особых дел, разве что идти домой ложиться спать. Поэтому он снова сел, дымя ароматной сигарой, и, следуя примеру хозяина, расположился в более удобной позе.

— Нот, что ни говорите, а с младшим братом хлопот но оберешься,— рассуждал Сакаи. — Я все это на себе испытал.

И он стал рассказывать, во что обошлась ему учеба брата в университете. Сам Сакаи, когда был студентом, никаких излишеств себе не позволял, жил скромно. Соскэ поинтересо-

вался дальнейшей судьбой юноши, которая, возможно, не была лишена превратностей.

— Авантюрист он! — бросил Сакаи и продолжал рассказывать.

После окончания университета он рекомендовал брата на службу в банк. Но у того было единственное желание — разбогатеть во что бы то ни стало, и вскоре после русско-японской войны он против воли Сакаи уехал в Маньчжурию, сказав: «Хочу добиться успеха». Кто мог подумать, что он займется перевозкой бобовых жмыхов и соевых бобов по реке Ляохэ к морскому порту. Это задуманное с широким размахом предприятие вскоре прогорело. Не являясь владельцем основного капитала, он понес большие убытки и, само собой, остался ни с чем.

— Что делал он потом, я затрудняюсь вам сказать, и вдруг, представьте, узнаю, что он околачивается в Монголии. Кто знает, куда еще занесет его страсть к авантюрам? Словом, мне постоянно грозит опасность. И все же лучше, когда он далеко. Как-нибудь, думаю, сам разберется, что к чему. Изредка получал из Монголии письма. Он писал, что там трудно с водой; чтобы в жару полить улицы, воду берут из канав или, что еще хуже, поливают конской мочой, вонь тогда стоит ужасная — вот в таком духе... Время от времени просил денег, но на эти просьбы я вообще не отвечал, благо Монголия чересчур далеко. В общем, все было ничего до конца прошлого года, когда он неожиданно объявился.

Сакаи вдруг быстро снял висевшую на стойке ниши безделушку с очень красивой бахромой. Это оказался кинжал в парчовом мешочке. Сделанные из чего-то похожего на зеленую слюду ножи в нескольких местах были скреплены серебряными колечками и формой очень напоминали короткую шестигранную дубинку. Они казались слишком большими для кинжала длиной в шесть дюймов, с очень тонким лезвием. Если внимательно приглядеться, можно было увидеть вставленные в верхнюю часть ножен две тонкие палочки. Как и серебряные колечки, они не давали кинжалу выпасть из ножен.

— Привез мне в подарок, — пояснил Сакаи. — Говорит, что это монгольский кинжал. — Сакаи вытащил кинжал из ножен и показал Соскэ. Затем вынул палочки, видимо, сделанные из слоновой кости.

— Видите? Палочки для еды. Брат рассказывал, что монголы постоянно носят этот мешочек у пояса. Кинжал служит ножом, им режут мясо, когда садятся есть. — И Сакаи показал, как пользуются кинжалом и палочками.

Соскэ с интересом наблюдал за ним.

— Еще он привез войлок, из которого монголы делают свои юрты, пожалуй, мало чем отличается от наших старинных ковров.

В общем, Сакаи рассказал Соскэ все, что узнал от брата, недавно приехавшего из Монголии, — и про то, как ловко монголы управляют с лошадьми, и какие тощие и длинные там собаки, точь-в-точь как европейские борзые, и про китайцев, которые постепенно вытесняют монголов... Ничего этого Соскэ не знал и с жадностью ловил каждое слово. Интересно все же, чем занимается брат Сакаи в Монголии? Соскэ осторожно спросил об этом, но Сакаи лишь повторил то, что уже сказал:

— Авантюрист он. Понятия не имею, что он там делает. Говорит, что занимается скотоводством и преуспевает. Но верить ему нельзя. Каждый раз хвастает тем, чего и в помине нет, просто врет. Вот и сейчас приехал по довольно странному делу. Хочет занять двадцать тысяч иен для какого-то монгольского князя, иначе, видите ли, потеряет его доверие. Бегаёт, хлопочет. Пристал было ко мне, да не вышло. Ни для какого монгольского князя, ни под какой залог, даже под все его обширные земли я не дал бы денег. Чересчур далеко отсюда Монголия, даже не напомнишь о долге. Короче, отказал я ему, так он пожаловался жене, что, мол, из-за меня не может начать большое дело. Каков фанфарон! — Сакаи улыбнулся, но, заметив странно напряженное лицо Соскэ, предложил: — Не хотите ли поглядеть на него? Он нарочно носит теплую одежду, отороченную мехом... Могу познакомить, если угодно. Он придет послезавтра вечером. Только заранее советую не верить ни единому его слову. Пусть болтает, а вы молчите. Тогда вам ничто не грозит. Но послушать его любопытно.

Соскэ заинтересовало это приглашение, тем более что Сакаи очень настойчиво звал.

— Кто-нибудь еще будет или только ваш уважаемый брат?

— Придет еще его приятель, с которым они вместе приехали оттуда. Кажется, Ясуи его зовут, брат очень хочет его со мной познакомить.

Соскэ ушел от Сакаи расстроенный и бледный.

17

Жизнь Соскэ и О-Ёнэ, окрашенная с самого начала в мрачные тона, заставила их сжаться, уйти в себя, ощутить призрачность собственного существования. Каждый из них смутно сознавал, что в самом дальнем уголке души скрыто нечто, не видимое людям, страшное и губительное, как чахотка. Но они жили год за годом, скрывая это друг от друга.

Мучительно было думать, что их проступок может испортить будущее Ясуи. Когда наконец смятение улеглось и к супругам вернулась способность ясно мыслить, до них дошла

весть, что Ясуи покинул университет. Это из-за них Ясуи не доучился — оба в этом не сомневались. Потом им стало известно, что Ясуи вернулся в родные места, несколько позднее — что он заболел. Каждая новость камнем ложилась на душу. В конце концов они узнали, что Ясуи уехал в Маньчжурию. Соскэ не верилось: неужели Ясуи настолько поправился? Не с его здоровьем ехать в Маньчжурию или, скажем, на Тайвань. Да и характер для этого у него не годится. После многих попыток Соскэ наконец установил, что Ясуи действительно в Мукдене, здоров, энергичен и весьма предприимчив. О-Ёнэ с Соскэ переглянулись и вздохнули с облегчением.

— Ну, кажется, все в порядке, — сказал Соскэ.

— Главное, он здоров, — отозвалась О-Ёнэ.

С этих пор они избегали упоминать имя Ясуи, боялись даже вспомнить о нем. Из-за них Ясуи бросил учебу, из-за них заболел, наконец, уехал в Маньчжурию, но теперь уже ничего нельзя было изменить, только терзаться поздним раскаянием.

— Тебе никогда не хотелось верить в бога? — спросил как-то Соскэ.

— Хотелось, — просто ответила О-Ёнэ, — а тебе?

Соскэ чуть-чуть улыбнулся, ничего не ответил, но не стал больше спрашивать об этом О-Ёнэ. И, пожалуй, был прав, потому что ничего определенного О-Ёнэ не смогла бы ответить. Они с Соскэ не были склонны сидеть на скамье в христианской церкви или посещать буддийский храм. Нет лучшего лекарства, чем время, и постепенно они обрели душевное равновесие. Голос совести, доносившийся из далекого прошлого, заглупела теперь суета жизни и чувство любви, и Соскэ с О-Ёнэ не испытывали больше ни страданий, ни страха, как прежде. Для них не существовало ни бога, ни будды, только сами они и любовь. И в этом замкнутом мирке жизнь их текла спокойно и монотонно, исполненная какой-то сладостной печали. Окажись на их месте поэт, он, возможно, гордился бы этой печалью, но Соскэ с О-Ёнэ это и в голову не приходило — слишком далеки они были от литературы и философии, слишком непосредственны и чисты душой.

Так они и жили вплоть до того дня, когда Соскэ неожиданно услышал от хозяина про Ясуи.

Вернувшись домой, он, избегая смотреть на О-Ёнэ, сказал:

— Нездоровится что-то, лягу пораньше.

— Что с тобой? — испугалась О-Ёнэ, внимательно глядя на неподвижно стоявшего мужа. Таким она Соскэ еще не видела. Охваченная страхом, О-Ёнэ поднялась от хибати и почти машинально стала доставать из шкафа постель. Соскэ продолжал неподвижно стоять, заложив руки за отвороты кимоно. Как только О-Ёнэ приготовила постель, он тотчас разделся и залез под одеяло.

— Что с тобой? — снова спросила О-Ёнэ, не в силах отойти от мужа.

— Ничего особенного. Полежу — и пройдет, — глухо ответил Соскэ из-под натянутого на голову одеяла.

О-Ёнэ, расстроенная, сидела у его изголовья.

— Иди, О-Ёнэ. Если понадобится, я позову.

О-Ёнэ с трудом поднялась и вышла в столовую.

Соскэ лежал в темноте, сжавшись в комок, и, не открывая глаз, снова и снова переживал услышанную новость. Вот уж не думал он, что не кто-нибудь, а его квартирный хозяин сообщит ему весть о Ясуи. Еще немного, и судьба свела бы их в доме Сакаи. Перебирая в памяти события нынешнего вечера, Соскэ не мог без грусти, смешанной с удивлением, думать о том, что они застали его врасплох. Даже сильного человека можно сбить с ног неожиданным ударом в спину, делая Соскэ, а он не причислял себя к сильным.

От Короку разговор перешел на младшего брата Сакаи, затем на Маньчжурию и Монголию. Потом Соскэ узнал, что вместе с братом Сакаи приехал его приятель. И этим приятелем оказался Ясуи. Почти неправдоподобное стечение обстоятельств. С одним на тысячу такое может случиться. Неужели судьба послала ему это испытание, чтобы он вновь пережил горечь прошлого? Соскэ задышался в темноте от невыразимого страдания и гнева. Начавшая заживать рана вновь дала знать о себе. Голова горела и разламывалась от боли. Соскэ решил было рассказать все О-Ёнэ, чтобы она поделила с ним его муку, и крикнул:

— О-Ёнэ, О-Ёнэ!

О-Ёнэ тотчас подошла. На лицо ей падал свет из соседней комнаты. Соскэ высунулся из-под одеяла, но сказать правду у него не хватило духу.

— Принеси мне, пожалуйста, чаю, — попросил он.

На следующее утро Соскэ встал, как обычно, и с невозможным видом сел завтракать. С каким-то особым чувством радости, смешанной с жалостью, он смотрел на прислуживавшую ему О-Ёнэ, которая, видимо, почувствовала некоторое облегчение.

— Ну и напугал ты меня. Не знала, что и думать...

Соскэ не нашелся что ответить и пил чай, не отрывая глаз от чашки.

В этот день с самого утра дул сильный ветер, поднимал пыль, срывал шляпы с прохожих. Но Соскэ все же отправился на службу, несмотря на уговоры О-Ёнэ побыть дома, чтобы, не дай бог, не появился жар. Соскэ ехал в трамвае, весь сжавшись и глядя в одну точку. Шум ветра сливался с грохотом трамвая. Очутившись на улице, Соскэ сразу услышал гул проводов над головой и невольно взглянул на небо. Там среди разбушевавшейся стихии плыло неестественно яркое солнце. В этот миг Соскэ едва не сбил с ног резкий порыв

ветра. Ветер подхватил с земли песок и, словно это были косые струи дождя, погнал его куда-то в направлении капала.

На службе Соскэ никак не мог сосредоточиться. Он сидел, думая о чем-то постороннем, подперев щеку рукой, в которой держал кисточку. Время от времени, неизвестно зачем, принимался растирать тушь в тушечнице. То и дело курил, потом вдруг, будто спохватившись, смотрел на улицу, где по-прежнему бесновался ветер. С трудом дождался Соскэ конца работы.

— Как ты себя чувствуешь? — с тревогой спросила О-Ёнэ, едва он вошел. Соскэ ответил, что немного устал, а так все в порядке, сел у котачу и просидел до самого ужина. С заходом солнца ветер утих и после бурного дня в природе воцарилось спокойствие.

— Как хорошо, когда нет ветра. От его завывания даже в доме становится жутко, — сказала О-Ёнэ с суеверным страхом.

— Кажется, потеплело немного, — спокойно заметил Соскэ. — Прекрасный вечер. — После ужина, закуривая сигарету, он вдруг впервые за долгое время предложил: — Давай сходим в театр.

О-Ёнэ сразу согласилась. А Короку пришлось оставить дома, так как он заявил, что лучше приготовит рисовые лепешки, чем пойдет слушать гидаю.

Они опоздали к началу и сели в последнем ряду — все остальные места были заняты.

— Сколько народу!

— Все еще празднуют Новый год.

Тихонько переговариваясь, они разглядывали людей, до отказа заполнивших большой зал. Сидевшие ближе к сцене были словно в тумане из-за табачного дыма. Все эти люди, не без зависти думал Соскэ, располагают и временем и средствами для подобного рода увеселений и вечерами не скушают.

Напрасно Соскэ старался сосредоточиться, представление нисколько его не увлекло. Время от времени он украдкой поглядывал на О-Ёнэ и даже ей завидовал. Жена не сводила глаз со сцены, словно Соскэ и не сидел с ней рядом.

— Тебе не хочется домой? — спросил он О-Ёнэ в антракте.

— А тебе хочется? Неинтересно? — О-Ёнэ удивилась внезапной перемене в настроении мужа.

Соскэ промолчал.

— Можно и уйти, — проговорила О-Ёнэ, чтобы не перечить мужу. Но Соскэ почувствовал себя виноватым, потому что сам привел сюда жену, и терпеливо досидел до конца.

Дома они застали Короку уютно расположившимся у хибати с книгой. Короку держал ее прямо над огнем, нимало не заботясь, что обложка покоробится. У хибати стоял чуть

теплый чайник. Здесь же был поднос с несколькими рисовыми лепешками и тарелка со следами соевого соуса.

— Интересно было? — спросил Короку и, не дожидаясь ответа, ушел к себе. Погревшись у котлацу, супруги тоже легли спать.

Утро не принесло Соскэ успокоения. После работы он, как обычно, сел в трамвай, но тут же подумал, что спешить домой не стоит. Ведь по дороге он может столкнуться с Ясуи, который должен быть сегодня в гостях у Сакаи. В то же время Соскэ очень хотелось взглянуть на Ясуи, пусть даже издали, посмотреть, насколько изменился он с тех пор.

Слово «авантюрист», которым Сакаи назвал своего младшего брата, все еще звучало в ушах Соскэ. Оно давало простор для самой яркой фантазии. В нем слились воедино бесшабашная смелость, ненависть и протест, наконец нравственное падение, и Соскэ пытался представить себе этого безрассудного юношу, брата Сакаи, и Ясуи, затеявших какое-то рискованное дело.

В воображении Соскэ нравственное падение было самым тяжким среди прочих грехов, и в этом смысле вина бывшего друга полностью ложилась на Соскэ. Хоть бы одним глазом взглянуть на Ясуи! Может быть, не так низко он пал, как представляет себе Соскэ. Это было бы огромным утешением.

Сколько Соскэ ни думал, он не мог припомнить местечка, где бы можно было укрыться и поглядеть на гостя Сакаи. Разве что он придет вечером, когда будет совсем темно, в этом случае Соскэ останется незамеченным, но ведь и сам он в темноте не разглядит Ясуи.

Тем временем трамвай пришел в Канда, где надо было делать пересадку. Тут только Соскэ почувствовал, какое для него мучение сейчас ехать домой, сделать хотя бы шаг в том направлении, где должен появиться Ясуи. Любопытство, и без того не слишком сильное, совсем исчезло. Он брел по холодным многолюдным улицам, сам не зная куда. В магазинах и в трамваях уже зажгли электричество. Соскэ увидел закусокную, вошел и попросил сакэ. Выпил графинчик, затем второй, а третий уже не мог одолеть. Захмелев, он прислонился к стенке и с тоской одинокого человека смотрел в пространство. Наступило как раз время ужина, и от посетителей отбоя не было. Закусив, они быстро расплачивались и с деловитым видом уходили. Просидев достаточно долго среди всеобщего шума, Соскэ решил, что пора уходить, и встал из-за столика.

Яркие огни магазинов освещали улицу, проходивших мимо людей. Но чуть подалее царила холодная тьма. Ее не могли разогнать ни газовые, ни электрические фонари. Поздний вечер, окутанный мраком, казался необъятным. Соскэ шел, плотно запахнувшись в свое черное пальто, неразличимое во тьме. Ему казалось, что сам воздух, которым он дышит, серый, что от него стали серыми и кровеносные сосуды легких.

В этот вечер Соскэ впервые не хотелось воспользоваться, как обычно, трамваем, который, звеня, деловито сновал мимо. Не хотелось смешаться с толпой суетливых прохожих. Соскэ отчетливо сознавал свое состояние малодушия и растерянности, но не знал, как от него избавиться, и, естественно, тревожился о будущем. Говорят, время лечит. Справедливость этого изречения Соскэ в свое время проверил на собственном опыте, но третьего дня понял, что заблуждается.

Сейчас у него было единственное желание — сбросить тяжесть с души. То состояние расслабленности и беспокойства, неуверенности и неопределенности, чрезмерной робости, в котором он находился, угнетало, но Соскэ не мог его преодолеть. Он ни за что не признался бы себе, что главная причина тут в некогда совершенной им ошибке. Он полностью отграничивал ее от следствия, нынешнего своего состояния. Весь мир для него замкнулся теперь в нем самом. Он больше не вправе покоряться обстоятельствам. Надо по-новому взглянуть на жизнь. Как именно, этого он не мог ни представить себе, ни выразить словами. Но прежде всего, Соскэ это знал, ему следовало укрепить свой дух.

Соскэ шел, все время повторяя про себя: «Религия». Но лишь мелькнув, слово это тотчас ускользало из сознания, его, как струйку дыма, невозможно было удержать.

В размышлениях о религии Соскэ пришлось на память учение буддийской секты дзэн, которое зиждется на самосозерцании. Когда он жил еще в Киото, один из товарищей по университету изредка посещал буддийский храм и в соответствии со строгими правилами Дзэн погружался там в самосозерцание. «В наш-то век...» — думал Соскэ, потешаясь над приятелем, тем более что ни поведением, ни образом жизни тот не отличался от Соскэ. Но сейчас Соскэ вспоминал об этом со стыдом. Как мог он с такой легкостью судить о человеке, не зная, в сущности, его побуждений? Быть может, они вовсе не заслуживали презрения? Он согласился бы десять, даже двадцать дней не ходить на службу и заниматься самосозерцанием, лишь бы это принесло ему душевный покой. Он только не знал, что надо делать, потому что в вопросах религии был полнейшим профаном.

Когда наконец он добрал домой, то увидел, что там ничего не изменилось: Короку, О-Ёнэ, столовая, гостиная, лампа, комод — все было как и прежде, лишь он один провел эти несколько часов в довольно странном состоянии. Над хибати висел небольшой котелок с крышкой, из-под которой струился пар. На своем обычном месте лежала подушка для сиденья, перед ней стоял накрытый обеденный столик.

Поглядев на свою чашку, поставленную кверху дном, и деревянные палочки для еды, Соскэ сказал:

— Я не буду ужинать.

— Не будешь? Жаль, — с огорченным видом произнесла

О-Ёнэ. — Я, правда, так и думала, что ты где-нибудь поел, уже воль поздно, но на всякий случай решила приготовить...

О-Ёнэ подхватила полотенцем котелок и перенесла его на подставку. Затем позвала Киё и велела ей унести обеденный столик.

Соскэ всегда рассказывал, что его задержало, если ему случалось возвратиться домой позднее обычного, и О-Ёнэ тогда успокаивалась. Но сегодня ему совсем не хотелось говорить о том, что он был в закусочной да ещепил сакэ. Ничего не подозревая, О-Ёнэ стала его расспрашивать.

— Да так, никакой особой причины не было. Просто захотелось поесть мясного.

— А потом решил идти домой пешком, ведь это способствует пищеварению?

— Пожалуй, ты права.

О-Ёнэ как-то недоверчиво засмеялась. Соскэ было не по себе. Помолчав немного, он спросил:

— За мной не приходили от Сакаи-сан?

— Нет, а что?

— Ужинать звал, когда я был у него позавчера.

— Опять звал? — удивилась О-Ёнэ. Соскэ не стал продолжать разговор и лег спать. Но какая-то назойливая мысль мешала уснуть. Время от времени он открывал глаза и смотрел на стоящую в нише лампу с повернутым фитилем. Соскэ не страдал бессонницей, как О-Ёнэ. Но сегодня О-Ёнэ мирно спала, а он все бодрствовал, еще больше мучаясь оттого, что слышит бой часов в соседней комнате. Вначале несколько ударов подряд, через какой-то промежуток один глухой удар. Он, словно хвост кометы, коснулся барабанных перепонки и несколько мгновений дрожал, замирая. Затем последовали два удара, от которых стало еще тоскливее. Лежа вот так в постели, Соскэ пришел к единственному выводу, что надо жить более достойно. Уже сквозь сон он слышал, как пробило три... Четыре, пять, шесть... Вселенная словно бы разбухла. Небо колыхалось, как бушующее море, становясь то крошечным, то снова безграничным. Земной шар двигался в пространстве, как подвешенный на нитке мячик, описывая гигантскую дугу... Всю ночь Соскэ мучили кошмары. Наконец, он вздрогнул и проснулся. Выл восьмой час. Со своей обычной улыбкой над ним склонилась О-Ёнэ. Яркое солнце разогнало мрак ночи.

Соскэ вошел в ворота буддийского храма с рекомендательным письмом в кармане. Он получил его от знакомого одного из сослуживцев, который по пути на службу и домой читал в трамвае какое-то конфуцианское сочинение. Соскэ, разумеется, не знал, что это за книга, поскольку не интересовался

подобными вещами. Но однажды они оказались в трамвае рядом, на одной скамейке, и Соскэ спросил об этом. Сослуживец показал Соскэ желтую обложку, сказав при этом: «Весьма сложный труд». Объяснить вкратце, о чем там написано, сослуживец не смог, сказал лишь, что в ней изложено учение секты Дзэн. Эти слова Соскэ хорошо запомнил и за несколько дней до получения рекомендательного письма подошел и спросил: «Ты всерьез занимаешься изучением Дзэн?» Заметив напряженное выражение лица Соскэ, сослуживец удивился, но от разговора ушел, ответив лишь: «Да нет, не занимаюсь, просто забавы ради читаю их книги». Разочарованный, Соскэ вернулся на свое место.

С работы они снова ехали вместе. С сочувствием наблюдая за Соскэ, сослуживец догадался, что за его вопросом кроется нечто большее, чем простое любопытство, и очень любезно рассказал Соскэ про секту Дзэн. Он признался, что сам до сих пор ни разу не погружался в самосозерцание. Но один его знакомый часто ездит в Камакуру¹, и если Соскэ хочет узнать обо всем подробно, он может познакомить его с этим человеком. Соскэ тут же в трамвае записал имя и адрес и на следующий день с письмом от сослуживца пошел к его знакомому, у которого, в свою очередь, получил рекомендательное письмо и с ним отправился в храм.

На службе он сказался больным и решил дней десять не являться. Дома тоже притворился больным.

— С головой что-то неладно,— сказал он О-Ёнэ, — недельку побуду дома, съезжу куда-нибудь, отдохну.

О-Ёнэ, в последнее время очень тревожившаяся за мужа, радовалась, что он вдруг оказался таким решительным, но это было до того неожиданно, что она не могла в то же время не испытывать страха.

— Куда же ты поедешь? — широко раскрыв от удивления глаза, спросила О-Ёнэ.

— Пожалуй, в окрестности Камакуры. Там, я думаю, не плохо.

Было забавно представить себе скромного Соскэ в фешенебельной Камакуре, и О-Ёнэ невольно улыбнулась, сказав:

— О, да ты богач! Возьми и меня с собой.

Соскэ было сейчас не до шуток, и он вполне серьезно возразил:

— Но я еду не в модные места. Хочу просто попроситься пожить неделю или дней десять в храме секты Дзэн, дать голове немного отдохнуть. Не знаю, поможет ли это, но говорят, что от чистого воздуха голова совсем по-другому работает.

— Ну, разумеется. Непременно поезжай. Это я пошутила, — сказала О-Ёнэ, чувствуя себя виноватой, оттого что

¹ Камакура — курортный город близ Токио. В его окрестностях имеется ряд буддийских храмов.

посмеялась над своим таким добрым, мягкосердечным мужем.

На следующий день Соскэ с письмом к «Достопочтенному Гидо-сама», как было написано на конверте, отправился на вокзал Симбаси и уехал.

— Я слышал,— сказал Соскэ знакомый сослуживца, — что совсем недавно он из послушника стал монахом и поселился в одной из старинных келий. Загляните к нему в «Одинокую обитель», так называется его жилище. «Послушник», «келья» — эти слова были для Соскэ новыми и непривычными. Поблагодарив за письмо, он ушел.

Войдя в ворота храма, Соскэ вдруг очутился в густой тени могучих криптомерий, заслонявших небо, которые тянулись по обеим сторонам аллеи, и сразу почувствовал, что попал в совсем другой, сумрачный мир. По спине побежали мурашки. Постояв недолго у входа в эту тихую обитель, Соскэ пошел прямо по аллее. За деревьями виднелись жилые и храмовые постройки, но нигде не было ни души. От царившей здесь тишины веяло стариной. Размышляя, как бы узнать, где находится Гидо, Соскэ озирался по сторонам, но на дороге так никто и не появился.

Храм стоял у подножья горы возле самой опушки густого леса, на вырубленном участке, который террасами поднимался вверх. От террасы к террасе вели каменные ступени с высокими воротами, как бы являвшимися преддверьем храма. Когда Соскэ подошел ближе, он увидел под черепичной кровлей ворот дощечки с названием храма или кельи.

Соскэ шел и одну за другой читал эти старые, со стершейся позолотой, таблички и вдруг подумал, что надо отыскать табличку с надписью: «Одинокая обитель». А если монаха, которому адресовано письмо, там не окажется, тогда уже идти дальше и расспрашивать. Соскэ вернулся и стал внимательно разглядывать каждое строение. «Одинокая обитель» находилась сразу же справа от главных ворот, прямо к ней вела каменная лестница. Она стояла на холме, повернутая главным входом к солнцу, а с тыльной стороны защищенная лесом, и зимой, судя по всему, была надежным убежищем от холода. Минуя главный вход, Соскэ вошел со стороны кухни и попал в небольшую прихожую с земляным полом. Подойдя к сёдзи, ведущим в жилые комнаты, он несколько раз спросил, есть ли кто дома. Никто не вышел на его голос. Соскэ еще немного постоял, недоумевая, вернулся на кухню и направился было к воротам, но в это время увидел, что по лестнице поднимается молодой монах с обритой до синевы головой. Ему было самое большее лет двадцать пять. Дождавшись его, Соскэ спросил:

— Здесь ли изволит проживать господин Гидо?

— Гидо — это я, — ответил монах. Со смешанным чувством удивления и радости Соскэ достал письмо и вручил его мо-

наху. Гидо на ходу прочел письмо и вложил его обратно в конверт.

— Добро пожаловать!

Вежливо поклонившись, он пригласил Соскэ следовать за ним. В кухне они сняли гэта, отодвинули сёдзи и вошли в комнату, где прямо в полу был вделан большой очаг. Гидо сбросил монашескую рясу, очень простую и очень тонкую, под которой оказалось мышинового цвета хлопчатобумажное кимоно, повесил на гвоздь и сказал:

— Вы, наверно, озябли.

Он помешал в очаге золу, вытащив из-под нее еще горячие угли.

У монаха была спокойная не по годам манера речи. Говорил он тихо, и при этом мягко улыбался, совсем как женщина. Соскэ тронули эта сдержанность и мягкость, и он пытался представить себе причины, побудившие этого молодого человека постричься в монахи.

— Как тихо! Вероятно, никого нет дома?

— Здесь вообще никого, кроме меня, нет. Отлучаясь по делу, я все оставляю открытым. Вот и сейчас ненадолго ушел, так что вы уж меня извините.

Соскэ смутился, подумав, что и без того нелегко содержать в порядке такое большое помещение, а тут еще он явился. Словно угадав его мысли, монах очень приветливо сказал:

— Нет, нет, вы меня нисколько не стесните. Ведь вы пришли сюда, чтобы познать истинный путь.

Спустя несколько дней Соскэ увидел одного мирянина, который пришел учиться к Гидо еще в прошлом году. Это был худощавый человек с пронзительно острым и в то же время веселым взглядом. Он попросил Гидо сварить редьку, которую принес, сказав, что хочет покурить. Потом они все троим ее ели. Своим обликом этот мирянин очень походил на буддийского монаха. Он даже рассказывал, что вместе с монахами ходит иногда по деревням собирать подаяние. Гидо слушал его с улыбкой.

Потом Соскэ узнал и о других мирянах, приезжавших сюда, чтобы постичь учение Дзэн. Среди них был торговец тушью. Он ходил со своим товаром по всей округе, а через двадцать — тридцать дней, распродав его, возвращался в храм и погружался в самосозерцание. Спустя некоторое время, когда кончалась еда, он снова взваливал на спину мешок с тушью и отправлялся торговать. Так оно и шло, повторяясь с закономерностью периодической дроби, но торговцу это ничуть не надоедало.

Соскэ мог лишь удивляться той огромной разнице, которая существовала между его жизнью, старательно скрываемой им от посторонних глаз, и чуть ли не идиллически мирным существованием этих людей. Он только не знал, потому ли они предаются самосозерцанию, что на душе у них легко и

спокойно, или, напротив, в самосозерцании обретают желанный покой.

— Все это не так просто, как может показаться с первого взгляда,— сказал Гидо. — Иначе кто бы из монахов стал по нескольку десятков лет терпеть невзгоды и лишения.

Он посвятил Соскэ в общие правила постижения Дзэн, рассказал о «задачах», задаваемых старшим монахом-наставником, в которые ученик должен вникать денно и нощно. Соскэ слушал все это с недоумением и беспокойством.

— Теперь я провожу вас в вашу комнату, — сказал наконечник Гидо, поднимаясь.

Они миновали главный зал, где помещалось изображение Будды, и когда пришли в дальний конец галереи, Гидо раздвинул сёдзи и ввел Соскэ в небольшую комнату. Только сейчас Соскэ почувствовал, что Токио далеко и здесь он совсем один. Вокруг царил глубокая тишина, и, может быть, поэтому нервы Соскэ были напряжены до предела.

Прошел почти час, так показалось Соскэ, когда со стороны главного зала послышались шаги. Пришел Гидо.

— Наставник готов вас принять, — сказал он, склонившись в церемонном поклоне. — Пойдемте, если угодно.

Они прошли немного по главной аллее, и слева Соскэ увидел пруд с лотосами. Холода еще не миновали, вода в пруду словно застыла и была скорее мутной, нежели прозрачной. Несколько поодаль виднелся павильон с огороженной деревянными перилами галереей, которая как бы уходила за высокий, выложенный камнем берег и нависала прямо над водой. Весь этот исполненный изящества пейзаж напоминал традиционную японскую картину,

— Вон там живет наставник, — сказал Гидо, указывая на это довольно новое строение.

Они обошли пруд, поднялись по невысокой каменной лестнице и от возвышавшегося прямо перед ними большого храма свернули влево. Когда они подошли к дому, Гидо, извинившись, попросил Соскэ подождать, а сам пошел к черному ходу. Вскоре он вернулся и сказал:

— Прошу вас.

Соскэ последовал за Гидо и увидел человека лет пятидесяти с медно-красным румянцем и упругой кожей без единой морщинки. Он произвел на Соскэ впечатление бронзовой статуи. Только губы, чересчур толстые, казались дряблыми. Зато глаза как-то особенно блестели. «Словно меч в темноте», — подумал Соскэ.

— Пожалуй, все равно, с чего начать, — сказал наставник Соскэ. — Вот вам вопрос: какова была ваша сущность до рождения?

Последние слова были не очень понятны Соскэ, но он решил, что ему просто предлагают подумать над собственной сущностью, и не продолжал разговор. Уж очень смутно пред-

ставлял он себе учение Дзэн. Вместе с Гидо они вернулись в «Одинокую обитель».

За ужином Гидо объяснил Соскэ, что утром и вечером предлагается являться к наставнику и вести с ним беседу по заданному вопросу, что в первой половине дня бывает час проповеди, когда излагаются общие принципы Дзэн.

— Сегодня, пожалуй, вы еще не сможете найти ответ на вопрос наставника,— мягко сказал Гидо, — так что я найду за вами завтра либо утром, либо вечером.

Еще Гидо сказал, что вначале очень тяжело долго сидеть в установленной правилами позе, посоветовал Соскэ зажечь ароматные палочки и, отмеряя по ним время, понемножку отдыхать.

Соскэ взял свечи и вернулся в отведенную ему комнату, в растерянности думая о том, что заданный монахом вопрос, в сущности, не имеет ничего общего с его нынешним состоянием. Он пришел сюда исцелиться от душевной боли, а ему вдруг задают вопрос, равнозначный сложной математической задаче, да еще говорят небрежно: «Поразмыслите хотя бы над этим». Он, разумеется, не возражает, раз уж ему так велели, а все же было бы куда разумнее обдумывать подобные вопросы, когда боль утихнет.

Но ведь он здесь по доброй воле, даже службу на время оставил. К тому же он не вправе проявлять легкомыслие, а тем самым и неуважение к человеку, давшему ему рекомендательное письмо, да и к Гидо, такому заботливому и внимательному. Соскэ решил взять себя в руки, насколько это было возможно в его состоянии, и погрузился в размышления. Куда это его приведет, что принесет его душе, этого Соскэ не знал. Иллюзия «просветления» была настолько прекрасна, что побудила робкого Соскэ пойти на риск и заронила в нем надежду.

Соскэ поставил в остывшую золу хибати зажженные курительные палочки и сел на дзабутон, приняв положенную позу. Солнце зашло, и в комнате вдруг стало холодно. Сидя неподвижно, Соскэ так озяб, что едва не дрожал.

В каком направлении у него должна работать мысль, да и о чем, собственно, надо думать, Соскэ представлял смутно. И вся его затея вдруг показалась такой же нелепой, как намерение пойти в гости, не зная адреса.

Мысли, то ясные, то сумбурные, пронеслись в голове, с поразительной быстротой сменяя друг друга, и Соскэ не в силах был остановить их бесконечный поток, который вопреки его воле становился все стремительнее.

Сделав над собой усилие, Соскэ вернулся к своему обычному состоянию и огляделся. Слабое пламя свечи не могло разогнать окутавший комнату мрак. Воткнутая в золу курительная палочка не сгорела еще и наполовину. Как медленно тянется время!

Соскэ снова погрузился в раздумья. И снова в его сознании замелькали видения и образы. Они двигались сплошной массой, словно муравьи, то исчезая, то снова появляясь, и причиняли нестерпимые муки замершему в неподвижности Соскэ.

К нравственным мукам прибавились физические. Заныли колени и спина. Соскэ невольно подался вперед, потер затекшую ногу и встал посреди комнаты, не зная, как быть дальше. «Выйти бы сейчас на воздух, — думал Соскэ, — побродить возле храма!» Вокруг словно все вымерло — такая стояла тишина. Но покинуть комнату Соскэ не решился. И хотя его вконец измучили призрачные видения, он решительно зажег новую курительную палочку и в прежней позе сел на дзабутон. Но немного спустя подумал, что если цель есть размышление, то можно размышлять и лежа. Он расстелил сложенный в углу не очень чистый тюфяк, залез под одеяло и, утомленный всем пережитым, погрузился в глубокий сон.

Проснулся Соскэ, когда сѐдзи подле изголовья уже посветлели и по ним бегали блики — предвестники солнца. В этой горной обители, судя по всему, никогда не запирали дверей, никто ее не охранял. Вспомнив, что провел ночь в чужом месте, вдали от своей затененной обрывом полутемной комнаты, Соскэ вскочил и вышел на галерею, скрытую росшими у храма кактусами. Постоял там немного и направился в комнату, в которой был накануне. Там по-прежнему висело монашеское одеяние Гидо, а сам он сидел на корточках и разводил в очаге огонь.

— Доброе утро, — едва завидев Соскэ, вежливо приветствовал его монах. — Я заходил к вам, но не хотел будить, вы так хорошо спали, и вернулся сюда один.

Оказалось, что Гидо, едва рассвело, отправился к наставнику, при нем, как было положено, на некоторое время погрузился в самосозерцание, потом вернулся сюда и вот готовит завтрак.

Мешая в очаге дрова, Гидо в свободной руке держал книгу с черной обложкой и, улучив свободную минуту, читал. Соскэ поинтересовался, что это за книга, и Гидо сказал ему какое-то мудреное название. Тут Соскэ пришло на ум, что лучше читать такие книги, чем терзать свой мозг бесплодными размышлениями. Он поделился этим с Гидо, но тот возразил:

— Чтение — вещь вредная. По правде говоря, ничто так не мешает самосовершенствованию, как книги. Читаю я, предположим, какую-нибудь священную книгу и вдруг натыкаюсь на место, которое выше моего разумения. Начинаю строить догадки, и постепенно это входит в привычку. А при самосозерцании, скажу я вам, такая привычка весьма опасна. Размышляешь, и вдруг начинаешь казаться, что сейчас постигнешь нечто, пока еще непостижимое для тебя, что вот-вот наступит долгожданное просветление, а в результате попадаешь в

тупик. Так что советую вам избегать книг. Но если уж очень захочется, почитайте тогда что-нибудь попроще. Это, по крайней мере, укрепляет дух и придаст бодрость, хотя с познанием истины не имеет ничего общего.

Слова Гидо привели Соскэ в некоторое недоумение. Он чувствовал себя перед этим молодым монахом совсем глупым ребенком. Еще в Киото Соскэ потерял уверенность в себе и с тех пор считал своим уделом серую будничную жизнь. Стремление к карьере было ему чуждо. Но никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас, стоя перед Гидо. Это открытие грозило окончательно лишить его уважения к себе.

Пока Гидо, загасив огонь в очаге, ждал, когда рис дойдет, Соскэ умылся у колодца и теперь созерцал видневшуюся прямо перед ним гору, поросшую смешанным лесом. Участок у подножья был расчищен под огород, и Соскэ пошел взглянуть на него, подставляя мокрую голову прохладному ветерку. Там, в склоне горы, он обнаружил пещеру и остановился, вглядываясь в ее темную глубину. Когда немного спустя он вернулся, в очаге снова горел огонь, было тепло, в чайнике булькала вода.

— Простите, что заставил вас ждать, но у меня нет помощников. Сейчас будем есть,— сказал Гидо. — К сожалению, не могу угостить вас ничем особенным. Здесь ведь глушь! Но завтра угощу вас ванной.

С чувством признательности Соскэ сел к очагу напротив Гидо. Как только они покончили с трапезой, Соскэ вернулся к себе и снова очутился лицом к лицу с вопросом о том, кем он был до рождения, вопросом довольно странным и лишенным, в сущности, смысла. Соскэ в этом не сомневался, а потому, сколько ни размышлял, ни к чему не пришел, и вскоре у него пропала всякая охота думать. Он вдруг вспомнил, что еще не написал жене, обрадовался, что нашлось занятие, достал бумагу и конверт и принялся за письмо. Похвалил тишину и покой, чистый прозрачный воздух, климат, более мягкий, чем в Токио, что, вероятно, объяснялось близостью моря, доброту и любезность монаха, написал, что еда не очень вкусная, а постель не очень чистая. Все это заняло несколько страниц, в которых не было ни слова о мучительных размышлениях, обостривших неврастению, о боли в ногах, когда приходится подолгу сидеть неподвижно. Наконец-то нашелся предлог ненадолго покинуть храм. Соскэ наклеил марку и поспешил в город опустить письмо. Тревога за жену, мысли о Ясуи, думы о том, кем он был до рождения, не давали Соскэ покоя, и, побродив немного, он вернулся в храм.

Наступил день, когда Соскэ увидел продавца туши, о котором говорил Гидо. Продавец молча протянул Гидо чашку для риса, получил свою порцию и так же молча сложил руки в знак благодарности. Здесь не полагалось шуметь, даже раз-

говаривать, чтобы не мешать размышлениям, и Соскэ вдруг испытал стыд за свое легкомыслие накануне.

После еды они втроем некоторое время беседовали у очага. Мирянин рассказал, как, предаваясь однажды размышлениям, вдруг задремал, а очнувшись, почувствовал радость, будто достиг просветления. Каково же было его разочарование, когда, открыв глаза, он обнаружил, что это заблуждение и он остался таким, как был. Рассказ его позабавил Соскэ и в то же время принес ему некоторое утешение. Значит, не он один проявляет непозволительное легкомыслие. Но когда они стали расходиться по своим комнатам, Соскэ вновь почувствовал беспокойство, потому что Гидо сказал:

— Вечером зайду за вами, так что оставшееся время проведите в размышлениях над заданной вам задачей.

Соскэ вернулся в свою комнату с ощущением, будто твердые неудобоваримые рисовые лепешки комом застряли в желудке. Он снова зажег курительную палочку и принял положенную позу. Мысль о том, что надо приготовить хоть какой-нибудь ответ, не давала покоя, но высидеть до вечера не хватило терпения, и Соскэ не мог дожидаться, когда наконец явится Гидо звать его к ужину.

К тому времени, когда солнце стало клониться к западу, Соскэ изнемог не только телом, но и душой. Солнечные блики быстро исчезли с оклеенных белой бумагой сёдзи, а с полу все сильнее тянуло холодом. С самого утра не было ветра, и деревья стояли не шелохнувшись. Соскэ вышел на галерею и посмотрел на небо, видневшееся за черной черепичной крышей. Оно постепенно тускнело, теряя синеву.

19

— Осторожно, — сказал Гидо и стал спускаться по темным каменным ступенькам. Соскэ шел следом. Вечером здесь была кромешная тьма, не то что в городе, и Гидо нес бумажный фонарь. Когда наконец они спустились, над ними, скрыв небо, сомкнулись деревья, росшие по обеим сторонам дороги. Разглядеть в темноте листья было невозможно, но их густой зеленый цвет, который воображение рисовало Соскэ, словно проникал в каждую складку одежды, и от этого становилось еще холоднее. Даже фонарь казался зеленоватым и очень маленьким в сравнении с деревьями, представлявшимися Соскэ чуть ли не исполинскими. Его скупой свет выхватывал из мрака серые клочки дороги, тут же исчезающие во тьме. Вместе с маленьким кружком света двигались тени Гидо и Соскэ.

Они миновали пруд с лотосами и стали подниматься вверх. Соскэ вечером здесь еще не был и шел не очень уверенно, раза два даже споткнулся о камни. К дому наставника можно

было пройти еще и боковой дорожкой, но Гидо решил повести Соскэ более удобным, хотя и более длинным путем.

В темной прихожей стояло несколько пар гэта. Стараясь не наступить на них, Соскэ вошел в довольно просторную комнату, где сидело человек шесть-семь, кто в черном одеянии, кто в хакама, надетых по торжественному случаю поверх кимоно. Сидели они вдоль двух стен, образующих прямой угол, по обе стороны дверей, одна из которых вела в самую комнату, а другая — в глубь дома. Соскэ поразило суровое бесстрашие и сосредоточенное молчание всех этих людей. Губы их были плотно сжаты, брови сдвинуты. Ни малейшего интереса к окружающим, кто бы ни вошел. Ничто, казалось, не могло смутить их покоя, они сидели неподвижно, словно изваяния, в этой нетопленной комнате. Зрелище было поистине впечатляющее, более впечатляющее, чем сам этот храм с его холодом; у Соскэ даже мороз пробежал по коже.

Но вот в глубокой тишине послышались шаги, они становились все громче. Затем из коридора появился монах. Он молча прошел мимо Соскэ и удалился куда-то в темноту. Тут вдруг из глубины дома донесся звук ритуального колокольчика.

В тот же момент человек в хакама из грубой материи, сидевший в строгой позе рядом с Соскэ, молча поднялся, прошел в угол комнаты и сел прямо напротив выхода в коридор. Там на деревянной раме высотой фута в два и шириной в один висело что-то похожее на гонг, очень тяжелое и массивное. Слабый огонек освещал его иссиня-черную поверхность. Человек в хакама взял с подставки деревянную колотушку, два раза ударил по гонгу, затем поднялся, вышел в коридор и направился в глубину дома. Шаги его постепенно замирали и наконец совсем стихли. Соскэ охватил трепет. Он попробовал представить себе, что делает сейчас человек в хакама, но из внутренних комнат не доносилось ни звука. У сидевших рядом с Соскэ в лице не дрогнул ни единый мускул. Только Соскэ ждал чего-то, что должно было появиться из глубины дома. Неожиданно раздался звон колокольчика и послышались чьи-то шаги. Из коридора показался человек в хакама, он молча вышел из дома и словно растворился в холодном воздухе. Теперь поднялся уже кто-то другой, тоже ударил в гонг и, ступая на пятки, пошел внутрь дома. Соскэ внимательно наблюдал за тем, что делают остальные, и, сложив на коленях руки, ждал своей очереди.

Когда до Соскэ оставался всего один человек, откуда-то донесся окрик, несомненно, грозный, хоть и несколько приглушенный расстоянием. Этот голос мог принадлежать только наставнику. Соскэ сразу узнал его, потому что запомнил еще во время первой беседы. Ушел наконец и ближайший сосед, и это окончательно лишило Соскэ спокойствия.

Соскэ, правда, кое-как подготовился к беседе с наставни-

ком, просто потому, что нельзя было не подготовиться. То, что он собирался сказать, на первый взгляд могло даже показаться вполне вразумительным, но было лишено глубины и истинного смысла. Он, собственно, и не рассчитывал на благополучный исход, да и не посмел бы ввести в заблуждение наставника. Никогда еще Соскэ не был так серьезен и искренен. Он мучительно стыдился своего недомыслия, из-за которого вынужден был предстать перед наставником с какими-то наивными, словно нарисованный колобок, рассуждениями.

Соскэ, как и все до него, ударил в гонг, терзаясь сознанием, что недостойн этой церемонии, которую совершает словно обезьяна, подражающая людям, и почувствовал к самому себе презрение.

С трепетом душевным Соскэ вышел в холодный коридор. Комнаты по правую сторону все были темные. Соскэ свернул раз, потом другой и увидел в отдалении освещенные сёдзи. Дойдя до них, Соскэ остановился.

Он помнил, что должен преклонить колена и трижды низко поклониться, подняв при этом руки ладонями вверх. Но не успел Соскэ совершить первый поклон, как услышал:

— Довольно, входите!

В комнате, куда вошел Соскэ, царил полумрак. Здесь невозможно было бы прочесть даже самые крупные иероглифы. Соскэ вообще не помнил человека, который мог бы читать при таком скудном свете. Он ничем почти не отличался от лунного, разве что был чуточку ярче. Казалось, еще немного, и он исчезнет совсем.

В этом призрачном свете Соскэ увидел наставника, закутанного по самую шею в монашеское одеяние не то цвета хурмы, не то чая. На лице его, будто отлитом из меди и неподвижном, навсегда, казалось, застыло выражение бесстрастия и суровости, и этим оно особенно привлекало.

Не помня себя от страха, Соскэ сел, но едва произнес несколько слов, как монах его прервал:

— Все это общеизвестно. Надо приходиться с чем-нибудь необычным, значительным.

Соскэ ушел, как побитая собака, и тотчас же за его спиной резко прозвенел колокольчик.

20

Кто-то позвал из-за сёдзи: «Нонака-сан, Нонака-сан!» Соскэ очнулся было и хотел откликнуться, но тут же снова уснул, будто провалился.

Спустя немного он окончательно проснулся и испуганно вскочил. На галерее, куда он вышел, Гидо, с подхваченными тесемкой рукавами, производил уборку. Выжимая покрасневшими от холода руками тряпку, Гидо приветливо улыбнулся:

— Доброе утро.

Он, как и накануне, уже успел совершить весь утренний ритуал. Соскэ вспомнил, что его будили, и почувствовал неловкость.

— Сегодня я, к стыду своему, снова заспался.

С тем же чувством неловкости Соскэ пошел к колодцу и быстро умылся. Начавшая отрастать борода колола руки, но Соскэ не обращал внимания, все его мысли были сосредоточены на Гидо, которого он не переставал сравнивать с собой.

Еще в Токио, получая рекомендательное письмо, Соски слышал, что Гидо человек чрезвычайно достойный, преуспевающий в постижении учения Дзэн. К тому же он был старателен, как хороший слуга, и скромнен. Глядя, как он трудится, его можно было принять за храмового эконома, за служку, только не за монаха, который заслужил право поселиться в отдельной келье.

До пострижения Гидо был скульптором и приходил сюда постигать учение Дзэн. По семь дней мог сидеть неподвижно в положенной позе. Потом наконец вставал, но еле двигался, держась за стенку, — так ныли от усталости тело и ноги. В тот день, когда на него снизошло просветление, он, не помня себя от радости, взбежал на гору за храмом, воскликнув: «Весь мир — это Будда!» После этого он принял постриг.

Вот уже второй год жил он один в келье, но еще ни разу не спал на хорошей постели, по-настоящему наслаждаясь покоем. Он рассказал, что зимой спит сидя, прислонившись к стене, не снимая одежды. В свое время выполнял он и обязанности служки, даже стирал набедренную повязку старшего монаха-наставника. Но стоило ему, улучив минутку, присесть, как на него градом сыпались насмешки, и он не раз раскаивался в том, что по воле судьбы стал монахом.

— Лишь с недавних пор стало легче, — рассказывал Гидо. — Но впереди еще предстоят испытания. Учение Дзэн и в самом деле постигается в муках. Будь все это просто и легко, какой глупец согласился бы десятки лет страдать?

Соскэ был потрясен и с горечью думал о том, до чего сам он малодушен и слаб. Стоило ли приезжать сюда, в этот храм, если на достижение цели надо потратить годы? И Соскэ понял, что с самого начала заблуждался.

— Не бойтесь напрасно потратить время. Каждая проведенная в размышлениях минута даст вам благо. Главное — преодолеть искуc, а потом уже не обязательно находиться здесь.

Соскэ решил выполнить свой долг перед Гидо, пошел к себе в комнату и предался размышлениям. Немного спустя Гидо пришел сообщить:

— Скоро начнется проповедь, Нонака-сан.

Соскэ обрадовался. По крайней мере, можно будет на вре-

мя забыть о трудной задаче, в которой не за что ухватиться, как на лысой голове. Он готов был заняться какой угодно, самой тяжелой, работой, только бы избавиться от этой пытки сидеть неподвижно.

Место, где должны были читать проповедь, находилось от жилища Гидо примерно на таком же расстоянии, что и дом наставника. Если миновать пруд и прийти прямо к сосновой роще, то среди деревьев можно увидеть устремленный вывес конус черепичной крыши. Туда они и шли. Гидо захватил с собой книжечку в черной обложке, а Соскэ, разумеется, шел с пустыми руками. Только сейчас он узнал, что проповедь, в сущности, то же, что лекция.

Комната была просторная, с высоким потолком и довольно холодная. Выцветшие татами, старые опорные столбы — все обветшало от времени. Находившиеся в комнате, все в грубых монашеских одеяниях темно-синего цвета, вели себя сдержанно, не смеялись, не говорили громко. Сидели без соблюдения старшинства, кто где хотел, расположившись в ряд по обеим сторонам стула, предназначенного для главного монаха. Стул был складной, выкрашенный ярко-красной краской.

Вскоре явился и сам наставник. Соскэ не заметил, когда он вошел, потому что сидел, уставившись в пол, и увидел его уже величественно восседающим на стуле. Потом он увидел, как поднялся со своего места молодой монах, вынул из лилового шелкового платка книгу и почтительно положил на столик, церемонно поклонился и вернулся на свое место.

В этот момент все монахи разом молитвенно сложили руки и стали читать нараспев заветы великого Мусо-Кокуси¹, миряне пытались вторить им. Вместе со словами из священных сутр до слуха Соскэ долетали и слова обыденные, но все они произносились нараспев.

«Всех моих учеников я делю на три категории. Тех, кто отшелся от всего земного и полностью отдается самосозерцанию, я называю высшим разрядом. Тех, кто склонен еще и к другим занятиям, отношу ко второму разряду...» Чтение сутры длилось не очень долго. Соскэ не знал, кто такой Мусо-Кокуси. Гидо объяснил ему, что Мусо-Кокуси вместе с Дайто-Кокуси² возродили секту Дзэн. Еще Гидо рассказал, что Дайто-Кокуси был хромым и потому не мог скрестить ноги, как того требовали установления Дзэн. И вот уже перед самой смертью он, охваченный гневом, сказал: «Сегодня я заставляю ее слушаться», — сломал хромую ногу и принял положенную позу. Хлынувшая кровь насквозь пропитала его монашеское одеяние.

Началась проповедь. Гидо достал книгу и, раскрыв ее на середине, положил перед Соскэ.

¹ Мусо-Кокуси (1275—1351) — буддийский монах.

² Дайто-Кокуси (1282—1337) — буддийский монах.

— Превосходное, дарующее благо, сочинение, — сказал Гидо в ответ на вопрос Соскэ. Эту книгу, как Соскэ понял из его слов, составил Торэй-осё, ученик Хакуин-осё. Она содержит систематическое изложение главных принципов пути, следуя по которому углубляют свои познания те, кто стремится постичь учение Дзэн, а также рассказывает, какие претерпевает изменения их душа.

Эта проповедь была продолжением предыдущих, и Соскэ не все понимал, но слушал не без интереса, поскольку наставник отличался завидным красноречием. К тому же он приводил много примеров из жизни людей, некогда претерпевших страдания на этом пути, желая приободрить тех, кто собирался последовать их примеру. И вдруг, уже совсем другим тоном, наставник сказал:

— Но бывает и так: приходят ко мне побеседовать о результатах своих размышлений, а вместо этого ропщут, что извелись от призрачных, вздорных фантазий. Нехорошо это.

Приняв этот упрек на свой счет, Соскэ невольно вздрогнул, потому что сам недавно роптал и жаловался.

Спустя час Гидо и Соскэ вернулись в «Одинокую обитель». По дороге Гидо сказал:

— Наставник часто высмеивает во время проповеди нерадивость и легкомыслие постигающих учение Дзэн.

Соскэ промолчал.

21

Уже несколько дней Соскэ жил в храме. От О-Ёнэ пришло два длинных письма, в которых не было ничего огорчительно-го. Обычно очень внимательный к жене, Соскэ так и не собрался на этот раз написать ей ответ. Что он скажет Гидо, если придется покинуть храм, не найдя должного ответа на заданный наставником вопрос. Ведь тогда его приезд сюда окажется бессмысленным, и ему будет очень неловко перед этим молодым монахом. Каждое утро он просыпался с каким-то гнетущим чувством. Дни сменяли дни, и Соскэ все сильнее мучился в тщетных поисках ответа. Он ни на шаг не приблизился к цели и совершенно не знал, как ему быть. Решение, к которому он пришел в самом начале, казалось ему справедливым, хотя удовлетворения не принесло, поскольку он пришел к нему путем чисто умозрительных рассуждений. Но найти другое решение он был просто не в силах, как ни старался.

Какое-то время он размышлял, сидя у себя в комнате; почувствовав усталость, шел к огороду за храмом, входил в пещеру и там стоял в полной неподвижности. Гидо говорил, что главное — это сосредоточиться на какой-нибудь мысли, не рассеивать внимания, быть твердым как железо. Но эти слова лишь нагоняли на Соскэ уныние.

— Нельзя искать легкие пути, — сказал Гидо, и Соскэ совсем пал духом. Но тут он вдруг вспомнил о Ясуи и подумал, что, если Ясуи в ближайшее время не уедет в Маньчжурию и станет частым гостем Сакаи, разумнее будет им с О-Ёнэ куда-нибудь переехать. Чем попусту тратить время, лучше поскорее вернуться в Токио и принять какие-то меры, пока О-Ёнэ ничего не узнала. Так будет спокойнее.

За два дня до отъезда Соскэ сказал упавшим голосом:

— Такому, как я, видно, просветления не достичь.

— Достичь его может каждый, — ответил Гидо, — нужна только твердая вера. Вспомните о ревностном последователе секты Нитирэн, который самозабвенно читает сутру, ударяя одновременно колотушкой по барабану. Когда от макушки до пят вас поглотит вопрос, на который вы должны ответить, перед вами неожиданно откроется новый мир.

Соскэ глубоко печалило, что ни по воспитанию своему, ни по складу характера он не годился для такого иступленного, полного напряжения труда. Тем более что ему оставалось провести здесь считанные дни. Намерение собственными силами преодолеть житейские невзгоды казалось теперь Соскэ просто нелепым, равно как и его приезд сюда.

Но поделиться своими мыслями с Гидо он, разумеется, не мог, чтобы не огорчить молодого монаха, достойного всяческого уважения за мужество, целеустремленность и доброту.

— Недаром говорят, что истинный путь — рядом, а ищут его где-то далеко. Ведь он у каждого перед глазами, но его не замечают, — сокрушенно говорил Гидо. Соскэ вернулся к себе и зажег курительную палочку.

Все шло своим чередом вплоть до того дня, когда Соскэ предстояло покинуть храм, так и не открыв новую, сколько-нибудь примечательную страницу в своей жизни. Наступило утро отъезда. Соскэ решительно простился с храмом и своей несбывшейся мечтой.

— Большое спасибо за все ваши заботы, которыми я обременял вас так долго, — сказал он Гидо. — Жаль мне расставаться с вами. Теперь, пожалуй, не скоро представится случай снова увидеться, так что позвольте пожелать вам всего хорошего.

— Стоит ли об этом говорить, — ответил Гидо огорченно. — Видимо, плохо я о вас заботился и чувствовали вы себя здесь неуютно. Немного времени вы предавались размышлениям, но я уверен, что это не пройдет для вас без пользы. Уже то, что вы приезжали к нам, само по себе отрадно.

Но Соскэ хорошо понимал, что его приезд сюда можно было объяснить только желанием скоротать время, и со стыдом слушал добрые слова Гидо, воспринимая их как снисходительность к его ничтожеству.

— К одним просветление приходит раньше, к другим — позднее, это целиком зависит от природы человека, а не от его

достоинств или недостатков. Бывает, что вначале легко, а потом тяжелее, бывает и наоборот. Но в один прекрасный момент просветление все равно наступает. Так что не отчаивайтесь. Стремитесь и верьте, это самое важное. Ныне покойный Косэн-осё¹ был в молодые годы последователем Конфуция и только в зрелом возрасте стал постигать учение Будды. Целых три года не мог он решить ни одной задачи наставника. И, сказав однажды: «Я слишком много грешил, чтобы надеяться на просветление», — он каждое утро отбивал поклоны перед уборной, зато со временем достиг истинного совершенства. Вот вам один из лучших примеров.

Гидо, вероятно, хотел побудить Соскэ и после возвращения в Токио не отказываться от мысли постичь истину, и Соскэ ничего не оставалось, как смиренно слушать. Но в душе он уже не испытывал прежнего трепета. Он надеялся, когда шел сюда, что перед ним распахнут врата, но страж по ту сторону даже не выглянул на его стук, сказав лишь: «Напрасно стучишь. Сам открой и войди!» Соскэ не смог отодвинуть засовы и стоял в раздумье. Он ясно представлял себе, как это надо делать, просто у него не хватило сил и он топтался на месте. Так он и стоял, беспомощный, у запертых ворот, никто к нему не вышел. Всю жизнь Соскэ привык полагаться на собственный разум, и когда этот разум его вдруг подвел, не мог не досадовать. Он завидовал упорству и настойчивости глупцов, не способных отличить зло от добра. Преклонялся перед подвижничеством твердых в вере добронравных мужчин и женщин, далеких от лукавства и корысти. Ему же, видимо, суждено долго стоять у запертых врат. Зачем же он добирался до них, раз войти невозможно? Соскэ оглянулся на пройденный путь. Но тем же путем возвращаться ему не хотелось. Дорогу вперед преграждали крепкие ворота. Он никогда через них не пройдет, но и ни за что не смирится с этим. Так он и будет стоять у ворот до самого захода солнца, ибо обречен на это судьбой.

Перед отъездом Соскэ зашел попрощаться к наставнику. Вместе с ним был и Гидо. Наставник провел их в гостиную с галереей, выходящей на пруд. Гидо сам прошел в соседнюю комнату и принес чай.

— Вероятно, в Токио еще холодно, — сказал наставник. — Жаль, что вы не нашли у нас ключ к разрешению ваших проблем, вам хоть немного стало бы легче после возвращения в Токио...

Соскэ почтительно поблагодарил монаха за сочувствие и вышел за ворота, в которые десять дней назад входил. Криптомории, смягчавшие своей зеленью суровый зимний пейзаж, остались позади.

¹ Косэн-осё (1816—1892) — буддийский монах, в последние годы — настоятель храма в Камакура,

Войдя в дом, Соскэ вдруг представил, какой у него, должно быть, сейчас жалкий вид. Все десять дней он лишь смачивал по утрам волосы холодной водой, но ни разу не прошелся по ним гребнем. На бритве тоже не хватало времени. Гостеприимный Гидо три раза в день кормил его рисом, но к рису не было ничего, кроме вареных овощей, а то и просто вареной редьки. От такой еды немудрено было осунуться и побледнеть. Привычка размышлять еще не оставила Соскэ, и он все время возвращался к одному и тому же вопросу, как наседка к яйцам. В то же время он не переставал думать о Сакаи, а также о Ясуи. Пойти к Сакаи с расспросами у него не хватало духу. Узнавать через О-Ёнэ было еще сложнее. Даже находясь в храме, Соскэ все время опасался, как бы О-Ёнэ об этом не узнала. Очутившись наконец в привычной обстановке, у себя в гостиной, Соскэ сказал:

— Совсем недолго ехал, а все равно устал. Дорога всегда утомляет. Никаких событий не произошло, пока меня не было?

Глядя на измученного Соскэ, можно было и впрямь подумать, что поездки ему не на пользу.

На этот раз О-Ёнэ, против обыкновения, никак не могла заставить себя улыбнуться мужу, но так и не решилась сказать, что выглядит он хуже, чем до отъезда.

— Отдыхать, конечно, хорошо, — с наигранным оживлением сказала О-Ёнэ. — Но стоит вернуться домой, как начинаешь почему-то ощущать усталость. Придешь в себя после дороги, непременно сходи в баню, побрейся, подстригись, а то совсем на старика похож.

О-Ёнэ вынула из ящика маленькое зеркало и дала Соскэ поглядеться.

Соскэ вдруг почувствовал, что от настроения, в котором он находился в храме, не осталось и следа. Он снова стал самим собой.

— От Сакаи никаких известий не было?

— Нет, никаких.

— А насчет Короку тоже?

— Тоже.

Короку, кстати, дома не было, он ушел в библиотеку. Соскэ взял полотенце и мыло и вышел из дому.

Не успел Соскэ на следующий день прийти на службу, как все стали расспрашивать его о здоровье. Кое-кто заметил: «Кажется, немного похудел». Эти слова прозвучали как насмешка. Любитель конфуцианских книг, сам того не желая, тоже причинил Соскэ боль, спросив: «Удачно съездили?»

Вечером О-Ёнэ и Короку наперебой расспрашивали Соскэ о Камакуре, им хотелось узнать все до мельчайших подробностей.

— Хорошо, наверно, уехать на время и забыть о домашних хлопотах, — сказала О-Ёнэ.

— А сколько надо платить в день за постой? — поинтересовался Короку. — Вот бы взять с собой туда ружье и поохотиться.

— Все же скучно, должно быть, в таком уединении, — заметила О-Ёнэ, — не станешь ведь круглые сутки спать.

— И кормят там плохо, — добавил Короку.

Ночью, лежа в постели, Соскэ решил завтра же сходить к Сакаи, как-нибудь обиняком расспросить о Ясуи, и если тот еще в Токио, да к тому же зачастил к хозяину, переселиться куда-нибудь в другое место.

На следующий день ничего особенного не случилось, как обычно взошло, а потом зашло солнце. Вернувшись со службы, Соскэ сказал:

— Схожу проведаю Сакаи-сан.

Соскэ поднялся по темному склону, прошел по дорожке, посыпанной гравием и освещенной газовым фонарем, и очутился у калитки. «Ведь не каждый день Ясуи здесь бывает», — подбодрил он себя и все же прошел с черного хода, не забыв спросить про гостей.

— Рад вас видеть, — жизнерадостный, как всегда, встретил его хозяин. — Нынче что-то холода затянулись. Правда?

Сакаи усадил в ряд всех своих детей и с одной из девочек, лет шести, у которой в волосах был большой красный бант, играл в считалку. Малышка не хотела уступать отцу и, с силой сжимая кулачок, очень решительно выбрасывала вперед пальцы. Забавно было смотреть на ее кулачок, казавшийся совсем крохотным рядом с огромным кулаком Сакаи, и все смеялись.

— Ага, на этот раз победила Юкико! — воскликнула жена Сакаи, показав в улыбке свои красивые зубы.

Возле детей, прямо на полу, лежало множество красных, темно-синих и белых стеклянных шариков.

— Наконец-то я все же проиграл, — сказал Сакаи, взглянув на Соскэ и поднимаясь. — Ну что, опять укроемся в берлоге?

В кабинете висел на прежнем месте монгольский кинжал в шелковом мешочке. В вазе стояли непонятно откуда взявшиеся в это время года желтые цветы рапса. Не сводя глаз с кинжала в нише, Соскэ не без умысла сказал:

— Так и висит с тех пор? — и посмотрел на хозяина.

— Пожалуй, он чересчур экзотичен, этот монгольский кинжал. Это все братец привозит мне такие игрушки, хочет задобрить.

— А сейчас чем ваш брат занимается? — с притворным безразличием спросил Соскэ.

— Наконец-то уехал несколько дней назад, он просто создан для Монголии. Я ему как-то сказал, что Токио не для

него, потому что он варвар, так что пусть скорее уезжает в свою Монголию. И что бы вы думали? Он не стал возражать и вскоре уехал. Таким, как он, место лишь за Великой китайской стеной. И пусть себе ищет алмазы в пустыне Гоби.

— А этот его приятель?

— Ясуи? Уехал вместе с ним. Подобного рода людям не сидится на месте. Я слышал, будто он в свое время учился в Киотском университете, не знаю, что на него так повлияло.

Соскэ пот прошиб. У него не было ни малейшего желания продолжать этот разговор; он лишь радовался, что ничего не рассказывал Сакаи о своей прежней жизни. Хозяин даже собирался знакомить Соскэ с Ясуи, не подозревая, что они вместе учились. Соскэ воздержался от визита и, по крайней мере, избежал позора, но хозяин мог случайно упомянуть в разговоре его имя. И тут Соскэ впервые понял, какое великое благо для человека с нечистой совестью жить под вымышленным именем. Его так и подмывало спросить: «Вы ничего обо нем не говорили Ясуи?» — но он не решился.

Вошла служанка, неся блюдо с каким-то удивительным кушаньем: две бобовые пастилки, сделанные в виде золотых рыбок, в сладком прозрачном желе. Ничего подобного Соскэ не видел, но мысли его сейчас были поглощены совсем другим.

— Не хотите ли отведать? — любезно предложил хозяин и, как обычно, первый протянул руку к блюду. — Это я вчера принес с одной серебряной свадьбы. Говорят, приносит счастье. Так что очень рекомендую!

Сказав, что хочет дожить до серебряной свадьбы, Сакаи набил рот печеньем. Отличаясь завидным здоровьем, Сакаи ел и пил все без исключения: и вареный рис, и печенье, и сакэ, и чай.

— Если разобраться, то не такое уж большое счастье дожить до морщин и седых волос. Но все познается в сравнении. Я как-то проходил по парку Симидзудани и очень удивился. — У хозяина, человека светского, уже вошло в привычку менять темы разговора, чтобы гость не скучал.

Сакаи рассказал, что в парке, в узкой, похожей на канаву, речушке, которая течет к мосту Бэнкэйбаси, ранней весной появляется бесчисленное множество лягушек. Через какое-то время почти сплошной массой они дружно плывут к мосту. Проходящие мимо бездельники и мальчишки швыряют в них камнями и убивают.

— Их погибает уйма, как говорится, «горы трупов». Жаль бедняг, тем более что все это супружеские пары. Словом, если пройти там, то неизвестно, сколько можно увидеть трагедий. Стоит лишь подумать об этом, чтобы почувствовать себя счастливым. Нам с вами, по крайней мере, не приходится опасаться, что кто-нибудь из ненависти к нашему супружеству разобьет нам камнем голову. Так что два-три десятка лет бла-

гополучной жизни — это весьма счастливое событие. Съешьте же хоть кусочек, будете счастливы, как эти мои знакомые.

Сакаи подцепил палочками кусочек сладкого желе и протянул Соскэ. Тот, принужденно улыбаясь, взял. Волей-неволей Соскэ был втянут в разговор, который Сакаи пересыпал шутками, переходя от темы к теме. И все же болтать беспечно, как хозяин, он не мог. Наконец, откланявшись, Соскэ вышел на улицу. Луны не было, и Соскэ показалось, будто в бездонной глубине неба притаилась какая-то зловещая грусть.

Он пустился на хитрость, превозмогая стыд, пытался что-то выведать у чистосердечного и доброго Сакаи, только бы избавиться от гнетущего беспокойства, но ничего из этого не вышло. А обмолвиться хотя бы словом о своих мучениях у Соскэ не хватило мужества, да и нужды он в том не видел.

На этот раз гроза прошла мимо. Но Соскэ чувствовал, что не одно такое испытание ему еще придется пережить. Такова воля неба. Его же дело всеми способами избегать опасности.

23

Начался новый месяц, и сразу потеплело. К этому времени все увольнения и перемещения на службе, предпринятые в связи с прибавкой жалованья, в основном закончились. Слушание только и говорили об этом. Каждый раз Соскэ слышал то знакомые, то незнакомые имена уволенных и, придя домой, говорил:

— Теперь, возможно, придет и мой черед.

О-Ёнэ то принимала эти слова в шутку, то всерьез, то вдруг ей начинало казаться, что они накличат беду. Да и у самого Соскэ на душе бывало то пасмурно, то ясно.

И когда наконец все эти передряги закончились, не коснувшись Соскэ, он не знал, считать ли это закономерным или случайным.

— Кажется, пронесло, — мрачно сказал Соскэ жене.

Еще через два дня выяснилось, что он получил прибавку в пять иен.

— Вообще-то полагается прибавка в двадцать пять процентов. Но не забудь, что у некоторых осталось прежнее жалованье, а многих вообще уволили. — Для Соскэ, видимо, сам факт прибавки значил гораздо больше, чем эти пять иен, и О-Ёнэ не решилась даже заикнуться о том, что денег не хватает.

Садясь на следующий день ужинать, Соскэ увидел на своем столике большую рыбу, которая даже не уместилась на тарелке, ее хвост и голова торчали по краям. И в нос ему ударил аппетитный запах риса, сдобренного красной фасолью. Пришел Короку, за которым О-Ёнэ специально посылала служанку к Сакаи, и воскликнул:

— О, да здесь настоящий пир!

На сливовом дереве уже появились цветы, некоторые, самые ранние, даже успели поблекнуть и стали осыпаться. Пошли мелкие морозящие дожди, но когда выглядывало солнце, от земли и от крыш поднимался пар, напоминающая о весне. В ясные дни у черного хода, сверкая в лучах солнца, сушились дождевые зонты, возле них прыгал щепок.

— Ну, зима, слава богу, кажется, кончилась... В субботу сходи к тетушке, поговори о Короку, — сказала О-Ёнэ мужу. — А то Ясу-сан совсем о нем забудет.

— Непременно схожу, — отозвался Соскэ. Короку теперь жил у Сакаи в качестве сёсэя. Соскэ сказал, что часть расходов на его учебу может взять на себя, Ясуноскэ тоже поможет — так все и уладится. Не дожидаясь, пока брат соберется поговорить с Ясуноскэ, Короку сам пошел к нему, и Ясуноскэ согласился помочь, если Соскэ его об этом попросит.

Наконец-то супруги, так опасавшиеся всяких тревог, обрели на время покой. Однажды, в воскресный полдень, Соскэ собрался в баню и там услышал, как беседовали о погоде двое. Один лет пятидесяти, бритоголовый, очень похожий на торговца, другой помоложе, лет сорока. Тот, что помоложе, сказал, будто нынче утром уже слышал соловья, на что бритоголовый ответил, что слышал его уже два-три дня назад.

— Еще не распелся, весна только началась.

— Да, пока не очень хорошо поет.

Вернувшись, Соскэ передал весь этот разговор О-Ёнэ. Глядя, как прыгают на сёдзи солнечные зайчики, О-Ёнэ, просветленная, сказала:

— Просто благодать, что наконец наступила весна.

— Да, — отозвался Соскэ, подстригавший в это время ногти на веранде. — Но не успеешь оглянуться, как вновь придет зима.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Гривнин. Нацумэ Сосэки</i>	3
--	---

РОМАНЫ

САНСИРО	23
ЗАТЕМ	180
ВРАТА	353

Нацумэ Сосэки.
Н35 Санси́ро. Затем. Врата. Романы. Пер. с яп.
А. Рябкина. Предисл. В. Гривнина. Примеч. А. Ряб-
кина. М., «Худож. лит.», 1973.

480 с.

Нацумэ Сосэки (1867—1916) — крупнейший японский пи-
сатель, ставший классиком современной японской литературы.
В одноименные вошли три романа писателя, признанные
вершиной его творчества, — «Санси́ро», «Затем», «Врата». Это
в высшей степени сложные, многоплановые произведения, в ко-
торых отразились морально-этические поиски тогдашней интел-
лигенции, полная грозных и бурных событий жизнь начала
века.

Акутагава Рюноске называл Нацумэ своим учителем, для не-
скольких поколений японцев Нацумэ Сосэки был колоссом и
кумиром. Он и сейчас продолжает быть одним из самых читае-
мых писателей.

Н 0734-198 198-73
028(01)-73

И(Яп)

Нацумэ Сосэки
САНСИРО. ЗАТЕМ. ВРАТА
Романы

Редактор *С. Хохлова*
Художественный редактор
Ю. Коннов
Технический редактор
Л. Родионова
Корректоры
Г. Сурис и Л. Фильцер

Сдано в набор 14/III 1973 г. Подписано в печать 5/IX 1973 г.
Бумага газетная. Формат 84x108¹/₃₂. 15 печ. л. 25,2 усл. печ. л.
32,54 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ 138. Цена I р. 12 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат имени Я. Коласа Государственного комитета
Совета Министров БССР по делам издательства, полиграфии
и книжной торговли. Минск, Красная, 23.